рассудки. И во что выливается религия, зовя якобы к Богу, а на деле разрывая скорбью, мукой и даже смертью жизни любимых людей».

В моём сердце раскрылось вдруг понимание свободы и независимости человека. Я почувствовал, как грозны цепи религиозного рабства над девушкой, обоими Али и всеми передовыми их друзьями и над моим братом в первую очередь.

Мне стало жаль, так глубоко жаль брата и Наль! Я увидел, как безнадёжна была бы их борьба за любовь! И оценил волю брата, не дававшего пробиться ни единому живому слову, но державшегося в рамках почтительного рыцарского воспитания в своём разговоре с Наль.

Вначале такая детски весёлая, девушка становилась заметно грустнее, и её глаза всё чаще смотрели на дядю с мольбой и недоумением.

Али старший взял её ручку в свою длинную, тонкую и что-то спросил, чего я расслышать не смог. Но из жеста девушки, как она быстро вырвала свою руку из руки дяди, поднесла цветы обеими руками к зардевшемуся лицу, я понял, что вопрос шёл о цветке.

Али снова ей что-то сказал, и девушка, вся пунцовая, сияя своими огромными зелёными глазами, поднесла цветок к губам и сердцу и подала его моему брату.

— Возьми, — сказал Али брату так чётко, что я всё расслышал. — В день совершеннолетия женщина нашей страны даёт цветок самому близкому и дорогому другу.

Брат взял цветок и пожал протянувшую их ему ручку.

Али молодой вскочил как тигр со своего места. Из глаз его буквально посыпались искры. Казалось, что он бросится на брата и задушит его.

Али старший только взглянул на него и провёл указательным пальцем сверху вниз — и Али молодой сел со вздохом на прежнее место, опускаясь точно в полном бессилии.

Девушка побледнела как полотно. Брови её сморщились, и всё лицо отразило душевную муку, почти физическую боль. Её глаза скорбно смотрели то в глаза дяди, то на опустившего голову и глаза вниз двоюродного брата.

Али Махоммет снова взял её руку, ласково погладил её по голове, потом взял руку моего брата, соединил их вместе и сказал:

— Сегодня тебе шестнадцать лет. По восточным понятиям, ты уже старушка. По европейским понятиям, ты дитя. По моим же понятиям, ты уже человек и должна вступить в жизнь. Не бывать дикому сговору, который так глупо затеяла твоя тётка. Ты хорошо образованна. Ты поедешь в Париж, там будешь учиться и, когда окончишь медицинский факультет, поедешь со мною в Индию, в моё небольшое поместье. Там, доктором, ты будешь служить человечеству лучше, чем выйдя замуж за здешнего фанатика, где тебя задавят среда и грубые религиозные предрассудки. Мой и твой друг, капитан Т., не откажет нам в своей рыцарской помощи и поможет тебе бежать отсюда. Обменяйся с ним кольцами, как христиане меняются крестами.

Мне было странно, что, не слыша ни одного слова девушки, я чётко слышал каждое слово Али.

Конкордия Антарова

Две жизни

Том 1

Содержание:

У моего брата 3
Пир у Али 14
Лорд Бенедикт и поездка на дачу Али 29
Моё превращение в дервиша 42
Я в роли слуги-переводчика 50
Мы не доезжаем до К. 58
Новые друзья 70
Ещё одно горькое разочарование и отъезд из Москвы 89
Мы едем в Севастополь 93
В Севастополе 107
На пароходе 117
Буря на море 128
Незнакомка из лазаретной каюты № 1А 140
Стоянка в Б. и неожиданные впечатления в нём 154
Мы плывём в Константинополь 169
В Константинополе 186
Начало новой жизни Жанны и князя 197
Обед у Строгановых 217
Мы в доме князя 233
Приезд Ананды и ещё раз музыка 246
Моя болезнь, Генри и испытание моей верности 262
Неожиданный приезд сэра Уоми и первая встреча его с Анной 275
Вечер у Строгановых и разоблачение Браццано 301
Наши последние дни в Константинополе 315
Обед на пароходе. Опять Браццано и Ибрагим. Отъезд капитана. Жулики и Ольга 335
Последние дни в Константинополе 358

Девушка?! Среднего роста, тоненькая, гибкая! Крошечные белые ручки с тонкими длинными пальцами держали две большие красные розы, которые она часто нюхала. Но мне казалось, что она старалась скрыть за ними своё замешательство. Её глаза, громадные, миндалевидные, зелёные глаза, не похожи были на глаза земного существа. Можно было себе представить, что где-то, у каких-нибудь высших существ, у ангелов или гениев, могут быть такие глаза. Но с представлением об обыкновенной женщине нашего обихода не вязались ни эти глаза, ни их выражение.

Али предложил мне сесть на мягкий диван, а девушка и Али молодой сели напротив нас на большом мягком пуфе.

Я всё смотрел, не отрываясь, на лицо Наль. И не один я смотрел на это лицо, меняющее своё выражение, как волна под налётом ветра. Глаза всех трёх мужских лиц были устремлены на неё. И как разно было их выражение!

Молодой Али сверкал своими фиолетовыми глазами, и в них светилась преданность до обожания.

Я подумал, что умереть за неё без колебаний он готов каждую минуту. Оба были очень похожи. Тот же тонко вырезанный нос, едва с горбинкой, тот же алый рот и продолговатый овал лица. Но Али — жгучий брюнет, и чувствовалось, что темперамент в нём тигра. Что мысль его может быть едкой, слово и рука ранящими.

А в лице Наль всё было так мягко и гармонично, всё дышало добротой и чистотой, и казалось, жизнь простого серого дня, с его унылостью и скорбями, не для неё. Она не может сказать слова горького, не может причинить боли, может быть только миром, утешением и радостью тем, кто будет счастлив её встретить.

Дядя смотрел на неё своими пронзающими агатовыми глазами пристально и с такой добротой, какой я никак не мог в нём предполагать. Глаза его казались бездонными, и из них лились на Наль потоки ласки. Но мне чудилось, что за этими потоками любви был глубоко укрыт ураган беспокойства, мучительной скорби и неуверенности в счастливой судьбе девушки.

Последним я стал наблюдать брата.

Он тоже пристально смотрел на Наль. Брови его снова, — как под деревом — были слиты в одну прямую линию; глаза от расширенных зрачков стали совсем тёмными. Весь он держался прямо. Казалось, все его чувства и мысли были натянуты как тетива лука. Огромная воля, из-под власти которой он не мог позволить вырваться ни одному слову, ни единому движению точно панцырь укутывала его. И я почти физически ощущал железное кольцо этой воли.

Девушка чаще всего взглядывала на него. Казалось, в её представлении нет места мысли, что она женщина, что вокруг неё сидят мужчины. Она, точно ребёнок, выражала все свои чувства прямо, легко и радостно.

Несколько раз я уловил взгляд обожания, который она посылала брату, но это было опять-таки обожание ребёнка, в котором чистая любовь была лишена малейших женских чувств.

Я понял вдруг огромную драму этих двух сердец, разделённых предрассудками наций, воспитания, религии, обычаев...

Али старший взглянул на меня, и в его таких добрых сейчас глазах я увидел мудрость старца, точно он хотел мне сказать: «Видишь, друг, как прекрасна жизнь! Как легко должны бы жить люди, любя друг друга, и как горестно разделяют их пред-

Пир у Али

На улице Али шёл впереди, я в середине и брат мой сзади.

Моё состояние от удушливой жары, непривычной одежды, бороды, которую я всё трогал, проверяя, крепко ли она сидит на месте, неудобной левой туфли и тяжёлой палки стало каким-то одурелым. В голове было пусто, говорить совсем не хотелось, и я был доволен, что по роли этого вечера я нем и глух. Языка я всё равно не понимаю, а теперь мне ничто не будет мешать наблюдать новую, незнакомую жизнь.

Мы перешли улицу, но не вошли в ворота, по обыкновению крепко запертые, а завернули за угол и вошли через железную калитку, которую открыл и закрыл сам Али, в сад.

Я был поражён обилием прекрасных цветов, издававших сильный, но не одуряющий аромат.

По довольно широкой аллее мы двинулись в глубину сада, теперь уже идя все в ряд, и подошли к освещённому дому. Окна были открыты настежь, и в большой длинной зале были расставлены небольшие, низкие круглые столики, придвинутые к низким же широким диванам, тянувшимся по обеим сторонам зала. С противоположной от диванов стороны у каждого столика стояло по два низких широких пуфа, как бы из двух сложенных накрест огромных подушек. На каждом пуфе, при желании, можно было усесться по-восточному, поджав под себя ноги.

Весь дом освещался электричеством, о котором тогда едва знали и в столицах. Али был яростным его пропагандистом, выписал машину из Англии и старался присоединить к своей, довольно мощной сети своих друзей.

Но даже самые близкие друзья не решались на такое новшество, и только один мой брат да два доктора радостно осветили свои дома электричеством.

Пока мы проходили по аллее, навстречу нам быстро вышел Али молодой, а за ним шла Наль в роскошном розовом халате, который я тотчас узнал, с откинутым назад богатейшим покрывалом.

Не виданный мною никогда раньше затканный жемчугом и камнями женский головной убор, перевитые жемчугом же тёмные косы лежали на плечах и спускались почти до полу, улыбающиеся алые губы, быстро говорившие что-то Али... Я хотел сдвинуть чалму, чтобы услышать голос девушки, но быстрый взгляд Али как бы напомнил мне: «Вы глухи и немы, погладьте бороду».

Я злился внутри, но старался ничем не выказать своего раздражения и медленно стал гладить бороду, радуясь, что я хоть не слеп, по виду стар и могу рассматривать красавицу, без всякой помехи любуясь ею. Девушка не обращала на меня никакого внимания. Но не надо было быть тонким психологом, чтобы понять, как занято её внимание моим братом.

Теперь мы стояли на большой, со всех сторон завитой ещё незнакомой мне цветущей зеленью террасе. Яркая люстра светила как днём, так, что даже рисунок драгоценного ковра, в котором утопали ноги, был ясно виден.

У моего брата

События, о которых я сейчас вспоминаю, относятся к давно-давно минувшим дням, к моей далёкой юности.

Теперь уже лет двадцать пять все зовут меня «дедушкой», и только я один продолжаю чувствовать себя ещё не старым; мой внешний образ, заставляющий других уступать мне место, поднять обронённую мною вещь, так не гармонирует с моей внутренней бодростью, что заставляет меня конфузиться, когда люди выказывают такое почтение моей седой бороде.

Было мне лет двадцать, когда я приехал в среднеазиатский большой и торговый город погостить к моему брату, капитану N-ского полка.

Жара, яркое синее небо, дотоле не виданное мною, широкие, с аллеями из высочайших развесистых и тенистых деревьев посередине улицы поразили меня своей тишиной. Изредка проедет шагом на осле купец на базар. Пройдёт группа женщин, укутанных в чёрные сетки и белые или тёмные покрывала, как плащи, скрадывающие все формы тела.

Улица, на которой жил брат, была не из главных, от базара была далеко, и тишина на ней стояла почти абсолютная. Брат снимал небольшой дом с садом, жил в нём один со своим денщиком и фактически пользовался двумя комнатами, а три остальные поступили всецело в моё распоряжение.

Окна одной из комнат брата выходили на улицу; туда же смотрели окна той комнаты, что я облюбовал себе как спальню и которая носила громкое название «зала».

Брат мой был человеком очень образованным. Все стены комнат сверху донизу были заставлены полками и шкафами с книгами. Его библиотека была прекрасно подобрана, расставлена в полном порядке и, судя по каталогу, составленному братом, обещала мне много радости в новой для меня, уединённой жизни.

Первые дни брат водил меня по городу, базару, мечетям; временами я бродил один в огромных торговых галереях с расписными столбами и маленькими восточными ресторанами-кухнями на перекрёстках; с толпой снующею, говорливою, пёстро одетою в разноцветные халаты местного народа я чувствовал себя точно в Багдаде и так и ждал, что где-то тут же проходил Аладдин со своей волшебной лампой или бродит никем не узнаваемый Гарун-Аль-Рашид. И все восточные люди, с их величавым спокойствием или, наоборот, повышенной экзальтированностью, казались загадочными и манящими.

Однажды, бродя рассеянно от магазина к магазину, я вдруг вздрогнул как от электрического тока и невольно оглянулся. На меня пристально смотрели два совершенно чёрных глаза очень высокого средних лет человека, с густой, короткой, чёрной бородой. А рядом с ним стоял юноша необычайной красоты, и его два синих, почти фиолетовых, глаза также пристально глядели на меня.

Высокий брюнет и юноша оба были в белых чалмах и пёстрых шёлковых халатах. Их осанка и манеры резко отличались от всего окружающего; многие из прохожих им подобострастно кланялись.

Оба они уже давно двинулись к выходу, а я всё ещё стоял как заворожённый, не в силах победить впечатления от этих чудесных глаз.

Опомнившись, я бросился за ними, но подбежал к выходу из галереи в тот момент, когда оба поразивших меня встречных уже сидели в пролётке и отъезжали от базара. Молодой сидел с моей стороны. Слегка оглянувшись на меня, он чуть улыбнулся и сказал что-то старшему. Но густая пыль, которую подняли три осла, закрыла всё, я больше ничего не мог видеть да и стоять под отвесными лучами палящего солнца был больше не в силах.

«Кто бы это мог быть?» — думал я, возвращаясь к той лавке, где я их встретил. Я несколько раз прошёл мимо лавки и наконец решился спросить хозяина:

— Скажите, пожалуйста, кто эти люди, которые только что были у вас?

— Люди? Люди много ходила сегодня мой лавка, — хитро улыбаясь, сказал он. — Только твой, верно, не люди хочет знать, а один высокий чёрный люди?

— Да, да, — поспешил я согласиться. — Я видел высокого брюнета и с ним красавца юношу. Кто они такие?

— Они наша большой, богатый помещики. Виноградники, — оуяй, — виноградник! Ба-а-льшой торговля ведёт с Англия.

— Но как же его зовут? — продолжал я.

— Ой-я, — засмеялся хозяин. — Вся горишь, знакомиться хочешь? Он — Махоммет Али. А молодой — Махмед Али.

— Вот как, оба Магомета?

— Нет, нет, Махоммет только дядя, а племянник — Махмед.

— Они здесь живут? — продолжал я спрашивать, рассматривая шелка на полках и думая, что бы такое купить, чтоб выиграть время и выведать ещё что-нибудь о поразившей меня паре.

— Что смотришь? Халат хочешь? — подметив мой парящий взгляд, сказал хозяин.

— Да, да, — обрадовался я предлогу. — Покажите, пожалуйста, мне халат. Я хочу сделать подарок брату.

— А кто твой брат? Какой ему вкус?

Я понятия не имел о вкусах моего брата к халатам, так как ни в чём, кроме кителя или пижамы, пока ещё не видел его.

— Мой брат — капитан Т., — сказал я.

— Капитан Т.? — вскричал с восточным азартом купец. — Я его хорошо знаю. Ему уже есть семь халатов. На чего ему ещё?

Я был смущён, но, скрыв своё замешательство, храбро сказал:

— Он их все подарил.

— Вот как! Наверное, друзьям в Петербурге посылал. Ха-а-роший халаты покупал! Вот смотри, Махоммет Али для своя племянница велел прислать. Ой-я, халат!

И купец вынул из прилавка чудесный розового тона халат с серовато-лиловыми матовыми разводами.

— Такой мне не подойдёт, — сказал я.

на мои уши, что теперь я уж и в самом деле не мог ничего слышать, но понял, что он предлагает мне взять его руку и идти в его дом. Я посмотрел на брата, который успел привести комнату в полный порядок, он кивнул мне, и мы вышли на улицу.

Я разозлился. От непривычной бороды мне было жарко; жидкость, которой смазал моё лицо брат — вначале такая приятная, — сейчас отвратительно стягивала кожу; ноге было неудобно и вдобавок ко всему я ещё оказался немым и глухим.

Со свойственным мне нетерпением я хотел раскричаться и заявить, что никуда не пойду, и уже приготовился сорвать бороду и чалму, как дверь беззвучно отворилась, и в ней появилась высоченная фигура Али старшего.

Два агатовых глаза положительно парализовали меня. Чалма так плотно прикрыла мне уши, что я ровно ничего не слышал, о чём говорил он с братом.

На нём был надет почти чёрный — так густ был синий цвет — халат, а под ним сверкал другой, яркий малиновый, плотно прилегавший к телу. На голове белая чалма и большая бриллиантовая брошь, изображавшая павлина с распущенным хвостом...

Приветливо и ласково улыбаясь, он подошёл ко мне с протянутой рукой. Когда я подал ему руку, он пожал её, и опять по всему моему телу пробежал ток теплоты и на этот раз не сонной лени, а какой-то радости.

Али снял со своего пальца кольцо с красным камнем, на котором был вырезан лев и вокруг какие-то иероглифы. Наклонившись к самому моему уху, он сказал:

— Это кольцо откроет вам сегодня все двери моего дома, куда бы вы ни захотели пройти. И оно же будет вам помощью, если когда-нибудь в жизни вы будете ранены и рана будет кровоточить.

Увлёкшись кольцом, я и не заметил, как рядом с Али выросла другая стройная, высокая восточная фигура. Я даже не сразу понял, что в подаренном мною сегодня брату фиолетовом халате именно он сам и стоит возле Али.

Я видел стройного восточного человека с тёмнозагорелым лицом, со светлой бородой и усами, на белой чалме которого сиял треугольник из бриллиантов и изумруда. Высок был мой брат. Но рядом с высоченным Али он казался среднего роста.

— Посмотри на себя в зеркало, Лёвушка. Я уверен, что себя ты не узнаешь ещё больше, чем не узнал меня, — со смехом обратился ко мне брат, очевидно, заметив моё полное недоумение.

Я двинулся к зеркалу, совершенно естественно хромая от моей неудобной левой туфли.

— Вы отличный артист, — едва улыбаясь, сказал Али. Но вся его фигура выражала такой заразительный юмор, что я расхохотался.

Смеясь, я вдруг увидел в зеркале очень смуглого, чуть что не чёрного хромающего старика. Я оглянулся и вдруг услышал такой взрыв весёлого раскатистого хохота Али и брата, что невольно снова обернулся к ним и с удивлением поглядел на них. Хохот их ещё усилился; между тем я случайно снова взглянул в зеркало и опять там увидел смуглого араба-старика. С трудом я понял, что этот чёрный — я.

Я поднёс руку к глазам, убедился, что не сплю, и спросил брата, почему же я такой чёрный. Как это могло случиться? На мой вопрос он мне ответил:

— Это, Лёвушка, жидкость сделала своё дело. Но не тревожься. Завтра же ты будешь снова бел, ещё белее, чем всегда. Другая, такая же приятная, жидкость смоет всю черноту с твоего лица.

— А теперь не забудьте, друг, что на весь этот вечер вы хромы, немы и глухи, — сказал, смеясь, Али. С этими словами он поправил на мне чалму, нахлобучив её так

Купец весело засмеялся.

— Конечно, не подойдёт; это женская халат. Я тебе дам вот — синий.

И с этими словами он развернул на прилавке великолепный фиолетовый халат. Халат был несколько пёстрый; но тон его, тёплый и мягкий, мог понравиться тонкому вкусу моего брата.

— Не бойся, бери. Я всех знаю. Твой брат — приятель Али Махоммет. Мы не можем продавать его приятелю плохо. Твой брат — ха-а-роший человек! Сам Али Махоммет его почитает.

— Да кто же он, этот Али?

— Я же сказал, большая важная купец. Персия торгует и Россия тоже, — ответил хозяин.

— Непохоже, чтобы он был купец. Он, наверное, учёный, — снова сказал я.

— Ой-я, учёный! Учёный он есть такой, что и у твоя брат все книги знает. Твоя брат тоже ба-а-льшой учёный.

— А где живёт Али, вы не знаете?

Купец бесцеремонно ударил меня по плечу и сказал:

— Ты, видать, здесь мало живёшь. Али дом — напротив твой брат дом.

— Напротив дома брата очень большой сад, обнесённый высокой кирпичной стеной. Там всегда мёртвая тишина, и даже ворота никогда не открываются, — сказал я.

— Тишина-то тишина. А вот сегодня будет не тишина. Приедет сестра Али Махмед. Будет сговор, пойдёт замуж. Если ты сказал, Али Махмед красавец, — ой-я! Сестра — звезда с неба! Косы до пола, а глаза — ух!

Купец развёл руками и даже захлебнулся.

— Как же вы могли видеть её? Ведь по вашему закону покрывала нельзя снимать перед мужчинами?

— Улица нельзя. У нас и в дом нельзя. А у Али Махоммет все женщины дома ходит открыта. Мулла много раз говорил, да перестал. Али сказал: «Уеду». Ну, мулла и молчит пока.

Я простился с купцом, взял свою покупку и пошёл домой. Шёл я долго, где-то свернул не в ту сторону и с большим трудом нашёл наконец свою улицу.

Мысли о богатом купце и его племяннике путались с мыслями о небесной красоте девушки; и я не мог решить, какие же у неё глаза: чёрные, как у дяди, или фиолетовые, как у брата?

Я шёл, глядя под ноги, и внезапно услыхал окрик: «Лёвушка, да где же ты пропадал? Я уже собирался идти тебя искать».

Милый голос брата, заменявшего мне всю жизнь и мать, и отца, и семью, был полон юмора, как и его сверкающие глаза. На слегка загорелом, гладко выбритом лице блестели белые зубы, красные, красиво вырезанные губы, золотые вьющиеся волосы и тёмные брови... Я в первый раз разглядел, как красив был мой брат. Я гордился и восхищался им всегда; а сейчас, точно маленький, ни с того, ни с сего бросился ему на шею, расцеловал в обе щеки и сунул ему в руки халат.

— Это твой халат. А твой Али является причиной того, что я совсем оторопел и заблудился, — сказал я со смехом.

— Какой халат? Какой Али? — с удивлением спросил брат.

— Халат № 8, который я тебе купил в подарок. А Али № 1, твой друг, — ответил я, всё продолжая смеяться.

— Ты напоминаешь маленького упрямца Лёвушку, который любил всех озадачивать загадками. Вижу, что любовь к загадкам всё ещё жива в тебе, — улыбаясь своей широкой улыбкой, необычайно изменявшей его лицо, сказал брат. — Ну, пойдём домой, не век же нам стоять тут. Хотя прохожих и нет, но я не поручусь, что где-нибудь, тайком, отодвинув край занавески, на нас не смотрит любопытный глазок.

Мы двинулись было домой. Но внезапно чуткое ухо брата различило вдали цоканье конских копыт.

— Подожди, — сказал он, — едут.

Я ничего не слышал. Брат взял меня за руку и заставил остановиться под огромным деревом, как раз напротив закрытых ворот того тихого дома, в котором, по словам купца из торговых рядов, жил Али Махоммет.

— Возможно, что сейчас ты увидишь нечто поразительное, — сказал мне брат. — Только стой так, чтобы за деревом не было нас видно ни из дома, ни со стороны дороги.

Мы стояли за огромным стволом дерева, где могли укрыться ещё два-три человека. Теперь уже и я различал бег нескольких лошадей и шум колёс по мягкой немощёной дороге.

Через несколько минут раскрылись настежь ворота дома Али, и дворник вышел на дорогу. Оглядев улицу по всем сторонам, он махнул кому-то в сад и остановился в ожидании экипажей, которых виднелось теперь три.

Первой шла простая телега. В ней сидели две укутанные женские фигуры и трое детей. Все они утопали в массе узлов и картонок, а сзади был привязан небольшой сундук.

Вслед за ними в какой-то старой бричке ехал старик с двумя элегантными чемоданами.

И наконец, на довольно большом расстоянии, очевидно хоронясь от пыли, двигался ещё экипаж, которого пока нельзя было рассмотреть. Между тем телега и бричка въехали в ворота и исчезли в саду.

— Смотри внимательно, но молчи и не двигайся, чтобы нас не заметили, — шепнул мне брат.

Экипаж приближался. Это была элегантная пролётка, запряжённая прекрасным вороным конём, и в ней сидели две укутанные женщины с закрытыми чёрной сеткой лицами.

Из ворот дома вышел Али Махоммет, весь в белом, и за ним в такой же длинной белой одежде Али Махмед. Чёрные глаза Али старшего — почудилось мне — пронзили насквозь дерево, за которым мы спрятались, и мне даже показалось, что по губам его скользнула едва уловимая усмешка. Меня даже в жар бросило; я прикоснулся к брату, желая ему сказать: «мы открыты», — но он приложил палец к губам и продолжал пристально смотреть на приблизившийся и остановившийся экипаж.

Ещё мгновение, Али старший подошёл к экипажу, и... маленькая белая очаровательная женская ручка подняла покрывало с лица. Али старший подошёл к поднявшей покрывало молоденькой девушке.

— Вот так совершеннолетие Наль! — почти закричал я. — Если всем своим друзьям Али рассылает в этот день такие подарки, то уж, наверное, половину своего виноградника, который так расхваливал мне купец в торговых рядах, он раздаст сегодня. И зачем мужчинам эти брошки? Это чудесные украшения для женщин, но ведь Али знает, что мы с тобой не женаты.

— Этими булавками мы заколем наши чалмы над самым лбом. Это огромная честь — получить такую булавку в подарок, и её далеко не всем оказывают на Востоке, — ответил брат. — Али живёт здесь лет десять; сам он родом откуда-то из глубин Гималаев, и все восточные обычаи гостеприимства и уважения к дружбе чтятся в его доме.

Время быстро летело. Сумерки уже сгущались, и вскоре должна была наступить сразу ложащаяся здесь ночь.

— Пора начинать твой грим, а то мы можем оказаться невежливыми и опоздать.

С этими словами брат выдвинул ящик бюро и... я ещё раз обмер от удивления.

— Ну и ну, — сказал я. — Почему же ты ни разу не писал мне, что играешь в любительских спектаклях?

Весь ящик был полон всяческого грима, бород, усов и даже париков.

— Нельзя же всё написать, а ещё менее возможно всё рассказать в несколько дней, — усмехаясь, ответил брат.

Он посадил меня в кресло и как заправский гримёр приклеил мне бороду и усы, протерев предварительно всё лицо какой-то бесцветной жидкостью с очень приятным запахом, освежившей моё горевшее от непривычного солнца лицо.

Коричневым карандашом он провёл слегка под моими глазами два-три лёгких штриха на оставшихся не занятыми бородой щеках. Какой-то жидкостью перламутрового цвета он прикоснулся к моим густым тёмным бровям. Смазал мне каким-то кремом губы и сказал:

— Ну, теперь я чуть-чуть подровняю твои кудри, чтобы чёрные волосы не выбились из-под чалмы. Садись сюда, — и с этими словами он усадил меня на табурет.

Мне, признаться, жаль было моих вьющихся волос, которые я справедливо считал единственным своим козырем. Но в жару так приятно иметь коротко остриженную голову, что я сам попросил остричь меня под машинку.

Вскоре голова была острижена, и я хотел встать с табурета.

— Нет, нет, сиди, Лёвушка. Я сейчас обовью твою голову чалмой. Я смогу сделать это только на табурете.

Я остался сидеть, брат развернул мою чалму, оказавшуюся длиннее, чем я предполагал, беспощадно стал скручивать её жгутом и довольно быстро, ловко, крепко, но без малейшего давления где-либо, замотал всю мою голову.

— Голова готова; теперь ноги. Надевай эти длинные чулки и туфли, — сказал он, достав мне из картона в углу белые чулки и довольно простоватые на вид туфли.

Я всё это надел и встал на ноги; но сразу почувствовал какую-то неловкость в левой туфле. Невольно я как-то хромнул на левую ногу, а брат услужливо сунул мне в правую руку палку.

— Теперь ты именно тот немой, глухой и хромой старик, которого тебе надо изобразить, — засмеялся брат.

— Если ты сумеешь сегодня сыграть роль хромающего старика, ты, пожалуй, увидишь очень интересные и не совсем обычные вещи. Но вот жаль, что у меня нет второй белой чалмы, чтобы сделать тебе белый тюрбан.

В эту минуту раздался лёгкий стук в дверь. Брат подошёл к двери, и я услышал его приятно удивлённое восклицание:

— Это вы, Махмед! Войдите. Я как раз занят нарядом брата к вечеру. Я хочу его сделать старым купцом с седой бородой.

— А я принёс ещё белую чалму и камень. Дядя просит вашего брата принять их как подарок Наль в день её совершеннолетия, — и он подал мне свёрток и футляр.

— А это вам от Наль, — и он подал брату два свёртка и два футляра. — Не забудьте, что вам нужно хромать на левую ногу и крепко опираться на палку правой рукой. А левой почаще гладить бороду, если вы хотите сыграть роль старого купца. У меня есть такой знакомый в Б., очень важный человек, — говорил мне Али молодой. Он улыбался, алые прелестные губы обнажали чудные зубы, а два фиолетовых глаза пристально — не по летам серьёзно — смотрели на меня.

Кивнув нам головой и приложив, по восточному обычаю, руку ко лбу и сердцу, Али так же бесшумно скрылся, как и вошёл.

Я развернул свой свёрток, и оттуда выпал кусок тончайшей белой материи. Любопытство моё было так сильно, что, даже не подобрав упавшего шёлка, я раскрыл футляр, и у меня вырвалось невольное восклицание восторга и удивления.

Прекрасной работы брошь с крупным выпуклым рубином и несколькими бриллиантами, перевитая змеёй из тёмного золота и жемчуга, сверкала в полутёмной комнате, и я не мог оторвать от неё глаз.

Брат поднял обронённую мною материю и, рассматривая булавку вместе со мной, сказал:

— Али старший посылает тебе от имени племянницы белую чалму — эмблему силы и красный рубин — эмблему любви. Этим он причисляет тебя к своим друзьям.

— А что же тебе посылает он? — полюбопытствовал я.

Брат развернул свёрток побольше, и там оказался тончайший белый халат из никогда не виданной мною материи, похожей на белую замшу, но по тонкости равной папиросной бумаге. К нему была приложена записка на арабском языке, которую брат спрятал, не читая, в карман. Во втором свёртке была такая же чалма, как моя, только в самом её начале синим шёлком, арабскими буквами была выткана во всю ширину чалмы — а она была чрезвычайно широка — какая-то фраза. Я мало обратил внимания и на записку и на арабскую фразу: мне хотелось скорее увидеть содержимое футляров брата.

«Если мне он шлёт привет силы и любви, то что же он посылает Николушке?» — думал я.

Наконец брат свернул осторожно свою чалму, спрятал её в ящик бюро и открыл футляр побольше. Оттуда сверкнули крупные бриллианты в форме треугольника, внутри которого овальной формы выпуклый изумруд сиял голубовато-зелёным светом.

В маленьком футляре оказался перстень с таким же овальным выпуклым изумрудом в простой платиновой оправе.

Я видел многих женщин, на сцене и в жизни признанных красавиц. Но сейчас я как будто бы впервые понял, что такое красота.

Другая фигура, очевидно старуха, что-то визгливо говорила Али, а девушка смущённо улыбалась и уже готова была вновь опустить на лицо покрывало. Но Али сам небрежно сбросил его на плечи девушки, и от его сильного жеста, к великому негодованию старухи, выбились тёмные кольца непослушных волос девушки. Не обращая внимания на визгливые выговоры старухи, Али поднял бросившуюся ему на шею девушку и, как ребёнка, понёс её в дом.

Между тем Али молодой почтительно высаживал всё ещё ворчавшую старуху.

Серебристый смех девушки был слышен из открытых ворот.

Уже и старуха с молодым Али скрылись, и пролётка въехала в ворота, и ворота закрылись... А мы всё ещё стояли, забыв место, время, забыв, что хотелось есть, жару и все приличия.

Повернувшись к брату, чтобы поделиться с ним своим восторгом, я был просто потрясён. Всегда улыбающееся лицо его было совсем бледно, серьёзно и даже сурово. Его синие глаза как-то потемнели и сверкали точно у кошки ночью. Это было лицо совершенно незнакомого мне человека. Даже брови изменили свою обычную форму и были строго сдвинуты в почти сплошную прямую линию.

Я не мог опомниться: всё смотрел на этого чужого, незнакомого мне человека.

— Ну, что же, понравилась ли вам моя племянница Наль? — вдруг услышал я над собой незнакомый металлический голос.

Я вздрогнул — от неожиданности не понял даже сразу вопроса — и увидел перед собою высоченную фигуру Али старшего, который, смеясь, протягивал мне руку. Машинально я взял эту руку и почувствовал какое-то облегчение — даже из груди у меня вырвался вздох, и по руке побежала тёплая струя энергии.

Я молчал. Мне казалось, что ещё никогда я не держал в своей руке такой ладони. С усилием оторвались мои глаза от прожигающих глаз Али Махоммета, и я посмотрел на его руки.

Он держал обеими своими руками мою руку. Руки его были белы и нежны, точно к ним не мог пристать загар. Длинные, тонкие пальцы кончались овальными, выпуклыми, розовыми ногтями. Вся рука, узкая и тонкая, артистически прекрасная, всё же говорила об огромной физической силе. Казалось, глаза, мечущие искры железной воли, были в полной гармонии с этими руками. Можно было себе легко представить, что в любую минуту, стоит Али Махоммету сбросить мягкую белую одежду, взять меч в руку — и увидишь воина, борца, разящего насмерть.

Я забыл, где мы, зачем мы стоим среди улицы и не могу сейчас сказать, как долго держал Али мою руку. Я точно стоя заснул.

— Ну, пойдём же домой, Лёвушка. Отчего ты не благодаришь Али Махоммета за приглашение? — услышал я голос брата.

Я опять не понял, о каком приглашении говорит мне брат, и пролепетал какое-то невнятное прощальное приветствие улыбающемуся мне высокому и стройному Али.

Брат взял меня под руку, я невольно двинулся в ногу с ним. Робко взглянув в его лицо, я снова увидел родное, близкое, с детства знакомое лицо любимого брата Николая, а не того чужого человека под деревом, вид которого меня так поразил и глубоко расстроил.

Привычка детства, привычка видеть опору, помощь и покровительство в моём брате, привычка, создавшаяся в те дни, когда я рос только в обществе брата, обращаться со всеми жалобами, огорчениями и недоразумениями к брату-отцу как-то вдруг выскочила из глубины моего сердца, и я сказал жалобным тоном:

— Как мне хочется спать, как я устал, точно прошёл вёрст двадцать!

— Очень хорошо, сейчас пообедаем, и можешь лечь спать часа на два. А потом пойдём в гости к Али Махоммету. Он здесь почти единственный ведущий европейский образ жизни. Дом его прекрасно и с большим вкусом обставлен. Очень элегантная смесь Азии и Европы. Женщины его семьи образованны и ходят у себя дома без паранджи, и это целая революция для здешних мест. Много раз ему угрожали муллы и другие высокопоставленные религиозные фанатики за нарушение местных обычаев всякими репрессиями. Но он всё так же ведёт свою линию, борясь за свободу угнетённых женщин и всего народа. Все, до последнего слуги, в его доме грамотны. Им всем предоставляются часы полного отдыха и свободы среди дня. Это здесь тоже революция. И я слышал, что против него теперь собираются поднять религиозный поход. А в здешних диких краях это вещь страшная.

Разговаривая, мы пришли к себе в дом, умылись в ванной комнате, устроенной прямо в саду из циновок и брезента, и уселись у давно накрытого стола обедать.

Хороший освежающий душ и вкусный обед вернули мне бодрость.

Брат весело смеялся, журил меня за рассеянность и рассказывал мне всевозможные комические сценки, которые ему приходилось наблюдать в бытовых сношениях между русскими солдатами и магометанами. Он восхищался сметливостью русского солдата и его остроумием. Редко хитрость восточных людей торжествовала над русской проницательностью, обманувший русского солдата восточный торговец нередко жестоко платился за свой обман. Солдаты придумывали такие трюки, чтобы наказать обманщика, такой смешной фарс разыгрывался над продавцом, совершенно уверенным в безнаказанности своего обмана, что любой режиссёр мог бы позавидовать солдатской фантазии.

Надо сказать, что злых шуток солдаты никогда не проделывали, но комические положения купца-обманщика надолго отучали его от надувательства солдат.

Незаметно мы кончили обедать, и желание поспать у меня улетучилось. Мне вздумалось попросить брата примерить купленный мною ему халат.

Сбросив китель, брат надел халат. Глубокий фиолетовый тон как нельзя больше шёл к его золотым волосам и загорелому лицу. Я им невольно залюбовался. Где-то в глубине мелькнула завистливая мысль: «А мне никогда красавцем не бывать».

— Как удачно ты купил этот халат, — сказал брат. — У меня их, правда, много, но все я уже надевал, а этот мне нравится особенно. Я ни на ком такого не видел. Непременно надену его вечером, когда пойдём в гости к соседу. Кстати, пойдём в мою «туалетную», как важно зовёт мой денщик мою гардеробную, и выберем для тебя тоже халат.

— Как, — вскричал я с удивлением, — разве мы пойдём туда ряжеными?

— Ну зачем же «ряжеными»? Мы просто оденемся так, как будут одеты все, чтобы не бросаться никому в глаза. Сегодня у Али будут не только его друзья, но и немалое количество врагов. Не будем их дразнить европейским платьем.

Но когда брат открыл большой шкаф в своей гардеробной, в нём оказалось не восемь, а до двадцати всевозможных халатов из разных материй. Я даже вскрикнул от удивления.

— Тебя поражает, как много у меня халатов? Но ведь здесь носят семь халатов, начиная от ситцевого и кончая шёлковым. Кто богаче, носит три-четыре шёлковых; кто беден, носит только ситцевые, но непременно надевают их несколько друг на друга.

— Мой Бог, — сказал я, — да ведь в этакую жарищу, напялив несколько халатов, можно почувствовать себя в жерле Везувия.

— Это только так кажется. Тонкая материя сама по себе не тяжела, а надетая одна на другую, она не даёт возможности солнечным лучам сжигать тело. Вот попробуй облачиться в эти два халата. Ты увидишь, как они невесомы и даже холодят, — сказал брат, протягивая мне два белых, очень тонких шёлковых халата. — Очень истово, как полагается по здешнему обряду, мы одеваться не будем. Но по четыре халата наденем. Я очень тебя прошу, надень пока эти белые халаты и походи в них, попривыкни. А то, пожалуй, вечером при своей рассеянности ты действительно будешь казаться ряженым и оконфузишь нас обоих, — продолжал брат, улыбаясь, видя, что я всё ещё держу в нерешительности поданные мне халаты в руках.

Не особенно горя желанием нарядиться в восточный наряд, но никак не желая огорчить любимого брата, я быстро разделся и стал натягивать халаты.

— Но они узки, какие же это халаты? Это нелепые перчатки! — закричал я, начиная раздражаться.

— Их надо застегнуть, вот здесь крючок, а здесь пуговица, — сказал спокойно брат и лёгкими, гибкими пальцами сам застегнул на мне халаты.

— Теперь, Лёвушка, успокойся и надень этот зелёный халат; он пошире, его тоже надо застегнуть. В нём есть и карманы. А сверху надень ещё этот широкий, серый с красными разводами, — и опять очень ловко он помог мне одеться.

— Теперь ноги, — сказал он. — У Али бывает так много уже признавших полуазиатский туалет друзей, что и мы с тобой можем явиться в европейских туфлях, но сверх них надо надеть кожаные калоши, которые оставляются у дверей. Иначе придётся идти в одних чулках. Ни в мечеть, ни в дом не входят в той обуви, в которой ходят по улице.

Мы выбрали калоши мне по ноге, их тоже оказалось у брата несколько пар.

— Пройдём в мою спальню, там мы выберем тебе чалму.

— Как чалму? На кого же я буду похож? Я и так-то красой не блещу! Помилуй, Николушка, иди уж лучше один, — взмолился я.

Брат расхохотался и весело сказал:

— Ведь покорять сердце прелестной племянницы Али ты не собираешься? А из твоих приятельниц или приятелей никто тебя не увидит. Чего же тебе огорчаться, если восточный туалет тебя не украсит? Впрочем, — прибавил он, подумав, — если хочешь, я могу сделать тебя неузнаваемым. Я тебе приклею длинную седую бороду, и ты можешь сойти за важного купца.

— Ещё того чище! — воскликнул я, расхохотавшись. — Да этак, пожалуй, мне придётся вспомнить, что меня считают неплохим любителем-актёром!

Из ящиков брата мой гость вынул несколько флаконов, и мы разместили их по своим карманам. Среди всяких коробочек, которые мой гость оставил нетронутыми, он нашёл плоский серебряный футляр с выгравированным цветным эмалевым павлином. Распущенный хвост павлина сверкал драгоценными каменьями. Это было чудо художественной ювелирной работы. Тут же висел крошечный золотой ключик на тонкой золотой цепочке.

— Ваш брат забыл второпях эту чудесную вещь, которую он получил в подарок и которой очень дорожит. Возьмите её и, если жизнь будет милостива ко всем нам, когда-либо вы передадите её брату, — проговорил мой чудесный гость, подавая мне футляр с ключиком.

Подавая их мне, он нежно, ласково коснулся обеими руками моих рук. И такая любовь светилась в его прекрасных глазах, что в моё взбудораженное воображение и взволнованное сердце пролилось спокойствие. Я почувствовал уверенность, что всё будет хорошо, что я не один, у меня есть друг.

Мог ли я тогда думать, сколько страданий мне придётся пережить? Сколько бедствий свалится на мою бедную голову! И каким созревшим и закалённым человеком стану я через три года, пока увижу брата, и в жизни его и моей действительно всё станет хорошо.

Я спрятал в боковой карман заветный футляр, как думал сначала, но, рассмотрев его ближе, убедился, что это записная книжка, запиравшаяся на ключ.

Отобрав ещё кое-что, что казалось необходимым убрать моему гостю, мы заперли все ящики, отнесли всё, что вынули из них, в шкаф в гардеробной, плотно задвинули его створки, и тогда я снова нажал кнопку девятого цветка. Вскоре стенка опустилась, мы закрыли дверь гардеробной на ключ, я спрятал его в карман, и мы вышли снова в сад.

Здесь гость мой сказал мне, чтобы я рекомендовал его всем, кто бы нас ни встретил, как своего петербургского друга, и так же сказал о нём денщику.

Затем он передал мне приглашение от лица Али приехать провести сегодня день в его загородном доме, куда он уехал с племянником рано утром. Он ни словом не обмолвился о происшествиях ночи, а я не мог побороть какой-то застенчивости и не спрашивал ни о чём.

Я так был рад не разлучаться с моим новым другом, что охотно согласился поехать к Али. Мы подождали в саду возвращения денщика, и обаяние моего гостя всё сильнее привязывало меня к нему. Тоска в сердце и мучительные мысли о брате как-то становились тише подле него. Спустя часа полтора вернулся денщик. Я сказал ему, что поеду за город с моим петербургским товарищем. А сам товарищ прибавил, что, быть может, мы не вернёмся раньше завтрашнего утра, чтобы он не тревожился о нас. Денщик плутовато усмехнулся и ответил своё всегдашнее: «Так точно».

Мы вышли через калитку внутри сада, прошли немного по тихой, тонувшей в зелени и пыли улице и свернули в небольшой тупичок, кончавшийся большим тенистым садом. Я шёл за моим новым другом, и вдруг мне показалось таким странным, что я знаком с этим человеком чуть ли не целые сутки, так много пережил интимного с ним и подле него — и даже не знаю, как его зовут.

На мизинце брат носил кольцо нашей матери, которой я совсем не помнил. Старинное кольцо из золота и синей эмали с крупным алмазом, тонкой, изящной работы.

Ни мгновения не раздумывая, брат снял кольцо с руки и надел его на средний палец правой руки Наль. Она же, в свою очередь, сняла с висевшей у пояса цепочки перстень-змею, в открытой пасти которой был мутный, бесцветный, большой камень, и надела его на безымянный палец левой руки брата.

Не успел я подумать: «Какой безобразный камень! Такой же урод, как и держащая его в пасти толстая змея», — как вдруг едва не вскрикнул от изумления.

Камень, за минуту похожий на стекляшку, засверкал всеми цветами радуги. Никогда ни один бриллиант самой чудесной воды и грани не мог бросать таких длинных радужных лучей, сверкавших как луч солнца, переломленный в хрустальной пирамиде.

У Али молодого вырвался стон, почти крик. И вновь взгляд дяди заставил его успокоиться, вновь он опустил голову на грудь.

— Это камень жизни, — сказал Али старший. — Он оживает, принимая в себя электричество из организма человека. Ты, друг Николай, в полном расцвете сил, и сердце твоё чистое. Вот камень и сверкает ослепительно. Чем старше будешь становиться, тем тусклее будут лучи камня, если только мудрость и сила духа не придут в тебе на смену физических сил. Ты отдал моей племяннице самое дорогое, что имел, — любовь матери, закованную в это кольцо. Наль отдала тебе дар мудреца-прадеда, завещавшего ей передать кольцо тому, кого будет любить так сильно и верно, что и на смерть пойдёт за него.

Я нечаянно взглянул на молодого Махмеда. Не цветущий юноша сидел против меня. Сидело привидение с прозрачным мертвенным лицом, с тусклыми, ничего не видящими глазами. Я подумал, что он в обмороке и только держится в сидячем положении, случайно найдя устойчивую позу.

— Сегодня, — продолжал Али Махоммет, — должна совершиться та великая перемена в твоей жизни, о которой я тебе говорил месяц назад, моя Наль, и к которой я готовил тебя более пяти лет. Капитан Т. отведёт тебя и двух твоих преданных слуг к себе домой. Али тоже пойдёт с тобой. Там ты найдёшь европейское платье для себя и слуг, переоденешься, отдашь свой халат и покрывало Али, и все вместе с капитаном Т. вы уедете на станцию железной дороги. Али же вернётся сюда. Доверься чести и любви капитана. Он отвезёт тебя в такой город и в такое место, где ты будешь в полной безопасности ждать меня или посла от меня. Ни о чём не беспокойся. Храни только верность единственному закону, закону мира. Будь мужественна и жди меня без страха и волнений. Раньше или позже, но я приеду. Повинуйся во всём капитану Т. и не бойся оставаться без него. Если он временно тебя как-нибудь покинет — значит, так будет необходимо. Но он оставит тебя под охраной верных друзей, если случится такая необходимость. А теперь выйдем в сад все вместе.

Мы вышли в сад. Али молодой подал мне руку, чтобы помочь сойти со ступенек террасы. Внезапно весь дом погрузился во тьму, где-то перегорели пробки.

Пользуясь полным мраком, брат, Наль, Али и ещё две фигуры тихо вышли из сада через калитку. При выходе из калитки Али старший что-то шепнул племяннику, и тот кивнул головой.

В темноте бегали какие-то фигуры, слуги зажгли кое-где свечи, отчего тьма казалась ещё гуще. Так прошло с четверть часа. Мне показалось, что я увидел снова Наль в том же розовом халате, с опущенным на лицо покрывалом. Как будто даже Али Махоммет обнял её за плечи; но среди пёстрых впечатлений этого дня я уже не мог отдать себе ясного отчёта и подумал, что мне померещилась красавица, красота которой точно вдавилась во всё моё сознание.

Между тем свет снова ярко вспыхнул, ещё три раза мигнул и полился ровным потоком.

— Настал час съезда, — чётко сказал Али Махоммет, и я снова ясно понял все слова. — Не забудьте, — вы хромаете на левую ногу, вы глухи и немы. Вам будут много и почтительно кланяться. Не отвечайте никому на поклоны, только мулле едва кивните. Не ешьте ничего с общего стола. Кушайте только то, что вам будет подано с моего стола. Когда будет кончаться ужин, настанет час выхода Наль. Она будет укутана в драгоценные покрывала. Всеобщее внимание устремится на заранее условленное похищение Наль женихом. К вам подойдёт мой друг и проведёт вас к задней калитке сада. Там будет стоять сторож. Вы ему покажете кольцо, что я вам дал, он вас выпустит и вы пройдёте другой дорогой к себе домой. Дома вы найдёте письмо брата. Вы снимите свою одежду, спрячьте всё, как вам будет сказано в письме. Придётся вам немало поработать над беспорядком в доме. Надо, чтобы ваш спящий денщик ничего особенного не заметил, когда станет убирать комнаты.

С этими словами Али оставил меня и пошёл навстречу группе гостей, для которых открыли калитку возле ворот, которой я раньше не заметил.

Высокая фигура хозяина выделялась на целую голову над пёстрой группой гостей. Некоторым он важно отвечал на поклон, и они проходили дальше. Другие задерживались подле него, и он жал им по-европейски руки.

Гости всё подходили, и вскоре вся аллея и веранда были густо усеяны пёстрыми фигурами. Говор, смех и напряжённое ожидание вкусного угощения, какие-то, очевидно, весёлые рассказы, — всё создавало приподнятое настроение.

Но, приглядываясь, я заметил, что гости держатся обособленными кучками. Те, что были одеты не в строго азиатский наряд, держались особняком. А остальные группы всё поглядывали на муллу, как музыканты на дирижёра.

Я поневоле пристально приглядывался ко всем и хотел рассмотреть, не нагримированы ли чьи-либо лица, как моё, искусственную бороду которого я так важно поглаживал.

Время незаметно шло, гости входили теперь реже, где-то заиграла восточная музыка, и из дома вышло несколько слуг, приглашая гостей в зал.

В самой глубине зала, у дверей в соседнюю комнату стоял Али Махоммет с ещё не виденным мною очень высоким человеком в белой одежде и такой же чалме. Золотистая борода, огромные тёмно-зелёные глаза, очень красивые, слегка загорелое лицо. Очень стройный, человек этот был молод, лет двадцать восемь — тридцать, и бросался в глаза своей выдающейся красотой. Ростом он был чуть ниже Али, но много шире в плечах, необычайно пропорционален — настоящий рыцарь средних веков. Я невольно представлял его себе в одежде Лоэнгрина.

— Это нехорошо, отчего же ваш слуга так плохо убирает? В камине какие-то обрывки исписанной бумаги.

Я взял со стола старую газету, подвернул её под оставшиеся в камине клочки бумаги с буквами недостаточно аккуратно сожжённых ночью писем и поджёг.

— Я вижу, вы всё тщательно убрали, — продолжал он, осматриваясь по сторонам. — Кстати, откололи ли вы броши с чалмы своей и брата?

— Нет, — сказал я. — В письме брата ничего не было сказано об этом. Я их оставил на чалмах и запер в шкафу. Вернее, я их там похоронил, так как теперь уже не сумею поднять стену, — улыбнулся я.

— Этому делу помочь просто, — возразил мой гость.

В эту минуту вошёл денщик и спросил разрешения идти на базар. Я дал ему денег для обеда и велел купить самых лучших фруктов. Когда он ушёл, закрыв за собой дверь чёрного хода и унеся с собой ключ, мы прошли с моим гостем в гардеробную брата.

— Вы и дверь не закрыли на ключ? — сказал он мне. — А если бы ваш денщик полюбопытствовал заглянуть в гардеробную?

Он покачал головой, а я осознал себя ещё раз рассеянным.

Я зажёг свет, гость мой наклонился и указал мне на стенке в том же ряду, где я отсчитывал девятый цветок снизу, на четвёртом цветке такую же еле заметную кнопочку. Нажав её, он выпрямился и остановился в спокойном ожидании.

Как и тогда, когда я нажимал кнопку, сначала всё было неподвижно. Но через несколько минут послышался лёгкий шорох и между полом и стенкой образовалась щель. Снова в дальнейшем всё произошло совсем так, как и в первый раз. Движение стенки всё ускорялось и под конец сразу же выровнялась в потолке, как будто век было именно так.

Я отпер дверцы шкафа и достал чалмы, недостаточно почтительно валявшиеся на дне его. Мой гость ловко отстегнул обе булавки, мгновенно сам нашёл футляры, уложил в них броши и спрятал футляры в свой карман. Потом он вынул флакон с жидкостью, который я поставил сюда вчера, и тоже положил его в карман.

— А из туалетного стола вашего брата вы не убирали вещей? — спросил он меня.

— Нет, — отвечал я. — Я туда не заглядывал, в письме об этом ничего не сказано.

— Давайте-ка посмотрим, нет ли там чего-либо ценного, что могло бы пригодиться вашему брату или вам впоследствии.

Разговаривая, мы вернулись в комнату брата. Мысли вихрем вертелись в моей голове: почему надо искать ценности? Почему могло что-то пригодиться «впоследствии»? Разве брат мой не вернётся сюда? И что же будет со мною, если он не вернётся? Все эти вопросы точно горели в моём мозгу, но ни на один из них я не мог себе ответить.

Мне было чудно, что человек, вместе со мной роющийся в ящиках брата, мне совершенно чужой, а всё же полная уверенность в его чести и доброжелательности, сознание, что он делает именно то, что нужно, и так, как нужно, не нарушались во мне ни на минуту.

— Я и есть итальянец, и родина моя Флоренция. Вы не думайте, что все итальянцы смуглые брюнеты. В Венеции женщины даже считали неприличным иметь чёрные волосы и красили их в золотистый цвет, что заставляло их немало трудиться, — говорил он, смеясь. — Но мои волосы неподдельны, о их цвете мне не приходится волноваться.

— Да, — сказал я. — Нося такую красоту, такую гармонию и пропорциональность сложения, можно не заботиться даже о таком высоком росте, как ваш. Вы так дивно сложены, что ваш рост поражает только тогда, когда видишь рядом с вами человека нормального роста, кажущегося малышом, — сказал я, подавая ему тарелку, нож и вилку для дыни. — Вы простите меня, что я так невежлив и не свожу с вас глаз. В глаза Али Махоммета я не в силах смотреть: они меня точно прожигают. А его тонкая фигура не только поражает, но убивает своим ростом. А вы, несмотря на то, что вы почти такого же роста, как Али, всё же не подавляете, но привлекаете к себе, точно магнит. Я хотел бы век быть подле вас и трудиться с вами в каком-то общем деле, — вырвалось у меня восторженно, по-детски.

Он весело засмеялся, стал есть дыню своими прекрасными руками, попросив разрешения обойтись без ножа и вилки.

Только сейчас я увидел, вернее сообразил, что мой гость не в восточном костюме, как я видел его ночью, а в обычном европейском костюме песочного цвета из материи вроде чесучи. Должно быть, моя физиономия отразила моё изумление, так как он мне весело подмигнул и сказал тихо:

— И вида никому не показывайте, что вы меня видели раньше в иной одежде. Ведь и вы сами были в чалме со змеёй, хромы, глухи и немы. Разве я не мог, так же, как и вы, переодеться для пира?

Я расхохотался. Хотя можно было совершенно спокойно принять моего гостя за англичанина, но... видев его однажды в чалме и одежде Востока, я не мог уже расстаться с убеждением, что он не европеец.

Точно угадывая мои мысли, он снова сказал:

— Уверяю вас, что я флорентиец. Хотя и очень, очень долго жил на Востоке.

Я снова расхохотался. Желание моего гостя подурачить меня было так явно! Эта цветущая красота — ему не могло быть больше двадцати шести-семи лет, и то «от силы», как говорит наш народ.

— Скольких же лет вы уехали из Флоренции, если так давно, давно живёте на Востоке? — сказал я. — Ведь вы не многим старше меня. Хотя весь ваш облик и внушает какую-то почтительность, не взирая на вашу молодость. Вчера вы мне показались гораздо старше, а европейский костюм и причёска выдали вас с головой.

— Да, — многозначительно ответил он, глядя на меня глазами, полными юмора. — Ваш европейский костюм и причёска тоже окончательно выдали вашу молодость.

Я закатился таким смехом, что даже пёс брата залаял. А гость мой, кончив есть дыню, обмыл руки в струе фонтана и, не переставая улыбаться, предложил мне пройти в комнаты для небольшого, но несколько интимного разговора. Я допил свой чай, и мы прошли в комнату брата.

Мой гость быстро оглядел комнату и, указав мне на пепел в камине, сказал:

Хозяин приветствовал входивших в зал гостей глубоким поклоном. Гости рассаживались на диваны и пуфы, соблюдая всё тот же порядок и держась отдельными кучками.

Все, входя, оставляли туфли или кожаные калоши у входа, где их брали слуги и ставили на полки. Среди гостей не было ни одной женщины.

Я стоял, наблюдая, как проходят и усаживаются гости, и не представлял себе, куда же мне сесть. Я уже хотел было скрыться обратно в сад, как почувствовал на себе взгляд Али. Он сказал что-то мальчику-слуге, и тот быстро направился ко мне. Почтительно поклонившись, он пригласил меня следовать за собой и повёл к столу неподалёку от стола хозяина.

За этим столом уже сидело двое мужчин средних лет в цветных чалмах и пёстрых халатах. Они сидели по-европейски, обуты были в европейскую обувь, а сверх европейских костюмов было надето только по одному шёлковому халату. Они почтительно поклонились мне глубоким восточным поклоном. Я же, помня наставление Али, даже не кивнул им, а просто сел на указанное мне место.

Когда все гости уселись, только тогда сели за свой стол Али и высокий красавец. Музыка заиграла где-то ближе и громче, и одновременно слуги стали вносить дымящиеся блюда, расставляя их на столы. Мальчики разносили фарфоровые китайские пиалы и серебряные ложки, подавая их каждому гостю.

Но не все гости накладывали жирный, дымящийся плов в пиалы и ели его ложками. Большинство запускали руки прямо в общее блюдо и ели плов руками, что вызывало во мне чувство отвращения, близкое к тошноте. Хотелось убежать, хотя никогда ещё не виданная мною толпа представляла зрелище красок и нравов чрезвычайно интересное.

На наш стол тоже подали блюдо плова, но я не прикасался к нему, помня наставление Али, ожидая специального кушанья от него. И действительно, от его стола отделилась высокая фигура поразившего меня рыжеватого красавца, и он подал мне серебряную пиалу с небольшой золотой ложкой.

Очевидно, честь, оказанная мне, считалась, по восточным обычаям, очень высокой, потому что на мгновение в зале умолк говор и шум и вслед за наставшей тишиной пронеслись восклицания удивления.

Гости, судя по жестам и мимике, спрашивали друг друга, кто я такой. Многие очень серьёзно поглядывали на меня, что-то говорили своим соседям, и те удовлетворённо кивали головами. Но в это мгновение внесли новые ароматные блюда, и внимание отвлеклось от меня.

Я невольно встал перед державшим мою чашу красавцем. Он улыбнулся мне, поставил пиалу на стол и поклонился по-восточному. Всего меня от его улыбки, от добрых его глаз, от какой-то чистоты, которой веяло от него, наполнила такая радость, как будто я увидел старого верного друга. Я поднялся и отдал ему глубокий восточный поклон.

Мои соседи по столу задали мне какие-то вопросы, которых я не понял и не расслышал, а видел только их шевелящиеся губы и вопрошающие глаза. Меня выручил мальчик, сказавший им что-то, показывая на рот и уши. Сотрапезники мои покачали головами и, сострадательно поглядев на меня, принялись кушать с аппетитом свой плов, слава Богу, накладывая его ложками в пиалы. Я поглядел на содержи-

мое моей серебряной пиалы и несказанно удивился. Там по виду был компот из фруктов, а у меня уже разгулялся аппетит, и я с удовольствием поел бы чего-нибудь существенного.

Я разочарованно взглянул на Али Махоммета, он встретил мой взгляд, как бы ожидая моего разочарования.

В его руках была точно такая же пиала, как моя, он её приподнял, как бы желая чокнуться со мной, и ласково мне улыбнулся. Чтобы не показаться невежливым и невоспитанным гостем, я взял в руку ложку и проглотил небольшой кусочек неизвестного мне плода, плавающего в соку, напоминавшем красное вино.

И в тот же час улетучилось всё моё сожаление о более основательной пище. Чудесный вкус, аромат, вроде ананаса, и сок, бодрящий, прохлаждающий. Я ел с таким удовольствием, что даже перестал наблюдать всё вокруг.

А между тем наблюдать было что.

Два моих соседа сняли свои халаты и пиджаки и остались в одних тонких шёлковых рубашках и широких чёрных поясах, заменявших жилеты. На многих столах я заметил тоже влияние жары на более европеизированных гостей.

Правоверные же, обливаясь потом, стирая его рукавами с лоснящихся лиц, усердно ели, нередко пятная свои драгоценные халаты, но никто не снимал ничего из своей одежды. Жара и тяжёлые яства приводили гостей к изнеможению. Позы становились вольнее, голоса громче, затевались споры, по размахиванию рук и возбуждению похожие на ссоры.

Компот, поданный мне красавцем, обладал, очевидно, каким-то волшебным свойством. Мне перестало быть жарко, уже не хотелось содрать чалму, я был бодр и чувствовал неутомимость во всём теле. Мне казалось, могу пройти сейчас вёрст десять легко, и как будто вовсе не было утомления и волнений дня. Мысль моя обострилась, я стал внимательно наблюдать лица вокруг. И мне показалось, что гости стали более грубыми и животными, чем я видел их в начале пира.

Полное спокойствие и самообладание, уверенность в самом себе и какая-то новая сила взрослого мужчины, которой я ещё ни разу не ощущал, появилась во мне и удивила меня самого. Я вспомнил брата, Наль и Али молодого. У меня почему-то не было ни малейшего беспокойства за первых двух, но Али молодого я стал беспокойно искать глазами по всему залу. Мне пришла на память фигура в розовом халате Наль, которую я заметил в темноте в саду мелькнувшей возле Али старшего.

Я продолжал искать по всем столам двоюродного брата Наль, но найти его не мог. Случайно мой взгляд встретился со взглядом хозяина, и я точно прочёл в нём: «Храните самообладание и помните мои слова, когда вам уйти и что делать дома».

Волна какого-то беспокойства пробежала по мне, точно порыв ветра, заставляющий мигать пламя свечи, — и снова я вернулся к полному самообладанию.

Между тем блюда сменялись много раз, уже были расставлены всюду горы фруктов и сластей. Мои соседи ели сравнительно мало, но дыни поедали в большом количестве, всё время посыпая их перцем. Я боялся выказать своё удивление такому своеобразному вкусу, но увидел, что почти все ели их тоже с перцем.

Снова отделилась от стола Али великолепная фигура золотоволосого красавца, и он подал мне чашу с какими-то другими фруктами, напоминавшими по внешнему виду зёрна риса в меду. Наклонившись ко мне, он незаметно сунул мне в руку за-

Глава 3

Лорд Бенедикт и поездка на дачу Али

Я ясно помнил, что красавец-гигант обещал навестить меня днём. Когда я подходил к дому, то увидел денщика, разговаривающего с каким-то разносчиком дынь в калитке сада.

Мне всё казалось теперь подозрительным. Я мельком взглянул на дыни и торговца и молча прошёл в сад.

Денщик захлопнул калитку и подбежал с двумя дынями к столу под деревом, где мы с братом обычно пили чай. Положив дыни, он принёс самовар, хлеб, масло, сыр и выжидательно остановился у стола. По всему его поведению было видно, что он хочет что-то мне сказать.

— Налей-ка чаю, — сказал я ему, — дыни ты, кажется, купил хорошие.

— Так точно, — ответил он. — Изволили слыхать? У нашего соседа скандал приключился. Ночью стёкла побили... драка была и стрельба.

— Да разве ты слышал? Я не так крепко сплю, как ты, да и то ничего не слыхал, — возразил я ему.

— Так точно, я не слыхал сам. Вот торговец мне сказал да всё спрашивал, где мой барин, был ли ночью дома? Я сказал, на охоту уехавши ещё с вечера. И он всё допытывал, когда, мол, уехал да куда. Я сказал, часов в пять уехал, как всегда к Ибрагиму.

В эту минуту послышался довольно сильный стук в парадную дверь. Денщик не пошёл в дом, а открыл калитку сада, рядом с парадной дверью. Я двинулся вслед за ним, подумав, что надо бы взять на всякий случай револьвер. Калитка открылась, и в ней обрисовалась громадная фигура, в которой я сразу узнал своего вчерашнего покровителя.

— Простите, я постучал довольно сильно и, вероятно, встревожил этим вас. Но на два звонка мне никто не открыл. Я и решился прибегнуть к стуку, — сказал он на довольно чистом русском языке, обворожительно улыбаясь.

При ярком свете утра красота моего гостя ещё больше поразила меня. Правильные черты лица, безукоризненные зубы, маленькие уши и большие миндалевидные совершенно изумрудно-зелёные глаза — всё при сияющем солнце было обворожительно. Мой взгляд, полный восхищения, был прикован к нему, к этой обаятельной, такой мужественной и вместе с тем молодой, мягкой красоте. Я пригласил моего гостя разделить со мной утренний чай. Он улыбнулся и ответил:

— Моё утро давно уже миновало. Мы, восточные люди, привыкли вставать рано. Я уже и забыл, когда завтракал, но если позволите, с удовольствием разделю вашу трапезу, съем кусочек дыни. Обычай моей родной страны учит, что только в доме врага не едят, а я ваш преданный друг.

— Вот как! — воскликнул я. — До сих пор я думал, что это обычай старой Италии. Теперь буду знать, что это и восточное поверье.

Только теперь я сообразил, как велика опасность. Не раз вспоминал я смертельную бледность молодого Али, его муки ревности и подавленное бешенство. Чью сторону примет юноша? Не видел ли кто, куда девался хромой старик с пира?

Мы подходили к дому полковника, он звал меня радушно к себе, но я отговорился головной болью и поспешил домой.

писку и опять глубоко поклонился и отошёл. Я хотел отдать ему поклон, но не мог встать, мне не повиновались ноги. При свойственной мне смешливости я расхохотался бы во всё горло, если бы не склеивала так сильно щёк борода. Я развернул записку, там было написано по-английски: «Сначала съешьте то, что я вам сейчас принёс. Не пытайтесь встать, пока не съедите этого кушанья. Вам непривычны наши пряные блюда, от них ноги — как от некоторых сортов вин — вам не повинуются. Но через некоторое время, после новой пищи, всё будет в порядке. Не забудьте, в конце пира вам надо уйти, я сам отведу вас к калитке. Когда подымется шум, встаньте и немедленно идите к столу хозяина, я вам подам руку, и мы сойдём в сад».

Я не хотел раздумывать над сотней таинственно непонятных мне сегодня вещей. Но стать вновь хозяином своих ног я очень хотел, а потому и поторопился съесть содержимое чаши. Это было похоже на маленькие катышки сладкой каши в растворе мёда, вина, ванили и ещё каких-то ароматных вещей. Мои соседи уже давно перестали обращать на меня внимание. Они следили, казалось мне, с возрастающим беспокойством за усиливающимся шумом и возбуждением гостей.

Я попробовал теперь двинуть ногой, привстал, как бы поправляя халат, — ура! — ноги мои тверды и гибки. Шум в зале стал похож на воскресный гул базарной площади. Кое-где за столиками шли ожесточённые ссоры, гости размахивали во всю ширь руками и со свойственной Востоку экспрессией выкрикивали визгливыми голосами какие-то слова. Мне показалось, что я уловил «Наль» и «Аллах». Шум в зале всё усиливался и становился похож на рёв животных. Не успел я отдать себе отчёта, как вспомнил, что мне пора встать и идти к столу Али. Я хотел быстро подняться, но неловкость в левом башмаке быстро заставила меня образумиться и войти в роль хромого. Я отдал должное уму и наблюдательности брата. Не будь этого неудобного башмака, толстой чалмы и склеивавшей движение губ неуклюжей бороды, я бы сто раз забыл, что должен играть роль глухого, немого и хромого.

Взглянув на Али, я увидел, что мой красавец уже поднялся и двинулся мне навстречу.

С большим трудом я вылез из-за стола, оставив обе свои пиалы и ложку на нём. Заметив моё затруднение, золотоволосый великан в один миг очутился возле меня, а мальчик, подскочив с большим листом мягкой белой бумаги, в один миг завернул обе мои серебряные чаши и ложку и подал мне их, что-то лопоча с глубоким поклоном. Видя, что я удивлённо смотрю на него и не беру свёрток, он стал почтительно совать мне его в свободную от палки левую руку.

— Возьмите, — услышал я над собой голос. — Таков обычай. Возьмите скорее, чтобы никому не пришло в голову, что вы не знаете местных обычаев. Мальчик так усердно кланяется вам, потому что думает, что вы очень важная персона и недовольны столь малым подарком в день совершеннолетия. Пойдёмте, пора, — закончил он свою английскую фразу и поддержал меня под левую руку.

Я едва шёл, неудобный башмак так нажал мне ногу, что я почти подпрыгивал и, пожалуй, без помощи красавца-гиганта не смог бы сойти с невысокой, но крутой лесенки в сад.

Едва мы сделали несколько шагов по аллее, как потух свет. В зале раздался рёв голосов не то радости, не то озорства и негодования. Возле нас мелькнула чья-то тень и набросила на моего провожатого какое-то лёгкое плотное покрывало, кото-

рое задело и меня. Мой проводник схватил меня как малого ребёнка на руки и бросился в гущу сада. Добежав до калитки, мы столкнулись со сторожем, которому я показал перстень, данный мне Али Махомметом, и он беспрекословно пропустил нас на улицу. Мой спутник сказал ему несколько слов, он почтительно поклонился и закрыл калитку.

Мы очутились на пустынной улице. Глаза попривыкли к темноте, из сада нёсся шум, но больше ничего не нарушало ночной тишины. Небо сияло звёздами. Мой спутник опустил меня на землю, снял с моей левой ноги неудобную туфлю. Наклонясь ко мне, он стащил с меня чалму и, пристально глядя мне в глаза, сказал:

— Не теряйте времени. Жизнь вашего брата, Наль и ваша зависит во многом от вас. Если вы выполните всё, как указано вам в письме, что лежит на подушке вашего дивана, — всё будет хорошо. Забудьте теперь, что вы были хромы, глухи и немы; но помните всю жизнь, как вы играли и роль старика на восточном пире. Будьте здоровы, завтра утром я вас навещу. А сегодня, что бы вы ни слышали, ни в коем случае не покидайте дома и даже не выходите во двор.

Сказав мне всё это снова по-английски, он пожал мне руку и исчез во тьме.

Когда я отворял дверь дома брата, я увидел, что свет в саду Али снова вспыхнул. «Значит, горит и у нас», — подумал я. Увидев небольшую полоску света из-под двери кабинета брата, я пошёл туда и поразился беспорядку, царившему там, зная щепетильную аккуратность брата.

Очевидно, несколько человек здесь переодевались. Но я мало обратил внимания на внешний беспорядок. Все мои мысли были заняты судьбой брата. Притворив плотно дверь, я запер её на ключ, задёрнул на ней тяжёлую портьеру и поправил складки её на полу, чтобы свет не проникал в щель.

«Прежде всего, — думал я, — надо прочесть письмо». Удостоверившись, что ставни на окнах закрыты, синие шторы спущены и плотные портьеры задёрнуты, я прошёл в свою комнату.

Здесь тоже горела небольшая лампа у самого дивана. Окна тоже были укутаны плотно, и сильная жара становилась невыносимой. Мне хотелось раздеться, но мысль о письме точно заколдовала меня.

Я бросил палку, снял верхний халат, подошёл к дивану и на подушке увидел большой синий конверт, на котором рукой брата было написано: «Завещание».

Я схватил толстый конверт, осторожно его разорвал и оттуда вынул два письма и записку. Одно из них было больше и носило ту же надпись рукой брата: «Лёвушке». На другом незнакомым мне круглым, полудетским, женским почерком было написано: «Другу, Л. Н. Т.»

Я прежде всего развернул записку. Она была коротка, и я жадно её прочёл.

«Лёвушка, — писал мне брат, — некогда. Из большого письма ты узнаешь всё. Теперь же не медли. Сними грим с лица и рук жидкостью, что стоит у тебя на столе. Все костюмы, что брошены в комнате, а также всё с себя спрячь в тот шкаф в гардеробной, который я тебе показал сегодня. Туда же спрячь и флакон с жидкостью для грима. Когда закроешь плотно дверцы шкафа, нажми справа в девятом цветке обоев, считая от пола, совсем незаметную кнопку. Сверху опустится обитая теми же обоями лёгкая стенка и закроет шкаф. Но осмотри внимательно всё, не забудь чего-либо из одежды».

— Почему? — спросил я. — Что им сделал Али Махоммет?

— Да разве вы не слыхали, что против него собираются поднять религиозное движение? И в эту ночь вот эти жёлтые дервиши, конечно, сами учинили огромную пакость Али. Вы ничего не слыхали? — продолжал спрашивать полковник.

Я внутренне вздрогнул, но спокойно пожал плечами и сказал:

— Что же я мог слышать, если почти единственный мой знакомый здесь вы, и вижу я вас только сейчас; а брат мой уехал вчера вечером.

На это полковник кивнул головой и рассказал мне, что в эту ночь у Али Махоммета должно было состояться похищение невесты, его племянницы. Что это — часть обряда, заранее обусловленная, что едет жених похищать невесту с толпой своих товарищей, со стрельбой из ружей и прочей инсценировкой дерзновенного похищения, а на самом деле невесту они находят в определённом месте, выведенную старухами, хватают её и мчат во весь опор на хороших конях, стреляя в воздух, в дом жениха.

Мне вспомнились выстрелы и шум телег ночью; и я недоумевал, чем же это разрешилось, кого же увезли вместо Наль. Видя, что я молчу, полковник счёл, что его рассказ мне не интересен.

— Конечно, вам, столичному человеку, не интересны наши дела. Но, живя здесь, видя тьму, в которой живут люди, зажатые в пасти муллы, поневоле сострадаешь этому чудесному мягкому народу и горячо к сердцу принимаешь борьбу с религиозным фанатизмом такого чудесного человека, как Али Махоммет. Это истинный слуга народа.

Я поспешил заверить полковника, что более чем интересуюсь его рассказом и что рассеянность моя относится к необычной для меня внешней красочности жизни, которой я никогда раньше не видел.

— Да, так вот я и говорю, что они подстроили — вот эти, — кивнул он головой на жёлтые халаты монахов, — самую пакостную историю бедному Али. Они похитили его племянницу, упрятали её куда-то и его обвиняют, что он устроил ей побег с помощью какого-то важного хромого старика купца, которого здесь никто не знает. Словом, факт тот, что ночью с пира жених и его друзья похитили Наль; а когда примчались домой, то в повозке нашли розовый халат, драгоценное покрывало да пару крошечных туфелек невесты, а самой невесты и след простыл. Оскандаленный жених примчался назад в дом Али. Весь дом спал уже глубоким сном. Еле добудились Али, послали на женскую половину за старухами. Когда старухам сказали, что невеста сбежала, тётка Наль чуть глаза не выцарапала жениху. Пришлось самому Али унимать старую ведьму. Но, разумеется, они девушку упрятали в надёжное место, где её никому не достать, чтобы оскорбить Али, обвинить его в побеге и объявить на него религиозный поход. Это очень хорошо, что брат ваш вчера вечером уехал. Все, кто был в добрых отношениях с Али, могут оказаться в опасности, так как религиозный поход — это благовидный предлог для убийства неугодных почему-либо и сведения личных счетов.

Я молча шёл возле полковника, погружённый в невесёлые думы о брате и Наль, об обоих Али и обо всех грозящих им бедах.

Долго ли я сидел перед камином — не знаю. За весь истёкший день я не мог отдать себе отчёта во всём происходившем, а эта ночь, какая-то сказочная, фантастическая ночь, расстроила мои нервы окончательно.

Я старался, но не мог собрать мыслей. На сердце была такая тяжесть, какой я ещё в жизни не испытывал. «Брат-отец», — всё мысленно, на тысячу ладов шептал я, и слёзы лились из моих глаз. Мне казалось, что я похоронил всё, что имел лучшего в жизни, что я вернулся с кладбища, чтобы начать одинокую жизнь брошенного, никому не нужного существа. Ни на минуту в сердце моем не было страха. Отдать жизнь за брата казалось мне делом таким естественным и простым. Но как защитить его? В чём может выразиться моя, такого неумелого и неопытного, помощь ему? Этого я себе не представлял.

Время шло; я всё сидел без мыслей, без решений, с одною болью в сердце и не мог унять льющихся слёз. Где-то очень близко пропел петух. Я вздрогнул, взглянул на часы — было без четверти семь. «Пора», — подумал я.

У меня оставалось время, только чтобы одеться и идти к полковнику N с поручением брата. Я перешёл в свою комнату, отдёрнул портьеру, чуть приоткрыл ставень. На улице всё было тихо.

Я прошёл в умывальную комнату, по дороге увидел денщика, хлопотавшего над самоваром. Я сказал ему не спешить с самоваром, так как брат вечером уехал на охоту, а я пойду известить об этом полковника N.

Очевидно, уехать внезапно на охоту было в привычках брата, так как денщик мой ничуть не удивился. Он вызвался сбегать к полковнику N, но я отклонил его предложение, сказав, что хочу прогуляться сам. Он растолковал мне ближайший путь садами, и через четверть часа, приведя себя в полный порядок, я вышел через сад на другую улицу. Я шёл быстро, было жарко. День был праздничный, и, проходя мимо базара, я шёл среди оживлённой, густой толпы. Я старался ни о чём не думать, кроме ближайшей задачи: оповестить N, — и даже страсть к наблюдениям заснула во мне.

— Здравствуйте, — вдруг услышал я за собою. — Вот как! вас интересует базар? Я уже минут пять бегу за вами и едва догнал. Очевидно, вы что-то высмотрели и хотите купить? — передо мной, весело улыбаясь, стоял полковник N.

— Да я к вам спешу, — обрадовался я. — Брат просил передать вам, что он не дождался вас и с подвернувшейся оказией уехал вперёд на охоту.

И я подробно передал всё порученное мне в записке насчёт встречи, ружья и дроби.

— Вот хорошо-то! — весело воскликнул полковник. — А ко мне приехал мой племянник, страстный охотник, и просит, молит взять его с собой. Места не было бы, если бы я ехал с вашим братом. А теперь я могу его взять. Только выеду не сегодня, а завтра на рассвете.

Разговаривая, мы пересекли базарную площадь, в конце которой, у развалин старой мечети, собралась порядочная кучка восточного народа, среди которого я заметил несколько жёлтых халатов и остроконечных шапок с лисьими хвостами монашеского ордена дервишей.

— Да, должно быть, здорово обозлены эти жёлтые на Али Махоммета, — сказал полковник.

Я мгновенно вспомнил, что провожавший меня покровитель снял с моей головы чалму и сдёрнул с левой ноги туфлю. Я очень обеспокоился, не потерял ли я их дорогой. Но, поглядев на свёрток с чашами, сунутый мне мальчиком, я рядом с ним увидел и уродливую туфлю и чалму. Очевидно, мой спутник дал мне всё это в руки, и я машинально зажал всё вместе, а войдя в комнату, бросил на стол.

Я достал вату, смочил сначала руки, и они сразу стали снова белыми. Я думал, что придётся долго возиться с лицом из-за бороды; но ничуть не бывало. Похожая на молоко, приятно пахнущая жидкость сразу сняла всю черноту с лица; борода легко отстала, мне стало легко и даже не так жарко. Я сбросил ещё один халат, оставшуюся туфлю и чулки, надел лёгкие ночные туфли и пошёл убирать комнату брата.

В царившем, как мне показалось вначале, хаотическом беспорядке всё же была какая-то система. Все халаты были собраны в один узел; все остальные принадлежности туалета тоже были связаны в узлы.

Оставалось всё унести в гардеробную. Я подумал о денщике, но вспомнил, что он обладал таким богатырским сном, что даже пушечная пальба и та не будила его, как говорил брат.

И действительно, едва я вышел в коридор, как богатырский храп денщика заставил меня улыбнуться. Мои лёгкие шаги вряд ли могли нарушить его сон. Несколько раз мне пришлось пропутешествовать из кабинета брата с узлами в гардеробную. Наконец я убрал всю обувь, оставались чалмы. Я узнал чалму брата по треугольнику с изумрудом. На туалетном столе лежал и футляр от него. Я хотел сначала отколоть его и спрятать в футляр, но решил выполнить дословно приказ записки, взял все чалмы, подобрал и футляры и отнёс всё в шкаф. Тут же снял я и всю свою одежду, собрал бороду, палку, чалму, свёрток с чашами и несносную туфлю и всё это бросил тоже в шкаф. Я ещё раз вернулся, внимательно осмотрел все комнаты, нашёл ещё футляр от своей булавки для чалмы и снова снёс в шкаф.

Ещё и ещё раз я рассматривал внимательно все закоулки в комнате брата и наконец решился нажать кнопку, которую отыскал не без труда в девятом цветке обоев. Девятых цветков, считая снизу, было много, и наконец на одном из них, отнюдь не самом близком к шкафу, мне удалось найти что-то похожее на кнопку. Сначала ничего не было заметно; я уже стал терять терпение и называть себя ослом, как лёгкий шелест наверху заставил меня поднять глаза. Я едва не подпрыгнул от радости. Медленно ползла сверху стенка и через несколько минут, всё ускоряясь в движении, мягко опустилась на пол.

«Волшебство, да и только», — подумал я, и действительно, если бы я не собственными руками убрал всё в шкаф, я никогда не мог бы предположить, что комната эта имела когда-нибудь другой вид.

Но раздумывать было некогда, всё виденное и пережитое мною за день слилось в такой сумбур, что я теперь даже неясно отдавал себе отчёт, где кончалась действительность и начинался мир моих фантазий.

Я потушил свет в гардеробной, в которой не было совсем окон, запер двери и снова вернулся в кабинет брата. На полу валялось несколько бумаг, какие-то обрывки писем и газет. Всё это я тщательно собрал, как и куски грязной ваты в своей комнате, бросил в камин и сжёг.

Теперь я мог успокоиться, потушил свет и перешёл в свой «зал». Мне хотелось пить, но жажда прочесть письма была сильнее физической жажды. Я перечёл ещё раз записку, убедился, что всё по ней выполнил, и сжёг её на спичке.

Мне послышался шум на улице, как будто глухо прокатилось несколько выстрелов, и снова всё смолкло.

Я лёг и начал читать письмо брата. Чем дальше я читал, тем больше поражался, и образ брата Николая вставал передо мною другим, чем я привык его себе рисовать.

Много, много лет прошло с той ночи. Не только я уже в поре старчества, не только нет в живых брата Николая и многих из участников побега Наль, но и вся жизнь вокруг меня изменилась; пришла война, одна, другая, третья, пронеслись тысячи встреч и впечатлений, а письмо брата Николая всё стоит передо мной таким, каким я воспринял его всем сознанием в ту далёкую, незабвенную ночь. Вот оно, это письмо:

«Лёвушка!

Письмо это ты прочтёшь тогда, когда настанет час моего большого испытания. Но этот час будет также и твоим огненным часом, и тебе придётся проверить и выказать на деле твою верность и преданность брату-отцу, как ты любил называть меня в исключительные моменты жизни.

Теперь я обращаюсь к тебе как к брату-сыну. Собери всё своё мужество и выкажи честь и бесстрашие, которые я старался в тебе воспитать.

Моя жизнь раскололась надвое. Я — христианин, офицер русской армии, — я полюбил магометанку. И отлично знаю, что в этой любви не бывать весёлому концу. Сеть религиозных, расовых и классовых предрассудков представляет из себя такую стену, о которую может разбиться воля не только одного человека, но и целого войска.

Как я встретил ту, кого люблю? Как познакомился?.. Всё узнаешь, если конец истории не будет печален, вернее, если будет история, а не простой смертный конец. Сейчас я скажу тебе только самое главное, то, что ты должен будешь сделать для меня, если захочешь отстаивать мою жизнь и счастье».

Дальше следовало — через несколько пустых строчек, более свежими чернилами и более нервным почерком — продолжение:

«Ты уже знаешь Али Махоммета и молодого Али. Ты увидел Наль. Тебе предстоит разыграть роль гостя на пиру и... быть заподозренным в том, что ты похитил Наль в тот час, когда её жених должен был по здешнему обычаю похитить свою невесту. Если ты не захочешь выдать меня, если ты будешь хорошо играть свою роль, как тебе это укажут Али старший и его друг, — мы с Наль, быть может, уйдём от грозы и ужаса религиозного преследования фанатиков...

Зайди к полковнику N и скажи, что я уехал раньше него на охоту с подвернувшейся оказией и буду поджидать его у знакомого лесника, как всегда. Если же не дождусь его там, то проеду дальше и рассчитываю, что встретимся у купца Д. и привезём домой немало дичи; чтобы он взял с собой лишнее ружьё и побольше дроби. Сходи утром, часов в восемь, передай всё точно и не опоздай.

Дальше во всём доверься Али Махоммету. Обнимаю тебя. Не думай о грозящей мне опасности. Но думай, хочешь ли добровольно, легко, просто стать защитой, а может быть, и спасением мне и Наль.

Прощай. Мы или увидимся счастливыми и радостными, или не увидимся вовсе. Во всех случаях будь мужествен, правдив и честен.

Твой брат Н.»

Я взглянул на часы. Было уже почти четыре утра. Снова мне послышался шум на улице, хлопанье точно пастушьих бичей; показалось даже, будто в ворота дома стучат. Но я помнил наставление моего ночного спутника по дороге домой, потушил свет и стал прислушиваться. По улице быстро прокатилось несколько телег, завопили какие-то голоса, раздалось снова несколько выстрелов; начинались какие-то песни и сейчас же обрывались.

Мне казалось, что происходит какой-то скандал на улице, хотелось выглянуть откуда-нибудь, но я не решался, чтобы не навлечь подозрений на дом брата.

Сна не было ни в одном глазу, усталости также. Я зажёг снова лампу, перечитал ещё раз письмо брата, поцеловал его и взялся за другое.

«Друг и брат, — начиналось оно, — я только маленькая женщина. Ты меня почти не знаешь, и вот из-за незнакомой женщины в твою жизнь врывается опасность.

Брат, Али Махоммет, мой дядя, воспитавший меня, — лучший человек, какого могла создать жизнь. Если ты захочешь помочь мне избежать ужаса брака с грубым страшным человеком, фанатиком и другом муллы, я уверена, что мой дядя будет тебе всегда благодарен. И в свою очередь защитит тебя от всех опасностей, которые будут угрожать в жизни тебе.

Что я могу ещё сказать, брат и друг? Я прошу твоей помощи и ничего не могу пообещать тебе взамен лично от себя. Мы, женщины Востока, любим однажды, если жизнь позволяет нам любить. Ты — брат, брат-сын того, кого я люблю. Да будет же тебе моя любовь любовью сестры-матери. Останусь ли жива, буду ли мертва — я для тебя с этой минуты сестра-мать. Отдаю тебе поклон и поцелуй, и пусть всегда останется в твоём сердце чудный образ твоего брата-отца, а также горячо любящей его и тебя Наль».

Снова послышался на улице шум; казалось, бегут много ног возле самого дома и снова грохочут несколько телег. Я потушил огонь и вновь стал слушать.

Где-то, теперь подальше, прогремел опять выстрел, проехала, грохоча, ещё одна тяжёлая телега — и снова всё смолкло. Я чиркнул спичку и поглядел на часы. Было уже половина шестого, значит, на улице уже совсем светло; но я всё же не решился открыть окна.

Я зажёг лампу в комнате брата, взял конверты и письма, ещё раз их перечёл, бросил в камин и поджёг.

Как странно горели письма! Вдруг, вспыхнув, почти погасли, отделилось и скрючилось письмо брата, и я ясно прочёл слова: «*брат-отец*». Затем снова всё ярко вспыхнуло, а на письме Наль, точно на белом пятне в кругу огня, появились круглые буквы: «*Наль*».

Ещё раз всё ярко вспыхнуло, превратилось в красные лохмотья и погасло, чтобы уже больше не явиться в нашем мире, как условная серия знаков любви, надежды, опасений, горя и верности.

Всё же раза два он ещё взглянул на меня подозрительно, но, заметив, что я пристально гляжу на его рот, отвернулся и успокоился. Подумав, что толку всё равно мало от моих над ним наблюдений, я решил тоже отвернуться и стал смотреть в окно.

Поезд шёл быстро, очевидно, машинист решил нагонять опоздание. Как только мог охватить глаз, всё шла безводная, голая степь. Ни деревца, ни кустика, ни жилья. Я невольно думал о трудностях жизни народа, которому приходится выращивать чудесные фрукты, богатейшие виноградники и красочные цветы на искусственном орошении. Между тем поезд стал заметно замедлять ход. Мы огибали глубокий овраг, на дне которого сверкала маленькая струя воды. Очевидно, снова начиналась сеть искусственного орошения, отчего вся местность резко изменилась. Замелькали сады кишлаков, стали попадаться гигантские фиговые, ореховые и каштановые деревья.

Поезд ещё немного замедлил ход, и вдруг я увидел прыгающую фигуру сарта, который, артистически рассчитав свой прыжок, исчез в глубоком овраге.

Надо сказать, он исчез вовремя. Не успел я повернуться к Флорентийцу, как открылась дверь вагона, вошли два кондуктора, спрашивая билеты. Флорентиец подал наши билеты, сходившие на следующей станции отдали свои, кондуктора прошли дальше, и я думал, что Флорентиец мне расскажет, о чём шептал ему сарт. Но он незаметно приложил палец к губам и дал мне прочесть записку, которую держал в руках.

Это был текст телеграммы до востребования, написанный по-русски в город С. купцу К. с извещением, что купец А. живёт, — дальше стояло многоточие.

Я мало понял, почему эта записка в руках Флорентийца, хотя сообразил, что ему дал её выпрыгнувший сарт.

Через четверть часа мы остановились у следующей станции, где никто не сел в наш вагон. Флорентиец вынул из своего узла две книги, подал одну из них мне. Его книга была написана на арабском языке, а та, что он дал мне, напоминала толстый затрёпанный молитвенник, и шрифт её был мне так же понятен, как страница того гигантского Корана, который показывал мне брат в одной из мечетей города.

Я улыбнулся и удивился тонкой наблюдательности того, кто складывал наши узлы. Какая же другая книга могла быть в руках у дервиша, как не трёпаный, видавший виды в постоянных странствиях бездомничающего монаха молитвенник.

Какой-то богобоязненный старик принёс мне дыню и кусок хлеба, другой протянул мне два куска сахара. Я ещё раз мысленно поблагодарил человека, давшего мне своё платье дервиша, за урок вежливого обхождения и благодарности монаха, когда ему дают пищу. Флорентиец объяснял всем, что я глух, но святой жизни и мои молитвы хорошо доходят до Бога. Я же, опустив глаза вниз, прикладывал руку к груди и несколько раз кивал головой, не глядя на тех, кто давал мне подаяние. Кое-кто, услыхав, что я святой жизни и хорошо привечен Богом, давал мне и деньги.

Так ехали мы до самого вечера, и снова сразу настала ночь. В вагоне всё поутихло. Флорентиец подпихнул мне мой узел, оказавшийся мягким, под голову, заставил меня лечь, а сам сел у моих ног.

Не знаю, долго ли я спал, но проснулся я оттого, что кто-то сильно меня тряс. Я никак не мог проснуться, хотя сознавал, что меня будят. Наконец чьи-то сильные

— Послушайте, друг, — сказал я. — Вы велели рекомендовать вас всем как моего близкого петербургского друга. А я не знаю даже, как мне самому вас звать, не только как мне вас другим называть.

Он улыбнулся, взял меня под руку — но я думаю, ему было бы удобнее положить мне руку на плечо, так я казался мал, идя рядом с ним, — и тихо сказал мне по-английски:

— Это ничего не значит. Ваши знакомые будут думать, что я в самом деле английский лорд. А так как лордов они никогда не видели, то мне будет легко играть эту роль. Кстати, у меня есть и монокль, которым я отлично манипулирую.

Он вставил в левый глаз монокль, поджал как-то смешно губы, разделил свою небольшую золотую бороду надвое — и я прыснул от хохота, до того он был высокомерен, напыщен, а его прекрасное, умное лицо стало глупым и тупым.

— Ну, вот видите, как весело, — процедил он сквозь зубы, — я могу изображать высокомерного тупицу не хуже, чем вы хромого дедушку. Называйте меня всем лордом Бенедиктом, а сами зовите меня Флорентийцем, как все зовут меня.

Мы вошли в сад и встретились там с двумя молодыми офицерами, товарищами брата. Они шли к нам и были очень разочарованы, что брат уехал на охоту, я познакомил их с моим петербургским другом, англичанином, лордом Бенедиктом. Лорд высокомерно оглядывал бедных мешковатых поручиков с высоты своего громадного роста. На обращённые к нему вопросы мямлил сквозь зубы по-английски: «Не понимаю», несколько раз ловко сбросил и поймал бровью свой монокль, чем окончательно сразил таращивших глаза армейцев, никогда не видавших живого лорда с моноклем, и наконец быстро сказал мне, что лошади ждут, чтобы я сказал им, что я еду в гости за город к его дяде, тоже англичанину.

Мы простились, я ещё сдерживал душивший меня смех, но когда услыхал пущенное возмущённым тоном вдогонку нам: «Ну и английская харя», — я уже не мог сдержаться, залился вовсю, и сзади мне вторили два раскатистых баса.

Но лорд Бенедикт, как истый англичанин, и бровью не повёл, отчего мне было ещё смешнее.

Мы молча пересекли сад, где бил высокой струёй фонтан, в нём не было ни души, и царила полная тишина, которую нарушал только фонтан своим журчанием да цикады мелодичной трескотнёй.

У ворот сада стояла отличная коляска в английской упряжке. Две поджарые, подлинно английские лошади неспокойно стояли, и их с трудом сдерживал старый кучер во фраке, гетрах и башмаках светло-коричневого цвета, с английским кнутом в руке, точь-в-точь как я видел на модных картинках журналов.

Я поглядел удивлённо на моего лорда, он элегантно чуть-чуть поклонился мне и предложил мне первому занять место в коляске.

Я пожал плечами, сел, лорд быстро уселся рядом, сказал что-то кучеру, чего я не понял, и мы помчались.

Довольно скоро мы выехали за город. Я ещё не видел окрестностей. По обе стороны дороги тянулись виноградники, фруктовые сады, огромные баштаны дынь и арбузов. Непрерывно ехали нам навстречу на ослах люди всех возрастов в чалмах. Нередко на одном осле ехали по два человека. Встречались и женщины, укутанные в чёрные сетки и покрывала, тоже иногда сидевшие по две на одном осле.

Всё тонуло в пыли; всё залито было солнцем и зноем, и казалось, конца не будет этому обильному плодородию, мимо которого мы катили.

Так ехали мы около часа. Наконец мы свернули налево и, проехав ещё с четверть часа, очутились в степи.

Картина сразу резко изменилась. Точно мы попали в другое царство. Всё плодородие, вся зелень остались сзади, а впереди — сколько мог охватить глаз — шла пустынная степь с выжженной травой.

Меня укачали ритмический бег лошадей, мягкое покачивание эластичных рессор и мелькание нагретого воздуха, и я незаметно для себя задремал.

— Мы скоро приедем, — сказал мне мой спутник по-русски.

Я встрепенулся, посмотрел на него и... обмер. Передо мной сидел в чалме и белой одежде мой ночной покровитель.

— Когда же вы успели переодеться? — в раздражении почти закричал я.

Он весело рассмеялся, приподнял обитую бархатом скамеечку впереди нас, и я увидел ящик, в котором лежали ещё халат и тюрбан в виде уже намотанной чалмы.

— Я оделся как требует долг вежливости Востока, — сказал мой спутник. — Ведь если мы приедем в европейском платье, Али должен будет подарить нам по халату. Я думаю, вам не очень хотелось бы сейчас принимать подарок от кого-либо, а это халат вашего брата.

— Мне не только был бы несносен восточный подарок, но и вообще я потерял, думаю навсегда, вкус к восточному костюму после маскарада и чудес прошлой ночи, — не совсем мягко и вежливо ответил я.

— Бедный мальчик, — сказал Флорентиец и ласково погладил меня по плечу. — Но, видишь ли, друг Лёвушка, иногда человеку суждено созреть сразу, и приходится стать почти непосредственно после юности закалённым мужчиной. Мужайся, друг. Вглядись в своё сердце, чей живёт там портрет? Будь верен брату-отцу, как он был верен всю жизнь тебе, брату-сыну.

Слова его задели самую глубокую из моих ран, привязанностей и скорбей. Острую тоску разлуки с братом я снова пережил так сильно, что не смог удержать слёз, я точно захлебнулся своим горем.

«Я ведь решился быть помощником брату, — подумал я, — зачем же я думаю о себе? Пойду до конца. Начал маскарад — и продолжать надо. Ведь это брат хотел, чтобы я нарядился восточным человеком. Будь по его».

Я проглотил слёзы, вынул чалму, надел её на голову и облачился в пёстрый халат сверх своего студенческого платья.

Вдали был виден уже дом, сад и начинался по обе стороны дороги виноградник. Гроздья в нём уже зрели и наливались соком, краснея и желтея на солнце.

— Теперь недолго уже страдать и мучиться в догадках, — сказал Флорентиец. — Али всё расскажет тебе, друг, и ты поймёшь всю серьёзность и опасность создавшегося положения.

Я молча кивнул головой, мне казалось, я достаточно уже всё понимал. На сердце у меня было так тяжело, как будто, выехав за город, я перевернул какую-то лёгкую и радостную страницу своей жизни и ступил в новую полосу грозы и бед.

Мы въехали в ворота и по длинной аллее гигантских тополей подъехали к дому. Как только экипаж остановился и мы вошли в довольно большую переднюю, к нам

Я взглянул на перрон и увидел, что к старику, нёсшему наш багаж и теперь стоявшему в дверях вокзала, подошёл мулла. Но в эту минуту начальник станции махнул рукой, раздался оглушительный третий звонок, обер-кондуктор свистнул, в ответ раздался свисток паровоза, и наконец мы двинулись.

Не успели мы немного отъехать от вокзала, как в наш вагон с противоположной стороны перрона впрыгнул, как кошка, молодой сарт. Он часто и трудно дышал, очевидно, очень быстро бежал. Войдя в вагон, он не сел, а шлёпнулся рядом с нами. Я думал, что вот-вот он упадёт в обморок.

Поглядев на него, Флорентиец покачал головой и обратился к двум старым сартам, сидевшим в глубине вагона. Речи его я не понял, но один из них встал и подал задохнувшемуся сарту воды в кувшине из тыквы. Тот выпил её жадно, но всё же не мог прийти в себя.

Наконец он несколько поуспокоился и спросил Флорентийца, сидевшего с ним рядом и почти закрывавшего собою мою небольшую фигуру, не заметил ли он кого-либо, кто садился в поезд на этой станции.

— Как не заметить? Я сам садился, мой племянник садился, да ты садился, — ответил ему, смеясь, мой друг. — Нет, впрочем, ты не садился, ты прыгнул, — прибавил он, на что несколько человек в восточных халатах тоже засмеялись.

Молодой сарт уже совсем пришёл в себя.

— От кого ты так убегал? Тебя преследуют царские власти? — спросил его Флорентиец.

— Нет, — ответил он, — я догонял поезд, чтобы передать одному нашему купцу письмо, очень для него важное. Мне сказали, что непременно он или его племянник едут в этом вагоне.

И он встал с места, обошёл весь вагон, поблагодарил старика, давшего ему пить, и, поговорив немного с ним, опять вернулся к нам.

— Нет, — сказал он. — Здесь нет ни дяди, ни племянника, которых я ищу, а в вагонах первого класса нет ни их рыжего друга, ни хромого старика. Придётся мне на повороте спрыгнуть и караулить следующий поезд.

Флорентиец важно покачал головой, выказывая сочувствие к его неудавшейся миссии и желанию спрыгнуть с поезда на ходу.

Молодой сарт объяснял Флорентийцу и столпившейся вокруг нас кучке любопытных, что купец, которого он искал, — его благодетель и если кто-либо скажет ему, кто сел на этой станции в поезд, кроме нас с Флорентийцем, то он сам и богатый купец-благодетель отблагодарят его.

Один из стариков сказал, что видел, как в последний вагон поезда сели две женщины и молодой человек. Лицо сарта зажглось, точно факел сверкнул и отразил своё пламя в его глазах, он растолкал окружавшую нас кучку пассажиров и стремглав бросился в соседний вагон.

Прошло минут двадцать, он снова возвратился к нам, довольно постное выражение его физиономии говорило без слов об успехе его поисков.

Его вторичное появление никого уже не заинтересовало, кое-кто из пассажиров стал готовиться к выходу на ближайшей станции.

Сарт снова сел возле Флорентийца и стал шептать ему что-то на ухо, опасаясь, чтобы я не услышал его слов, но Флорентиец успокоил его, показав ему на мои уши.

Мы двинулись кратчайшим путём к озеру только вдвоём с Флорентийцем, простившись наскоро с обоими Али и новым знакомым.

Подойдя к озеру, мы сели в лодку. Флорентиец быстро переправил нас на другую сторону, и через несколько минут мы увидели быстро катившую к нам простую бричку. Ни словом не обменявшись с возницей, мы сели в неё и покатили по направлению к вокзалу.

Вокзал от города был вёрстах в трёх, и мы, минуя город, выехали к нему совсем с другой стороны. В нашей бричке мы нашли два узла из ситцевых платков и два убогих деревянных сундучка. Флорентиец вёл себя так, как будто никогда ничего кроме ситца не носил и об элегантных чемоданах понятия не имел.

Подъехав к вокзалу, мы соскочили с брички и очутились в густой толпе восточного народа, галдевшего и возбуждённого. На нас они не обратили никакого внимания, увидев простых, бедно одетых купца и монаха, а продолжали зорко вглядываться во всех подъезжающих, побогаче одетых.

К нам подошёл старик и предложил помочь нести наши узлы. Флорентиец передал ему мой узел и сундучок, взял свой под мышку, узел в руку, точно это были пакеты с ватой, сказал что-то старику, и мы двинулись на вокзал.

Там поджидал нас другой старик и подал Флорентийцу два билета. Едва мы вышли на платформу, как подкатил поезд.

Мы разыскали наш вагон третьего класса и уселись на грязной скамье. На полу валялись кожура бананов, корки апельсинов, огрызки дынь и арбузов, куски хлеба и обрывки бумаги.

Едва мы уселись, как поднялся на платформе шум, толпа, через которую мы прошли у входа на вокзал, ворвалась, галдя, на перрон. Размахивая руками, люди бросились мимо загораживавшего им путь жандарма к вагонам первого класса. Толпа лезла и в международный вагон, куда её не пускали. Начальник станции, жандарм, проводники — все были в один миг разбросаны. Несколько человек из толпы пролезли в вагон, кого-то разыскивая, крича и перекликаясь.

Перепуганные, ничего не понимавшие, немногочисленные пассажиры тоже подняли крик. Жандарм подавал тревожные свистки, и к нему на помощь уже летели со всех сторон носильщики, жандармы и группа вооружённых солдат. Толпа успела обшарить международный вагон, перешла в первый класс; кое-кто успел обежать и оба вагона второго класса. Но здесь их настиг жандармский офицер, зычным голосом выстроил солдат в строевой порядок, и восточная толпа мгновенно рассеялась во все стороны, не успев добраться до вагона третьего класса. Убегая со всех ног, проскакивая через вагоны запасных путей, люди скрылись, точно их не бывало. Впрочем, вероятно, им и не интересны были убогие вагоны третьего класса: ища самого Али или кого-либо из близких ему, они не могли предполагать их присутствия среди грязи и пыли третьего класса.

Поезд всё ещё стоял, хотя время отправления уже истекло. Я обливался потом и не раз вытирал своё лицо большим пёстрым платком, данным мне дервишем, и именно тем жестом, которому он меня обучил. Хотя я и был совершенно уверен, что нас узнать никому невозможно, но не мог не заметить, что в глазах моего спутника мелькнуло внезапно какое-то беспокойство.

быстрой лёгкой походкой вышел Али Махоммет. В белой чалме, в тонкой льняной одежде, застёгнутой у горла и падавшей широкими складками до пола, он показался мне не таким худым и гораздо моложавее. Смуглое лицо улыбалось, жгучие глаза смотрели с отеческой добротой. Он шёл, издали протянув мне обе руки. Поддавшись первому впечатлению, измученный беспокойством за всё это время, я бросился к нему, как будто бы мне было не двадцать лет, а десять.

Я прильнул к нему с детским доверием, забыв, что надо мужаться перед малознакомым человеком и скрывать свои чувства. Все условные границы были стёрты между нами. Моё сердце прильнуло к его сердцу, и я всем существом почувствовал, что я в доме друга, что отныне у меня есть ещё один друг и родной дом.

Али обнял меня, прижал к себе и ласково сказал:

— Пусть мой дом принесёт тебе мир и помощь. Войди в него не как гость, а как сын, брат и друг.

С этими словами он поцеловал меня в лоб, ещё раз обнял и повернул меня к Али молодому, стоявшему сзади меня.

Я помнил, как страдал этот человек, когда Наль отдала моему брату цветок и кольцо. Мог ли я ждать чего-либо кроме ненависти от него, ревновавшего свою двоюродную сестру к европейцу?

Но Али молодой, так же как и дядя, приветливо протянул мне обе руки. Глаза его смотрели прямо и честно мне в глаза, и ничего кроме доброжелательства я в них не прочёл.

— Пойдём, брат, я проведу тебя в твою комнату. Там ты найдёшь душ, свежее бельё и платье. Если пожелаешь, то переоденешься, но прости, европейского платья у нас здесь нет. Я приготовил тебе наше лёгкое индусское платье. Если ты пожелаешь остаться в своём платье, слуга тебе его вычистит, пока ты будешь купаться.

С этими словами он повёл меня по довольно большому дому и ввёл в прелестную комнату, окнами в сад, под которыми росло много цветов.

— Через двадцать минут ударит гонг к обеду, и я зайду за тобой. А за этой дверью душ и ванная комната, — прибавил он.

Он ушёл, я с наслаждением сбросил свой студенческий китель, которым так гордился, открыл дверь в ванную и, увидев, что она полна тёплой воды, с восторгом стал в ней полоскаться. Мне захотелось ещё и душем освежиться, я пополоскался и под ним и наконец, набросив мягкий купальный халат, вернулся в комнату. Не успел я ещё вытереться хорошенько, как постучали в дверь. Это был слуга, принёсший мне какое-то прохладительное питьё. Я выпил его залпом и почувствовал себя верблюдом в пустыне, так была велика моя жажда, которой я не замечал, пока не начал пить.

Я пробовал говорить со слугой на всех языках, но он не понимал меня, отрицательно качая головой, печально разводя руками. Вдруг он заулыбался во весь рот, закивал, что-то бормоча, утвердительно головой и побежал к шкафу, вытащил оттуда бельё и белую одежду. Очевидно, он подумал, что я спрашиваю его именно об этом. Я хотел остаться в своём платье, но у слуги был такой радостный вид, он был так счастлив, что понял, чего мне было надо, что мне не захотелось его огорчать. Я весело рассмеялся, похлопал его по плечу и сказал:

— Да, да, ты угадал.

Он ответил на мой смех ещё более радостными кивками и повторил, как бы желая запомнить:

— Да, да, ты угадал.

Речь его была так смешна, я мальчишески залился хохотом и вдруг услышал звук гонга.

— Батюшки, — закричал я, как будто мой слуга мог меня понимать, — да ведь я опоздаю!

Но мой слуга понял отлично переполох, который я ощутил. Он быстро подал мне короткие белого шёлка трусы, длинную рубашку, белый шёлковый нижний халат и ещё одну белую одежду, лёгкую льняную, вроде той, в какую был одет Али Махоммет.

Не успел я залезть во всё это, как раздался стук в дверь, и на мой ответ «войдите» вошёл Али молодой.

— Ты уже готов, брат, — сказал он. — А я принёс тебе чалму; подумал, что ведь твоя остриженная голова сгорит без чалмы.

— Да я не умею её надеть, — ответил я.

— Ну, это один момент. Присядь, я тебе сверну тюрбан.

И действительно, гораздо скорее, чем это делал брат, он обернул мне голову чалмой. Мне было удобно и легко. На голые ноги я надел белые полотняные туфли без каблука, и мы двинулись с Али Махмедом обедать.

Мы вышли в сад, и в тени необычайно громадного каштана я увидел круглый стол, за которым уже сидели старший Али и Флорентиец. Я извинился за своё опоздание, но хозяин, указав мне место рядом с собой, приветливо улыбнулся и ласково сказал:

— У нас нет строгого этикета, когда мы живём на дачах. Если бы тебе вздумалось и совсем не выйти к какой-нибудь трапезе, чувствуй себя совершенно свободным и поступай только так, как тебе легче, проще и веселее. Я буду очень рад, если ты погостишь здесь, отдохнёшь и наберёшься сил для дальнейших трудов. Но если жизнь рассудит иначе — возьми в моём доме всю любовь и помощь и помни обо мне как о преданном тебе навеки друге.

Я поблагодарил, занял указанное мне место и посмотрел на Флорентийца. Он тоже переоделся в белое индусское платье. Снова я поразился этой цветущей красоте, этой юности, где, казалось, не было ни одной складки страдания или беспокойства, но было разлито полное счастье жизни.

Он тоже поглядел на меня, улыбнулся, вдруг поджал губы, сделал движение левой бровью и веком, и я увидел глупое лицо лорда Бенедикта. Я залился своим мальчишеским смехом, рассмеялись и оба Али.

Стол был сервирован прекрасно, но без всякого шика. Меню было европейское, но ни мяса, ни рыбы, ни вина не было.

Я был голоден и ел с удовольствием и суп, и зелень, как-то особенно приготовленную, с превкусными гренками, отдал дань и чудесным фруктам. Я так занят был едой, так отдыхал от всего пережитого, что даже мало наблюдал моих сотрапезников.

Подали в чашах прохладительное питьё; но оно нисколько не было похоже на содержимое той чаши, что мне подал на пиру Флорентиец. Обед кончился, как и

ваюсь, что за всеми нами идёт слежка. Царское правительство не вмешивается в религиозные погромы, не видит и не слышит их, пока ему это удобно. Ни тебе, ни твоему брату не уйти живыми, если начнётся погром моего дома и найдут где-либо вас. Всем известна наша дружба, и, если изловят тебя, ты ответишь за всех. Этот друг предлагает тебе одеться сейчас в платье дервиша, а Флорентийцу — в обычное платье простого купца и уехать в третьем классе в Москву. По дороге уже сами будете соображать, как вам лучше спасаться, я же буду посылать вам телеграммы до востребования на все узловые станции и оповещать о ходе событий. Не забывай, что тебе надо думать не о себе. Спасая свою жизнь, ты думай только о лишней паре рук и ног для защиты друга, брата-отца. Весь героизм сердца, вся сила мужества должны быть собраны, чтобы не выдать себя в опасные минуты ни одним растерянным взглядом или движением. Смотри прямо в глаза тем, кто тебе будет казаться подозрительным. Стань снова временно глухонемым и со свойственным им упорным вниманием смотри на рот говорящих. Это будет сбивать с толку преследователей. Времени остаётся мало. Али и новый друг помогут тебе переодеться, если ты захочешь принять это предложение. Я же передам Флорентийцу всё нужное для вашего пути и условлюсь о телеграммах.

Он поднялся и вышел вместе с Флорентийцем, а Али молодой и новый знакомый стали облачать меня в платье дервиша, на что я согласился без колебаний.

В довершение всех моих бед я снова был смазан бесцветной жидкостью. На этот раз уже всё моё тело, смазанное ею, стало тёмным, а руки, ноги и лицо, покрытые дважды слоем жидкости, стали точно сожжённые солнцем, как-то сморщились, и мне стало на вид лет сорок. Но теперь я не вздыхал о своей исчезнувшей юности и белизне. Дело шло не о маскараде, а о жизни дорогого мне брата и моей собственной, и я старался запомнить характерные жесты и манеры, которые мне показывал мой новый друг, мнимый дервиш.

Едва я кончил одеваться, как вошёл Флорентиец. Его узнать было невозможно. Длинная чёрная борода, голубовато-серая чалма и пёстрый ситцевый халат, подпоясанный платком, на ногах мягкие чёрные сапоги. Он имел вид средней руки торговца, отправляющегося за товарами. Его лицо и безукоризненные руки не уступали в черноте моим, а ногти и зубы были отвратительно грязны.

В прежнее время я бы покатился от хохота, но сейчас я принял всё как должное, оценив его неузнаваемость.

— Приклеили ли вы ему шапку к голове? — спросил он. — Ведь может быть и такая случайность, что кто-либо попробует сбить шапку с его головы.

Он достал из своего огромного кармана тёмную ермолку, натянул её мне на голову так туго, что казалось сорвать её можно только с кожей, и сверх неё, смазав внутреннюю сторону остроконечной шапки клейкой жидкостью, напялил и её на мою несчастную голову. Я едва держался на ногах, так было жарко; голову сжимало, становилось тошно.

Вошёл Али старший и, очевидно, понял моё состояние. Он вынул из стола коробочку, открыл её и положил мне в рот белую пилюлю. Остальные, закрыв коробку, передал Флорентийцу.

— Лошади ждут у озера, вы поедете оттуда, — сказал Али, — времени едва хватит доехать до станции.

дящим в кабинете Али — этого мои нервы не вынесли, я почувствовал такое раздражение, что готов был броситься на него.

Али молодой, взглянув на меня и увидев по моему расстроенному лицу, что я переживал, шепнул мне:

— Не все, кто одет дервишем, на самом деле дервиши. Это друг.

Я постарался взять себя в руки, стал пристально рассматривать мнимого дервиша. И ещё раз устыдился своей невыдержанности и отсутствию такта и внимания. Если бы я начал с того, чтобы посмотреть в лицо этого человека и на нём сосредоточил бы своё внимание, а не на себе, я бы не мог раздражиться. Это был юноша, не старше сидевшего рядом со мною Али Махмеда.

Тёмные глаза, мягко, как звёзды, сверкавшие из-под нахлобученной шапки, прелестный нос, продолговатый овал лица и чудесные, хотя и загорелые и огрубевшие, прекрасной формы руки. Вся фигура, несмотря на нищенский халат, дышала благородством. Большой ум читался на его лице, и так и хотелось сбросить эту тяжёлую и противную шапку, чтобы увидеть лоб, должно быть, лоб мыслителя.

Дервиш говорил на непонятном мне языке; и, к стыду своему, я даже не мог определить, что это за язык. Я знал, что мне скажут всё, о чём шла речь, и отдался наблюдениям.

Флорентиец сидел спиной к окну против молодого дервиша, на которого падал прямо весь свет. Хотя окно было занавешено лёгкой тканью цвета слоновой кости, но света было совершенно достаточно, чтобы ни малейшее движение мускулов лица незнакомца не ускользнуло от меня.

Поистине, он был тоже красавец. Выше среднего роста, широкий в плечах, он напоминал мне чем-то неуловимым моего брата. Лицо Али старшего выражало такую серьёзность, что мне снова вспомнились все грозящие брату беды, и снова острая боль прорезала сердце.

Незнакомец снова заговорил. Его голос, оригинальный, низкий, баритональный, металлический, мог бы составить честь любому оперному певцу. Он, очевидно, что-то предлагал. Все молчали, точно обдумывая его предложение и, наконец, Али старший, взглянув на меня, сказал:

— Прости, друг. Ты не понимаешь нашего языка, я вкратце объясню тебе суть дела. Мулла и жених якобы на основании свидетельских показаний моих гостей, мальчиков и слуг утверждают, что Наль похищена тем гостем на пиру, которому я посылал блюда со своего стола. Они говорят, что это был важный старик, хромой и седой, который вышел из-за стола как раз в тот момент, когда была похищена Наль. Мулла объявил, что здесь было колдовство, в котором обвиняют меня и моего старого гостя, которого всюду ищут. Религиозный поход против меня уже объявлен. Две из построенных мною школ уже сровнены с землёй. И каждой женщине, у которой будут найдены книги, будет объявлено отлучение. А это хуже смерти в здешних глухих и диких местах. Далее молва утверждает, что кто-то видел, как мой гость спрятался в доме твоего брата. Надо полагать, что дикая орда набросится на дом твоего брата, быть может, сожжёт его, как и мой дом. Мне необходимо будет сейчас же поехать в город, чтобы спасти людей, оставшихся в моём доме, от верной гибели. Тебе же вместе с Флорентийцем надо отправиться на станцию железной дороги и постараться доехать до Петербурга, чтобы там помочь нашим беглецам. Я не сомне-

начался, без особых разговоров. Старшие говорили тихо на незнакомом мне языке, Али же молодой объяснял мне названия и свойства цветов, стоявших в овальной фарфоровой китайской вазе посреди стола. Многих цветов я совсем не знал, некоторые видел только на рисунках, но восхищался всеми. Али обещал мне после обеда показать в оранжерее дяди редкостные экземпляры экзотических цветов, обладавших будто бы замечательными свойствами.

Хотя я и был занят своим аппетитом, но заметил, что Али молодой ел мало и, казалось, только из вежливости, чтобы я не выделялся среди всех своим аппетитом, но всё же он ел все подававшиеся блюда. Но сколько бы раз я ни смотрел на Али старшего, я ничего кроме фруктов, мёда и чего-то похожего на молоко в его руках не видел.

Незаметно обед кончился. С самого начала меня поразила перемена, происшедшая в молодом индусе. Сейчас она казалась мне ещё более разительной. Его нетронутой безмятежной юности как не бывало. Он, должно быть, пережил такое глубокое страданье, что вся его психика сделала скачок точно в другой мир. И я невольно сравнил наши судьбы и подумал, что и я перешёл рубикон безмятежного детства, и занавес над ним опустился. Начиналась другая жизнь...

Всё время, с первого момента, как Али Махоммет обнял меня, я хотел его спросить о брате, и всё вопрос застывал на моих устах, я не мог решиться задать его. Теперь снова острая тоска о брате резнула меня по сердцу, и я с мольбой взглянул на моего хозяина. Точно поняв мой безмолвный вопрос, Али встал, встали и мы все и поблагодарили его за обед. Он пожал всем руки и, задержав мою в своей руке, сказал мне:

— Не хочешь ли, друг, пройти со мной к озеру? Оно недалеко, в конце парка.

Я обрадовался возможности поговорить, наконец, с Али Махомметом, и мы двинулись в глубь сада. Мы с Али старшим шли впереди. Сначала я слышал за собой в отдалении шаги Флорентийца и молодого Али. Но вот мы свернули в густую платановую аллею, и нас окружила ничем, кроме птиц и цикад, не нарушаемая тишина. В этой части парка уже не было цветов, но деревья попадались не только необычайно развесистые и с колоссально толстыми стволами, но и с необыкновенной окраской листьев и цветов. Особенно привлекли моё внимание две группы: совершенно чернолистых клёнов и розовых магнолий. Дивные большие цветы бледно-розового цвета покрывали деревья так густо, что они казались колоссальными розовыми яйцами. Аромат был силён, но нежен. Я невольно остановился, вдохнул всеми лёгкими душистый воздух и, забыв все раздирающие мысли, воскликнул:

— О, как прекрасна, как дивно прекрасна жизнь!

— Да, мой мальчик, — тихо сказал Али. — Обрати внимание на эти рядом живущие группы деревьев. Чёрные клёны и рядом розовые магнолии, — и всё вместе, будучи таким ярким контрастом, живёт в полной гармонии, не нарушая стройной симфонии вселенной. Вся жизнь — ряд чёрных и розовых жемчужин. И плох тот человек, который не умеет носить в спокойствии, мужестве и верности своего ожерелья жизни. Нет людей, чьё ожерелье жизни, сотканное из вереницы серых простых дней, было бы соткано из одних только розовых жемчужин. В каждом ожерелье чередуются все цвета, и каждый связывает свои жемчужины шнурком своих духовных сил, нося

всё в себе. Ты уже не мальчик. Настала минута выявить и тебе твои честь, мужество, верность.

Мы двинулись дальше; вдали сверкнуло озеро; мы ещё раз свернули в аллею мощных кедров и подошли к беседке, устроенной из растущего ветвями вниз большого вяза. В ней было тенисто, с озера веяло прохладой.

Безмятежность жизни, казалось, ничем не нарушалась. Но слова Али зажгли бурю во мне. Мысли мои кипели; я чувствовал, что услышу сейчас что-то роковое, но не мог привести себя в равновесие.

— Вчера ночью я спас две жизни, хотя тебе может казаться, что я обрёк их мукам и угрозам смерти. Я давно тружусь, чтобы пробудить самосознание в этом народе, разбить ужас фанатизма и пробить брешь, хотя бы к самой начальной культуре и цивилизации. Я открыл здесь несколько школ, отдельно для мальчиков и мужчин, и для девочек и женщин, где бы они могли выучиться грамоте на своём и русском языках и зачаткам, самым элементарным, физики, математики, истории. Все мои начинания встречались и встречаются в штыки, и не только тёмными муллами, но и царским правительством. С двух сторон я слыву революционером, неблагонадёжным человеком. Я говорю тебе это для того, чтобы ты ясно составил себе представление, в какое положение ты попал; и отдал себе отчёт в своих дальнейших действиях и поступках. Я вперёд тебя предупреждаю: на тебе не висят никакие обязательства, ты совершенно свободен в своём выборе и поведении. И что бы ты ни услышал от меня, ты сам добровольно выберешь свой путь. Сам нанижешь в ожерелье Матери-Жизни ту жемчужину, цвет и величину которой создаёшь своим трудом и самоотверженной любовью. Если ты захочешь устраниться с пути борьбы за брата и Наль — тебя твой «лорд Бенедикт», — чуть улыбнулся Али, — отвезёт в Петербург, где ты будешь в совершенной безопасности. Если же верность твоя последует за верностью твоего брата — ты сам определишь ту помощь и роль, которые пожелаешь принять в борьбе за него. Наль воспитана мною. Только внешняя форма соблюдалась — и то весьма нестрого — на восточный манер. Наль образованна хорошо, и её блестящие способности помогли ей знать гораздо больше, чем знает любой окончивший европейский университет человек. Пять лет назад я уговорил твоего брата заниматься с Наль математикой, химией, физикой и языками, так как частые отлучки из города не позволяли мне самому регулярно заниматься с ней. Отсюда и происхождение тех восточных халатов, бород и усов, что вы схоронили сегодня с Флорентийцем в гардеробе твоего брата. Тупая дуэнья, старая мать Али Махмеда, когда-то спасённая мною от разорения и гибели, оказалась злой и неблагодарной. Только переодеваясь в разные халаты, мог твой брат проникать как учитель в разных гримах в рабочую комнату Наль. И старая, слеповатая баба была уверена, что впускает всё разных учителей. Охраняя Наль во время уроков, она спала и так смешно храпела, что заставляла Наль иногда громко смеяться, что даже не будило глухую дуэнью.

Я представил себе два прекрасных молодых существа, учащихся под охраной полуслепого, полуглухого стража, вспомнил почему-то, как сам я разыгрывал роль: «Вы хромы, глухи и немы», — и закатился своим мальчишеским смехом.

Али погладил меня по плечу и продолжал: — Время шло. Я понял давно, какое чувство выросло между Наль и твоим братом. Было бы бесполезно взывать к чести и муд-

Аромат деревьев, чириканье птиц, треск цикад были снова единственными спутниками нашим мыслям. Никогда ещё я не чувствовал себя так необычайно. Казалось, все внешние факты должны были бы задавить мой дух. А на самом деле, впервые среди величавого молчания природы, в обществе этого человека, в котором я чувствовал необычную силу и чистоту, я понял какую-то иную, ещё неведомую мне жизнь сердца. Я ощутил себя единицей этой беспредельной вселенной, среди которой я жил и дышал; и мне казалось, что нет разницы между мною, солнцем, сверкающей водой и шумящими деревьями, что все мы отдельные ноты той симфонии вселенной, о которой говорил Али.

Я точно прозрел в какую-то глубь вещей, где все революции, борьба отдельных людей, борьба страстей целых наций, все войны и ужасы стихий — всё вело человечество к улучшениям, к завоеваниям в коллективном труде великих ценностей равенства и братства. К той гармонии и красоте, где свобода какой-то новой жизни должна дать всем людям возможность отдавать от себя всё лучшее на общее благо и получать каждому то, что нужно ему для его совершенства и индивидуального счастья...

Я ушёл в свои мысли, какая-то радость наполнила всё моё существо, и я не заметил, как мы подошли к дому и встретились подле него с Али молодым и Флорентийцем.

Обменявшись малозначительными фразами по поводу красот парка, мы вошли уже вчетвером в дом и уселись на открытой веранде у стола, где стояли чашки для чая. Жара немного спала, нам подали чай в больших чайниках красивой расцветки и оригинального китайского рисунка. Только что мы успели выпить по чашке чая, как вошёл слуга и тихо сказал несколько слов хозяину. Тот извинился перед нами и вышел.

Мы молча остались за столом. Каждый был погружён в свои думы, никого не стесняло это молчание. Всё точно сосредоточились в себе, готовясь каждый по-своему к борьбе.

Лично я — казалось мне — точно и не жил до сегодняшнего дня. Только сегодня я ощутил всю свою связь со всеми людьми, знакомыми мне и незнакомыми, далёкими и близкими, и оценил жизнь по-новому, решая вопрос, что значит свой или чужой и кто свой и кто чужой.

По свойственной мне рассеянности мне казалось, что прошло очень мало времени, но на самом деле прошло около часа.

Вошёл слуга и сказал Али молодому, что хозяин просит всех нас пройти к нему в кабинет. Мы встали, Флорентиец обнял меня за плечи, ласково прижав к себе на минуту, и мы прошли в другую половину дома, которой я ещё не видал.

Через ту же переднюю, в которую мы вошли с Флорентийцем, как только остановился экипаж у подъезда дома, мы вошли в большую восточную комнату — кабинет Али Махоммета. Мы увидели его сидящим за письменным столом, и у стола в глубоком кресле, обитом ковром, сидел в жёлтом халате и остроконечной шапке с лисьим хвостом дервиш.

Сюрпризы последних суток, должно быть, так разбили мои нервы, что я едва не вскрикнул от изумления и растерянности. Я всего ожидал. Но увидеть дервиша си-

Глава 4

Моё превращение в дервиша

В моём сердце стало как-то ясно и тихо. Я ни минуты не волновался о себе и даже волнение за судьбу брата перестало меня тревожить. Присутствие Али, его мощь и энергия влили в меня уверенность и энергию.

Чем больше я погружался мыслью в страшную рознь народов, чем ярче представлял себе невежество бедного, неграмотного и почти всегда голодного народа, который даже и выбрать себе самостоятельно религии не может, а попадает с рождения в лапы фанатиков, который всю жизнь рабски повинуется, — тем яснее становилось мне, что я не могу остаться равнодушным к судьбе хотя и чуждого мне по крови, но, конечно, такого же народа, с красной кровью и страждущим сердцем, как и мой родной, зажатый царской лапой русский народ, с которым связал меня брат.

И чем больше я думал, какой странной случайностью я оказался связанным сейчас с судьбой чужого народа, ввязавшись в самую сердцевину его предрассудков, — тем сильнее сознавал, что нет случайностей, а есть целая сеть закономерных действий. Что во всей окружающей нас жизни, как и в природе, нет явлений случайных, а царит гармония всегда закономерно и целесообразно действующих сил, связывающих всех людей воедино, как группы чёрных клёнов и розовых магнолий.

Моё спокойствие не то что возрастало с каждой минутой, оно как бы утверждалось, черпая силу в самой глубине моего сердца, которое, казалось, я понял впервые. Видя моё молчание, Али прибавил:

— Не думай, что тебе надо дать ответ сию минуту. Хотя, конечно, временем большим мы не располагаем, я ожидаю самого быстрого хода событий.

— Мой ответ готов, — сказал я. — Я так глубоко спокоен, решение моё так ясно, что я ещё ни разу за всю свою жизнь не припомню подобного чудного́ и чу́дного состояния духа, подобного мира в себе. Я не только не колеблюсь. Но мне даже не представляется возможным пойти другим путём, где бы я мог отделить себя от брата, от вас, от Флорентийца и всех ваших друзей. Ведь если бы мой брат был здесь, он слил бы свою жизнь с вашей и пошёл бы бороться за освобождение вашего народа, хотя вы индус и этот народ не является и для вас вашим родным народом. Моё решение не нуждается в обдумывании. Я иду с вами, я верен моему брату-отцу и буду отстаивать также всеми силами его жизнь и счастье, как и раскрепощение того народа, которому вы так беззаветно и самоотверженно служите.

— Твоё спокойствие, друг, убеждает меня более всяких клятв и обещаний. Вернёмся в дом, там могут быть какие-нибудь новые вести.

С этими словами Али Махоммет встал, обнял меня и, положив руку мне на голову, заглянул глубоко в мои глаза своими агатовыми бездонными глазами. Трепет какого-то восторга охватил меня, я точно потерял сознание на миг и пришёл в себя уже в аллее кедров, где мы шли, любуясь сверканием довольно большого озера на ярком солнце.

рости твоего брата, он и без того был на высоте их. Я не мешал этому чувству, так как всё равно не видел выхода для Наль иного, кроме побега из этого места гнетущего фанатизма, и готовил к нему всё заранее. Старая дурища испортила весь мой план. Она завела за моей спиной интриги с муллой и дервишами. Довела дело до сговора несчастной Наль с самым отчаянным и злым из всех религиозных фанатиков, каких я здесь знаю. И теперь я накануне объявления религиозного похода против меня, так как не давал согласия на брак и покровительствовал христианам и революционерам. Не буду утруждать тебя подробностями — ты сам видел, что избежать сговора не удалось. В тот миг, когда тебя вывел Флорентиец из сада, на женской половине тоже шёл пир. Туда женщины собрались через другой ход, и там всё было подготовлено к законному похищению невесты. Роль невесты играл Али, мой племянник, пробравшийся в темноте в костюме Наль на женскую половину и успевший сесть на место невесты, пока продолжался беспорядок с освещением. Темнота немного дольше длилась на женской половине. Всё совершилось честь честью. Невеста была выведена старухами в сад и там, переданная из рук в руки, «похищена» женихом. С выстрелами, шумом и гамом, как полагается по обряду для знатного купеческого дома, было выполнено похищение. По дороге приключилась какая-то заминка с одной из лошадей. И пока все товарищи с факелами и ножами вместе с женихом поправляли упряжь, Али сбросил с себя халат, драгоценные покрывала и оставил в повозке захваченные с собой туфельки Наль, сам же выпрыгнул бесшумно из телеги — на что он большой мастер — и, скрывшись во тьме, благополучно добрался до моего утихшего и уже заснувшего дома, где мы его поджидали у калитки с Флорентийцем. Немало выстрадал Али. Ты не мог не заметить перемены, происшедшей в нём за одну ночь. Он обожал с детства сестрёнку, часто учился вместе с ней у твоего брата. Наль — его второе «я», и, пожалуй, это второе «я» ему дороже собственной жизни. Буря ревности, тяжёлый плащ предрассудков, мечты об особенной судьбе Наль и себя, — всё окутывало Али и должно было или сгореть в нём, или утопить его под собою. Он никак не ожидал, что первым другом и покровителем в жизни Наль будет не он. Не верил, что я стану на сторону твоего брата и благословлю эту любовь, чистой и прекрасной которую он признавал всегда. Уступить Наль другому мужчине, да ещё европейцу, было для него непереносимым. Дозволить ей уйти в опасный путь без себя — всё это сначала разбило его. Его спасла беспредельная верность мне, верность и любовь ребёнка, потом юноши, от которого у меня не было тайн. Его истинная поглощающая любовь к Наль, заставившая его забыть о себе и думать о ней, спасла не одну, а три жизни, которые были бы прерваны его рукой, если бы верность мне не победила всё. В эту ночь он добровольно выбрал тропу жизни и надел на нить своего ожерелья чёрную жемчужину отречения, как листья чёрного клёна, чтобы помочь жить женщине, так похожей на розовую магнолию... Я уже сказал, не сегодня-завтра объявят религиозный поход против меня. Но что это значит, я лучше не буду тебе объяснять. Когда, доехав до дома жениха, увидели, что в повозке лежит только одежда Наль, мгновенно известили муллу и дервишей и, посоветовавшись с ними, вернулись в мой спавший дом целой толпой с омерзительными криками, оскорблениями и угрозами. Я молча стоял среди этой дикой, разъярённой толпы. И наконец, воспользовавшись минутой относительной тишины, велел слугам вызвать старух, которые должны были вывести Наль в сад в

условленное место к жениху. Толпа ждала. Казалось, всё вокруг наполнено электрическими токами их бешенства. Проходили минуты, казавшиеся часами. Переполох в доме, конечно, давно разбудил всех на женской половине. Вскоре шесть старух во главе со старой тёткой Наль стали рядом со мной.

— Эти люди, — сказал я им, — обвиняют вас в том, что вы не Наль вывели в сад, а одну её одежду отдали жениху.

В обеих группах — и среди озверелых мужчин, и среди дрожавших от страха и пришедших в бешенство от такого обвинения женщин — поднялся невообразимый вой. Обе стороны готовы были вцепиться друг в друга. Размахивая руками, вопя какие-то проклятия, старая тётка Наль утверждала, что сама вложила руку Наль в руку жениха. Остальные подтверждали, что видели, как жених взял Наль на руки, и даже заметили, что она была тяжела его слабым силам. Я посмотрел на жениха, он потупился и сказал, что ему не приходилось носить на руках женщин и что действительно Наль показалась ему тяжелее, чем он предполагал. На мой вопрос, донёс ли он её и посадил ли в телегу, он указал на двух своих товарищей, людей большого роста и силы редкой, и сказал, что сам он смог еле-еле донести Наль до калитки, что там её взял один из товарищей и донёс до телеги, а в телегу её осторожно положили оба рослых друга. Пришлось мне и их спросить, была ли то Наль или только одежда, которую они уложили в телегу. Оба утверждали, что то была Наль, никто не мог быть так строен и тонок, кроме девушки Наль.

— Куда же вы её девали? — спросил я. — Женщины утверждают, что вам её отдали, вы утверждаете, что вы её взяли, а теперь приходите искать в мой дом то, что из него увезли? Где же Наль?

Снова поднялся вой, они обвиняли меня и племянника, что мы её украли и спрятали в доме, что она сбежала, очевидно, в тот момент, когда произошла в пути задержка из-за распрягшейся лошади. И что, конечно, Наль в моём гареме. Бешенству старух и злющей тётки не было предела. Наконец выступил мулла с двумя дервишами и попросил позволения посмотреть на женской половине, нет ли там Наль. Всё мужское и женское население, высыпавшее в сад, привлечённое страхом и любопытством, было окончательно возмущено таким вторжением на половину женщин, но я велел им замолчать, оставаться всем на месте, а старухам, мулле и дервишам идти искать по всему дому, где только хотят. Весь сад уже давно был обшарен ворвавшейся толпой без всякого разрешения, не забыты были ни погреба, ни ледник, ни каретник, ни амбар, где помещалась электрическая машина. Уже светало. Обыск продолжался долго. Некоторые из толпы даже задремали, когда снова присоединился к нам мулла и монахи. Их постные физиономии говорили без слов об удаче их поисков. Жених, человек малого роста, хилый, возбуждённый пережитыми неудачами, едва держался на ногах. Мулла понял, что самое лучшее — разыграть комедию сочувствия мне, и произнёс цветистую речь, как у меня под носом тётка Наль не сумела уберечь девушку. Снова поднялся вой, и вряд ли удалось бы мулле сохранить свою бороду, если бы Али Махмед и я не успели удержать бешеных старух. Более благоразумные монахи стали уговаривать толпу разойтись, чтобы не привлечь к семейному скандалу внимания русских властей. Я читал смертельную ненависть в их глазах и нисколько не сомневался, что, если бы не рассвело и они не боялись бы отвечать перед русским судом — они бы прикончили и меня, и Али, и многих из

моих домочадцев и гостей. По местным понятиям более осрамлённым оставался жених. Он злобно посмотрел на своих рослых товарищей, какое-то подозрение вдруг мелькнуло в его глазах, и, повернувшись круто спиной к ним, он грубо их обругал и быстро побежал к калитке. Остолбенев и оставшись на миг недвижимыми, все его товарищи, мулла и толпа, пришедшая с ними, — все бросились бежать вслед за женихом, натыкаясь друг на друга, валя кого-то с ног, притискивая друг друга в узкой калитке. За стеной сада послышались перебранка жениха с товарищами и муллой, несколько выстрелов, крики. Но калитка захлопнулась, ещё раз послышались крики, шум отъезжающей телеги, конский топот, — и всё смолкло. Старухи были искренне убиты позором и несчастны. Они клялись и божились, что Наль сидела с подругами вечером за столом, что они сами накинули ей ещё чёрное покрывало сверх драгоценных уборов и наперебой рассказывали, как тяжело было жениху нести невесту, как он передал ношу товарищу и т. д. Я велел всем идти спать, сказав, что сам буду искать Наль, чтобы ни в дом, ни из дома в течение суток никто не входил и не выходил.

Сейчас я уже имею известие, что твой брат и Наль едут благополучно в скором поезде в Москву. Но это не значит, что они уже спасены. Пока не доберутся до Петербурга и не сядут на пароход, отходящий с Невы в Лондон, — нельзя быть уверенным в их благополучии. Перейдём теперь к твоей роли, — продолжал Али Махоммет после короткого раздумья. — Ты невольно запутан в эту историю, как брат Николая, так как злой глаз религиозных фанатиков видит врагов во всех друзьях того, кому объявляет свой религиозный поход. А друг — в этих случаях, — каждый, кто близок или хорошо знаком с настоящими друзьями отвергаемого. С другой стороны, дервиши решили, что похитил Наль незнакомый им хромой старик, и здесь след может привести к тебе, а уж к Флорентийцу непременно. Ты, повторяю, свободен в своём решении. Ты можешь мне сейчас сказать, что желаешь остаться непричастным всему делу, — и ты немедленно уедешь в К., — назвал Али крупный торговый город, — с письмом к моему другу, у которого ты проживёшь недели две-три и вернёшься в Петербург. Или же, если хочешь помогать мне отстаивать жизнь брата, надо сказать своё решительное слово и начать действовать.

Так закончил Али свой разговор со мной.

Я пошёл хлопотать об обеде. Звонкая монета обделала всё легко и просто. Через час в нашем купе стоял складной столик, и лакей из вагона-ресторана принёс отличные вегетарианские блюда. Мой барин велел мне передать повару денежную и сердечную благодарность и просьбу покормить нашего проводника.

Наконец всё было убрано, и я отправился с последним поручением барина к проводнику. Я передал ему, что телеграмма известила лорда о возможности хорошей торговой операции на станции П. Чтобы он нас разбудил заранее и помог мне вынести вещи на платформу. Он был очень рад услужить нам за хороший обед и всё повторял, что такие хорошие и прибыльные пассажиры редко попадаются.

Войдя в купе, я увидел, что Флорентиец приготовил мне постель, вынув мягкую подушку из большого чемодана. Я был растроган его заботой, вспомнил, как сам он спал на твёрдом валике, и с укоризной сказал ему:

— Ну, зачем вы беспокоитесь? Я же мог так же спать, как и вы. Да и вряд ли засну. Нервы взбудоражены, всюду мерещатся западни.

— Ничего, я дам тебе капель, возбуждение уляжется, и заснёшь сном не хуже моего.

Говоря так, он достал из своего широкого пояса-жилета маленький флакон и накапал мне в воду несколько капель.

— Гомеопатия, — сказал я. — Не очень-то я ей верю, — но всё же проглотил и улёгся. Последнее, что я слышал, был смех Флорентийца, и я точно провалился в пропасть, сразу крепко заснул.

Проснулся я, как мне показалось, от стука в дверь. На самом же деле это будил меня Флорентиец. На этот раз я проснулся легко, чувствуя, как дивно я отдохнул. Не успел я встать, как раздался стук в дверь. Выглянув в коридор, я увидел проводника, который сказал, что через двадцать минут будет станция П., чтобы я собрал вещи и он вынесет их на площадку, так как поезд стоит здесь только восемь минут.

Вещей мне собирать не пришлось, всё было уже собрано Флорентийцем. Он успел и подушку и простыню убрать, пока я одевался и разговаривал с проводником. Сам он был теперь в другом костюме и велел мне надеть поверх моей курточки лёгкий светлый костюм, а вместо моей кепи на голову панаму. Сверх всего он накинул на меня и себя чёрные плащи, вроде тех, что носят морские офицеры.

Мы с проводником вынесли вещи на перрон, как только поезд остановился. Кто-то из пассажиров окликнул его из вагона, он наскоро пожал мне руку и убежал на зов.

На этот раз вся медлительность Флорентийца исчезла. Он быстро взял большой чемодан и свой саквояж, маленький дал мне, взял меня за руку и зашагал не в зал, а в сторону, огибая садик станции, к водонапорной башне.

Едва мы успели зайти за неё, как с противоположной её стороны выскочили два дервиша, вглядываясь во тьму ночи. К ним, запыхавшись, подбежал с перрона сарт, быстро что-то сказал и ткнул в руки билеты. Все трое вихрем помчались со всех ног к поезду и едва успели вскочить в последний вагон трогавшегося поезда.

Мы молча стояли за выступом башни. Флорентиец крепко держал меня за руку. Мы ждали до тех пор, пока поезд не отошёл и всё не стихло вокруг. Тогда он сказал мне:

руки поставили меня на пол, и я вдохнул струю нашатыря. Я чихнул и окончательно проснулся. Флорентиец стоял рядом со мною, оба сундучка наши были связаны и перекинуты через его плечо, один узел был у него под мышкой, тот, на котором я спал, он взял в руку, а другой рукой показал мне на дверь и подтолкнул меня к ней.

В вагоне было почти совсем темно. Кое-где свечи в фонарях уже догорали, да и висели фонари в вагоне очень редко и высоко.

Спросонья я мало что понимал, но двинулся к двери. Мне представилось, что мы будем сейчас прыгать, как сарт, с поезда, который, кстати сказать, мчался опять на всех парах; и я приходил в ужас от своего мешковатого платья, длинного, неудобного, стеснявшего мои движения. Ни с чем логически не связанная, вдруг мелькнула мысль, что и шапку-то мне приклеили к голове, чтобы она не свалилась во время прыжка.

Мы вышли бесшумно на площадку вагона, и я взялся за наружную дверь, чтобы её открыть.

— Рано ещё, — сказал мне тихо в самое ухо Флорентиец.

— Так мы на всём ходу и будем прыгать? — спросил я его так же тихо.

— Прыгать? Зачем прыгать? — сказал он смеясь. — Мы подъезжаем к большому городу, где живёт мой друг. Мы сойдём на станции, возьмём извозчика и поедем к нему. Но пока я сам тебе не скажу, ты всё храни полное внешнее безразличие дервиша и на обращённые кем бы то ни было к тебе вопросы показывай на уши. Поезд замедляет ход. Ты сходи вперёд и подай мне руку. И ни на одну минуту не отходи от меня ни на станции, ни в доме моего друга, куда мы приедем. Так и держись, либо за мою руку, либо за пояс, как если бы ты был слепым и не мог бы без моей помощи двигаться.

Поезд подходил к перрону плохо и скудно освещённой станции. Вокруг царила ночь, и казалось, что никто даже не двигался на станции. Мелькнула красная фуражка дежурного начальника, рослая фигура жандарма, и поезд остановился.

Мы сошли с перрона, прошли через полупустой зал третьего класса и вышли на подъезд. Здесь к Флорентийцу подошёл какой-то сарт и предложил довезти до ближайшего кишлака. Флорентиец объяснил ему, что нам надо в город, в торговые ряды. Сарт обрадовался; его дорога шла мимо рядов, и он думал, что ночью сможет сорвать с нас хороший куш.

Не тут-то было. Флорентиец яростно торговался как истый восточный купец. Он так и сыпал горошком слова, закатывая глаза, и разводил руками, как и возница. Оба они горланили минут десять, наконец сарт вздохнул, закатил глаза и воззвал к Аллаху. Только этого, казалось, и ждал Флорентиец. Сложив руки, также воззвав к Аллаху, он выдвинул меня вперёд, и возница увидел перед собою дервиша. Он моментально утих, поклонился мне и позвал нас к своей тут же стоявшей телеге. Мы взгромоздились на неё и поехали в город, который был в двух вёрстах от станции.

Глава 5

Я в роли слуги-переводчика

Мы ехали, храня полное молчание. Возница пытался было задавать вопросы Флорентийцу, но, получая односложные ответы сонным голосом, решил, что мы устали, должно быть, от долгого пути, и перенёс внимание на свою лошадь.

Лошадка трусила по мягкой дороге. Тьма освещалась только мерцающими звёздами, и мысли мои, точно замёрзшие с момента моего тяжёлого сна в вагоне, снова зашевелились.

Мне ещё не приходилось слушать молчание ночи в степи. Снова — как и в парке Али — меня охватило чувство преклонения перед величием природы. Я смотрел на усыпанное звёздами небо и разглядел впервые многие созвездия, о которых только читал и слышал до сих пор. Звёзды не походили на наши северные. Гораздо больше, светлее, они точно лампады мерцали, и я впервые увидел сам тот дрожащий свет звёзд, о котором часто читал у поэтов. Даже небо казалось мне как-то ниже. Перерезанное широкими полосами Млечного Пути, оно сверкало контрастами полной тьмы и света.

Я вернулся мыслями к Али Махоммету и его положению. Опять меня пронзила радость от встречи с ним и мысль о красоте и гармонии природы, — я подумал о мощи любви и счастья, которые льются из природы человеку, о тех великих скорбях и слезах, которыми наполняет мир сам человек, всегда оправдывая свои действия именем великого Творца, и будто бы в защиту Ему выливая в мир жестокость своего фанатизма и преследуя людей в религиозной и социальной жизни.

Мерный стук копыт и потряхивание тележки по мягкой дороге не усыпили меня, но вдруг в молчании ночи я почувствовал себя одиноким, несчастным и беспомощным... Это было лишь одно мгновение слабости. Я вспомнил слова Али, что настало моё время выказать мужество и верность. И волна бодрости, даже радостности опять пробежала по мне. Я захотел скорее вступить в борьбу не только за жизнь и счастье любимого брата и Наль, но и за всех страдающих от ига фанатиков, от тисков безумцев, одержимых предрассудками религии, считающих свою единственно верной и нужной и давящих всё живое, что рвётся к свободе и знанию, к независимости в жизни...

Я прикоснулся к Флорентийцу, благодарно приник к нему и встретил его добрый, ласковый взгляд, который, казалось, говорил мне: «Нет одиночества для тех, кто любит человека и хочет отдать свои силы борьбе за его счастье».

Мы уже въезжали в город. Улицы окраины были похожи на сплошные сады. Но когда мы въехали в центр, и там характер города оставался тот же. Ночь была уже не так темна, среди кольца зелёных улиц вырисовывался гигантский силуэт мечети и торговых рядов.

Флорентиец приказал вознице остановиться, мы сошли, рассчитались с ним и отправились вдоль рядов, кое-где охраняемых ночными сторожами. Раза два мы свернули в тихие спавшие улицы и наконец остановились у небольшого дома с садом. На стук

буквами были составлены английские слова. В одной говорилось, что на станции П. нас будут ждать лошади. А в другой, что два дома и два магазина в К. загорелись от неизвестных причин, спасти удалось только людей и животных.

Я взглянул на Флорентийца, который читал местную газету, полученную утром из К. В ней было известие о пожаре в доме Али, о том, что огонь перебросился через дорогу на дом капитана Т. Дом сгорел дотла, спасся только один денщик. А сам капитан, его брат и их друг, хромой старик-купец не смогли проскочить через стену пламени, так как старый сухой дом загорелся сразу со всех сторон, как картонный. А запас бензина, хранившийся в доме, содействовал столбам пламени.

Флорентиец перевёл мне эту заметку и сказал, что, судя по телеграммам, пока для нас всё благополучно. У него с Али было условлено, что если нас выследят в этом поезде, Али вышлет из своего хутора лошадей на станцию П. Мы там сойдём и поедем обратно на предшествующую станцию, где и сядем в московский поезд. Телеграмма о лошадях есть, и до П. уже недалеко. Сердце моё было неспокойно. Мне думалось, что брат действительно мог вернуться и мог очутиться в опасности. Я поделился своими мыслями с Флорентийцем.

Лицо моего друга было очень серьёзно.

— Что твой брат в опасности, об этом ты знаешь. Пока все они не сядут на пароход и не достигнут Лондона, зверство религиозных фанатиков будет им грозить. Но что его нет в К. — это так же верно, как и то, что тебя там не было во время пожара. Будем думать не о призраках и фантазиях, растрачивая попусту энергию, а будем её собирать, чтобы в полном самообладании выполнить свою долю помощи нашим беглецам. Теперь тебе предстоит организовать наш обед. Заплати проводнику ещё лишний «на чай», попроси свести тебя с поваром вагона-ресторана и закажи ему для своего барина-чудака вегетарианский обед. Но только чтобы подали его сюда и не дольше как через час. Скоро ты почувствуешь усталость; надо тебе поесть и выспаться. Нам предстоит в короткое время сделать тридцать вёрст на лошадях. Лошади будут хороши, коляска, думаю, тоже, но твоё здоровье хрупко.

— Я невысок и худ, но здоровье моё крепко. Я хорошо закалён и выдрессирован братом с детства. Я не раз сопровождал его в лагеря, один раз даже ходил в поход и могу шутя проехать верхом и сорок вёрст, — ответил я. — Если же я упал в обморок и часто чувствую изнеможение, то только непривычная жара тому причиной. Но конфеты Али спасут меня. Обо мне вы не думайте. Скорее надо бояться вашего страшного сна; потому что, если вы так заснёте в коляске, как заснули в поезде, то действительно можно сгореть в пожаре раньше, чем разбудить вас.

Флорентиец снова весело расхохотался.

— Эк напугал я тебя богатырским сном! Ну, постараюсь занять у тебя пилюлю Али и больше так не спать, — весело прибавил он.

— У вас есть свои пилюли. Вам дал Али коробочку, из которой покормил меня в своём кабинете, — тоже смеясь, ответил я.

— Есть-то есть, да только ты и вторую оттуда уже съел в доме моего друга ночью, значит, всё же одну ты мне должен.

Посмеявшись моей пилюльной скупости, он сказал, что давно читает вопросы в моих глазах и мыслях о дервише и Али, но что всё расскажет мне в Москве.

— Ну, в Калифорнию я сбегать не успел, а проводнику щедро за них заплатил, — ответил я. — Во время вашего сна приходил сосед — вроде французского комми — и приглашал вас играть в винт.

Флорентиец ел дыню, кивая на мой доклад головой, и вдруг увидел письма обоих Али, которые я оставил на столе.

Я прочёл ему их. Он спросил, куда я спрятал коробочку, и, когда я ему показал на внутренний карман куртки, сказал:

— Нет, не годится. В твоих брюках, с внутренней стороны, справа, есть глубокий потайной кожаный карман. Положи её туда.

Я нащупал справа, у самой талии, карман и переложил туда коробочку. Флорентиец наклонился к окошку, оглядел местность и сказал:

— Скоро подъедем к большой станции. Видишь, там вдали деревья, — это уже станция. Тебе надо будет выйти размять ноги и купить газет. Возьми все, какие найдутся, и не русские, местные тоже.

Я накинул курточку, спрятал письма в книгу и приготовился идти.

— Подожди, письма ты хочешь сохранить? — сказал Флорентиец.

— Непременно, — ответил я.

— Тогда убери их в чемодан. И не только теперь, когда мы можем быть прослежены, но никогда и нигде не оставляй вообще писем не спрятанными надёжно. А самое лучшее, держи всё в голове и сердце, а не на бумаге.

Я спрятал письма и вышел, так как поезд уже замедлял ход и подходил к перрону.

— Спроси на всякий случай, нет ли телеграммы до востребования лорду Бенедикту, — сказал мне вдогонку Флорентиец.

Я поднёс руку к козырьку фуражки и вышел, торопясь, как усердный слуга, выполнить приказание барина. Встретясь с проводником, я спросил его, где купить газеты и журналы, в какой стороне перрона телеграф и долго ли здесь стоит поезд. Проводник всё мне подробно рассказал и пожалел, что не может пойти со мной, так как это большая станция, здесь всегда многие сходят и садятся новые пассажиры, а потому ему и нельзя отлучиться. Но поезд стоит минут двадцать, можно не торопиться.

Я спрыгнул на перрон, как только остановился поезд. Народу было много. Шум и крик гортанных голосов пёстрой, сожжённой солнцем темнолицей толпы, усаживающейся в вагоны, суетливо толкая и давя друг друга, перемешивался со смехом и шутками бежавших из всех вагонов за водой пассажиров с бутылками, чайниками и кувшинами в руках.

Жара и здесь стояла палящая, но после вагона воздух показался мне райским.

Я сходил на телеграф, получил две телеграммы для моего барина, накупил целую кучу газет, какие только были, и вернулся в вагон. Войдя в него, я встретился с новыми пассажирами. Один был в восточной одежде, довольно красивый мужчина с мягким выражением лица, другой — в белом кителе и форменной фуражке инженера-путейца, с лицом каким-то безразличным, маленького роста и, видимо, очень страдавший от жары.

Я вошёл в своё купе, подал Флорентийцу телеграммы и газеты. Он прочёл телеграммы и протянул их мне. Я сначала ничего не понял, а потом разобрал, что русскими

Флорентийца не так скоро открылась калитка, и дворник удивлённо оглядел нас. Флорентиец спросил его по-русски, дома ли хозяин. Оказалось, хозяин только что вернулся домой, не более часа перед нами, и ещё даже не ужинал, хотя сказал, что давно ничего не ел и очень голоден.

Флорентиец попросил дворника сказать хозяину, что нас прислал лорд Бенедикт и мы просим принять нас, если можно, сейчас же. Монета, скользнувшая незаметно в руку дворника, сделала его много любезнее. Он впустил нас в сад и побежал сказать о нас хозяину. Мы остались одни. Пока мы ожидали в темноте сада, Флорентиец осторожно просунул палец под мою ватную шапочку и ловко стащил её с меня, почти мгновенно оторвав её от дервишской шапки, он снова надел мне на голову только одну шапку.

То, что я почувствовал, когда освободился от своего ватного бинта на голове, не поддаётся описанию. Я хотел громко закричать от радости, но, опасаясь выдать себя, промолчал, раза два всё же подпрыгнув на месте.

— Какой там Лордиктов? Вечно всё перевёрёшь! — донёсся к нам голос.

— Помни же, ты всё ещё глух, пока я тебе не скажу, — шепнул мне Флорентиец.

Я же подумал, что где-то уже слышал этот особенный голос, но не мог себе уяснить, где и когда.

Дворник вернулся и пригласил нас подняться на веранду. Мы пошли за ним в глубь сада, повернули налево и только тогда увидели, что на веранде горел свет. Но зелень — вся в крупных, висящих как гроздья цветах — сплеталась в такой густой покров, что из сада не было видно света.

Мы поднялись на веранду. Там слуга, почти мальчик, хлопотал у стола, внося закрытые тарелками блюда, покрытые сетками фрукты, и накрывал стол на европейский манер.

Флорентиец сложил наши вещи в углу веранды, и мы сели на деревянный диванчик возле них. Слуга несколько раз входил и выходил, каждый раз весьма недружелюбно и презрительно поглядывая на нас. Наконец он сказал Флорентийцу довольно небрежно, что хозяин ждёт нас в кабинете. Оставив рядом с вещами наши кожаные галоши, мы прошли в большую комнату, соединённую с террасой небольшим широким коридором. В комнате стояли рояль, мягкая мебель, но пол был без ковра, в противоположность дому Али, где не было ни кусочка голого пола и где ноги утопали в коврах.

Мы пересекли комнату и подошли к запертой двери, из щелей которой виднелся свет. Слуга шёл впереди нас и хотел сам постучать в дверь. Но Флорентиец отстранил его, крепко взял меня за руку, как бы напоминая мне ещё раз, что я глух, и постучал в дверь особым манером сам.

Дверь быстро отворилась и... хорошо, что Флорентиец держал меня крепко за руку, не то бы я обязательно забыл обо всём на свете и закричал во весь голос.

Перед нами стоял никто другой, как тот незнакомец, который дал мне своё платье дервиша в кабинете Али. Флорентиец низко поклонился хозяину, потянул и меня вниз. Я понял, что должен кланяться ещё ниже и выпрямился только тогда, когда та же рука-наставница потянула моё плечо вверх.

Флорентиец что-то быстро сказал хозяину, тот кивнул головой, придвинул нам низкие пуфы и приказал вошедшему с нами слуге что-то, чего я не понял. На

физиономии слуги выразилось сначала огромное удивление, а затем, под взглядом хозяина, он почтительно поклонился и бесшумно исчез, закрыв дверь.

Тут только хозяин протянул нам руку, улыбнулся и взгляд его стал менее строг. Это прекрасное лицо носило отпечаток усталости и скорби.

— Разве вы не узнали моего голоса? — мягко улыбаясь и держа мою руку в своей, сказал наш хозяин. — А я специально для вас сказал повышенным тоном несколько слов дворнику, чтобы вы не так удивились. Вы ведь очень музыкальны, это видно по вашему лбу и скулам.

Я хотел ему сказать, что запомнил тембр его оригинального голоса, но никак не мог понять в саду, чей это голос. Я начал говорить, уже чувствуя страшную усталость, но вдруг всё поплыло перед моими глазами, завертелась вся комната, и я погрузился во тьму...

Долго ли продолжался мой обморок, я не знаю. Но очнулся я от приятной свежести на голове и от сознания чего-то прохладного на сердце. Флорентиец подавал мне питьё, и как только я сделал несколько глотков, он заставил меня проглотить одну из пилюль, данных нам с собой Али Махомметом. Очень скоро мне стало лучше, я снова овладел собой и твёрдо сидел на своём низком стуле. Хозяин быстро писал какое-то письмо. Флорентиец снял с моего сердца и с головы холодные компрессы и шепнул:

— Скоро мы пойдём отдыхать, мужайся.

Но я теперь снова был готов ехать дальше; сил было так много, точно я окунулся в прохладный бассейн.

Окончив письмо, хозяин позвонил и приказал вошедшему слуге немедленно отнести его по адресу и принести ответ. Должно быть, место, куда посылал хозяин слугу, ему не очень нравилось. Он хотел что-то возразить, но, встретив пристальный и строгий взгляд хозяина, низко поклонился и вышел.

Вслед за ним вышли и мы на веранду. Здесь у незамеченного мною умывальника мы вымыли наши тёмные руки. Светлей они от этого не стали, и я со вздохом подумал, как надоел мне грим, чужой костюм и все приключения, отдающие запахом сказок из «Тысячи и одной ночи».

Усевшись за стол, мы принялись за еду, состоявшую из овощей, фруктов, прохладительных морсов и нескольких сортов хлеба. Всё было вкусно, но есть мне не хотелось. Да и оба старших друга ели тоже мало.

— Я отослал слугу с письмом на его языке, потому что уверен, что письмо это он и сам прочтёт и мулле отнесёт. Весть об Али и религиозном походе против него докатилась уже сюда. В письме к своему знакомому торговцу ослами я пишу, что завтра к вечеру мой друг купец приедет к нему покупать ослов. Чтобы он составил и гурт скота, который тоже может быть куплен моим приятелем. Здешний мулла, прикрываясь именем этого торговца, ведёт крупную торговлю ослами и скотом. Весь день он, конечно, будет занят распоряжениями, куда и как перегнать скот и какую взять цену. Только вечером он займётся походом на Али. Живёт этот торговец довольно далеко, в нашем распоряжении будет не меньше трёх часов. Но за это время вам обоим надо переодеться, вымыться, стать снова европейцами и уехать назад в К. Там вы пересядете в международный вагон встречного поезда и, надо надеяться, благополучно доедете до Москвы. Не миновать вам снова переодеваться в несвойствен-

Я очень был бы рад, если бы Флорентиец бодрствовал. Мне становилось несносным это долгое молчание с единственным аккомпанементом скрипящих на все лады стенок вагона и мерного стука колёс.

Я ещё раз прочёл письмо Али старшего. Я представил себе его огненные глаза и его высоченную фигуру. Мысленно я поблагодарил его не только за живительные конфеты, но и за не менее живительные слова письма. Я погладил рукой своего очаровательного павлина на коробочке и положил её, как лучшего друга, во внутренний карман курточки, накинув её себе на плечи.

Я уже не ощущал давления в висках, пульс мой был ровен; я взял книгу и решил почитать.

Приподняв немного выше шторку окна, я посмотрел на местность, по которой мы ехали. Это была снова голодная степь: очевидно, здесь не было вовсе орошения. Жгучее солнце и сожжённая голая земля — вот и весь ландшафт, насколько хватал глаз.

«Да, — это край, забытый милосердием жизни, — подумал я. — Должно быть, люди здесь любят строить голубые купола на мечетях и пёстрые украшения на их стенах, а также яркие краски в одеждах и коврах, чтобы вознаградить себя за эту голую серость земли, за эту жёлтую пыль, в которой верблюд бредёт, утопая в ней по колено».

Поезд шёл не особенно быстро, остановки на станциях были редки. Я начал читать свою книгу. Постепенно фабула романа меня захватила, я увлёкся, забыл обо всём и читал, вероятно, не менее двух часов, так как почувствовал, что у меня затекли руки и ноги. Я встал и начал их растирать. Вскоре тело Флорентийца как-то вздрогнуло, он потянулся, глубоко вздохнул и сразу — как резиновый — сел.

— Ну, вот я и выспался, — сказал он. — Очень тебе благодарен, что ты меня караулил. Я вижу, что ты сторож надёжный, — засмеялся он, сверкая белыми зубами и вспыхивающими юмором глазами. — Но почему ты меня не разбудил раньше? Я спал должно быть больше четырёх часов, — продолжал он всё смеясь.

Я же стоял, выпучив глаза, и не мог сказать ни слова, до того он меня поразил своим пробуждением.

— В жизни не видал таких чудных людей, как вы, — сказал я ему. — Спите вы как мёртвый, а просыпаетесь как кошка, почуявшая во сне мышь. Разбудить вас? Да ведь я же не гигант, чтобы поставить вас на ноги, как это вы проделали со мной; если бы я тряс вас даже так, чтобы душу из себя вытрясти, то вряд ли всё же добудился бы вас.

Флорентиец расхохотался, его смешила и моя физиономия и моя досада.

— Ну, давай мириться, — сказал он. — Если я тебя обидел, что сплю на свой манер, а не так, как полагается по хорошему тону, то, пожалуй, и ты подобрал мне сравнение не очень лестное, как полагается доброму слуге важного барина. Уж сказал бы хоть «тигр», а то не угодно ли «кошка».

С этими словами он встал, посмотрел на фрукты и сказал:

— Ну и молодец же ты! Вот так фрукты! Можно подумать, ты их стащил в Калифорнии!

ющему. Ты пошёл по дороге труда и борьбы, утверждай же, всегда утверждай, а не отрицай. Никогда не думай: “не достигну”, но думай: “дойду”. Не говори себе: “не могу”, но улыбнись детскости этого слова и скажи: “превозмогу”. Я посылаю тебе конфеты. Они обладают свойством бодрящим. И когда тебе будет необходимо собрать все свои силы или тебя будет одолевать сон, особенно в душных помещениях или при качке, — проглоти одну из этих конфет. Не злоупотребляй ими. Но если кто-либо из друзей, а особенно твой теперешний спутник, попросит тебя покараулить его сон, а тебя будет одолевать изнеможение, вспомни о моих конфетах. Будь всегда бдительно внимателен. Люби людей и не суди их. Но помни также, что враг зол, не дремлет и всюду захочет воспользоваться твоей растерянностью или невниманием. Ты выбрал тот путь, где героика чувств и мыслей живёт не в мечтах и идеалах или фантазиях, а в делах простого серого дня. Жму твою руку. Прими моё пожатие бодрости и энергии... Если когда-либо ты потеряешь мир в сердце — вспомни обо мне. И пусть этот белый павлин будет тебе эмблемой мира и труда для пользы и счастья людей».

Письмо было подписано одной буквой «М». Я понял, что это значило «Махоммет».

С того момента, как я вошёл в вагон, прошло, вероятно, уже часа два, если не больше. Жара, казалось мне, достигла предела. Я снял курточку, расстегнул ворот рубашки и всё же чувствовал, что не могу удержать слипающихся век и вот-вот упаду в обморок. Я посмотрел на Флорентийца. Он всё так же мёртво спал. Мне ничего не оставалось, как попробовать действие конфет Али Махоммета.

Я раскрыл коробочку, вынул одну из конфет и начал её сосать. Сначала я ничего особенного не ощутил — меня всё так же клонило ко сну. Но через некоторое время я почувствовал как бы лёгкий холодок, точно по всем нервам прошёл какой-то трепет, желание спать улетучилось, я стал бодр и свеж, точно после душа.

Я принялся рассматривать содержимое той части чемодана, где были вещи для меня. Я нашёл туго набитый деньгами бумажник, нашёл очаровательные приборы для умывания и для письма. Полюбовавшись всем этим, я привёл всё в порядок и закрыл чемодан, не прикоснувшись к тому отделению, где были вещи, предназначенные для Наль.

Только что я хотел приняться за чтение книги, как слегка постучали в дверь купе. Я приоткрыл её и увидел в коридоре высокого господина, по виду коммерсанта. Он спросил меня по-французски, не желает ли кто-либо в нашем купе развлечься от скуки партией в винт. Я отвечал, что я слуга-переводчик, в винт играть не умею. А барин мой англичанин, ни слова не понимает ни по-русски, ни по-французски. И что я ни разу не видал в его руках карт. Посетитель извинился за беспокойство и исчез.

Быть может, всё происходило самым обычным и естественным образом. И вагонный спутник был из тех многочисленных картёжников, что способны и день и ночь просиживать за карточным столом. Но моей расстроенной за последние дни калейдоскопом сменяющихся событий фантазии уже мерещился соглядатай, и я невольно задавал себе вопрос, не такой же ли он коммерсант, как я слуга.

«Положительно, — думал я, — не хватает только очутиться нам на необитаемом острове и найти покровителя вроде капитана Немо. Живу точно в сказке».

ный вам костюм, — обратился он ко мне, — вам придётся быть слугой-гидом лорда Бенедикта, ни слова не знающего по-русски. Ехать назад вам надо, потому что теперь ярмарка в К. и вы встретите в поезде много иностранцев, отправляющихся за каракулем, коврами и закупкой хлопка на корню. Присутствие лорда Бенедикта будет естественно среди иностранцев. Кроме того, по вашим следам уже гонятся; кто-то выдал, что вы одеты дервишем. Я верю, что ни момента в вашем сердце не было и нет страха, но надо действовать не только бесстрашно, а и целесообразно. Пойдёмте в мою спальню. Я постараюсь помочь вам обоим одеться сообразно ролям и умыться.

Уже светало; мы встали из-за стола и прошли в спальню нашего хозяина. Это была чудесная белая комната. Очень простая, но изящная мебель светло-серого шёлка, пушистый светлый ковёр, но... некогда было рассматривать.

Отодвинув дверь в сторону, как в вагоне, мой хозяин проводил меня в ванну, влил в неё какой-то жидкости, отчего вода точно закипела. И когда вода успокоилась, сказал:

— Весь грим с вашего тела сойдёт. Вы выйдете из воды снова белым юношей. Здесь мыло, щётки и всё, что вам может понадобиться, — и с этими словами он меня покинул.

Я быстро разделся и опустился в ванну, с необычайным наслаждением чувствуя, как с меня, точно кожа, слезает вся чернота и грязь пути. Я слышал, как шумели струи текущей воды где-то рядом со мной; это, очевидно, полоскался под душем Флорентиец.

Я быстро вымылся, растёр тело купальной простынёй и стал думать, во что же мне теперь одеться. Раздался лёгкий стук в дверь, и вошёл Флорентиец. Он тоже был укутан в купальную простыню, весело улыбался, и я снова поддался очарованию этой дивной красоты, обаянию этого любящего, доброго человека, к которому я всё сильнее привязывался.

— Пойдём выбирать туалеты, — весело сказал он, и мы двинулись в спальню хозяина.

Я ещё ничего не сказал, в каком внешнем виде я нашёл теперь моего мнимого дервиша. Он был в лёгком сером костюме, прекрасно сидевшем на нём, в белой шёлковой рубашке-апаш и белых полотняных туфлях. Я не мог его не узнать. Его глаза-звёзды имели какое-то особо своеобразное выражение мудрости и огня, ему одному свойственное, как и неповторимый тембр его голоса. Рот с вырезанной, точно резцом ваятеля, верхней губой, говорил об огромном темпераменте. А лоб, высокий, благородный лоб мудреца был так сильно развит в выпуклой надбровной части лба, что казалось, вся мысль сосредоточивалась именно здесь, как это бывает у крупных композиторов.

Не узнать его я не мог. Но не столько поразил меня его европейский вид, сколько то, что он очутился здесь же, где и мы, почти в одно время с нами. В сумбуре мыслей я принял за сверхъестественное чудо его появление. А на самом деле оказалось, что он ехал проще нашего. От имения Али до маленькой станции, не доезжая К., было не более получаса езды. Он доехал туда на лошадях Али, сел в наш же поезд в платье простолюдина и, не подавая нам вида о себе, приехал в свой дом раньше нас. Мы же, пока Флорентиец по обычаю мелких купцов Востока торговался

до изнеможения, потеряли в этой комедии много времени. Да и лошадёнка наша была более похожа на осла, чем на лошадь.

Пока мы выбирали себе одежду, наш хозяин рассказывал нам о своём путешествии и о делах Али. Али поехал к себе, чтобы или остаться там и защитить своих домочадцев, или вывезти их куда-нибудь. Но какова судьба Али сейчас, об этом он ничего ещё не знал. Он сказал нам, что со следующим поездом сам выедет в Петербург, чтобы приготовить нам квартиру и собрать сведения о брате. Сказал ещё, что один из мужчин, поехавших с Наль в роли слуги, её старый дядя, человек опытный, верный и очень образованный.

Говоря всё это, он помогал мне надевать костюм юноши-слуги. Коричневая куртка с серебряными пуговицами, такие же длинные брюки и кепи с серебряным галуном. Конечно, я не блистал красою, но после черномазого, грязного дервиша я казался себе красавцем.

Флорентиец оделся в костюм из синей чесучи, в белую шёлковую сорочку и завязал бантом серый шёлковый галстук. Положительно, во что бы он ни оделся, во всём был хорош, казалось, лучше быть нельзя. Он беспощадно прилизал свои волнистые волосы, уложив их на пробор ото лба до самой шеи, надел пенсне, — и всё же был красавец.

Время бежало; стало совсем светло. Мы услыхали фырканье лошадей, и дворник закричал в окно, что лошади готовы.

Хозяин подошёл к окну и сказал тихо дворнику:

— Сходи к соседу, если он уже ушёл в лавку, то беги к нему в лавку, в ряды. Напомни ему, что он обещал доставить сегодня тётке два халата и ковёр. Я же, по дороге на станцию, отвезу сам моих ночных гостей на скотный рынок. Если же они вечером снова захотят ночевать у меня, ты их впусти, если бы меня даже не было дома.

Дворник побежал выполнять поручение, а мы убрали с веранды наши вещи, которые оказались просто бутафорией. Мы бросили пустые сундучки, вынув из них несколько книг в коридоре, а узлы, в которых оказались подушки, развязали и сунули платки с них в шкаф.

Через минуту мы вышли. Я нёс лёгкое пальто моего барина, учась играть роль слуги, помог моему господину сесть на заднее место, а сам сел на скамеечку впереди. Хозяин сел на козлы, подобрал вожжи, мы выехали из открытых ворот, я же соскочил их закрыть, и мы покатили к вокзалу.

Город ещё не просыпался. Кое-где дежурные сарты хлопотали у арыков, так как искусственное орошение всё время должно менять своё направление и за урегулированием этих направлений строго следят особо приставленные люди, пуская воду то в Хиву, то в Бухару, то в Самарканд или иные определяемые по очереди места.

Теперь мы ехали быстро. Но всё же я мог хорошо различать и дома, и сады, и ряды. Торговые ряды были совсем иного характера, чем в К. Они не напоминали собою багдадского рынка, а скорее были похожи на громадные амбары; но стиль их всё же был не европейский. А огромное количество лавок всевозможных рядов говорило о богатстве города. Я весь ушёл в свои наблюдения. Движение в городе становилось оживлённее, и, когда мы выехали за город, зрелище захватило меня своей необычайной красочностью. Я ещё не видел больших верблюжьих караванов, а

вые платки, но, приподняв случайно какое-то полотенце, вскрикнул от изумления: в полутьме вагона сверкнуло что-то, и я узнал дивного павлина на записной книжке брата.

Только теперь я вспомнил, как мы перебирали вещи в туалетном столе брата, и я взял эту вещь в карман. Я вынул книжку и стал рассматривать ювелирную чудоработу. Чем больше я смотрел на неё, тем больше поражался тонкости и изяществу вкуса мастера, который её делал. Распущенный хвост павлина от игры камней казался живым, точно шевелился; голова, шея и туловище из белой эмали поражали пропорциональностью и гармоничной соответственностью форм. Вся птица жила!

«Как надо любить своё дело! Знать анатомию птицы, чтобы изобразить её такою», — подумал я. И какая-то горькая мысль, что мне уже двадцать лет, а я ничего — ни в одной области — не знаю так, чтобы создать что-нибудь для украшения или облегчения жизни людей, пронеслась в моей голове.

Я всё держал книжку перед собой, и мне захотелось узнать её историю. Была ли она куплена братом? Но я тотчас же отверг эту мысль, так как брат не мог бы купить себе такой большой ценности. Был ли это подарок? Кто дал его брату?

Уносясь мыслями в жизнь брата — такой короткий и сокровенный кусочек которой я вдруг узнал, — я связал фигуру павлина с тем украшением на чалме Али Махоммета, которое было приколото на ней во время пира. То был тоже павлин, совершенно белый, из одних крупных бриллиантов. «Вероятно, павлин является эмблемой чего-либо», — соображал я. Жгучее любопытство разбирало меня. Я уже был готов открыть книжку, чтобы прочесть, что в ней писал брат, но мысль о высокой чести, в которой он воспитал меня, меня остановила. Я поцеловал книжку и осторожно положил её на место.

«Нет, — думал я, — если у тебя, брата-отца, есть тайны от меня, я их не прочту, пока ты жив. Лишь тогда, когда жизнь навсегда разлучит нас и мне так и не суждено будет передать тебе в руки твоё сокровище, я его вскрою. Пока же есть надежда тебя увидеть — я буду верным стражем твоему павлину».

Жара становилась удушающей. Я съел ещё одну сочную грушу и решил найти посылочку Али Махоммета. Вскоре я нашёл стопочку великолепных носовых платков, и между ними лежал конверт, в котором было что-то твёрдое, квадратное.

Я вскрыл конверт и чуть не вскрикнул от восхищения и изумления. Внутри письма была завёрнута коробочка с изображением белого павлина с распущенным хвостом. Не из драгоценных камней была фигура павлина, а из гладкой эмали и золота с точным подражанием расцветке хвоста живого павлина. Коробочка была чёрная, и все края её были унизаны мелкими ровными жемчужинами.

Я её открыл; внутри она была золотая, и там лежало много мелких белых шариков вроде мятных лепёшек. Я закрыл коробочку и стал читать письмо.

Оно меня поразило лаконичностью, силой выражения и необыкновенным спокойствием. Я его храню до сих пор, хотя Али Махоммета не видел уже лет двадцать, с тех пор, как он уехал на свою родину.

«Мой сын, — начиналось письмо. — Ты выбрал добровольно свой путь. И этот путь — твои любовь и верность тому, кого ты сам признал братом-отцом. Не поддавайся сомнениям и колебаниям. Не разбивай своего дела отрицанием или унынием. Бодро, легко, весело будь готов к любому испытанию и неси радость всему окружа-

Глава 6

Мы не доезжаем до К.

В вагоне было так темно, что я сделал маленькую щёлку, чуть приподняв шторку на окне, уселся на стул у столика и попробовал открыть чемоданчик. Ключа нигде не было, но, повертев во все стороны замки, я всё же его открыл, хотя и не без малого количества проклятий. Сверху лежали аккуратно завёрнутые коробочки с винными ягодами, сушёными прессованными абрикосами и финиками. Я вынул их и под несколькими листами белой бумаги нашёл письмо на моё имя, и почерк его был мне незнаком.

Я уже не боялся шелеста бумаги, так как Флорентиец продолжал спать своим смертоподобным сном. Я разорвал конверт и прежде всего взглянул на подпись. Там было чётко написано: «Али Махмед».

Письмо было недлинно, начиналось обычным восточным приветом: «Брат».

Али молодой писал мне, что посылает забытые мною в моей студенческой куртке вещи, а также бельё и костюм, которые мне, вероятно, пригодятся и которые я найду в большом чемодане. Прося меня принять всё от души посылаемое в подарок, он прибавлял, что в меньшем чемодане я найду все необходимые письменные принадлежности и несколько денег, лично ему принадлежащих, которыми он братски делится со мной. В другом же отделении этого чемодана сложены только женские вещи, деньги и письмо, которые он просит меня передать Наль при первом же свидании с нею, когда и где бы это свидание ни состоялось.

Далее он писал, что Али Махоммет посылает мне тоже посылочку, которую я найду среди носовых платков. Али молодой очень просил меня не смущаться финансовым вопросом, говоря, что вскоре увидимся и, возможно, обменяемся ролями.

Я был очень тронут такими заботами и ласковым тоном письма. Опёршись головой об руку, я стал думать об Али, его жизни и той трещине, которая образовалась сейчас в его сердце, в его любви. Фиолетово-синие глаза Али молодого, его тонкая фигура, такая худая и тонкая, что можно было принять её за девичью, походка лёгкая и плавная — всё представилось мне необыкновенно ясно и было полно очарования. Я не сомневался, что он хорошо образован. А подле такой огненной фигуры, как Али старший, мудрость которого светилась в каждом взгляде и слове, вряд ли мог жить и пользоваться полным доверием неумный и неблагородный человек.

Я подумал, что всю свою жизнь мальчик Али прожил в атмосфере борьбы и труда за дело освобождения своего народа. И вероятно, в его представлении жизнь человека и была не чем иным, как трудом и борьбой, которые стояли на первом плане, а жизнь личная шла жизнью № 2. Я не мог решить, сколько же ему лет, но знал, что он гораздо старше Наль. На вид он был так юн, что нельзя было ему дать больше семнадцати лет.

Я снова перечёл его письмо, но и на этот раз не понял, какие вещи мог отыскать Али в моём платье. Я заглянул снова в чемодан, хотел было поискать, где лежат носо-

здесь, с нескольких сторон, медленно и мерно покачивая груз на своих горбах, тянулись к городу караваны. Каждый караван вёл маленький ослик, на котором часто сидел погонщик. Все ведущие к шоссе, по которому мы ехали, дороги были заняты осликами, нагруженными фруктами, овощами, птицами и всевозможными предметами обихода, — и всё это тянулось на базар в огромной пыли, двигаясь тесно друг к другу.

Вдали виднелись белеющие снежные горы. Небо — кусками алое, кусками фиолетовое и зелёное, и ярко-синее над нами, чуть прохладный ветерок от быстрой езды; и я снова воскликнул:

— О, как прекрасна жизнь!

Моё восклицание было так неожиданно для моих спутников, углублённых в разговор, что в первое мгновение оба они удивлённо на меня посмотрели. И вслед за этим, увидев мою восхищённую физиономию, громко рассмеялись. Я тоже залился смехом.

Мы уже были недалеко от вокзала, и мой барин, лорд Бенедикт сказал мне по-английски:

— Хороший слуга всегда серьёзен. Он никогда не вмешивается в разговор барина, ничем не выдаёт своего присутствия и только отвечает на задаваемые вопросы. Он вроде как глух и нем, пока барину не нужна его речь и услуги.

Тон его был совершенно серьёзен, но глаза превесело смеялись. Я сдержал смех, поднёс руку к козырьку и ответил весьма серьёзно, тоже по-английски:

— Есть, ваша светлость!

— Мы подъезжаем к станции, — продолжал лорд. — Вот вам бумажник. Вы прежде нас сойдёте и отправитесь в кассу. Возьмите два билета в международном вагоне в К. Мы же медленно выйдем прямо на перрон и там встретимся. Поезд подойдёт очень скоро. Если не будет мест в международном, возьмите в первом классе.

Я взял бумажник, выпрыгнул из коляски, как только она остановилась, и побежал в кассу.

Взяв билеты, я нашёл своего барина на перроне и доложил, что билеты в международный достал. Он важно кивнул мне на носильщика, державшего два элегантных чемодана. Я не мог понять, каким образом они очутились с нами, и только после сообразил, что, вероятно, они были уже привязаны сзади коляски, когда мы в неё сели.

«Вот новая забота мне», — подумал я. Я не знал, как поступить с бумажником и билетами, но так как показался поезд, я сунул бумажник во внутренний карман куртки.

— В международный, — бросил я небрежно носильщику, и он пошёл к самому концу платформы.

Как только поезд остановился, я подал проводнику билеты, и мы заняли наши места, оказавшиеся маленьким двухместным купе. Я разместил вещи и отпустил носильщика. Проводник быстро подмёл и без того чистый пол и вытер пыль в нашем купе, должно быть, судя по слуге в форме о чаевых возможностях барина. Я выскочил на платформу доложить барину, что всё готово.

Раздался второй звонок. Лорд Бенедикт и его спутник медленно пошли к вагону и с раздавшимся третьим звонком милейший лорд лениво занёс ногу на сту-

пеньку вагона. Мне так и хотелось его подтолкнуть сзади, никак я не мог взять в толк его медлительность.

Наконец он вошёл в вагон и ещё раз что-то сказал своему остававшемуся другу. Тут раздался свисток паровоза, и я уже не стал ждать, пока мой барин соизволит пройти дальше, поклонился любезному хозяину и юркнул в вагон трогавшегося поезда.

Только тогда, когда нашего хозяина совсем не стало видно, лорд повернулся и прошёл в купе. Проводник обратился к нему с каким-то вопросом, он сделал непонимающее лицо и поглядел на меня.

— Мой барин — англичанин, — сказал я очень вежливо проводнику, — и ни слова не понимает ни на одном языке, кроме своего английского. А я его переводчик.

Проводник повторил мне свой вопрос, нужен ли нам чай. Я перевёл вопрос лорду, и проводник получил заказ на чай, бисквиты и две плитки шоколада. Кроме того, я дал ему крупную бумажку и просил сходить в вагон-ресторан купить нам лучшую дыню, яблок и груш. Уверившись, очевидно, в чаевых возможностях от лорда, проводник обещал купить фрукты не в вагоне-ресторане, а на следующей остановке, славящейся ими.

Через несколько минут он подал нам чай с лимоном, бисквиты и шоколад, закрыл дверь, и мы остались одни.

Несмотря на спущенные тёмные занавески на окнах и работавший у потолка вентилятор, жара и духота в вагоне стояли адские. Я снял кепи и благословлял свою прохладную курточку. Материя была плотная, но оказалась лёгкой, вроде китайского шёлка. Мой лорд снял пиджак, улёгся на диван, причём ноги его свешивались вниз, и сказал:

— Друг, я очень устал. Если ты чувствуешь себя в силах, — покарауль мой сон часа два-три. Если к тому времени не проснусь, разбуди меня обязательно. Но если теперь мне не удастся поспать, потом, пожалуй, и нельзя будет мне заснуть. А сил нам с тобой надо ещё много. Не разочаровывайся, что мы с тобой не переговорили сейчас обо всех событиях. Как только я встану, мы поедим, и надо будет лечь тебе. Раскрой маленький чемоданчик, там ты найдёшь кое-что, что ты забыл в доме Али и что тебе, заботливо осмотрев твоё платье, посылает Али молодой. Эти чемоданы привёз нам тот друг, у которого мы только что были.

С этими словами он повернулся к стене и сразу заснул. Я сидел, боясь шелохнуться, и решил снять упомянутый чемодан, когда мы проедем ту станцию, где нам купит фрукты проводник, а пока выйти посидеть в коридоре на скамейке против нашего купе, чтобы стуком проводник не нарушил сон Флорентийца.

Я бесшумно вышел в коридор, где появилось несколько фигур мужчин с довольно помятыми лицами, отчаянно ругавших жару. Все они приготовились выйти на платформу следующей станции покупать фрукты. Кое-кто взглянул на меня, но я уставился в книгу, которую Флорентиец положил на столик в нашем купе.

Это был английский роман из эпохи средних веков, начало мне показалось скучноватым; но эпоху эту я знал хорошо и решил, что прочесть о ней в английском понимании, пожалуй, будет интересно.

Пассажиры надели кто кепи, кто панаму, кто английский шлем — «Здравствуй-прощай», как окрестили в России этот убор с двумя козырьками; а кто просто с непокрытой головой вышел на площадку вагона. Поезд подошёл к перрону и остановился.

Я открыл окно и стал смотреть на толпу... Здесь было гораздо оживлённее, чем на виденных мною до сих пор станциях. Торговцы с большими корзинами фруктов сновали по всем направлениям. Мелькали укутанные фигуры женщин, державшихся группами, но я никак не мог определить, зачем они здесь. Они не торговали, как будто без толку переходили с места на место, ни словом не обмолвясь друг с другом. Несколько кучек важных сартов, разных состояний и возрастов, пялили глаза на едущую публику. Типичные фигуры евреев — в своеобразных кафтанах и чёрных шапочках, — шумливые, назойливые, составляли резкий контраст со степенными восточными фигурами.

Все пассажиры скоро возвратились в вагон с полными фруктов руками. Мне казалось, что их покупки очень хороши. Но когда поезд тронулся, ко мне подошёл проводник и подал корзину фруктов. Он весело подмигивал на жевавших свои яблоки пассажиров, а я, взглянув на поданные мне фрукты, понял, что такое фрукты Востока. Громадные, какие-то плоские яблоки, и яблоки прозрачные продолговатые, где видны были насквозь все косточки, и груши, жёлтые, как янтарь, и две небольшие дыни, от которых шёл аромат головокружительный, и чудные белые и синие сливы.

— Вот это фрукты! — сказал мне проводник. — Надо знать, как купить и кому продать. У меня тут есть приятель. Каждый раз, когда я проезжаю, он мне приготовляет две такие корзины.

Я восхитился его приятелем, выращивающим такие фрукты, поблагодарил проводника за труды, щедро заплатив ему от имени барина, и угостил его одним из многочисленных яблок.

Он остался очень доволен всеми формами моей благодарности, облокотился о стенку и стал есть своё яблоко. А я уплетал сочную, божественную грушу, боясь пролить каплю её обильного сока! Проводник приглашал меня в своё купе, но я сказал, что барин мой очень строгий, что благодаря своему незнанию языков он без меня не может обходиться ни минуты и что теперь я передам ему фрукты и мы с ним ляжем спать. На его вопрос о завтраке и обеде я ответил, что барин мой очень важный лорд и что лорды иначе как по карточке отдельных заказов не обедают.

Я простился с проводником, ещё раз его поблагодарил и вошёл в своё купе. Я старался двигаться как только мог тише, но вскоре заметил, что Флорентиец спал совершенно мёртвым сном, и, если бы я даже приложил все старания к тому, чтобы его сейчас разбудить, я вряд ли успел бы в этом нелёгком деле.

Все мускулы тела его были совершенно отпущены, как это бывает у отдыхающих животных, а дыхание было так тихо, что я его вовсе не слышал.

«Ну и ну, — подумал я. — Эта дурацкая ватная шапка да дервишский колпак, кажется, испортили мне слух. Я всегда так тонко слышал, а сейчас даже не слышу дыхания спящего человека!»

Я протёр уши носовым платком, наклонился к самому лицу Флорентийца, и всё же ничего не услышал.

Огорчённый такой потерей слуха, я вздохнул и полез за маленьким чемоданом.

разрывал в себе старые привычки воспринимать людей как опору лично себе — я как будто врастал в новую и чуждую ещё мне шкуру мужчины, где слова «мать», «отец» и соединённая с ними нежность отходили на второй план. Не то я сладко мечтал о семье, которой не знал всю жизнь, где я сам должен стать опорой.

Трудно рассказать теперь о тех переживаниях юноши. Но, пожалуй, одну из капель горечи прибавляло сознание, как я юн, как ребячлив и неопытен в делах жизни и как плохо я воспитан.

Я приложил все усилия, чтобы остановить слёзы. Стыдно было плакать так безудержно перед чужим мужчиной. И когда мысль перешла от сожалений о самом себе на брата, я вспомнил опять и письмо Али, и недавние слова Флорентийца. Я вытер слёзы и, не глядя на моего спутника, тихо сказал:

— Простите меня, я не в силах был сдержаться.

Я ждал обычного, быть может, дружеского соболезнования. Но то, что я услышал, ещё раз показало мне, как плохо я разбирался в людях.

— Не раз в жизни я плакал так же горько, как плакали вы сейчас. И верьте, детство мы все хороним нелегко. Иллюзии любви и красоты, создаваемые нашим воображением, до тех пор терзают нас, пока мы не завоюем себе сами полной свободы от них. И только тогда рушатся наши иллюзорные желания всякой красивости во вне, когда в нас оживёт всё то прекрасное, что мы в себе носим. Все толчки скорби, потерь, разочарований учат нас понимать, что нет счастья в условных иллюзиях. Оно живёт только в свободном добровольном труде, не зависящем от наград и похвал, которые нам за него расточат. В том труде, который мы вынесем в свой обычный день, как труд любви и радости, отдав его укреплению и улучшению жизни людей, их благу, их счастью.

И. обнял меня и стал рассказывать мне историю своей жизни.

Очнувшись от глубокого обморока, он увидел себя, лежащим в крови среди друзей и родных. Погибло всё, с чем он был с детства связан; он не знал, куда ему идти, что делать, вся семья его была убита. Он вспомнил, что у него была старая нянька, жившая в горах, недалеко от той долины, где стоял дом его родных. Но он не знал, к какой политической партии она примкнула. Быть может, и она убита так же, как и несколько семейств этой долины, своими вчерашними единомышленниками, а сегодняшними врагами.

Но раздумывать было некогда. И. спустился к морю, выкупался, переоделся в чужое платье, кем-то обронённое или брошенное на берегу, и побрёл, заливаясь слезами, по уединённой тропе в другую часть острова к старой няне.

— Я не буду утомлять вас подробностями своей скитальческой жизни, — продолжал И. — Коротко скажу, что с помощью старушки с её деньгами я сел на пароход и поехал в Рим, где у неё был сын, способный мастер ювелирных работ, как она мне сказала. На пароходе я, вероятно, умер бы от горя и голода, если бы меня не нашёл уже знакомый вам Кон-Ананда. В одну из ночей, уже совершенно изнемогая от лихорадки, в полусознании, я услышал над собой разговор на итальянском языке, который я хорошо знал от моей няни, родом итальянки. Молодой звучный и прекрасный голос говорил:

— Что это? Никак здесь лежит мальчуган?

Другой, сиплый и грубый, как бы нехотя цедил слова сквозь зубы:

— Нам надо очень быстро пройти с полверсты. Возьми мой саквояж, дай мне свой чемодан и крепко держись за мою руку.

Я хотел что-то возразить, но он мне шепнул:

— Ни слова, скорее, после, мы в большой опасности, мужайся. Если успеем сесть в московский поезд, следы наши затеряются.

Мы шли в глубь местности, вправо от станции. Тьма была полная. Шли мы не по дороге, а по узкой тропе и так быстро, что я почти бежал, а Флорентиец шагал своими длинными ногами, не замечая ни тяжести клади, ни моего бега.

Шли мы минут двадцать, и внезапно нас кто-то окликнул. Флорентиец ответил, и я увидел в темноте силуэт лошадей и экипажа. Кучер взял большой чемодан, Флорентиец втолкнул меня в экипаж, прыгнул сам почти на ходу, — и мы понеслись. Много я ездил с тех пор. Ездил и на пожарных и на рысистых лошадях, но этого безумного бега, этой тёмной ночи я не забыл и, очевидно, не забуду.

Панаму мне немедленно пришлось с головы снять; в ушах свистел ветер; лошади неслись вскачь, напоминая, как несётся вихрь. Соображать я ничего не мог. Я помнил только слова Флорентийца, и его «мужайся» как гвоздём вошло в меня. Мы мчались так почти час; лошади тяжело дышали и пошли медленнее. Мелькнул ряд домов, деревья, и мы внезапно остановились.

«Катастрофа», — подумал я.

Флорентиец выпрыгнул, схватил чемоданы, как ребёнка высадил меня вместе с саквояжем из экипажа и сказал мне по-английски:

— Скорей бери мою руку.

Мы перебежали через какой-то двор и с другой стороны его на дороге увидели бричку, в которую мигом и взгромоздились. Кучер гикнул, и мы снова помчались.

Флорентиец о чём-то спросил кучера, одетого по-восточному, тот успокоительно что-то объяснял. Я досадовал на своё незнание языка.

«Вот, и не глух и не нем, а выходит, что и глух и нем», — думал я и тут же дал себе слово выучиться этому проклятому восточному языку.

— Ничего, — сказал Флорентиец, ласково пожимая мне руку и точно читая мои мысли. — Беда не велика, ты можешь выучить ещё сто языков. Мы скоро приедем, возница сказал, что в следующем кишлаке нас уже ждут билеты и что мы приедем минут за пять до поезда.

Лошади всё так же быстро мчались. В этой лёгкой бричке мне бы не усидеть, если бы Флорентиец не держал меня своей крепкой рукой за талию.

Вскоре стали мелькать дома, у одного из них лошади замедлили бег и на подножку с моей стороны прыгнула какая-то фигура. От неожиданности я отпрянул назад, но, увидев смеющуюся во весь рот физиономию, понял, что это друг. Незнакомец ловко присел на ободок брички, подал Флорентийцу конверт и весело затрещал что-то, очень его, очевидно, смешившее. Вскоре он на ходу спрыгнул и пропал во тьме.

— Билеты есть. Станция уже видна, — сказал Флорентиец. — Мы мчались меньше двух часов. Вот и огоньки станции. Запомни, ты теперь мой двоюродный брат, а не слуга. Но язык русский я знаю плохо, так как вырос и воспитывался в Лондоне. И ты мой гид и помощник в делах, без которого я обходиться не могу. Между собой мы говорим только по-английски.

Мы подкатили к станции, сердечно поблагодарили возницу и не успели выйти на перрон, как раздался свисток поезда.

Билеты были первого класса. Вагон был или пуст, или всё в нём спало. В нашем просторном четырёхместном купе не было никого. Проводник тоже спал и предоставил нам самим устраиваться на наших местах. Мне показалось, что он был не совсем трезв и старался скрыть от нас своё состояние.

На моё замечание о странном поведении проводника, даже не спросившего у нас билетов, Флорентиец сказал, что нет худа без добра, потому что наши билеты начинаются со следующей станции. Будь он трезв, пришлось бы входить с ним в сделку. А теперь он не может даже вспомнить, на какой станции мы сели в поезд.

Разместив наши вещи, мы заперли купе и вытянулись на мягких диванах, обитых красным бархатом. Флорентиец сказал, что спать не будет, что ему надо прочесть письмо и кое-что сообразить. Я думал, что мой сон тоже далёк, хотел услышать разъяснение всех передряг ночи, но не успел даже задать вопроса, как заснул глубоким сном.

Конец ночи прошёл для меня без сюрпризов. Утром я проснулся совершенно бодрым, и первое, что я увидел, было улыбавшееся мне ласково лицо моего друга. Я почувствовал себя таким счастливым, что вижу его не строгим и озабоченным, а добрым и любящим! Снова мне показалось, что я знаю его давным-давно.

— Положительно, — воскликнул я, — я мог бы спорить, что давным-давно знаю вас. Такую любовь, доверие и уверенность я испытываю подле вас. Я хотел бы всегда, всю жизнь следовать за вами и разделять все ваши труды и опасности. Я не могу себе теперь даже представить жизни без вас!

Он рассмеялся, поблагодарил меня за любовь и дружбу и сказал, что его жизнь состоит не из одних трудов, борьбы и опасностей, но и из больших радостей и знаний, которые он будет счастлив разделить со мной, если я в самом деле захочу пожить возле него.

Было уже часов восемь. Солнце стояло высоко, всё такое же яркое. Но мы ехали уже не по голодной степи. Здесь почва была покрыта хотя и сожжённой солнцем, но всё же травой. Селения встречались чаще, и у каждой речушки или озера торчали круглые палатки кочующих киргизов или калмыков, но в формах их жилья я не умел точно разбираться.

— Здесь ещё есть жизнь, — заметил Флорентиец. — Но ночью мы въедем в полосу пустыни, и так и поедем по ней больше суток. Жизнь заброшенных туда людей — это почти только одни семьи железнодорожного персонала — полна бедствий. Кочующие пески не дают возможности развести ни огородов, ни садов. Колодцы возле станций есть, но вода в них солона и не годится не только для питья, но даже для выращивания овощей. Питьевую воду им доставляют в цистернах, но далеко не в достаточном количестве, и эти несчастные воруют друг у друга остатки пресной воды. А на зубах у них всегда хрустит песок.

Я представил себе эту жизнь и подумал, как ещё много должна достигать цивилизация. Как много надо преодолеть трудностей, чтобы жизнь стала всем сносной. Как ещё далеки мечты о равенстве, братстве и удовлетворении необходимых потребностей каждого человека.

— Как, — вскричал я в ужасе, — вы полагаете, что он умер?

— О, нет, я уверен, что жив и что он уже в Петербурге, — ответил он. — Я говорил только о весьма возможной случайности, что вам не удастся сейчас свидеться с братом и он не сможет взять вас с собой.

— О, это было бы ужасно. За целых пять лет я не провёл с ним и двух месяцев, если сосчитать те редкие дни жизни, когда он приезжал ко мне в Петербург. Я жил надеждами. Наконец сбылась моя мечта, я должен был прожить с ним лето и даже часть осени, — и снова я одинок...

Тоска, раздражение, протест владели мной. Мне думалось, что встали чужие люди между мной и братом. Увлекли его интересы чужого народа, а я, брат-сын, оказался брошен, забыт и не нужен. Буря, вихри страстей рвали моё сердце! Ревность, как дикие кони, таскала мою мысль от одного события к другому, от одних лиц к другим...

Мой товарищ молчал. Долго молчал и я. Наконец раздражение стало стихать. Я перестал ломать свои руки, и преданность брату, благодарность за его любовь и заботы взяли верх над грубыми мыслями моего эгоизма и отчаяния.

Я вспомнил лицо брата там, на дороге под величественным деревом, когда Али высаживал из коляски Наль. Тогда меня поразило лицо незнакомого мне человека, человека недюжинной воли, чьи брови слились в одну сплошную линию. И этот человек был не моим братом-добряком, которого я знал. Это был незнакомец, чей поток энергии идёт как лава, сметая всё на пути. Тогда я был просто поражён и не сделал единственного вывода, который сделал бы всякий более опытный человек. А может быть, быстрота и необычайность последующих событий похоронили тот вывод в моём сознании, который сейчас стал мне ясен: я понял, что я совсем не знал моего брата, что всё то, что он отдавал мне — круглому сироте, стараясь вознаградить меня за бедность детства без материнской ласки и нежности, — была только маленькая часть сознания моего брата...

И вдруг, как маленький мальчик, я разрыдался. Я почувствовал себя ещё более одиноким, обманутым чудесной иллюзией, которую я сам себе создал. Я принимал брата-отца за то существо, которое всецело принадлежало мне, у которого первейшей заботой был я и который всю ценность жизни видел во мне.

До этой минуты я полагал, что и он, как я сам, начинал и кончал свой день, идя мысленно рядом со мной и делая все дела обиходной жизни только для того, чтобы в конце какого-то периода времени увидеться со мной и уже не разлучаться больше всю жизнь.

Теперь, в огромной борьбе, я разглядел в моём брате за своими собственными иллюзиями лицо другого, незнакомого человека. Я увидел целый ряд не наполненных мною его интересов, его спаянность с другими, едва знакомыми мне людьми.

И в первый раз мелькнул у меня в сознании вопрос: «Что такое вообще брат? И кто настоящий брат? Какую роль играет родство людей по крови? Что ближе: гармония мыслей, чувств, вкусов или привязанность единоутробия?»

Я не замечал, что слёзы продолжали литься из моих глаз. Но теперь это были уже не бурные рыдания ревнивого разочарования, а какой-то сладкий оттенок получили мои слёзы. Не то я что-то временно похоронил детское и прекрасное, не то я

Точно свалившись с неба, я осознал, что никак не смогу объехать не только всего мира, но даже и своей родной России, потому что я беден и до сих пор умею зарабатывать только гроши уроками да переводами.

— Хотеть-то я очень бы хотел, — вздохнув, ответил я. — Но мне не везёт с путешествием. После пятилетней разлуки с братом, пока я кончал гимназию и поступал в университет, я выбрался наконец к нему в Азию. Мечтал увидеть новый свет и новый народ, — и вот всё скомкалось. И брата я теперь потерял, — прибавил я тихо, вспомнив, с какой радостью я ехал на свидание с ним в далёкое К. и с какой скорбью возвращаюсь оттуда.

И. склонился ко мне, необыкновенно ласково поглядел мне в глаза и так же тихо ответил:

— Я всем сердцем сострадаю вам, друг. Я тоже пережил такой момент жизни, когда я потерял всё, что любил, и всех, кого любил, в один день. Но моё состояние было хуже вашего, потому что я не мог помочь никому из тех, кого любил. Когда я сам, тяжело раненный, пришёл в себя, я увидел только похолодевшие трупы своих родных и близких. А что касается всех моих надежд, идеалов, стремлений, исканий истины и чести — всё это также было сметено с моей души и превращено в прах, так как убийцами были фанатики-лицемеры, разыгрывавшие роль друзей...

Он помолчал и продолжал ещё более проникновенным тоном:

— Ваше положение много лучше того момента моей жизни. Вы ещё не потеряли брата, вы только в разлуке с ним. Вы ещё можете ему помочь и уже начинаете дело помощи ему. Я приехал погостить к Али пять лет тому назад, возвращаясь из путешествия по Индии, и познакомился у него с вашим братом. Али рассказал мне о его чистой жизни самоучки — большого учёного, о его беззаветной преданности свободе народа. Такие, редко встречающиеся качества в русском офицере, я помню, меня очень тронули. И когда я увидел вашего брата, его прекрасное лицо сказало мне так много, что я сразу стал ему преданным другом. А вы знаете — из наблюдений даже такой короткой и юной жизни, как ваша, — что цельные, сосредоточенные характеры не умеют отдавать свои сердца и дружбу вполовину. Мы часто виделись с вашим братом. И это я пополнял постоянными посылками редких книг его прекрасную библиотеку. Удивительно, что странствующая жизнь офицера не помешала ему таскать за собой всюду сундуки с книгами. Ну, а когда он осел в К., тут уж подлинно он собрал настоящую ценность — библиотеку мудреца. Как жаль, что всё это погибло...

Снова помолчав, придвинувшись ближе ко мне, он добавил:

— Мне по опыту понятно ваше состояние. И то, что я вам скажу, я решаюсь сказать только потому, что сам прошёл через все печальные этапы человеческой жизни, от которых сейчас страдаете вы. Нельзя думать, как думает всегда юность, что жизнь ценна главным образом тем личным счастьем, которое она сулит. Не считайте корнем вашего положения сейчас страдание и опасности, которые переносите за брата. Откиньте личные чувства и мысли о себе, думайте о защите брата, о труде и энергии, которые вы должны внести сейчас и дальше, чтобы помочь ему выйти живым и свободным из десятка ловушек, которые будут расставлять ему фанатики и царское правительство, не очень-то любящее думающих офицеров. Если бы вам не удалось увидеться с братом...

Постучали в нашу дверь. Это оказался проводник, спрашивающий билеты и извинявшийся, что он забыл их взять у нас ночью. А сейчас пойдёт проверка билетов, которые должны быть у него. Флорентиец подал проводнику билеты.

— Завтрак, чай, — сказал он ему с иностранным акцентом.

Я объяснил проводнику, что мой брат желает кушать в купе, а не ходить в вагон-ресторан. Он взялся принести нам завтрак, но сказал, что хороший вагон-ресторан прицепят только в Самаре, а пока кормят плохо. На мой вопрос о фруктах ответил, что может их достать сейчас, и даже отличные.

Я дал ему денег, подумав, сколько из них он пропьёт. И решил, что наше путешествие до Москвы будет не из великолепных по обслуживанию и вряд ли мы получим съедобный завтрак.

Но я ошибся. Проспавшийся проводник оказался честным. Он скоро принёс отличный кофе со сливками, вкусный хлеб, масло, сыр и фрукты и всю до копейки сдачу.

Когда завтрак был окончен и всё убрано, Флорентиец сказал мне:

— Теперь приготовься выслушать, от каких бедствий мы спаслись и какие грозы собираются над головой Али. Люди в дервишской одежде и тот третий с билетами, которых мы встретили ночью у водонапорной башни, гнались за нами. Фанатики и муллы проследили нас благодаря многочисленности своих монашествующих сект и отличной шпионской организации, связывающей их всех между собой. Прибежавший к дервишам сарт с билетами сказал им, что мы едем в К. в международном вагоне, что ты едешь в платье слуги и надо тебя прикончить в толпе на перроне в К. А меня постараться захватить живьём, когда начнётся переполох. Теперь они уже подъезжают к К. Они сели на той станции, где мы сошли, всё там обследовали и потому будут уверены, что нас там не было. Хутор Али, откуда нам прислали лошадей, они выслеживали весь день. Убедившись окончательно, что нас там нет, они попросили кучера довезти их до станции железной дороги к ночному поезду. Он с удовольствием это сделал, так как иначе ему невозможно было бы выехать на вокзал за нами, не возбудив их подозрений. Доставив их на станцию, он тотчас же уехал как будто домой, а на самом деле остановился в том месте, что Али указал мне в телеграмме. И вот... след наш теперь так запутан, что найти нас трудно. Но всё же, чтобы нам ехать не вдвоём, как они нас ищут, надо будет послать телеграммы двум моим друзьям, чтобы они поймали нас на этом поезде, как и где только смогут скорее...

Я вызвался отправить телеграммы, но Флорентиец сказал, что это надо поручить проводнику.

Телеграммы были написаны. Отдавая ему телеграммы и деньги, Флорентиец сказал:

— Всё, что останется от этих денег, возьмите себе. — И, задержав его грубую руку в своей прекрасной руке, прибавил тихим проникновенным голосом: — Только не пейте больше. Это не облегчит вашего горя, а прибавит ещё больше несчастья.

Тут произошло что-то необыкновенное. Проводник схватил обеими руками руку Флорентийца, приник к ней головой и зарыдал. Это горькое рыдание раздирало мне душу. Слёзы стояли в моих глазах, я едва мог их удержать.

Флорентиец усадил проводника рядом с собою на диван, отёр его слёзы своим чудесным, душистым носовым платком и сказал:

— Не горюйте. Девочка ваша умерла, но жена жива. Вы ещё оба очень молоды, и будут ещё у вас дети. Но надо так жить, чтобы дети рождались здоровыми, а поэтому никогда не пейте. Дети алкоголиков всегда бывают больными и чаще всего несчастными.

Он подал ему стакан с водой, накапав туда каких-то капель. Придя в себя, проводник сказал:

— Я никогда не пил до этого раза. Но как, вернувшись домой, увидел мёртвого ребёнка и мёртвую жену, а тут ни минуты времени и надо уезжать, — так и не смог совладать, в дороге стал пить. Так, это я вам, барин, рассказал ночью про своё горе. Всё спуталось в моей голове. Я думал, что это я прошлую ночь какому-то азиату рассказывал. Он бродил по вагонам, разыскивая какого-то своего товарища — слугу в коричневой одежде и никак мне не верил, что такой не едет у меня. Всё я перепутал. Мне показалось, что он прошёл в международный вагон, а я задремал минут пять. А оказалось, что уже две станции проехали, хорошо, что контроль за это время не проходил. Ах, как я всё перепутал спьяна! Думал, что это я ему рассказывал. — Он покачал недоумённо головой. — Грех-то какой! Невесть чего мерещится.

Флорентиец ещё раз пожал ему руку, повторил, что жена его была в глубочайшем обмороке, что это бывает при родах. Он советовал ему послать домой телеграмму с оплаченным ответом на Самару до востребования.

— Так вы, барин, значит, доктор. Оно и видать. Только доктор и может каждого человека человеком признать, хотя он и беден. Вы не погордились мою руку пожать, — говорил проводник, аккуратно складывая платок Флорентийца и возвращая ему его.

— Возьмите его на память о нашей встрече, друг, — сказал Флорентиец. — А это передайте вашей жене, когда вернётесь домой, чтобы принимала по одной капле перед каждой едой. Когда все капли выпьет, она поправится совсем. Флакон же пусть оставит себе на память о докторе. Когда вам будет тяжело в жизни, поглядите на флакон, подержите в руках мой платок и подумайте о моих словах, как я просил вас никогда не пить.

Он ещё раз пожал проводнику руку, задержав её в своих, улыбнулся ему и сказал:

— Мы ещё с вами увидимся в жизни. Не теряйте мужества. Пьяный человек — не человек, а только двуногое животное. Не скорбите, что потеряли ребёнка, а радуйтесь, что жива любимая жена. Бегите, подъезжаем.

Проводник вышел, мы остались одни. На душе моей было пасмурно. Я-то знал отлично, что Флорентиец не говорил с проводником. Почему он мог знать о его горе, о его жене? Какая-то досада и раздражение опять подымались во мне, опять ненавистная таинственность.

— Не надо сердиться, Лёвушка, — сказал мне Флорентиец, нежно обняв меня за плечи. — Право же, на свете нет чудес. Всё объясняется сейчас очень просто. Я вышел ночью в коридор, слышу, кто-то плачет и причитает. Я пошёл на голос и увидел этого несчастного перед откупоренной бутылкой водки, которой он жало-

замены. Потом рассказал и о первом горе, — разлуке с братом и жизни в Петербурге. А затем, как бы самому себе подводя итоги какого-то этапа жизни, сказал ему:

— Сейчас я на втором курсе университета и тоже горе-математик. Но мои занятия даже ещё не привели меня к пониманию, какую бы жизнь я хотел себе выбрать, где бы хотел жить, и даже ещё не понимаю, какое место во вселенной вообще занимает моя фигура.

Мы стояли в коридоре, и мой собеседник предложил мне войти в его купе. Наш разговор — незаметно для меня — принял тёплый товарищеский характер. Меня перестала смущать внешняя суровость моего нового знакомого, а, наоборот, я почувствовал как бы отдых и облегчение. Мои мысли потекли спокойнее; мне очень хотелось узнать об университетах Берлина и Лондона, и я был рад посидеть с моим новым другом.

Но мне страстно хотелось заглянуть к Флорентийцу и передать ему, что я не осрамился в его поручении и что грек очень интересный человек.

Только я хотел сказать, что зайду на минутку в своё купе, как дверь открылась, и на пороге я увидел Кон-Ананду. Он сказал, что Флорентиец заснул и что, если мне интересно поговорить с Иллофиллионом, он охотно посидит в моём купе и покараулит сон Флорентийца.

Я уже знал хорошо, как крепко тот спит, и охотно согласился перемениться местами с Анандой на некоторое время.

Мы продолжали оборвавшуюся беседу. Чем дальше говорил Иллофиллион, тем я сильнее поражался его знаниями, наблюдательностью, а главное, силой его обобщений и выводов.

Я сам не лишён был синтетических способностей, хорошо разбирался в логике, сравнительно много читал. Но все мои, называемые блестящими способности казались мне жалким хламом, сброшенным в лавке старьёвщика в общую кучку, в сравнении с чёткостью мысли и речи моего собеседника.

— Как странно я чувствую себя снова сегодня. Точно я поступил в новый университет и прослушал ряд занимательнейших лекций. Но если бы вы ещё рассказали мне о быте студентов, с которыми вы учились, об уровне их развития и интересов, — сказал я.

И снова полилась наша беседа, причём мой собеседник проводил параллель между студенчеством Греции, Германии, Парижа и Лондона, которые он имел возможность наблюдать.

Я ловил каждое слово. Он говорил так просто и вместе с тем так образно, что мне казалось, будто я сам путешествую вместе с ним, всё слышу и вижу собственными глазами.

Страстная жажда знания, жажда видеть мир, людей, узнать их нравы и обычаи переполнила меня до экстаза. Я перестал отдавать себе отчёт во времени и месте, забыл, что я всё своё образование получил трудами брата, бедного русского офицера, и решил, что непременно увижу весь свет и не оставлю ни одного угла, не побывав там.

— А хотелось бы вам путешествовать? — услышал я вопрос И.

Говоря так, он скроил мне такую постную физиономию, так весело засмеялся, что я забыл всё своё стеснение, залился смехом и уверил его, что буду решительно беззастенчив и накормлю его до отвала.

Мы вышли из купе под весёлый смех Кон-Ананды.

Пробравшись в вагон-ресторан, я быстро нашёл нам столик в некурящем отделении, заказал завтрак и старался занимать моего нового знакомого, обращаясь к нему на немецком языке. Он отвечал мне очень охотно, спросил, бывал ли я в Греции. Я со вздохом сказал, что дальше Москвы, Петербурга, Северного Кавказа и К., где был в первый раз и очень коротко, нигде не бывал.

Нам подали кофе, и я, пользуясь правом молчания за едой, украдкой, но пристально наблюдал моего грека.

Положительно, за мою детскую и юношескую монотонную жизнь сейчас я был более чем вознаграждён судьбой, встретив сразу так много событий и лиц, не только незаурядных, но даже не умещающихся в моём сознании. Казалось, положить моему греку венок из роз на голову, накинуть на плечи греческий хитон — и готова модель для лепки какого-либо олимпийского бога, древнего царя, мудреца или великого жреца, но в современное платье в моём сознании он как-то не влезал. Не шёл ему европейский костюм, не вязался с ним немецкий язык — скорее ему пристали бы наречия Испании или Италии. Правильность черт его лица не нарушал даже низкий лоб с выпуклостями над бровями — тонкими, изогнутыми, длинными — до самых висков. Нежность кожи при таких иссиня-чёрных волосах и едва заметные усы... Про него действительно можно было выразиться: «красив как бог».

Но того обаяния, которым так притягивал меня Флорентиец, в нём не было. Насколько я не чувствовал между собою и Флорентийцем условных преград — хотя и понимал всю разницу между нами, и его огромное превосходство во всём надо мной, — настолько Иллофиллион казался мне замкнутым в круг своих мыслей. Он точно отделён был от меня перегородкой, и проникнуть в его мысли, думалось мне, никто бы не смог, если бы он сам этого не захотел.

Мы дождались следующей остановки, вышли из вагона-ресторана и прошлись по перрону до своего вагона. Мой спутник поблагодарил меня за оказанную ему услугу, прибавив, что я гид очень приятный, потому что умею молчать и нелюбопытен.

Я ответил ему, что детство прожил с братом, человеком очень серьёзным и довольно молчаливым, а юность не баловала меня такими встречами, где бы люди интересовались мною. Поэтому, хотя я и очень любопытен, в противовес его заключению, но научился, так же как и он, думать про себя.

Он улыбнулся, заметив, что математики — если они действительно любят свою науку — всегда молчаливы. И мысль их углублена настолько в логический ход вещей, что даже вся вселенная воспринимается ими как геометрически развёрнутый план. Поэтому суета, безвкусие в высказывании неполноценно продуманных мыслей и суетливая болтовня вместо настоящей истинно человеческой осмысленной речи, какою должны бы обмениваться люди, пугает и смущает математиков. И они бегут от толпы и суеты городов с их далёкой от логики природы жизнью.

Он спросил меня, люблю ли я деревню? Как я мыслю себе свою дальнейшую жизнь? Я ответил, что вся жизнь моя прошла пока на гимназической и студенческой скамье. Рассказал ему, как поступил в гимназию, смеясь, вспомнил и блестящие экзамены.

вался и изливал горе об умершей жене и новорождённой дочке. Не надо быть врачом, чтобы знать, что у женщин при болезни почек во время родов случаются глубочайшие обмороки. Я уверен, что тут был как раз такой случай и что его жена пришла в себя, но у бедняги не было времени дождаться и убедиться, что она жива. Ты уже не дитя, — продолжал он, усаживая меня подле себя. — Тебе пора оставить манеру прежде всего сердиться, если ты чего-нибудь не понимаешь. Во всём, что тебе кажется таинственным и непонятно чудесным из происшествий последних дней, — если бы ты не раздражался, а собирал волю и бдительно наблюдал, — ты бы сам убедился, что нет чудес, а есть та или иная степень знания.

Голос его, выражение милых глаз, всё было так отечески нежно и ласково, что я приник к нему, и снова волна радости, уверенности и спокойствия пробежала по мне. Я был счастлив.

Вскоре вернулся проводник, принёс квитанции на посланные телеграммы и букет роз, которым украсил наш столик. Флорентиец сказал, что ждёт в Самаре двух своих друзей, для которых просит его оставить соседнее с нами купе. А что касается нашего, то хочет занять в нём все четыре места, чтобы хорошенько отдохнуть. Проводник объяснил, что, заплатив только за лишние две плацкарты, мы получили право на всё купе. Но если хотим заказать купе для друзей от Самары, то должны внести ему вперёд сумму за заказ и билеты, что мы сейчас же и выполнили.

Дальше наше путешествие шло без осложнений. В Самару мы должны были приехать ночью. Я очень устал, мне хотелось спать, и я попросил проводника сделать мне постель. Флорентиец же сказал, что будет ждать друзей, от постели отказался, а для них попросил приготовить постели в соседнем купе.

Я спросил проводника, почему вагон наш пуст. Он объяснил, что все едут на ярмарку в дальние восточные города, что в ту сторону вагоны заполнены до отказа купцами всех наций, а оттуда пока во всех поездах пусто. Но через две недели нельзя будет достать ни одного билета обратно, даже и в третьем классе.

Постель моя была готова, я отлично вымылся, с восторгом переоделся в чистое бельё Али Махмеда, мысленно поблагодарил его, дав себе обещание отслужить ему за его заботу, простился с Флорентийцем и мигом заснул.

Глава 7

Новые друзья

Проснувшись, я увидел, что диван Флорентийца пуст. Должно быть, было уже довольно позднее утро, и — что меня особенно поразило — в окна стучал частый и крупный дождь.

С тех пор как я приехал к брату в К., где летом никогда не бывает дождя и о котором мечтаешь, покрытый потом и пылью, как о манне небесной, — это был первый дождь.

Я мигом вскочил и засмеялся, вспомнив, как меня поразила быстрота движений Флорентийца, когда он так же внезапно сел, проснувшись. И я сейчас, точно кот, почуявший мышь, бросился к окну и отдёрнул занавеску.

Дождь показался мне добрым, родным братом. В его серой пелене был виден лес, настоящий зелёный лес, и не было жары.

Какая-то нежность к своей родине, даже как бы чуть-чуть раскаяние, что я мало ценил её до сих пор, с её лесами, рощами, зелёными полями и сочной травой, пробежала по мне. Я радовался, что попал снова в свой край, что здесь нет серо-жёлтого ландшафта, одинаково пустынного на десятки вёрст с торчащими как бирюзовые горы, голубыми куполами и минаретами мечетей.

И как только эта восточная картина мелькнула в моём воображении, так сразу же встала передо мной и вся цепь событий, людей, отдельных слов и небольших эпизодов последних дней.

Моя радость потускнела, и вся быстрота движений исчезла. Я стал медленно одеваться и думать, какой сумбур царит в моей голове. Я положительно не мог связать все события в ряд последовательных фактов. И всё, что было третьего дня, вчера или два дня назад, — всё сливалось в какой-то большой ком, где я даже не всё отчётливо помнил.

Внезапно в коридоре я уловил какое-то слово, и тембр голоса опять показался мне знакомым.

«Странно, — подумал я. — Всегда у меня была изумительная память на лица и голоса. А теперь и этот дар я, кажется, теряю. Должно быть, проклятая шапка дервиша да жара повредили мне не только слух, но и мозги».

В эту минуту снова донёсся из коридора баритональный, неповторимо красивый голос. Я даже сел от изумления, и всего меня бросило в жар, хотя ни о какой жаре и помина не было.

«Нет, положительно, я стал какой-то порченый, как говорил денщик брата — продолжал я думать, утирая пот со лба. — Не может же это быть голос дервиша, который дал мне своё платье и у которого мы останавливались ночью».

Всё завертелось в моей голове, до физической тошноты недоумение наполнило меня всего.

Я думал, что если бы под страхом смертной казни я должен был рассказать в эту минуту подробный ход событий, я бы не мог их передать, память моя отказывалась

благодарности, тоски от предстоящей разлуки и радости от привычного объятия и ласки брата, какое я испытал тогда.

Тихо разняв мои руки, брат вошёл в класс, стал во фрунт перед директором и сказал:

— Прошу извинить, ваше превосходительство, моего брата. В кочующей офицерской жизни мне удалось обучить его немногим наукам, которые я сам знал. Но манеры и дисциплинированность не пришлось ему привить. Я надеюсь, что под вашим просвещённым руководством он их приобретёт.

Директор подал руку брату, познакомил его с учителем, с любопытством разглядывавшим его, и наговорил ему массу комплиментов по поводу моей подготовки и блестящих способностей.

Но в моём сердце появилась первая трещинка. Я понял, что оскандалил брата. Вспомнил, как часто он повторял мне, что надо всегда быть выдержанным и тактичным, вдумываться в обстоятельства, отдавать себе отчёт, где ты и кто перед тобой, — и только тогда действовать.

Всё это, весь этот эпизод детской жизни мелькнул сейчас передо мной, вызванный точно такой же спазмой сердца, которую я испытал тогда. Я встретил впервые чужого человека, который стал мне так же дорог и близок, как мой милый брат, — и я снова себя почувствовал неумелым ребёнком, не знающим, как подойти к чужому человеку, что ему сказать и как себя вести, чтобы выполнить желание Флорентийца и доставить ему удовольствие своим поведением... Я стоял в коридоре, не решаясь постучать в соседнее купе, а в моей голове — точно молнией освещённый — пронёсся этот эпизод моей первой детской бестактности.

Сжав губы, вспомнил я из письма Али: «превозмогу», — и постучал в соседнюю дверь.

— Herein, — услышал я произнесённое незнакомым мне чужим голосом.

Я открыл дверь и чуть было не убежал назад к Флорентийцу, как когда-то к брату в коридор из класса.

На диване, друг против друга, сидели рослые люди, но я увидел только две пары глаз. Глаза дервиша — сразу запомнившиеся мне в первое свидание, глаза-звёзды, — и пристальные, почти чёрные глаза грека, напоминавшие прожигающие глаза Али старшего.

— Позвольте теперь познакомиться по всем правилам вежливости с вами, — сказал, вставая, Сандра Кон-Ананда. — Это мой друг Иллофиллион. — Он пожал мне руку, я же неловко мял в руке своё кепи и, кланяясь греку, проговорил, как плохие ученики нетвёрдо выученный урок:

— Ваш друг Флорентиец послал меня к вам. Может быть, вам угодно пойти в вагон-ресторан выпить кофе? Я могу служить вам гидом.

Грек, пристальные глаза которого вдруг перестали быть сверлящими шилами, а засветились юмором, быстро встал, пожал мне руку и сказал с сильным иностранным акцентом, очевидно выбирая слова, но совершенно правильно по-русски:

— Я думаю, мы с вами «два сапога — пара». Вы так же застенчивы, как и я. Ну, что же. Пойдём вместе. Мы, конечно, не найдём двести, но потеряем четыреста. А всё же мы с вами подходим друг к другу и, наверное, пока решимся спросить себе завтрак, всё съедят у нас под носом, мы останемся голодными.

С этими словами он предложил мне скорее привести себя в полный порядок, достал мне из саквояжа кепи вместо панамы, и... я вздохнул и отправился знакомиться с греком, не менее застенчивым, чем я сам.

За свои двадцать лет я не очень много бывал в обществе. Четырнадцать лет я прожил неотлучно с братом, под руководством которого проходил программу гимназии. Я разделял его кочевую жизнь, был с ним даже в Р-ском походе. Но когда брату пришлось перевестись с полком в далёкую Азию, он решил отдать меня в гимназию в Петербурге, где у нас жила тётка. Он надеялся, что, быть может, удастся поместить меня у неё. Но старая чванливая дама не пожелала иметь такого замухрышку своим компаньоном ежедневной жизни, и брату пришлось выбрать гимназию, где был интернат.

На экзаменах — я держал в шестой класс — мои познания поразили учителей. Я выдержал языки и математику блестяще. Сочинением на тему о сказке в произведениях великих писателей я их всех сразил. Они дали мне тему о русской литературе, я же понял её, как тему вообще в мировой литературе, и навалял со свойственным мне азартом столько, что бумаги мне не хватало. На просьбу о добавочной бумаге учитель с удивлением сказал, что за всю его жизнь ему встретился впервые такой случай, чтобы ученику не хватило бумаги, отпущенной на черновик и на переписку набело.

Подошедшему в эту минуту директору он показал мою работу, сказав, что вот уже скоро три часа, как я пишу почти не отрываясь. Директор взял мои листы, стал читать, прочёл почти целый лист и спросил, пристально на меня поглядев:

— Вы сын писателя?

— Нет, — ответил я, — я сын своего брата.

Увидев полное изумление на лице директора и учителя, который едва сдерживался, чтобы не прыснуть от хохота, я смешался и быстро пробормотал:

— Простите, господин директор. Я сказал, конечно, полную несуразность. Я хотел сказать, что не помню ни отца ни матери. А как себя помню — всё меня воспитывал и учил брат, и я привык видеть в нём отца. Вот потому-то я так нелепо и выразился.

— Это хорошо, что вы так любите брата. Но кто же готовил вас? Вы так прекрасно приготовлены.

— Брат занимался со мной по программе гимназии, других учителей у меня не было.

— А кто же ваш брат? — спросил, улыбаясь, учитель.

— Поручик N-ского полка, — ответил я.

Оба наставника переглянулись, и директор, всё ещё глядя удивлённо на меня, но улыбаясь мне мягкой и доброй старческой улыбкой, сказал:

— Или вы феномен по способности или ваш брат поразительный педагог.

— О, да, мой брат не только педагог, но и такой учёный, какого другого и нет, — выпалил я восторженно. — Да вот и он, — закричал я, увидев милое лицо моего брата за стеклянной дверью класса.

И, забыв, где я, кто передо мной, зачем я здесь, я выскочил в коридор и обвил шею моего дорогого брата руками. Как сейчас помню то страстное чувство любви,

логически работать. Я сидел, уныло повесив голову, а в коридоре теперь уже явно различал английскую речь — один из голосов принадлежал Флорентийцу, а другой был всё тот же чудесный металлический баритон, ласкающий, мягкий, но, казалось, чуть прибавь этому голосу темперамента — и он может стать грозным, как стихия.

«Нельзя же так сидеть растерянным мальчиком. Надо выйти и убедиться, кто говорит с Флорентийцем», — продолжал я думать, напрасно стараясь отдать себе отчёт, когда точно я видел мнимого дервиша, сколько прошло времени с тех пор, мог ли он очутиться здесь сейчас.

Только что я решился выйти из купе, как дверь открылась, и вошёл Флорентиец. Его прекрасное лицо было свежо, как у юноши, глаза блистали, на губах играла улыбка, — ну, век смотрел бы на это воплощение энергии и доброты, и никогда не поверил бы, как сурово-серьёзно может быть это лицо в иные моменты.

Он точно сразу прочёл все мои мысли по моему расстроенному лицу, сел рядом, обнял меня и сказал:

— Мой милый мальчик! Все события последних дней могли расстроить и не такой хрупкий организм, как твой. Но всё, что ты испытал, ты перенёс героически. Ни разу страх или мысль о собственной безопасности не потревожили твоего сердца. Ты был так верен делу спасения брата, как только возможно. Теперь я узнал о судьбе обоих Али и их домочадцев.

И он рассказал мне, как Али с племянником, проводив нас и дервиша, вернулись в город. Там они вывели из дома всех людей и спрятали их в глубоком бетонном погребе, под каменным сараем в самом конце парка. Туда же успели вынести из дома наиболее ценные ковры и вещи, замаскировав вход так, что найти его никто не мог. Там, в этом погребе, Али и все его домочадцы провели страшную ночь, когда толпа дервишей и правоверных кинулась на его дом.

Ужасов, неизбежных в этих случаях, — как выразился Флорентиец, — он не стал мне рассказывать. Власти, услыхав, что религиозный поход принимает колоссальные размеры — а это уже их не устраивало — разослали по всему городу патрули. Но патрули вышли в город тогда, когда дом Али был уже подожжён со всех концов.

С домом брата фанатики поступили так же. Сухой, как щепка, старый дом сгорел дотла. Но тут несчастье было больше. Подкупленный денщик пустил вечером кого-то в дом, якобы осмотреть драгоценную библиотеку брата. Вошедшие стали угощать его вином, до которого он был великий охотник, очевидно, угостились и сами на славу. Как было дело дальше, никто толком пока не знает. Но факт, что двое там сгорели, а денщик еле выскочил из огня. Ему рамой расшибло голову, когда он прыгал из окна. Еле выбежав из задней калитки сада, полуодетый, окровавленный, почти в безумном состоянии, он был подобран проходившим патрулём и доставлен в госпиталь. Там он в бреду всё повторял:

— Капитан... барин... брат... Они насильно лезли. — И снова: — Капитан... барин... брат... Я их не пускал... Они подожгли.

Военный доктор, узнав от солдат, что больной им известен, что это денщик капитана Т., встревожился и послал доложить генералу о пожаре в доме капитана Т. Он спрашивал, известно ли кому-нибудь, где капитан Т., не сгорел ли он вместе с бра-

том в своём доме? Что от его денщика узнать ничего толком нельзя, и надо думать, в себя он не придёт и скоро умрёт.

Разбуженный генерал, предубеждённый вообще против местного народа, ненавидевший к тому же, когда тревожили его ночной покой, помчался прямо к губернатору. Он там закатил такой спектакль, что немедленно всё проснулось. Все ничего не видевшие и не слышавшие до этой минуты власти, считавшие религиозные вопросы местного населения вопросами, не подлежащими наблюдению царских властей, сразу проснулись, прозрели и кинулись тушить пожар религиозного фанатизма, объявив этот религиозный поход бунтом.

Хорошо заплатив всем властям за невмешательство, бесчинствующая толпа фанатиков была поражена примчавшейся пожарной командой и нарядом войска. Мулла уверял дервишей и толпу, что это только инсценировка, что солдаты никого не тронут. Но когда увидел выстроившуюся линию солдат, готовых к стрельбе, сам первый бросился бежать со всех ног, за ним разбежалась и дикая толпа.

Дом Али удалось наполовину отстоять, но дом брата горел, как костёр, пламя бушевало с такой силой, что даже подступиться к нему близко было невозможно. Очевидно, благодаря бреду бедняги-денщика создалась уверенность, что капитан Т. и его брат сгорели в доме.

Пока Флорентиец всё это мне рассказывал, у меня, как у одержимых навязчивой идеей, сверлила в голове мысль: «Чей я слышал голос? Как зовут этого человека?»

Не в первый раз за наше короткое знакомство я замечал поразительное свойство Флорентийца: отвечать на мысленно задаваемый вопрос. Так и теперь, он мне сказал, что в Самаре в наш вагон сели два его друга, которых он встретил на перроне.

— Один из них уже знаком тебе, — проговорил он с неподражаемым юмором, так комично подмигнув мне глазом, что я покатился со смеху. — Его зовут Сандра Кон-Ананда, он индус. И ты не ошибся, что голос его мог бы сделать честь любому певцу. Поёт он изумительно, прекрасно знает музыку, и ты, наверное, сойдёшься с ним на этой почве, если бы другие стороны этого своеобразного, интересного и очень образованного человека не заинтересовали тебя. Другой мой друг — грек. Он тоже человек незаурядный. Великолепный математик, но характера он более сложного; очень углублён в свою науку и малообщителен, бывает суров и даже резковат. Ты не смущайся, если он будет молчать, он вообще мало говорит. Но он очень добр, много испытал и всякому готов помочь в беде. По внешнему обращению не суди о нём. Если у тебя явится охота с ним поговорить — ты пересиль застенчивость и обратись к нему так же просто, как обращаешься ко мне.

— Как я обращаюсь с вами?! — горячо, даже запальчиво воскликнул я. — Да разве может кто-нибудь сравниться с вами? Если бы тысячи дивных людей стояли и мне предложили бы выбрать друга, наставника, брата, я никого бы не хотел, только вас одного. И теперь, когда всё, что мне было дорого и близко в жизни — мой брат, — в опасности, когда я не знаю, увижу ли его, спасусь ли сам, — я радуюсь жизни, потому что я подле вас. Через вас и в вас точно новые горизонты мне открываются, точно иной смысл получила вся жизнь. Только сейчас я понял, что жизнь ценна и прекрасна не одними узами крови и любви по ней, но той радостью жить и бороться за

счастье и свободу всех людей, что осознал подле вас. О, что было бы со мной, если бы вас не было подле меня все эти дни? Не важно даже, что я бы погиб от руки какого-либо фанатика. Но важно, что я ушёл бы из жизни, не прожив ни одного дня в бесстрашии и не поняв, что такое счастье жить без давления страха в сердце. И это я понял подле вас. Теперь я знаю, что жизнь ведёт каждого так высоко, как велико его понимание своего собственного труда в ней, как труда-радости, труда светлой помощи, чтобы тьма вокруг побеждалась радостью. И все случайности, бросившие меня сейчас в водоворот страстей, мне кажутся благословенными, происшедшими только для того, чтобы я встретил вас. И никто, никто в мире не может стать для меня наряду с вами!

Флорентиец тихо слушал мою пылкую речь; его глаза ласково мне улыбались, но на лице его я заметил налёт грусти и сострадания.

— Я очень счастлив, мой дорогой друг, что ты так оценил моё присутствие возле тебя и нашу встречу, — сказал он, положив мне руку на голову. — Это доказывает редкую в людях черту благодарности в тебе. Но не горячись. Если сознание твоё расширилось за эти дни, то, несомненно, и сердце твоё должно раскрыться. Должны стереться в нём, как и в мыслях, какие-то условные грани. Ты должен теперь по-новому смотреть на каждого человека, ища в нём не того, что сразу и всем видно, не броских качеств ума, красоты, остроумия или злых свойств, а той внутренней силы и доброты сердца, которые только и могут стать светом во тьме для всех окружающих, среди их предрассудков и страстей. И если хочешь нести свет и свободу в путь людям — начинай всматриваться в людей по-новому. Начинай бдительно распознавать разницу между мелким, случайным в человеке и его великими качествами, родившимися в результате его трудов, борьбы и целого ряда побед над самим собой. Начинай сейчас, а не завтра. Отойди от предрассудка, что человек то, чем он кажется, и суди о нём только по его поступкам, стараясь всегда встать в его положение и найти ему оправдание. Оба моих друга знают мало
твоего брата и также мало знают Наль. Но как только Али намекнул им месяц назад о возможности происшедшей сейчас развязки — они оба оставили все свои дела, ждали зова и приехали помогать Али точно так же, как и я. Попробуй первый раз в жизни взглянуть в их лица иначе. Пусть любовь к брату будет тебе ключом к новому пониманию сердца человека. Прочти с помощью этого ключа ту силу преданной любви, что единит всех людей, без различия наций, религий, классовой розни. Подойди к ним впервые, как к людям, цвет крови которых одинаково с твоею красен.

Он обнял меня, сказал, что он с Сандрой Кон-Анандой уже пил кофе в вагоне-ресторане, а теперь мне надо быть вежливым к другому гостю и предложить ему свои услуги спутника и гида в вагоне-ресторан. Грека зовут Иллофиллион. Он говорит по-русски плохо и очень стесняется говорить на этом языке в непривычной ему обстановке.

— Побори свою застенчивость, — прибавил Флорентиец, — вспомни, как я вёл тебя за руку в трудные минуты. Вообрази, что для него это тоже минуты неприятные, и облегчи ему их. Он отлично владеет немецким языком. Если тебе надоест его затруднение в русском, ты можешь заставить его рассказывать тебе много интересного из его студенческих лет по-немецки. Он кончил естественный факультет в Гейдельберге и математический в Лондоне.

ревшая женщина, не умевшая сдержать своего бешенства и тихо выплёвывавшая ругательства:

— Девчонка, дура, подлая шпионка, дрянь, я тебе отплачу. Я всё расскажу дедушке и отцу.

Девушка с мольбой взглянула на И. На наш стол, несмотря на грохот колёс и шум вентиляторов, кое-кто уже стал обращать внимание. И. подозвал лакея, заплатил за всех и за всех же отказался от кофе. Он встал, достал наши шляпы и, твёрдо взглянув на тётку, сказал ей очень тихо, но повелительно:

— Встаньте, дайте пройти вашей племяннице. Поезд сейчас остановится на станции, мы пройдём с ней по перрону. Вы же ступайте в ваше купе через вагоны. Придите в себя, вы потеряли всякий человеческий облик. Постарайтесь скрыть от всех под улыбкой своё бешенство.

Говоря так, он стоял, склонившись к ней в вежливой позе, подавая ей её упавшие сумочку и перчатки.

Ни слова не отвечая ему, она встала и прошла мимо столиков к выходу, не дожидаясь нас.

И. помог Лизе выйти из-за тесно поставленных стульев, прошёл вперёд, открыл дверь и пропустил вперёд девушку. Выйдя вслед за ними из вагона, я немного отстал: мне хотелось побыть одному, разобраться в этой чужой жизни, завеса которой приподнялась передо мной так внезапно и безобразно. Но И. остановился, подождал, пока я подойду, и сказал мне:

— Не отставайте от меня ни на шаг, друг. Какие бы драмы или приятные развлечения ни встретились нам в пути, мы не должны забывать нашей главной цели.

Он взял меня под руку, и мы все втроём раза два прошлись по платформе, войдя в вагон уже после второго звонка.

Каково же было моё удивление, когда я увидел, что тётка стоит в коридоре нашего вагона и весело флиртует с каким-то не особенно старым генералом. Оказалось, что купе наших соседок по столу было через два отделения от нас.

Как ни в чём не бывало, тётка обратилась к нам, сказав, что уже стала беспокоиться, не похитили ли мы её племянницу. И., в тон ей, отвечал, что ни он, ни я на людей, занимающихся романтическими похождениями, как будто бы не похожи, но что мы очень горды, конечно, если, по её мнению, имеем вид Дон Жуанов.

Очень корректно раскланявшись с тёткой и племянницей — причём я тоже старался щегольнуть элегантностью манер, — мы вошли в своё купе. И. сказал Лизе, что книгу, которую он ей обещал, пришлёт ей с проводником.

Бедной девушке, очевидно, было жутко расставаться с нами. Её личико, и без того худое, ещё осунулось.

Когда мы вошли в купе, я хотел поговорить о наших новых знакомых, но И. сказал мне:

— Не стоит сейчас о них говорить. Нам с тобой, перенёсшим немало скорби в жизни, надо очень думать о каждом слове, которое мы говорим. Нет таких слов, которые может безнаказанно выбрасывать в мир человек. Вся жизнь — вечное движение, и это движение творят мысли человека. Слово — не простое сочетание букв. Оно всегда передаёт действие силы в человеке. Даже если он не знает ничего о тех силах, что носит в себе, и не думает, какие вулканы страстей и зла можно соткать и

— Какой это мальчуган? Это целый мужик, смертельно пьяный.

Я не имел сил, хотя всей душой хотел закричать, что я не пьян, что я умираю от голода и холода и прошу помощи. Я уже приготовился умереть, и сейчас мелькнувшая было и исчезавшая надежда на спасение показалась мне ещё одним надругательством судьбы надо мной. Тяжело ступающие шаги пошли прочь, унося воркотню грубого голоса. Я думал, что и другой голос замрёт также вдали, как вдруг нежная сильная рука приподняла мою голову, и горестное «Ох» вырвалось, как стон, надо мною.

Глаза я от слабости открыть не мог. Склонившийся надо мной незнакомец громко что-то закричал своему спутнику. Тот нехотя, едва волоча ноги, снова подошёл к нему. Повелительный тон молодого голоса, в котором послышалась непреклонная воля, мигом привёл в другое настроение ворчуна.

— Одним духом отправляйся за носилками и доктором, старый лентяй. Так-то ты следил за нашими вещами в трюме, что не видел, как здесь умирает человек.

— Виноват, барин, этот воришка верно только что пробрался сюда. Я всё время проверял ящики, всё было цело.

— Брось бессмысленную болтовню. Какой он воришка? Ведь это слабый ребёнок! Мигом — носилки и доктора! Или ты снова отведаешь моей палки.

Куда девались шаркающие ноги? «Есть», — выговорил слуга зычным басом и побежал так, как и я бы не смог, хотя бегал я, здоровый, хорошо.

— Бедный мальчик, — услышал я над собой тот же проникновенный голос. И как он был нежен, этот голос, точно ласка матери, проник мне в сердце, и жгучие, как огонь, слёзы скатились на мои щёки.

— Слышишь ли ты меня, бедняжка?

Я хотел ответить, но только стон вырвался из моих запёкшихся губ, языком я двинуть не мог, он, точно мёртвое, сухое, шершавое, постороннее тело, не повиновался мне.

— Я спасу тебя, спасу во что бы то ни стало, — продолжал говорить незнакомец. — Мой дядя — доктор...

Но дальше я уже не слышал, я провалился в бездну.

Когда я очнулся, я увидел себя в просторной, светлой комнате. Окна были открыты, постель была такая мягкая и чистая. Я подумал, что я дома. Память унесла всё грозное, что я пережил, и я стал ждать, что сейчас войдёт мама, станет ласково меня бранить за леность. Она имела привычку говорить со мной по-немецки, хотя была гречанка. Но мать её была немка, и она привыкла к этому языку, как к своему родному.

Я всё ждал её милого: «Лоллион», но она что-то долго не шла. Тогда я решил её попугать, как я это иногда проделывал в раннем детстве, крича во всё горло, а она делала вид, что страшно испугалась, складывала моляще свои прелестные руки и преуморительно говорила по-немецки:

— О, господин охотник, право, крокодил меня сейчас проглотит. Пожалуйста, не теряйте времени на крик, убейте его скорее.

Я закричал, как мне показалось, во весь голос, но получился очень слабый звук, похожий скорее на долгий стон.

— Ну, вот он и очнулся, — послышался сзади меня голос.

— Дядя, вы не доктор, а чудо-волшебник.

С этими словами к моей кровати подошли два совершенно незнакомых мне человека. Один из них, как вы, конечно, сами догадались, был Кон-Ананда, которого вам и описывать нечего; другой, ещё не старик, но гораздо старше его. Приветливое лицо, ласковые карие глаза и какое-то необычайное благородство, манеры, мною ещё не виданные, сразу объяснили мне, что это человек того высшего света, о котором пишут в романах, но который недоступен людям среднего класса. Я понял, что вижу впервые вельможу.

— Ну, дружок, теперь мы можем быть спокойны, что ты будешь жить совершенно здоровым человеком, — сказал вельможа по-итальянски. — Не можешь ли ты объяснить мне, какой сегодня день?

Я смотрел на него, совершенно ничего не понимая. Память ещё не вернулась ко мне. Он налил в стакан какой-то жидкости, довольно сильно пахнувшей, и помог мне её выпить. Я посмотрел на лицо Ананды и не узнал, конечно, в нём моего спасителя. Сон снова меня одолел.

Когда я вновь проснулся, мне показалось, что возле постели сидит женская фигура. Я подумал, что это мама, но на этот раз я уже помнил о моём первом пробуждении и поэтому совсем не удивился, когда увидел Ананду.

Я не мог ни в чём отдать себе отчёта и механически заговорил по-немецки:

— Я видел только что маму. Зачем же она ушла?

— Она сильно устала, — ответил он мне. — Если я вам не очень неприятен, то позвольте мне вас накормить обедом. Хотя, предупреждаю вас, что назвать обедом то, чем я буду вас кормить, нельзя. Доктор очень строг, и вам позволено есть только жидкие каши и кисели.

Он помог мне сесть в постели, и, как ни осторожно он это делал, я едва не упал в обморок. Он быстро дал мне глоток вина, и вскоре обед был кончен, но ему пришлось меня кормить с ложечки.

Такая моя жизнь длилась около месяца. И сколько раз я ни спрашивал о маме, она всегда или спала, или устала, или поехала за покупками. На мои вопросы, чья это комната, он всегда отвечал: «Ваша». Как-то раз я спросил, отчего няня не придёт ко мне. Он ответил, что, если я помню её адрес, он ей напишет, чтобы она приехала.

— Как же я могу не помнить адреса няни? — возмущённо сказал я. — Это всё равно, как если бы я забыл адрес своей матери.

И я тут же продиктовал ему адрес няни, прося, чтобы завтра же она меня навестила. Он засмеялся и сказал, что, если достанет ковёр-самолёт, непременно слетает за ней сам. И здесь я опять ничего не понял.

Прошла ещё неделя; меня навещал несколько раз вельможа-доктор и позволил встать. Это была сущая комедия, когда я с помощью Ананды попробовал первый раз встать. Роста для своих пятнадцати лет я был очень большого, а за время болезни я так вырос, что поразил даже доктора.

— Можно ли так быстро расти, дружок? — сказал он мне смеясь. — Если ты так будешь продолжать, тебя никто, даже няня, не узнает.

На этот раз я как-то отдал себе отчёт, что времени прошло довольно много, а няни всё нет, и мама всё прячется. Я посмотрел на доктора. Но он, как бы не замечая моего молящего взгляда, помог мне надеть халат, и оба они с Анандой довели меня до

в воду из своего пузырька и подал ей, сказав почти шёпотом, но так повелительно, что девушка мгновенно повиновалась:

— Выпейте, это сейчас же вас успокоит.

Через несколько минут девушка действительно успокоилась. Красные пятна на щеках исчезли, она улыбнулась мне и спросила, куда я еду. Я ответил, что еду пока в Севастополь, а потом ещё не знаю, какой будет маршрут. Лиза удивилась и сказала, что думала, что мы едем в Феодосию или Алушту, что греки большей частью живут там.

— Греки? — спросил я с невероятным изумлением. — Причём же здесь греки?

Лиза в свою очередь широко раскрыла свои большие серые глаза и сказала, что ведь мой родственник такой типичный грек, что с него можно лепить греческую статую. И. и я весело рассмеялись, а тётка, кисло усмехаясь, говорила, что Лиза, как и все музыкально одарённые люди, неуравновешенна и слишком фантазёрка.

И. спорил с ней, доказывал, что люди одарённые вовсе не нервнобольные, а наоборот, они только тогда могут творить и становиться истинно ценными для своей современности, когда найдут в себе столько мужества и верности своему любимому искусству, что забывают о себе, о своих нервах и личном тщеславии, а в полном спокойствии и самообладании радостно несут свой талант окружающим людям. Тётка заявила, что для неё это слишком высокие материи, а Лиза превратилась вся в слух, глаза её загорелись, и она сказала И.:

— Как я много поняла сейчас из ваших слов. Я точно сама себе всё это не раз говорила, так мне ясны и близки ваши слова.

Видно было, что ей о многом хотелось спросить, что её юное сердце загорелось, в полный контраст тётке. В начале обеда такая любезная и кокетливо поглядывавшая на И. — сейчас, к его концу, она едва скрывала скуку и досаду.

— Вот вам бы с моей сестрой познакомиться. Она вечно летает в заоблачных высотах и кроме своих цветов, музыки и книг ничего в жизни не видит и не замечает. Даже того, что делается под самым её носом, — несколько тише и более ядовито прибавила она.

Лицо её отвратительно исказилось порывом зависти и ревности, очевидно уже давно разъедавших её сердце.

Лицо Лизы стало так бледно — побелели даже розовые губы, — что я испугался и быстро протянул ей стакан с водой. Но девушка не заметила моего движения; её потемневшие глаза сразу провалились, под ними легли тёмные тени, и от девушки-ребёнка не осталось и следа. Глядя прямо в глаза тётке беспощадно ненавидящим взглядом, она сказала тихо, раздельно, точно резала:

— Можно делать подлости, если есть вкус к ним. Можно быть и глупым, раз уж в мозгу чего-то недостаёт, но чтобы в своей зависти выдать себя первому встречному — для этого надо быть более чем просто глупой. Вы отравили маме её молодость, мне — детство. Вы всю жизнь пытались встать между папой и нами. Вам это не удалось, потому что папа честный человек и любит нас с мамой. Неужели же мамину и мою деликатность и сострадание к вам вы принимали за наши близорукость или глупость? Я бы и сейчас промолчала, если бы ваша наглость не была так возмутительна.

Трудно передать, что произошло с тёткой. От всей её животной красоты, от её внешнего лоска «барыни» не осталось и следа. Перед нами сидела сразу поста-

Это недоразумение послужило поводом старшей даме для разговора с И., который, как мне показалось, произвёл на неё большое впечатление. Пока старшие сотрапезники занимались обсуждением вреда и пользы вегетарианства, я перенёс своё внимание на вторую даму.

Это была совсем молоденькая девушка, почти ребёнок. На вид ей было не более пятнадцати лет. Светлая блондинка, такого же золотистого оттенка, как мой брат, она одним сходством цвета волос уже завоевала мои симпатии. Я невольно смотрел на неё, пользуясь тем, что она сидела с опущенными глазами. Личико у неё было худое, черты правильные, лоб высокий с бугорками над бровями.

«Очень музыкальна», — подумал я.

Девушка, должно быть, в первый раз обедала в вагоне-ресторане. Она прилагала все усилия, чтобы не расплёскивать суп с ложки, но это ей удавалось плохо.

Заметив, что я бестактно уставился на девушку, И. задал мне какой-то вопрос, желая вовлечь меня в общий разговор и освободить от моих взглядов и без того сконфуженную соседку. Он выразительно на меня посмотрел, и я понял, что в моём поведении что-то не соответствовало поведению хорошо воспитанного человека.

Оказывается, старшая дама просила меня передать ей горчицу, стоявшую подле меня, у окна, а я не слышал её слов. И. повторил мне их, я совсем переконфузился, подал ей горчицу, извинившись перед ней на французском же языке, вспомнив одно из наставлений брата, что хорошо воспитанные люди должны всегда отвечать на том же языке, на каком к ним обратились.

Летучие мысли — как трудно быть хорошо воспитанным человеком, сколько для этого надо условных знаний и в них ли сила хорошего воспитания — промчались не в первый раз в моей голове.

И. извинился перед старшей дамой за мою рассеянность, говоря, что я перенёс трудную болезнь и ещё не успел совсем поправиться. Дама сочувственно качала головой, приняла меня за сына И., чему я весело смеялся, а И. объяснил, что я ему друг и дальний родственник.

Я хотел спросить, не дочь ли ей молоденькая барышня, но в это время она сама сказала, что везёт свою племянницу в Гурзуф, где у её сестры, матери Лизы, дача возле самого моря.

Лиза всё молчала и не поднимала глаз; а тётка рассказывала, что Лиза только что окончила гимназию, очень утомлена экзаменами и должна отдохнуть в тишине.

— Лиза у нас талант, — продолжала она, — у неё огромные способности к музыке и очень хороший голос. Она учится у лучших профессоров Москвы, но отец против профессионального музыкального образования, что и составляет Лизину драму.

Тут произошло что-то необычайное. Лиза вдруг сразу подняла глаза, оглядела всех нас и впилась глазами в И.

— Вы не верьте ни одному слову моей тётки. Она ни в чём не отдаёт себе отчёта и готова выболтать каждому первому встречному всю подноготную, — сказала она дрожащим тихим, но таким певучим и металлическим голосом, что я сразу понял, что у неё должен быть чудесный певческий голос.

На щеках Лизы горели пятна, в глазах стояли слёзы. Она, должно быть, ненавидела тётку и страдала от каких-нибудь черт её характера. И. мгновенно налил капель

окна, где стояло высокое кресло с подножкой, так что сидя в нём, я мог любоваться видом из окна.

Я смотрел неотрывно вперёд, на видневшееся вдали море, смотрел на сад, спускавшийся к морю, не узнавая ландшафта, и не мог ничего понять. Я спросил доктора, почему же я здесь живу? Ведь мой дом в долине у самого моря, а здесь, высоко на горе, я никогда не был и не знаю этого места.

Лицо доктора было очень серьёзно, хотя и очень спокойно. Он взял мою руку, держа её, как считают пульс, но я был уверен, что он не считал пульса, а хотел передать мне часть своей энергии и бодрости.

— Если ты хочешь видеть няню, — тихо сказал он, поглаживая свободной рукой мои волосы, — я могу её позвать. Но я хотел тебе сказать, мой мальчик, что ты уже почти мужчина, а няня твоя слаба и стара. Ей, вероятно, придётся сообщить тебе кое-что неприятное. Старайся быть спокойным, думай, как бы облегчить ей эту трудную минуту. Забудь о своём горе, если оно тебя поразит, старайся только не допустить себя до слёз, чтобы старушка видела, что она вырастила мужчину, а не бабу в панталонах.

Он повернулся к двери и сказал по-итальянски кому-то, чтобы привели мою няню. Затем снова, приняв прежнее положение, стал ласково гладить мои волосы, тихо говоря:

— Всё движется в жизни, мой мальчик. В жизни человека не может быть ни мгновения остановки. Двигаясь по своим делам и встречам, человек растёт и меняется непрестанно. Всё, что носит в себе сознание как логическую мысль, всё меняется, расширяясь в мудрости. Если же человек не умеет принимать мудро своих меняющихся обстоятельств, не умеет стать их направляющей силой — они его задавят, как мороз давит жизнь грибов, как сушь уничтожает жизнь плесени. И конечно, тот человек, кто не умеет — сам изменяясь — понести легко и просто на своих плечах жизнь новых обстоятельств, будет равен грибу или плесени, а не блеску творящей, закаляющейся и растущей в борьбе творческой мысли.

Я слушал и вбирал в себя жадно каждое его слово, не спуская с него глаз. Добрейшее лицо его и мягко гладившая мои волосы рука точно передавали мне любовь и мужество. Я вдруг осознал, что возле меня стоит друг, такой величавый друг, рука которого не только опора для меня в эту минуту, но крепость её такова, что вся жизнь моя не может отягчить потока любви, который горит в этом человеке.

Какое-то почти благоговейное живительное чувство радости, благодарности, не испытанной ещё мною, уверенности и мужества наполнили меня. Я поднёс к губам нежно гладившую меня руку, поцеловал её и ответил ему:

— Я буду стараться быть всегда мужественным. О, как бы я хотел быть таким, как вы, добрым, умным и сильным. Как подле вас мне чудно хорошо. Я точно вырос и весь переменился.

Он обнял меня, прижал к себе, поцеловал в лоб и сказал:

— Будь же мужествен сейчас. Как перенесёшь ты встречу с няней, точно так ты начнёшь и свою новую жизнь.

С этими словами он меня покинул, и через минуту в комнату вошла моя няня.

Она вообще была старенькая, но то, что я увидел сейчас, — это была совершенная руина. Но насколько поразила её внешность меня, настолько же, вероятно, перемена во мне ужаснула её.

Не успела она подойти ко мне, как всплеснула руками, закричала, заплакала, встала на колени на подножку моего кресла, схватила мои руки и так зарыдала, что мужество в моём сердце таяло, как воск.

Хотя я и вырос в стране, где экзальтированные чувства народа легко обнажались в криках и жестах, хотя я с детства знал чисто итальянскую, особенно характерную экзальтацию моей няни, вспыхивавшую как спичка сразу до яркого огня и так же мгновенно потухавшую, но на этот раз в её рыданиях было столько горечи и отчаяния, что я не мог найти слов, чтобы её утешить. Среди её причитаний я мог разобрать как припев: «Мой несчастный мальчик! Мой дорогой сиротка, у тебя нет даже родины».

Какое-то смутное воспоминание начинало меня давить. Мысли, как тяжёлые жернова, ворочались трудно и стали точно весомыми. Я до сих пор помню ощущение в голове, необыкновенно странное, какого я больше в жизни не знавал. Мне казалось, что я ощущаю, как в моих мозговых полушариях происходит какое-то чисто физическое движение, которое я и принял за тяжело шевелящиеся мысли. Должно быть, вся кровь отлила от сердца к голове; я почувствовал острую боль в сердце, как укол длинной иглы, и вдруг, сразу, точно в огне мелькнувшей молнии, вспомнил всё.

Не знаю, потерял ли я сознание в эту минуту, но отчётливо понял, что все картины пережитого, одну за другой, я ясно и точно увидел...

Когда я смог соображать, я увидел возле себя Ананду и только теперь понял, что это он шептал мне в трюме парохода: «Я спасу тебя, мальчик».

Ананда смотрел на меня сосредоточенно и подал мне какое-то питьё. Я выпил и сказал ему:

— Благодарю вас. Благодарю за жизнь, которую вы мне спасли. Нет, не надо, — я отвёл его руку с новым лекарством, — и теперь уже не лекарство может вылечить меня, а тот пример вашей и вашего дяди любви и забот о чужом, брошенном человеке, который я здесь нашёл. Я не понимаю, каким образом я всё забыл. Я только тогда всё вспомнил, когда голос няни и её причитания вернули меня в детство. И когда я услышал, что у меня нет даже родины, я вспомнил сразу всё.

Я не мог ещё долгое время собраться с силами; дыхание моё стало так тяжело, точно мои лёгкие сдавил припадок астмы. Ананда уговорил меня выпить каких-то капель, положил на блюдечко пучок жёлтой сухой травы и поджёг её. Вскоре она задымилась, распространяя сильный аромат, и мне стало лучше.

— Где я сейчас? Это ваш дом? — спросил я Ананду.

— Это Сицилия, — ответил он мне. — Вы здесь в полной безопасности. Это дом доктора. На вашей родине резня восставших партий ещё не прекратилась и бедствия продолжают сыпаться на головы ни в чём неповинных людей. Фанатики-политики режут не только друг друга, но даже иностранцев, что грозит войной всей вашей стране. Всё это очень подробно вы узнаете из газет, которые я для вас сохранил. Вы больны уже больше двух месяцев. И весь первый месяц мой дядя каждый день опасался, что ему не удастся вырвать вас у смерти. Только на второй месяц вашей болезни

Глава 9

Мы едем в Севастополь

Я так много провёл времени в вагоне и чувствовал такое сильное головокружение, что принуждён был лечь. И. достал из своего саквояжа пузырёк с каплями, накапал из него в стакан с водой несколько капель и подал мне, говоря:

— Когда я был болен, Ананда всегда давал мне эти капли.

Я выпил, мне стало лучше, и я незаметно заснул.

Когда я проснулся, И. стоял, смеясь, надо мной и говорил, что уже собирался брызгать мне в лицо водой, так долго я спал, а он умирает от голода. Мне же казалось, что я спал несколько минут. На самом деле было уже семь часов вечера, и надо было живо отправляться обедать, так как все заказавшие обед во вторую очередь уже ушли и, если мы желаем получить обед, надо было поторопиться. Я быстро привёл себя в порядок, проводник запер наше купе, и мы отправились в вагон-ресторан.

Здесь публика была совсем иная, чем в поезде, шедшем в далёкую окраину Азии. Курьерский поезд по очень недавно проведённой новой линии мчал в Севастополь отдыхать богатую публику, направляющуюся в модные курорты: Ялту, Гурзуф, Алупку и т. д. В вагоне-ресторане все уже сидели за столиками, когда мы вошли. Лакей, посмотрев номера наших обеденных билетиков, провёл нас к столику, за которым уже сидели две дамы.

Я сконфузился, так как совсем не привык к дамскому обществу, посмотрел на И. и очень был удивлён, что он вёл себя так, как будто всю жизнь только и делал, что ухаживал за дамами. Он снял свою шляпу, вежливо поклонился старшей даме и сказал по-французски:

— Разрешите нам сесть за ваш стол?

Дама приветливо улыбнулась, ответила на поклон и сказала довольно низким приятным голосом: «Прошу вас» — на прекрасном французском языке.

И. взял наши шляпы, положил их в сетку над столиком и пропустил меня к окну, заняв крайнее место у прохода. Я чувствовал себя очень неловко, старался смотреть в окно, но всё же исподтишка разглядывал моих соседок.

Старшая дама, далеко ещё не старая, была красиво и элегантно одета. Тёмные волосы, тёмные глаза, несколько выпуклые, были, вероятно, близоруки. Она была немного полна и, судя по её белым холёным рукам, никогда не работала ими, да вряд ли и играла на рояле, так как от постоянных ударов по клавишам кончики пальцев расширяются и кожа на них грубеет. Эти же руки были просто руками барыни. Лицо её не светилось ни умом, ни вдохновением. Я посмотрел на её зубы и губы, — всё в ней показалось мне банально красивым, но грубой, чисто физической красотой. Она перестала внушать мне какой бы то ни было интерес.

Тут подали нам мясной суп. И. сказал лакею, что он заказал для нас специальный вегетарианский обед. Лакей извинился и отправился за объяснением к метрдотелю.

— Там ты найдёшь сюрприз от меня, — смеясь, сказал он мне. — Как только почувствуешь могильное настроение, так и поищи мой сюрприз. А последний мой завет тебе: помни, что радость — непобедимая сила, тогда как уныние и отрицание погубят всё, за что бы ты ни взялся.

Тут внесли нам завтрак; явился портье, говоря, что у него остались на руках два билета в Севастополь в международном вагоне, которые он собирался отослать в кассу вокзала в ту минуту, когда пришёл наш заказ. Билеты были нами взяты, вещи мои и И. сданы слуге; мы сели завтракать. Через полчаса мы с И. должны были уже ехать на вокзал.

Как я ни боролся с собой, но есть я ничего не мог, хотя с вечера ничего не ел. Сердце моё раздиралось. Я так привязался к Флорентийцу, что точно второго брата-отца хоронил, расставаясь сейчас. Все старались сделать вид, что не замечают моей печали. В моей голове мелькала мысль: откуда у этих людей столько самоотвержения и самообладания? Почему они все так уравновешенны, так стремительно идя на помощь чужому им человеку, моему брату, в чём находят они ось своей жизни, своему уверенному спокойствию?

И снова прорезала сердце мысль: кто человеку «свой», кто ему «чужой»? Мелькали слова Флорентийца, что во всех людях одинаково красна кровь, и потому все братья, всем надо стремиться нести красоту, мир и помощь.

В калейдоскопе мыслей я и не заметил, как кончился завтрак. Флорентиец погладил меня по голове и сказал:

— Живи, Лёвушка, радуясь, что жив твой брат, что ты сам здоров и можешь мыслить. Мысль-творчество — это единственное счастье людей. Кто вносит творчество в свой простой день, — тот помогает жить всем людям. Побеждай любя — и ты победишь всё. Не тоскуй обо мне. Я навсегда твой друг и брат. Своей героической любовью к брату ты проложил дорогу себе не только к моему сердцу, но вот и ещё твои два верных друга, Ананда и Эвклид.

Я поднял глаза на него, но слёз сдержать не смог. Я бросился ему на шею, он поднял меня на руки, как дитя, и шепнул:

— Уроки жизни никому не легки. Но первое правило для тех, кто хочет победить, — умей улыбаться беззаботно на глазах людей, хотя бы в сердце сидела игла. Мы увидимся, — а вести обо мне будет посылать тебе Ананда.

Он спустил меня на пол, весело ответив на стук в дверь. Это портье пришёл звать ехать на вокзал.

Мы с И. простились сердечным пожатием рук с Флорентийцем и Анандой, спустились за портье вниз, сели в коляску и двинулись на вокзал. Мы ехали молча, ни словом не обменявшись с моим спутником. Только один раз при досадной задержке из-за какого-то происшествия И. спросил кучера, не опоздаем ли мы на поезд. Тот погнал лошадей, но всё же мы едва успели войти в вагон, как поезд тронулся.

он сказал мне, что вы в безопасности. А за две недели он точно определил день, в который к вам вернётся сознание. Одно время он опасался неполноценного возврата вашего сознания. И потеря памяти могла вообще распространиться на весь ход ваших мыслей. Свидание с няней он считал моментом перелома, как оно и случилось на самом деле.

Далее он рассказал мне подробно, как я был перенесён в их каюту на пароходе, как они оба с дядей дежурили по очереди у моей постели и как в беспамятстве и в бреду я рассказывал им много раз всю мою историю, вплоть до посадки на пароход. Он спросил меня, не помню ли я, каким образом я попал в трюм. Я не помнил или, может быть, даже не понимал, где это трюм. Но помнил, что искал место, где бы спрятаться от людей и выплакать своё горе.

— Дальше история моя сложилась просто, — продолжал И. — Не буду вам рассказывать, сколько раз в моём сердце чередовались бури отчаяния, негодования и безысходного горя. Сколько раз я терзал сердца моих благодетелей и няни своими дикими рыданиями. Скажу только, что каждый из приступов моего раздражения не вызывал ни негодования, ни упрёков моих новых друзей. Постепенно атмосфера постоянной ласки и высокой культуры стала вводить и меня в колею выдержки. Я понял, увидел наглядно, как я невежествен, как веду себя неделикатно, нарушая тихий ритм жизни моих спасителей, заполненной целиком научной работой доктора и диссертацией, которую тогда писал Ананда.

Я уже мог выходить, бродил по саду, даже спускался к морю. Но читать доктор мне не позволял, сказав, что, если хоть одна неделя пройдёт без слёз, он разрешит мне читать. Желание начать читать и учиться было так велико, что я выдержал характер и ни разу не обнаружил перед своими хозяевами своего горя, доверяя его только подушке ночью.

Однажды в праздничный день доктор велел заложить лошадей, и мы поехали с ним прокатиться, чтобы я мог полюбоваться красотами Сицилии. Природа казалась мне волшебной сказкой.

По дороге доктор спросил меня, хорошо ли я знаю историю своей родины. К стыду своему, я должен был признаться, что совсем не знаю. По возвращении с прогулки доктор провёл меня в свой кабинет, где было так много книг, что я даже сел от изумления. Не только стены были ими заставлены, но через всю комнату шли до потолка полки с книгами, образуя узкие коридоры, в каждом из которых стояла передвижная лесенка. Доктор вошёл в один из книжных коридоров и достал мне историю Древней Греции на немецком языке.

С этого дня началось моё обучение. Каждый из моих новых друзей находил возможность отрываться от своих занятий, чтобы заниматься со мной. Я старался изо всех сил, так что моей старушке няне приходилось жаловаться на своё одиночество, и только это заставляло меня бросать мои книги и уроки и идти с нею к морю.

Я обнаружил способности к математике, и мне дали шутливое прозвище «Эвклид». Так меня и звали мои наставники, одна няня звала меня Лоллионом.

Шесть месяцев труда и тихой жизни вылечили меня совершенно. Вырос я ещё больше, но оставался всё таким же тощим, и горе моё так же разъедало моё сердце.

Однажды за обедом доктор сказал, что через неделю ему надо ехать в Рим, там пробыть месяц, а затем отправиться в Берлин по целому ряду дел.

— Не хочешь ли поехать со мной в качестве секретаря? — обратился он ко мне с вопросом.

Я нерешительно посмотрел на Ананду, тот ласково мне улыбнулся, но молчал.

— Что тебя затрудняет? — снова спросил меня доктор. — Неужели тебе не хочется видеть мир, о котором ты столько читаешь в последнее время.

— Мне очень хочется видеть мир, особенно Рим. Кроме того, я был бы счастлив быть вам полезным и чем-нибудь отплатить за всё то, что вы сделали для меня. Но я боюсь, что не сумею быть вам таким секретарём, как это вам нужно. Я буду всё же стараться быть вам слугою честным и усердным. И ещё меня смущает, — продолжал я, — как перенесёт разлуку со мной няня? Кроме меня у неё нет никого.

— У неё есть сын в Риме. Мы её туда отвезём. Когда будем возвращаться, ты уже научишься разбираться в поездах и маршрутах, заедешь за ней снова в Рим и привезёшь обратно сюда. Решайся. Тем более что тебе надо будет когда-то вступить в жизнь и получить систематическое образование. Во время этого путешествия ты сможешь выбрать по вкусу место, где захочешь учиться, а о далёком будущем не стоит и думать.

Чтобы окончить в коротких словах мою — отныне счастливую — историю жизни, прибавлю, что через несколько дней мы выехали с доктором и няней в Рим, там её оставили. Вы сами понимаете, что я переживал, знакомясь с этим городом, с его памятниками, галереями, музеями и т. д. Тысячи раз я благословлял свою няню за знание итальянского языка, носясь по городу и исполняя поручения доктора.

Мы проездили, кочуя по разным местам, не два месяца, а целых полгода. Чтобы продолжать свои занятия регулярно, я достал себе программу берлинских гимназий и, вставая ежедневно в шесть часов утра, готовился сдать экзамены за семь классов.

Однажды я поделился своей идеей с доктором. Он проверил мои знания, остался ими доволен и посоветовал вернуться домой. Там подзаняться ещё с Анандой и сразу сдать экзамены на аттестат зрелости в Гейдельберге, где Ананда будет защищать свою диссертацию и проживёт не менее года.

Я с благодарностью принял это предложение. Мы проехали ещё в Вену по делам доктора и там расстались. Я поехал из Вены через Венецию обратно в Рим, а он в своё имение в Венгрии, сказав, что будет жить там год или два и мы с Анандой и няней приедем туда на летние каникулы.

С тех пор так и шла моя жизнь. Я много учился и немало видел в жизни: путешествовал по Египту и Индии, видел много разных мудрецов и учёных, артистов и художников, но выше доктора не видел никого. Случайно поручение доктора свело меня с Али и Флорентийцем, в которых я увидел силу, знания, доброту и честь, не уступавшие тем, какими обладал мой великий друг-доктор. Тесная дружба, связывавшая между собою их, была раскрыта и мне с Анандой.

Теперь в моём рассказе я уже подхожу к тому периоду дружбы с Али, когда я приехал к нему гостить в К. и познакомился с вашим братом. Вы, конечно, лучше меня знаете своего брата. Я же могу сказать, что сила его духа, воля, любовь к человеку, огромный ум и знания ставят этого офицера-самоучку, прожившего свою

Али пишет, что оба они — приятели жениха Наль. Можно составить себе представление о характере их действий и намерениях. Вещи, которые тебе Али Махмед передал для Наль, — это не вещи простого обихода и их надо непременно передать ей как можно скорее. Я предлагаю тебе вот какой план. Вещи Наль я отвезу сам; сегодня же сяду на курьерский поезд в Париж, оттуда проеду в Лондон и буду раньше их там. Тебе я предлагаю сейчас же, через два часа, выехать в Севастополь, с тем чтобы оттуда морем проехать в Константинополь и дальше в Индию, в имение Али, вместе с Эвклидом. А Ананде хочу предложить остаться здесь на целый месяц под предлогом дел, держать связь со всеми нами и наблюдать врагов. Я буду полезен и даже нужен твоему брату и Наль, которые могут оказаться беспомощными без опытного друга в первое время, в совершенно неизвестных им условиях. Да и в смерти брата твоего надо всех уверить, чтобы жизнь его не висела всё время под угрозой преследования. Через три-четыре месяца я приеду тоже в Индию. Мы вместе через некоторое время поедем в Париж, где я думаю устроить наших беглецов, когда всё образуется.

Я молча слушал. Не то чтобы во мне было окаменение. Нет, я переживал нечто похожее на свои чувства у камина в комнате брата, что должны переживать люди, когда внезапно умирают их любимые. Я точно стоял у глубокой могилы и видел в ней гроб.

Я машинально встал, открыл чемодан, где были вещи для Наль, и стал вынимать оттуда свои вещи, каждая из которых резала меня точно ножом.

— Вы, вероятно, захотите взять всё так, как было уложено Али для сестры. Вот эти деньги мне подарил Али молодой. Мне они не нужны, так как для далёкой поездки, куда вы меня посылаете, они не годны, да и мало их. Пусть это будет мой подарок брату. Купите в Париже прекрасный футляр в виде золотой или серебряной коробки — на какую хватит этих денег — и вложите в неё записную книжку его, которую я так непростительно забыл в доме Али, — сказал я Флорентийцу, подавая ему чудесную книжку брата с павлином. — Я готов ехать. Но разрешите мне ехать и жить в качестве слуги И., чтобы я мог зарабатывать свой кусок хлеба, который до сегодняшнего дня я ел из рук моего брата, — продолжал я.

— Мой милый мальчик, — ответил мне Флорентиец, — когда ты приедешь в Индию, ты будешь учиться. Ты многое узнаешь и поймёшь. Пока же доверься мне. Будь не слугой, а другом Эвклиду. Твой талант к математике и музыке ещё не всё, чем ты обладаешь. Разве ты не чувствуешь в себе дара писателя?

Я покраснел до пота на лице. Я никогда не думал, что самое заветное, от всех скрытое моё желание — и то он подсмотрел.

Но времени на дальнейший разговор не оставалось. Вошли Ананда и И., и Флорентиец рассказал им свой дальнейший план. Меня очень удивило, что ни один из них не возразил ни слова; оба приняли его распоряжения как не подлежащие даже обсуждению.

Ананда позвонил и велел заказать сейчас же два билета в Севастополь и отвезти двоих к поезду; а в номер подать всем нам завтрак.

— И на вечерний поезд в Париж достаньте один билет, — прибавил он.

Мы все вместе уложили для меня вещи в ручной поместительный саквояж Флорентийца, который он мне подарил.

того, кого я люблю. Видя моё нетерпение, он взял письмо брата, подал его мне и сказал:

— Когда Али говорил с тобой в саду, он предупредил тебя, что не только помощь брату, но и вся жизнь его, твоя и Наль зависят от твоего мужества, выдержки и верности. Читая теперь письмо, думай не о себе, а только о той помощи, что ты можешь ему оказать.

Сердце моё сжалось. Предчувствие сказало мне, что я не увижу сегодня брата, на что я так надеялся.

Я прочёл письмо раз, прочёл его два и всё же никак не мог собрать мыслей и сделать какой-либо вывод.

Брат писал, что уехать из К. им всем удалось незамеченными, что слуги оделись восточными женщинами, Наль одели в европейский костюм, который приготовил ей Али, а сам брат ехал в штатском платье. Причём все они сели в разные вагоны и только в Москве, переодевшись снова по дороге, сошлись все вместе.

В Москве все благополучно пересели в петербургский поезд, так как друзья предупредили их, что там всё уже готово и пароход в Лондон отходит в воскресенье; поэтому времени на остановку и свидание в Москве не оставалось.

Брат посылал мне свою любовь и просил простить его за все беспокойства и огорчения, которые он доставил мне вместо отдыха. А также просил Флорентийца не оставить меня, если я не поспею на пароход, чтобы присоединиться к нему.

«Поспею на пароход», — несколько раз печально и горько повторял я мысленно.

— Воскресенье — это сегодня, — наконец сказал я Флорентийцу. Против моей воли я таким тоном выговорил эту фразу, точно я приехал с похорон и объявлял ему об этом.

— Да, это сегодня. Им удалось проскочить благодаря тому, что друзья Ананды и Али всячески задерживали внимание главарей-фанатиков на ложных следах, — ответил он мне. — Но вот письмо Али и его две телеграммы. За нами следом идёт погоня. Муллой и главарями решено, что ты, конечно, последуешь только за братом. И по твоим следам велено найти их, хотя бы на краю света. Если же будет возможность, то захватить тебя и допытаться о брате, надеясь на твою молодость, запугать тебя всякими страхами и угрозами и узнать всё, что им нужно.

— Значит, если бы даже и была возможность, я всё равно не мог бы ехать с братом. В таком случае нечего об этом и думать, — сказал я, стараясь сбросить с себя мысли, кроме мысли о жизни и безопасности брата. — Что же сейчас мы, и в частности я, будем делать? С вами мне всюду будет хорошо. Теперь для меня вся жизнь в вас одном, вы спасёте брата, я в этом уверен. Располагайте моею жизнью так, как найдёте лучшим для дела. Повторяю, всё сейчас для меня в жизни — вы.

— Ты — настоящий брат-сын своего брата-отца. Поверь, за эту минуту героизма ты будешь вознаграждён большим счастьем жизни. Кто умеет действовать, забывая о себе, тот побеждает в борьбе, — ответил мне Флорентиец, ласково меня обняв. — В письме Али предупреждает через своего друга, живущего в Москве, что известит телеграммой, если за тобой будет погоня. И действительно, первая телеграмма говорит о том, что поедут вслед за нами, а вторая уже говорит, кто едет. Едут два молодых купца, якобы в Москву за товаром; один не говорит ни слова ни на одном языке, кроме своего и русского; другой знает немецкий и английский.

жизнь в захолустье, выше почти всех тех, кого я встречал в жизни и почти наравне с теми моими великими друзьями, о которых я вам рассказывал.

Не стесняйтесь же со мною. Я всё страданье сам перенёс; я знаю бездну человеческого горя, и моё сердце, сгоревшее однажды в скорби, не может осуждать встретившегося или тяготиться его горем и слезою. Я научился видеть в человеке брата.

Долго длилась ещё наша беседа; мы пропустили завтрак, и сейчас нас уже звали обедать.

Я позабыл о себе, о своей жизни. Образный рассказ И. — как бы резцом он вырезал эпизоды, так чётки были слова и мысли — увлёк меня в водоворот жизни другого мальчика, много более несчастного, чем я.

И. предложил мне умыться и пойти обедать. Я не возражал, понимая, что легче всего будет нам обоим сейчас в молчании посидеть за едой. Когда мы вернулись в свой вагон, то нашли Ананду и Флорентийца беседовавшими в коридоре кое с кем из пассажиров.

Я так обрадовался Флорентийцу, как будто целый год его не видел. Ещё раз я понял, как цельно, всем пылом одинокого сердца я привязался к нему за это короткое время. Он радостно протянул мне обе руки, которые я сжал в своих.

— Как я соскучился без вас, — смеясь, сказал я ему.

— А я-то думал угодить тебе, так как не научился ещё спать по твоему вкусу, — ответил он мне тоже смеясь. — Но не очень-то ты любезен в отношении И., — продолжал он всё смеясь. — Я надеюсь, Эвклид, ты не замучил моего братишку математикой?

— Нет, нет, ваш друг И. так помог мне своей беседой, что я теперь стал умней сразу на двадцать лет! — вскричал я.

Все засмеялись. Флорентиец, обняв меня за плечи, состроил преуморительную гримасу лорда Бенедикта, спросил:

— Неужели же в моём обществе ты стоял на месте или даже глупел?

Я снова почувствовал, как надо следить за каждым словом, вздохнул и, не зная как ответить, перевёл глаза на И. Тот сейчас же сказал Флорентийцу, что всем известен его неподражаемый флорентийский талант ловить людей на слове. Но что он, Эвклид, недаром лучше его математик и уж однажды как-нибудь поймает самого Флорентийца тоньше, чем он меня сейчас.

Я предложил Флорентийцу сорганизовать для него обед в купе, на что особенно весело отозвался голодный Ананда. И я отправился к проводнику проявлять свой административный талант.

Вскоре в купе была подана лучшая вегетарианская еда, какая только нашлась в поезде. И мы с И. — хотя только что отобедавшие — тоже приняли в ней некоторое участие.

Нам оставалось ехать до Москвы ещё только одну ночь, и рано утром я мог надеяться увидеть брата. Я так унёсся мыслями в радость предстоящего свидания, так живо представил себе, как теперь по-новому буду смотреть на него, что перестал замечать и слышать что бы то ни было из окружающего меня.

Внезапно что-то мокрое на руках, которые я держал сложенными на столике перед собой, заставило меня вздрогнуть. Это Флорентиец намочил кусок салфетки в

воде и положил мне на руки. Я опомнился, поднял глаза и сразу даже оторопел. Три пары совершенно различных по окраске и форме и абсолютно одинаковых по пристальности глаз смотрели на меня. Я так смешался, когда все засмеялись, что покраснел до корней волос, пришёл в раздражение и чуть было не рассердился. Но смех друзей был так добродушен, и, должно быть, я представлял преуморительную картину, замечтавшись так сильно, что я и сам расхохотался, вспомнив, что ведь я «Лёвушка — лови ворон».

— Грёзы о Москве, Лёвушка, — сказал Флорентиец, — дело законное и очень нужное. Но тебе непременно надо так себя настроить, чтобы не личное счастье от свидания с братом было целью, а твоя помощь ему.

Опять меня удивило, что он прочёл мои мысли. Когда я ему сказал, что поражён его способностью отвечать на невысказанные мысли, он уверял, что в этом так же мало чуда, как в его ночной беседе с проводником. И рассказал мне, что жена проводника жива, что в Самаре он получил ответ на свою телеграмму.

Я почувствовал, как поверхностно моё внимание к людям по сравнению с глубокой внимательностью к ним Флорентийца. Я и забыл о проводнике и его горестях.

Между тремя моими новыми знакомыми завязался разговор о предстоящих действиях в Москве. Флорентиец не сомневался, что наше пребывание там будет осложнено фанатиками из К., что все свои усилия они направят на то, чтобы изловить меня с целью допытаться, где мой брат и похищена ли им Наль. Что легенде о сгоревших людях в доме брата преследователи или не верят, или сами сожгли там кого-нибудь из мести и ненависти, воспользовавшись случаем. Поэтому он предложил остановиться в одной из гостиниц всем вместе. Мне с Флорентийцем занять один номер, а по обеим сторонам его поселиться Ананде и Эвклиду. Он дал мне самое строгое наставление не выходить одному никуда и в гостинице держаться только с кем-либо из них троих. Я не совсем понимал, каким образом мне могут грозить беды, но обещал всё исполнить как приказывал Флорентиец.

Время незаметно прошло до ночи. И. рассказывал кое-что из своих путешествий по Индии; Ананда рассказал о страшной ночи религиозного похода в С., свидетелем которого он был и где ему удалось спасти одну из преследуемых женщин, приговорённую к избиению камнями.

Настала ночь. Я лёг раньше всех, чувствуя изнеможение от массы новых впечатлений и мыслей. Проснулся я, расталкиваемый Флорентийцем, и услышал слова, поразившие меня, потому что мне казалось, я спал не более часа:

— Подъезжаем к Москве.

Глава 8

Ещё одно горькое разочарование и отъезд из Москвы

Как только мы вышли из вагона, целая орда выстроившихся шеренгой служащих всевозможных гостиниц — в куртках или ливреях, в кепи или шапках с обозначением названия своих гостиниц — стала зазывать нас, предлагая кареты, коляски, брекки и т. д.

Впереди шёл Ананда, как бы высматривая кого-то; в середине шли мы с Флорентийцем, а сзади И. Завершалось наше шествие носильщиками с чемоданами.

Шум зычных выкриков названий гостиниц, торговля пассажиров с целой стаей извозчиков в длинных синих поддёвках, с кнутами в руках, накидывавшихся десятками на одного пассажира, — всё было так забавно, что я снова забыл обо всём, увлёкся наблюдениями и готов был, смеясь, остановиться. Флорентиец слегка подтолкнул меня, я перестал таращить глаза по сторонам и увидел, что из толпы гостиничных слуг отделился один, с надписью на кепи по-французски: «National», приветствуя Ананду как знакомого гостя и весьма почтительно держа руку у козырька.

Через несколько минут мы уселись в отличное ландо и покатили в центр города.

Я давно не видал Москвы, и по сравнению с Петербургом она казалась мне грязным, провинциальным городом с очень малым движением. Улицы, по которым мы ехали, узкие, искривлённые, с маленькими домами, часто деревянными, со множеством церквей, церквушек и часовен, с перезвоном колоколов, нёсшимся во всех направлениях, казались мне патриархальными. Невольно, глядя на это множество церквей, я подумал, что русский народ очень религиозен. Я спрашивал себя, может ли он быть грубо фанатически религиозен, как магометане, доходящие до всяких зверств и видящие в них свою заслугу перед Богом.

Невольно налетели мысли о себе самом, чту для меня Бог и как я живу с Ним и в Нём? Мешает ли мне моя религия или помогает? Ходя в церковь раз в неделю со всей гимназией, я видел в ней только развлечение в монотонной жизни, и ни разу не пробовал даже искать облегчения своим горестям в Боге, и не нёс Ему своих жалоб, стоя в церкви и занимаясь наблюдениями.

Мы ехали молча, изредка перекидываясь малозначительными замечаниями, но я инстинктивно чувствовал, что у всех нас одна мысль — о судьбе брата и Наль.

Войдя в вестибюль гостиницы, мы взяли номера, как было раньше между нами условлено. Флорентиец спросил, нет ли почты на имя лорда Бенедикта, и, к моему удивлению, очень важный и осанистый портье подал ему две телеграммы и два письма.

— Письма ждут вашу светлость уже два дня, а телеграммы — одна ночная, другая сию минуту подана, — вежливо прибавил он.

Водворившись в номере, я едва дождался, пока коридорный слуга перестанет возиться с нашими вещами и выйдет. Я бросился к Флорентийцу, спрашивая, не от брата ли письмо, мне показалось, что я узнал его почерк на одном конверте. Он, улыбаясь, удивился, что я — такой всегда рассеянный — мог издали узнать почерк

родкой. Такое необычайное расположение каюты делало нас обладателями многих необыкновенных в сравнении с другими пассажирами преимуществ. Мы имели небольшой кусок принадлежавшей только нам верхней палубы, куда, кроме нас, никто из пассажиров не имел права входа. Кроме того, в нашей каюте была прекрасная ванна. Стены каюты были обиты серым шёлком. В ней были два спальных дивана, возле каждого из них электрическая лампочка с колпачком, и в потолке ещё был вделан матовый фонарь.

Все приборы для укрепления вещей при качке были никелированные; ковёр на полу, в тон обивке стен и диванов, серый с розовыми цветами. Я ещё никогда не видал такой роскоши и стоял по обыкновению, тараща глаза.

Но И. не дал мне долго мечтать, взял меня под руку и вывел на палубу. Вид на город был очень живописен. Но вокруг всего города поднимались пустынные холмы; и жёлтая земля, иссохшая, потрескавшаяся от зноя, не представляла заманчивого зрелища.

Посмотрев на часы, я был поражён, как быстро мелькнуло время — был уже второй час. Скоро нам предстояло двинуться в путь.

Наконец матрос поднял последние вещи в нашу каюту, все их закрепил, к моему большому удовольствию, и мы распростились с агентом, делавшим вид, что помогает матросу, а на самом деле суетившимся возле него без смысла и толку.

У меня мелькнула мысль, что моя жизнь последних дней, пожалуй, похожа на действия этого агента. Я тоже ассистирую при действиях других людей, а в своём собственном поведении не вижу ни логики, ни смысла, ни толку.

И. поблагодарил агента, дав ему добавочный куш, за который тот рассыпался в благодарностях и подал И. свою карточку с адресом, уверяя, что окажет нам все услуги, стоит только ему написать или телеграфировать в Севастополь. И. взял карточку, назвал мою фамилию и сказал, что, весьма возможно, мы ещё будем нуждаться в его услугах. Кстати, он спросил, будет ли в эти ближайшие дни ещё отправляться такой же быстроходный пароход в Константинополь.

Агент рассмеялся и сказал, что ни у одной компании мореплавания такого чудопарохода нет вообще. А в ближайшие две недели идут только старые товарные суда или товаро-пассажирские, береговые, с остановками в каждом порту. Наше же судно не будет иметь мелких остановок, первая — в Одессе, и далее таким же быстрым темпом до самого Константинополя.

Последним нас покинул матрос, оказавшийся из штата судовой прислуги, приставленный к нашей каюте. Малый был весёлый и расторопный, взбегал и сбегал по лесенкам как сущий акробат. Он показал нам кнопки звонков, объяснив их назначение, хотя там и без того были написаны обозначения каждой на английском языке.

Хороший «на чай» сделал его ещё более любезным, и он объяснил нам, что каюта-люкс пользуется преимуществом не спускаться к табльдоту, а можно требовать кушанья к себе наверх.

Через несколько минут, по собственной инициативе, он появился вновь с карточкой меню завтраков, обедов и ужинов. И. просмотрел меню и сказал, что мы вегетарианцы, поэтому он хотел бы, если это возможно, видеть повара и условиться с ним о нашем питании.

пробудить неосторожно брошенным словом, — даже и тогда нет безнаказанно выброшенных в мир слов. Берегись пересудов не только в словах, но даже в мыслях старайся всегда найти оправдание людям и пролить им мир, хотя на одну ту минуту, когда ты встретил их. Подумаем лучше, что в эту минуту делают наши друзья. Флорентиец, по всей вероятности, садится в поезд на Париж, а Ананда его провожает.

Он точно унёсся в далёкую Москву, и взгляд его стал отсутствующим. Сам он, опёршись головой о спинку дивана, сидел неподвижно; и я подумал, что у каждого человека, очевидно, своя манера спать, а я мало присматривался до сих пор, как спят люди. Флорентиец спал лёжа, как мертвец, И. спал сидя, с открытыми глазами, но сон его так же крепок, как сон Флорентийца.

Думая, что будить И. и невозможно, и бесполезно, я тоже перенёсся мыслями в Москву.

Теперь, расставшись впервые за эти дни с Флорентийцем, к которому я так прильнул всем сердцем, я почувствовал всю глубину удара и разочарования, которые нанесла мне жизнь этой разлукой. Я с самого рождения и до разлуки с братом видел в своём пути один свет, один свой собственный дом, одного неизменного друга: брата Николая. Теперь я разлучён с братом — погас мой свет, рухнул мой дом, исчез мой друг. Подле Флорентийца, несмотря на все тревоги, полное отсутствие какого-либо дома, непрерывное движение, опасности и страдания о брате, я чувствовал и сознавал, что в нём для меня — и свет, и дом, и друг. Чувство полной защиты, мира в сердце — даже когда внешне я плакал или раздражался — не покидало меня где-то в глубине. Я был уверен, каждую минуту уверен, что в лице Флорентийца я не только имею «дом», но что в этом доме я смогу жить, учась и совершенствуясь, чтобы стать достойным своего друга.

Сейчас, думая, как Флорентиец уезжает в Париж, а я еду на Восток — хотя и в другие места, но всё же на тот Восток, знакомство с которым мне так много принесло горя, — я осознал, как я бездомен, одинок, брошен судьбою в вихрь страстей. Я могу быть только их игрушкой, потому что не только ничего не видел и не знаю в жизни, но даже не сумел себя воспитать и приготовить к жизни.

Ни одна струна в моём организме не была выработана так, чтобы я мог на неё положиться. При всяком сердечном ударе я плакал и терялся как ребёнок. Тело моё было слабо, не закалено гимнастикой, и всякое напряжение доводило меня до изнеможения и обмороков. Что же касается силы самообладания и выдержки, точности и чёткости в мыслях и во внимании, то тут дисциплины во мне было ещё меньше.

Я смотрел в окно, за которым уже сгущались сумерки. Природа была в полном расцвете своих сил. Мелькали зелёные луга, колосящиеся поля, живописные деревушки. Всё говорило о яркой жизни! Кому-то были близки и дороги все эти поля, сады и огороды. Целыми семьями работали на них люди, находя кроме любви к своей семье и общую любовь к этой земле, к её красотам, к её творчеству.

А я один, один — всюду и везде один! И во всём мире нет ни угла, ни сердца, про которое я знал бы — вот «моё» пристанище.

Погружённый в свои горькие мысли, я забыл об И., забыл, где я, унёсся в сказочный мир мечтаний, стал думать, как буду стремиться стать достойным другом Флорентийца, таким же сильным, добрым и всегда владеющим собой. Невольно мысль

моя перебросилась на его друзей — И. и Ананду. Их поступки, полные самоотречения, когда они всё бросили по первому зову Флорентийца и едут помогать брату и мне, людям им совсем чужим, очаровывали меня высотой благородства.

Внезапно я был разбужен в своих мечтах сильным шумом в коридоре и криками: «Доктора, доктора».

Оторванный от своих грёз, я резко вскочил, чтобы броситься на помощь, зацепился ногой за чемодан, который стоял у столика и упал бы со всего размаха прямо на пол, лицом вниз, если бы меня не схватили сзади за плечи сильные руки И.

— Нос разобьёшь, Лёвушка, — уморительно копируя старушечье шамканье, сказал он. Это было так смешно и неожиданно, так не подходило к серьёзной фигуре И., что я расхохотался, забыв, куда и зачем бежал.

— Подожди здесь, друг, — проговорил он уже своим обычным голосом. — Я пойду с моими каплями. Я узнаю истерический голос нашей старшей соседки по столу за обедом. Быть может, я там задержусь, но ты всё же не выходи из купе, если я не приду за тобой сам. Всё время помни о нашей главной цели. Флорентиец уже уехал в Париж, поезд должен был отойти минут десять назад, судя по времени, — сказал он, посмотрев на часы. — Ведь Флорентиец поехал для тебя и твоего брата. Я еду для тебя и для него. Ананда живёт в Москве тоже для вас обоих. Как же ты можешь считать себя одиноким и бездомным?

В эту минуту раздался стук в дверь нашего купе. И. ласково поцеловал меня в лоб и открыл дверь.

Перед дверью стоял тот генерал, с которым флиртовала тётка, когда мы вошли в вагон, и ещё какой-то молодой человек. Генерал извинялся за беспокойство и просил доктора — принимая И. за такового — помочь молодой девушке, упавшей в обморок в соседнем купе, и никто не может привести её в чувство, хотя её тётка уже более часа употребляет к этому все обычные средства.

Не отрицая, что он доктор, И. спросил, почему же раньше к нему не обратились, захватил походную аптечку из того саквояжа, что мне дал Флорентиец, и ушёл вместе с двумя постучавшимися к нам пассажирами.

Я выглянул в коридор, куда высыпали мужчины и дамы из всех купе. Они представляли смешную картину. У каждого было растерянно-вопросительное лицо, и в руках какой-либо флакон. Очевидно, раньше чем вспомнить о докторе, все помогали злосчастной тётке привести в чувство девушку.

Я закрыл дверь нашего купе, убрал в сетку чемодан, о который я так неловко споткнулся, и стал думать о девушке, впавшей в такой глубокий обморок. Я вспомнил её худенькое личико и тоненькую, почти детскую фигурку. Мне казалось, что она здоровьем так же некрепка, как и я, и так же невыдержанна и плохо воспитана — в смысле самообладания.

«Вот, — думал я, — у неё есть и мать и отец, есть дом, и даже два, потому что она едет на свою дачу к морю. А жизнь её вряд ли веселее моей, если надо жить и ездить с тёткой, которую ненавидишь».

Я старался нарисовать себе картину дома, быта и всей внутренней жизни девушки. Мне хотелось понять, как до такой глубокой боли в сердце мог дойти в родительском доме ребёнок. Как изо дня в день её должна была угнетать атмосфера жизни родите-

об этом на пароходе. А сейчас кушай мороженое, а то оно всё растает, — закончил он улыбнувшись снова.

В его тоне была такая глубокая сердечность, так нежно смотрели на меня — беспомощного и бездомного, одинокого и потерянного без него — его тёмные глаза, что я невольно вспомнил тот момент, когда он умирающий лежал в трюме парохода и Ананда спас его. Ананда, должно быть, так же нежно смотрел на него тогда.

Я не лежал сейчас больным в агонии, но поистине могу сказать, что то были дни тяжёлой агонии моего духовного существа.

Мы кончили наш ужин, расплатились и поднялись к себе в номер. Здесь уже были готовы постели; мы потушили свет, открыли окна, полюбовались тёмным небом, огоньками на мачтах и лодках и легли спать.

Утром, когда я проснулся, я увидел, что И. в комнате нет. Пока я совершал свой туалет, вошёл И., свежий, весёлый, в новом полотняном белом костюме и таких же туфлях, с пакетами в руках.

Он рассказал мне, что проснулся очень рано, решил прогуляться по городу и набрёл на прекрасный магазин, где купил нам по белому костюму, а то на пароходе мы пропадём от жары.

Он развернул свои пакеты и подал мне такой же, как его, белый костюм. Я его примерил, показался себе очень смешным, но всё же остался в нём.

Далее И. рассказал, что, уже возвращаясь домой, встретил вчерашнего пароходного агента, шедшего вместе с капитаном парохода, на котором мы должны отправиться. Они познакомились, и капитан предложил ему переехать в нашу каюту-люкс раньше общей посадки, точно указав ему место стоянки английского парохода. И. угостил капитана превосходным вином в ресторане нашей гостиницы и получил записку к дежурному помощнику парохода на право занятия нашей каюты в любое время. Мне было как-то жаль расстаться с твёрдой землёй хотя бы на один час раньше, но внутренний голос говорил мне, что И. даром спешить не станет, и я не возразил ни слова.

Когда я был совсем готов, он осмотрел меня, предложил выпить кофе и пройти в магазин, где он покупал нам костюмы, чтобы найти мне и себе ещё по одному костюму из тёмной чесучи или хоть альпака. Я был очень рад провести лишний час на суше и решил, что я из тех горе-любителей, которых пленяет море, пока они стоят на берегу. Какая-то тоска одолевала меня, когда я думал об этом первом морском путешествии, которое казалось мне длиннейшим.

Вскоре мы управились со всеми нашими делами, нашли костюмы, какие хотелось И., и мне мой тёмно-серый так понравился, что я в нём и остался. Вернувшись в гостиницу, мы расплатились и получили у агента паспорта, которые он достал раньше обещанного срока. Сев в лодку, тут же у гостиницы на пристани, мы поплыли к пароходу.

Довольно долго мы лавировали между массой самых разнообразных судов, пока наконец подъехали к такой махине-пароходу, выкрашенному в белый и красный цвета, перед которым мы и наша лодка казались букашками.

Взобравшись по трапу на палубу, предъявив записку капитана его дежурному помощнику, мы добрались до своей каюты-люкс. Она была расположена на верхней палубе, рядом с каютой капитана, и отделялась от неё только деревянной перего-

В зале было мало народа, но всё же несколько столиков было занято. Но я так был занят самим собой и своим аппетитом, что даже не обратил внимания, кто был в зале.

К моему удивлению, И. ел мало. На мой вопрос, неужели он не голоден, ответил, что в пути есть надо мало: чем меньше ешь, тем легче путешествовать и лучше воспринимаешь всё окружающее.

В его тоне отнюдь не было ни малейшего укора или осуждения мне. Но я как-то сразу почувствовал себя неловко. Я вообще отличался прекрасным аппетитом, чем удивлял всегда своих товарищей по гимназии. Обжорой я никогда не был, но сейчас почувствовал себя так, как будто бы действительно был грешен в объедении.

Я потерял сразу вкус к еде и отодвинул тарелку. Заметив, что я перестал есть, И. спросил меня о причине. Я просто и прямо сказал ему, что потерял вдруг аппетит, устыдившись своей прожорливости по сравнению с ним.

— Вот уже не следует, по-моему, сравнивать себя ни с кем ни в аппетите, ни вообще в жизненном пути. У каждого свои собственные обстоятельства, и чужой жизни не проживёшь ни минуты, — сказал И. — Кушай, мой дорогой, на здоровье, сколько тебе хочется. Придёт время, будешь моих лет, и вкус к еде останется как к необходимости, а не как к наслаждению. Я очень виноват, что, необдуманно ответив, лишил тебя аппетита, — ласково улыбнулся он.

— Как мне странно, что вы считаете себя так много старше меня. Мне скоро двадцать один год, а вам никак не может быть больше двадцати шести — двадцати семи лет, а быть может, и меньше. Что же касается моего аппетита, то я очень благодарен вам и за эти слова, как за все остальные, что я успел от вас услышать.

Тут я перешёл на английский язык и продолжал:

— Что бы со мной было, если бы вы не поехали со мной? Что бы я делал? Как мог бы я лететь на помощь брату, если бы вы не ехали со мною? Я уже говорил Флорентийцу, что не могу жить на чужой счёт, а ваши слова, что человек не может и понять смысла жизни, если не зарабатывает сам свой кусок хлеба, только ещё глубже убедили меня, что так продолжаться дольше не может. С самой той злосчастной ночи, когда я нарядился в маскарадный костюм для пира у Али, я не вылезаю и из духовного маскарада. То я слуга-переводчик, то я племянник, то двоюродный брат, то друг; из всех этих ролей мне пристала только одна: роль слуги. Разрешите мне стать вашим слугою, так как ничего другого я делать для вас не могу. Может быть, и это я делать первое время не смогу как следует. Но я приложу все усилия и всё усердие, чтобы научиться быть вам хорошим слугой, — тихо, спокойно по вне, но с огромным волнением в сердце говорил я.

— Мой дорогой друг, мой бедный мальчик, — ответил мне И., — отложим этот разговор до путешествия по морю. Быть может, там, оторванный от земли и всех её условностей, ты больше поймёшь огромную ответственность свою в этот момент за жизнь брата, за его счастье и дальнейшую судьбу. Я никак не намерен отговаривать тебя от труда. Но надо только понять, в чём твой труд. Быть может, жизнь, которая тебе в последние дни так интенсивно открывает и даёт близко видеть величие и ужас путей человеческих, откроет тебе понимание и смысл твоей собственной жизни глубже и шире. И ты найдёшь свой труд не как мой слуга, а как слуга не только своей родины, но и всей широкой, звенящей вокруг жизни. Мы поговорим

лей, если Лиза могла так обнажить душу перед чужими людьми, как это случилось с ней сегодня.

Я сравнил её с собой, прикинул на свои плечи её тяжести и всем сердцем искал оправдания её поступку, памятуя недавно сказанные мне слова И. Мне припомнились мои слёзы за последние дни; как горько я плакал тоже перед чужими мне людьми, я — мужчина, старше её на добрых пять лет.

И снова назойливо возвращавшийся ко мне вопрос, мелькавший за эти дни моего существования, как лейтмотив: «Кто тебе свой? Кто тебе чужой?» — отвёл мои мысли от девушки...

Через некоторое время я снова вернулся мыслями к ней. Нравилась ли мне Лиза? За все мои двадцать лет я ещё ни разу не был влюблён. Я так много был занят, так много у меня было уроков, сочинений, книг, которые я к ним должен был прочесть. Да и брат в своих письмах присылал мне целые программы того, что я должен был прочесть; музеи и галереи, которые я должен был повидать, — всё это заполняло мою голову, я всегда был занят. Знакомств же, кроме дома старой тётки, у меня не было никаких. А в её доме я встречал только старых важных дам, каждая из которых учила меня внешним манерам, давая целовать свои сморщенные и надушенные руки и не интересуясь вовсе духовной жизнью замухрышки, каким я несомненно был в их представлениях. Все их разговоры были о большом свете, на каком балу у графини С. они были и к каким князьям В. пойдут завтра.

Никогда мне не приходилось даже сидеть за одним столом с девушками или танцевать с ними, как мне рассказывали об этом мои товарищи. Лиза была первой девушкой, с которой я просидел около часа за одним столом, девушкой обычной, простой жизни, как Наль была первой девушкой какой-то высшей красоты, высшей, не обычной жизни, с которыми меня столкнула судьба. И обеих я не просто видел, как добрых знакомых, а подсмотрел у той и другой маленький уголок их духовной, скрытой от всех жизни.

«Лиза упрекала тётку, что первому встречному она готова рассказать о своих делах. А разве сама она не выдала гораздо больше того, что раскрыла тётка?» — вертелось в моей голове колесо мыслей, точно на экране поворачивались разные стороны длинной картины.

Теплота к Лизе и острое желание помочь ей чем-нибудь, принять участие в её судьбе шевельнулись во мне.

Должно быть, прошло немало времени, пока я занимался моими психологическими этюдами. За окном была тёмная ночь, в коридоре горела свечка, зажжённая проводником, но в купе было довольно темно.

Я встал, намереваясь выглянуть в коридор, как в дверь внезапно постучали, и я увидел И., вводившего в наше купе Лизу, которая, очевидно, не могла сама идти; за ними шла тётка с пледом в руках.

— Лёвушка, у Лизы был сильный сердечный припадок. Пока ей приготовят постель в её купе, ей надо полежать у нас, так как сидеть она не может, — сказал И., укладывая девушку на диван.

Я хотел выйти в коридор, но он дал мне в руки хрустальный флакон и велел каждые пять минут подносить его к носу Лизы. Я присел на чемодан у её изголовья и

стал выполнять свою миссию лекарского подмастерья. Тётке И. указал место у столика на стуле, взял плед из её рук, накрыл им девушку и сел у её ног.

Несколько минут царило полное молчание. Тётку я не видел, так как, занятый своей медицинской миссией, сидел к ней спиной. Пользуясь полуобморочным состоянием Лизы, я внимательно её разглядывал.

Бесспорно, это была красивая девушка. Но что меня крайне поразило — одна щека её была восковой бледности, а другая не только пылала, но багровость её переходила в большой синяк, что особенно я стал различать теперь, когда И. достал складной подсвечник, зажёг в нём свечу и поставил на столик.

— О чём теперь вы плачете? — услышал я вдруг вопрос И.

Я оглянулся и увидел, что лицо тётки всё залито слезами, нос, губы, щёки — всё распухло, и вид её был отвратительно безобразен.

— Я не о девчонке плачу, а о своей судьбе. Что теперь будет со мной? Она будет всех уверять, что это я её толкнула. А на самом деле она сама ушиблась... — отвечала злым голосом сквозь всхлипывания тётка.

Я взглянул на И. и поразился грозному выражению его лица. Он так пристально смотрел на плачущую, что напомнил мне прожигающие глаза Али. Никогда бы я не поверил, что у всегда ровного, большей частью светящегося доброжелательством И. может быть такое грозное лицо, такие суровые глаза.

— Вам лучше всего не лгать. Я так же хорошо знаю, как и вы, что ни Лиза не ударилась, ни вы её не толкнули. Вы её ударили, не рассчитав вашей силы; и я могу вам показать оттиск ваших пяти пальцев на её щеке. Если бы вы ударили чуть выше, Лизе был бы конец, — говорил звенящим голосом И.

Всхлипывания прекратились, и в тишине раздался свистящий от бешенства голос тётки:

— Возможно, что вы и доктор. Но вряд ли вы вообще понимаете, что сейчас говорите. Я, слабая женщина, могла ударить так девчонку, чтобы свалить её в обморок? Говорю вам, она сама свалилась, и у меня не было силы её поднять.

— И поэтому вы исщипали ей всю грудь и руку, — сказал И. — Но, так как вы отрицаете, что вы её избили, мне придётся сделать фотографический снимок на чувствительной пластинке и передать его судебным властям, как только мы приедем в Севастополь.

Воцарилось недолгое молчание, вслед за которым тётка прошипела:

— Сколько возьмёте за своё молчание?

И. рассмеялся, я не мог тоже удержаться от смеха и закричал:

— Да это целый роман!

Вероятно, мой смех особенно раздражил такую сейчас старую и безобразную даму. Когда я на неё взглянул — точно змея меня укусила, так злы были её глаза.

— Я совестью не торгую и взятки ни за какие услуги не беру. Девушке вы нанесли своей пощёчиной и моральный и физический вред. За моральный удар вы ответите жизни, он не останется безнаказанным и вернётся к вам с той стороны, откуда вы его никак не ожидаете. От вашего собственного ребёнка вы получите такую же пощёчину, какую нанесли чужому ребёнку. А за удар физический вы ответите судебной власти и понесёте заслуженное наказание, — говорил И., доставая из саквояжа, на который я присел, футляр с фотографическим аппаратом.

ленно вышел управляющий, которого позвал Ибрагим, и мы водворились в лучшем номере.

Через несколько минут явился и пароходный агент, позванный управляющим. Он сказал, что прекрасный новый английский пароход уходит в первый раз в Смирну и Константинополь завтра в три часа дня. А сегодня в ночь идёт такая грязная и старая итальянская скорлупа, которую всё равно перегонит новый пароход, что на нём есть свободная каюта-люкс, в которой никто ещё ни разу не ехал.

И. согласился взять каюту-люкс, отдал ему наши паспорта и деньги и условился с агентом, что вечером в восемь часов, когда мы будем обедать здесь же, в гостинице, он нам принесёт билеты. А заграничные паспорта нам вручит в полном порядке завтра в час дня, так как это не так скоро здесь делается.

И. распорядился, чтобы покормили Ибрагима, а сами, умывшись и переодевшись, мы спустились в тенистый и прохладный зал ресторана завтракать. И. сказал мне, что есть телеграмма от Ананды, извещающего, что всё благополучно, что Флорентиец выехал в Париж, а он, Ананда, будет телеграфировать нам в С. и в Константинополь на главную почту и чтобы мы ему написали о нашем путешествии в Москву в ту же гостиницу.

Позавтракав, мы сели в коляску Ибрагима и отправились осматривать город, доверившись во всём вкусу и знаниям нашего кучера.

Должно быть, он не раз выполнял миссию показывать достопримечательности города знакомым старика Р., потому что очень толково провёз нас по лучшим улицам, указывая все здания, построенные за последние годы, и сказал, что обратно повезёт другой дорогой и мы познакомимся со всем городом.

Огромное впечатление произвёл на меня верхний Севастопольский бульвар. Мы два раза обошли с И. эти исторические места бессмертной славы России, хотя бы многие и считали их страницами бесславия.

Ничего не видавший, видя в первый раз море, я положительно растворился в восторге, увидев его бушующим внизу, под собою, с обрывистых берегов у Балаклавы. Я забыл обо всём, кроме природы, солнца и моря, и мне казалось, что уж лучше и быть ничего не может.

И. посмеивался надо мной, говорил, что я вскоре увижу такие красоты, что Крым будет казаться мне убогим. Шутил он и над моими восторгами морем, говоря, что первая же буря, в какую я попаду, переменит при моей экспансивности мой восторг на проклятия.

Только вечером к восьми часам мы вернулись в гостиницу. Щедро расплатившись с Ибрагимом, получив билеты у агента, мы прошли в свой номер и оттуда в ресторан ужинать.

Пока я был на воздухе, я не замечал ни усталости, ни голода, ни палящего солнца. Сейчас же лицо моё горело, я хотел есть, пить, спать — всё вместе. Взглянув на И., я мысленно пожал плечами. Этот человек словно только сейчас вышел из своего кабинета, где спокойно читал газету. Правда, лицо и у него немного обветрилось и загорело и на лбу была видна белая полоса, где лоб закрывала панама. Но всё же лицо его не горело так, как пылало моё, в нём не было заметно утомления; он, очевидно, мог снова встать и ехать, а я уже чуть ли не валился от усталости.

Он вызвался свести нас на верхний бульвар, где мы можем увидеть места боя с обозначением блиндажей и бастионов, а в Балаклаве увидим гавань, где потонуло громадное судно, знаменитый «Чёрный принц» англичан.

Мне больше всего хотелось видеть Нахимовский курган, но я не хотел вмешиваться в разговор. Сердце моё так было полно всею встреченной и пережитой горечью жизни, что обычная моя смешливость и интерес к новым местам отошли в какой-то далёкий план. А всё страдание людей сверкало, как беспощадное солнце, жарившее нас.

И этот город, сохранённый такими жертвами, такими неописуемыми страданиями и страшной гибелью безвестных серых тысяч, имён которых никогда не сохраняет история, зная одно имя народа — Иван Стотысячный!

И тут же рядом высилась в моём представлении фигура венценосного императора Николая I, у которого не хватило мозгов прислать хотя бы достаточно войска и провианта в это место смерти, вместо того чтобы собрать войска на Кавказе, где он ждал врагов. И сколько грабителей, негодяев и знатных дураков, помогавших гибнуть этим безвестным героям — Иванам Стотысячным, — умиравшим просто и без проклятий.

Мысли мои были прерваны И., спрашивавшим меня, не согласен ли я прежде всего заехать узнать о билетах на пароход в Константинополь. Вмешавшийся в наш разговор Ибрагим уверил И., что в гостинице, куда он нас привезёт, есть агент пароходной компании, что он даёт и билеты и заграничные паспорта и что нам никаких хлопот не будет, потому что теперь ещё мало путешественников, а вот через месяц будет очень «большая масса», как выразился Ибрагим.

И. согласился ехать прямо в гостиницу, но я всё время видел, что ему как-то не по себе. Несмотря на всё его самообладание, лицо его было сурово нахмурено.

Если бы я не знал его другого облика, как был бы я несчастлив, связав свою судьбу с этим человеком! Точно прочтя мои мысли, И. обернулся ко мне и ласково улыбнулся.

Какой странный инструмент — сердце человека! Одной его улыбки и лёгкого пожатия руки было довольно, чтобы мне стало легко, чтобы открылось сердце для тех радостных сил и чувств, которые я закупорил где-то в тени души.

И. велел Ибрагиму заехать на главную почту, чтобы отправить письма. В эту минуту мы проезжали мимо исторического собора, где когда-то стоял гроб убитого при обороне Корнилова. И уже не только слёзы и скорбь о нём его семьи и всей родины нарисовало моё воображение, но и счастье, мощь и непобедимость того народа, где могут рождаться и действовать такие адмиралы...

Мы остановились у почты — ужасного по мизерности и грязи здания, — И. отправил письма, получил телеграммы и, увидев расклеенные по стенам плакаты и объявления пароходных обществ, спросил, где взять билеты на пароход в Константинополь.

Ему ответил старый сторож, в не менее старой и засаленной солдатской форме, должно быть, ещё времён обороны, так как подобных камзолов нигде теперь не было и в помине, что агент в приморской гостинице, что там ещё есть надежда заполучить пассажиров, а здесь пока никто и не спрашивал билетов.

Мы снова сели в коляску и двинулись к гостинице, которая оказалась недалеко. Очевидно, хозяин Ибрагима был хорошо известен в гостинице, потому что немед-

— Пожалейте меня. Не знаю, зачем эта злая девчонка сказала вам о моём сыне. Это моё единственное сокровище в жизни. Умоляю вас, не губите меня. Я первый раз ударила её за то, что она выдала меня перед вами. Пожалейте несчастную мать, — бормотала она прерывающимся голосом.

— Почему же вы не пожалели единственного ребёнка своей сестры? Несчастной женщины, несчастье которой составляете вы до сих пор, — продолжал И., всё так же сурово глядя на неё.

— Вы ещё слишком молоды. Вы не знаете бедности. Вы не можете ни понять, ни судить меня, — жалобно говорила женщина. — Но если вы меня не выдадите родителям Лизы, я клянусь вам жизнью своего сына, что пальцем не трону больше никогда девчонку.

— И будете продолжать есть хлеб вашей сестры, жить в её доме, разыгрывать в нём из себя хозяйку и беспрестанно колоть сердце и вашей сестры и Лизы? О, нет, вы слишком дорого цените благополучие вашего сына и слишком дёшево три жизни ваших родных. Только тогда я вас не выдам, если вы уедете из дома вашей сестры.

— Куда же я денусь? Вы так говорите, потому что абсолютно не знали нужды и не понимаете жизни. Чем же я буду жить? — раздражённо спросила тётка.

Вторично по лицу И. скользнуло нечто вроде усмешки, едва уловимой, так что я подумал, что, пожалуй, и в первый раз на его лице, как и сейчас, играл колеблющийся свет горящей свечи.

— Вы должны работать, — тихо сказал он.

— Работать? Оно и видно, что сами-то вы гроша не заработали, просидели на шее папеньки и маменьки, как и ваш братец, и не понимаете, что болтаете, — злясь и фыркая, говорила тётка.

— Я повторяю вам, — чрезвычайно спокойно, но с непоколебимой волей возразил ей И., — что единственное условие, на котором я согласен покрыть ваш грех и взять на себя таким образом часть вашего преступления, это условие вашего немедленного отъезда из дома вашей сестры и лично ваш труд. Вы должны сами зарабатывать себе хлеб и научить тому же вашего сына.

— Я не кухарка и не гувернантка, чтобы зарабатывать себе хлеб. Я барыня, слышите вы, ба-ры-ня! Была, есть и буду!

— Достаточно вам взглянуть на себя в эту минуту в зеркало, чтобы убедиться, что вы не барыня в том смысле, в каком должно понимать привилегии этого слова, то есть в смысле высокого уровня культуры, самодисциплины и самообладания, — ответил И.

— Вы очень дерзкий и самонадеянный человек. Я никуда не уеду и ничуть вас не боюсь! — закричала тётка.

— Ах, если бы вы могли понимать, что вам надо бояться только самой себя, вы бы сумели тогда защитить сына от всех бед и вывели бы его в люди. А не был бы он, по вашему примеру, приживальщиком, обещая стать негодным человеком. Вы боитесь лишиться крова вашей сестры, отравленного для неё вами. Но поймите же, ведь я не угрожаю, не запугиваю вас, а на самом деле открою всё о вас вашим родным. И они не будут более терпеть вас в своём доме ни минуты, и вы останетесь на улице. Если уйдёте добровольно, я обещаю вам достать работу. Вы должны понять, что трудиться обязаны все, а вы в особенности.

— Да не могу я быть гувернанткой! — снова закричала она.

— Никому не может прийти в голову допустить вас к детям. Помимо вашего дурного характера, помимо эгоизма и злобы, которыми вы дышите, как кипящий котёл, вы не имеете даже начального понятия о такте. А бестактный человек, даже добрый, так же вреден ребёнку, как плохой, заражённый воздух. Я имел в виду дать вам письмо к одному моему другу в Москве. Он ведёт очень большое литературное дело, и ему нужны переводчики. Платит он очень щедро. Кроме того, его предприятие занимает весь его дом; он, наверное, мог бы вам выделить небольшую квартиру, где вы сможете жить с вашим сыном. Пока вы не съели ни одного куска хлеба, заработанного руками и головой, вы даже не можете понять счастья жить на земле. Его приносит только честный труд.

Тётка молчала. Я несколько раз оглядывался на неё, и мне казалось, что слова И. действовали на неё успокаивающе. Глаза её перестали лить ненависть, расстроенное и безобразное от злобы лицо становилось спокойнее, и даже какое-то благородство мелькнуло на нём, как сквозь серую пелену дождя виднеется бледный луч солнца.

Лиза всё ещё не приходила в себя. И. встал со своего места, наклонился к девушке и отбросил тяжёлую прядь волос с её багровой щеки. Щека вздулась; на ней были ссадины, огромный кровоподтёк становился почти чёрным. И. взял фотографический аппарат. Но в ту минуту, как он хотел его открыть, рука тётки коснулась его руки, и она едва слышно сказала:

— Я согласна начать работать.

Я был поражён. Сколько раз за эти короткие дни я был свидетелем, как страсти, пьянство, безделье, ненависть фанатизма и ненависть зависти уродовали людей, разъединяли их и делали врагами. Как люди теряли человеческий образ и становились игрушками собственного раздражения и бешенства. С горечью думал я, как и сам я ничтожен в смысле самообладания и самодисциплины, и как я успокаивался от одного присутствия своего брата, Флорентийца и моего нового друга И.

Ни одно слово — как оно ни было горько — не было произнесено И. повышенным тоном. Ни малейшего намёка на презрение к тётке не прозвучало в его словах. Самое глубокое доброжелательство было и в его тоне и в его лице. И даже злобные выкрики тётки, оскорбительно задевавшие меня за моего друга, когда мне хотелось вмешаться в разговор и ответить ей её же тоном, не нарушали спокойного благородства И. и его сострадания к женщине.

И. посмотрел на неё. Должно быть, его взгляд затронул что-то лучшее в её существе; она закрыла лицо руками и прошептала:

— Простите меня. У меня такой бешеный характер; я сама не понимаю минутами, что говорю и делаю. Но если я даю слово, я его держу честно. И это, может быть, единственное моё достоинство, — сквозь опять полившиеся слёзы проговорила она.

— Не плачьте. Отнеситесь в высшей степени серьёзно ко всему, что с вами сейчас произошло. Благословляйте свою судьбу за то, что Лиза не упала от вашего удара и не ушиблась об острый угол стола. Если бы к вашему удару прибавился удар о стол, вы были бы сейчас убийцей, а что это значило бы для вас и вашего сына и для родителей Лизы, вы отлично понимаете, — ответил ей И.

Глава 10

В Севастополе

Все вместе мы вышли из здания вокзала. Старик велел нашему носильщику из целой вереницы всевозможных собственных и наёмных экипажей вызвать кучера Ибрагима из Гурзуфа.

Через несколько минут подкатила отличная коляска в английской упряжке, с закрытыми белыми чехлами сиденьями и с кучером в белой ливрее с синими шнурками, в высоком белом цилиндре с синей лентой. На широкой татарской физиономии Ибрагима его английское одеяние выглядело довольно комично. Я опять подумал, что у того, кто подбирал кучера к английской упряжке, было мало такта.

Вообще, это короткое словечко не отходило от меня и при всяком подходящем или неподходящем случае вылетало из какой-то клетки моих мыслей, дверь в которую я не умел, очевидно, запереть как следует.

Пока мы прощались с дамами и усаживались в коляску, старик давал кучеру приказания, куда нас отвезти, какого управляющего вызвать, чтобы нас отлично устроили в номере с видом на море, и последнее, что я услышал, это было приказание Ибрагиму оставаться весь день в нашем распоряжении, свозить нас в Балаклаву и только завтра, выполнив ещё какие-то поручения, выехать в Гурзуф.

Я посмотрел на Лизу. Она не сводила глаз с И. Она так смотрела на него, точно он был сказочный принц, а она Золушка. Я перевёл глаза на И. и снова подумал, что он красив как Бог, но Бог суровый.

Несмотря на все протесты, приказание старика свозить нас в Балаклаву осталось в силе. Тётка стояла всё время опустив глаза вниз и казалась ещё бледнее при ярких лучах солнца.

Мне было её сердечно жаль; мне казалось, что я, одинокий и бездомный, могу более других понять её скорбь и неуверенность в надвигающейся полосе её новой, самостоятельной жизни. Я крепко пожал и нагнулся поцеловать ей руку, прощаясь с нею, не по приказу хорошего тона, но по самому искреннему сердечному порыву.

Она, казалось, почувствовала теплоту моего сердца, чуть пожала мою руку и взглянула мне в глаза. Я даже похолодел на мгновение: такая бездна отчаяния была в этих глазах.

«Боже мой, — думал я, усаживаясь рядом с И., который говорил о чём-то с Лизой, — неужели же в жизни так много страданий со всех сторон? И зачем же так устроена жизнь? Зачем столько слёз, убийств, нищеты и горя? И как это понять, что человек сам создаёт себе все скорби, как говорит И.?»

Вокзал был довольно далеко от города. Я впервые видел и Крым, и этот исторический город. Всё в нём дышало для меня очарованием. Я так и расставлял редуты и башни, и пленительные образы Корнилова, Нахимова и Тотлебена вели воображение к первому герою страшной обороны — к русскому солдату.

И. разговаривал с кучером, который оказался уроженцем Севастополя и не так давно схоронил деда, участвовавшего в тяжких боях четвёртого бастиона.

её была бледна, лицо её было скорбно, между глаз на лбу пролегла морщина, тогда как вчера это был совершенно гладкий лоб; губы были плотно сжаты; но, странно, сейчас она нравилась мне гораздо больше: от её вчерашней животности ничего в этом лице не осталось. Это было лицо стареющей женщины, преображённое страданием.

Я поздоровался с ними издали; у меня не было желания заглянуть глубже в драму этих жизней. Севастополь сразу напомнил мне, что здесь мы сядем на пароход и поедем снова на Восток, а вместе с этим я погрузился в мысли о брате и его судьбе в эту минуту.

Нарядная публика выходила из нашего вагона, и не менее нарядные люди встречали выходящих на перроне. Весёлые возгласы, смех, объятия. И снова резанула мысль, что меня некому встречать и мне некого прижать к груди во всём мире, хотя в нём живут всюду миллионы людей.

И. взял меня под руку и взглянул на меня, как мне показалось, не без укора. Через минуту мы вышли вслед за носильщиком на перрон, где нас ждала Лиза, держа под руку старика высокого роста с небольшой седой эспаньолкой, очень красивого, гордого и элегантного на вид.

Лиза подвела его к И. и сказала, что в вагоне упала так неловко, что разбила всю левую щёку и висок. И вот доктор помог ей какой-то микстурой так хорошо, что и следа от ушиба почти не осталось.

Старик, дедушка Лизы, перепуганный болезнью внучки, очень благодарил И. Он спрашивал, куда мы едем, говорил, что у него есть запасный экипаж и он может довезти нас до Гурзуфа. И. поблагодарил и сказал, что мы пока останемся в Севастополе.

— В таком случае разрешите моему кучеру довезти вас до лучшей гостиницы, — сказал он, снимая шляпу.

Я видел, что И. очень не хотелось принимать благодарность старика, но делать было нечего — он тоже снял шляпу, поклонился и принял предложение.

Ужас изобразился на лице тётки, которая сейчас была так несчастна, что даже моё сердце смягчилось, и я старался приискать ей оправдания, представляя себе, как постепенно и незаметно для себя падает человек, если зависть и ревность сплетают сеть вокруг него каждый день.

— Не возвращайтесь мыслями к прошлому, — снова заговорил И. — Думайте о своём сыне, как он мог бы попасть в такое же положение, в каком сейчас Лиза. Нет ничего, чего бы не победила любовь матери. Я залечу щёку Лизы и через несколько часов от её кровоподтёка не останется и следа. Но вам придётся просидеть до утра, меняя ей компрессы из той жидкости, что я вам дам. Примите этих подкрепляющих капель, и ночь без сна пройдёт для вас легко. К утру я приготовлю вам письмо к моему другу и дам вам денег, чтобы вы с этой минуты начали новую самостоятельную жизнь и могли уехать с вашим сыном, не одолжаясь более мужу вашей сестры. Когда вы станете хорошо зарабатывать, вы возвратите эти деньги своему хозяину, и он перешлёт их мне; не впадайте в отчаяние, когда у вас будет возвращаться желание кричать: «Я барыня, барыня есть, была и буду», — а уйдите в комнату так, чтобы вас никто не видал, и вспомните эту ночь. Вспомните, как я говорил вам, что за всё зло, которое вы льёте в жизнь, вы получите стократ воздаяние от собственного сына. Но и каждое мгновение вашей простой доброты, выдержки и самообладания будет строить мост к счастью вашего сына.

Должно быть, сердце бедной женщины рвалось от самых разнообразных чувств, и силы почти изменяли ей. И. велел мне налить в стакан воды, влил туда капель, и я подал стакан тётке.

Тем временем, опять-таки из того саквояжа, что мне дал Флорентиец, И. достал флакон, глубокий стакан и попросил меня принести от проводника тёплой воды.

Когда я вернулся в купе, тётка уже пришла в себя и помогала И. поднять Лизу. Движения её были осторожны, даже ласковы, а лицо её, осунувшееся и постаревшее, выражало огромное горе и твёрдую решимость. Но это была совсем не та женщина, которую я видел в ресторане, и не та, что я видел, когда уходил из купе. Правда, я не сразу разыскал проводника, который был занят постелями пассажиров, не сразу достал и воду, которую пришлось остудить, но всё же отсутствовал я минут двадцать, и за это короткое время человека я не узнал.

Но уже столько было всяких происшествий за эти мои дни, и так я сам — всех больше — менялся, что меня даже не поразила эта перемена, как будто это было в порядке вещей.

И. влил в рот Лизы капель, вдвоём они опять её положили, и через несколько минут Лиза открыла глаза. Сначала глаза её ничего не выражали. Потом, узнав И., Лиза вся как-то сверкнула радостью. Но, увидев тётку, она закричала, точно её обожгли.

— Успокойтесь, друг, — обратился к ней И. — Никто вам больше не причинит зла. Я сейчас приложу вам примочку на щёку, и к утру не останется никаких следов на вашем лице. Не смотрите с таким ужасом и ненавистью на вашу тётку. Вы не думайте, что высшее благородство человека заключается в отгораживании себя от тех, кого мы считаем злыми или своими врагами. Врага надо победить, но побеждают не пассивным отодвиганием от него, а активной борьбой, героическим напряжением

чувств и мыслей. Нельзя прожить жизнь одарённому человеку — человеку, назначенному жизнью внести каплю
своего творческого труда в труд всего человечества, — в счастливом бездействии, без бурь, страданий и борьбы с самим собою и окружающими. Вы входите теперь в жизнь, чтобы стать полноправным и полноценным человеком общества. Если вы не сумеете сейчас найти в себе высшего благородства, чтобы не выдать зла, причинённого вам тёткой, — вы не внесёте в жизнь самой же себе того огромного капитала чести и сострадания, которые помогут вам в будущем создать себе и близким новую радостную жизнь. Не судите тётку, как это сделал бы судья. А подумайте о скрытых в вас самой страстях. Вспомните, как часто вы горели ненавистью к ней и к её сынишке, хотя он-то уж никак не повинен ни в вашем горе, ни в ваших отношениях с тётушкой. Проверьте, сколько раз вы платили тётке за её грубость ещё большей грубостью, как вы постоянно искали случая её публично осрамить, мысленно «сажая её на место». Но ни разу в вас не мелькнуло доброе чувство к ней, хотя к другим вы добры, очень добры. Молодость чутка. Представить себе весь сложный ход вещей всей жизни, всю силу страстей человека, которому они на каждом шагу расставляют капканы, — вы ещё не можете. Но понять, что сила человека не в его злобе, а в его доброте, в том благородстве, которое он прольёт из себя в день и свяжет им с собою людей, — это вы можете, потому что сердце ваше чисто и широко. Вы играете на скрипке и понимаете, потому что вы талантливы, что звуки — как и доброта — очаровывают и единят с вами людей в красоте. И играя людям, чтобы их звать к прекрасному, — вы не знаете страха. Так же точно идите сейчас в своё купе без страха и сомнений. Когда сердце истинно открыто красоте, оно не знает страха и поёт дивную песнь — песнь торжествующей любви. Вы так юны и чисты, что никакой другой песни петь не может ваше сердце. Не думайте о прошлом; живите это «сейчас» всей полнотой ваших лучших чувств, и вы создадите себе и близким прекрасную жизнь. Ваше «завтра» будет засорено остатками жёлчи и горечи, которые вы вплетёте в него, если сегодня не найдёте сил раскрыть сердце в полной цельной любви, в полной чести без компромиссов. Ваша тётя покинет вас, как только довезёт вас до дома. Она нашла себе место и будет жить со своим сыном в Москве. А Вы ведь собираетесь переехать в Петербург... Вам сейчас уже стало лучше. Лёвушка доведёт вас до купе и даст вам вот эту микстуру, от которой вы будете отлично спать и завтра будете хороши, как роза, — прибавил он улыбаясь.

Лиза была очень удивлена всем слышанным. В голове её — для всех было ясно — происходила сумбурная работа, но слова И. не были брошены зря.

— Я вас очень хорошо понимаю. Как это ни странно, но мама часто говорит мне вещи, очень похожие на то, что говорите вы сейчас. Так что ваши слова поразили меня больше всего тем, что совпали с идеями мамы, хотя и совсем иначе выраженными. Я не могу сказать вам, что я в восторге от этих идей. Я действительно ненавижу мою тётку, не верю ни одному её слову. Вы и представить себе не можете, как она умеет лгать.

— А вы разве так безупречно правдивы? — тихо спросил И.

— Нет, — ответила Лиза, покраснев до корней волос. — Нет, я далеко не правдива. Но... хотя зачем вдаваться в далёкое прошлое? Если вы говорите, — она сделала сильное ударение на «вы», — я вам верю, что она уедет. Это всё, что нам нужно.

— Нет, — снова сказал И. — Это далеко не всё, что вам нужно, чтобы быть счастливыми. Вы так привыкли всегда иметь живой предлог, чтобы жаловаться на своё несчастье, что создали себе привычку, вместо того чтобы следить за собой, следить за тёткой, выискивая в ней причины всех своих несчастий. И не замечали, что не одна она, а и вы сами, Лиза, были мучительницей и матери, и отцу, и тётке... и самой себе.

Лиза теперь сидела и при последних словах И. опустила голову.

— Это правда, — сказала она, глядя прямо в глаза И.

И. помог ей встать, подал мне большой стакан с примочкой и маленький с каплями и предложил Лизе, опираясь на мою руку, идти к себе спать, чтобы утром встретить дедушку весёлой и свежей.

Было уже за полночь. Я с помощью тётки довёл Лизу до их отделения, подал ей капли, которые она выпила, а тётке большой стакан с примочкой, пожелал им покойной ночи, раскланялся и вернулся к И.

Я застал его в коридоре, так как проводник стелил нам постели. Я остановился возле него, и он сказал мне по-английски, чтобы я сейчас ложился спать, так как назавтра нужны все силы, а вид у меня очень утомлённый. Ему же надо написать два письма, и он ляжет, как только их напишет.

Я уже по короткому опыту знал, что говорить о последних происшествиях он не станет, а утомлён я был ужасно. Ничего не возражая, я кивнул головой, залез на верхний диван и едва успел раздеться, как заснул мёртвым сном.

Проснулся я от стука в дверь купе и голоса И., отвечавшего проводнику, что мы уже проснулись, благодарим за то, что он нас разбудил, и встаём. Но когда я опустился вниз, то увидел, что постель И. была даже не смята, а три письма были готовы, запечатаны и сам он переодет в лёгкий серый костюм.

Он попросил меня собрать все наши вещи, сказав, что пройдёт к Лизе, которую он навещал раза два ночью. Он прибавил, что организм девушки крепок, но нервная система так слаба, что за нею должен бы быть бдительный и постоянный уход. И потому он спросил у тётки их фамилию и написал матери Лизы, графине Р., письмо с подробным указанием, как заняться лечением и воспитанием дочери.

С этими словами он вышел, я же так и остался посреди купе с открытым ртом. Много чудес я перевидел за эти дни, но то, чтобы И. в самом деле оказался доктором и решился писать письмо совершенно неизвестной ему графине Р. об её — тоже ему мало известной — дочери, — этого уж я никак не мог взять в толк. «Где же тут такт?» — мысленно говорил я себе, припоминая слова Флорентийца о такте и полном внимании к людям.

Долго ли я со свойственными мне рассеянностью и способностью в одну минуту забывать всё окружающее стоял посреди вагона, не знаю. Только внезапно дверь открылась, и я услышал весёлый голос И.

— Да ты угробишь нас, Лёвушка. Надо скорее всё сложить, мы подъезжаем.

Я сконфузился, принялся быстро складывать вещи, но И. делал всё лучше и скорее меня, — мне оставалось только ему подавать. Не успели мы уложить и закрыть чемоданы, как подкатили к перрону.

В коридоре я увидел Лизу и тётку в нарядных белых платьях и элегантных шляпках. Лиза действительно была свежа, как роза, и в глазах её светилась радость. Тётка же

Глава 12

Буря на море

Не успел я сойти и пяти ступеней, как что-то сильно толкнуло меня в спину, и я неминуемо полетел бы вниз головой с крутой лестницы, если бы мой Верзила не принял меня на руки, как дети ловят мяч, и в один миг не очутился со мною на площадке, поставив меня на ноги.

Я не мог сообразить, что случилось, но увидел, что И. держит младшего турка за плечи, а отец его освобождает его ногу из щели между перилами. Он каким-то образом, нелепо расставляя ноги пошире, чтобы не упасть, поставил её между перил, зацепился за них и, падая, толкнул меня головой в спину, отчего я полетел вниз.

Как это ни было не подходящим ко времени и месту, но было так комично, молодой турок имел такой несчастный и сконфуженный вид, что я, забыв все «такты» на свете, так и залился смехом. Верзила не смел, очевидно, громко хохотать, но фыркал и давился, что меня ещё больше смешило.

— Алло, — раздалось за моей спиной. — Это кто же сыскался на пароходе такой смельчак, чтобы встречать эту дикую качку весёлым смехом?

Я узнал голос капитана и увидел его ниже, на следующей площадке в мокром плаще и капюшоне.

— Так это вы, юноша, такой герой? Ну, можно быть спокойным, вы будете хорошим моряком, — прибавил капитан, подмигивая мне.

Мы спустились вниз, причём я, смеясь, предложил молодому турку идти впереди меня, но он так умоляюще взглянул на меня, что я снова пошёл вперёд, следом за Верзилой, и поравнялся с капитаном, всё ещё смеясь.

— Герой не я, а вот этот молодец, — сказал я капитану, указывая на нашего матроса. — И если бы не он, — пришлось бы вам меня отправить в лазарет.

— Ну, если бы вам пришлось туда отправиться, я бы постарался поместить вас в каюту рядом с прекрасной незнакомкой. Вы имеете слишком большой успех у маленькой дочери, чего доброго, и мать последует её примеру.

Он улыбался, но улыбались только его губы, а глаза были пристальны, суровы. Я как-то всем существом ощутил, что опасность данного момента очень велика.

Нас внезапно так качнуло, что молодой турок снова чуть не упал. Капитан взглянул на его отца и сказал, что ему надо держать сына под руку, когда достигнем нижней палубы, а свести его с лестницы он даст сейчас провожатого. По его свистку взбежал снизу матрос и, получив приказание капитана, взял за талию молодого турка.

Спускаться было затруднительно, но, к своему удивлению и к большому удовольствию моей няньки — матроса-верзилы, я шёл всё лучше, а турок всё так же плохо. Но как только лестницы кончились и он почувствовал, что ступенек больше нет, — он сразу окреп и пошёл лучше, но всё же хромал.

Мы остановились у подножия лестницы, чтобы разделить между собой наше поле действий. Здесь был сущий ад. Ветер выл и свистел; волны дыбились уже огромные.

Матрос слетел вниз и через некоторое время явился с двумя важными особами в безукоризненных белых костюмах. Один из них был метрдотель, другой — главный повар. Повар был толст и важен, метрдотель — высок и худ, держался с большим достоинством и любезностью.

Дело очень быстро уладилось, главный кок заявил, что у него очень хороший помощник — специалист-вегетарианец, что зелени и фруктов на пароходе большой запас, а метрдотель сам предложил нам завтракать и обедать на полчаса раньше общеустановленных часов. Оба, получив по крупной бумажке, стали ещё любезнее, и повар предложил нам через полчаса сервировать у нас завтрак, пока публика только ещё начнёт съезжаться, а общий завтрак будет в три с половиной часа. И. согласился, оба джентльмена удалились, и мы остались наконец одни.

Шум, выкрики, скрип кранов, поднимавших грузы, ошеломляли меня. Я ещё ни разу не видел, как грузится большой пароход. Да и пароход-то видел только издали, ни разу не был внутри.

В раскрытый глубочайший трюм, который сверху казался бездонным, всё время спускали огромные тюки. Целая вереница грузчиков перебегала, с тяжестями на спинах, по длиннейшим мосткам, достигавшим берега и уложенным поперёк на нескольких баржах. Неустанно двигались две шеренги людей, бегом от парохода к берегу и медленно, тяжело согнувшись, от берега к пароходу.

Вдруг внимание моё было привлечено мелькнувшей в воздухе коровой. Испуганное животное дико мычало и рвалось из крепких ремней, на которых его поднимал подъёмный кран. Вскоре одна за другой коровы исчезли в бездонном люке трюма. Потом настала очередь лошадей, которые страдали, ржали и рвались гораздо больше коров.

Всё поражало меня. Казалось, я знал всё, знал, что существуют пароходы, трюмы, погрузка живого скота на них, но когда увидел воочию всё это на деле, мне показалось, что всё это необычайно, сложно и что ум человеческий, достигший всей этой техники, — это истинное чудо.

Я поделился своими мыслями с И.; он улыбнулся и сказал мне, что уж не раз за эти дни я поражаюсь чудесами человеческой проницательности, а на самом деле — в жизни нет чудес ни в чём. А всё, чего человек достигает, — всё та или иная степень знания, к какой бы области ни принадлежали видимые, кажущиеся чудеса или невидимые глазу, постигаемые мыслью и интуицией.

— Нам надо поскорее позавтракать, — сказал он. — Скоро закончится погрузка товаров и начнётся приток пассажиров. Я хотел бы вместе с тобой наблюдать их посадку. Жаль только, что жара, пожалуй, будет тебе вредна.

Я ответил, что с величайшей радостью и интересом буду наблюдать пассажиров. На мой вопрос, почему он, всегда уходящий от всякой суеты, хочет наблюдать толпу, И. ответил, что надо увериться в отсутствии погони за нами на этом пароходе, что, если нам удастся уехать сейчас без преследователей, мы можем быть относительно спокойными до Константинополя, где нас встретят друзья Ананды.

В это время матрос принёс складной стол и два стула, следом за ним шёл лакей со скатертью, посудой и салфетками. На вопрос лакея, что мы будем пить, И. заказал бутылку вина и какое-то мудрёное питьё со льдом, название которого я слышал впервые.

Очень скоро мы уже сидели за столом, и я с большим удовольствием потягивал через длинную соломенную трубочку холодное, розовое питьё, необыкновенно вкусное и ароматное.

В разгар нашего завтрака на палубу взошёл капитан, приветствовавший И. как старого знакомого, очень любезно поздоровался со мной и напомнил мне элегантностью своих манер Флорентийца. Он выпил предложенный ему И. стакан вина из бутылки, стоявшей во льду в серебряном ведёрке; обращался капитан с нами как с желанными гостями и любезно предложил пользоваться всей палубой, а не только принадлежавшим нашей каюте куском её.

— Скоро начнётся съезд пассажиров на пароход, — сказал капитан, выпивая новый стакан вина, любезно налитого ему И. — Хотя теперь ещё не настал настоящий разгар сезона для путешествующих и остальные пароходы пустуют, но на мой запись шла уже месяц назад. Случайно, за день до вашего приезда, от вашей каюты отказалась графиня Р. из Гурзуфа. Вот вам и посчастливилось.

Я старался скрыть своё изумление, усердно подражая невозмутимому виду И., чтобы быть «вполне воспитанным» человеком. Но я был глубоко поражён таким совпадением. Очевидно, это мать Лизы должна была ехать в этой каюте, а может быть, даже несчастная её тётка думала совершить в ней морское путешествие.

— Если вам не предстоит никаких экстренных занятий, — продолжал капитан, — я бы вам советовал вооружиться биноклями и понаблюдать за посадкой. Это такая живая картина человеческого воспитания, характера, манер, самодисциплины, что может быть не только интересным зрелищем, но и поучительным уроком жизни. Чтобы вам не сидеть на ярком солнце, у меня перед каютой натянут тент с занавесками. Вы можете опустить занавески, будете сидеть в тени и невидимо для всех наблюдать все картины торопливости и суеты у одних, грустного прощания или весёлых проводов других, ленивую или принуждённую посадку третьих. Иногда бывают преуморительные картины.

Видя, что мы кончили есть, и опорожнив бутылку вина с такой лёгкостью, как будто бы он пил бокал малиновой воды, он продолжал:

— Вот, пожалуйте сюда, я вам укажу, как устроиться. До самого момента отплытия вы можете сидеть здесь. Только когда выйдем в открытое море, ко мне будут приходить с докладами помощники, будут всякие случайности — как всегда бывает при отправлении, — которые требуют вмешательства капитана, — и это будет вам не интересно.

Так говоря, он усадил нас под тёмно-синим тентом, спустил такие же занавески и подал нам прекрасные бинокли.

— Итак, будьте как дома, и до свиданья. Как только выйдем в море, я приду сюда, и только тогда вам надо будет уходить из моих владений в ваши.

Он приложил руку к козырьку фуражки и сошёл вниз.

— Вот всё и устроилось лучше, чем вы хотели, — сказал я И.

Он кивнул головой, взял свой бинокль и принялся рассматривать публику, которая уже стала собираться на берегу. Видя, что ему не хочется говорить, мне ничего не оставалось, как последовать его примеру молчания.

Должно быть, наш пароход сидел очень глубоко в воде, так как посадка на него шла не с общей пристани, а с противоположной стороны гавани. Теперь нам были

людей на пароходе уже, страдая, лежит. Надо спускаться в четвёртый класс и нести там помощь.

Я стал надевать сапоги и плащ, а И. достал две походные аптечки в кожаных чехлах, привязанные на крепких ремнях; одну, поменьше, надел себе через плечо, другую, побольше, подал мне.

— У тебя будут запасные лекарства. Возьми непременно пилюли Али и вот эти, которые я вынул из твоего саквояжа — это тебе посылает Флорентиец.

И он подал мне зелёную эмалевую коробочку с белым павлином на крышке.

— Взгляни, как устроены отделения аптечки, — с этими словами он отстегнул кнопку, поднял крышку кожаного, твёрдого, как коробка, чехла, и я увидел три ряда пузырьков и несколько прозрачных резиновых капельниц с отметками: две капли, пять, десять. Я был поражён невиданной прозрачной резиной, но размышлять было некогда, любоваться зелёной коробочкой с павлином — также. Я поспешил засунуть обе коробочки в футляр аптечки и закрыл его крышкой.

Физически я чувствовал себя прекрасно, но мне казалось, что меня шатает. И. рекомендовал мне шире расставлять ноги, потому что качка даёт себя знать.

Мы вышли из ярко освещённой каюты, и я поразился перемене погоды. Лил дождь, свистел ветер; тьма была вокруг непроницаемая. Возле меня выросла высокая тень — это оказался наш матрос-верзила. Он точно прилип ко мне. Я почувствовал, что И. взял меня под руку, и мы двинулись к зиявшей светлой дыре-лестнице вниз. На ней мы встретили двоих турок, шедших к нам. На их плащах я заметил такие же аптечки, как у меня и И.

Не обменявшись ни словом, все мы стали спускаться с лестницы.

Поднявшись в первый класс, расставшись с капитаном, у которого было ещё немало дел, а также с турками, которые уговорились нас ждать у себя в десятом часу, мы вернулись к себе в каюту.

Здесь немедленно И. опять дал мне омерзительную пилюлю. На этот раз головокружения не было, но тошнота, удары в висках и какой-то трепет всех членов тела был, пожалуй, ещё сильнее. Я сидел на диване, и мне казалось, что у меня сейчас что-то лопнет в голове и спине. Не только лицо, но весь я покрылся испариной и снова не мог двинуть ни одним пальцем. Я слышал какой-то разговор, но даже не мог понять, кто и о чём говорит.

Снова не помню, долго ли я лежал в забытьи, но внезапно я ощутил какую-то лёгкость, гибкость в теле, как будто бы я проспал несколько часов. Оказалось, что прошло только двадцать минут. И. сказал, что сейчас дадут обедать и надо торопиться его окончить, так как мне необходимо принять лекарство в третий раз. Я весело отвечал, что сейчас могу горы двигать, что же будет в третий раз?

Но, как бы то ни было, надо было торопиться с обедом. У меня в кармане лежало письмо Флорентийца, которое меня сжигало уже столько часов, и прежде всего я хотел прочитать его, о чём и заявил И.

Он согласился с моим нетерпеливым желанием и вышел на палубу, где нам сервировали обед. Солнце уже стояло низко, очевидно, было часов семь.

Я вынул письмо — и позабыл всё на свете, так тронули меня нежные и полные любви слова моего дивного друга.

Флорентиец писал мне, что мысленно следит за каждым моим шагом и, разделённые условностью расстояния, мы всё так же крепко слиты в его дружеских мыслях и любви, верность которой в нём я имел случай не раз проверить за эти дни. Дальше он говорил, что ограничивается на этот раз коротким письмом, так как времени до поезда не так много, но просит меня глубоко сосредоточивать внимание во время путешествия по морю и не отходить от И., как я не отходил раньше от него, потому что врагам удалось пустить ищеек по нашему следу.

Желая мне полного спокойствия, он говорил, чтобы я не разочаровывался никакими новыми поворотами собственной судьбы, а только видел одну цель: жизнь брата. И был бы верен ей так, как он, Флорентиец, верен своей дружбе и помощи мне.

Я хотел ещё раз перечитать дивное письмо, но И. увёл меня обедать, обращая моё внимание на позднее время. Мы быстро пообедали. И. ел мало, пристально наблюдая близящийся закат. Он же рекомендовал мне не держать письмо в кармане, а оставить его в каюте, куда мы вошли, и уложил меня, сказав, что через полчаса даст мне третий приём лекарства.

Я задремал; как-то машинально проснулся от голоса И., принял, мало сознавая, пилюлю и заснул мгновенно, даже не успев ощутить, как подействовала третья пилюля.

Проснулся я, как мне показалось, от толчка, на самом же деле это хлопнула дверь нашей каюты, в которую вошёл И. Я поднялся с дивана, с удивлением разглядывая И., который стоял в резиновых сапогах и плаще.

— Одевайся скорее, Лёвушка. Капитан прислал сказать, что буря наступает и разразится, верно, раньше утра. Но сильная качка так велика, что большая половина

видны несколько элегантных экипажей с разряженной публикой — дамы в белых платьях с белыми зонтами и мужчины в белых костюмах и панамах.

С разных сторон подъезжали целой вереницей наёмные экипажи, в которых сидела самая разношёрстная публика, представляя из себя по большей части тоже белые пятна.

Мостки были пока свободны. В самом их начале, у берега, матросы поставили два барьера с вертушками, и у каждой вертушки встало по одному офицеру и по два матроса для опроса билетов.

Бинокли наши были превосходны, даже лица можно было отчётливо рассмотреть. Меня занимала больше всего публика, шедшая по левым от нас мосткам, очевидно, публика, первого и второго классов. По правым мосткам двигался поток темно одетого народа, тащившего на себе узлы и сундучки. Мелькали и фески, и пёстрые халаты, двигались кучками женщины, завёрнутые с ног до головы в чёрные бурнусы, с тёмными сетками на лицах, в сопровождении детей всякого возраста.

— Вот это радостная удача, — вдруг услышал я возглас И. Он показал мне две высокие мужские фигуры в красных фесках, вступившие на мостки и выделявшиеся тёмными костюмами и красными головами среди вереницы элегантных белых фигур.

Я принялся их рассматривать. Один их них был постарше, лет сорока, другой совсем молодой, моих лет. Оба были жгучие брюнеты, черноглазые, красивые и очень стройные.

И. встал и попросил меня оставаться на месте, сказав, что сам пойдёт навстречу туркам, что это и есть те самые друзья Ананды, к которым мы едем в Константинополь, и что для нас это необыкновенная удача ехать с ними отсюда на одном пароходе.

Не успел И. уйти, как на палубу поднялся капитан. Он очень удивился, что я один; и я должен был ему объяснить, что И. увидел своих друзей на мостках и пошёл вниз встретить их.

— Ну, значит, вам будет весело ехать, — сказал капитан. — Передайте вашему брату, что его друзья будут желанными гостями здесь, на палубе, вопреки правилу, не позволяющему пассажирам первого класса подниматься сюда.

Я поблагодарил его за любезность и встретился взглядом с его глазами.

Положительно, мне последние дни везло на необычайные глаза, и я начинал досадовать на свои, самые обычные тёмные глаза.

Капитан был моложав, на вид лет тридцати двух — тридцати трёх. Худая фигура, очень ловкие движения, лёгкая походка — всё указывало на большую физическую силу и тренировку. Бритое лицо с квадратным подбородком выказывало большие административные способности. Губы, красиво очерченные, были плотно сжаты. Черты не были такими правильными, как у Флорентийца или Ананды, но всё же лицо было очень красиво и, по всей вероятности, он имел большой успех у женщин. Сила и большой характер читались во всей его элегантной фигуре.

Но когда я встретился с его пристальным взглядом, я подумал, что быть ему близким вряд ли приятно. Глаза его были совершенно жёлтые, как янтарь, и зрачки очень странной, точно продолговатой формы, как у кошки. Янтарные глаза показались мне жестокими, мерещились долго, пока не вернулся И.

И. возвратился весёлым, каким я его ещё не видел, сказал, что друзья-турки выехали из Москвы следом за нами, что они видели Ананду и привезли письма мне и ему, надеясь передать их в Константинополе, но что теперь мы их получим сегодня, как только они кончат завтракать и смогут разобрать вещи.

На мой вопрос, как они достали билеты на этот пароход, И. сказал, что они заказали в Москве заранее одновременно с железнодорожными билетами и там же их получили в главной конторе английской морской компании.

Казалось, он теперь потерял всякий интерес к наблюдению публики и сидел, как бы нехотя, время от времени рассматривая все двигавшиеся ещё вереницы людей.

А между тем зрелище было необычайно красочно по пестроте одежд, по массе мелькавших национальных костюмов и по самому резкому контрасту манер и людей. Были суетливо бежавшие и толкавшие всех на пути; были так громко перекликавшиеся, что крик их сливался в один сплошной гул. Но вот раздался вой пароходной сирены; и тут же, если бы не матросы, сдерживавшие напор людской волны, произошла бы настоящая давка.

Долго ещё продолжался приток людей; наконец трапы были отданы, между берегом и пароходом образовался разрыв, и раздалась команда капитана, который сам стоял у руля, выводя судно в открытое море.

Простившись с ней, я думал, как буду беспомощен в отыскивании обратного пути, но при выходе из лазарета увидел того же матроса-верзилу, который сопровождал носилки и теперь ждал меня, чтобы проводить обратно к капитану.

На этот раз мы достигли четвёртого класса довольно скоро, так как и этот Верзила так же летел с лестницы, как наш рыжий великан, приставленный к нашей каюте.

Я нашёл капитана и его спутников за работой. Вся густая толпа народа была разделена на женское и мужское царство. Женщин и детей поместили в середине палубы, которая имела стены, образуемые в этом месте сплошными бортами парохода. Кроме того, матросы принесли железные щиты и отделили ими носовую сторону палубы, так чтобы внутри не было сквозного ветра.

Мужское население, особенно цыгане, с ненавистью и протестами встретило распоряжение капитана отделиться от своих женщин. Тогда он свистнул особым манером — и точно из-под земли выросли четыре вооружённых матроса. Им капитан приказал нести здесь вахту, сменяясь каждые два часа.

Ещё десяток матросов получили приказание крепко привязать весь груз и даже пассажиров, за чем остался наблюдать один из офицеров.

Мы спустились в трюм, который тоже имел несколько этажей. Нижние этажи были доверху забиты ящиками и тюками, а верхние — скотом. Весь скот и лошадей капитан приказал стреножить. Я заметил, что в стойлах лошадей все стены были обиты толстыми соломенными матрасами.

Отдав ещё много каких-то специальных распоряжений, капитан вышел снова в четвёртый класс, и мы все следовали за ним.

Здесь он обратился к мужчинам с речью, которую им переводили на все языки мы, его спутники, но больше всего переводили турки, знавшие восточные и балканские наречия. Капитан сказал, что всякий, кто будет замечен в пьянстве или игре в кости в эту ночь, немедленно будет посажен в карцер, где проведёт на хлебе и воде не меньше суток. Тем, у кого была водка, он велел предъявить её немедленно. Должно быть, никому не хотелось попасть в карцер, и со всех сторон без всякого протеста протянулось немало бутылок и даже бутылей водки. Если кое-кто медлил подать свою бутылку, то глаза соседей были так выразительны, что рука, хотя и неохотно, но протягивала укрытую бутыль.

Теперь уже нечего было опасаться, что кому-то удастся укрыть свою флягу. Особенно резко проявили свои сыскные таланты цыгане. Обиженные и разлучённые со своими женщинами, отдавшие свою водку из страха перед наказанием, они вымещали на спутниках свою досаду; и нигде не могло укрыться пьяное зелье от их зорких, пылающих глаз.

Вскоре большая корзина была доверху наполнена водкой и унесена матросами. Капитан сказал ещё, что всякий имеет право передать на хранение деньги судовому кассиру — независимо от суммы — и получить её, где и когда пожелает, обратно; что, если желающие найдутся, он пришлёт кассира в помещение третьего класса, где каждый может сдать свои деньги и документы.

Несколько голосов, по всей вероятности, людей, мечтавших поиграть в кости за выпивкой, раздалось с просьбой прислать кассира. На этом наш обход кончился, мы простились с публикой четвёртого класса и пошли к лестницам.

отдохнуть, набраться сил и сойти с парохода здоровой. Ведь она сейчас упадёт в обморок.

Не успел он договорить, как доктор бросился к валившейся набок женщине. Капитан дважды свистнул в висевший у него на груди свисток, и перед нами вырос здоровенный матрос.

— Прежде всего разогнать столпившихся вокруг нас, — приказал ему капитан.

И точно по мановению волшебной палочки столпившиеся вокруг нас пассажиры уселись по своим местам, не дожидаясь вторичного окрика матроса.

— Теперь — носилки, — снова сказал ему капитан.

Пока ходили за носилками, И. спросил капитана, куда и кому внести деньги за отдельную лазаретную палату для бедной женщины. Капитан написал записку, передал её доктору, приказав поместить мать с детьми в лучшую лазаретную палату — каюту № 1А. Что же касается денег, то их надо было внести судовому кассиру первого класса, что вызвался выполнить немедленно младший турок.

Носилки принесли два лазаретных служителя, с ними пришла и сестра милосердия. Женщина всё ещё не приходила в себя, её уложили на носилки. Матрос протянул руки, чтобы взять от меня девочку, но дитя крепко охватило мою шею руками и громко заплакало. Я прижал девочку к себе и сказал И., что сам отнесу ребёнка и останусь с больной матерью, пока она не придёт в себя. Но И. отрицательно покачал головой и сказал:

— Отнеси дитя, дай матери капель из этого пузырька и немедленно возвращайся ко мне. У нас много дел. Но мы бедняжку не забудем. Оставь ей записку и скажи, как нас найти, и обещай, что мы вскоре зайдём к ней. Капли дай так, чтобы никто не видел, — шепнул он мне, и я двинулся вслед за носилками.

Шли мы долго, я думаю не менее двадцати минут мы всё взбирались по лестницам и коридорам, причём ни разу не прошли мимо парадных комнат, а проходили через подсобные помещения парохода.

И чего только тут не было, в этом плавучем доме! И прачечные, и сушильня, и склады провианта, и бельевые, и швейная мастерская, и специальное водохранилище пресной воды, и зал для гимнастики, и бассейн для плавания, и множество кухонь, и ледники, — я просто пришёл в растерянное состояние и ни за что не нашёл бы обратной дороги один.

Каюта, куда мы наконец добрались, была вся белая, имела две койки-дивана внизу и одну наверху. Всё в ней было роскошно и чисто. Пока сестра ходила за халатом для больной, а доктор прошёл в аптеку, я быстро влил в рюмку воды капель, данных мне И., и поднёс их к губам больной. Она открыла глаза, выпила мои капли и снова опустила голову на подушку.

Но я сразу же заметил, что к щекам её прилила кровь; она шевельнулась, вздохнула и, когда вошёл доктор, уже приподнялась и спросила твёрдым голосом:

— Где я?

Я подал ей девочку и сказал, что она в пароходном лазарете, где будет ехать до конца путешествия. Я просил её, от имени капитана, ни о чём не беспокоиться и сказал, что ещё к ней зайду с братом. Объяснив, где нас найти в случае необходимости, я перевёл ей предложение доктора пойти с детьми в ванную комнату и переодеться в бельё и халаты, которые полагается носить в этом помещении.

Глава 11

На пароходе

Мы всё сидели под синим тентом, и я радовался увидеть наконец море, беспредельный простор воды, где даже в лучший бинокль не маячат вдали берега.

Я поделился своими мыслями с И., но, к моему удивлению, он не разделил моей радости. Напротив, он пристально вглядывался в горизонт и, хотя мы шли по гладкой как зеркало воде, предсказывал бурю, редкую в это время года, свирепую бурю на Чёрном море. Я тоже стал в бинокль рассматривать горизонт, но кроме сливавшихся в одну серую полосу моря и неба ничего не видел.

— Как только придёт капитан, мы возвратим ему бинокли, поблагодарим за гостеприимство и пойдём к себе в каюту, — сказал И. — Тебе, пока нет качки, надо хорошенько разобрать вещи в твоём саквояже. Я уверен, что Ананда положил тебе пилюли на случай бури, чтобы тебя не укачало. Если, как я полагаю, налетит ураган, признаки которого я замечаю, то тебе надо успеть до начала качки принять три раза пилюли. Мы с тобой должны быть хорошими помощниками людям в третьем классе. Привилегированная публика будет иметь удобств довольно, хотя тоже немало пострадает. Но третий и четвёртый классы, как и всюду, заполненные до отказа нищетой, будут в нас нуждаться.

Я призадумался. Ещё ни разу И. не говорил мне об опасности нашего морского путешествия, да и мне самому наше морское плаванье казалось приятной прогулкой.

Мы вышли вскоре из гавани в открытое море, но берега были ещё совершенно ясно видны — пустынные, жёлтые, нисколько не привлекательные пока берега.

На нашей палубе показался капитан. Мы вернули ему бинокли, поблагодарили за любезность и хотели уйти. Но он зорко посмотрел на нас и спросил, часто ли мы ездили по морю. И. сказал, что сам он к морю привычен, но что я еду в первый раз.

— Боюсь, что первое впечатление от знакомства с морем не будет для вас приятным, — сказал мне капитан. — Барометр показывает такую небылицу для этого времени года, что, если бы я не сам его выбирал и выверил, я мог бы думать, что он шарлатански сделан. Надо ждать не только бури, но бури, редко бывающей вообще. Как ни прекрасно моё судно, — думаю, что мне придётся немало побороться с ветром, морем и ливнем в эту ночь. Вам же придётся наглухо закрыть свою каюту, и я ещё прикажу матросам закрыть вас запасными щитами, так как предполагаю, что волны будут захлёстывать и эту палубу.

Я ужаснулся. Высота парохода с нашей палубы напоминала хороший трёхэтажный дом. Думалось мне, совершенно невозможно увидеть волны такой высоты.

Лицо капитана было очень решительно и бодро, но сурово. Очевидно, чувство страха было даже непонятно этому стальному человеку. Он точно радовался, что вступит в бой со стихией. Я подумал, что он, пожалуй, и любит-то море из-за той борьбы, в которую приходится вступать, и если его сейчас что-нибудь озабочивает, так это ответственность за жизни людей, груз и судно, которые ему доверены и над которыми он полновластный хозяин в этой серой пелене воды.

И. выразил своё мнение, что, пожалуй, буря разыграется к ночи. А капитан сказал, что зыби и качки, от которой будут страдать люди и животные, он ждёт ночью, но настоящей бури только утром, возможно на рассвете.

К капитану стали подниматься его помощники с докладами и за распоряжениями, — мы расстались с ним и вошли в свою каюту.

Я начал разбирать саквояж, данный мне Флорентийцем в дорогу. Он оказался таким поместительным, как я и не ожидал. В нём было много отделений, и одно из них состояло из дорожной аптечки.

Я спросил И., не принять ли мне одну из волшебных пилюль Али, которые давали так много сил и свежести. Но И. ответил, что для морской качки они совершенно не годятся; а надо найти специально успокаивающие головокружение и рвоту, что вряд ли Ананда мог не предвидеть качки, укладывая мой саквояж.

Я предоставил самому И. искать их; он действительно их нашёл очень скоро и сейчас же заставил меня принять одну из них.

— Ты полежи немного, дружок, — сказал он мне. — Если пилюли будут тебе полезны во время качки, то сейчас ты должен почувствовать лёгкое головокружение и тошноту, — говорил он, убирая все вещи обратно и в то же время подавая мне пижаму и ночные туфли. Я чувствовал себя превосходно, но соображал, что времени полюбоваться морем будет ещё вдосталь, а сейчас неплохо бы и полежать — надел пижаму и вытянулся на мягком диване.

Оказалось, что лечь было самое время. Не успел я подумать, какое чудное подо мной ложе, как всё завертелось у меня перед глазами, застучало в висках, замутило. Я даже издал нечто вроде стона. Рука И. легла на мой лоб, он нежно отёр моё лицо, покрывшееся мгновенно испариной, и, наклонившись, заботливо положил мне под голову мягкую подушку.

— Это очень хороший признак, Лёвушка, — услышал я его голос, как будто бы он был не рядом со мной, а где-то очень далеко. — Через несколько минут ты оправишься и будешь нечувствителен даже к сильной качке. Если же буря начнётся, как думает капитан, на рассвете, ты успеешь закалить этим лекарством организм и будешь отличным сотрудником мне в той помощи, что придётся оказывать страдающим пассажирам третьего и четвёртого классов. Ты говорил, что хочешь работать. Вот тебе жизнь посылает сразу же случай стать самоотверженным слугой целому ряду людей, которые не закалены и не приготовлены к тем страданиям, что ждут их сегодня. Если у тебя не появится страха, если ты не будешь отдаваться брезгливым чувствам, а будешь искать перепуганных детей и взрослых, чтобы им приносить бодрость и помощь, ты положишь основание твоей новой жизни труда и любви такое глубокое, что все дальнейшие испытания будут тебе казаться не заслуживающими страха.

Я слышал его слова, очень хорошо их понимал, но положительно не мог двинуть ни одним пальцем.

Не знаю, сколько времени я так лежал, но наконец почувствовал, что удары в виски прекратились, тошнота прошла. Но отвратительное состояние головокружения, когда всё плыло у меня перед глазами, оставило настолько неприятное впечатление в организме, что я всё ещё боялся открыть глаза, чтобы не испытать того же противного чувства какого-то обмирания. Но с каждой минутой я чувствовал себя всё лучше и

— Не отставайте от меня, — услышал я повелительный голос капитана, и в ту же минуту почувствовал, что И. взял меня под руку, шепнув мне, чтобы я точно запоминал расположение парохода, а не увлекался картинностью зрелища.

Я вздохнул. Сколько представлялось возможностей для наблюдений, — и надо было идти мимо всего, памятуя только о буре, которая не то будет, не то нет; и я продолжал думать, что вряд ли она будет: солнце сияло, мы всё ещё ехали по глади, и единственные волны были те, которые делал наш пароход-великан.

Наша группа внезапно остановилась. В самом неудобном месте, в углу носа парохода, между бочками и ящиками, обдуваемая даже и сейчас ветром, сидела молодая, до крайности измученная женщина, держа на коленях ребёнка лет двух, прелестного живого мальчугана, блондина, как сама женщина. Рядом лежала девочка лет пяти, очевидно больная. Положив головку, мертвенно бледную, на колени матери, она, очевидно, была в забытьи.

— Почему вы выбрали такое неудобное место? — спросил капитан, обращаясь к женщине, красивое лицо которой изобразило ужас и глаза заполнились слезами.

— О, не выбрасывайте нас, — взмолилась она по-французски. И очевидно, не понимая английской речи капитана, испугалась его повелительного металлического голоса и глядела на него с мольбой. Капитан оглянулся на нас, говоря, что его французский выговор не совершенство, и спрашивая, кто из нас говорит на языке женщины очень хорошо.

И. выдвинул меня вперёд, я поклонился женщине и перевёл ей вопрос капитана.

В ответ на это слёзы как горох покатились из глаз женщины, и она объяснила нам, что это было единственное место, где её перестали толкать и преследовать жестокие спутники; что сердобольный матрос устроил их здесь и пригрозил двум туркам, которые не давали ей проходу своими приставаниями.

— Моя девочка не больна, мы только голодны; не выбрасывайте нас, мы едем к моему отцу в Константинополь. Мой муж умер, его задавило на постройке, и французская компания не пожелала нам ничего заплатить без суда. Но я не могла ждать суда, мы умерли бы с голода. Пришлось всё продать и кое-как добраться до Севастополя. Я отдала последние деньги за билет; не знаю, как доедем до Константинополя. Но билет мой в исправности, — говорила бедняжка, протягивая капитану свой билет и находясь в полном смятении и страхе.

Должно быть, нужда свалилась ей как снег на голову. Костюм её, вероятно, ещё не так давно новый, был запылён и запятнан; платье на малыше и девочке тоже новое и тоже испачканное в дороге. Высовывавшиеся из-под юбки ножки её были обуты в крохотные лакированные туфельки, совершенно непригодные для далёкого путешествия.

Мольба и страх, трепет за детей, которых она прижимала к себе, слабость, отчаяние, — столько разнородных чувств отражалось в глазах этого существа, что у меня защекотало в горле, и, не думая, что я делаю, я наклонился и поднял девочку на руки.

— Нельзя её здесь оставить, — сказал я И. — Уступим ей свою каюту.

— Это принесёт ей мало пользы, — ответил капитан. — Она и дети нуждаются в медицинской помощи. На пароходе есть платные палаты в лазарете первого класса. Если вы можете оплатить её путь в такой каюте, это даст ей возможность

Ему меняли их раза три, пока подобрали удобные для его необычно широких и больших ног. Мне также принесли плащ поменьше.

Выбрав вещи, мы распрощались с капитаном и с турками, условившись, что в девять часов они к нам поднимутся и, если будет буря, мы распределим роли и лекарства.

Капитан ещё раз зашёл к нам в каюту и ещё раз убеждал И. оставить в каюте хотя бы меня одного, но ни И., ни я на это не согласились. Тогда капитан сказал, что идёт в четвёртый класс и приглашает нас с собой, чтобы познакомиться с возможной ареной наших будущих действий. Мы с восторгом приняли его предложение.

У конца лестницы матрос нёс вахту и получил строгое распоряжение капитана никого — ни под каким предлогом — не пропускать без нас наверх, хотя бы то был старший помощник.

Мы двинулись за капитаном, который просил нас идти рядом с ним. К нам присоединились ещё два офицера, которых он с нами познакомил, и два матроса. Целой группой мы двинулись вперёд. Капитан отдал приказание найти старшего врача и передать ему его экстренное распоряжение присоединиться к нам.

Я был поражён не только количеством людей, но и длиной коридоров, высотой всевозможных общих комнат, роскошью, царившей везде. Буквально все комнаты были в цветах. Публика первого класса сидела в тени палубы в глубоких креслах и шезлонгах. Всё было так нарядно, жизнь била ключом во всех углах, всюду нёсся аромат духов и сигар.

Наконец мы спустились в третий класс. Я ожидал той же грязи и неряшества, которые видел в сухопутных вагонах этого класса в русском поезде. Но сразу понял, что жестоко ошибся.

Здесь было очень чисто. Правда, здесь всё было деревянное и нога не тонула в коврах, как в коридорах первого класса. На всех полах лежал линолеум красивых рисунков с цветами ярких красок. И должно быть, билеты и здесь стоили недёшево, так как бедноты здесь совсем не было видно. Мелькали студенческие фуражки, ехали целые семьи, одежда которых показывала известный достаток. Общая столовая была красива, с деревянными креслами-вертушками, всё было залито электрическим светом; была и общая гостиная, и читальня, и курительная комната.

Здесь коридор не разделялся пополам, как в первом и втором классе, гостиной комнатой, а потому казался длиннейшим.

Наконец мы спустились ещё ниже и очутились у самой воды. Носовая часть была отдана четвёртому классу; крышей ему служило помещение третьего класса, не имевшее иной палубы, как боковые, довольно широкие общие проходы в каюты, тянувшиеся от носа до кормы.

В четвёртом классе не было вовсе кают. Пассажиры-бедняки — большей частью семьи переселявшихся рабочих или бродячие музыканты, целые группы жалких балаганных фокусников и петрушек. В отдельном углу расположился целый цыганский табор. Со всех сторон слышались самые разнохарактерные наречия и возгласы. Тут были и торговцы, ехавшие со своим товаром и желавшие, очевидно, быть ближе к трюму; тут были и конюхи, сопровождавшие лошадей, — словом, глаза разбегались, и я снова таращил их, позабыв всё на свете.

наконец поднялся с дивана, весело глядя на И., мгновенно забыв все неприятности только что испытанных ощущений.

— Да ты, Лёвушка, герой, я даже не ожидал, что ты так легко отделаешься. Когда я привыкал к этому лекарству, — противоядию качки, — я подолгу лежал без движения, — весело сказал мне И.

— Да, это продолжалось недолго. Но надо быть всё же чем-то вроде героя, чтобы решиться ещё раз подвергнуть себя такому эксперименту ради закаления своих сил. Бог с ней, с закалкой, если её надо достигать такими героическими усилиями, — ответил я ему.

— Как странно мне теперь слышать такие слова от человека, который стал понимать сложность жизни и все её неожиданные повороты, которые принято называть случайностями. Мне казалось, что за эти дни, Лёвушка, ты увидел, сколько героического напряжения может потребовать от человека внезапно вечер того дня, когда он, проснувшись утром весёлым, беззаботным ребёнком, вечером сразу становится взрослым человеком, и судьба вызывает его на такой подвиг, о котором он только читал в сказке.

— Это верно, как и всё, что я от вас слышал, — ответил я И., надевая снова свой костюм. — Быть может, и не на такие пустяки, как глотание гадких пилюль, я был бы способен, если бы умел всегда держаться в сосредоточенном кругу внимания. Но я так рассеян, что не в состоянии применить на деле всего того, что успел понять через вас и Флорентийца. Я не могу сразу думать о тех, кому я нужен, а думаю сначала о себе. Вот и сейчас я упустил из виду, что могу очутиться ещё не раз в бурю на пароходе, пока мне надо отвлекать внимание от настоящих следов брата. А также и о той помощи несчастным, кто в эту бурю будет страдать и нуждаться в ваших заботах.

— Я, несомненно, готов хоть сейчас снова принять эту отвратительную зелень, — прибавил я, помолчав.

Я оделся, И. радостно обнял меня, заметив, что ни мгновения не сомневался в истинных моих чувствах. Он предложил мне спуститься к его друзьям в первый класс, чтобы познакомиться и получить письма. К тому же он предлагал мне пойти посмотреть устройство парохода, его многочисленные гостиные, читальню, библиотеку, большой зал, столовую и т. д. Но я, предвкушая горькие испытания предстоящей бури, потерял любопытство ко всей этой роскоши и сказал, что соглашусь только на одно путешествие — осмотр помещений третьего и четвёртого классов, где нам предстоит трудиться ночью.

И. согласился со мной, позвонил нашему матросу, который опять так же легко демонстрировал свою виртуозность прыганья через несколько ступеней узкой лестницы, и дал ему записку в первый класс к своим друзьям-туркам.

Матрос не замедлил с ответом, так как вслед за его акробатическим взлётом я увидел красные фески друзей И.

И. встретил их у лестницы и велел матросу подать стулья. Через минуту он принёс четыре плетёных кресла, казавшихся лёгкими, но на самом деле таких тяжёлых, что я не мог своё кресло не только поднять, но даже сдвинуть с места.

Теперь я стал рассматривать новых знакомых.

Типичная турецкая наружность и без фесок не могла бы никого ввести в заблуждение. Старший, которому представил меня И. как брата своего друга, а потому и его брата, ласково улыбнулся мне, познакомил с молодым, сказав, что это его сын, и подал мне письмо Ананды. Он сказал мне своё имя, но так непривычно оно мне прозвучало и показалось таким длинным, что я его не разобрал даже. Он был очень красив, но теперь показался мне много старше, чем издали, когда я видел его в бинокль, и особенно рядом с сияющей молодостью и красотой И.

Я заметил, что оба турка были чрезвычайно почтительны к И. и так же беспрекословно слушали его слова, как сам И. и Ананда слушали Флорентийца.

Младший турок меня очень удивил светло-голубыми глазами. Сначала оба они казались мне черноглазыми, но когда луч солнца упал на бронзовое лицо молодого, я увидел, что от густейших длинных чёрных ресниц и больших зрачков глаза его только кажутся чёрными. Когда же зрачки сузились на солнце, я увидел тёмно-синие глаза, очень внимательные и добрые.

Я так сгорал нетерпением прочесть письмо от Флорентийца, что даже чувствовал, как щёки мои покраснели. Но правила воспитанности не позволяли мне прочесть немедленно письмо, и не без вздоха я положил его в карман.

Разговор шёл о предстоящей буре, и старший турок передал И., что, несмотря на распоряжение капитана о молчании, слухи о возможной буре уже проникли частью в первый класс и все волнуются, особенно дамы. Младший прибавил, что сейчас по всем залам и коридорам парохода расклеивают объявления за подписью капитана, чтобы после ужина в десять часов никто не выходил на палубу и чтобы все оставались во внутренних помещениях или в каютах, так как для защиты от предполагаемой качки будут закрыты все выходы на палубу во всех классах парохода.

И. поделился со своими друзьями желанием обслуживать низшие классы парохода во время бури. Они сказали, что непременно присоединятся к нам. Но для того чтобы выполнить наш план, надо было получить согласие капитана, который собирался запереть нас в нашей каюте, защитив её ещё какими-то особыми щитами.

Старший турок взялся разыскать капитана и получить у него согласие. Но И. захотел непременно пойти сам с ним, и мне пришлось остаться с глазу на глаз с молодым турком.

Пока я придумывал, о чём бы мне начать с ним разговор, он сказал мне, что очень устал от экзаменов, что он естественник и перешёл на третий курс Петербургского университета. Я был очень удивлён, сказал ему, что я тоже студент второго курса того же университета, что я математик, и поражался своей рассеянности, как это я его не приметил. Он же сказал, что меня видел не раз, что моя репутация не только математика, но и хорошего литератора известна почти всем.

Я смутился, покраснел и умолял его не упоминать о моих литературных трудах, потому что я давал их читать только интимным друзьям и не понимаю, как это могло получить огласку.

По словам турка, огласка произошла просто. На вечеринке в пользу больного товарища кто-то из студентов прочёл мой рассказ. Рассказ так понравился публике, что потребовали огласить имя автора. Этим именем оказалось моё. Меня долго вызывали, не верили, что меня нет на вечере, и успокоились только тогда, когда кто-то из товарищей сказал, что я уехал в Азию. И что тогда же было постановлено послать мой рассказ в журнал, чтобы сделать мне приятный сюрприз по возвращении в Петербург.

Не знаю, чего во мне было больше: авторской гордости или возмущения, как могли люди распорядиться без меня моим рассказом.

Нас прервали раздавшиеся вблизи голоса, и мы увидели капитана и двух наших друзей входящими на лестницу.

— Я не могу запретить вам помогать беднякам, которым придётся хуже всех, если буря грянет, — говорил своим металлическим голосом капитан. — Но зачем вам мучить этих детей? — продолжал он, указывая на нас. — Пусть себе спят или сидят в каютах. Немало будет ещё бурь в их жизни. Если от одной можно их уберечь — слава Богу!

— Эти дети очень будут нам нужны как братья милосердия, если разразится буря. Сунуть лекарство или влить рому в рот застывшему человеку не так легко, если качка кладёт чуть ли не на бок пароход, — ответил ему И. — Наши дети закалены и бури не испугаются.

Капитан пожал плечами и заметил, что не отвечает, если волна смоет кого-либо из нас, что мы всё понимаем, какой опасности подвергается каждый привыкший к плаванию человек в сильную бурю, не только малоопытный мальчик, что он ещё раз предлагает оставить нас, молодых, в каюте.

И. настаивал на своём решении. Я думал, что сейчас разразится ссора, но, к моему удивлению, капитан пристально посмотрел на И., поднял руку к козырьку фуражки и, усмехнувшись, сказал:

— Выходит, вы хотите быть капитаном в эту ночь на палубе четвёртого класса. Согласен её доверить вам; действуйте как санитары. Но я вам в помощь не смогу дать ни одного матроса, кроме разве того рыжего, который приставлен к вашей каюте. Он силач, но глуп, хотя парень он добрый и своей чудовищной силой может быть вам полезен.

С этими словами он нажал кнопку телефона и приказал кому-то принести к нему в каюту четыре пары резиновых сапог и четыре непромокаемых плаща с капюшонами. На его же звонок взлетел на палубу и наш матрос. Ему капитан отдал специальное приказание находиться всю ночь на палубе при нашей каюте. И если мы куда-либо двинемся ночью, состоять при нас и, в частности, не отлучаться лично от меня ни на шаг; что я в первый раз еду по морю и хороший матрос должен понимать, что значит приказ капитана не отлучаться от кого-либо неопытного в плавании.

Я был смущён такой нянькой, даже слегка обижен. Но капитан посмотрел на меня весело и сказал, что слуга мне пригодится во время обслуживания больных и я буду ему очень благодарен, даже сам захочу угостить его вином, если борьба с природой кончится благополучно.

Матросу же он сказал, что его вахта при нас начнётся с девяти часов вечера, а сейчас чтобы шёл есть и спать.

Нам принесли плащи и высокие сапоги, которые вовсе не были на вид резиновыми, но когда я их надел, то почувствовал их эластичность и теплоту. Всем пришлись плащи впору, только я в своём утопал до пят, а сапоги не лезли на высокого турка.

Мать, вначале старавшаяся унять детей, теперь весело смеялась и по-видимому не прочь была бы принять участие в нашей возне. Но присутствие иконы — И. настраивало её на более серьёзный лад.

И. расспросил её, что ели дети и она. Оказалось, что после утреннего завтрака они ничего ещё не ели, так как буйная соседка требовала их удаления уже много времени, они умирали от страха, и мы застали самый финал всей трагикомедии.

И. сказал, что надо немедленно покормить детей и уложить их спать, а потом ей самой позавтракать, принять ванну и тоже лечь спать, если она хочет, чтобы здоровье её и детей восстановилось до приезда в Константинополь.

И. полагал, что у девочки в лёгкой степени, но всё же перемежающаяся лихорадка, что сегодня она здорова, но завтра должен быть снова пароксизм. У матери расширились от ужаса глаза. И. успокоил её, сказав, что даст ей капель и что надо будет им всем проводить почти весь день на лазаретной палубе, лёжа в креслах, и они оправятся от истощения.

Он попросил Жанну сейчас же распорядиться едой и сказал, что мы обойдём пароход и вернёмся к ней через часа два. Тогда мы дадим детям и ей лекарство и ещё побеседуем с ней.

Мы вышли, предварительно попросив сестру покормить получше мать и детей. Очевидно, это была добрая женщина; дети потянулись к ней, и мы ушли успокоенные за судьбу их на сегодняшний день.

Не успели мы пройти несколько шагов, как нас встретил врач, прося зайти в первый класс к тем девушке и матери, которых мы так хорошо вылечили.

— Они, проспав всю бурю, сейчас свежи, как розы. Они очень желают видеть врача, так помогшего им, чтобы отблагодарить за помощь, — сказал судовой доктор.

Мы пошли за ним и увидели в каюте двух брюнеток, очень элегантно одетых, сидевших в креслах за чтением книг, ничем не напоминавших растрёпанные фигуры в страшную ночь бури.

Когда судовой врач представил нас, старшая протянула обе руки И., сердечно благодаря его за спасение.

Она быстро сыпала итальянскими словами, со свойственной этой нации экспансивностью, и я половины не понимал из того, что она говорила, хотя сам говорил хорошо; я понял только, что она говорила от лица обеих, благодаря за спасение жизни.

Молодая девушка не была хороша собою, но её огромные чёрные глаза были так кротки и добры, что стоило любой классической красоты. Она тоже протянула каждому из нас обе руки и просила позволить ей чем-либо отблагодарить нас.

И. ответил ей, что лично нам ничего не надо, но что, если они желают принять участие в добром деле, мы не откажемся от их помощи. Обе дамы выразили горячее желание сделать всё, что мы им скажем; И. рассказал им о бедной француженке-вдове с двумя детьми, потерявшей в катастрофе мужа, которую капитан спас от мук голода и бури, укрыв её с больными детьми в одной из лазаретных кают.

Обе женщины были глубоко тронуты судьбой бедной вдовы и потянулись за деньгами. Но И. сказал, что денег ей достанут, а вот одежды и белья у бедняжки нет.

Люди стонали; женщины и дети плакали в панике; лошади в трюме ржали и бились; коровы мычали; блеяли овцы, — ничего нельзя было расслышать, всё сливалось в какой-то непрерывный вой, гул и грохот.

И. потянул меня за рукав, и мы пошли в женское отделение. Увидев нас, женщины целой кучей бросились к нам, но тотчас же многие покатились обратно, так как пароход взмыл вверх и снова упал вниз, как в пропасть. И. подходил по очереди к наиболее страдавшим; я набирал указываемые капли, он вместе с матросом приподымал головы страдавших, я же вливал им в рот лекарство.

Зловоние здесь стояло такое, что, если бы не ветер, я вряд ли мог бы его вынести.

Постепенно мы обошли всех, и люди стали затихать, даже засыпали. Два матроса с горячей водой, со щётками и тряпками навели в помещении чистоту.

Мы вышли из женского отделения и пошли помогать туркам, работа которых была ещё сделана только наполовину, так как мужчин было гораздо больше. Несколько человек были совсем здоровы и вызвались нам помогать. Вскоре и здесь успокоились стоны и проклятия, люди и здесь стали засыпать.

И. передал двум конюхам несколько пучков какой-то сухой травы и велел её привязать в нескольких местах в трюме, объяснив, что она произведёт на животных такое же успокаивающее действие, как лекарство на людей.

Турки остались на палубе, а мы спустились с конюхами в трюм, где И. сам указал, в каких местах привязать пучки травы.

Возвратившись на палубу, И. предложил и здоровым людям принять наше лекарство, говоря им, что несколько часов сна подкрепят их и дадут возможность быть большою помощью бессильным спутникам, когда начнётся буря.

— Буря? Да разве это ещё не буря?! — послышались возгласы.

— Нет, это ещё не буря, а только лёгкая тряска, — раздался внезапно возле нас голос капитана. — Поэтому примите лекарство и поспите пока, если вы истинно отважные мужчины. Каждая сильная рука и храброе сердце будут нужны, когда разразится буря.

Неожиданное появление капитана и его сильный, звенящий голос оказали влияние на помогавших нам храбрецов. Все молча открывали рты, и мы им вливали наши чудо-капли.

Капитан спросил И., сколько часов длится успокоительное действие его капель, и И. ответил, что не менее шести часов будут люди спокойны. Капитан вынул часы, нажал пружину, и часы звонко отсчитали двенадцать.

— Буря начнётся часа через два-три самое большое. Я решил перевести часть пассажиров третьего класса в гостиные второго класса, а весь четвёртый класс в третий, — сказал нам капитан. — Сейчас кончится переход пассажиров третьего класса, и надо будет женщин, детей и наиболее слабых мужчин четвёртого класса поместить в каюты третьего, а остальных устроить на полу в коридоре третьего класса на тюфяках. Я пришлю сюда часть команды, вы же, пожалуйста, не уходите, пока все отсюда не перейдут в третий класс. Быть может, кому-либо вам придётся помочь ещё раз.

И он так же быстро исчез, как неожиданно появился. Он был везде; забегал всё время на капитанский мостик, где стоял старший помощник, давая всюду распоряжения

и успевая лично обследовать каждый угол парохода, он всех ободрял и успокаивал, для всех у него было доброе слово.

Вскоре пришли несколько матросов и офицер, разбудили женщин и предложили им перебраться в каюты третьего класса вместе с детьми. Не обошлось дело без криков и истерических воплей; но всё же вскоре все женщины и дети были размещены, и осталось ещё несколько свободных кают для больных и слабых мужчин.

Мы пошли вместе с командой будить мужчин. Здесь дело пошло лучше; все сразу поняли опасность и быстро перебрались в третий класс, выделив сами наиболее слабых для размещения по каютам.

В женских каютах снова заплакали дети; пришлось им дать повторный приём, причём И. пристально вглядывался в их лица, прислушивался к дыханию — и только тогда давал новое лекарство, когда в этом была насущная необходимость. Около некоторых стариков-рабочих И. останавливался особенно долго и давал им ещё какие-то конфеты, засовывая им — уже дремавшим — их в рот.

Мы прошли к пассажирам третьего класса, переведённым в гостиные второго класса, и покинули их только тогда, когда дали лекарство и здесь всем его пассажирам. Здесь тоже царила паника, плакали дети и стонали даже мужчины. Но помощь И. скоро всех успокоила. Мы хотели остаться здесь же на дежурство, но посол от капитана просил И. и меня подняться в первый класс, где умирала какая-то девушка.

Мы оставили турок внизу и поднялись за нашим матросом в первый класс. Со всех сторон к нам неслись вопли, бегали горничные и лакеи и, пожалуй, картина человеческих страданий была здесь много отвратительнее, так как противные выкрики, где звучали нотки требовательности, злобы и эгоизма, выливались в ругательства и дурное обращение с судовой прислугой, уже сбившейся с ног.

Нас привели в каюту, где мать с растрёпанными длинными волосами стояла на коленях у изголовья дочери, которая была в глубоком обмороке. Сама мать уже ничего не соображала, рыдая и выкрикивая какие-то итальянские слова, она терзала свои волосы и ломала руки. И. с помощью матроса поднял её с пола, уложил на диван и велел мне дать ей пять капель, указав пузырёк. А сам наклонился над девушкой, которую судовой врач не мог привести в чувство уже более часа.

Как только я дал матери лекарство, она заснула мгновенно, и я подошёл к И.

— Случай тяжёлый, Лёвушка, — сказал И.

В эту минуту нас так шатнуло, что я еле успел схватиться за поручень у стены, а И. одной рукой удержал катившуюся с дивана девушку, другой схватился за Верзилу.

— Надо поскорей привести её в чувство, забежать в лазарет и спешить на помощь капитану, — сказал мне И. — Подними девушку и держи сидя, — обратился он к матросу. — А ты, Лёвушка, капни ей в рот пять капель из тёмного пузырька, когда я открою ей рот. Приготовь капли, чтобы мгновенно их влить.

И. достал из своей аптечки какие-то остро пахнущие капли и пустил девушке по одной капле в каждую ноздрю. Через минуту девушка сильно чихнула. И. ловко открыл ей рот, а я влил ей свои капли с помощью матроса, которому пришлось упереться коленом в диван и держать меня за талию, иначе я бы полетел на спину от нового толчка, а девушка упала бы на диван.

— Теперь здесь всё будет благополучно, поспешим в лазарет, — шепнул мне И.

две лазаретные койки как с безбилетного пассажира, а также вымыть немедленно каюту.

— Я буду жаловаться на вас вашему начальству, — прохрипела старуха.

— А я на вас не только своему начальству, но и русским властям. А также скажу великому князю Владимиру, который сядет к нам в следующем порту, о вашем поведении и аккуратности.

Тут к старухе подошёл младший офицер и предложил ей следовать за ним в первый класс. Видно было, что старая ведьма готова вцепиться в капитана и исцарапать ему лицо. В бессилии она сорвала злобу на своём супруге и горничной, обозвав их ослами и идиотами, не умеющими даже поддержать её как следует. Похожая на чудовище из дантовского ада, с трясущейся головой, с губами в пене, хрипло кашляя, как старая собака, старуха скрылась в коридоре, сопровождаемая своими приспешниками.

Капитан простился с нами, просил от его имени уверить госпожу Жанну Моранье, что она в полной безопасности на его судне, под охраной английских законов. Он просил нас обойти ещё раз пассажиров четвёртого и третьего классов, потому что вечером, после обеда, их снова будут водворять на их первоначальные места, вычистив весь пароход, что делается уже сейчас.

Отдав ещё раз распоряжение вымыть и убрать каюту старухи, капитан приказал врачу поместить в неё тех пассажиров, которых мы найдём нужным ему прислать. Он простился с нами, сказав, что вахта его начинается в шесть часов вечера, и что мы найдём его с этого часа в капитанской будке. Он быстро скрылся на винтовой лестнице, по которой мы спустились.

Мы постучали в каюту № 1А. Мелодичный женский голос ответил нам по-французски: «Войдите», — и мне показалось, что в голосе слышны слёзы.

Когда мы вошли в каюту, то первое, в чём мне пришлось убедиться, это были действительно лившиеся по щекам матери слёзы, а дети, уткнув головки ей в плечи, точно боясь увидеть пугало, прижимались к ней, обхватив её шею ручонками.

Мать сидела, прижавшись в угол дивана, и вся эта группа выражала такой страх, такое отчаяние, что я остановился как вкопанный, превратившись сразу в «Лёвушку — лови ворон».

И. подтолкнул меня и шепнул, чтобы я взял девочку на руки и успокоил мать, как мне велел капитан.

Убедившись, что мы являемся послами привета и радости, мать много раз переспрашивала нас, неужели до самого Константинополя она доедет с детьми в этой каюте? Счастью её не было конца. Она так смотрела на И., как смотрят на иконы, когда молятся. Ко мне же она обращалась как к брату, который может защитить на земле.

Девочка повисла на мне и не слушала никаких резонов матери, уговаривавшей её сойти с моих колен. Она целовала меня, гладила мои волосы, жалея, что они такие короткие, говорила, что я ей снился во сне и что она больше не расстанется со мною, что я её чудный родной дядя, что она так и знала, что добрая фея обязательно меня им пошлёт. Вскоре и крепыш перекочевал ко мне; и началась возня, в которой я не без удовольствия участвовал, подзадоривая малюток ко всяким фокусам.

питана маленькими злыми глазками и, очевидно, считала себя такой вершиной величия, перед которой все должно падать ниц.

— Вы, очевидно, не знаете, кто я, — всё так же визгливо и заносчиво сказала она.

— Я знаю, что вы путешествуете на вверенном мне пароходе и занимаете каюту первого класса № 25. Когда вы садились на пароход, вы читали правила, что во время пути все пассажиры наравне с командой подчиняются всем распоряжениям капитана. Там же были расклеены объявления, что на пароходе имеются лазаретные каюты за особую плату. Вы едете сейчас здесь. Предъявите ваш добавочный билет, — ответил ей капитан.

Старуха гордо вскинула голову, заявив, что не о билете должна быть сейчас речь, а об особе в соседней с нею каюте.

— В лучшей каюте, со всеми отдельными удобствами, доктор поместил свою приятельницу, откопав её в трюме. Я, светлейшая княгиня, требую немедленного удаления её в её первоначальное помещение, как раз ей соответствующее, — повышенным голосом говорила старуха на своём отвратительном английском языке.

— Вы понимаете ли, о чём я вас спрашиваю, сударыня? Я у вас спрашиваю билет на право проезда здесь, в этой каюте. Если вы его не предъявите сейчас же, вы будете водворены немедленно в каюту № 25, за которую вы заплатили, и, кроме того, заплатите тройной штраф за безбилетный проезд здесь.

Голос капитана, а особенно угроза штрафа, очевидно, коснулись самой отвратительной стороны жадной старухи. Она вся побагровела, затрясла головой, что-то хотела сказать, но задохлась от злости и только хрипло кашляла.

— Кроме того, нарушение правил и распоряжений капитана, оспаривание его приказаний является бунтом на корабле. И если ещё одно слово спора, ещё один стук палки, нарушающий покой лазаретных больных, вы себе позволите, я велю этим молодцам посадить вас в карцер как бунтующий элемент.

Теперь и сама старуха струсила, не говоря о её молодом муже, который, очевидно, был убит вообще своим положением в разыгравшемся скандале и не мог не понимать всего позора и низости поведения старухи — своей жены.

Капитан приказал открыть дверь лазаретной каюты № 2, где ехала старуха. Картина, представившаяся нашим глазам, заставила меня покатиться от хохота. На самом видном месте висели широчайшие дамские панталоны, далеко не первой свежести. Постели были разрыты, как будто на них катались и кувыркались. Всюду — на столах, стульях, на полу, на вещах — были развешаны и разложены всякие принадлежности мужского и дамского туалета, вплоть до самых интимных.

— Что это за цыганский табор? — вскричал капитан. — Сестра, как могли вы допустить нечто подобное на пароходе, в лазарете?

Сестра, пожилая англичанка, полная сознания своего достоинства, отвечала, что входила сама в каюту три раза, два раза посылала убирать коридорную прислугу, но что через час всё снова принимало вид погрома.

О билете у княгини все спрашивали; и кассир уже пошёл разыскивать капитана, но, видно, разошёлся с ним сейчас.

На новый свист капитана явился младший офицер, получивший приказание немедленно водворить княгиню в её каюту, взыскать с неё тройную штрафную плату за

Мы поручили вошедшему доктору его пациентов; он был очень удивлён, что девушка спит и ровно, мирно дышит. Но И. так спешил, что даже не дослушал фразы врача.

Кратчайшим путём, по какой-то винтовой лестнице, мы быстро добрались до лазаретных палат, где тоже были стоны и слёзы. Но мы, ни на что не обращая внимания, почти вбежали в палату № 1А. Там бедная мать не знала, что ей делать с двумя рыдавшими детьми, и готова была сама заплакать в творившемся вокруг неё аду. Каждый винт на пароходе скрипел и визжал на свой лад; весь пароход дрожал и трясся, как будто бы был из тонкого листового железа; а люди чувствовали себя то вверх ногами, то переваливались с боку на бок, издавая протяжные стоны, которые, сливаясь с воем ветра, казались завыванием нечистых сил.

Почти мгновенно мы влили детям капли. И. дал матери какую-то пилюлю и просил её быть бодрой, говоря, что всё будет хорошо, но надо посылать капитану бодрую энергию, чтобы крепить его силы в борьбе, а не лить слёзы и унывать, что это только разбивает всякую энергию. Женщина так моляще взглянула на И., что он пожал ей руку и сказал:

— Мужайтесь. Мать должна быть примером детям. Ложитесь подле них и спите.

Мы снова кратчайшим путём помчались на палубу к капитану на его мостик. Надо признаться, что И. держал меня под руку, а матрос буквально подталкивал меня сзади, и только таким способом я мог карабкаться по лестницам и переходам. Если бы не было этой двойной помощи, я бы десять раз полетел вниз головой и, наверное, убился бы насмерть. Когда мы вышли на палубу, то попали прямо в ад. Сверкали молнии, грохотавший гром сливался с воем и свистом ветра, точно непрерывная канонада. Молнии сразу ослепили нас, и мы должны были остановиться, так как было трудно даже дышать в ледяной атмосфере бури.

Мы добрались до капитанского мостика с огромным трудом. Я не успел даже опомниться, как меня обдало с ног до головы холодной водой и даже глаза я должен был закрыть. Я отряхивался, как пёс, протирая глаза руками, и открыл их с большим усилием, но всё же в сменяющихся огнях молний и тьме ничего не видел.

Я чувствовал, что меня тащат сильные руки, и пошёл, если только можно назвать словом «пошёл» то, что проделывали мои ноги и тело. Я подымал ногу, чтобы поставить её на пол, а сам валился на свою няньку-матроса, с ногой, повисшей в воздухе. То я валился назад и слышал крик И.: «Пригнись!» Не успевал нагнуться, как снова валился на бок. Эти несколько десятков шагов, которые необходимо было пройти до капитанского мостика, показались мне долгими, как дорога к несбыточному счастью.

Но вот я услышал, что матрос-верзила что-то крикнул, рванул меня вперёд; со своей стороны И. тащил тоже изо всех сил моё беспомощно балансирующее тело, — и в одно мгновение мы очутились возле капитана и его помощников у руля. А в следующий момент мы оказались мокрыми, прижатыми к стенкам капитанской будки, но спасёнными и не смытыми чудовищной волной.

То же, что произошло в следующий за тем момент, не поддаётся никакому описанию. Водяная стена обрушилась на пароход, так ударив по капитанской будке, что она вся задрожала, а И. и матрос бросились к рулевому колесу, которое капитан и помощники не могли уже удержать втроём.

— Лёвушка, — кричал И., — скорее из зелёной коробочки Флорентийца пилюли всем, капитану первому!

Я был прижат в угол будки таким сильным ветром, дувшим в ноги, что стоял очень устойчиво. Это помогло мне легко достать коробочку, но я понимал, что, если снова ударит волна, я не устою на ногах. Я собрал все свои силы, в уме моем мелькнула фигура Флорентийца, о котором я неустанно думал всё время. Сердце моё вдруг забилось от радости, и так близок был ко мне в эту минуту мой друг, что я точно увидел его рядом с собой. Положительно, если бы я спал, то был бы уверен, что вижу его во сне — так ясно нарисовало мне воображение фигуру в белом моего дорогого покровителя Флорентийца.

Я почувствовал прилив таких сил, как будто бы этот обаятельный друг был и в самом деле возле меня. Я легко вынул пилюли, мне стало весело, и я, смеясь, наклонился к капитану. Тот даже рот раскрыл от удивления, увидев меня смеющимся в такой миг ужасной опасности, чем я немедленно и воспользовался, сунув ему пилюлю в рот.

Точно дивная рука Флорентийца помогла мне — я забыл о толчках, дрожании судна, ударах волн, забыл о смерти, несущейся в каждом новом порыве волн, — я всем дал пилюли и последним проглотил пилюлю сам. Глаза привыкли, вокруг стало точно светлее. Но различить, где кончалась вода, где начиналось небо, не было возможности.

Теперь все мужчины держали руки на колесе руля. Мне всё ещё казалось, что я вижу высокую белую фигуру Флорентийца, теперь стоящей рядом с И. Он как бы держал свои руки на его руках. Да и команда капитана, казалось мне, шла под диктовку И. Мы плыли, вернее ухали вниз и взлетали на горы довольно долго. Все молчали, борясь с грозящей смертью.

— Ещё один такой крен, и пароход ляжет, чтобы уже не встать, — прокричал капитан.

Не знаю, что меня разбирало, должно быть пилюля так раззадорила меня, что я прокричал в самое ухо капитану:

— Не ляжет, ни за что не ляжет, выйдем невредимы.

Он только повёл плечами, и жест этот я перевёл как снисхождение к моему мальчишескому непониманию грозящей смерти. Между тем становилось светлее. Теперь я мог уже рассмотреть тот живой водяной ад, в котором мы плыли, если можно назвать этим словом ужас уханья в пропасть и взмывания на горы, которые мы проделывали.

Море представляло из себя белую кипящую массу. Временами вздымались высоченные зелёные стены воды с белыми гребнями, точно грозя нас залить сразу со всех сторон и похоронить в пропасти. Но резкая команда капитана и искусные руки людей резали водяные стены, и мы ухали вниз, чтобы благополучно выскочить снова вверх.

Но вот я заметил, что капитан вобрал голову в плечи, крикнул что-то И. и налёг всем корпусом на колесо. Мне почудилась снова высокая белая фигура Флорентийца, коснувшаяся рук И., который двинул колесо так, как хотел капитан и чего он сам не мог добиться от своих помощников. И вот пароход послушно повернулся носом

В коридоре столпилось много народа, слышался спокойный и твёрдый голос врача, как бы что-то возражавшего, и выделялся визгливый женский голос, говоривший на отвратительном английском языке.

— Ну если вы не желаете её отсюда убрать, то я это сделаю сама. Я не желаю, чтобы рядом со мной ехала какая-то нищая тварь. Вы обязаны делать всё, чтобы не волновать пассажиров, заплативших вам за проезд такие огромные деньги.

— Я повторяю вам, что таково распоряжение капитана, а на пароходе он царь и Бог, а не я. Кроме того, это не тварь, и я очень удивляюсь вашей малокультурной манере выражаться, а премилая и прехорошенькая женщина. И за проезд в этой каюте она уже всё сполна уплатила; а вы — под предлогом всё ещё продолжавшегося расстройства нервов из-за бури — ничего ещё не заплатили, — снова раздался спокойный голос врача.

— Как вы смеете со мной так разговаривать? Вы грубый человек. Я не буду ждать, пока вы соблаговолите убрать отсюда так приглянувшуюся вам девку. Вы удобно хотите устроиться и иметь под руками развлечение за казённый счёт. Я сама иду и выгоню её, — визгливо кричала княгиня.

Доктор вспылил:

— Это Бог знает что! Вы говорите не как аристократка, а...

Тут капитан выступил вперёд и стал спиной к двери каюты № 1А, к которой подошла старая грузная женщина, накрашенная как кукла, в золотистом завитом парике, в нарядном сером шёлковом платье, увешанная золотыми цепочками, с лорнетом, медальоном и часами. Толстые пальцы её жирных рук были унизаны драгоценными кольцами.

Эта молодящаяся старуха была тем отвратительнее, что сама стоять крепко на своих ногах не могла. С одной стороны её поддерживал ещё молодой человек в элегантном костюме, с очень печальной физиономией; с другой, кроме палки, на которую она опиралась, старуху поддерживала её горничная в синем платье, элегантном белом переднике и с белой наколкой на голове.

Очевидно, не зная капитана в лицо и увидев морского офицера с двумя молодыми людьми у дверей каюты, куда она хотела пройти, она ещё выше взвизгнула и, грозно стуча палкой об пол, закричала:

— Я буду жаловаться капитану. Это что за дежурство перед дверью развратной твари? У меня молодой муж, здесь много молодых девушек. Это разврат! Сейчас же уходите. Я сама распоряжусь убрать эту...

Она не договорила, её перебил капитан. Он вежливо поднёс руку к фуражке и сказал:

— Будьте любезны предъявить ваш билет на право проезда в лазаретной каюте № 2, где, как я вижу, вы едете. Я капитан.

Он свистнул особым способом, и в коридор вбежали два дюжих матроса.

— Очистить коридор от всех посторонних, не едущих в каютах лазарета, — сказал он им.

Приказание, отданное металлическим голосом капитана, незамедлительно было выполнено. Вся толпа любопытных мгновенно исчезла, остались старуха со своими поддерживающими, врач, сестра милосердия и мы. Старуха нагло смотрела на ка-

Глава 13

Незнакомка из лазаретной каюты № 1А

Письмо было адресовано «Господину младшему доктору». Оно носило такое же обращение и было написано по-французски.

«Мне очень совестно беспокоить Вас, господин младший доктор. Но девочка моя меня крайне волнует; да и маленький что-то уж очень много плачет. Я вполне понимаю, что моё обращение к Вам не совсем деликатно. Но, Боже мой, Боже, — у меня нет во всём мире ни одного сердца, к которому бы я могла обратиться в эту минуту муки и страданий. Я еду к дяде, от которого уже полгода не имею известий. Я даже не уверена, жив ли он? Что ждёт меня в чужом городе? Без знания языка, без умения что-либо делать, кроме дамских шляп. Я гоню от себя печальные мысли; хочу быть храброй; хочу мужаться для детей, как мне велел господин старший доктор. О Вашей храбрости говорит сейчас весь пароход. Заступитесь за меня. В каюте рядом со мной поместилась важная старая русская княгиня. Она возмущается, что кто-то смел поместить в лучшую каюту меня, — как она выражается, “нищенку из четвёртого класса”, — и требует, чтобы врач нас выкинул. Я не смею беспокоить господина старшего доктора или капитана. Но умоляю Вас, защитите меня, не выкидывайте. Упросите важную княгиню позволить нам ехать дальше в нашей каюте. Мы ведь не выходим из каюты; у нас всё, даже ванная, отдельно, и мы ничем не тревожим покой важной княгини. С великой надеждой, что Ваше юное сердце тронется моей мольбой, остаюсь навсегда благодарная Вам *Жанна Моранье*».

Я старался читать спокойно это наивное и трогательное письмо, но раза два мой голос дрогнул, а лицо бедняжки Жанны с бежавшими по щекам, как горох, слезами так и стояло передо мной.

Я посмотрел на И., который стоял возле меня. Я узнал снова суровую складку на лбу, которую я замечал не раз, когда И. на что-либо решался.

— Этот дуралей, наш Верзила, вероятно, протаскал письмо целый день, скрывая его от меня и считая любовным, — задумчиво сказал он. — Пойдём сейчас же, разыщем капитана, и ты переведёшь ему это письмо. Возьми и наши аптечки — обойдём заодно и весь пароход.

Мы повесили через плечо наши аптечки и пошли искать капитана. Мы нашли его в судовой канцелярии и рассказали ему, в чём дело. Я видел, как у него сверкнули глаза и передёрнулись губы. Но сказал он только:

— Ещё десять минут, — и я иду с вами.

Он указал нам на кожаный диванчик рядом с собой и продолжал слушать доклады заведующих всеми частями парохода о вреде, нанесённом бурей, и что сделано «согласно его распоряжениям» для починки судна и помощи пассажирам.

Ровно через десять минут — точно, ясно, не роняя ни одного лишнего слова, — он всех отпустил и вышел с нами в отделение лазаретных кают первого класса.

Опять по уже знакомой мне узкой винтовой лестнице мы поднялись и вышли прямо к дверям каюты № 1А.

вправо. Сердце у меня упало. На нас шла высочайшая гора воды, на верху которой кружился водяной столб, высотой, казалось, подпиравший небо.

Если бы вся эта гора ударила нам в борт, судно неминуемо опрокинулось бы. Благодаря ловкому манёвру пароход прорезал брюхо водяной горы, и вся тяжесть её обрушилась на кормовую часть парохода. Раздался грохот, точно выпалили из пушек, судно вздрогнуло, нос задрался вверх, точно на качелях, но через минуту мы снова шли в пене клокотавшего моря, где волны были ужасны, заливали палубу, но не грозили разбить нас.

Опомнившись, я стал искать глазами, не увижу ли своего дивного друга Флорентийца, но понял, что то был мираж, мираж моей любви к нему. Я так был полон мыслей о своём дивном друге, так верил в его помощь, что он померещился мне даже здесь.

— Мы спасены, — сказал капитан. — Мы вышли из полосы урагана. Качка будет ещё долго, но теперь смертельной опасности уже нет.

Он предложил нам с И. пойти в каюту отдохнуть. Но И. ответил, что мы устали меньше него и останемся с ним, пока не выйдем окончательно из опасности. А сейчас предлагаем ему отпустить старшего помощника, наиболее усталого, и вызвать кого-либо другого наверх.

Капитан послал вниз старшего помощника узнать, как себя чувствуют пассажиры внутри, и велел ему смениться с кем-либо из дежурных помощников на два часа, а ответ о состоянии судна внутри пусть принесёт тот, кто его сменит.

Не знаю, много ли прошло времени. Становилось всё светлее; буря была почти так же сильна, но мне казалось, что лицо капитана просветлело. Он был измучен, глаза ввалились, лицо было бледно до синевы, но суровости в нём уже не было.

И. посмотрел на меня и крикнул мне дать всем по пилюле из чёрной коробочки Али. Я думал, что качка уж не так сильна, отделился от угла, где всё время стоял, и непременно упал бы, если бы И. меня не поддержал.

Я очень удивился. Несколько часов назад я так легко оделил всех лекарством в разгар урагана, а теперь без помощи И. не смог этого сделать, хотя было гораздо тише. С большим трудом я подал всем пилюли из коробочки Али, с не меньшим затруднением проглотил её сам и едва вернулся на прежнее место.

Теперь я увидел, что в углу был откидной стул. Я опустил сиденье и сел в полном недоумении, почему же в разгар бури, когда мне мерещился Флорентиец, я мог двигаться легко, а теперь не могу сделать шага, да и сижу с трудом, держась крепко за поручни.

Неужели же одна мысль о дорогом друге, которого я всю ночь звал всем сердцем на помощь, помогла мне так сосредоточить волю? Я вспомнил, какое чувство радости наполнило меня; как я сознавал себя сильным; как смеялся, давая капитану пилюли, — а вот теперь рассеялся и стал обычным «Лёвушкой — лови ворон».

Я смотрел на небо, и мне показалось, что оно уже не так серо, и между белым кипящим морем и серым небом была теперь большая разница в окраске. Ветер уже не выл сплошь; свист и грохот его были слышны изредка, как выстрелы из орудия; и люди, стоявшие у руля, перекидывались словами, не напрягая голосов до крика.

Послышались грузные шаги, и перед нами выросли две фигуры в плащах и кожаных высоких сапогах. Это оказались младший помощник и матрос, посланные старшим помощником на смену самому себе и нашему Верзиле.

Наш Верзила так хорошо себя чувствовал, а внизу так был нужен каждый человек, что капитан передал своё место новому командиру, взял с собой только что поднявшегося матроса и, сказав, что вернётся вскоре, ушёл вниз. Он предлагал и мне пойти с ним, назвав меня храбрецом и героем, но я хорошо знал, как я героичен, когда предоставлен самому себе, и решительно отказался.

Тем более я хотел остаться наверху, что вспомнил спёртый отвратительный воздух во время бури внутри парохода. Да и картина моря так менялась, что оторваться от неё было жаль.

Правда, было всё ещё очень холодно. И если бы, садясь на пароход, мы не жарились на солнце, я не поверил бы, что мы едем по южному морю.

Вокруг становилось совсем светло, ветер разорвал чёрные тучи, и кое-где уже проглядывали клочья голубого неба. Качка заметно слабела; иногда ветер почти стихал и слышался только шум моря, которое превратилось в совершенно чёрное с яркими белыми хребтами на высоких волнах.

Теперь управлять рулём было сравнительно легко. И. подошёл ко мне и сказал, что, как только капитан вернётся, мы сойдём вниз, выполним ещё раз свою миссию братьев милосердия и тоже пойдём спать. Он предложил мне пойти на кормовую часть палубы и посмотреть на тот ад, из которого мы сейчас вышли. Верзила хотел было двинуться с нами, но И. сказал ему, что мы только пройдёмся по палубе и вернёмся обратно сюда; а когда будем уходить вниз, возьмём его с собою.

Качка была ещё сильная, иногда налетала волна с рёвом, но для нашего громадины-парохода она уже не представляла никакой опасности. Всё же идти по палубе мне было трудно, и я удивился И., как он легко всё делал. За что бы он ни взялся, думалось мне, всё он делает отлично.

Я представил себе его ни с того ни с сего за портняжным делом, и так это было смешно и глупо, что я залился смехом.

И. поглядел на меня не без удивления и сказал, что второй раз я выражал свой героизм смехом.

— Нет, не героизм заставил меня сейчас смеяться, — ответил я, — а только моя глупость. Я вдруг представил себе вас портным и решил, что и в этой роли вы были бы совершенны. Но это сопоставление вас с иглой и ниткой в руках так комично, что я не могу не хохотать, — ответил я, всё смеясь.

Мы подошли к корме, и мой смех сразу оборвался и застыл. Я даже почувствовал, как у меня губы остались полуоткрытыми.

Море было точно разрезано ножом на две неравные части. Сравнительно небольшое пространство, по которому мы двигались, было черно, в белой пене, но не представляло страшной картины. За этой чёрной полосой начинались высочайшие водяные горы; стены зелёной воды с белыми хребтами, налетавшие друг на друга, точно великаны в схватке; постояв мгновение в смертном объятии, они валились в пропасть, откуда на смену им вылетали новые водяные горы-чудища.

— Неужели мы вышли из этого ада? — спросил я. — Неужели из этих волн мы могли выйти живыми?

Я страстно хотел спросить И., думал ли он о Флорентийце в самую страшную минуту нашей ночи, но мне было стыдно признаться в своём детстве, игре своей фантазии, принявшей мысленный облик друга, спасшего мне несколько раз жизнь

накладывал И.; и мазь была такая целебная, что на сегодняшней перевязке можно было уже заклеить.

Турки побыли с нами недолго и пошли завтракать вниз, в общую столовую.

Наконец я достал письмо и разорвал конверт.

К нам подошёл капитан. Радостно здороваясь, назвал меня весёлым героем, утверждал, что первый раз в жизни видит человека, который бы хохотал во всю мочь, когда идёт со всех сторон смерть.

— Я создам новую морскую легенду, — сказал он. — Есть легенда о летучем голландце; легенда страшная, несущая смерть всему встречному. Есть легенда благая: о Белых Братьях, несущих гибнущим судам спасение и жизнь. Но легенды о весёлом русском, смеющемся во весь рот в минуты грозящей смерти и подающем борющимся людям пилюли энергии, ещё не было никем измышлено. Я расскажу в рапорте своему начальству о той помощи, которую вы с братом оказали мне и всему пароходу в эту ночь. О вас, мой молодой герой, я расскажу особо и всему начальству и всему населению парохода, потому что пример такого дерзновенного бесстрашия — это уже из ряда вон выходящее событие.

Я сидел весь красный и совершенно расстроенный. Я хотел сказать капитану, как он ошибается в моём героизме, что я просто шёл на помочах у И., которому был скорее обузой, чем помощью. Но И., незаметно сжав мне руку, ответил сам капитану, что мы ему очень благодарны за такую высокую оценку наших ночных подвигов. Он напомнил ему, что турки не менее нашего трудились в ночь бури.

— О, да, — ответил капитан. — Я о них, конечно, не забуду в донесении. Они были тоже героичны и самоотверженны. Но быть внутри парохода защищёнными от волн или быть на палубе, где ежеминутно может смыть волна, — это огромная разница. Вы далеко пойдёте, юноша, — снова обратился он ко мне. — Я могу составить вам протекцию в Англии, если вы решите переменить карьеру и сделаться моряком. С таким даром храбрости вы станете очень скоро капитаном. Ведь вам теперь всюду будет сопутствовать слава неустрашимости на водах. А это — залог большой морской карьеры.

Он, поблёскивая своими жёлтыми кошачьими глазами, протягивал мне бокал шампанского. Я не мог не принять бокала, рискуя показаться неучтивым. Капитан подал также бокал И. и провозгласил тост за здоровье храбрых. Мы чокнулись с ним; он опустошил свой бокал одним духом, хотел налить себе второй, но его отозвал один из помощников по какому-то экстренному делу.

Поглядев на И., я увидел, что у него, как и у меня, не было никакого желания пить шампанское в этот палящий день. Не сговариваясь, мы протянули наши бокалы матросу-верзиле, принёсшему нам мороженое. Я не успел даже взять своё блюдечко, как оба бокала были пусты. И. велел ему отнести серебряное ведро с шампанским в каюту капитана, а мне сказал:

— Чтобы не быть неучтивыми, нам надо пойти к нашим друзьям-туркам, если они сами не поднимутся сейчас к нам. Оба несколько раз заходили сюда справляться о твоём здоровье. Да и по отношению к даме надо постараться быть вежливым. Прочти же её записку, — прибавил он улыбаясь.

Я только успел опустить руку в карман за письмом, как послышались голоса, — и к нашему столу подошли турки.

Оба очень приветливо поздоровались со мной и радовались, что буря не оставила меня больным. Старший турок приподнял феску на голове сына, и я увидел, что большой кусок его головы выбрит, и наложена повязка, заклеенная белой марлей. Он ударился головой о балку, когда волна подбросила пароход. Повязку, как оказалось,

в это короткое время, за истинное видение. Я взывал и сейчас всем сердцем к нему и думал о нём больше, чем о брате и даже о самом себе.

И. стоял молча. На его лице было такое безмятежное спокойствие, такая глубокая чистота и радость светились в нём, что я невольно спросил его, о чём он думает.

— Я благословляю жизнь, мой мальчик, даровавшую нам возможность ещё раз сегодня дышать, любить, творить и служить людям всем напряжением своих сил, всей высотой чести. Благослови и ты свой новый день. Осознай глубоко, что ночью мы могли погибнуть, если бы нас не спасли милосердие жизни и самоотверженный героизм людей. Вдумайся, что этот день — это уже новая твоя жизнь. Новая потому, что ты мог бы сегодня уже не стоять здесь. Привыкни встречать *каждый* расцветающий день, как день *новой* жизни, где только ты, ты один делаешь запись на чистом, новом листе твоего дня. В течение ночи ты ни разу не испытал страха, ты думал о людях, жизнь и здоровье которых были в опасности. Ты забыл о себе для них.

— О, как вы ошибаетесь, Лоллион, — воскликнул я, назвав его в первый раз этим ласкательным именем. — Я действительно не думал ни о себе, ни об опасности. Но опасность я понял только сейчас, когда смотрю на этот ужас позади нас, на эту полосу урагана, из которой мы спаслись. О людях я не думал, я думал о Флорентийце, о том, как бы он отнёсся к моим поступкам, если бы он был рядом со мной. Я старался поступать так, точно он держал меня за руку. И так полон я был мыслями о нём, что он даже пригрезился мне в минуту обрушившегося на нас страшного вала. Я точно увидел его, ощутил его помощь, и потому так радостно смеялся, чем удивил капитана и вас, вероятно. Поэтому не думайте обо мне лучше, чем я на самом деле поступал.

— Твой смех меня не удивил, как и твоя радость и бодрость ночью. Я понял, что ты видишь перед собой образ Флорентийца, и понял, как велики твои привязанность и верность ему. Я думаю, что, если верность твоя ему не поколеблется, ты в жизни пройдёшь далеко за ним. И когда-нибудь станешь сам такой же помощью и опорой людям, как он тебе, — ответил мне И.

Здесь, на корме, было видно, как бушевала буря и сейчас. Шум моря всё ещё был похож на редкие выстрелы из пушек, и говорить приходилось очень громко, пригибаясь к уху.

От страшной линии урагана мы уходили всё дальше; и теперь зрелище — ужасное и вблизи — было невероятно страшно издали.

Если бы художник стоял рядом с нами и изобразил на картине такую необычайную картину моря — точно искусственно разделённого на чёрные, грозные, но не чрезмерно опасные волны и, за ними, на волны — зелёные горы, несущие смерть, — каждый смотрящий картину непременно вынес бы впечатление, что художник бредил и вылил на полотно бред своей больной души.

Трудно было оторваться от этого грозного зрелища. Молнии и ливень прекратились и в полосе урагана, но небо было ещё чёрным — и очень странно поражали лоскутья синего бархата, мелькавшие кое-где на чёрном фоне туч.

Сзади нас раздался голос капитана, шагов которого мы не слыхали.

— Двадцать лет плаваю, — говорил он, — объездил все океаны, видел бурь немало, бурь тропических. Но ничего подобного сегодняшней ночи не переживал, и никогда смерчей в таком объёме и силе не приходилось испытывать. Смотрите,

смотрите! — вдруг громко закричал он, повернувшись налево и указывая нам направление рукой.

На громаднейшей водяной горе стояло два белых, кипящих столба воды, вершины которых уходили в небо.

Капитан бросился к рулевой будке, я хотел бежать за ним, но И. удержал меня, сказав, что, несомненно, этот смерч отразится на нас, но он уже идёт мимо нас и смертью нам не грозит. Присутствие капитана на мостике необходимо, но в нашей помощи уже нужды нет.

Смерч нёсся действительно мимо нас, но вдруг я увидел, как из верхушки водяной стены с правой стороны стала возвышаться, вертясь колесом, струя воды, и через минуту вырос и на ней высочайший водяной столб. Он понёсся навстречу мчавшимся двум левым столбам, и вдруг все три столба столкнулись, раздался грохот, как сильнейший удар грома, — и на месте их слияния образовалась пропасть.

Вся линия, разделявшая море на две части, разметалась; волны-стены точно ринулись в погоню за нами. Это было так страшно, что я с удивлением смотрел на И., не понимая, почему он не бежит на помощь людям у руля. Но он молча взял меня под руку и повернул лицом вперёд. Там я с удивлением увидел очистившееся небо и вдалеке очертания берегов.

— Капитан прав, что бросился к рулю. Волны снова будут сильнее бить нас, и подходить к берегам нельзя. Быть может, мы даже минуем первый порт, если на пароходе достаточно угля, воды и запасов, и пойдём дальше. Но смертью нам море сейчас не угрожает, — сказал И. — Вряд ли такие ураганы повторяются два раза. Но море, по всей вероятности, не менее недели будет бурным.

Я уже начинал чувствовать, что качка снова стала сильнее; море вновь закипало и шумело грознее, и ветер налетал свистящими шквалами. Но до высоты гор волны больше не вздымались.

Мы прошли к капитану, всматривавшемуся в окрестности в подзорную трубу. Он изменял направление пути парохода. Он приказал позвать к себе немедленно старшего офицера с полным отчётом о состоянии запасов провианта, воды и угля в данный момент на пароходе.

Когда явился старший помощник и оказалось, что пароход может плыть ещё двое суток, ни в чём не нуждаясь, капитан приказал держать курс снова в открытое море, не заходя в порт.

Мне оставалось только в сотый раз изумляться прозорливости И.

Как ни было волшебно действие подкрепляющих лекарств Али и Флорентийца, всё же не только мои силы, но и силы всех приходили к концу. Все проведшие ночь на палубе стали похожи при свете серого дня на привидения. Один И. был бледен, но бодр. Капитан же буквально валился с ног.

Передав команду двум помощникам и штурману, капитан велел матросам получить усиленный рацион и идти спать. Нас он пригласил в свою каюту, где мы застали прекрасно сервированный стол.

Как только я сел в кресло, я почувствовал, что встать у меня нет сил. Я совершенно ничего не помню, что было дальше.

Очнулся я у себя в каюте свежим и бодрым, совершенно забыв обо всём, что было, и не соображая, где я. Я лежал около получаса и постепенно начал соображать и вспоминать всё окружающее.

Память вернулась ко мне, вернулись и все ужасы ночи. Теперь солнце сияло. Я встал, оделся в белый костюм, который мне приготовила, очевидно, заботливая рука И., и собрался выйти из каюты поискать его и поблагодарить за внимание и заботы. Я никак не мог связать всех событий в одну линию и понять, как я попал в каюту.

Мне было стыдно, что я так долго спал, а И. уже, вероятно, где-нибудь помогает людям.

В эту минуту открылась дверь, и мой друг, сияя безукоризненным костюмом и свежестью, вошёл в каюту. Я так ему обрадовался, как будто бы не видал его целый век, и бросился ему на шею.

— Слава Богу, наконец-то ты встал, Лёвушка, — сказал он улыбаясь. — Я уже решил применить пожарную кишку, зная твою любовь к волнам.

Оказалось, что я спал более суток. Я никак не мог поверить, всё переспрашивал, который же был час, когда я заснул. И. рассказал мне, как ему пришлось перенести меня на руках в каюту и уложить спать голодным.

Есть я сейчас хотел ужасно, но ждать мне не пришлось, так как в дверях появился сияющий Верзила и сказал, что завтрак подан.

Он, улыбаясь во весь рот, смотрел на меня и подал мне записку, таинственно шепнув, что это из лазаретной каюты №1 А, что дала записку красивая дама и очень просила зайти к ней.

Я очень смутился. Это была первая записка от женщины, которую мне таинственно передавали. Я прекрасно знал, что в записке этой не может быть ничего такого, чего бы я не мог прочесть первому встречному, не только И. И я злился на свою неопытность, на своё неумение владеть собой и вести себя так, как должен вести себя воспитанный человек, а не краснеть как мальчишка.

Снова маленькое словечко «такт», которое буря выбила было из моей головы, мелькнуло в моём сознании. Я вздохнул и приветствовал его, как далёкую и недостижимую мечту.

Глупая рожа матроса, почёсывавшего свой подбородок и лукаво поглядывавшего на меня, была довольно комична. Казалось, он одно только и думал: «Ишь отхватил лакомый кусочек, и когда успел?»

Всегда чувствительный к юмору, я залился смехом, услышал, как прыснул и матрос, а сзади смеялся И., наблюдая на моём лице все промелькнувшие на нём мысли, которые он умел так великолепно читать. Сочетание моей физиономии с комической фигурой матроса — это, вероятно, рассмешило бы и самого сурового человека. Когда я поуспокоился и смог разглядеть И., он имел вид лукавого заговорщика и поблёскивал глазами не хуже желтоглазого капитана.

Я положил записку в карман и заявил, что умру с голоду, если меня не накормят сейчас же. Я был крайне поражён, когда узнал, что уже два часа дня.

Мы вышли из каюты и сели за стол. Я ел всё, что мне подставлял И., а он, смеясь, утверждал, что первый раз в жизни кормит тигра.

Какой чудесный цветник был разбит здесь! Так красиво сочетались в гамме красок незнакомые мне цветочки! Щебетали птицы, деревья бросали фантастические тени на дорожки. Такой мир и спокойствие царили в этом уголке, что не верилось в близость моря, шум которого здесь не был слышен, в его бури и ужас, через которые мы только что прошли, чтобы попасть сюда, в это поэтическое царство безмятежного мира.

Я слышал как сквозь сон, что девушка предлагает осмотреть сад, где есть растения всего мира, и полюбоваться рощей запоздало цветущего миндаля. Но я не хотел двигаться, не хотел не только говорить, но даже слушать человеческую речь. Я остался у цветника, сел на скамейку под цветущим гранатовым деревом и стал думать о Флорентийце и о том, каков этот его друг, у которого и дом, и сад — всё полно таким миром и красотой.

Обо всём я забыл. Я унёсся в мечты о счастье всех людей, о возможности каждому жить так, как ему надо по его духовным и физическим потребностям. «Не для себя одного, — думал я, — создал этот уголок хозяин. Сколько бурь сердечных, сколько разлада должно утихнуть в душах людей, попадающих в эту тишину и гармонию! Здесь точно каждая доска, каждый цветок напитаны любовью». Казалось мне, я понял, чем должно быть земное жилище тех, кто любит человека, не выбирая его для удовольствия, а встречая в каждом подобие себя самого, стараясь принести каждому помощь и утешение.

Я представил себе внешний облик хозяина, внутреннее существо которого казалось мне понятным. Я связывал его образ с цветущей красотой Флорентийца и почувствовал новый прилив сил, представив себе своего друга в белой одежде и чалме, как я увидел его в первый раз на пиру у Али. «Увижу ли я вас, дорогой Флорентиец? О, как я люблю вас!» — говорил я мысленно всей глубиной сердца и ясно — как будто прямо в ухо — услыхал его голос: «Я с тобой, мой друг. Храни мир, неси его всюду, и ты встретишь меня скоро».

Слуховая иллюзия была так ярка, что я встал, чтобы броситься на зовущий меня голос. Но каково же было моё разочарование и удивление, когда я увидел на веранде И., зовущего меня, жалкого «Лёвушку — лови ворон».

И. стоял на веранде рядом с человеком в обычном европейском лёгком костюме. Контраст между голосом моей мечты и голосом И., между обожаемой фигурой красавца Флорентийца и стоявшим рядом с И. человеком был таким разительным, что я не мог удержаться от смеха над самим собой. И все неожиданности — и чёрная змеевидная женщина вместо ангелов, и простой человек вместо Флорентийца, — всё вместе вызвало во мне смех над собственной детскостью.

Совершенно не сознавая неприличия своего поведения, я встал и пошёл, смеясь, на зов И.

— Что тебя веселит, Лёвушка? — спросил И. нахмурясь.

— Только собственная глупость, Лоллион, — ответил я. — Я, должно быть, никогда не выйду из поры детства и не сумею впитать в себя тех достоинств, живой пример которых вижу перед собой. Мне смешно, что я всё попадаюсь в иллюзиях, которые мне подстраивают мои глаза и уши. Это всё противная, тяжёлая и жаркая дервишская шапка наделала мне бед, испортила мой слух.

— Нет, друг, — сказал хозяин дома. — Если твои иллюзии ведут тебя к доброте и весёлому смеху, ты можешь быть спокоен, что достигнешь многого в жизни. Только

— О, это дело самое простое, — сказала младшая. — Обе мы умеем хорошо шить; тряпок у нас много, мы оденем их всех отлично. Вы только познакомьте нас, а остальное предоставьте нам. Мы постараемся отблагодарить вас в лице вашей приятельницы.

И. предостерёг их, что бедняжка запугана. Вкратце он рассказал им о возмутительной выходке старой княгини. До слёз негодовали женщины, отвечая И., что не все же дамы думают и чувствуют по образу мегер.

Мы условились, что, обойдя пароход, зайдём за ними и проводим их к Жанне.

На прощанье И. велел мне достать чёрную коробочку Али, разделил одну пилюлю на восемь частей, развёл в воде одну из частиц и дал девушке выпить, посоветовав ей полежать до нашего возвращения.

Мы спустились в третий класс. Здесь было уже всё прибрано; нигде не было видно следов бури; но люди почти все ещё лежали, не имея сил двигаться. Только несколько турок были уже бодры; а цыгане представляли самую плачевную картину. Море внушало им теперь такой ужас, что они забились в каюты кучами, боясь смотреть на воду.

Нас они сначала боялись; но когда те, кто решился первыми выпить капель, стали вставать, потягиваться и выходить на палубу, все уже требовали себе нашей волшебной гомеопатии.

Вскоре все каюты опустели. И когда явился офицер с требованием, чтобы пассажиры четвёртого класса перешли на свои места, что четвёртый класс уже убран и приготовлен для них, они с шутками — часто малоцензурными — бросились занимать свои места.

Женщины решили устроиться в той средней закрытой части палубы, где их поместили перед бурей, и теперь уже сами выпроводили оттуда всех мужчин, что тоже сопровождалось не менее нецензурным и тяжеловесным остроумием цыган.

Я невольно подумал о бедной, тихой и нежной Жанне; от скольких неожиданных бед спас её капитан!

Оставив четвёртый класс в относительном благополучии, мы прошли в третий класс, но встретились там с двумя турками, которые уже его обошли. Тогда мы вместе с ними обошли второй класс, где все были здоровы, но было очень много слабых. Здесь почти все лежали, не могли есть, и наши лекарства очень пригодились.

Когда мы вошли в первый класс, то нашли здесь картину общего негодования. Оказывается, разбушевавшаяся ещё в лазарете княгиня срывала так грубо своё бессильное бешенство на своём муже и горничной, что соседи по каютам выразили ей своё возмущение. Слово за слово, разгорелся скандал, в самый разгар которого мы вошли. Увидя нас, старуха подумала, что мы снова идём с капитаном, испугалась и спаслась бегством в свою каюту, захлопнув за собой дверь.

Общий смех сопутствовал ей. Публика здесь чувствовала себя лучше, но в некоторых каютах лежали тяжело больные. К нам подошёл какой-то пожилой человек. Очевидно, очень тяжело он перенёс бурю; весь жёлтый, с мешками под глазами, он попросил нас навестить его дочь и внука, за состояние которых он очень боялся.

Мы вошли в его каюту и увидели лежавших в постели бледную женщину с длинными русыми косами и мальчика лет восьми, худого, бледного и по виду очень больного.

Пожилой человек обратился к дочери по-гречески; она открыла глаза, поглядела на И., склонившегося к ней, и сказала ему тоже по-гречески:

— Мне не пережить этого ужасного путешествия. Не обращайте на меня внимания. Спасите, если можете, моих сына и отца. Если я умру, у сына не останется никого, кроме моего отца. Я не могу думать без ужаса, что будет с ним? — И слёзы полились из её глаз.

И. велел мне капнуть в рюмку капель из тёмного пузырька и ответил ей на её языке:

— Вы будете завтра совершенно здоровы. У вас был сердечный припадок, но буря утихла, припадок ваш прошёл, и больше он не повторится. Выпейте эти капли, повернитесь на правый бок и засните. Завтра вы встанете раньше всех, будете полны сил и начнёте ухаживать за вашими отцом и сыном. А сегодня мы сделаем это за вас.

Он приподнял её бледную, точно с античной статуи, голову и влил ей в рот капель. Затем он помог ей повернуться, закрыл одеялом и подошёл к мальчику.

Мальчик был так слаб, что с трудом открыл глаза; он, казалось, ничего не понимал. И. долго держал его тоненькую ручку в своей, прислушиваясь к дыханию и наконец спросил старика:

— Он давно в таком состоянии?

— Да, — ответил тот. — Судовой врач уже несколько раз давал ему всякое лекарство, но ему всё хуже. С самого начала бури он впал в состояние полуобморока, и ничего нельзя сделать. Неужели он должен умереть?

И у старика наполнились слезами глаза, задрожал голос, и он отвернулся от нас, закрыв лицо руками.

— Нет, до смерти ещё далеко. Но почему вы не закалили его физкультурой, воспитанием и гимнастикой? Он хил и слаб не потому, что болен, а потому, что вы изнежили его плохим режимом. Если вы хотите, чтобы ваш внук жил, держите его на свежем воздухе, научите его верховой езде, гребному спорту, гимнастике, плаванию. Ведь вы губите ребёнка, — сказал И.

— Да, да, вы правы, доктор. Но мы так несчастливы в жизни, мы потеряли всех своих близких внезапно и теперь трясёмся друг над другом, — всё с той же горечью ответил старик.

— Если вы будете таким способом и дальше оберегать друг друга, вы все умрёте очень скоро. Вам, мужчине, надо найти в себе те силы и энергию, которых не хватает вашей дочери, и начать по-новому воспитание внука. И вообще, вам всем надо начать новую жизнь. Если вы согласны следовать моему методу лечения, я отвечаю вам за жизнь мальчика и начну его лечить. Если же вы выполнять моих предписаний не будете, я не стану и начинать, — продолжал И.

— Я отвечаю вам головой, что всё будет выполнено в точности, — прервал его старик.

— Ну, тогда начнём.

И., сбросив с мальчика одеяло, снял с его худеньких ног тёплые чулки, тёплую фуфайку и потребовал другую сорочку. Пока сам он переодевал мальчика, он велел мне растворить в полустакане воды кусочек пилюли из зелёной коробочки Флорентийца и ещё маленькую часть пилюли из чёрной коробочки Али. Когда я к рас-

Я всё пятился назад, пропустив вперёд обоих турков, которые, очевидно, её знали раньше. Я дрожал от ужаса, как бы мне не пришлось коснуться этой агатовой руки.

О чём-то договорившись с И., чёрная женщина быстро прошла своей лёгкой и эластичной походкой в комнату направо. И. обернулся ко мне, а я вытирал пот со лба и не мог успокоить своего колотившегося сердца. И., смеясь, подошёл ко мне, но, посмотрев внимательно на меня, перестал смеяться и очень ласково сказал:

— Я должен был предупредить тебя, что у друга Флорентийца ты встретишь семью негров, спасённую им во время путешествия по Африке. Эта женщина была младенцем привезена в Россию вместе с двумя маленькими братьями и матерью. Она хорошо образованна, очень преданна Флорентийцу и Ананде. Я не сообразил, как неожиданно потрясены твои нервы за эти дни испытаний, и слишком понадеялся на твои силы. Прости мою несообразительность, возьми эту конфету, сердцебиение сейчас пройдёт.

Я долго ещё не мог успокоиться, сел на стул, и И. подал мне ещё какой-то воды. Я всеми силами стал думать о Флорентийце, только бы не упасть в обморок, как у Ананды.

Но мне вскоре стало лучше. Глаза И. смотрели на меня так ласково, турки — оба — старались мне помочь, я снова сделал над собой огромное усилие, улыбнулся и сказал, что женщина своими движениями на лестнице напомнила мне змею, а я змей боюсь до ужаса.

Молодой турок весело рассмеялся и согласился со мной, что змеи очень противны; но что в этой тонкой и высокой женщине он не видит ничего змеиного.

В эту минуту снова показалась вдали чёрная женщина. Я вооружился как барьером мысленным обликом Флорентийца и смотрел теперь совершенно спокойно на женщину.

И вправду, только от неожиданности можно было перепугаться. Ничего противного в ней не было. Это была чёрная статуя по стройности и совершенству форм. Лицо было тоже интересное, только глаза, огромные, выпуклые, блистающие белками, действовали неприятно на нервы.

Я никак не мог освоиться с её чернотой, укутанной в белый батист. Контраст чёрной кожи и безукоризненной белизны одежды в этой дивной светлой комнате, где моё воображение уже поселило золотоволосых ангелов, действовал на меня удручающе.

Я всеми силами мысленно вцепился в руку Флорентийца; и ещё раз осознал своё незнание жизни, неопытность и невыдержанность.

«Враг не дремлет и всегда будет стараться воспользоваться каждой минутой твоей растерянности», — вспомнил я из письма Али.

Не успели все эти мысли мелькнуть в моей голове, как чёрная девушка уже подошла к И. и сказала, что хозяин просит его одного пройти к нему в кабинет, а остальных выйти в сад, куда он вместе с И. сойдёт через четверть часа.

И. прошёл в комнату хозяина, очевидно зная дорогу, а нас девушка провела в сад, открыв зеркальную, вращающуюся дверь, которую я принял за обыкновенное трюмо.

Через эту дверь мы попали в библиотеку, с несколькими столами и глубокими креслами, а оттуда вышли на веранду и спустились в сад.

Поднявшись в первый класс, мы встретились с турками и вместе с ними вернулись снова в город.

На этот раз мы пошли в противоположную сторону, не в центр, а к окраине города. По прекрасному приморскому бульвару из цветущих мимоз, розовых и жёлтых акаций и пальм мы вышли в тихую улицу и позвонили у красивого белого дома, окружённого садом.

Путь был недлинен; я шёл рядом с молодым турком и успел только спросить его, как себя ведёт рана на его голове.

— Рана на голове почти зажила, а вот нога всё ещё очень болит, — ответил он мне.

— Почему же вы не покажете её И.? — спросил я.

Он ответил, что не имел возможности перекинуться словом с И. без отца. А отца он волновать не хочет и скрывает от него боль в ноге. Я пригляделся к его лицу и сразу понял, что турок очень болен. Ни слова не ответив ему, я шепнул И., что у его молодого приятеля рана на ноге, которую он скрывает от отца.

И. кивнул мне головой, тут открылась дверь, и мы вошли в дом.

Скромный снаружи белый домик с мезонином был чудом уюта внутри. Большая передняя — нечто вроде английского холла — разделяла дом на две части. Стены были обшиты невысокой деревянной панелью из карельской берёзы. Такого же дерева вешалка, стулья, кресла, столы. Стены выше панели были обиты сафьяном бирюзового цвета, откуда спускались большие ветки мимозы. Пол был застлан голубым ковром с жёлтыми и белыми цветами. Я остановился зачарованный. Точно в замке доброй феи, так легко дышалось в этой комнате. Я стоял по обыкновению «Лёвушкой — лови ворон» и не знал, в каком месте земного шара я нахожусь.

Я ничего не слышал, я только смотрел и радовался гармонии этой комнаты, даже жалкого подобия которой я никогда не видал.

На верхней площадке лестницы открылась такая же, карельской берёзы, дверь с бирюзовой ручкой, и женская фигура в белом стала спускаться вниз.

Каково же было моё изумление, когда я увидел, что лицо женщины, её руки, шея совершенно чёрные. Она подошла прямо к И., протянула ему обе чёрные руки и заговорила по-английски.

Неожиданно увидев в первый раз в жизни чёрную женщину не в балагане, разговаривающей по-английски, с прекрасными манерами, с фигурой вроде статуи, с лицом красивым, без ужасных толстых губ, и с косами, а не с чёрным войлоком на голове, — я просто испугался. Испуг мой не прошёл даже тогда, когда меня слегка толкнул И. Должно быть, моё лицо выражало моё смятение достаточно ярко, так как даже неизменно выдержанный И. засмеялся, а я поспешил спрятаться за его широкую спину.

Сердце у меня заколотилось так сильно, точно я перенёс две морские бури. Я готов был перенести ещё две, только бы не прикасаться к этой арапке.

Я сейчас даже не знаю, почему я так перепугался тогда. Правда, белками глаз она вращала здорово, говорила горловым голосом очень быстро, но ничего отвратительного в ней не было. Она даже была по-своему нежна и женственна, быть может, даже прекрасна.

Но мне она внушала ужас.

творённой из зелёной коробочки пилюле прибавил кусочек пилюли из чёрной, то вода в стакане точно закипела и стала совершенно красной.

И. взял у меня стакан, капнул туда ещё капель из каких-то особых трёх пузырьков и стал вливать лекарство крошечной ложечкой в рот мальчику. Я поддерживал голову и думал, что мальчик ни за что не сможет проглотить ни капли. Но он не только проглотил, а даже последний глоток выпил из стакана.

Я осторожно положил голову ребёнка на подушку. И. велел мне достать самый большой флакон из моей аптечки. Он вымыл руки, я последовал его примеру. Затем он велел мне вытянуть руку мальчика и держать её ладонью вверх, а сам стал массировать жидкостью из флакона его руку от ладони до плеча, каждый раз крепко растирая ладонь. Рука из совершенно белой стала розовой, потом красной. То же самое он проделал с другой рукой, потом с ногами, наконец растёр всё его тело. Потом жидкостью из другого флакона он смазал мальчику виски, за ушами и темя.

Мальчик теперь стал розовым, внезапно открыл глаза и сказал, что очень хочет есть. Немедленно дедушка по совету И. позвонил и приказал принести горячего шоколада и белого хлеба.

Пока лакей ходил за шоколадом, И. дал капель старику и посоветовал ему тоже поесть. Сначала старик отказывался, говоря, что от качки есть не может, но когда мальчику принесли еду, сказал, что шоколад он, пожалуй, выпил бы.

И. посоветовал ему поесть манной каши и выпить кофе, говоря, что ему сейчас шоколад не полезен.

Пока принесли еду старику, пока он её ел, И. не сводил глаз с мальчика, наблюдая, как он ел. Он спрашивал мальчика, не холодно ли ему, но мальчик отвечал, что у него всё тело горит, что ему ещё никогда не было так тепло. На вопрос, не болит ли у него что-нибудь, мальчик сказал, что у него сидел в голове винт и очень больно резал во лбу и глазах, но что сейчас доктор верно вынул винт, что он больше не вертится в голове и не режет глаз.

И. дал ему ещё капель каких-то и посоветовал заснуть, на что мальчик охотно согласился и действительно через десять минут уже спал, ровно и спокойно дыша.

— Ну, теперь ваша очередь, — сказал И., подавая лекарство старику.

Тот его беспрекословно выпил, И. попросил его лечь и сказал, что через три часа мы ещё раз к ним зайдём, а пока пусть они все мирно спят.

Мы вышли из каюты, где так долго провозились, и прошли мимо толпы нарядных дам и кавалеров, которые уже начинали принимать свой высокомерно-элегантный вид и уже пытались острить и флиртовать.

В каюте наших новых знакомых итальянок нас ждали уже с нетерпением и с целыми пакетами белья и платьев, приготовленных для Жанны. И. очень благодарил обеих дам, но просил отложить знакомство и помощь до завтра, так как сегодня и мать и дети очень измучены бурей, слабы почти до болезни. Итальянки очень разочаровались, жалели бедняжек и сердечно простились с нами до завтра.

Не задерживаясь больше нигде, мы прошли прямо к Жанне.

Если бы я не спал целые сутки, наверное, теперь уже свалился бы с ног, до того утомительно было непрерывное путешествие вверх и вниз по пароходу и непрестанное соприкосновение с людьми и их болезненно страстными порывами злобы, страха и отчаяния.

В каюте Жанны мы застали детей ещё спящими, а сама она сидела в углу дивана, одетая в своё вычищенное платье, тщательно причёсанная, но с лицом таким скорбным и бледным, что у меня защекотало в горле.

— А я уже и ждать вас перестала, — сказала она нам, и губы её чуть улыбнулись, глаза же были полны слёз.

— Нам пришлось задержаться, чтобы помочь одному мальчику, — ответил ей И. с такой лаской в голосе, какой я ещё не слыхал от него. — Но почему вы думали, что мы можем нарушить данное вам слово и не прийти? Можно ли быть такой подозрительной и так мало верить слову людей?

— Если бы вы только знали, как я верила людям до самого последнего времени и как жестоко пришлось мне разочароваться в чести и доброжелательстве людей, вы не осудили бы меня за мой страх ошибиться сейчас. Я боюсь даже думать о чуде той помощи, что вы оказали мне. Я всё жду, что это дивный сон — путешествие в этой каюте, что он растает как туман и мне останется только одно последствие тумана — роса моих слёз, — сказала Жанна.

— Я вам сострадаю всем сердцем, — ответил И. — Но каждый человек, когда на него обрушивается буря жизни, даже такая ужасная и неожиданная, как та буря на море, которую вы пережили на этом пароходе, должен быть энергичен и бороться, а не падать духом и тонуть в слезах. Подумайте, что было бы с людьми на этом судне, если бы капитан и его команда растерялись и вместо борьбы с ураганом пали бы духом и отдались во власть стихии? Ваше положение небезнадёжно. Правда, вы потеряли сразу и мужа, и любовь, и благосостояние. Но вы не потеряли детей, не потеряли ближайшей цели вашей жизни. Зачем возвращаться мыслями к прошлому, которого уже нет? Второй раз потерять прошлого нельзя. Зачем думать с ужасом о будущем, которого вы не знаете и которого потерять невозможно, потому что его тоже нет. Потерять можно только одно настоящее, вот это летящее «сейчас». А это зависит только от энергии и жизнерадостности человека. Вдумайтесь, оглянувшись назад на ваше поведение, сколько лишней муки вы создали себе сами своим страхом перед жизнью? Чему помог ваш страх? И разве что-нибудь из тех картин ужаса, которые вы себе рисовали, сбылось сейчас? Приведите в такой же порядок свой внутренний мир, в какой вы привели
свою внешность. Выбросьте из головы мысли о нищете и беспомощности и в верности вашей любви к умершему мужу найдите силу для новой жизни труда и борьбы за жизнь и счастье ваших и его детей. Не плачьте так ужасно. Помните, что вы оплакиваете себя, только себя, свою потерю, своё нарушенное эгоистическое счастье. Вы думаете, что оплакиваете гибель мужа и его кончившуюся жизнь. Но что мы можем знать и понимать в совершающихся перед нами судьбах людей? Думайте — по горькому опыту, — что и ваша жизнь, как жизнь вашего мужа, может окончиться внезапно. Живите так, как будто в каждую минуту вы отдаёте свой последний долг забот и любви вашим детям и всем тем людям, с которыми вас сталкивает жизнь. Не поддавайтесь унынию, держите себя в руках, забудьте
лично о себе и думайте о детях. Но не унылыми мыслями о их нищете и своей беспомощности насыщайте ваш день, а истинной верностью и героизмом материнской любви. Старайтесь, как бы это ни было вам трудно, не плакать. Скрывайте ваши слёзы и страх от детей, учите их — своим собственным примером — быть добрыми

Девушка ответила мне, что фамилию мою узнала сама по записи в пароходной книге, что не составило труда, так как каюта-люкс, где мы едем, на пароходе только одна.

Она рассказала, что они родом из Флоренции, но живут уже два года в Петербурге у брата её матери, что у неё было очень большое горе на родине, и мать увезла её путешествовать, чтобы забыть Италию и всё тяжёлое, связанное с ней.

Она сказала, что её зовут Мария Гальдони, а мать её Джиованна Гальдони, что они едут в Константинополь навестить сестру матери, синьору Терезу, которая вышла замуж за дипломата, и теперь судьба закинула её в Турцию. Она спрашивала, куда едем мы с братом. Я ответил, что пока едем в Константинополь, а дальше я ещё маршрута не знаю.

Мы дошли до главной улицы и вошли в магазин готового белья. Здесь мы с И. уступили поле сражения синьорам Гальдони, но в магазине дамского платья и верхних вещей я решил вмешаться в выбор итальянок. Обе они выбирали вещи светлые и яркие. Я же выбрал для Жанны синий костюм из китайского шёлка, белую батистовую блузку и небольшую английскую шляпу из рисовой соломки с синей лентой. И. Выбрал девочке серенькое пальто, фланелевое платье и мальчику пальто и фланелевый костюм. Итальянки поражались нашему вкусу и выбору, но мы стояли на своём, утверждая, что будут не одни солнечные дни.

Оставалось купить ещё обувь, и я твёрдо выдержал характер, купив Жанне жёлтые туфли на толстой подошве. И., смеясь, уступил дамам выбрать обувь детям и матери по их вкусам, утверждая, что иначе мы закупим весь город. Мы послали купить два чемодана, уложили в них всё, кроме шляп, сели на извозчиков и покатили на пароход.

Мне снова пришлось ехать с синьорой Марией. Разговор вертелся вокруг бури и связанных с ней происшествий, а также моей неустрашимой храбрости, из которой капитан успел сложить легенду.

Подъезжая к пароходу, мы столкнулись с целой толпой народа, повеселевших, отдохнувших обитателей кают всех классов, спешивших в город.

Группа разряженных путешественников первого класса, дам, показывавших свои туалеты и делавших глазки мужчинам, и мужчин, старавшихся блеснуть своим остроумием, ловкостью, аристократичностью манер и выказать все свои мужские достоинства, после того как я видел их изнанку во время бури, вызвала у меня чувство, предшествующее тошноте.

Со многими из них мы были знакомы, многим помогали во время бури. Я знал их нетерпение, помнил грубость их обращения с судовой прислугой, отсутствие всякой выдержки этих лощёных людей в часы опасности. И теперь не мог выбросить из головы представления о стаде двуногих животных, которым подвернулась новая возможность выставить напоказ свои физические достоинства, чтобы разжечь страсти и провести день на суше в завлекательной игре.

Мы проводили наших дам до каюты Жанны, распростились с ними и на вопрос: «Когда же снова увидимся?» — И. ответил, что увидимся, вероятно, только после обеда, когда тронемся в путь, чем очень их огорчил, так как они рассчитывали на нас как компаньонов всего дня.

Пароход должен был стоять в порту весь день и двинуться в дальнейший путь лишь в девять часов вечера. Нам спешить было некуда, но И. хотел скорее купить игрушки детям, чтобы они, проснувшись, легче выдержали постельный режим, к которому он их приговорил на весь день.

Городок, куда мы сошли, был очень живописен. С массой зелени, с большими садами, с редкостной растительностью и со многими красивыми, но почти сплошь одноэтажными домами, большей частью белыми, он был очень уютен.

Мы скоро отыскали игрушечный магазин, выбрали целую кучу самых разнообразных игрушек и отправили их Жанне, скорбные глаза которой всё стояли передо мной.

Мне хотелось самому отнести ей игрушки, но И. шепнул мне, что мы купим ещё вместе с дамами одежду детям и Жанне, проводим их обратно на пароход и должны будем спешно навестить одного из друзей Али и Флорентийца, где могут быть для нас известия. И в зависимости от них мы или будем продолжать наш путь на пароходе до Константинополя, или свернём на лошадях к турецкой границе и доберёмся туда сушей, что будет и много дольше и труднее.

Я пришёл в ужас. «А Жанна?» — хотел я крикнуть. Но И. приложил палец к губам, взял меня под руку и ответил на какой-то вопрос старшей итальянки.

Я так был потрясён возможной разлукой с Жанной, её судьбой без нас, как будто бы в кусочек моего сердца вонзилась заноза. Я мгновенно превратился в «Лёвушку — лови ворон», забыв обо всём, и, если бы не твёрдая рука И., управлявшая моими автоматическими шагами, я бы, наверное, стоял на месте.

— Подумай о Флорентийце, мог ли бы он быть таким рассеянным, невоспитанным и нелюбезным. Иди, предложи руку молодой даме и будь таким кавалером, каким ты желал бы быть для Жанны, если бы тебе пришлось провожать её. Вежливость обязательна для друга Флорентийца, — услышал я шёпот И.

Ещё и ещё раз за эти короткие дни мне приходилось постигать, как трудно даётся мне искусство самовоспитания, как я неопытен, как трудно для меня самообладание. В моей голове мелькнул образ брата; его железная воля и рыцарская вежливость во время разговора с Наль в саду Али Махоммета. Я сделал невероятное усилие, даже физически ощутил напряжение от головы до ног, оставив руку И., подошёл к молодой девушке, снял шляпу и, поклонившись, предложил ей руку.

Тоненькое личико девушки с огромными глазами всё вспыхнуло, она улыбнулась и как-то вся вдруг изменилась. Она стала так миловидна, что я сразу понял, чего этому лицу недоставало, чтобы быть очень привлекательным. На нём лежало уныние, разочарование, точно маска, делавшая лицо мёртвым.

«Должно быть, и здесь Матерь Жизнь спросила себе чёрную жемчужину в ожерелье», — мысленно вспомнил я слова Али.

Жалость к моей спутнице помогла мне забыть о своём настроении, и я стал искать возможностей рассеять печаль девушки.

Я начал с того, что назвал ей свою фамилию, сказал, что я русский, и извинился, что в суете опасностей и угроз бури мы с братом позабыли соблюсти внешний декорум вежливости и представиться им.

и весело принимать каждый наступающий день. Не бойтесь сейчас ничего. Даже если ваше предчувствие и верно и ваш дядя не живёт больше в Константинополе, не теряйте мужества, надейтесь не на людей, а на себя самое. Мы познакомим вас завтра с двумя очень добрыми и культурными дамами. Они придут к вам и вашим детям с большой радостью на помощь по туалетной части. Что же касается работы и возможности прокормить себя и детей в Константинополе, то здесь же, на этом пароходе, едут два наших друга, имеющих большое предприятие в Константинополе. Если им не нужна особа, знающая в совершенстве французский язык, как его знаете вы, они помогут вам найти труд. Быть может, вам можно будет открыть мастерскую дамских шляп или ещё что-либо, что обеспечит и вам и детям жизнь. Но каким бы способом вы ни решили трудности, — для всего нужно быть в полном спокойствии, сосредоточенности и бодрости, главное, в спокойствии и самоотвержении. Я ещё раз очень вас прошу, перестаньте плакать. Не оглядывайтесь назад и старайтесь думать только об летящей сейчас минуте и о том деле, которое делаете сейчас. Самое же важное для вас дело сейчас — это здоровье ваших детей. Я думаю, что дочь ваша подхватила скверную форму лихорадки, и вам придётся немало повозиться и поухаживать за ней.

Я не сводил глаз с Жанны совершенно так же, как она не сводила их с И. Мне не приходилось ещё никогда смотреть так долго на женское лицо. По лицу Жанны пробегала такая масса всевозможных выражений, что описать их все нет никакой возможности.

Сначала на этом лице отразилось беспредельное удивление. Потом мелькнуло негодование, протест. Их сменили такая скорбь и отчаяние, что мне хотелось вмешаться и объяснить ей слова И., которые она, очевидно, не так понимала. Но постепенно лицо её светлело, рыдания утихали, и в глазах мелькнуло уже знакомое мне то выражение благоговения, с которым она смотрела на И. — икону, когда мы пришли к ней в первый раз.

И. говорил с ней по-французски, говорил правильно, но с каким-то акцентом, чего я не замечал ещё ни разу в его речи на других языках. Я подумал, что он выучил этот язык уже взрослым.

— Я не умею выразить вам своей благодарности и даже не всё, вероятно, понимаю из того, что вы мне говорили, — сказала Жанна своим тихим и музыкальным голосом. — Но я чувствую в своём сердце чудесную перемену. То, что вы сказали, что верность любви к моему мужу — это должны быть не слёзы о нём, а труд для его детей, — это подняло какой-то свет во мне, дало какую-то необъяснимую уверенность. Я не белоручка. Я вышла замуж за простого рабочего против воли моих родителей — зажиточных фермеров. Я была у них одна дочь; они меня по-своему любили и баловали, но требовали, чтобы я вышла замуж за соседнего помещика, человека богатого, пожилого, очень скупого и мне очень противного. Долго родители уговаривали меня; мне было шестнадцать лет, и я уже готова была согласиться на этот ужасный брак. Но увидела случайно на вечеринке у одной подруги моего будущего мужа, Мишеля Моранье. И сразу поняла, что даже смерть не устрашит меня и за богатого старика я не выйду. Я танцевала целый вечер с Моранье, и он умолил меня выйти на следующий день к нему на свидание. Ничто не могло оторвать моих мыслей от Мишеля. Шесть недель я жила дома как в аду. И мать, и отец грызли меня так, что до

сих пор я без ужаса не могу вспоминать этого времени, хотя уже прошло восемь лет с тех пор. Нам с Мишелем пришлось бежать из родных мест. Тут как раз подвернулся случай уехать в Россию, и мы попали на фабрику резиновых изделий французской компании в Петербурге. Мы жили очень хорошо. Я работала во французском шляпном магазине, где дамы нарасхват покупали мои шляпы, мы были так счастливы, и вот... — и бедняжка снова зарыдала.

Собравшись с силами, она еле слышно закончила свой рассказ:

— Катастрофа произошла потому, что машина, где работал муж, была в неисправности. Но управляющий всё оттягивал ремонт, пока не случилось непоправимое несчастье.

— Не бередите своих ран. Отрите слёзы. Дети просыпаются, надо беречь их нервы; и ваши силы тоже подорваны, — всё так же ласково сказал ей И. — Поставьте себе ближайшую задачу: восстановить силы детей. Надо дать девочке капли, чтобы ослабить приступ нового припадка. А завтра, несмотря на слабость детей, надо их обоих уложить на палубе. Но это мы поможем вам сделать утром, как только кончится завтрак.

Жанна слушала И., как слушают пророка. Её щёки пылали, глаза горели, и во всей её слабой фигурке появилось столько силы и решимости, что я поразился контрасту между её видом, когда мы вошли и сейчас.

Мы простились с нею и вышли, провожаемые визгом проснувшихся детей, не желавших нас отпускать.

Как только закрылась за нами дверь каюты, я почувствовал полное изнеможение. Я так глубоко пережил трагедию простого рассказа Жанны, столько раз глотал клокотавшие в горле слёзы, что последние свои силы потерял за этот час.

И. взял меня под руку, ласково мне улыбнулся и сказал, что очень сочувствует мне в моём трудном опыте начала новой жизни.

Я с трудом дошёл до нашей каюты. Мы переоделись и сели за уже сервированный стол, где нас ждал мой нянька-верзила.

В первый раз мне не хотелось есть и не хотелось ни о чём говорить. Море по сравнению с утренними волнами значительно успокоилось, но пароход всё ещё сильно качало. И. подал мне какую-то конфету из своей оранжевой коробочки, которая вернула мне бодрость, но говорить мне всё по-прежнему не хотелось. На предложение И. сойти через час к туркам я решительно отказался, сказав, что я сыт людьми и нуждаюсь в некоторой доле уединения и молчания.

— Бедный мой Лёвушка, — ласково сказал И. — Очень трудно прямо из детской неопытности перейти в бурную жизнь мужчины, где нужно сразу развернуть всё напряжение сил и энергии. Но ты уже немало человеческих судеб лично наблюдал за эти дни и немало о них слышал. И ты видишь, как внезапны удары жизни, как должен человек быть свободен в своём сознании. Как гибко должен переключаться и включаться в новую жизнь; и как лучше всего не ждать чего-то в будущем, а действовать в каждое текущее мгновение. Действовать любя и побеждая, всегда думая об общем благе, а не об одних личных достижениях.

И. сел в кресло рядом со мною; мы немного помолчали, но внезапно послышались на лестнице шаги и голос капитана, который теперь окончательно сдружился

Шутя, мы вместе с ним спустились вниз и прошли прямо к Жанне. Капитан в виде дружеского назидания покачал головой и погрозил мне пальцем.

Жанну мы застали в беспокойстве. Оба её ребёнка метались в жару. Она сказала, что в семь часов дети разбудили её, были совершенно здоровы и весело выпили шоколад. Но внезапно, около получаса назад, малыш пожаловался на головную боль, за ним и девочка сказала, что у неё болит голова; не успела их Жанна уложить на диван, где они лежат, как они начали бредить.

И. внимательно осмотрел детей, вынул из кармана гранёный очень красивый флакон, которого я ещё не видал, и дал детям лекарство.

— Вы не волнуйтесь, — обратился он к Жанне. — Можно было ждать худшего. Через два часа жар упадёт, и дети будут чувствовать себя снова хорошо. Но это не значит, что они уже будут здоровы. Я вас предупреждал, что немало времени ещё вам придётся за ними ухаживать.

— Ухаживать я готова всю жизнь, но лишь бы они были здоровы и счастливы, — героически удерживаясь от слёз, ответила Жанна. Я заметил в ней какую-то перемену. Нельзя сказать о таком юном существе, что оно вдруг постарело. Но у меня сжалось сердце при мысли, что только сейчас она начинает по-настоящему осознавать своё положение и в её сердце ещё глубже пускает корни скорбь.

По распоряжению И. детей вынесли на палубу и, завернув в одеяла, оставили там вплоть до нашего нового визита. Жанне И. рекомендовал тоже лечь подле детей на плетёном диване, предупредив, что через два-три часа дети проснутся совсем здоровыми. Их с постелей не спускать, накормить и занять игрушками, которые мы пришлём из города к тому времени.

Устроив и её подле детей, мы сказали, что сейчас же вернёмся с нашими приятельницами, о которых говорили ей вчера. Но чтобы она лежала и не беспокоилась вставать.

Мы быстро зашли за итальянками, уже совершенно готовыми сойти с парохода, провели их к Жанне, предупредив, что и дети и мать всё ещё больны.

Войдя к Жанне, обе женщины сердечно обняли её, осторожно на цыпочках подошли к детям и чуть не расплакались, тронутые их красотой, беспомощностью и болезненно пылающими щёчками.

Обе итальянки выказали большой такт и внимание в обращении с Жанной; говорили мало, вопреки свойственным этому народу говорливости и темпераменту, но все их слова и действия были полны уважения и сострадания к горю бедной матери.

Очень нежно и осторожно, с моей помощью, молодая итальянка обмерила тельце и ножки детей, и по её лицу несколько раз пробежала судорога какой-то внутренней боли. Очевидно, и её сердце уже знало драму любви и скорби.

Старшая дама в это время успела снять мерку с Жанны, хотя та и уверяла, что лично ей ничего не надо, но что всё детское бельё и платье у неё стащили на пароходе моментально, как только она отвлеклась вниманием от чемодана.

Дамы простились с Жанной, прося её заботиться только о своём здоровье и думать о детях, а все хлопоты о туалетах просили предоставить им. Нежно улыбаясь Жанне, они вышли. Я последовал за ними, а И., задержавшись возле детей, догнал нас уже на нижней палубе, где сейчас кончалась установка мостков.

Глава 14

Стоянка в Б. и неожиданные впечатления в нём

Утром я проснулся совершенно свежим, отдохнувшим, видел во сне Флорентийца, и так реально было ощущение разговора и свиданья с ним, что я даже улыбнулся своей способности жить воображением.

Солнце сияло, качка почти совсем прекратилась, и первое, что меня поразило, это близость берега, покрытого субтропической растительностью. Возле меня вырос Верзила и сказал, что мы скоро войдём в бухту Б., указывая вдали на живописно раскинувшийся, довольно большой и красивый городок.

Снизу поднялся И., очень радостно поздоровался со мной и предложил скорее выпить кофе, чтобы пройти к Жанне и приготовить её к встрече с итальянками.

Мы принялись за завтрак; тут подошёл к нам капитан и, смеясь, подал мне душистую записочку.

— Рассказывай теперь другим, дружище, что ты скромный мальчик. Велела тебе передать дочка, да старалась, чтобы маменька не видала, — похлопывая меня по плечу, сказал капитан.

Я смеялся, как, вероятно, всему смеялся бы сегодня, потому что у меня смеялось всё внутри. Я передал записку И., сказав, что я так голоден, что даже не могу оторваться от бутерброда, а прошу его прочесть содержание.

Капитан негодовал на моё легкомыслие и уверял, что только теперь понимает мою молодость и мальчишескую неопытность в любовных делах, что надо всегда самому читать женские письма, так как женщины — существа загадочные и могут выкидывать самые неожиданные штучки.

Всё же я настоял, чтобы прочёл записку И., и потребовал, чтобы сам почтальон присутствовал при её чтении.

— Ну и занятный мальчишка, — сказал, расхохотавшись, капитан и присел у стола.

Записка, как я и был уверен, была деловая от молодой итальянки. Она писала, что просит скорее свести их к нашей приятельнице, так как в Б. много хороших магазинов и можно купить детям платье и пальто, а также всё необходимое из белья и обуви. Для этого им с матерью надо снять мерку с детей, да и посмотреть на фигуру матери. Кончалось письмо припиской, что мы, вероятно, не откажемся им сопутствовать, что город они хорошо знают, но были бы рады спутникам-мужчинам, знающим местный язык, так как их русская речь оставляет желать многого.

Капитана несколько разочаровало содержание записки; но он продолжал уверять, что это только благовидный предлог, а развитие любовной истории будет завтра-послезавтра, — потому что в глазах у девушки он увидел мой портрет.

Мы кончили наш завтрак, я подшутил над моим новым другом, сказав, что к его жёлтым глазам как раз подойдут чёрные глаза итальянки, а я уж подожду синих глаз, авось найдутся такие к моим тёмным.

с нами. Меня он просто обожал, по-прежнему считая меня весельчаком и чудо-храбрецом, как я ни старался разуверить его в этом.

Чтобы дать мне побыть одному, И. пошёл навстречу капитану, и они вместе прошли к нему в каюту.

Я действительно нуждался в уединении. Моя душа, мои мысли и чувства были похожи на волнующееся море, и волны моего духа так же набегали одна на другую, сталкивались, пенились и кипели, не принося успокоения, не приводя к какому-нибудь выводу.

Из тысячи неожиданно свалившихся на мою голову событий, я не мог выделить ни одного, где бы логический ход вещей был мне ясен до конца. Всюду, мне казалось, я видел какую-то чудесную таинственность, а я терпеть не мог ни тайн, ни чудес. Слова, которые говорил мне Флорентиец, «нет чудес, есть только та или иная степень знания», часто мелькали в сумбуре моих мыслей, но я их не понимал.

Из всех чувств, из всех впечатлений в моей душе господствовали два: любовь к брату и любовь к Флорентийцу.

Я не любил ещё ни одной женщины. Ничья женская рука не ласкала меня; я не знал ласки ни матери, ни сестры. Но что такое любовь, преданность полная, не критикующая, а обожающая, я знал, потому что любил брата-отца так, что все мои дела, все мои поступки, всё и всегда делал так, как будто бы брат был рядом со мной и я советовался с ним в каждом движении своего сердца. Единственное, что я скрыл от него, — это свой писательский талант. Но опять-таки, руководило мною желание оберечь брата-отца от плохого писаки брата-сына.

Эта любовь к брату составляла стержень, остов моей жизни. На ней я строил всё своё настоящее и будущее, причём на настоящее я смотрел свысока, как на преддверие той великолепной жизни, которой мы заживём вместе по окончании моего учения.

И теперь мне пришлось увидеть своё детское ослепление, я не задумывался раньше о том, кто такой мой брат, какой жизнью он живёт. Теперь я увидел кусочек его жизни, общественной и личной, где меня не было. Для меня это было катастрофой, почти такой же острой, как катастрофа Жанны. И рыдая о ней, я рыдал и о себе...

Я ничего не понимал. Какую роль играла и играет Наль в жизненном спектакле моего брата? Какое место занимает брат в революционном движении? Как связан он с Али и Флорентийцем? Поистине, здесь всё казалось мне чудом, я сознавал свою огромную невежественность и неподготовленность к той жизни, в которую мне пришлось войти сейчас.

Я думал, что любить так, как я любил брата, одному сердцу можно только одного человека, один раз в жизни. И совсем не заметил, как сердце моё расширилось и впустило туда ещё одного человека, который занял его полностью, как светлым кольцом опоясав моё сердце, оставив только в середине кольца образ брата Николая.

Я не раздвоился в своей любви к Флорентийцу и брату. Я слил их обе в себе, часто переливая оба образа в один мучительный стон тоски и жажду свидания...

Я ещё не испытывал такой силы обаяния, которой пленил меня Флорентиец. Странное, новое понимание слова «пленил» явилось в моём сознании. Поистине, плен моего сердца и мыслей сливался в какое-то очарование, в радость, которую разливал

вокруг себя этот человек. Вся атмосфера вокруг него дышала не только силой, уверенностью, но, попадая в неё, я радовался счастью жить ещё один день, ещё одну минуту подле него.

Рядом с ним я не испытывал ни страха, ни сомнений, ни мыслей о завтрашнем дне, — одно творческое движение всему окружающему нёс в себе этот человек.

Со свойственной мне рассеянностью я забыл обо всём и всех, забыл время, место, ушло ощущение пространства — я летел мыслью к моему дивному другу, я так был полон им, что снова — как ночью в бурю — мне показалось, что я вижу его.

Точно круглое окно открылось среди темнеющих облаков, и я увидел мираж моей мечты, моего Флорентийца в белой одежде, с золотистыми, вьющимися волосами.

Я встал с кресла, добежал до края палубы и точно услышал голос: «Я с тобой, мой мальчик, следуй за верностью моей и достигнешь цели, поможешь брату — и встретимся снова».

Бурная радость охватила меня. Какая-то сила влилась во все мои члены, и они стали точно железными. Я почувствовал себя счастливым и необычайно спокойным.

— Ну, как же чувствует себя мой юный друг, смельчак-весельчак? — услышал я за собой голос капитана. — Никак, чудесные облака сегодняшнего вечера увлекли вас в небо?

Я не сразу отдал себе отчёт в том, что происходит, не сразу повернулся; но когда повернулся, то своим, очевидно, преображённым лицом поразил не только капитана, но даже И., так изумлённо оба они поглядели на меня.

Точно желая защитить меня от капитана, И. обнял меня и крепко прижал к себе.

— Ну и сюрпризы же способны преподносить эти русские люди! Что с вами? Ведь вы просто красавец! Вы сверкаете как драгоценный камень, — говорил, улыбаясь, капитан. — Так вот вы каким бываете! Теперь я не удивляюсь, что не только красавица из лазарета, но и молодая итальянка и русская гречанка — все спрашивают о вас. Я теперь понимаю, какие силы, кроме храбрости, таятся в вас.

Я с сожалением поглядел на тёмные облака, где исчез мираж моей любви, и тихо сказал капитану:

— Вы очень ошибаетесь, я далеко не герой и не Дон Жуан, а самый обычный «Лёвушка — лови ворон». Я и сейчас ловил свою мечту, да не поймал.

— Ну, — развёл руками капитан, — если за три дня, учитывая ещё условия бури, смутить три женских сердца — это ещё мало, то остаётся только добавить на весы ваших побед моё, уже дырявое, сердце старого морского волка. Вы забрали меня в плен, юный друг; пойдёмте выпить брудершафт.

Не было никакой возможности отказаться от приглашения радушного человека. Но мне казалось, что никогда ещё обязательства вежливости не были мне так трудны.

— Думай о Флорентийце, — шепнул мне И. — Ему тоже не всегда легко, но он всегда обаятелен, старайся передать сейчас его обаяние всем окружающим.

Эти слова толкнули меня на новое применение бурлившей во мне радости. И через несколько времени и капитан, и поднявшиеся к нам турки покатывались со смеху от моих удачных каламбуров и острот.

Вечер быстро перешёл в ночь, а рано утром мы должны были войти в порт Б., пополнить запасы воды, угля и провианта, а также сгрузить скот и часть лошадей.

Отговорившись усталостью, мы с И. распростились со всем обществом и ушли в свою каюту.

Мы ещё долго не спали, я делился с И. своими мыслями, тоской о брате, своей преданностью Флорентийцу и миражом и слуховой иллюзией, которые создала мне в облаках моя тоска по Флорентийцу. И. говорил мне, чтобы я не думал о мираже, не думал об иллюзиях, а думал только о самом смысле долетевших до меня слов. Не всё ли равно, каким образом ты получил какую-либо весть. Важно, какая это была для тебя весть и какие силы она пробудила в тебе.

— Запомни чувства уверенности и радости, которые родились в тебе сегодня, то спокойствие, которое ты ощутил в глубине сердца, когда тебе показалось, что ты видишь и слышишь Флорентийца. И если будешь делать какое-то большое дело, имея в себе эти чувства, — не сомневайся никогда в успехе. Чистая верность человека идее, как и верность его любви, всегда приведут к победе.

Я крепко обнял и поцеловал И., от всего сердца поблагодарил его за все заботы обо мне и лёг спать, благословляя жизнь за её свет и красоту, в полном мире с самим собой и со всей вселенной.

Князь поднял своё залитое слезами лицо и сказал твёрдым голосом, какого я от него не ожидал:

— О, доктор, доктор! Сколько ужаса я вынес за эти три года! Сколько мук стыда и унижения я вытерпел за свою безумную ошибку. Эта бездельная жизнь измучила меня хуже всякой пытки. Только спасите ей жизнь. Я сдам её на руки её сыну и начну трудиться. В новой жизни я постараюсь вернуть себе уважение честных людей, которое потерял, хотя бы мне пришлось стать нищим.

И он снова опустил своё изуродованное лицо на руки.

— Мужайтесь, — ещё раз сказал И. — Начать жить по-новому, зарабатывать свой хлеб никогда не поздно. Не надо и нищенствовать, мы вам поможем найти труд, если вы этого хотите. Но я думаю, что вам надо пока остаться при вашей жене. Она ведь знает вашу честность и никому, кроме вас, не доверяет. Но даже и вам она не сказала правды, как она чудовищно богата. Теперь же, без ног и, может быть, без рук, она не согласится ни минуты быть без вас. Только вам одному она и верит. Исполните сначала ваш долг мужа и душеприказчика при ней, а тогда уж начинайте новую жизнь. И если захотите трудиться, я скажу вам, как и где меня найти.

И. вынул иглу для укола, долго и сложно набирал лекарств из нескольких пузырьков и сделал старухе четыре укола, в обе ноги и в обе руки. Кроме того, он велел мне приподнять её противную и страшную голову и влил в каждую ноздрю по несколько капель едко пахнувшей, бесцветной жидкости.

Сначала действия уколов и лекарств не было заметно. Но через десять минут из открытого рта вырвался глухой стон. Тогда И. и я стали делать ей искусственное дыхание.

Мы мучились долго. Пот лил с меня струями. Несчастный князь не был в силах наблюдать ужасную гимнастику омертвелого тела; он отвернулся, сел в кресло и горько, по-детски заплакал.

Внезапно старуха открыла глаза, вздохнула, закашлялась. И., продолжая движение её рук, быстро бросил мне:

— Положи голову высоко и дай часть пилюли Али.

Я выполнил его приказание. И. уложил руки княгини на тёплые грелки, закрыл её одеялом и велел принести тёплого красного вина. Через некоторое время в глазах старухи мелькнуло сознание:

— Слышите ли вы меня? — спросил её И.

Только мычание раздалось в ответ.

Влив в рот старухе немного тёплого вина, И. дал ей ещё частицу пилюли и сказал мужу:

— Перестаньте волноваться. Вы не только её довезёте до К., но и помучаетесь с ней ещё немало. Ноги её действовать не смогут. Но правая рука и речь, думаю, будут действовать. Вот вам лекарство. Она будет спать часа три. Затем очень точно, через каждые полчаса давайте эти три лекарства по очереди. Вечером, перед сном, я зайду ещё к вам.

Мы простились с князем и вернулись к пассажирам первого класса, ждавшим нас с нетерпением.

Времени прошло немало. Одним из первых, нетерпеливо постукивая пальцами о перила лестницы, ждал нас мальчик-грек. Ухватившись за руку И., мальчик сыпал

злые люди не знают смеха и стремятся победить упорством воли; и они не побеждают. Побеждают те, что идут любя.

Я остановился как вкопанный. Мысли вихрем завертелись в мозгу. Что было общего между этим человеком и Флорентийцем? Почему сердце моё точно наполнилось блаженством? Я видел человека среднего роста, с тёмно-каштановыми, довольно вьющимися волосами, на которых была надета небольшая шапочка вроде тюбетейки. Прекрасные синие глаза смотрели мягко, любяще, хотя и носили выражение огромной силы.

Вот это выражение силы, энергии, внутренней мощи так и поразило меня, вызвав в памяти образ Флорентийца и пылающую мощь глаз Али.

Я был глубоко тронут его ласковой речью, вниманием, которое он оказывал мне, которого я — для него первый встречный — ничем не заслужил. Я невольно подумал, что уже много дней я живу среди чужих людей, оказывающих мне ничем не заслуженное внимание, защиту — вплоть до спасения жизни, — дающих кров и пищу, а я... И я грустно опустил голову, подумал о своём бессилии помочь брату, и слёзы скатились с моих ресниц.

Хозяин сошёл с веранды, тихо и нежно обнял меня и повёл в дом. Я не мог унять слёз. Скорбь бессилия, сознание величайшей доброты людей, защищающих брата, преклонение перед ними и полная моя невежественность, незнание даже мотивов их поведения, ужас лишиться их покровительства и дружбы и остаться совсем одиноким без них, — всё разрывало мне сердце, и я приник, горько рыдая, к плечу моего спутника, когда он сел рядом со мной на диван.

— Вот видишь, друг, какие контрасты играют жизнью человека. В страшный момент бури, когда всему пароходу грозила смерть, — ты весело смеялся и тем поразил и ободрил храбрых людей. Сейчас тебя заставила смеяться великая любовь и преданность друга, — а в результате ты плачешь, думаешь об ужасе одиночества и впадаешь в уныние от несуществующего будущего. Как можно потерять то, чего нет? Разве ты знал минуту назад, что будешь сейчас плакать? Ты потерял свой смех, мир и радостность только потому, что перестал быть верен своему другу Флорентийцу, которому хочешь сопутствовать всю жизнь. Ободрись. Не поддавайся сомнениям. Чем энергичнее ты будешь гнать от себя мысли уныния, тем скорее и лучше ты себя воспитаешь и твоя внутренняя самодисциплина станет твоей привычкой, лёгкой и простой. Не считай нас, твоих новых друзей, людьми сверхъестественными, счастливыми обладателями каких-либо тайн. Мы такие же люди, как и все. А все люди делятся только на знающих, освобождённых от предрассудков и давящих их страстей, а потому добрых и радостных, и на незнающих, закованных в предрассудки и страсти, а потому унылых и злых. Знание раскрепощает человека. И чем свободнее он становится, тем больше его значение в труде вселенной, тем глубже его труд на общее благо и шире круг той атмосферы мира, которую он несёт с собою. Возьми этот медальон; в нём портрет твоего друга Флорентийца. Очень хорошо, что ты так предан ему. Теперь ты сам видишь, что родного своего брата и неродного, совсем недавно встреченного брата ты любишь одинаково сильно. Чем больше условной любви ты будешь сбрасывать с себя, тем больше любовь истинно человеческая будет просыпаться в тебе.

Он подал мне довольно большой овальный медальон на тонкой золотой цепочке, в золотую крышку которого был вделан тёмный выпуклый сапфир.

— Надень его; и в минуты сомнений, опасности, уныния или горького раздумья бери его в руку, думая о твоём друге Флорентийце и обо мне, твоём новом, навсегда тебе верном друге. И ты найдёшь силу во всех случаях жизни удержать слёзы. Каждая пролитая слеза разбивает силу человека. А каждая побеждённая слеза вводит человека в новую ступень силы. Здесь написано на одном из древнейших языков человечества: «Любя побеждай».

С этими словами он открыл медальон, где я увидел дивный портрет Флорентийца.

Я хотел поблагодарить его; я был полон благоговения и счастья. Но в дверь постучали; я едва успел надеть медальон, и слова благодарности остались невысказанными. Но, должно быть, мои глаза передали ему мои мысли, он улыбнулся мне, подошёл к двери и открыл её.

Я увидел белое платье, чёрную голову, шею и полуоткрытые руки; но теперь этот силуэт уже не пугал меня. Странное чувство — уже не раз испытанное мною за эти дни — чувство какой-то силы, обновления всего организма снова наполнило меня. Я опять точно стал вдруг старше, увереннее и спокойнее.

— Могут ли войти ваши друзья, сэр Уоми? — спросила девушка.

— Да, Хава, могут. Вот познакомься ещё с одним моим другом. И пока я буду говорить о совершенно неинтересных для него вещах с турками, проведи его в библиотеку и покажи полку с книгами философов всего мира, трактующих о самовоспитании. Пусть он выберет всё, что только захочет. А ты сложи ему всё в портфель на память о себе, — сказал, улыбаясь и поблёскивая юмором глаз, хозяин, точь-в-точь как это делал Флорентиец.

— Я с радостью проведу молодого гостя в библиотеку и покажу книги. Но что касается памяти о себе, вряд ли ему будет приятно вспоминать обо мне. Европейцы редко легко переносят чёрную кожу, — ответила Хава, улыбаясь во весь рот и точно осветив всю комнату блистанием белых зубов.

Я был совершенно сконфужен. А сэр Уоми — как назвала Хава моего нового друга — сказал мне, смеясь:

— Вот тебе и первый урок, друг. Побеждай свой предрассудок к чёрной коже, помня, что под нею одинаковая у всех красная кровь.

Я вышел вслед за Хавой и в соседней комнате столкнулся с И. и турками, шедшими в кабинет сэра Уоми. Должно быть, вид мой был необычен; оба турка с удивлением на меня посмотрели, а И. улыбнулся мне и ласково провёл рукой по моим волосам.

Хава пропустила их в кабинет, закрыла дверь и пригласила меня идти за нею. Мы миновали несколько комнат, затенённых ставнями от солнца, вышли снова в чудесный холл и через знакомую уже мне зеркальную дверь вошли в библиотеку.

Теперь я лучше рассмотрел эту комнату. Что за чудесная художественная обстановка была здесь! Тёмные шкафы красного дерева с большими стеклянными дверцами красиво выделялись на синем ковре. Синий потолок, на котором был художественно изображён хоровод белых павлинов и играющий на дудочке юноша.

Вид его был так жалок, что даже смешной контраст между элегантным костюмом и кособокой цветной физиономией не вызывал смеха. А его единственный, молящий глаз говорил о громадной трагедии, переживаемой этим человеком.

— Доктор, — сказал он дрожащим слабым голосом. — Будьте милосердны. Я, право, ни в чём не виноват в выходке моей жены. Судовой врач отказывается зайти к нам, под предлогом массы очень серьёзных больных. Он думает, что княгиня наполовину притворяется, наполовину больна только от страха. Но я уверяю вас, что она действительно умирает. Я никогда не видел её в подобном состоянии. Она уже не может ни кричать, ни драться. Она очень, очень стара. Будьте милосердны, — лепетал он. — Для меня и многих будет страшная драма, если я не довезу её до Константинополя...

И. молча смотрел на этого несчастного человека, а передо мной в один миг мелькнула загубленная жизнь, проданная за деньги отвратительной старухе. Не могу сказать, как поступил бы я на месте И., он же тихо сказал: «Ведите».

— О, благодарю вас, — пробормотал муж княгини, и мы двинулись за ним в каюту № 25.

— Я скоро вернусь к вам, — сказал И. обступившим его со всех сторон пассажирам. — Я обойду всех, кто будет нуждаться в моей помощи. Не ходите за мной, ждите меня здесь.

Ужасное зрелище представилось нам, когда мы вошли в каюту. В отчаянном беспорядке мы увидели нечто страшное, уродливое, седое, бездыханное, лежавшее на койке с отвисшей беззубой челюстью, что даже не напоминало разъярённой толстой старухи в рыжем парике, скандалившей в коридоре лазарета.

И. подошёл к постели, потрогал руку, лоб и шею трупообразной княгини и перевёл взгляд на мужа, единственный глаз которого выражал муки страха и ожидания приговора И.

— Ваша жена жива, — сказал он ему. — Но ожидать, что она будет вполне здорова, уже невозможно. Её разбил наполовину паралич, и двигаться она не сможет. Что касается речи и рук, об этом можно будет сказать что-нибудь только тогда, когда я приведу её в чувство, а вы выполните все те процедуры, которые я ей назначу.

— Я готов со всем усердием ухаживать за ней, лишь бы сохранилась её жизнь и она доехала до Константинополя. Там она должна встретиться со своим сыном, моим двоюродным братом, и уж будь что будет. Лишь бы никто не заподозрил меня, что я её в дороге уморил, — сказал муж.

С этими словами он опустил голову на руки и заплакал как ребёнок.

Не могу сказать, какие чувства говорили во мне сильнее: презрение к здоровому мужчине, торговавшему своим титулом из нежелания работать, или сострадание к человеку, сбившемуся с понимания ценности независимой трудовой жизни.

Если бы я не провёл последнего времени жизни в таком высоком нравственном кругу, как Флорентиец и И., я бы грубо отвернулся от внушающего мне отвращение князя. Но сейчас в моём сердце не было места осуждению, я только почувствовал ещё раз своё бессилье помочь ему.

— Мужайтесь, друг, — услышал я голос И.

Быстро поднялись мы с Верзилой в первый класс, где царила паника; очевидно, крупная волна вызывала жестокие воспоминания о минувшей буре и страх перед ней.

Я застал И. в каюте синьор Гальдони, где старшая была вся в слезах, а младшая снова лежала как труп.

— Это и есть тот тяжёлый случай, Лёвушка, о котором я тебе сказал в первый же раз. При каждом сильном волнении будет наступать такое обмирание организма, пока синьора Мария не научится в совершенстве владеть собой, — обратился ко мне И.

— Нет, нет, я ничего особенного ей не сказала, — раздражённо и повышенно громко сказала синьора Джиованна. — Я только хотела предупредить новое несчастье. Довольно с нас и одного горя было.

— Зачем вы привлекаете внимание соседей громким разговором? — тихо сказал ей И. — Ведь сейчас надо помочь вашей дочери прийти в себя. Это не так легко; и если вы будете кричать, мои усилия могут остаться бесплодными. Если же не можете найти в своём сердце столько любви, чтобы думать о жизни вашей дочери и все свои силы устремить на помощь ей, а не на мысли о своих волнениях, уйдите из каюты. Всякие мысли эгоизма и раздражения мешают в моменты опасности.

— Простите мне моё безумие, доктор. Я буду всем сердцем молиться о ней, — стараясь сдержать слёзы, сказала мать.

— Тогда забудьте о себе, думайте о ней и перестаньте плакать. Плачут всегда только о себе, — ответил И.

Он велел мне, как и в первый раз, приподнять девушку и влить ей лекарство, ловко разжав зубы. Затем он сделал ей укол и с моей помощью движения искусственного дыхания.

Но все усилия оставались безуспешными. Тогда он свернул папиросу из бумаги, насыпал туда едко пахнувшего порошка, поджёг его и поднёс к самым ноздрям девушки. Она вздрогнула, чихнула, кашлянула, открыла глаза, но снова впала в беспамятство.

Тогда И. брызнул ей в лицо водой, а к шее приложил горячую грелку и снова зажёг траву. Она вторично вздрогнула, застонала и открыла глаза. И. с моей помощью посадил её и, продолжая держать у её лица горящую траву, сказал:

— Дышите ртом и как можно глубже.

Я держал девушку за плечи и чувствовал, как всё её тело содрогается при каждом вздохе.

Долго ещё мы не отходили от неё, пока она вполне не пришла в себя. И. велел напоить её тёплым молоком, запретил разговаривать с кем бы то ни было и укрыл тёплым одеялом. Матери он сказал, что не только бури больше не будет, но что через час-два и море будет совсем спокойно.

Мы вышли на палубу, где нас ждала целая кучка людей, во главе которой стоял несчастный муж злющей княгини. Молодой человек имел очень плачевный вид. На левой щеке его был тёмно-синий кровоподтёк, правый глаз весь затёк и тоже был совсем синим, точно его исколотили в драке.

— Вот, это здесь, — услышал я голос Хавы. — Вам придётся встать на эту лесенку. На верхних полках этих двух шкафов стоят книги, которые вам рекомендовал сэр Ут-Уоми.

Я поблагодарил, запомнил, что друга моего зовут Ут-Уоми, и стал читать названия книг. Я думал, что, читая очень много под руководством брата, я найду здесь хотя бы несколько знакомых мне названий. Но хотя книги были на всех языках, даже на русском, я ни одной из них не знал.

— Я пока оставлю вас и поднимусь к себе за портфелем, — сказала Хава. — Я постараюсь найти такой, который напомнил бы вам сегодняшний день и сэра Ут-Уоми.

Я остался один. Окна и дверь веранды были раскрыты настежь, и из сада лился чудесный аромат цветов. А тишина давала мне особенное наслаждение после непрерывного морского шума и ветра. Меня тянуло выйти в сад, походить по мягкой земле, но я боялся опять рассеяться и стал прилежно перебирать книги.

Я уже разочарованно хотел перебраться к другому шкафу, как вдруг выпали на пол, неловко задетые мною, две книги. Я сошёл с лесенки, поднял книги и открыл толстый кожаный переплёт одной из них. «Самодисциплина, её значение в жизни личной и космической», произведение Николая Т. Издание Фирс, Лондон, — прочёл я заголовок.

Я протёр глаза; ещё раз прочёл заголовок. Схватил вторую книгу в таком же переплёте. «Путь человека как путь освобождения. Человек как единица Вечного Движения». Издание Фирс, Лондон. Произведение Николая Т.

Я перестал сомневаться, что книги принадлежат перу моего брата. Но что развернуло мне это открытие! Какие разноречивые чувства наполняли меня, — описать невозможно! Вопросы: кто же мой брат? Кто был моим воспитателем? Почему я разлучён с ним? — превратили меня опять в «Лёвушку — лови ворон». Я даже не стал искать ничего больше, присел на лесенку и стал читать.

Не помню сейчас, много или мало я прочитал, но очнулся я от громкого смеха многих голосов. Вздрогнув от неожиданности, я так растерялся, что не сообразил даже сразу, почему возле меня стоят полукругом И., турки, Хава и сэр Уоми, где я и что со мной.

Сэр Уоми подошёл ко мне, ласково меня обнял и шепнул:

— Радуйся находке, но войди внешне в роль светского воспитанного человека.

Тут ко мне подошёл И., взглянул на книги и на меня и весело засмеялся.

— Теперь ты, Лёвушка, видишь, что не только ты скрывал от брата свой литературный талант, но и он укрыл от тебя свои книги. Ты нашёл их. Тебе надо теперь скорее выходить в писатели, чтобы твои книги попали ему в руки. Тогда вы будете квиты.

— Вот как! Капитан Т. — ваш брат? — сказала Хава. — Тогда вам будет очень интересно прочесть его последнюю книгу, в ней есть даже портрет капитана Т.

С этими словами она быстро открыла шкаф у правой стены, подкатила туда лесенку и достала книгу в синем переплёте, подав мне её развёрнутою на той странице, где был изображён портрет брата. Он был очень похож, только лицо было строгое, серьёзное, и выражение какого-то отречения лежало на нём.

Я прочёл заголовок: «Не жизнь делает человека, а человек несёт в себе жизнь и творит свою судьбу». Я ничего не понял, к стыду своему, — ни в одном из заголовков книжек брата. Тяжело вздохнув, я взял все три книги и вышел в сад, где теперь сидел сэр Уоми и все остальные гости.

Подойдя к нему, я сказал печально, что все три книги брата для меня очень дороги, но что они мне кажутся таинственной китайской грамотой. Я просил у доброго хозяина разрешения взять с собой эти книги с тем, чтобы выслать их ему обратно из Константинополя.

— Возьми, друг мой, и оставь их себе, — ответил он. — Я всегда смогу пополнить свою библиотеку. Тебе же пока будет труднее моего достать их. Что же касается содержания, то у тебя сейчас такой чудесный учитель и воспитатель в лице И., что он растолкует тебе всё, чего ты не поймёшь. Он тебе и о нас всё расскажет, — прибавил он, понижая голос так, чтобы нас не смогли слышать турки, которых Хава увела немного подальше, рассказывая что-то о цветочных клумбах.

— Ты не огорчайся так часто своей невежественностью и невыдержанностью, — продолжал сэр Уоми, усаживая меня на скамью между собой и И. — Если ты хочешь спасти жизнь брата, — развивай героические чувства не только в одном этом деле. Но в каждом простом дне живи так, как будто бы это был твой последний день. Не оставляй запаса сил и знаний на завтра, а отдавай всю полноту мыслей и чувств сегодня, сейчас. Не старайся развить силу воли, а действуй так, чтобы быть просто добрым и чистым в каждую пробегающую минуту.

К нам подошли турки с Хавой, державшей в руках прекрасный портфель из зелёной кожи. Передавая его мне, она лукаво улыбнулась, спрашивая, не напоминает ли мне зелёный цвет чьих-то глаз.

— А внутри, — прибавила она, — вы найдёте портрет сэра Уоми.

Я был тронут вниманием девушки и сказал ей, что, очевидно, всем вокруг неё тепло от её ласки и доброты, что я всегда буду помнить её любезность и очень опечален, что я такой плохой кавалер и у меня нет ничего, что я мог бы со своей стороны оставить ей на память.

— Ну, а если я что-либо такое найду, что принадлежит вам? Оставите ли мне свой автограф на нём?

Я совершенно онемел. Моя вещь в этом доме? Я потёр лоб, проверяя, не заснул ли уж я мёртвым сном Флорентийца? Хава звонко рассмеялась и своим гортанным голосом сказала:

— Я жду ответа, кавалер Лёвушка.

Я окончательно смутился, и за меня ответил сэр Уоми.

— Неси своё сокровище, Хава, если оно у тебя есть. И не конфузь человека, который ещё и сам не знает, что подал миру прекрасную жемчужину и украсил многим жизнь.

Я перевёл глаза на сэра Уоми, думая увидеть на его лице уже знакомое мне юмористическое поблёскивание. Но лицо его было серьёзно, и смотрел он ласково. Я почувствовал в сердце привычное мне раздражение от всех этих загадок и уже готов был раскричаться, как в дверях увидел Хаву с толстой книжкой в руках. Это был журнал «Новости литературы». Развернув книжку, она поднесла мне страницу с заголовком рассказа: «Первая утрата — и свет погас». Это был тот мой рассказ, что

знаете, как непрочно всё в жизни. Не думайте, что будет, а думайте и просите И. научить вас, как вам начать воспитывать ваших детей. Я ничего не могу сделать для вас; я сам не имею ни семьи, ни дома и ещё не могу сам зарабатывать свой кусок хлеба, так как мало что знаю и умею делать. Но И. я уверен поможет вам.

— Я его очень боюсь и стесняюсь, — сказала бедняжка. — А вас не боюсь и очень радуюсь, когда я подле вас.

— Это потому, что я такой же неопытный ребёнок в жизни, как и вы. Но если вы присмотритесь внимательнее к И., вы будете счастливы ту каждую минуту, которую проведёте с ним.

— Вы только что сказали, что улыбка матери помогает детям. Я стараюсь не плакать, но это так трудно. И я не думаю, чтобы И. помог мне научиться воспитывать детей; он сам такой строгий, он никогда не улыбается. Я при нём чувствую себя точно в железной клетке, а при вас мне легко и просто.

— Вам легко со мною, — ответил я, — только потому, что я так же легкомыслен, как и вы. Но если бы вы сосредоточились и подумали, какую громадную энергию вы могли бы передать своим детям, если бы вы их по-настоящему любили! Не слёзы текли бы из ваших глаз, а целые потоки энергии. Ведь вы плачете о себе, а вам надо думать, как бы защитить их.

— Я не могу ещё понять вас, — очень тихо сказала Жанна после долгого раздумья. — Но мне начинает казаться, что я действительно слишком много думаю о себе. Я постараюсь вдуматься в ваши слова, может быть, они помогут мне начать жить иначе.

Мне было очень жаль бедняжку. И я всячески старался не переходить границы дружеской беседы и не впадать в тон наставника. Жанна же на моих глазах как-то странно менялась. На её молоденьком личике не играла та улыбка, которой оно всегда светилось, когда я бывал с нею, и отчаяние тоже сошло с него. Печаль, суровая решительность — точно она внезапно стала старше меня — отделили её от меня каким-то кругом, в котором она и замкнулась.

Мы молча сидели у детских постелей, и мысль моя вернулась к Хаве. Какою сильной и мужественной женщиной она мне казалась теперь! И как нужна была бы её чёрная рука помощи этой хрупкой и тоненькой матери.

— Вы не думайте, что я слабая и боюсь труда, — внезапно вырвал меня из мира грёз дрожащий голосок Жанны. — Нет, о нет, я не боюсь труда. Я просто слишком много любила моего мужа. И, потеряв его, я смешала мою любовь к нему и слёзы о нём с любовью к детям и страхом за них. Но я начинаю понимать, что страх губит мои силы, приводит в отчаяние и я приношу вред моим детям. Мне только сейчас становится ясно, на какую ужасную жизнь я буду обречена, если не найду в себе мужества жить только для детей, быть им защитой, а буду оплакивать свою печальную судьбу женщины, потерявшей любимого.

В дверь постучали, вошёл сияющий Верзила и доложил, что И. просит меня в первый класс, где снова заболела итальянка. Я простился с Жанной и почувствовал, что нанёс ей своими словами какую-то не то рану, не то разочарование. И её пожатие было менее горячим, а лицо всё оставалось таким же суровым.

Жанна плакала, говоря, что, не видав меня так долго, не могла сохранить самообладания, а болезнь детей разрывает ей сердце. Я же позабыл совсем о ней. Я возражал, что И. был у неё, итальянки навещали её, что я прислал ей книг и цветов, но нельзя думать, что моё присутствие или отсутствие может иметь влияние на здоровье или болезнь детей.

— Я сам ещё так молод и невежествен, что всецело нуждаюсь в воспитании и наставнике, — продолжал я. — Если бы не мой брат И., я бы десять раз погиб. Вам нужно перестать скучать и думать, что вы одиноки и несчастны, а нужно помочь доктору влить детям лекарство.

Сам не знаю, что я говорил бедной женщине ещё, но, очевидно, тон моего голоса передавал ей всю нежность моего к ней сострадания. Мигом она отёрла слёзы — и лучшей сестры милосердия не надо было искать.

И. долго возился с девочкой, слабость которой была ужасна.

— Сегодня будет так плохо ещё несколько часов. Но зато завтра дело пойдёт к улучшению, — сказал И. Жанне. — Держите её завтра непременно в постели весь день. Если не будет качки, вынесите её на палубу. Ну, а малыш через час будет просить есть.

Мы собрались уже уходить, когда Жанна обратилась с мольбой к И.:

— Разрешите вашему брату побыть со мной. Я так боюсь чего-то, мне всё мерещится какое-то новое горе, всё кажется, что дети мои тоже умрут.

И. кивнул головой, сказал мне, чтобы я остался здесь до тех пор, пока за мной не придёт Верзила, но что если откуда-нибудь будут звать на помощь доктора, чтобы я ответил, что доктор он — И., а я могу только при нём помогать и бессилен без него.

И. ушёл. Мы остались с Жанной у постели её детей. Девочка понемногу успокаивалась; дыхание стало ровнее, хрипы в груди прекратились. Жанна молчала, не плакала; но я видел, что не одна болезнь девочки привела её к порыву нового отчаяния.

— Что случилось? — спросил я её. — Почему вы опять в таком состоянии?

— Я и сама не знаю, почему на меня нахлынули все ужасные воспоминания и картины смерти мужа. Я почувствовала такой страх перед будущей жизнью. Не могу передать вам, какой жуткий страх на меня нападает, когда я думаю, что мы приедем в Константинополь, и мне нужно будет расстаться с вами и вашим братом. Я умру от одиночества и голода.

— Вы умрёте от одиночества и голода? А дети переживут вас? Кто же будет на них работать? Кто есть у них ближе вас? Вы думаете о том, что было, и о том, что будет. А сейчас? Об этой минуте, когда вы чуть не уронили мальчика и когда повредили девочке, держа её не в постели, вы не думаете? Я так же, как и вы, только тем и занимался, что думал или о том, что было, или о том, что будет. Один мой любимый и мудрый друг и мой теперешний спутник И. своими примерами показали мне, как надо жить только тем, что совершается сейчас. И что самое главное — это и есть «сейчас». Попробуйте и вы не плакать, а бодро ухаживать за детьми. Ваши слёзы мешают им мирно спать, и они будут дольше больны. Улыбайтесь им — и их здоровье восстановится скорее. Что касается Константинополя, то ведь И. сказал вам, что он вас там устроит, а слово его никогда не расходится с делом. Если у вас есть цель поставить детей на ноги, зачем вам думать, будете ли вы одиноки? Вы уже по опыту

пленил аудиторию и какого-то литератора на студенческой вечеринке в Петербурге, теперь напечатанный и вышедший в свет. Хава перелистала страницы и показала мне подпись: «*Студент Т.*».

— Ну, пиши автограф, — сказал И., — и надо собираться на пароход.

Я взял из рук Хавы карандаш, взглянул на неё, рассмеялся и написал:

«Новая встреча — и свет засиял».

Мой автограф вызвал не меньшее удивление всего общества, чем появление моего рассказа.

— Ты ещё и сам не понимаешь, что ты написал в рассказе и что значат слова твоего автографа, мой юный мудрец, — сказал, прощаясь, сэр Уоми. — Но в нашу следующую встречу ты уже будешь во всеоружии знания. Иди сейчас так, как тебя поведёт И., и дождись в его обществе возвращения Флорентийца.

Он обнял меня и ласково провёл рукой по моим волосам. Хава протянула мне обе руки. Я склонился и поцеловал одну за другою эти прекрасные чёрные руки, как бы прося прощения за испуг и отвращение, которые они мне внушили вначале.

Я почувствовал, что руки её задрожали, а когда поднял голову, увидел изменившееся выражение лица Хавы и услышал шёпот:

— Я всегда буду вам верной слугою, и свет мне будет сиять и от вас.

Нас разъединил И., подошедший проститься с Хавой.

Мы вышли все вместе из дома и расстались с турками, которые хотели навестить ещё своих родственников. Я удивился, как промелькнуло время. Казалось, только час и пробыли мы у сэра Уоми, а на самом деле было уже около семи часов вечера.

Я был рад, что турки ушли; говорить мне совсем не хотелось. И. взял меня под руку, мы свернули в какую-то улицу и зашли в книжный магазин. И. спросил, нет ли последнего номера «Новости литературы».

— Нет, — ответил приказчик. — На этот раз всё расхватали.

Хриплый голос из другого угла магазина сказал, что можно снять с выставки последний номер, если мы наверное купим книгу. И. уверил, что книгу мы купим непременно, приказчик снял её с выставки, мы уложили её в мой портфель, расплатились и вышли.

— Как не хочется идти на пароход, Лоллион, — сказал я. — Век жил бы тут, в саду сэра Уоми.

— Ну, вот и верь тебе! Хотел век жить подле Флорентийца, всю жизнь разделять его труды. А теперь хочешь жить в саду Уоми? — улыбнулся И.

— Да, — ответил я. — Слова мои могут показаться изменой Флорентийцу. И сам я даже не смог бы вам рассказать, что творится в моём сердце. Оно, точно мешок, ещё расширилось, там живёт уже не один мой брат и Флорентиец. Я ещё не могу отдать себе отчёта, что общего я нашёл между всеми вашими тремя друзьями: Али, Флорентийцем и сэром Уоми. Но что-то, какое-то высшее благородство, какая-то невиданная мною сила в них общие. Я даже думаю, что и вы, и Ананда имеете много общего с вашими друзьями. Я не могу ещё взять в толк, почему все вы ко мне так беспредельно милосердны и самоотверженны! Защищая брата, который, конечно, достоин всякой защиты и помощи, вы всё же все делаете для меня так много, как я вовсе не заслужил. И вы, лично вы, Лоллион, — чем смогу я когда-нибудь отплатить вам?

— Не наград или похвал должен ждать человек за своё поведение в жизни, Лёвушка, — ответил И. — Жизнь — это только ряд причин и следствий, и этому закону подчинена вся вселенная, не только жизнь человеческая. Но мы с тобою будем иметь ещё много времени, чтобы говорить о делах на личные темы. Не хочешь ли сейчас соблюсти долг вежливости и купить цветов нашим дамам за то, что они так трудились и помогали нам одеть Жанну и детей?

— Нет, вознаградить их — как вы только что сказали — за доброе дело мне не хочется, а вежливость? — возможно, что я плохой кавалер. Но что мне хочется, всем сердцем хочется, снести роз Жанне, — это я бы сделал так радостно, что даже возвращение на пароход мне было бы менее тяжело.

— Прекрасно, вон там я вижу цветочный магазин. Я выполню долг вежливости по отношению к итальянкам, ты — подари цветы Жанне. Но будь осторожен, Лёвушка. Ни в одной из женщин, встречающихся нам на пути сейчас, ты не должен видеть женщину — предмет любви, а только тех друзей, которым мы с тобою должны помочь, если можем. Мы с тобой должны хранить сейчас в сердце и мыслях такую глубокую чистоту и целомудрие, как будто бы мы идём в священный нам поход. Все наши силы, духовные и физические, должны быть цельно устремлены только на то дело, которое нам дано Флорентийцем и Али. Мужайся, и на меня не сердись. Бедное, разорённое сердце Жанны готово привязаться всеми силами к тому, кто выкажет ей сострадание и внимание. Тебе же предстоит сейчас задача не утешения лично одной женщины, а служение всею верностью задаче, взятой тобой добровольно. Двоиться, желать и брата спасти, и женщину найти тебе сейчас нельзя.

— Мне и в голову не приходило перейти границы самой простой дружбы в моём поведении с Жанной. Я очень сострадаю ей, готов всем сердцем ей во всём помочь, — ответил я. — Но верьте, Лоллион, ни она, ни Хава никогда не могли бы быть героинями моего романа... И если чем-нибудь я дал вам повод подумать иначе, я согласен отнести цветы синьорам Гальдони, а вы — за нас обоих — передайте мои Жанне.

Мы вошли в цветочный магазин, у окна которого стояли несколько минут, разговаривая.

Когда мы стали выбирать букеты дамам, я всё же сам выбрал белые и красные розы для Жанны. Я сложил свой букет на пальмовый лист, перевязал его белой и красной лентой, а И. выбрал один букет из розовых, а другой — из жёлтых роз итальянкам.

На его вопрос, почему я выбрал эти цвета роз и лент, я ответил, что не знаю вообще значения цветов. Но Али прислал мне подарки белого цвета — цвета силы; и красного — цвета любви, когда я шёл к нему на пир.

— Теперь я, в свою очередь, хочу послать Жанне привет любви и силы и надеюсь, что она не увидит в этом чего-либо предосудительного.

Взяв цветы, мы снова вышли на набережную. Внезапно раздался гудок с нашего парохода, и, хотя торопиться было ещё нечего, мы всё же отправились прямо на пароход.

Дойдя до первого класса, мы расстались с И.; он прошёл к Жанне, а я направился в каюту итальянок и передал розовый букет дочери и жёлтый — матери. Девушка радостно приняла цветы, и нежный румянец разлился по её лицу и шее.

И. давно кончил читать письмо. Я сидел, опустив голову на руки и не зная, что думать ещё и об этой неожиданной случайности.

— Нет случайностей, — услышал я голос моего друга. — Всё, с чем мы сталкиваемся, подчинено закону причинности, и нет в жизни следствий без причины. Чем больше освобождается от предрассудков человек, тем больше он может знать. И Хава права, когда пишет тебе, что знание рассеивает все предрассудки и суеверия. Но мы ещё будем иметь много времени, чтобы поговорить обо всём этом. Сейчас хочу тебе сказать, что преследовавшие нас сарты погибли на старом греческом судне, на которое их заставила сесть ненависть, хотя они знали о предстоящей буре. Теперь до Константинополя мы свободны от преследования. А там узнаем, как быть дальше. Не хочешь ли посмотреть на заветный подарок Хавы? Качка усиливается, нам необходимо снова обойти весь пароход. После перенесённой бури люди гораздо чувствительнее к качке. Жанну надо навестить первой, потом итальянок и т. д.

Я развернул небольшой пакет Хавы и достал из кожаного футляра квадратную шкатулку тёмно-синей эмали, на крышке которой был изображён овальный эмалевый портрет сэра Уоми. Портрет был окружён рядом некрупных, но чудно сверкавших бриллиантов, а вместо замка был вделан крупный выпуклый тёмный сапфир.

— За всю жизнь я даже не видел столько драгоценных вещей, сколько мне пришлось их держать в руках за эти недели, — сказал я.

— Да, — ответил И. — Как много, много людей хотело бы хоть в руках подержать портрет сэра Уоми, не только что получить его в подарок. Но спрячь всё в саквояж, нам время двинуться в обход парохода.

Я спрятал все свои вещи и книги в саквояж. И. достал наши аптечки, и не успели мы их надеть, как в дверях появился послом от капитана Верзила с просьбой поспешить в лазаретную каюту № 1А, что там плохо и матери, и детям.

Мы помчались ближайшими переходами к Жанне, причём мой нянька-верзила снова спас мой нос и рёбра, так как я не мог удерживать равновесия. На мой вопрос, уж не буря ли будет снова, И. ответил, что это невозможно для природы — разъяриться так дважды подряд. А Верзила, смеясь, уверял, что это всего только зыбь. Быть может, это была зыбь, но — надо отдать ей справедливость — зыбь препротивная.

Мы вошли к Жанне и снова застали картину почти того же отчаяния, которую увидели в первый раз. Мать сидела с обоими детьми на руках, прижавшись в угол дивана.

Лицо её выражало полную растерянность, и, когда И. наклонился к девочке, чтобы взять её и положить на детскую койку, она вцепилась в его руки, крича, что девочка умирает и она не хочет отдать её смерти на холодной койке, пусть лучше умирает у сердца матери. Жанна так резко схватила руки И., что, если бы я не бросился к малышу, он скатился бы на пол с её коленей.

Взяв ребёнка на руки, я готов был раскричаться и упрекнуть мать в невнимании к нему, но... образ сэра Уоми, прочно поселившийся в моём сердце, помог мне сдержаться и мягко сказать ей:

— Так-то вы держите обещание ухаживать самоотверженно за детьми? Разве им удобнее на ваших коленях, чем в постельках?

удивлён свыше всякой меры подписью: «Хава», которую я в своём нетерпении посмотрел первою.

Я так изумился, что вместо того, чтобы читать самому письмо, протянул его И. Представление о чёрной статуе в белом платье, которую я считал для себя мелькнувшей и навек исчезнувшей бабочкой, ожило и довольно неприятно поразило меня.

И. взял письмо, посмотрел на меня своими светящимися глазами и стал громко читать:

«Я не знаю, какими словами начать мне моё обращение к Вам. Если бы я была белой женщиной, я знаю, как бы я миновала установленные вековыми предрассудками условные правила светских приличий. Но моя чёрная кожа ставит меня вне законов вежливости и приличий, которые белые люди считают иногда обязательными только для белокожих. Я могу обращаться к Вам не иначе, как к частице света и духа, живущих в каждом человеке, независимо от времени и места, нации и религии. Знание рассеивает все предрассудки и суеверия; и я, обращаясь к Вашей любви, позволю себе сказать Вам: «Друг». Итак, Друг, — впервые в жизни белый человек выразил мне свою вежливость и сострадание, прижав к губам мои чёрные руки. Если бы я жила ещё тысячу лет — я не забуду этих поцелуев, потому что на них ответил Вам поцелуй моего сердца. Быть может, есть много форм любви, о которой говорят и которую выражают действиями женщины. Мне же доступна одна форма: беззаветной преданности, не требующей ничего личного взамен. Я отдаю Вам всё своё сердце, не умеющее двоиться; и верность моя пойдёт за Вами всюду, будет ли это рай или ад, костёр или море, удача или поражение. И почему именно так пойдёт моя жизнь, какие вековые законы жизни связывают нас — мне ясно. Когда-либо станет ясно и Вам, но сейчас я о них молчу. Я знаю всё, что Вы можете подумать о моей привязанности, такой Вам сейчас ненужной и стеснительной. Но будет время, Вы выберете себе подругу жизни, — и чёрная няня будет нужна белым детям. Моя преданность, так навязчиво предлагаемая сейчас, если рассматривать её с точки зрения условностей, на самом деле проста, легка, радостна. Если подняться мыслью в океан движения всей вселенной и там уловить свободную ноту любви, любви, не подавляемой иллюзорным пониманием дня как тяжёлого испытания, долга и жажды набрать себе лично побольше благ и богатства, — там можно увидеть не этот серый день, сдавленный печалью и скорбью, но день счастливой возможности вылить из своего сердца любовь свободную, чистую, бескорыстную, — и в этом истинное счастье человека. И да простит мне жизнь мою уверенность, но я знаю, что в Вашем доме я найду свою долю мира и помощи Вашим детям. Я знаю, как испугала Вас моя чёрная кожа, и тем глубже ценю благородство сердца, отдавшего поцелуй моим чёрным рукам. Чтобы не напоминать Вам о своей черноте и вместе с тем послать Вам память о нашей встрече, я посылаю Вам небольшую шкатулку, которая Вам, наверное, понравится. Примите её как самый ценный дар моей преданности. Мне дал её сэр Уоми в день моего совершеннолетия, сказав передать её тому, за кого я буду готова умереть. Я уже сказала: путь мой за Вами. Чтобы не показаться сентиментальной, я кончаю своё письмо глубоким поклоном Вашему другу И., Вашему брату и Вашему великому другу Флорентийцу.

Ваша слуга Хава».

Мать ласково улыбнулась и спросила, видел ли я мадам Жанну в новом туалете. Я ответил, что туда прошёл мой кузен, так как малютки нуждаются в его надзоре, а я повидаю их всех завтра и полюбуюсь сразу туалетами всех.

Я был так полон неожиданными новыми впечатлениями, портфель с книгами брата тянул меня скорее в каюту, чтобы хоть портрет брата посмотреть наедине, — а тут приходилось стоять в толпе разряженных дам и мужчин, выслушивать их и отвечать на лёгкий салонный разговор. Я воспользовался первым попавшимся предлогом, быть может показался не очень учтивым, и поднялся на свою палубу.

Я прошёл прямо к себе в каюту с намерением взять душ, полежать и подумать. Но, очевидно, всем моим намерениям не суждено было сегодня сбываться.

Не успел я снять пиджак, как явился мой нянька — матрос-верзила — и подал мне небольшую посылочку и письмо в очень элегантном длинном конверте. Он очень был заинтересован моим путешествием по берегу, жаловался, что его не пустили со мной в город, а он, наверное, был бы мне там нужен. На вопрос об обеде, я сказал ему, что, когда тронемся, сядем за стол.

С трудом я отделался от этого человека, как пришли турки. Я едва успел спрятать свою посылку и письмо. Турки рассказывали, что очень весело провели время у своих родственников в городе, где узнали о бедствиях бури, из которой счастливо и благополучно выскочил только один наш пароход. Вышедшие из Севастополя следом за нами два парохода, один — старый греческий и другой, решившийся выйти из гавани при уже начинавшейся буре — французский, — оба погибли. А в Севастополе буря всё ещё свирепствует и сейчас, хотя уже с меньшей силой.

Что же касается нас, то они слышали от старшего механика, что в Константинополе и нашему судну придётся идти в очень большой ремонт и задержаться надолго.

Всеми силами я старался быть вежливым и выдержанным, но внутри у меня клокотало раздражение от этой постоянной невозможности жить так, как хочется, а быть прикованным ко всем условностям светского приличия.

«Неужели, — думал я, — все поразившие меня новые люди огромной выдержки, которых я увидел за эти дни, и едущий со мной сейчас И. приобрели своё хорошее воспитание и выдержку таким же трудным путём, как я?»

Я готов был закричать туркам, чтобы они уходили и дали мне возможность побыть одному. Я еле сдерживал себя в границах приличия, как услышал голос И. и капитана на лесенке нашей палубы.

Меня поразило лицо И. Я ещё ни разу не видел его таким сияющим. Точно внутри у него горел какой-то свет, так весь он казался насквозь светящимся радостью.

В моей голове снова промчался вихрь мыслей. Тут были и мысли низкие, малодостойные; я подумал, что И. был так долго у Жанны, что он её любит и потому сияет. А мне говорил о невозможности сейчас личных чувств. Скользнули здесь и ревность, и грубая мысль о своей зависимости от почти мне незнакомого человека. Я почувствовал протест против своего положения и снова огромное раздражение.

Я почти не слышал, о чём говорили вокруг меня. Ещё раз я посмотрел на И. — и устыдился всех своих недоброжелательных чувств. Лицо И. всё так же светилось внутренним огнём, глаза его сверкали, напоминая глаза-звёзды Ананды.

«Нет, — сказал я себе, — этот человек не может быть двуличным. Мысль такого светящегося лица должна гореть честью и любовью. Иначе откуда же взяться этому

свету, который всех греет и рассеивает даже такой мираж, в каком я запутался сейчас».

Я унёсся воспоминанием обо всём том, что рассказал мне И. о себе; о том, что я постиг и увидел за короткое время через него, и о том необычном человеке, которого он показал мне в Б.

Постепенно я забыл обо всём, превратился в «Лёвушку — лови ворон», перенёсся в сад сэра Уоми и так погрузился в мысли о нём, что точно услышал его голос:

— Мужайся, пора детства прошла. Учись действовать не только для помощи брату, но вглядывайся во всех встречаемых. Если ты встретил человека и не сумел подать ему утешающего слова — ты потерял момент счастья в жизни. Не думай о себе, разговаривая с людьми, а думай о них. И ты не будешь ни уставать, ни раздражаться.

Я вздрогнул от страшного рёва, вскочил, оглушённый им, сконфузился от общего смеха и никак не мог сообразить, где я, — и наконец понял, что это ревёт пароходный гудок.

И. ласково обнял меня за плечи, говоря, что нервы мои совсем растрепались за эти дни.

— Да, Лоллион, растрепались. — И я хотел ему рассказать об ещё одной своей слуховой галлюцинации сейчас, но он незаметно для других приложил палец к губам и шепнул: «После», — чем немало удивил меня.

Между тем гудок умолк, и на пароходе стояла обычная суета перед отправлением. Мы медленно отходили от мола. Полоса воды между нами и Б. становилась всё шире, и наконец берег скрылся из глаз. Ещё одна страница моей жизни закрылась, ещё один светлый образ поселился в моём сердце прочно, а я снова не заметил, какое огромное место он там занял.

Глава 15

Мы плывём в Константинополь

Спустя некоторое время явился Верзила со складным столом и скатертью, а за ним лакей с тарелками и прочими принадлежностями для обеда.

Турки вспомнили, что им надо переодеться к табльдоту, и поспешили вниз.

Мне стало легче с их уходом. Гармоничная атмосфера И., точно горный зефир, охватила меня. И всё мелкое, раздражающее, ведущее мысли и порывы чувств в тупик одного личного переживания, отступило от меня. Интерес к его внутренней жизни, желание понять причины его необыкновенного состояния вышли на первый план. Я невольно подпал под очарование его спокойствия и даже какой-то величавости его настроения. Мои мысли вернулись назад, к его детству, к его страданиям и к той силе, до которой он вырос теперь.

Я молча сидел подле него и только в первый раз заметил, что вся внешняя суета не мешает мне, что я даже не замечаю людей, совершенно ясно их видя.

Я не превратился в «Лёвушку — лови ворон», соображал, где я, перекинулся несколькими словами с капитаном, но внутри меня точно всё звенело, я был тих; никогда ещё я не испытывал такого спокойствия и сознания, что оно пришло от той внутренней гармонии, которую распространял всё продолжавший светиться Лоллион.

«Вот как может быть счастлив человек своим внутренним состоянием. Вот где сила помощи людям без слов, без проповедей, одним своим живым примером», — подумал я.

Даже моё нетерпение узнать, от кого мне передали посылку и письмо, отступило куда-то назад, я стал думать о письме Флорентийца ко мне. Только сейчас дошли до моего сознания его слова о том, что я должен поехать в Индию. Помимо непосредственного интереса, который мне всегда внушала эта страна (быть может, потому, что я много о ней читал книг у брата и видел у него много иллюстраций), теперь, когда я увидел такого человека, как Али, узнал от И., что все они — и сэр Уоми тоже — были в Индии и жили там, мой интерес оживотворился. Мне захотелось самому видеть эту страну. Мой недавний протест и страх Востока улеглись. Я по-новому стал воспринимать разлуку с братом, уже не видя в ней трагедии, а сознавая в ней начало своего героизма.

Мы кончили обедать. И мне пришлось прибегнуть к каплям И., так как в открытом море нас всё же качало, и я не чувствовал себя устойчиво. Отголоски бури, как предсказывал капитан, продолжались и сейчас почему-то очень остро действовали на меня.

— Я давно уже вижу, дружок, что тебе хочется мне рассказать о своих впечатлениях от стоянки в Б. Мне тоже есть что рассказать тебе, — сказал И.

— Прежде всего, мне хотелось бы узнать, от кого я получил посылку и письмо из Б., и поделиться их содержанием с вами, — ответил я.

По лицу И. скользнула усмешка; он встал и предложил мне перейти в каюту. Я достал из-под подушки своего дивана письмо и посылочку. Разорвав конверт, я был

— Да потому, что за мою долгую жизнь я много перевидел людей. И только у одних одарённых писателей мне приходилось видеть этакие глаза-шила, от которых на душе делается неспокойно. Не могу и не хочу сказать, что оказываемое мне вами внимание мне неприятно. Хочу только вас уверить, что я отнюдь не таинственная личность, и преступлений, тайно укрытых от наказания, за мной не числится. А потому я мало могу быть интересен вам, — сказал он, улыбаясь и протягивая мне портсигар.

— Очень благодарен, я ещё не научился курить, — ответил я ему. — Что же касается пристальности моего взгляда, то приношу вам все мои извинения за свою невоспитанность. Я необычайно рассеян, и ношу кличку с детства «Лёвушка — лови ворон». Надеюсь, вы меня простите и не отнесётесь строго к моему грубому любопытству, — ответил я ему, огорчённый, что так нелепо обратил на себя внимание нового гостя.

Он привстал на своём стуле, слегка поклонившись мне, и вежливо ответил, что его замечание не носило характера вызова, а было неумелым комплиментом мне и что теперь мы квиты.

И. спросил его, давно ли он живёт в Константинополе.

— Очень давно. Я здесь родился, — сказал Строганов. — Мой отец был капитаном торгового судна и часто бывал в Константинополе. В одну из стоянок он познакомился с полурусской, полутурецкой семьёй и женился на одной из дочерей. Я очень похож на мать — вот почему я и противоречу своей фамилии своею внешностью. Все остальные члены моей семьи блондины и плотного сложения. Тот дом, где у меня сейчас есть свободный магазин, был местом моего рождения. Но тогда улица, где он стоит, ещё не была одной из главных, как теперь. Вы для кого хотели снять помещение?

— Для вашей соседки, под шляпное дело, — ответил И.

Видя, что сосед повернулся к Жанне, И. сказал ему, что Жанна француженка и говорит только на своём языке.

Строганов перешёл на французский язык. Говорил он свободно, несколько с акцентом, но совершенно правильно.

У меня забилось сердце. Я так боялся, что нелюбезное поведение Жанны заставит Строганова передумать или поставить затруднения к съёмке его магазина. Но Строганов, точно ничего не замечая, очень деловито и любезно объяснил ей все удобства расположения улицы, магазина и квартиры. Это, по его словам, был небольшой особняк; внизу был магазин и передняя, а наверху квартира из двух комнат и кухни, выходящих во двор с хорошим садом.

Видя, что Жанна молчит, он предложил ей заехать завтра за нею утром и показать ей помещение. Если бы ей понадобился ремонт, то его сделать недолго.

И. очень поблагодарил Бориса Фёдоровича, объяснив ему, что Жанна — племянница того человека, о котором он наводил справки утром в его присутствии, и что ей предстоит остаться в Константинополе одной с двумя маленькими детьми, так как все мы едем дальше, кроме турков.

Строганов повернулся снова к Жанне, по лицу которой побежали слёзы.

— Не горюйте, мадам, — сказал он ей. — В жизни все мы боремся, и все почти начинаем с очень малого, чтобы заработать себе кусок хлеба. К вашему счастью, вы

горохом слова, из которых я понял только, что ему лично очень хорошо, очень помогли лекарства, но что мать и дед чувствуют себя очень плохо.

В каюте греков мы нашли отца в большой слабости, а дочь в необычайном волнении возле его кровати.

Из первых же слов, сопровождавшихся рыданием, было понятно, что страх смерти овладел дочерью. И. с невозмутимым спокойствием, милосердием и добротой говорил с молодой женщиной.

— Неужели вам так трудно понять, — говорил он ей, — что ваше волнение, ваш страх смерти за отца мешают ему стать здоровым? Он не болен, он устал, очень устал от тех героических усилий, которыми он окружал вас всё время. И чем же вы платите ему сейчас? Слезами и стонами мешаете его отдыху? Возьмите себя в руки; вы все трое сейчас здоровы физически. Болен ваш дух. Вместо радости вы разбиваете печалью и унынием страха все те усилия любви и энергии, которые я стараюсь вам объяснить как путь к выздоровлению. Оставьте отца в покое. Пусть он спит, а вы выйдите с сыном на палубу, погуляйте, подумайте сосредоточенно обо всех событиях вашей жизни за последнее время и поблагодарите жизнь за счастливую развязку этих событий, казавшихся вам гордиевым узлом.

Необычайное изумление выразилось на лице гречанки. Мне казалось, И. читал в её душе, как в открытой книге. Она краснела и бледнела, взгляд её был прикован к лицу И., она стояла как изваяние.

Не произнеся больше ни слова, И. дал выпить капель старику, перевернул его лицом к стенке и вышел, поманив меня за собой. На пороге я оглянулся — гречанка всё ещё стояла недвижно.

Мы обошли ещё несколько кают, зашли к Жанне, где всё было благополучно, и вернулись к себе в каюту.

Здесь И. велел мне вынуть из саквояжа Флорентийца круглую кожаную коробочку, где лежали бинты. Взяв ещё какую-то мазь и жидкость, мы сошли в каюту турок, где лежал бледный, очевидно сильно страдающий молодой турок.

— Неблагоразумно, Ибрагим, вы ведёте себя. Зачем скрывать от отца боль в ноге? Ведь вы рискуете остаться хромым. По моим наблюдениям, как вы ходите, у вас трещина кости, а может быть, и перелом. Это безумие — так бояться огорчить отца.

Осмотрев ногу с огромным кровоподтёком, И. наложил гипсовую повязку, приказав Ибрагиму не двигаться. Мне он велел пойти в биллиардную комнату и сказать отцу Ибрагима, что сын его лежит со сломанной, но уже вправленной и забинтованной ногой.

Я с трудом нашёл старого турка. Биллиардных комнат оказалось несколько, и он играл во втором классе, весело смеясь и побивая всех соперников.

Когда я вошёл, он выиграл новую партию у доктора, считавшегося чемпионом в Англии, и торжеству его не было предела. Глаза его сияли, белые зубы ярко сверкали между двумя пунцовыми губами, и во всей фигуре светилось детское удовольствие. Казалось, весь мир для него сосредоточивался в шарах и кие.

Когда он увидел меня, всё его веселье моментально исчезло.

— Что-нибудь случилось? — тревожно спросил он.

— Особенного ничего, — сказал я, стараясь сделать беззаботный вид. — И. послал меня к вам, так как ни ему, ни мне сейчас нельзя побыть около вашего сына...

Мне не пришлось договорить. Он бросил кий и стремглав полетел из комнаты, через несколько ступеней шагая по крутой лестнице.

Я едва успел крикнуть сопровождавшему меня Верзиле: «Задержи!» Чувство тоски сжало моё сердце: я опять не сумел выполнить возложенной на меня задачи.

И., отправляя меня за отцом, напомнил мне о безумной любви его к сыну. Дал наставление стараться подготовить его к болезни сына и привести в каюту только тогда, когда он сможет спокойно войти к больному сыну и не потревожит его своим криком и беспокойством. Я очень хорошо всё понял, но вышло, что всё моё понимание было теоретическое, а практика выказала моё бессилие повлиять на сердце человека и подать ему мир.

Я помчался по лестнице, но, сколько ни спешил, достиг её конца только тогда, когда Верзила, услышавший моё «задержи», широко расставив ноги и руки, загородил своей колоссальной фигурой путь турку.

Скандал готов был уже разразиться. Турок, похожий на разъярённого быка, готовился броситься на Верзилу. Он был страшен. Бледное лицо, выкатившиеся глаза, трясущиеся губы и поднятые сжатые кулаки так преобразили его, что я едва не превратился в «Лёвушку — лови ворон». Я уже было растерялся, но вдруг точно какая-то сила толкнула меня, я юркнул мимо поднятых рук турка и взлетел на ступеньку выше его, повернувшись к нему лицом. И в ту же минуту тяжёлый, как молот, кулак упал на мою голову, защитившую солнечное сплетение Верзилы, куда удар предназначался и где он был бы смертелен. Что же касается моей головы, то удар был силён, но ослаблен чьей-то рукой, задержавшей в последний момент кулак турка. Я пошатнулся, но устоял на ногах, поддержанный Верзилой.

Взглянув на боровшегося с пришедшим в бешенство турком, я узнал в своём спасителе капитана.

Капитан уже готовился свистнуть и вызвать команду, чтобы связать турка, как сильные руки И. схватили обе руки турка, и на непонятном языке он тихо, но внятно и повелительно сказал турку только два слова.

Точно молнией сражённый, турок опустил голову и руки. Лицо его смертельно побледнело, и две огромные слезы скатились по щекам.

И., повернувшись к капитану, со всей свойственной ему обаятельной вежливостью и воспитанностью, приносил ему глубокие извинения за припадок дикого бешенства своего друга турка. Он объяснил ему, что вызван был этот пароксизм беспокойством за сына, который сейчас очень болен, и отец, потеряв голову, вообразил, что сын его умер и его не допускают к трупу.

— Я могу понять, что необузданный темперамент не закалённого воспитанием человека может привести к полной неуравновешенности. Но дойти до драки с младенцем — это та граница, где здоровый мужчина должен быть рассматриваем, как преступник, — ответил капитан, весь бледный, вытянувшись во весь свой высокий рост, но совершенно спокойным звенящим голосом.

Тут я объяснил капитану, что турку и в голову не приходило бить меня. И я изложил всю ситуацию, признав себя всецело виновным в неумении подготовить отца к болезни сына, чем я и вызвал весь грубый инцидент.

— Это, мой юный друг, не инцидентом называется, а немного иначе, — ответил мне капитан, нежно проводя прекрасной рукой по моей бедной голове. — Я пробледен, Лёвушка? Я очень хотел бы, чтобы ты осторожно сошёл с капитаном в сад подышать в тени. Как мне тебя ни жаль, но при разговоре моем с Жанной — до прихода того купца, который даёт ей магазин, — тебе надо присутствовать. Я бы и вас очень просил побыть с нами этот час, капитан, так как я предвижу, что Жанне будет очень тяжело перестраиваться на новую жизнь одиноко трудящейся женщины. К сожалению, о её дяде пока я ничего не узнал. Есть сведения, что он заболел и уехал к родственникам в провинцию. Но дальнейших следов нет никаких.

Капитан очень охотно согласился проводить меня в сад и вернуться со мной обратно. И. спросил нас, не протестуем ли мы, чтобы нам пропустить обед и только совсем вечером поужинать. Мы согласились и, спускаясь в сад, встретили обоих турков. Молодого мы захватили с собой, а старший прошёл к И.

Молодой турок ходил ещё плохо, опираясь на палку, но большой боли в ноге и спине не испытывал. Он нам составил целый план, что надо осмотреть в Константинополе. Я пришёл в восторг от ряда исторических мест, которые он называл в самом городе и окрестностях, но подумал, что и половины, вероятно, осмотреть не успею.

Мне очень хотелось услышать от И. о брате и нашей дальнейшей судьбе, но... не в первый раз за эти дни я учился уроку терпения и самообладания.

Приближался ранний вечер, когда слуга от имени И. пришёл звать нас пить чай. Чай был сервирован с не меньшей тщательностью, чем завтрак, заказанный капитаном. В большой комнате И. стол сиял серебром и всевозможными восточными сладостями.

Как только мы вошли, И. отправился сам звать Жанну. Он не возвращался довольно долго, я начинал уже беспокоиться и раздражаться, как наконец они вошли, продолжая начатый разговор, очевидно, не очень радостный для Жанны.

Она теперь была в скромном синем платье, выделявшем особенно резко её бледность. Кивнув мне и капитану головой, она поздоровалась с обоими турками и села на указанное ей И. место. Сам И. сел рядом с нею, мы с капитаном напротив них, турки по краям стола, а место с левой стороны Жанны было пусто.

Не успели мы занять свои места, как в комнату вошёл, слегка постучав, высокий старик, совершенно седой, худой, красивый, с довольно резкими чертами лица.

И. встал ему навстречу, познакомил его со всеми и указал ему место рядом с Жанной. Он рекомендовал его нам Борисом Фёдоровичем Строгановым.

Приглядываясь к Строганову, я никак не назвал бы его русским. Типичное лицо турка с горбатым носом, большими чёрными глазами и бровями, бритое, скорее похожее на лицо актёра, чем на купца.

Завязался общий разговор, в котором Жанна не принимала никакого участия. На её лице я заметил следы слёз и пудры и покрасневшие щеки. Всем сердцем я сострадал бедной женщине и печалился, как трудно перелить энергию из одного сердца в другое. Все сидевшие за столом, я был уверен, собрались только для того, чтобы помочь ей. И всё же общая воля так мало помогла её самообладанию.

Я так пристально впивался взглядом в Строганова, что он, смеясь, сказал мне:

— Бьюсь об заклад, что вы, молодой человек, писатель.

Все рассмеялись, а я с удивлением спросил:

— Почему вдруг вы сделали такой вывод?

плохо воспитан, что я почти постоянно чем-нибудь раздражён, я лучше других понимаю Жанну.

— Нет, друг. Ничего общего нет в твоей и её невоспитанности. Ты только неопытен и ещё не умеешь владеть ни своим темпераментом, ни своими мыслями. Но круг желаний, идей, мир высоких стремлений, где ты живёшь, — всё вводит тебя в число тех счастливых единиц, которые достигают на земле уменья принести пользу своим братьям. Рано или поздно ты найдёшь свой индивидуальный, неповторимый и невозможный для другого путь и внесёшь в жизнь что-то новое — я уверен, — большое и значительное для общего блага. Что же касается Жанны, то дай ей Бог, чтобы её беспредельное личное страдание раскрепостило в ней хотя бы её материнскую любовь и помогло бы стать матерью-помощницей и защитницей своих детей, а не матерью-тираном. Есть много случаев, где выстраданное горе матери обращается в тиранию и деспотизм к детям! Причём она сама убеждена, что её любовь — высочайший подвиг.

Я смотрел во все глаза на капитана. Лицо его было прекрасно. На нём лежала печать такой глубокой сосредоточенности, которую я видел только на лицах И., Флорентийца, Али.

Моё молчание заставило его повернуться ко мне.

— Что ты так смотришь на меня, мой мальчик, мой брудершафт? Что нового увидел ты во мне? — сказал он, мягко и нежно касаясь моего плеча.

— Я не только что-то новое увидел в вас, но я понял, что вам необходимо познакомиться с моим другом Флорентийцем. Это самый великий человек, которого я до сих пор видел. Даже И., которого вы выделяете среди всех, не может быть сравним с ним. Хотя И. — я признаю всем сердцем — для меня недосягаемый идеал высоты и доброты. Вы, не зная моего друга Флорентийца, сказали уже дважды те слова, которые я слышал от него. О, если бы была возможна для меня такая минута счастья, когда я мог бы привести вас к нему.

Незаметно для нас на балкон вошёл И.

— Ну, кажется, вы не скучаете в обществе друг друга. Но почему я не вижу здесь Жанны? Я условился с ней, что она подождёт меня у тебя, Лёвушка, и я расскажу ей, где и как состоится её свидание по шляпному делу. Неужели два таких элегантных кавалера не оказались на высоте, чтобы рассеять бурю тоски одной дамы? — спросил он, пожимая нам руки и улыбаясь.

— Нет, — ответил капитан. — Дама заставила меня поучиться смирению. Даже цветы мои были оставлены. А хитро обдуманное меню и вовсе не имело успеха. Думаю, что я-то и лишил даму аппетита и хорошего настроения. Если бы не ваше распоряжение не покидать Лёвушку, я бы, пожалуй, сбежал с поля брани.

— Жанна очень огорчила меня. Я снова не сумел быть тактичным, И., и снова внёс в её жизнь расстройство, а так хотел принести мир. Должно быть, только чёрным женщинам может улыбаться перспектива радостных и простых отношений с таким ротозеем, как я, — иронически сказал я И.

— Это ещё что за чёрные женщины? — вскричал капитан.

— Это первая, очень памятная встреча Лёвушки с чёрной женщиной в Б., — сказал И. — Он впервые увидел элегантную и образованную чёрную женщину не на картинке, а в семье одного моего друга и был потрясён, — ответил ему И. — Ты что-то

шу вас, Лёвушка, пройдите к молодому больному и побудьте с ним, пока мы разберём всё происшедшее в моём кабинете.

— Я умоляю вас, капитан, — прошептал я, схватив его руку обеими своими, — не придавайте значения всему происшедшему. Я ведь совершенно ясно объяснил вам, что причиной всему только я один. Помогите расхлебать всю кашу, — сейчас мы начнём привлекать внимание публики. Ведь вы выпили со мной брудершафт, а сейчас говорите мне «вы». Неужели ваша любовь ко мне была похожа на те цветы, что вянут сразу от грубого прикосновения.

Должно быть, мой вид и голос были жалостливы; капитан чуть улыбнулся, велел Верзиле проводить меня в каюту турок и оставаться при мне, пока не вернётся И.

Обратившись к турку и И., он пригласил их следовать за ним.

Казалось, рука капитана задержала и ослабила до минимума удар по моей голове; тем не менее шёл я плохо, сильно опираясь на Верзилу, и с большим трудом опустился в кресло. Всё плыло перед моими глазами, мне было тошно, и я сознавал, что едва удерживаюсь от стона.

Не могу определить, долго ли я просидел в кресле и где я сидел. Мне чудилось, что снова разыгралась буря, что меня бросает волной, что я вижу чудесное лицо склонившегося надо мной моего дивного друга Флорентийца...

Я проснулся, чувствуя себя сильным и здоровым, и первое, что я увидел, было печальное и расстроенное бледное лицо старшего турка, сидевшего подле меня.

— Что-нибудь случилось? — спросил я его, совершенно забыв все предшествовавшие обстоятельства.

— Слава Аллаху! — воскликнул он. — Наконец-то вы очнулись, и я не чувствую себя больше убийцей.

— Как убийцей? Что вы говорите? Почему я здесь? — спрашивал я, видя себя в каком-то новом месте. — Где И.? Что же случилось? — продолжал я, пытаясь встать и начиная беспокоиться.

— Ради Аллаха, лежите спокойно и не разговаривайте, — сказал мне турок. — От моего несчастного удара у вас поднялся жар, бред, рвота и вас перенесли сюда. Здесь же лежит и сын мой, у которого началась гангрена ноги. Три дня И. не отходил от обоих вас. Часа три назад он объявил обоих вас вне опасности и оставил меня караулить вас. Не пытайтесь встать. Вы привязаны ремнями к койке, чтобы дать вам наибольший покой. И. приказал мне, если вы проснётесь раньше его возвращения, ослабить ремни, но не позволять вам двигаться. Лёвушка, простите ли вы мне когда-нибудь моё ужасное поведение? Не в первый раз в жизни я дохожу до полной потери контроля над самим собой. И каждый раз причиной моего бешенства является любовь. Когда капитан хотел посадить меня в карцер за драку на пароходе и я пытался ему объяснить, что любовь к сыну свела меня с ума, он очень иронически спросил меня: «Кому нужна такая любовь, которая несёт всюду ревность, скандал и тяжесть, вместо радости и облегчения жизни?» Я всё понимаю. Понимаю сейчас и ужас такого положения, когда сын, мною обожаемый, боится меня, скрывает даже боль свою — значит, не видит друга во мне...

— Напрасно, отец, ты так думаешь, — раздался внезапно голос с соседней койки. — Я по глупости скрывал от всех свою рану, думая, что всё быстро пройдёт. Тебя же, зная хорошо, как ты выше всех достоинств в человеке ставишь его полное самооб-

ладание, я хотел оберечь от лишнего разочарования в самом себе; потому что я хорошо знаю, как сводит тебя с ума всякая тревога за любимых. Именно моя преданная дружба к тебе как к человеку высоких качеств, помимо моей любви к тебе как к отцу, заставила меня скрывать от тебя свою рану. Я много раз убеждался, как я не умею ни в чём подойти к тебе так, чтобы не раздражать тебя. Сам же я, — ты знаешь, отец, — никогда не теряю самообладания, никогда не повышаю голоса. И несмотря на это, не умею вылить своей любви и дружбы к тебе в такие внешние формы, чтобы не раздражать тебя. Только одна мать умеет говорить с тобой во все моменты жизни...

Молодой турок замолчал, и на лице его, которое я теперь хорошо различал, отразилось мечтательное выражение, глаза его блестели от слёз. Очевидно, образ матери, перед которой он благоговел, увёл его мысль далеко, в воспоминания о высоком духе героически живущей женщины.

Я представил себе эту женщину, прожившую свою жизнь рядом с такой пороховой бочкой, как старший турок. Я невольно сравнил свой характер с его и понимал, глядя со стороны, как тяжелы невыдержанные, дурно воспитанные люди в простой обиходной жизни дня.

Я стал «Лёвушкой — лови ворон», мысль моя улетела в неведомые дали. Я представил себе никому не известную женщину, умевшую — среди ежедневного хаоса и бурь страстей — так воспитать сына, как был воспитан и выдержан молодой Ибрагим. «Кто она, эта мать? Какой она веры? Нации?» Внезапно я был разбужен от моих грёз печальным голосом старшего турка, имени которого я до сих пор не удосужился узнать.

— Мать, мать! Ах, если бы ты, сынок, знал, сколько выстрадала твоя мать в своей молодости от моих буйств ревности! Сколько раз я грозил ей ножом! Но в ней никогда не было страха; она только защищала тебя, чтобы ты ничего не видел.

Дверь внезапно и резко растворилась. Я увидел вошедших капитана и И. Лица обоих были по обыкновению энергичны, но не по обыкновению бледны и суровы. И. склонился ко мне и ласково спросил:

— Слышишь ли ты меня, Лёвушка?

Я улыбнулся ему, хотел поднять руку, чтобы пожать его руки, которыми он коснулся моей головы, но ремни мешали мне шевелиться. Мне казалось, что я громко смеялся, когда ответил ему: «Слышу». На самом деле я едва прошептал это слово и чувствовал себя очень утомлённым.

— Видишь ли ты, Лёвушка, кто со мной пришёл? — снова спросил он меня.

— Вижу, мой брудершафт, капитан, — ответил я. — Только я почему-то очень устал.

И помимо моей воли меня стала одолевать раздирающая зевота, которую я не имел сил прекратить.

— Я вас просил посидеть с больным в полном молчании. Я объяснил вам, как опасно для обоих малейшее волнение, — услышал я суровый голос И.; так сурово говорил он, как я ещё ни разу не слыхал. — А вы, друг, снова не оказались на высоте выдержки, снова думали о себе, а не о них.

Тут я взмолился, чтобы меня повернули и дали заснуть на боку. Нежно, ласково, как я не мог ждать от капитана, он склонился надо мной и стал уговаривать меня, как ребёнка, полежать ещё немного на спине, потому что мы будем сейчас входить в

— Здесь не в твоём бессилии дело, а в отсутствии настоящего образования и воспитания, которые могли бы помочь в такой тяжкий час жизни испытаний женщины. Ей надо стать женщиной-героиней, а она сейчас только женщина-жена, мать-обывательница. Это не значит, что она не сможет когда-то войти в иной круг идей и мыслей. Но её борьба за своё личное счастье, за личную жизнь будет ужасна. Пока она откажется от любви для себя и начнёт жить для детей, — она пройдёт ад страданий. Вот этому-то её страданью я и поклонился так низко сегодня, — задумчиво сказал капитан.

— Неужели, любив однажды, любив до самозабвения, потеряв рай сердца, надо снова искать его? Мне думается, я или любил бы сто раз, — и так, не любя по-настоящему, прожил бы свою жизнь, — или, любя однажды всем существом, не мог бы больше приблизиться ни к одной женщине, — отвечал я.

— Мне не судить. Я прожил уже половину жизни, быть может, большую. И я не знал ещё такой минуты, когда я хотел бы сказать: «Мгновенье, остановись!» Я видел такое неисчислимое количество страданий всюду, где люди одержимы страстями и не могли стать господами своих мыслей и сердца.

Речь капитана была прервана стуком в дверь, и на приглашение войти в комнате появилась высокая фигура князя.

Пользуясь правом больного, я лежал на кушетке под спущенным тёмным полотном балкона, а капитан встретил князя и усадил его подле меня, радушно ему улыбаясь и пожимая руку.

Князь объяснил, что был на пароходе, искал капитана, чтобы поблагодарить его за помощь, оказанную его больной жене, а также за отличный, нанятый по его указанию дом. Не застав капитана, князь пришёл к нам не только благодарить за помощь, но и просить навестить его больную жену.

Вид князя был неважен. Одет он был элегантно, но лицо его было желто, глаза воспалены, и вся фигура говорила о большом истощении и нервном расстройстве.

Капитан, улыбаясь, сказал, что очень сожалеет, что он не доктор, а то, наверное, предписал бы постельный режим не жене, а мужу. Я уверил князя, что И. непременно зайдёт к нему. Но вряд ли это может случиться сегодня, так как он ушёл рано утром и обещал быть к вечеру, но и вечером у него сегодня дела.

Посидев с нами около часа, князь просил разрешения зайти завтра утром, чтобы узнать, в какое время И. мог бы навестить его жену.

Не успели мы обменяться впечатлениями о Константинополе, как снова раздался стук в дверь, и две синьоры Гальдони с букетами роз вошли к нам. Обе сияли радостью. Разговор их был жив и весел, они пригласили меня, И. и капитана навестить их в их прекрасном посольском доме. Капитан сказал, что состоит сиделкой при мне, заменяя Верзилу, что И. уверяет, будто мне раньше двух-трёх дней двигаться нельзя, но что после этого срока он обещает доставить меня к ним.

От посещения итальянок повеяло хорошим тоном, хорошим обществом. А прелестные, бездонные и добрые глаза молодой будили в сердце лучшие чувства, проникая в самую глубину очарованием женственности.

— Вот чего не хватает бедной милой Жанне, — сказал я. — Она лучше многих, многих, а только не умеет владеть собой, так же как и я. Именно потому, что я так

— Позвольте вас познакомить с моим другом, которого вы знаете как капитана, но не знаете как удивительного собеседника и очаровательного кавалера, — сказал я ей, воспользовавшись паузой в её речи.

Жанна так безотрывочно смотрела на меня, что не заметила капитана, стоявшего в стороне, у стола. Капитан, улыбаясь, подошёл к ней и подал ей белую и красную розы. Наклоняясь к её руке, он приветствовал её, как герцогиню и, предложив руку, провёл к столу.

Когда мы сели за стол, я не узнал Жанны. Лицо её было сухо, сурово; я даже не знал, что оно может быть таким.

Я растерянно посмотрел на капитана и почувствовал себя совсем расстроенным. Но на лице капитана я не прочёл ровно ничего. Это было тоже новое для меня лицо человека, воспитанного, вежливого, светского мужчины, выполняющего свои светские обязанности по отношению к даме за столом. Лицо капитана улыбалось, его жёлто-золотые кошачьи глаза смотрели добродушно, но я чувствовал, что Жанна скована бронёй его светскости и не может выйти больше из рамок, которые он ей сразу поставил.

Все её надежды повидаться со мной наедине и сердечно поделиться мыслями о новой жизни разлетелись от присутствия чужого человека, да ещё такого важного, в ореоле мощи и власти, каким окружён всякий капитан в море.

Односложные ответы Жанны, её нахмуренный вид и плохая воспитанность превратили бы всякий завтрак в похоронный обед. Но выдержка и мастерство речи капитана заставили меня смеяться до слёз. Жанна поддавалась туго юмору; но всё же к концу завтрака стала проще и веселее. Капитан, извиняясь перед нами, вышел заказать какой-то особенный кофе, который мы должны были выпить в особенных чашках на балконе.

Воспользовавшись минутой, Жанна сказала мне, что вечером состоится у неё свидание с другом турка, который предоставит ей магазин с приличной квартирой на одной из главных улиц, чтобы открыть шляпное дело. Она снова и снова говорила, что приходит в ужас от одиночества и страха за свою и детей судьбу.

Я успел только сказать ей, что И. никогда её не оставит, что я и он — её друзья всегда, где бы мы ни были. Но я мало успел в её утешении, боясь сказать какое-либо неловкое слово.

Вернувшийся капитан принёс нам чудесных апельсинов, вскоре явился и знаменитый кофе. Но Жанна сидела как в воду опущенная и ушла отказавшись от фруктов. Я упросил её отнести детям по апельсину, а предложенные ей капитаном цветы она оставила на столе. Капитан проводил её до дверей; глубоко поклонясь ей, пропустил её в дверь и запер её за нею.

Возвратясь ко мне на балкон, он взял обе подаренные им Жанне розы в руки, вдохнул их аромат и, рассмеявшись, сказал:

— Нечасто в жизни мне приходилось терпеть поражение на дамском фронте. Но сегодня даже мои цветочки, не только я, потерпели фиаско.

— Я совсем расстроен, — ответил я ему. — Даже голова моя разболелась. Почему-то я думаю, что бедняжка теперь плачет. И право, мне очень жаль, что я так бессилен ей помочь.

гавань и нас немного покачает. Но мы вскоре пристанем к отличному молу, будет совершенно спокойно, и меня отвяжут и посадят.

Он протянул руку к И., взял у него рюмку с лекарством и поднёс её к моим губам, так осторожно приподняв мою голову, как будто бы она могла рассыпаться.

Я выпил, хотел улыбнуться ему, но меня одолевала зевота, а потом я вдруг куда-то провалился, должно быть, заснул.

Очнулся я в нашей каюте. Возле меня сидел Верзила и, что меня необычайно поразило, я увидел уже выходившую женскую фигуру, переступавшую порог нашей каюты. Мне показалось, что это была Жанна. По глупой и добродушной роже моего няньки-верзилы я понял, что то была она. На его лице было столько юмора, забавного счастья, что какая-то красотка обо мне страдает, что я расхохотался. На этот раз это действительно был громкий смех.

— А, возврат к жизни моего храбреца также выражается смехом, — услышал я звенящий голос капитана. — Здравствуй, дружок. Наконец-то ты выздоровел. Стой, стой! Экий ты, брат, горячка! Лежи, пока И. не придёт, — продолжал он, не давая мне вставать.

Но я, всё смеясь, начал бороться с ним. Капитан принялся умолять меня не возиться, на лице его появилось выражение беспокойства и тревоги.

— Ты ведь сам понимаешь, что после такой серьёзной болезни надо быть очень осторожным, мой дорогой. Лежи смирно, я пошлю за И., и тогда ты сможешь, наверное, встать.

Капитан отдал приказание вытянувшемуся в струнку Верзиле отыскать доктора И. и попросить его немедленно в каюту.

Тем временем капитан, отвечая на мои вопросы, сказал мне, что сегодня уже пятый день моей болезни и что к вечеру мы будем в Константинополе.

Я был сбит с толку. Мысли не связывались в сплошную ленту событий, я не помнил мелькавших суток, только эпизод на лестнице, удар, ещё эпизод в лазарете, — вот всё, что удержала моя память.

И. всё не шёл, и капитан рассказал мне, что И. очень тревожился за моё зрение и слух, и даже посылал телеграмму лорду Бенедикту в Лондон и в Б. каким-то врачам, прося их советов и помощи; и что из Б. он получил очень быстро ответ и относительно успокоился. Но из Лондона ответ пришёл только вчера, и после этой телеграммы меня перенесли сюда, и И. перестал совсем волноваться за моё выздоровление.

Тихо и ясно стало у меня на сердце. Я понял, что И. посылал телеграммы сэру Уоми и Флорентийцу. И эти незаслуженные мною заботы привели меня в состояние благоговения перед расточаемым мне вниманием.

Я хотел спросить капитана, не говорил ли ему И., есть ли известия о моём брате. Но мысль о маленьком слове «такт», которое говорил мне Флорентиец, удержала меня.

Послышались быстрые, лёгкие шаги, которые я узнал, и никто и ничто не могло меня больше удержать. Я вскочил как кошка и бросился на шею моему спасителю — И.

— Безумец, Лёвушка! Задушишь! — кричал мне И., и вместе с капитаном они уложили меня снова в постель.

— Да что вы в самом деле! Я не могу больше лежать! — кричал я.

— А сердце твоё стучит молотом, потому что ты его сейчас переутомил, — ответил мне И. — Тебе можно только сидеть в кресле на палубе, но ходить нельзя будет даже в Константинополе дня два-три. Если хочешь быть мне помощником в деле устройства жизни Жанны и её детей, надо выдержать характер и быть послушным предписаниям врачей. А их предписания именно таковы.

Он значительно посмотрел на меня и сказал, что кроме Жанны, двух синьор итальянок и семьи греков, которые все жаждут меня видеть и которым всем надо будет помочь в налаживании их жизни, надо ещё повидаться с молодым князем и оказать ему наибольшую помощь и поддержку.

— Ты сам понимаешь, что один я не могу выполнить всего этого. Чтобы быть мне настоящим сотрудником, ты должен забыть о своих личных желаниях и думать только об этих несчастных людях. Каждый из них несчастен на свой лад, но все одинаково страдают от своих страстей.

Капитан хмурился. Наконец он спросил И.:

— Скажите, друг, по каким же законам Божеским и человеческим вы лишаете личного счастья эту молодую жизнь? Неужели так ему и возиться всё с чужим горем, вместо того чтобы веселиться и жить простой жизнью семьянина и учёного? Ведь он имеет все качества к тому, чтобы сделать отличную карьеру. Отдайте его мне. Он будет мне братом, будет моим наследником. Англия — чудесная страна, где каждый живёт для себя и, не страдая болезнью собирания чужих горестей в свои карманы, не мешает жить другим.

— Лёвушка — взрослый и свободный человек. Он имеет полное право выбирать себе любой путь. Если он выразит желание следовать за вами, а не за мной, вы можете хотя бы сию минуту перевести его в свою каюту, — ответил И.

— Лёвушка, переходи ко мне. Мы поедем в Англию. Я не женат. Ты будешь богат. Мой дом — один из лучших среди старых дворянских домов. Моя мать и сестра — очаровательные женщины; они обожают меня и примут тебя как родного. Ты будешь свободен в выборе карьеры. Не бойся, я не навяжу тебе карьеры моряка, как и той невесты, какую ты не будешь любить. Не думай, что Англия не сможет быть тебе родиной. Ты полюбишь её, когда узнаешь, и всё, чего ты будешь хотеть, — всё: науки, искусство, путешествия, любовь, — всё будет доступно тебе. Ты будешь счастлив и свободен от всяких обязательств, в каких тебя воспитывают сейчас. Живёт человек один раз. И ценность жизни — в личном опыте, а не в том, чтобы забыть о себе и думать о других, — говорил капитан, медленно шагая по нашей большой каюте.

— Много бы я дал, ах, как много, чтобы быть в Лондоне в эти дни, — сказал я. — Но быть там, мой дорогой друг, я хотел бы именно затем, чтобы забыть о себе и думать о других. А потому вы сами видите, как невозможно нам сочетать наши жизни, хотя я вас очень люблю, вы очень мне нравитесь. И нравитесь не потому, что я отвечаю вам благодарностью на ваше чудесное ко мне отношение. Но потому, что в сердце моем застрял крепко ваш образ, ваше глубокое благородство, храбрость и честь. Но путь мой — единственный счастливый для меня, — это путь жизни с И. Я встретил великого человека не так давно, которого полюбил и которому предан теперь навек... О, если бы я мог вас познакомить с ним, как был бы я счастлив! Я знаю,

Убедившись в моём полном благополучии, он предложил мне выпить кофе на балконе моей комнаты в компании капитана, который уже меня ждёт. А затем завтракать в обществе Жанны, молодого турка и того же капитана, пока он, И., будет со старшим турком хлопотать о делах Жанны.

Я понял, что И. не хочет говорить в присутствии капитана о тех делах наших, для которых мы, собственно, и приехали сюда. Но что он шёл справляться о делах брата, я не сомневался.

Оставшись вдвоём с капитаном, я ещё больше имел возможность убедиться в разносторонности и образованности этого человека. Мало того, что он видел весь земной мир, совершив кругосветное плавание несколько раз, — он знал характерные стороны жизни каждого народа и говорил почти на всех языках. Необыкновенная наблюдательность и чисто морская бдительность внимания, выработанная постоянным ожиданием внезапных сюрпризов вероломного моря, приучили его к наблюдению над людьми и почти безошибочному пониманию их. Я был поражён, как метко и тонко охарактеризовал он И., как угадал некоторые черты моего характера. О Жанне он сказал мне нечто, что поразило меня. По его мнению, Жанна была сейчас на грани психического заболевания от перенесённого потрясения.

— Женщина, — сказал он мне, — в минуты величайшего горя редко может оставаться одна. Она, сама того не сознавая, тянется к человеку, оказавшему ей ласку и внимание, чтобы хотя бы несколько затушить пожар раздирающей страсти от потери любимого. И мужчине, честному джентльмену, надо быть и очень осторожным, и очень внимательным в своих словах и поступках, чтобы не создать себе и ей ложного положения. Не раз в жизни я видел, как утешавший женщину в горе мужчина попадал в безвыходное положение. Женщина обрушивалась на него всей тяжестью своего страдания, привязываясь так крепко, что приходилось или жениться, или бежать, причинив ей новое страдание.

Эти слова причинили мне боль. То же или почти то же говорил мне И. Я невольно примолк и задумался, как трудно мне ещё разбираться в гуще человеческих чувств, как мне всё кажется простым, а на самом деле таит в себе везде шипы и занозы.

Речь перешла на Жанну, которая должна была завтракать с нами. Капитан вызвал метрдотеля, заказав ему в моей комнате тонкий французский завтрак, более похожий на обед, на три персоны и велев украсить стол розами, а я просил достать только красных и белых.

К часу дня стол был сервирован, я написал Жанне записку, прося пожаловать ко мне завтракать. Через несколько минут раздался стук в дверь, и тонкая фигурка Жанны в белом платье обрисовалась на фоне тёмного коридора.

Я встретил мою гостью у самого порога и, поцеловав ей ручку, пригласил её к столу. Я ещё не видел Жанну такой сияющей, розовой и весёлой. Она сразу забросала меня вопросами и о моём здоровье, и об И., и о том, как долго мы будем в Константинополе — я не знал, на какой из вопросов отвечать.

— Я так рада, так рада, что проведу с вами сейчас время. Мне надо тысячу дел вам сказать и ещё тысячу у вас спросить. И я никак не имею к этому возможности.

Глава 16

В Константинополе

Одно из ошеломивших меня впечатлений — был поздний вечер в Константинополе. Необычный говор, суета, мелькание фесок и гортанные выкрики, пристающие со всех сторон представители отелей, шум невиданных мною чудных фиакров — я одурел и, наверное, потерялся бы, если бы моё внимание не привлекла группа Жанны с детьми в сопровождении доктора и двух итальянок, которых встречали их сановитые родственники, — и все они ждали нас на берегу.

Жанна поспешила мне навстречу, ласково прося И. разрешить ей ухаживать за мной, пока я болен, и хотя бы этой ничтожной услугой отплатить нам за всё наше внимание.

Я рассмеялся, ответив ей, что я совершенно здоров и только из любви и уважения к И. подчиняюсь его распоряжениям, разыгрывая из себя мнимобольного.

Тут итальянки познакомили нас со своими родственниками, и важный посол предложил И. поместить меня в его тихом доме. Но И. отказался категорически, уверив всех, что мне даже полезен шум, что мне не следует только двигаться.

Высказав сожаление, что я не поеду с ними, итальянки простились с нами, обещая завтра навестить нас в нашем отеле, и уехали.

Мы шли все вместе с Жанной и детьми, пешком, очень медленно и очень недолго. Турки уже поджидали нас у подъезда отеля, где заказали нам и Жанне комнаты на одном этаже.

Только когда мы поднялись на свой этаж, я заметил, как осунулась и изменилась Жанна. На мой вопрос, что её печалит, она прошептала:

— Я пережила такой страх, такой страх, когда вы были больны, что теперь не могу ещё опомниться и часто целыми часами плачу и дрожу.

— Вот видите, как пагубно действует страх, — сказал ей И. — Я ведь несколько раз говорил вам, что Лёвушка выздоровеет. Теперь он здоров, а вас придётся лечить раньше, чем предоставить вам работу.

— Нет, уверяю вас, нет. Я могу завтра же начать работать. Только бы мне знать, что Лёвушка здоров и весел, — ответила Жанна И.

Мы разошлись по своим комнатам. Я сердечно поблагодарил Верзилу за его заботы. И. хотел щедро наградить его, но благородный парень не взял никаких денег. Он успел привязаться к нам за время нашего плавания и просил разрешения навещать нас, пока пароход будет ремонтироваться.

Как я ни хотел сказать себе, что я вполне здоров, но разделся я с трудом, и всё снова плыло перед моими глазами.

Долго ли спал — не знаю, но проснулся я от голосов в соседней комнате. Взглянув на часы, я убедился, что уже проспал раннее утро, было десять часов без малого. Стараясь бесшумно одеться, я неловко задел стул, и на раздавшийся стук И. открыл свою дверь, спрашивая, не упал ли я.

что вы, узнав, оценили бы его и всю жизнь восприняли бы иначе. И тогда мы с вами пошли бы по одной дороге, братски и неразлучно. Благодарю вас за вашу любовь, за ласку и внимание. Я знаю, что вы предлагали мне по вашему пониманию освобождение, потому что думаете, что я в кабале и иге высших идей. Нет, я совершенно свободен; правду сказал И. Я счастлив потому, что каждая минута моей бесполезной до сих пор жизни отдана на спасение моего родного брата-отца, брата-воспитателя, единственного существа, которое я имею в мире, как кровную и личную привязанность. Ему грозит преследование и смерть; и я стараюсь замести его следы и с помощью его и моих друзей направить преследователей по ложным путям. Я пойду до конца, хотя бы гибель моя была близка и неизбежна. И пока я живу, я буду стараться видеть страдания людей и наполнять ими, как вы выражаетесь, свои карманы.

Капитан молча и печально смотрел на меня. Наконец он протянул мне руку и сказал:

— Ну, прибавь же тогда в один из своих карманов и мою горечь жизни. Всё, чего бы я в жизни ни пожелал, — всё рушится. Была невеста — изменила. Был любимый брат — умер. Было счастье семьи — отец нас оставил. Было честолюбие — дуэль помешала высокой карьере. Встретился ты — не вышло братства. Твои карманы должны быть бездонные. Люди — существа эгоистичные. И если только видят, что кто-то готов переложить их горести на свои плечи, садятся на них вразвалку и хватают за волосы...

Он помолчал и продолжал тихо и медленно, обращаясь к И.:

— Если моя помощь может быть полезна вам или вашему брату, — вы оба располагайте мною. У меня нет привязанностей таких, которые наполняли бы целиком мою жизнь. Я гонялся за ними всю жизнь, но они улетали от меня как иллюзии. Я совершенно свободен. Я люблю море потому, что не жду от него постоянства и верности. Вы верны своей любви к брату и к какому-то другу. Вы счастливее меня. У меня нет никого, кто бы нуждался в моей верности. Мои родные легко обходятся без меня.

— Вы очень ошибаетесь, — вскричал И. каким-то особенным голосом. — Разве вы не помните маленькую русскую девушку, которая любила вас до самозабвенья? Скрипачку, даровитую, которую звали Лизой?

Капитан остановился поражённый как громом.

— Лиза!? Лизе было четырнадцать лет. Было бы наивно думать, что это было серьёзно. Там была тётка, которая преследовала меня своей любовью. Мне смешна была старая фея, и меня забавляла маленькая ревнивица. Но я никогда не позволял себе играть её чувствами и замыкался в самую ледяную броню вежливости и воспитанности. Но не спорю: будь обстоятельства более счастливые — я мог бы увлечься этим существом.

— А это существо не расстаётся с вашим портретом и ищет всех возможностей встретить вас. Не по её вине, а по вине огромной семейной трагедии она не едет сейчас на вашем пароходе и именно в этой каюте.

— Не может этого быть, фамилия Лизы была иначе. А эта каюта была снята графиней Р. из Гурзуфа, — сказал капитан.

— Да, но вы встретили Лизу на курорте под фамилией её тётки. Но можете мне верить, не кто иной, как Лиза, — графиня Р. И если вы честно сознаёте, что могли бы любить девушку, поезжайте в Гурзуф и повидайтесь с Лизой. Это ценная жизнь, которую надо спасти, и где вам предоставляется случай, не забывая о себе, помочь человеку пройти свой жизненный путь в большом счастье. Есть люди однолюбы. Лиза из них. И ничто — ни её богатство, ни её талант — не сможет дать ей счастья, если сердцу её не будет ответа. Не будьте жестоки или легкомысленны. Вы ведь играли девушкой, думая, что её любовь мимолётна. А на деле оказалось, что жизнь её уже разбита. И если вы не поспешите, её здоровье может пошатнуться.

Границ моему изумлению не было. А я-то раздумывал, люблю ли я Лизу, как относится она ко мне. Теперь мне припомнились некоторые лёгкие подробности в поведении Лизы и её прощальный пристальный взгляд, которым она провожала И. в Ялте. Очевидно, она доверила тайну своего сердца И.

Капитан долго молчал. И никто из нас не нарушал этого молчания.

— Странно, как всё странно, — наконец вздохнув, сказал он. — Как чудно, что в нашей жизни всё делается так внезапно, вдруг! Ещё час тому назад мне казалось, что без Лёвушки жизнь моя пуста. Он своим героизмом меня привлёк. Несколько минут тому назад, когда он отказался от меня, я пережил трагедию разочарования и потери. А вот сейчас я точно начинаю прозревать. Я вам верил с самого начала, как-то особенно выделяя вас из всех встреч в жизни, доктор И. Но сию минуту ваши слова точно завесу сняли с моих мыслей, с моего сердца, и я начинаю надеяться на всю полноту жизни для себя. Но какой я эгоист! Я развернул ковёр-самолёт своих мечтаний и забыл о том, что сказал мне Лёвушка. Нет, пока я не помогу вам в вашем и Лёвушки деле, я не начну строить своей новой жизни.

— У всякого свой путь, и пройти хотя бы каплю чужого пути — невозможно, — сказал И. — Мы с вами и с вашей будущей женой Лизой, если вы послушаетесь истинного голоса сердца, встретимся ещё не раз. И каждый раз вы сможете нам оказать дружественную и немаловажную услугу. Сейчас же временно наши пути разны. Предоставьте жизни вести нас так, как она ведёт. И поверьте, что каждый из нас идёт так, как ему лучше, легче, короче прийти к счастью знания. Мы будем вам писать, надеемся, что и вы будете отвечать нам. И если разрешите, я обращусь к вам сейчас с очень большой просьбой. Помогите нам устроить несчастного князя с его женой в каком-нибудь хорошем особняке в Константинополе. Очень трудно будет её переправить с парохода, её можно перенести только на руках. А вы знаете любопытство толпы, и как это будет тяжело и без того несчастному мужу переносить насмешки людей над своей руиноподобной женой.

— Устроить это легче лёгкого, — ответил капитан. — В одной из кают едет греческая семья; да вы их знаете, во время бури вы их лечили. У них есть небольшой дом в большом саду, в котором они не живут, а сдают внаймы. Сейчас этот дом свободен, говорил мне мальчик. Если это так, то я дам вам людей, и они ночью перенесут старуху на носилках в этот дом. Там ей будет хорошо, а он сможет жить спокойно, так как никаких других жильцов может не пускать ни в дом, ни в сад. Это я выясню и пришлю вам сказать. Сейчас я должен идти, времени прошло много.

И, пожав нам руки, капитан ушёл.

Мне не хотелось говорить. И. подошёл к моей постели, присел на стул и взял мою руку, считая пульс.

Он давно уже и пульс сосчитал, и убедился в том, что сердце моё перестало биться ураганно, а всё же сидел, держа меня за руку.

— Мой мальчик! — тихо сказал он. — Мы только начинаем наш путь испытаний, а тебе кажется, что ты страдаешь уже век. Всё, что свалилось на тебя так неожиданно, неужели оно принесло и приносит тебе одно горе, заботы и страданья? Представь себе, что ты был бы благополучен и счастлив возле твоего брата, что всё шло бы нормально для тебя. Разве ты встретил бы Али, Флорентийца и сэра Уоми? Разве ты узнал бы, что есть не только люди-обыватели, ищущие земли и её благ для себя? Но есть ещё и люди, воплотившие в себе весь дух, как огонь творчества сердца, как вечную деятельность любви и мира на общее благо людей? Взгляни в своё сердце сейчас и посмотри, как расширились его границы по сравнению с прошлым! Если бы ты мог заглянуть в сердце Флорентийца, какую мощь красоты ты увидел бы! Каким светом и очарованием показался бы тебе твой летящий день в его присутствии! Всё счастье человека зависит от силы его души, от той высоты, куда он может пройти и заглянуть. Если в тебе звучит чувственная жажда крови и плоти, твои мечты летят над слоями тел, прекрасных и желанных. Если твоя мысль увлекает тебя в пределы любви духовной, ты слышишь звук сердца другого человека, и созвучие твоё с ним складывается не по плотскому подбору, но по силе тех вибраций, что шлёт твоя мощь творящего сердца. Мчись мыслью к Флорентийцу. И если ты сможешь постичь всё величие его мысли и духа, то его любовь будет в силах ответить и твоей любви, и запросам твоей мысли, и твоему творчеству сердца в простом дне. И чем проще, непосредственнее ты будешь лететь своими мыслями к слиянию с его высоким умением жить в простой доброте каждый день, чем ты *спокойнее* будешь *при всех* обстоятельствах жизни, при всех опасностях её, — тем ему будет легче единиться с тобой.

Я не всё понимал, о чём говорил мне И. Многое казалось мне неясным, иное невозможным; но спрашивать я ни о чём не хотел.

Распоряжению И. — лежать на палубе — я охотно подчинился, потому что мне не хотелось видеть никого, а книги брата привлекали меня. Верзила устроил меня на палубе великолепно. И. сел подле меня писать письма, я обложился книгами и... заснул вместо наслаждения ими.

До Константинополя путь мы совершили без всяких приключений. Только прощание с капитаном было трогательно и расстроило меня до слёз. Он подарил мне свой портрет в чудной рамке, оставил свой лондонский адрес и сказал, что утром зайдёт к нам в отель, чтобы побыть со мною, пока И. будет занят делами. Мы горячо обнялись, и с помощью Верзилы и И. я стал спускаться по трапу одним из последних.

больше не текли по щекам, и оно стало более похоже на живое, а не на ужасную, гримасничающую маску.

И. велел мне достать из аптечки два лекарства, смешал их, развёл в них какой-то порошок красного цвета из флакона, которого я ещё не видел и который показался мне золотым. Жидкость, закипев, стала ярко-красной. Я поднял голову княгини, а И. осторожно вливал ей лекарство в рот.

Как только с большим трудом последняя капля была проглочена, княгиня глубоко, облегчённо вздохнула, закрыла глаза и задремала.

Мы все вышли из комнаты, предупредив сестру милосердия, что больная может проспать около суток без просыпу.

Мы снова вошли в кабинет князя, присели на прежние места, и И. сказал:

— У меня к вам просьба, князь. Вы всё время стремитесь отблагодарить нас с братом за оказываемую помощь вашей жене.

— О, нет, не только жене, но и мне вы явились новым смыслом жизни, которую я считал загубленной! — вскричал князь. — Вы ведь не знаете, что порыв заставил меня жениться на моей теперешней жене. Я вообразил, что спасаю её от тысячи новых ошибок. И ни от чего не спас, а оказался сам слаб и попал в презренное и бедственное положение. Вы не знаете...

— Я знаю, — перебил его И., — что вы и благородный, и очень честный, и добрый человек. Вот к этой-то доброте я и хочу сейчас обратиться. Вы, вероятно, слышали, что капитан и мы помогли одной бедной француженке с двумя детьми добраться до Константинополя. Она рассчитывала здесь отыскать своих родственников. Но, я думаю, найти их она не сможет. Здесь мы её оставляем под покровительством одной чудной семьи. Но бедняжка так молода, неопытна и плохо воспитана, что, несомненно, создаст себе много трудностей, из которых ей самой будет, пожалуй, и не выбраться. У неё вспыльчивый, неуравновешенный характер. И ваш такт и доброта помогут ей разбираться в жизненных встречах. Мы вскоре уедем, вам же придётся здесь жить не менее полутора-двух лет, так как движение для вашей жены смертельно опасно. Если вы согласны, пойдёмте с нами к Жанне Моранье. Мы вас познакомим с ней, и я буду спокоен, что у Жанны будет надёжный и честный покровитель.

— Я буду очень счастлив, — ответил князь, — если мне удастся сделать что-либо хорошее для мадам Жанны. Но я сам так мало верю в свои силы и так горько переживаю разлуку с вами. Я готов хоть сию минуту идти к ней. Я буду видеть в ней только то сердце, которому я должен отдать всю мою благодарность вам, и перенесу на неё всю преданность вам.

Расставаясь, мы условились с князем, что завтра после визита к княгине, около полудня, пойдём все к Жанне.

Мы возвратились домой, и я был так утомлён, что немедленно должен был лечь в постель, совершенно ничего не соображая. Мысли мои все спутались, и я не помню, как заснул.

Довольно поздним утром следующего дня я был разбужен стуком в дверь моей комнаты, звенящий голос капитана стыдил меня за леность и поздний сон.

— Я уже сто дел сделал. Мой пароход уже отведён в док для ремонта, солнце успело порядком нажечь улицы, а вы всё нежитесь, будущий великий человек? Я го-

встретили людей, которые были истинно людьми и заботятся сейчас о вас. Это редкостное счастье. Быть может, вы чем-то заслужили особое расположение судьбы, так как и я буду рад помочь вам. Дело в том, что у меня есть двадцатисемилетняя дочь, потерявшая в семнадцать лет жениха и не пожелавшая более выйти замуж. Я очень хотел бы пристроить её к какому-нибудь самостоятельному делу. Если вы можете сначала обучить её вашему мастерству, а потом взять её в компаньонки, то и магазин и оборудование всего дома будет вам стоить вдвое меньше.

Лицо Жанны просветлело. Прелестные губы сложились в улыбку, и она протянула, по-детски доверчиво, обе руки старику.

— Я буду счастлива иметь компаньонку в работе и делах. Я очень хорошо знаю своё дело, и за моими шляпами дамы обычно гоняются. Но в бухгалтерии, в счетах я ничего не понимаю, меня пугает эта сторона. Я была бы счастливее, если бы вы наняли меня к себе служить, а всё дело было бы вашим, — быстро сказала она.

— Это совсем, я думаю, не входит в планы ваших друзей, — ответил ей Строганов. — Как я понял из речи вашего друга и как я сам желал бы для своей дочери, вам надо иметь возможность независимо прожить трудовую жизнь и вырастить детей. Будьте только смелы; в счетах и финансовых делах моя дочь ничего не понимает. Но она хорошо образована, трудолюбива. А я буду первое время руководить вами обеими в ваших финансовых операциях. Всё легко человеку, если он не боится, не плачет, а начинает своё дело легко и смело. Я не раз замечал, что побеждали в делах не те, кто имел много денег, но те, кто легко приступал к своему труду.

Дело было решено. Назавтра Жанна, И. и Строганов должны были встретиться в одиннадцать часов утра в будущей квартире Жанны.

Я с мольбой посмотрел на И., не решаясь просить разрешения идти вместе с ними. Но он, предупреждая мою просьбу, сказал Строганову, что я был очень болен, что идти пешком или трястись в коляске далеко мне нельзя. Нет ли возможности сделать часть пути по воде? Строганов сказал, что можно доехать в шлюпке до старой сторожевой башни, а там лишь пересечь два квартала и выйти прямо к дому. Но водой ехать не менее получаса.

— Так мы и сделаем, — сказал капитан, глядя на Жанну, — если вся компания нас приглашает.

Жанна рассмеялась и сказала, что она-то будет счастлива, но захочет ли сам Лёвушка? Всем было смешно, так как моя очевидная жажда видеть всё самому отпечатывалась на моём лице.

Строганов докончил свой чай и простился с нами, доброжелательно улыбаясь. Проводить его вызвался старший турок, которого тоже ждали дома дела.

После их ухода И. передал Жанне две толстые пачки денег, сказав ей, что они предназначены её детям. И, если она сейчас истратит часть их на оборудование дела, то должна будет пополнить этот капитал, когда дело станет приносить прибыль, так как эти деньги дают её детям друзья на образование.

— Может быть, мне надо было бы только поблагодарить вас и ваших друзей, господин старший доктор. Но я никак не могу понять, неужели же для меня в жизни есть только дети? Неужели я сама так уж ничего не стою, что за всё время путешествия никто не сказал лично мне ласкового слова, а все заботы идут о детях? — сказала Жанна И. — Я очень преданна моим детям, хочу и буду работать для них. Но неужели же для

меня всё кончено, потому что я потеряла мужа? Так мне и на свет не смотреть. Меня возмущает такая тираническая установка.

Голос её стал истерическим, и я вспомнил, как капитан говорил, что Жанна на грани психического заболевания.

— Когда-нибудь, — ответил ей И., — вы, вероятно, сами поймёте, как ужасно то, что вы говорите сейчас. Вы очень больны, очень несчастны и не можете оценить всей трагедии своего настроения. Всё, что все мы могли для вас сделать, мы сделали. Но то, что никто не может сделать для вас, — это влить в ваше сердце мир. А это-то первое условие, при котором труд ваш будет удачным. Вы видите в нас счастливых и уравновешенных людей. И вам кажется, что мы именно таковы, как вы думаете о нас. А на самом деле вы и представить себе не можете, дорогая Жанна, сколько трагедий пережито или переживается и сейчас некоторыми из нас. Я ни о чём не прошу вас сейчас; только не отдавайтесь горю этой минуты и не считайте, что, если Лёвушка и я уедем, для вас нет утешения. Вы найдёте утешение в успешном труде. Но не думайте сейчас о любви как об единственной возможности восстановить своё равновесие. Поверьте моему опыту, что жизнь без труда — самая несчастная жизнь. А когда есть труд, всякая жизнь уже на большую половину — счастливая жизнь.

Жанна не отвечала ни слова, но я понимал, что в её психологии первое место занимал мужчина и любовь и потом дети, а труд только необходимое приложение.

Молодой турок обещал Жанне привести к ней няню-турчанку, старушку, прожившую в их доме много лет.

Таким образом, Жанне, как из мешка доброй феи, сыпалось устройство её жизни.

И. положил конец нашему не особенно весёлому чаепитию, предложив всем разойтись и мотивируя своё предложение моей бледностью. Жанна, прощаясь со мной, сказала, что решится на снятие дома только в том случае, если я ей это посоветую. Не было времени для ответа, но я успел сказать, что сам я поступаю по советам И., а ей следует вдвое ловить каждое его, а не моё слово.

Капитан с молодым турком ушли в ресторан, мы с И. категорически отказались от еды и наконец остались одни.

Мы вышли на балкон. Была уже тёмная ночь, показавшаяся мне феерией; такого дивного неба и необычайных звёзд я ещё не видел. Освещённый огнями, чудно́й и чу́дный город казался мне не действительностью, а панорамой из сказки.

— Я сегодня ещё мало узнал подробностей к тем известиям, о которых уже сообщал тебе. Наши преследователи погибли в море. Но я получил письмо от Али, в котором он просил нас остаться в Константинополе до тех пор, пока сюда не приедет Ананда. И тогда все вместе мы двинемся в Индию, в имение Али. От Флорентийца я получил телеграмму, которая говорит о приезде твоего брата и Наль в Лондон. Но думаю, что они всё же должны будут уехать в Нью-Йорк, куда их проводит сам Флорентиец, — сказал И.

— Неужели я поеду с вами в Индию, а брат мой — в Америку, даже не повидавшись перед разлукой? — печально спросил я.

— Если бы ты, Лёвушка, увидел сейчас возле себя брата, мог ли бы ты после первой радости свиданья задать ему все те вопросы, которые выросли и живут в твоей душе и на которые ты хотел бы получить полные, исчерпывающие ответы?

женным и щадящим. Я вам вскоре окончательно скажу, в какой срок ей можно будет уже вставать и проводить дни в кресле.

С этими словами И. поднялся. Я внимал его словам, стараясь не пропустить ни единого. Но всё было для меня так ново и неожиданно, что я ничего не понял до конца, ничего не смог уложить в логическую цепь мыслей.

По растерянному лицу князя я видел, что и он понял не больше моего, хотя слушал он И. в каком-то благоговейном экстазе.

Мы поднялись, и все втроём вошли в комнату княгини.

Как эта комната сейчас отличалась по своему внешнему виду от лазаретной каюты, представившейся нашим глазам на пароходе, когда капитан приказал её открыть во время скандала и криков княгини. Окна были открыты, завешены гардинами так, что в комнате была полутьма. Благоухали всюду расставленные цветы, и царил образцовый порядок.

На высокой прекрасной постели лежала в красивом батистовом халате княгиня. Возле постели сидела сестра милосердия, поднявшаяся нам навстречу.

На шум шагов княгиня повернула голову в нашу сторону. Лицо её не носило больше того бессмысленного идиотского выражения, которое было на нём в последний раз, и только вокруг рта оставалась ещё синева.

В глазах её, впившихся в И., было сознание окружающего. Она пыталась поднять руку, но по телу её пробегали только судороги. Глаза её с мольбой устремились к князю и из них покатились на дряблые и бледные щёки ручьи слёз.

Князь подошёл к постели, поднял безжизненную руку жены, поцеловал её и сказал:

— Вы хотите приветствовать доктора, моя дорогая?

На этот раз уста больной чуть улыбнулись, и подошедший И. взял из рук князя мёртво лежавшую в них руку княгини.

— Не делайте никаких напряжений, княгиня, — сказал он ей, считая пульс, — ваше дело идёт хорошо. Сейчас вы уже вне опасности. И если вы будете аккуратно днём и ночью выполнять мои приказания, я ручаюсь вам за полное выздоровление ваших рук, за полный возврат вашей памяти и речи. Но надо научиться самообладанию и терпению. Вы всю жизнь не знали, что такое самообуздание, и только поэтому пришли к такому печальному концу. Перестаньте плакать. Теперь вам необходимо сосредоточить свою мысль на желании не только выздороветь, но и создать вокруг себя кольцо радостных, довольных и счастливых людей. Только радость и мир, которыми вы наполните всю атмосферу вокруг себя, могут помочь мне вылечить вас. Если от вас будут исходить злобные или раздражённые мысли и чувства, я буду бессилен помочь вам. Вы сами должны слиться в доброжелательстве и любви со всеми теми, кто будет вокруг вас.

По лицу старухи всё лились потоки слёз, которые осторожно отирал расстроенный князь. Из уст её, пытавшихся всё время что-то сказать, вырвалось вдруг диким, страшным, свистящим голосом слово «прощение». Как звук оборванной струны прозвенело это слово, сменяясь могильной тишиной. И я почувствовал уже знакомое мне ощущение тошноты и головокружения, когда меня обнял И. за плечи, шепнув: «Мужайся, думай о Флорентийце и призывай его на помощь».

Некоторое время в комнате царила полная тишина. И. стоял возле княгини, всё ещё держа её руку в своей. Постепенно лицо её перестали подёргивать судороги, слёзы

ро уедете, — вся моя мощь исчезает и я чувствую себя бессильным перед всеми надвигающимися тяжестями жизни.

— Не волнуйтесь, дорогой мой князь, — сказал И. — Мы ещё не так скоро уедем, во-первых. А во-вторых, сюда приедет один мой большой друг вместе со своим близким товарищем и учеником, который уже получил звание доктора медицинских наук. И оба тоже помогут вам. Возможно, что юный доктор останется вам в помощь, тот наш молодой друг. Как видите, судьба бывает иногда более чем заботлива о нас.

— Я не умею выразить вам, как я тронут вашей добротой. И главное, той простотой и лёгкостью, с которыми вы делаете самые большие вещи для людей и которые так легко принимать от вас, как будто бы это были пустяки, — закурив папиросу, сказал князь и, помолчав, продолжал:

— Моё состояние сейчас очень тревожно. Здесь должен был встретить свою мать, мою жену, её сын, который желает быть выделен ещё при её жизни в своей наследной доле. Я очень надеялся на это свидание, думая, что этот акт раздела наследства при жизни жены освободит меня от многих мук и судов после её смерти. Сын её, хотя и видный генерал и занимает высокое положение при дворе, — сутяга и стяжатель, враль и обманщик первосортный. Я получил сегодня телеграмму, что сам он не приедет, а присылает двух адвокатов из Москвы с полной доверенностью. Вы представляете себе, что это будет за ужас, если эти два франта явятся сюда, увидят мою нечленораздельно мычащую жену, не владеющую ни руками, ни ногами...

— Я вам уже сказал, — перебил И. князя, — что речь вашей жены и её руки восстановятся довольно скоро. Что же касается ног, то ими она владеть вряд ли будет до смерти. Но смерть её наступит относительно ещё не скоро; и вам придётся вынести тяжкий крест ухода за ней в течение не менее двух лет, а то и более. Сердце у неё исключительно здоровое. Не смотрите на эту предстоящую вам жизнь как на наказание. Великая мудрая жизнь не знает наказаний. Она даёт каждому человеку возможность созревать и крепнуть именно в тех обстоятельствах, которые необходимы лично каждому, и только ему одному. В данном случае вы не о себе думайте, а о вашей жене. Старайтесь всей добротой сердца раскрыть ей глаза. Объясните ей, что нет смерти, как и нет разъединённой жизни одной земли. Есть единая вечная жизнь живой земли и живого неба. Это жизнь вечного труда всей вселенной на общее благо. Жизнь, духовная жизнь света и радости, включённая в плотные и тяжёлые формы земных тел людей. И вся земная жизнь человека — это не одно данное конечное существование от рождения до смерти. Это ряд существований. Ряд плотных, видимых форм, в них всегда влита единая, вечная жизнь, неизменная и только меняющая свои условные временные земные формы. Я буду иметь с вами ещё не один разговор на эту глубочайшую тему, если вас это интересует. Сейчас я хотел только, чтобы вы осознали всё величие и смысл каждой земной жизни человека, чтобы вы поняли, как он должен ясно видеть все вещи в себе и вовне. И какую мощь в себе носит каждый, если он научился владеть собою, если он может — в одно открывшееся его знанию мгновение — забыть о себе как о временной форме и постичь глубокую любовь в себе, чтобы ею внести помощь мира в другое сердце. Пройдёмте к вашей жене, вам теперь предстоит стать ей слугой самоотвер-

Ведь ты прожил много времени рядом с братом, а только теперь понял, что его и твой духовные миры вращаются вокруг разных осей. Не в физическом свидании дело, а в том, чтобы тебе понимать его без вопросов и слов, если ты сам в себе не найдёшь пути к ним. Чтобы тебе понять книги брата, тебе надо много учиться. У Али старшего ты найдёшь прекрасную библиотеку, а в Али молодом найдёшь друга и помощника, а также и сотрудника. В эту минуту ты можешь ещё выбирать. Если ты желаешь ехать к брату, Флорентиец возьмёт тебя с собой, и Ананда отвезёт тебя к нему. Если же ты, зная уже по опыту, как трудно жить с людьми, превосходящими тебя по знаниям, к которым ты сам не можешь найти ключа, пожелаешь оставаться со мной и Али, — ты можешь стать большим и сильным помощником и Флорентийцу, и твоему брату, которому не однажды ещё понадобится твоя помощь. Ты свободен выбрать себе путь сам. Но почему-то мне кажется, что твоя интуиция и твой талант уже говорят тебе сами о полной невозможности оставить начатое дело. Пока мы живём здесь и пишемся всюду под твоим именем, те, кто гонится за твоим братом, непременно приедут сюда, как только им дадут знать,
что мы здесь. И пока мы будем их мишенью, брат твой успеет увезти Наль в Америку. Не скрою от тебя своего беспокойства. Бешеный удар турка, если и не уложил тебя на месте, принёс тебе такое сотрясение, что весь твой организм потревожен. Тебе надо усилием радостной воли всё время приводить себя в равновесие. Каждый раз, когда ты начинаешь горячиться и раздражаться, думай о Флорентийце, вспоминай его полное самообладание, благодаря которому ты не раз был спасён в дороге. Подумай ещё и о Жанне, поведение которой для тебя ясно, как неправильное. И чем больше и глубже ты вникнешь в свои обстоятельства, тем проще ты поймёшь, когда ты будешь более ценным существом для брата и Флорентийца. Теперь, когда всё тебе кажется загадочным или тогда, когда ты овладеешь знанием и поймёшь, что в природе нет тайн, а есть только та или иная ступень знания.

Мы разошлись по своим комнатам, но заснуть я не мог. Я так понимал теперь Жанну в её порывах к личному счастью.

Всё моё счастье заключалось сейчас в свидании с братом и Флорентийцем. Мне казалось, что я ничего не хочу, кроме них. И если бы я ни на что другое не был бы годен, я согласился бы быть им слугою, чистить их башмаки и платье, только бы видеть их дорогие лица, слышать их голоса и не слышать стонов собственного сердца от разлуки с ними. Я готов был уже горько заплакать, как вдруг вспомнились мне слова Строганова: «Я часто видел, как побеждали те, кто начинал свой путь легко».

Даже в жар меня бросило. Опять я провёл параллель между собою и Жанной и опять увидел, что целая группа лиц помогает мне, как и ей, а я так же слепо упёрся в жажду личного счастья, как она.

Я постарался забыть о себе, устремился всеми силами мысли к Флорентийцу, и вдруг снова знакомый облик встал подле меня, и я услышал дорогой голос: «Мужайся. Не всегда даётся человеку так много, как дано тебе сейчас. Не упусти возможности учиться; зов к знанию бывает человеку однажды в жизни и не повторяется дважды. Умей любить людей по-настоящему. А любовь настоящая не знает ни разлуки, ни времени. Храни мир и охраняй в бесстрашии, правдивости и радостности своё место подле И. И помни всегда: радость — сила непобедимая».

Необычная тишина водворилась во мне. Легко и просто, точно внутренним озарением, я понял, как мне надо дальше жить, и я заснул безмятежным сном, в полном счастье.

Проснулся я утром, когда И. будил меня, говоря, что Верзила с капитаном ждут меня внизу, чтобы ехать морем к месту общего свидания, и что завтракать я буду в лодке.

Я быстро оделся и не успел даже набросить пальто, как Верзила явился, заявляя, что «не по-морскому долго одеваюсь». Он не дал мне взять пальто, сказав, что в лодке есть плащ и плед, но что и без них тепло.

Он указывал мне дорогу через какие-то дворы, и мы, хотя шли очень медленно, скоро очутились у моря, где я благополучно сел в лодку.

вечная, а внешних форм её много». Я остановился как вкопанный и непременно попал бы под колёса экипажа, если бы И. не дёрнул меня вперёд.

— Лёвушка, тебя положительно нельзя отпускать ни на шаг, — сказал он, беря меня под руку.

— Да, нельзя, Лоллион, — жалобно сказал я. — Проклятый турецкий кулачище сделал меня сумасшедшим. Я просто прогрессирую в безумии и не могу остановиться. Я всё больше галлюцинирую.

— Да нет же, Лёвушка. Ты очень возбуждён был сегодня. Что тебя смутило сейчас?

— Мне пришла в голову мысль, как тяжело умирает старуха княгиня. Я подумал, что всем очень страшно и тяжко умирать. И подумал, как Флорентийцу рисуется смерть, — и вдруг услышал его голос: «Смерти нет. Есть жизнь, одна, вечная, а внешних форм её много». Ну, разве не чепуха мне послышалась? — всё так же жалобно говорил я И.

— Друг мой, ты услышал великую истину. Я тебе всё объясню потом. Сейчас мы подходим к нашей цели. Забудь о себе, о своём состоянии. Думай только о тех несчастных, к которым мы идём. Думай о Флорентийце, о его светлой любви к человеку. И старайся увидеть в князе и княгине цель для Флорентийца и стремись в их дом внести тот мир и свет, которые живут в сердце твоего великого друга. Думай только о нём и о них, а не о себе, и ты будешь мне верным и полезным помощником в этом тяжёлом визите. И он станет лёгок нам обоим.

Мы вошли в дом князя, пройдя через калитку довольно большого тенистого сада.

Нас встретила уже знакомая нам по путешествию на пароходе горничная княгини и сказала, что сама княгиня всё как бы спит, а князь ждёт нас с нетерпением.

Мы прошли через совершенно пустые комнаты и услышали сзади себя поспешные шаги. Это догонял нас князь.

— Как я рад, что дождался вас, — обратился он к И. — Я уже готов был ехать к вам, так меня беспокоит состояние княгини. Да и сам я не менее её нуждаюсь в вашей помощи и советах, — продолжал он, приветливо улыбаясь и пожимая нам руки.

— Отчего же вас так тревожит состояние вашей жены? Я ведь предупреждал вас, что её возврат к жизни будет очень медлен и что большую часть времени она будет спать, — сказал И.

— Да, это я всё помню. И — очень странно для меня самого — абсолютно и беспрекословно верю каждому вашему слову. И вера моя в вас какая-то особенная, ни с чем не сравнимая, — говорил своим тихим и музыкальным голосом князь, пропуская нас в дверь третьей комнаты, которая оказалась кое-как и кое-чем меблированной, изображая нечто вроде кабинета.

Князь придвинул нам кресла к столу, сел сам на табурет восточного стиля и продолжал:

— Я не стал бы описывать вам своего состояния, если бы оно не было так странно. Чувство веры в вас стало моей силой жить сейчас. Точно в весь мой спинной хребет влилась какая-то мощь, которая держит на своей крепкой оси всё моё тело и составляет основу моей уверенности. Но как только я представляю себе, что вы ско-

— Как странно, — сказал он. — Я действительно отдал бы очень многое, чтобы временно любить такую богиню, как Анна. Но именно временно, отнюдь не представляя для себя возможным сделаться её мужем или постоянным рыцарем. В ней есть что-то, что мешало бы мне подойти к ней очень близко.

— Анна кажется мне очень высокой по своей духовной культуре. Если вы ещё не скоро уедете из Константинополя, то увидите одного из друзей И., который также близкий друг Анне. Если она любит его — даже без взаимности, — то никто не может стать с ним рядом, чтобы привлечь её внимание. Один голос этого человека — с глазами, светящимися как звёзды, — даже в разговоре пленяет; и, увидав и услыхав его один раз, его уже нельзя забыть. А говорят, он поёт как Бог, — ответил я.

— Почём знать, что именно пленяет одного человека в другом? Анна для меня могла бы быть крупным эпизодом жизни, но никогда эпохой. А вот девочка Лиза, если бы жизнь свела меня снова с ней, весьма возможно, стала бы эпохой.

Я стал вспоминать Лизу, её манеры и речь и спросил капитана:

— А как вы отнеслись бы к жене-артистке? И как бы вы отнеслись к её таланту вообще? Ведь говорят, Лиза огромный талант. А вы полны предрассудков. Сидя в первом ряду концертной залы, где выступала бы ваша жена-скрипачка, как бы вы себя чувствовали?

— Я никогда не думал, чтобы сцена, эстрада или вообще подмостки могли играть какую-либо роль в моей жизни. Я всегда избегал женщин от театра. Все они казались мне так или иначе пропитанными духом карьеризма и желанием продать себя подороже, — ответил капитан.

— Но неужели же за вашу большую жизнь вы не встретили ни одной женщины, которая была бы действительно жрицей искусства? Для которой не было бы иной формы жизни, как только то искусство, которому она служит и которым живёт? — спросил я снова.

— Нет, не встречал, — ответил он. — Я был знаком с так называемыми великими актрисами. Но ни от одной из них не вынес впечатления божественности их дарования. Приходилось встречать художников высокой культуры, которым, казалось, открывались тайны природы. Но... в жизни простого дня они оказывались людьми мелкими.

На этом закончилось наше свидание. Капитану нужно было сделать несколько деловых визитов, побывать на пароходе, а вечером он хотел посетить своих друзей. Мы расстались до следующего дня.

Утомлённый целым рядом пережитых встреч, я задремал, незаметно заснул и проснулся от громко звавшего меня голоса И., который торопил меня переодеться, взять аптечку и идти к князю.

Он дал мне каких-то горьких капель. Я быстро снарядился в путь, и мы пошли пешком к особняку князя, что было не так далеко. Меня очень интересовала эта встреча. Как мне ни была противна старая жена его, всё же жалость к ней, к её близкой смерти и омертвелому телу сильно билась в моём сердце.

Невольно я задумался, как тяжело каждому человеку умирать. «Как думает о смерти Флорентиец? И как будет умирать он?» — подумал я. И вдруг среди бела дня, среди грохота улиц и суеты я услышал его голос: «Смерти нет. Есть жизнь, одна,

Глава 17

Начало новой жизни Жанны и князя

Море было тихо, едва плескались волны. Для Константинополя погода была необычайно прохладная, что капитан объяснял влиянием бури. Он говорил, что множество мелких и крупных судов было разбито бурей, а лодок и рыбаков до сих пор сосчитать не могут.

— Да, Лёвушка, героическими усилиями моей команды и беззаветной храбростью твоей и твоего брата большое количество счастливцев спаслось на моём пароходе. И мы с тобой сегодня наслаждаемся этакой феерической панорамой, — сказал капитан, указывая рукой на сказочную красоту города, — а сколько людей сюда не доехало. Вот и угадай свою судьбу за час вперёд и скажи когда-нибудь, что ты счастлив, думая о завтрашнем дне. Выходит, что я прав, когда говорю, что мы живём один раз и надо жить только мгновением и ловить его, это драгоценное летящее мгновение счастья.

— Да, — ответил я. — Я тоже думал до самого последнего времени, что надо ловить всюду только своё личное счастье. Но с тех пор как я ближе понял моих новых друзей, я понял, что счастье жить — не в личном счастье, а в том полном самообладании, когда человек сам может приносить людям радость и мир. Так же, как и вы, И. говорит о ценности и смысле жить только одно, вот это самое летящее мгновение. Но он понимает под этим умение видеть весь мир, всех окружающих, труд для них и с ними, сознавая себя единицей всей вселенной. Я ещё мало и плохо понимаю его. Но во мне зазвучали уже новые ноты; сердце моё широко открылось для любви. Я точно кончил какой-то особенный университет, который даёт мне понимать каждый новый день как ряд моих духовных университетов. Я перестал думать о том, что ждёт меня в жизни вообще. А раньше я всё жил тем, что будет через десять лет.

— Да, мои университеты много хуже твоих, Лёвушка, — ответил капитан. — Я всё живу завтрашним днём или уже прошедшим, так как моё настоящее меня не удовлетворяет и не пленяет. Сейчас я усиленно думаю о Гурзуфе и мечтаю встретить Лизу. Настоящее как-то не умею достаточно ценить.

Пользуясь непониманием французского языка нашими матросами, мы продолжали беседу, изредка прерывая её, чтобы полюбоваться красотами и отдельными зданиями и куполами мечетей и дворцов, которые мне называл капитан, отлично знавший город.

Наше довольно долгое путешествие приходило к концу, когда мои мысли вернулись к Жанне.

— Ваш глубокий поклон великому страданию Жанны не выходит у меня из головы, — сказал я.

— Бедная женщина, девочка-мать! Так много вопросов предстоит ей решить за своих малюток. Такое важное начало — воспитание человека с самого детства. А что может Жанна сделать для них? Ведь она сама ничего не знает и не умеет прочитать

ни одной книжки о воспитании и ничего в ней не поймёт, — задумчиво сказал капитан.

— И мы с вами мало поймём в тех книгах, где будет говориться о воспитании, если писавший их человек стоит на ступени своего творчества много выше нас. Всё зависит от тех вибраций сердца и мысли, где живёт сам человек. Понять можно только что-нибудь созвучное себе. И такой общий всем язык, единящий бедуина и европейца, негра и англичанина, святую и разбойника, есть. Это язык любви и красоты. Любить может Жанна своих детей, любить не животной любовью, как свою плоть и кровь, гордясь или страдая от их достоинств или пороков, — заступился я за Жанну.

— Но она пока может только любить их как свой долг, как свой урок жизни. И пока её сознание примет всю жизнь, как её обстоятельства, неизбежные, единственные, посланные во всём мире ей одной, а не кому-то другому, пройдёт много времени. И только тогда не будет места ни ропоту, ни слезам, а радостному труду и благословению, — отвечал мне капитан.

Я уставился на него, забыв обо всём на свете. Лицо его было нежно и доброта лилась из глаз. Чарующая волна нежности прошла из моего сердца к нему.

— Как необходимо вам встретиться с Флорентийцем, — пробормотал я. — Или, по крайней мере, поговорить очень серьёзно с И. Я ничего не знаю, но — простите, простите меня, мальчишку перед вами, вашими достоинствами и опытом — мне кажется, что и у вас в голове и сердце такая же каша, как у меня.

Капитан весело рассмеялся.

— Браво, брависсимо, Лёвушка! Если у тебя каша, то у меня форменная размазня, даже кисель. Я сам всё ищу случая поговорить с твоим загадочным И., да всё мне не удаётся. Вот мы и приехали, — добавил он, отдав матросам приказание держать к берегу и пристать к концу мола.

Мы вышли из лодки и в сопровождении Верзилы стали подыматься к городу. Вскоре мы были уже на месте и издали увидели, как вся компания наших друзей вошла в дом.

Мы нагнали их в передней. Ко всеобщему удивлению, квартира оказалась хорошо меблированной. Из передней, светлой, с большим окном, обставленной вроде приёмной, дверь вела в большую комнату, вроде гостиной в турецком стиле.

Строганов давал объяснения Жанне, как он мыслит устроить стеклянный прилавок и стеклянные шкафы для готовых шляп, перьев, цветов и лент, чтобы покупательницы могли видеть Жаннины аристократические талант и вкус и сразу выбрать нравящиеся им вещи.

За большой комнатой было ещё помещение для мастерской, где стояли два длинных стола и откуда вела дверь в сени чёрного хода.

Дети Жанны вцепились в меня сразу же, но И. запретил мне их поднимать. Они надулись и утешились только тогда, когда Верзила посадил их обоих на свои гигантские плечи и вынес во двор дома и сад, где был небольшой фонтан и стояло несколько больших восточных сосудов с длинными узкими горлами.

Осмотрев нижнее помещение, мы снова вышли в переднюю и по железной винтовой лестнице поднялись на второй этаж.

— Как видите, я изобрёл способ движения без тряски. Это носилки одного моего безногого приятеля, который предпочитает этот способ передвижения всякому другому. Но Бог мой! Вам хуже, Лёвушка? Вы были бледны, теперь вы в красных пятнах, — сказал тревожно капитан.

Я поборол свой припадок яростного раздражения и хотел «с холодной любезностью» поблагодарить капитана, как в дело вмешался И., очень ласково обратясь к капитану:

— Нет, капитан, Лёвушке не хуже. Это всё ещё реакция от удара. Но он прекрасно дойдёт с вами пешком до лодки, и это ему будет даже полезно сейчас. А носилки ваши, если бы вы согласились, были бы, наверное, очень полезны для детей Жанны, чтобы отправить их домой с Верзилой. Жанне надо будет поехать по делам дома, и дети связывают её по рукам и ногам. Если бы вы разрешили употребить раздобытый вами экипаж по моему усмотрению, я бы сейчас же пошёл за детьми.

— Если вы находите возможным Лёвушке идти пешком, то я буду очень рад предоставить носилки в ваше распоряжение, — весело ответил капитан, и не подозревавший, какую бурю я пережил из-за его заботы.

И. пожал мне руку, попросил капитана уложить меня на диване дома и сказал, что заедет за мной в шесть часов и мы вместе отправимся к князю, если до тех пор я буду спокойно лежать.

Мы расстались с И. и двинулись в путь. Я был счастлив, что отделался от идиотского паланкина, но внутри у меня ещё продолжало клокотать недовольство и на самого себя и на капитана.

— Я не понимаю, что за мужчины в Константинополе, — говорил, как бы рассуждая с самим собой, капитан. — Если такая женщина, как Анна, остаётся свободной, то у здешних мужчин не кровь, а вода. У нас в Англии она была бы уже дважды или трижды замужем и из-за неё было бы десять дуэлей. Ведь это сказочная красота.

— Я мало что понимаю в женской красоте, — ответил я. — Но думаю, что Анна в самом деле редкостная красавица. Что же касается мужчин, которые её не покорили, то, думаю, покоряют тех, кто хочет быть покорённым. А вьются и дерутся вокруг тех женщин, кто выбирает, кому себя преподнести повыгоднее и поудобнее. Те же, кто, как Анна, ищут истинной любви, всегда идут очень скромным путём, если не обладают талантом и тщеславием.

Капитан даже остановился, так он был поражён моими словами.

— Ай да Лёвушка! Вот так отлил пулю, — разводя руками, сказал он. — Да тебе сколько лет? Пятьдесят или двадцать? Где это ты успел сделать такое наблюдение?

— Я право не знаю, что вас так удивляет? Мне кажется то, что я сказал, самым простым и обыкновенным. У нас в России много прекрасных женщин, в которых отсутствует кокетство. А ухаживают ведь не за самыми прекрасными, а за самыми кокетливыми. Эту азбучную истину мне всегда твердил брат, когда это приходилось к месту.

Мы молча, углубившись каждый в свои мысли, прошли весь остальной путь.

Добравшись до нашего отеля, мы почувствовали, что проголодались, и заказали себе лёгкий завтрак, который я ел, лёжа на кушетке. Закурив сигару после завтрака, капитан опять вернулся к Анне.

И. хотел проводить меня до лодки, но капитан предложил ему посидеть со мною на скамье, пока он с Верзилой сделает одно маленькое дело очень неподалёку от дома.

Я был рад посидеть в тени, был рад побыть с И. Я попросил его дать мне укрепляющую пилюлю Али, но он ответил мне, что никакие пилюли сейчас мне не помогут.

— Есть люди, Лёвушка, которые слышат и видят то, чего не могут ни слышать, ни видеть сотни и тысячи людей. Они одарены особой силой внутреннего зрения и слуха, которые происходят по иной частоте колебаний и вибраций, чем те, по которым воспринимаются впечатления и ощущения большинством людей. Ты имеешь этот дар — слышать и видеть на расстоянии — и принимаешь его за галлюцинацию своей рассеянности. Если бы удар по темени не пришёлся так не вовремя, твои способности развивались бы нормально. Теперь же весь твой организм, весь твой спинной мозг потрясены так необычайно сильно, что тот огонь, который живёт в каждом человеке не пробуждённым — как его скрытая сила, — вырвался и разорвал все преграды, лежащие на его пути, обострив все твои духовные силы. Когда ты оправишься от потрясения, я объясню тебе всё то, о чём говорю сейчас вскользь. Я хочу только, чтобы ты понял, что ты не болен, не сходишь с ума, а просто в тебе преждевременно раскрыты к восприятию силы выше, больше и гораздо значительнее по частоте колебаний, чем те, к которым ты привык до сих пор. Соблюдай спокойствие. Больше лежи и всеми силами старайся не раздражаться. Никому ни слова о том, что мы сейчас говорили, — прибавил он, видя подходивших к нам капитана и Верзилу.

Зрелище, представившееся нам, было довольно необычно, и издали я никак не мог понять, что такое к нам приближается. Но И. начал сразу же смеяться и сказал мне:

— Ну, поздравляю, Лёвушка. Теперь ты поедешь по Константинополю в роли гаремной красавицы.

Теперь и я мог рассмотреть большой паланкин с опущенными занавесками, который несли два огромных турка. Я так возмутился, так затопал ногами, что И., весело смеявшийся за минуту, схватил меня обеими руками, усадил и очень серьёзно сказал мне:

— Я только что просил тебя не раздражаться и предупреждал тебя о всей серьёзности твоего состояния сейчас. Неужели для тебя так мало значат мои слова и все дальнейшие возможности чудесной жизни знания? И неужели же у тебя нет чувства юмора?

— И юмор я понимаю, и чрезвычайно дорожу всякой возможностью двинуться вперёд в своих знаниях. Но я вовсе не желаю стать юмористической фигурой, хотя бы только в глазах тех матросов, которые нас повезут, — ответил я запальчиво.

— Прежде всего сдержи себя. Осознай большую радость быть господином самого себя. И оцени заботу капитана. Будь деликатен и прежде всего воспитывай себя так, чтобы находить джентльменскую внешнюю форму для выражения своих, хотя бы и очень неприятных, чувств. Ищи такта, о котором говорил тебе Флорентиец.

Группа приближалась. Капитан отделился от неё и подошёл к нам, весело размахивая фуражкой.

Здесь были три небольшие комнаты, одна из них была обставлена как столовая; в другой стояли две детские новенькие кроватки и диван; в третьей стояло великолепное зеркало в светлой раме, широкий турецкий диван и несколько кресел.

У Жанны побежали слёзы по щекам. Она снова протянула обе руки Строганову и тихо сказала:

— Вы вчера дали мне огромный урок, говоря, что побеждает тот, кто начинает своё дело легко. Сегодня же вы показали мне на деле, как вы добры, как просто вы сделали всё, чтобы помочь мне легко начать моё дело. Я никогда не забуду вашей доброты и постараюсь отплатить вам всем, чем только смогу. Вы навсегда сделали меня преданной вам слугой за эти детские прелестные кроватки, о которых я и мечтать не смела.

— Это пустяки, мадам, я хотел давно уже обставить этот домик, так как говорил вам, что я здесь родился и ценю его по воспоминаниям и урокам жизни, полученным здесь. Я очень рад хорошему случаю обставить его для трудящейся женщины и для её детей. А, вот и дочь моя, — продолжал Строганов, двигаясь навстречу поднимавшейся по лестнице женской фигуре.

Перед нами стояла закутанная в чёрный шёлковый плащ, со спущенным на лицо чёрным покрывалом высокая женская фигура.

— Ну вот, — это моя дочь Анна, — сказал он, обращаясь к Жанне. — Вы — Жанна, она — Анна, хорошо было бы, если бы вы подружились и «благодать» царила бы в вашей мастерской, — продолжал он смеясь. — Ведь Анна значит по-гречески — благодать. Она очень покладистого и доброго характера, моя любимая благодать.

Анна откинула с лица своё чёрное покрывало, и… мы с капитаном так и замерли от удивления и восторга.

Бледное, овальное лицо, с огромными чёрными глазами, чёрные косы, лежавшие по плечам и спускавшиеся ниже талии, чудесный улыбавшийся рот и белые, как фарфор, зубы. Протягивая Жанне длинную белую руку, Анна сказала низким приятным и мягким голосом:

— Мой отец очень хочет, чтобы я научилась трудиться не только головой, но и руками. Я несколько лет сопротивлялась его воле. Но на этот раз, узнав, что моей учительницей будет женщина с детьми, перенёсшая страшное горе, я радостно и легко согласилась, даже сама не знаю почему. Не могу сказать, чтобы меня пленяли шляпы и дамы, — продолжала Анна смеясь, — но что-то интуитивно говорит мне, что здесь я буду полезна.

Её французская речь была чиста и правильна. Она сбросила глухой плащ и оказалась в простом, но элегантном белом шёлковом платье и чёрных лакированных туфельках, необыкновенно маленьких для такого большого роста.

Не знаю, длинными ли косами, крошечными ли туфельками или какой-то особенной элегантностью манер, стройностью ли фигуры, но чем-то Анна напомнила мне Наль. Я не удержался и прошептал: «Наль, Наль».

— Что такое? Что ты говоришь? — тихо спросил меня капитан.

И. взял меня под руку и спросил тоже:

— Лёвушка, что ты шепчешь? Это не Наль, а Анна. Приди в себя и не осрамись, когда нас будут ей представлять. Руки не целуй и жди, пока она сама протянет тебе руку. А то, пожалуй, ты ещё задрожишь, как от встречи с Хавой, — улыбнулся он мне.

— Шехеразада; вся моя жизнь теперь сказка. А женщины — феи, — сказал капитан, — но кто же был тот, кого любила эта Афина-Паллада, если она до сих пор верна его памяти? Можно отдать полжизни, чтобы быть любимым одну ночь такой женщиной.

Отец знакомил Анну со всеми, она внимательно смотрела каждому в глаза, слегка улыбаясь и подавая руку, но истинное внимание её привлекли дети, ехавшие наверх на Верзиле. Анна подошла к детям, протягивая им руки. Малютки смотрели на неё во все глаза; девочка потрогала её косы и спросила:

— Почему ты, тётя, такая чёрная? Тебя покрасили сажей?

— Нет, — засмеялась Анна. — Меня мой отец наградил таким чёрным цветом волос. Но скоро я буду седая, и ты моих кос перестанешь бояться.

Наконец очередь дошла и до нас.

Первым был представлен капитан, который низко поклонился и пожал протянутую ему руку, глядя прямо в лицо Анны, глаза которой на этот раз были опущены вниз; на щеках её разлился лёгкий румянец, и мне показалось, что на нём мелькнуло выражение досады.

На И. Анна взглянула пристально, и её чёрные глаза вспыхнули, точно факелы.

— Вы тот друг Ананды, конечно, о котором он мне писал в последнем письме? Я очень счастлива встретить вас. Надеюсь, что до приезда Ананды вы не откажете в чести нашему дому и посетите нас.

— Я буду очень счастлив навестить вас, если ваш отец ничего не имеет против этого, — ответил И.

— Вы думаете, что моя турецкая внешность имеет что-либо общее с восточным воспитанием? Уверяю вас, нет. Более свободолюбивого и отзывчивого отца не сыскать во всём мире. Это первый мой, да и всех моих сестёр и братьев друг и помощник. Каждый из нас совершенно свободен в выборе своих знакомств. Единственно, чего не терпит мой отец, — это жизни без труда. Я одна из всей семьи всё ещё не зарабатываю денег. Но теперь и я поняла, что мне необходимо общаться и единиться с людьми, внося посильную помощь в серый день, — говорила Анна, пользуясь тем, что Жанна и её отец продолжали осмотр спален.

— Разрешите мне представить вам моего двоюродного брата Лёвушку Т., — сказал И. — Он, как и я, друг Ананды и Флорентийца, о котором думает день и ночь, — прибавил И., продвигая меня несколько вперёд. — Быть может, вы позволите нам вместе навестить вас; мы с ним почти не разлучаемся, так как Лёвушка несколько нездоров сейчас.

— Я буду очень рада видеть обоих вас у себя, — любезно ответила Анна, протягивая мне руку, которую я слегка пожал.

— А, попались, молодой человек, — услышал я сзади себя голос Строганова. — Анна, наверное, уже почуяла в вас писателя. Она ведь сама неплохая поэтесса. Пишет для детей сказки прекрасно, но не соглашается их печатать. Но её произведения всё же очень известны в Константинополе. Держу пари, что она уже вас околдовала. Только вы ей не верьте, она вроде как бы без сердца.

— Отец, ты так сконфузил молодого писателя — если он действительно писатель, — что он тебе, несомненно, отомстит, описав тебя по крайней мере константинопольской достопримечательностью, — сказала Анна, громко, но очень мелодично рассмеявшись.

К ней подошла Жанна, обе женщины отошли к окну, и о чём они говорили, я не знаю. Анна стояла к нам в профиль, и все четыре мужских лица смотрели на неё.

Мне вспомнился благоухающий вечер в саду городского дома Али, вспомнились тёмные, но не чёрные косы Наль, её зелёные глаза и три других мужских лица, смотревших на неё неотрывно с совершенно разными выражениями.

Так и сейчас — капитан напряжённо смотрел на Анну и видел в ней только физическое очарование гармоничных форм. Знакомое мне выражение жестокого хищничества светилось в его жёлтых глазах, вся фигура была резко выпрямлена, он напоминал тигра, следящего за добычей.

На лице И. было выражение мягкости и доброты, точно он благословлял Анну, и у меня мелькнуло в сознании: «благодать».

Отец глядел задумчиво и печально на свою дочь, точно он страдал от какой-то тайной боли своей дочери, которой не мог помочь и которая бередила его сердце.

Я же весь пылал. В голове моей мелькали мысли, кипели, точно волны наскакивали друг на друга. Я мысленно видел Ананду подле высокой фигуры Анны и думал, что никто и не мог быть избран ею, если она близко знала такого обаятельного красавца с глазами-звёздами.

Я совершенно забыл обо всём; я видел только Ананду, вспоминал его необычайный голос, и вдруг у меня в ушах он зазвенел, этот голос:

«Не всякая любовь связывает плоть людей. Но плоха и та любовь, что связывает рабски дух их. То будет истинной любовью, где все способности и таланты раскрываются к творческой деятельности, где освобождается дух человека».

Иллюзия слуха была так сильна, что я невольно бросился вперёд, чтобы увидеть Ананду из окна. Но железная рука И. меня крепко держала.

Капитан повернулся на произведённый мною шум.

— Вам дурно, Лёвушка! Как вы бледны! Здесь душно, поедемте домой, — сказал он, беря меня под руку с другой стороны и нежно стараясь меня увести.

Жанна услышала последние слова капитана, быстро подошла ко мне со словами:

— Не уходите, Лёвушка.

Но, увидев мою бледность, покачала головой и тихо прибавила:

— Вот какая я эгоистка! Только о себе думаю. Вам необходимо ехать домой. Вы очень страдаете?

Я не мог выговорить ни слова, какая-то судорога сжала мне горло. И. ответил Жанне, что сейчас капитан отведёт меня домой, а вечером я смогу пообедать с нею, если она освободится к семи часам, — мы будем ждать её в моей комнате. Сам же он, И. — если она разрешит — примет участие в её делах по оборудованию квартиры.

Тут вмешались всё время молчавшие турки, старик Строганов и Анна, категорически протестуя против вмешательства И. в это дело, уверяя, что всё оборудуют без него.

Мы простились со всей компанией и, сопровождаемые Верзилой, который передал Жанне детей, вышли втроём на улицу.

Я взглянул на свою соседку и заметил, что по другую сторону от неё сидел И., а рядом с ним старшая дочь Строганова. Я пожалел И. от всего сердца, так как уже знал весёлое легкомыслие, мягко выражаясь, этой практической особы.

Анна ела очень мало, но требовала от меня внимания к восточному обеду. Не успели гости насытиться восточными закусками, как два человека внесли заказанные нами волшебные корзины цветов. Кроме наших, была ещё не менее оригинальная и изящная корзина орхидей, вставленная в прекрасную хрустальную вазу, которую поставили прямо перед Анной.

— Это, несомненно, вам шлёт привет капитан, с которым мы вместе выбирали вам цветы, — тихо сказал я Анне.

— Если бы сегодня не так сильно сияло моё сердце, я бы рассердилась. Но сегодня я ни на что и ни на кого сердиться не могу, — ответила она мне.

— Помилуйте, человек так преклоняется перед вашей красотой, так искренно шлёт вам свой восторг. Посмотрите, как высоко культурным надо быть, чтобы так сложить орхидеи. Ведь это целая симфония от розового до чёрного цветов. А вы говорите, что могли бы рассердиться, — запальчиво воскликнул я, обидясь за моего друга.

— Вы меня не поняли, Лёвушка. Я не так сказала. Конечно, вкус должен быть художественный у человека, умеющего так подать цветы. Но этот изысканный вкус расточает ваш капитан всем и всюду, играя им, как манком красоты. Моему же сердцу дорога та красота, в которой отражено не только изящество вкуса, но и изящество духа. Какой цветок вы хотели бы унести домой? Одну из орхидей, таких причудливых, роскошно перламутровых, или одну маленькую ароматную фиалку? — спросила она меня.

— Так нельзя ставить вопроса. Фиалка, которую вы держите в руках, которую вы назвали эмблемой и любимым цветком, — уже не цветок, не вещь, а символ для меня. А цветок капитана — просто дар восхищённого человека, его благодарность за встречу, — ответил я. — Я вообще заметил, что капитан произвёл на вас плохое впечатление. Мне это очень и очень жаль. Он, конечно, тигр. Но в нём высокое благородство, храбрость и... так много схожего иногда в его словах со словами лучшего человека, кого я имел счастье знать. И. обещал ему познакомить его с Анандой и дать ему возможность послушать его пение.

Точно искры вспыхнули в глазах Анны, и лицо её побледнело. Ни слова не ответив мне, она повернулась к И.

— Лёвушка, соседка справа тоже хочет говорить с вами. Объясните нам. Князь смеётся надо мной и не хочет сказать, что это за цветы подали Анне. Ведь это искусственные? — услышал я голос Жанны.

— Нет, Жанна, это орхидеи. Нравятся они вам?

— Не очень, Лёвушка. Ваши розы гораздо лучше и чудесно пахнут. Но посмотрите на мадам Строганову. Она сегодня всем недовольна. Ей очень не по сердцу, что всё сегодня делается для Анны.

— Почему же так? — недоумённо спросил я.

— Потому что Анна — это внутренний раскол в семье. Она не хочет делать блестящей партии, как хочет мать, а живёт в мечтах, якшаясь со всякой беднотой. Кроме того, я подозреваю, что мать завидует красоте Анны, — тихо прибавила она.

лоден как гончий пёс. Вставай, Лёвушка, скорее я закажу завтрак, и мы его уничтожим на твоём балконе, если ты принимаешь меня в компанию, — громко продолжал говорить через дверь капитан.

Я ответил согласием, быстро проскочил в ванную, и через четверть часа мы уже сидели за столом.

И. ушёл из дома, не оставив мне записки, из чего я понял, что он скоро вернётся. И действительно, вскоре послышались его шаги, и он вышел к нам на балкон, как-то особенно сияя свежестью и красотой.

Поздоровавшись с нами, он осведомился у капитана о состоянии его парохода.

Лицо капитана омрачилось. Судно нуждалось в довольно серьёзном ремонте; задержка парохода, где большая часть грузов и пассажиров направлялась дальше, создавала ему много осложнений и беспокойств.

— Но ваше присутствие, доктор И., мне так дорого; встречу с вами я считаю одной из самых значительных в своей жизни! И потому я готов был бы вынести вдвое больше беспокойств, только бы провести ещё некоторое время в вашем обществе, если это для вас не тягостно, — докончил тихим голосом капитан, глядя на И. Его глаза сейчас смотрели печально. И это был вовсе не тот «волевой» капитан, тот «царь и бог» своего судна, перед которым трепетали и команда, и путешествующие.

Ещё раз я видел новую грань души человека, и ещё раз пришлось убедиться в необычайной разнице между тем, что видишь, и тем, что живёт в человеке.

— Я тоже очень счастлив, что встретил вас, дорогой капитан, — ответил ему И. — И я не только не тягощусь вашим обществом, но, наоборот, в моём сердце живёт большая братская дружба к вам. Сегодня я получил чудесные вести и о брате Лёвушки, и о своём близком друге Ананде, которого я ждал сюда не так скоро. Твой брат и Наль, Лёвушка, обвенчаны в Лондоне в присутствии Флорентийца и его друзей. Что же касается Ананды, то он рассчитывает через десять дней быть уже здесь. Мне бы очень хотелось, капитан, чтобы ваши заботы на некоторое время задержали вас здесь. Ананда — это такое высокое превосходство над обычным человеком, что свидание с ним, одно понимание, чего может достичь на земле человек из одинаковой с вами плоти и крови, ввело бы вас в высший круг идей, по сравнению с тем, чем вы живёте сейчас. Я читаю в вашей душе целый томик вопросов, который всё нарастает по мере нашего сближения. Можно было бы составить не только серию вопросов и ответов, но целый круг чтения «на каждый день», если бы изложить в литературной форме бурление вашего духа. Но все ваши вопросы нарастают именно потому, что я не так высок в своих знаниях и духе, как Ананда. Характерный признак присутствия среди людей истинного мудреца: вопросы не нарастают, а стихают. В сознании людей растёт активность не ума, а интуиции. Подсознание вводит в гармонию их мысль и сердце, потому что атмосфера мудреца указывает каждому тщету и иллюзорность одних личных достижений и желаний. Я уверен, что встреча с Анандой убьёт в вас целый караван кастовых и национальных предрассудков. В вас так много истинно ценного, истинно прекрасного, чем не могут похвастаться окружающие вас, ваши социально равные приятели.

Папироса капитана погасла, вино осталось недопитым; он сидел неподвижно, глядя в прекрасное лицо И. точно под гипнозом. В водворившемся молчании

слышны были только шум города да изредка гортанные выкрики восточных разносчиков.

Каждый из нас ушёл в самого себя, и никто не хотел нарушать молчания, в котором, очевидно, каждый по-своему создавал и переживал образ великой мудрости.

— Да, если вы говорите так о другом человеке, вы, выше которого я — человек — не видел человека, то каков же должен быть он, ваш Ананда? — отирая лоб, всё таким же тихим голосом сказал капитан.

Я хотел ему сказать, что ещё выше Ананды я видел человека, моего друга Флорентийца. Но внезапно почувствовал то особое состояние лёгкости во всём теле, ту собранность всего внимания в одну точку, которые каждый раз предшествовали видению образа или слышанию голоса тех, кого в этот миг со мной не было.

Я вдруг вздрогнул, точно меня ударил электрический ток, и увидал Ананду сидящим за столом в той позе, в какой я увидел его ночью в его доме.

«Не бойся и не беспокойся. И. не забыл ни о Флорентийце, ни о сэре Уоми. Но о них сейчас говорить не следует. Старайся больше молчать. Ценность слова так велика, что иногда одно произнесённое не вовремя слово может погубить целый круг людей. Дождись моего приезда», — поговорим.

Когда я сейчас это рассказываю, это кажется длительным. Но тогда всё это мелькнуло, как мгновение молнии.

Я протянул руки к Ананде, очевидно, я что-то сказал, так как капитан в одно мгновение был подле меня, подавая мне стакан с вином.

— Бедный мальчик! Опять ваша голова заболела? — нежно спросил он.

И. тоже подошёл ко мне, ласково улыбаясь, и по его сверкающим глазам я понял, что он знал истинную причину моего внезапного беспокойства.

Моя мнимая болезнь отвлекла внимание капитана от нашего разговора. Побыв с нами ещё несколько минут, он отправился снова хлопотать по своим многочисленным делам. Вечер у него тоже был занят, и мы условились встретиться на следующий день часов в пять. Он хотел свезти меня обедать в какую-то знаменитую «Багдадскую» кондитерскую, уверяя, что я там увижу и не такие сюрпризы, как живая чёрная женщина. Я на всё был согласен, лишь бы скорее остаться с И. и узнать подробности о брате и Наль.

Проводив капитана, И. вернулся ко мне на балкон и присел на кушетку, где я всё ещё лежал, чувствуя себя и на самом деле не очень крепким.

— Ты будешь несколько разочарован, милый друг, так как я сам знаю почти только то, что сказал тебе о Наль и твоём брате. Ананда вообще скуп на подробности. А на этот раз он особенно следит за каждым своим словом, которое посылает нам. У тебя такой вид, точно ты огорчён свершившимся браком? — спросил меня И.

— Я не огорчён, конечно, — ответил я. — Если в браке счастье моего брата и Наль, значит, ценность их жизни — для них самая главная сейчас, — ими достигнута. Но по всей ситуации вещей я представлял себе здесь нечто огромное, гораздо большее, чем самый обыкновенный брак.

И. неожиданно для меня весело-превесело рассмеялся, обнял меня, погладил нежно по моей неразумной голове и сказал:

— Откуда же ты взял, мой дорогой философ, что брак — это такое простое и обыкновенное дело? Брак зависит от тех людей, кто в него вступает. И могут быть

Когда же я, в свою очередь, подал ей ещё букет фиалок, она точно задохнулась, так глубоко было её удивление.

— И вы, и вы достали для меня мои любимые цветы, — тихо сказала она, беря меня под руку и отводя со средины комнаты, где мы стояли, привлекая общее внимание. — Вы с вашим братом чересчур балуете меня. О, если бы вы знали, эмблемой какого счастья служат для меня эти цветы.

— Я знаю, — сказал я необдуманно. Увидя необычайное удивление на её лице, поняв, как глупо я попался, я не дал ей опомниться и попросил указать мне, где в этой огромной комнате сидела Жанна. Удивление и беспокойство чудного лица Анны сменилось наконец смехом.

— Чудак вы, Лёвушка, — сказала она. — Вы меня так, было, озадачили, — и она ещё веселее засмеялась. — Ну вот вам Жанна и князь. Веселитесь, я же пойду выполнять свои обязанности хозяйки. Вы будете сидеть подле меня, вернее между мной и Жанной за обедом, так как ни одна из нас не желала уступить вас никому, — и, улыбаясь всем нам троим, она нас оставила. Я подал Жанне розы и сел подле неё на турецкое низкое кресло.

Я не мог ни осмотреть комнаты, огромной, с опущенными гардинами и массой зажжённых ламп, ни наблюдать движущихся в ней, весело и громко, часто по-турецки, разговаривающих людей, так как Жанна сыпала сотню слов в секунду, всё время требуя от меня внимания и ответов. Главное, чем она была недовольна, это что моё соседство с нею по правую сторону, а не по левую, где должен был сидеть князь.

Наконец мне удалось перебить её и спросить князя, в каком состоянии он оставил жену.

— Очень хорошо, Лев Николаевич, княгиня уже пыталась держать в руке чайную ложечку и радовалась как дитя, — ответил князь.

Тут открылись двери столовой, и хозяин, стоя на пороге, пригласил нас к столу.

Анна уже спешила ко мне. Одна бутоньерка фиалок была приколота к её груди и резко выделялась на белом фоне платья, ещё больше подчёркивая беломраморную кожу её лица и шеи.

Подав ей руку, я двинулся в шеренге пар, увидя впереди себя мать Анны с тем элегантным турком, с которым она разговаривала при нашем появлении.

Когда я занял указанное мне Анной место, то оказался не только между нею и Жанной, но и vis-a-vis с молодым Ибрагимом, который был очень элегантно, по-европейски одет. Мы радостно раскланялись с ним. Рядом с ним сидела девушка несколько восточного типа. Жанна сейчас же шепнула мне, что это племянница Строгановой, дочь её сестры: что сама Строганова, особа очень добрая и весёлая, видит в ней будущую жену Ибрагима. Я очень пожалел моего приятеля, так как лицо девушки было смазливеньким, но тупым. Вряд ли можно было ждать вдохновенных минут от такой жены.

Гости заняли длиннейший стол. Комната была отделана по-восточному, вся в разноцветной инкрустации, с преобладанием голубого тона, в два света, с абсолютным отсутствием всякой мебели, кроме низких диванов во всю стену, покрытых исключительной роскоши коврами.

Два турка взяли у нас шляпы, помогли нам вынуть цветы. Я был поражён, какое чудо искусства — две бутоньерки из фиалок — оказалось в моей корзиночке; тогда как у И. оказались три пучка роз на длинных стеблях, каждый из которых был связан прекрасной восточной лентой. И. подал мне букет розовых роз, взял у меня одну бутоньерку из фиалок и сказал:

— Иди за мной, Лёвушка. Я подам букет старой хозяйке и Анне. Ты подашь фиалки Анне и розы Жанне. Не робей, держись просто и вспоминай, как держит себя Флорентиец.

Сопоставление высоченной и величественной фигуры моего обожаемого друга с моею фигурой среднего роста и хрупкого сложения, его манер — простых, но величавых — с моей юркостью, мысль, как хорош бы я был, величественно выступая в подражание ему, показалась мне такой комичной, что я едва удержался от смеха; но улыбки удержать не мог, и с нею вошёл в гостиную.

Здесь были только одни мужчины, и гостиная скорей походила на курительную комнату, так в ней было накурено.

— Ну, вот и вы, — услышал я голос Строганова, шедшего нам навстречу. — Я думаю, мои дамы начинают уже беспокоиться о своих кухонных изобретениях и приходят в плохое настроение. Мы ждали вас по-семейному раньше, а вы, столичные франты, по этикету, за четверть часа, — смеялся он, пожимая нам руки. — Пойдёмте, я познакомлю вас с моей старухой. А со всеми остальными и знакомить не буду. Всё равно перепутаете все оглы и паши, — взяв И. под руку, продолжал он.

Он подвёл нас к величавой пожилой, но ещё не старой женщине в чёрном шёлковом платье, очень простом, но прекрасно сидевшем на её стройной, несколько полной фигуре.

Увидев лицо дамы, я был поражён. Косы на голове её лежали тяжёлой короной и, к моему удивлению, были пепельного цвета. Глаза чёрные, овал лица продолговатый, цвет кожи смуглый, почти оливковый, руки прелестные. Передо мной стояла Анна — дыбом. Всё в матери напоминало дочь, но... какая разница, какая пропасть лежала между этими двумя несомненными красавицами.

— Я очень рада видеть вас у себя, — сказала она И., принимая цветы и благодаря за них. — Муж мой мне говорил так много о вас.

Голос её был тоже низкий, как у Анны, но и здесь была пропасть. Он был хрипловатый, и в нём звучали нотки избалованной красавицы, привыкшей всех побеждать и поражать своей красотой. Мне она только едва улыбнулась, сейчас же переведя глаза на высокого турка в феске и европейском платье и продолжая начатый с ним раньше разговор. У меня не было времени размышлять о жене Строганова, так как нам навстречу шла Анна, но какая-то ледяная струйка пробежала к моему сердцу, и я пожалел Строганова.

Анна была в белом кисейном платье; чёрные косы, как обычно, лежали по плечам, глаза сверкали, опять вызвав во мне воспоминание о глазах-звёздах Ананды. Она протянула И. свою дивную руку, которую он поцеловал, и радостно сверкнула глазами, принимая от него фиалки.

— Наконец-то, — сказала она. — Всякого сюрприза я могла ждать от вас. Но чтобы вы подарили мне фиалки...

браки огромного значения, вовсе не только личного для тех людей, кто в них вступает. Всякий брак, как ячейка рождения и воспитания людей, дело чрезвычайно важное и ответственное. Люди — отцы и матери, — если они поднялись до сознавания себя единицами всей вселенной, если их трудовой день вносит красоту в единение всех людей, будут готовы к воспитанию новых человеческих жизней; они будут проводить свои системы воспитания, не в словах, но на собственном живом примере увлекать своих детей в красоту. Если же они поднялись до больших высот творчества, они составляют те ячейки, где воплощаются будущие великие люди, творцы и гении, чьё вдохновение составляет эпохи в жизни человечества.

Гармония семьи не в том состоит, чтобы все её члены думали и действовали одинаково, имели или не имели тайны друг от друга. А в той царственно расточаемой любви, где никто не требует обязательств друг от друга, в той высочайшей чести друг другу, где нет слов о самопожертвовании, а есть мысль о помощи, о радости быть полезным. Всё это, Лёвушка, встаёт перед тобой, как поток вопросов, и я уже говорил, приедет Ананда — у тебя забурлит творческий дух, а не вопросный водопад Ниагары. Об одном только должен ты подумать, и подумать очень крепко: в сердце твоём уже не раз шевелился червь ревности. Большего ужаса, чем пронизать свою жизнь припадками ревности, нельзя себе и представить.

Всю жизнь себе и всем окружающим можно отравить и даже потерять весь смысл долгой жизни только от того, что дни были разъедены ревностью. Можно иметь великий талант, можно увлечь человечество в новые грани литературы, музыки, скульптуры, — и всё же создать себе такую железную клетку страстей в личной семейной жизни, что придётся века изживать ту плесень и грибы на своём духе, что нарастил в ревнивой семейной жизни. И наоборот, одна прожитая в мире и гармонии жизнь проносится над человеком века и века как очищающая атмосфера, как невидимая помощь и защита ему.

Не задумывайся сейчас над вопросом брака твоего брата. Много пройдёт времени, раньше чем ты поймёшь великий смысл его жизни и проникнешь в духовный его мир. Ты до сих пор его знал как любимую и нежную няньку, как воспитателя и отца.

Встань, дружок. Вот тебе часть пилюли Али. Пойдём к князю, которого мы обещали сегодня познакомить с Жанной. Что касается твоего брата, то поверь: легкомысленного решения или вопроса о самопожертвовании для спасения Наль здесь быть не может. Здесь один из величайших моментов его жизни. Отнесись к нему с полным уважением и даже благоговением.

Я принял лекарство, захватил свою аптечку и молча пошёл за И.

В доме князя мы нашли всё ту же атмосферу болезни и угнетения. Князь, провожая нас в комнату жены, рассказывал о беспрерывных попытках княгини улыбнуться и говорить, попытках мучительных для всех, не приводящих ни к каким результатам.

— Здравствуйте, княгиня, — сказал И., наклоняясь над измученным, старческим лицом больной, которая казалась тяжёлой, мертвенной массой среди чудесных, благоухающих цветов.

Княгиня с трудом подняла веки, но, увидав И., совершенно преобразилась. Глаза блеснули сознанием, губы сложились в улыбку без всякой гримасы.

— Вы прекрасно себя ведёте. Я очень доволен вами, — говорил И., держа старуху за руку. — Можно отодвинуть часть гардин и впустить в комнату солнце, — обратился он к сестре милосердия. Когда солнце осветило комнату, я поразился, с каким вкусом, с какой тщательной заботливостью она была обставлена. Казалось, князь, забывший совершенно о своей Бог весть чем обставленной комнате, перенёс сюда всё своё внимание, чтобы вознаградить больную за её страдания.

Я оценил, как высоко внутренне культурен должен быть этот человек, чтобы расточать свою доброту и заботы полумёртвому телу своей ужасной супруги.

Мог ли бы я когда-нибудь дойти до такой высоты, чтобы забыть все горести и унижения совместной жизни и так ухаживать за женой, которая отравила бы мне мою молодую жизнь?

Мне даже холодно стало, когда я подумал, что такое представляло из себя существование князя как «жизнь». Мысли мои увели меня от действительности, — «Лёвушка — лови ворон» сидел вместо внимательного подлекаря, и очнулся я только от прикосновения И., смотревшего на меня с укором.

— Лёвушка, князь уже несколько минут ждёт пилюлю Али и держит перед тобой стакан с водой. Этак мы долго задержимся здесь, и Жанна будет снова обижена на господина младшего доктора за его опоздание, — сказал он, улыбаясь только губами, а глаза его пристально и строго смотрели прямо в мои. Я покраснел и подумал, что он снова прочёл все мои мысли, как я судил и копался в жизни князя.

Через несколько минут И. напоил больную красной кипевшей жидкостью, отдал сестре распоряжения, и мы вышли вместе с князем из дома.

До Жанны было не особенно далеко, но жара на улицах после тенистого и сравнительно прохладного дома князя, была нестерпима. Улицы, хотя считались центральными и главными, были зловонны и грязны. Пыль проникала в горло, и хотелось кашлять.

Наконец мы вошли в дом Жанны и сразу попали в атмосферу суеты, труда, весёлой беготни и детского смеха.

Квартиры было не узнать. В пустой вчера передней стояла отличная деревянная вешалка, занявшая одну из голых стен. У другой стояло трюмо, столик, высокие стулья.

В магазине шла возня с установкой стеклянных шкафов и элегантных прилавков. Всем распоряжался сам Борис Фёдорович, только советуясь с Жанной и своей прекрасной дочерью Анной.

Но «благодать» не сияла сегодня в этой работе. Дивное лицо Анны казалось мне ликом с иконы, так много в нём было ласки и доброты. Я даже представить себе не мог этого мраморного лица в ореоле чёрно-синих кос таким божественно, нечеловечески добрым.

Но Жанна... нахмуренная, точно недовольная, едва цедящая слова в ответ на вопросы Строганова. Я не выдержал, пошёл прямо к ней, и чувство у меня было такое, точно я иду с рогатиной на медведя.

— Вот как вы «легко» начинаете своё дело! Это что же, вы в благодарность И. так срамите его своей невоспитанностью? Сейчас же возьмите себя в руки, улыбнитесь и постарайтесь быть как можно внимательнее ко всем этим добрым людям, а особенно вежливы вы должны быть с тем новым другом, которого привёл к вам

были красивы. В моём сердце живёт только мой друг Флорентиец, и ваш цветок я положу к его портрету, — ответил я.

Капитан пожал плечами, но ответить ничего не успел. Навстречу нам шёл огромный, грузный турок, такой широкоплечий, что, казалось, весь земной шар поднимет. Это был хозяин оранжерей, приветствовавший капитана как сердечного друга. Опять я подумал, что, судя по внешности, я бы поостерёгся этого малого, а вечером обязательно обошёл бы его подальше.

У хозяина оказались чудесные орхидеи, оказались и пармские фиалки. И. вместе с капитаном заказали какие-то причудливые и фантастические корзины из белых орхидей, из розовых гардений и роз. Фиалки же мы должны были принести с собой Анне, а розы её матери и Жанне.

Нагруженные лёгкими плетёными корзиночками, где в сырой траве лежали цветы, мы вернулись все втроём к нам в отель. Времени оставалось только чтобы переодеться и покатить к Строгановым. Капитан сидел на балконе, и до меня долетали обрывки его разговора с И. И. говорил ему, что вскоре приедет Ананда, с которым он его обещал познакомить. Кроме того, он обещал капитану ввести его в дом Строгановых, чтобы послушать прекрасную игру и пение Анны.

— Я вам буду более чем благодарен, доктор И. Вечер, проведённый с вами в обществе красавицы-музыкантши, даст мне, быть может, новую силу оценить талант по-иному, чем таланты за плату выступающих сценических деятелей. Однажды каверзный Лёвушка царапнул меня по сердцу, задав вопрос, как бы я отнёсся к жене, играющей для широкой публики. И я до сих пор не знаю ответа на этот вопрос, — задумчиво говорил капитан.

— Наш Лёвушка недаром обладает глазами как шила. Просверлил в вашей душе дыру, а пластыря мира не приложил, — засмеялся И.

— Нет, никто не может научить меня миру. Мне любы только бури, на море они или на суше, но всюду со мной и вокруг меня — только бури.

Тут я вышел, переодевшись в белый костюм из тонкого шёлка, заказанный для меня И., в чёрном галстуке — бантом, в чёрном поясе-жилетке и с гардением капитана в петлице. Волосы мои уже отросли и ложились красивыми кольцами по всей голове.

— Батюшки, да вы красавец сегодня, Лёвушка. Помилосердствуйте, Жанна окончательно очаруется вами, — закричал капитан.

Но ни его ирония, ни внимательный взгляд И. меня не смутили. Я был полон внутри мыслями о Флорентийце и брате и решил твёрдо ни разу не превратиться сегодня в «Лёвушку — лови ворон».

Мы спустились вниз, простились с капитаном и, бережно держа корзиночки с цветами, сели в коляску.

У подъезда дома Строгановых стояло несколько экипажей. Я понял, что обед будет не очень семейным, что, кроме нас, будут ещё гости, но ещё раз дал себе слово быть достойным Флорентийца и собрать всё своё внимание, думая не о себе, а о каждом из тех, с кем я буду говорить.

В просторной, светлой передней Строгановых, где по двум стенам стояли высокие деревянные вешалки, висело много летних плащей и лежали целой кучей всевозможного рода шляпы.

Капитан и хозяева засмеялись, мои спутники потребовали себе багдадского волшебства, а я справился со второй его порцией не менее быстро, чем с первой.

Капитан нас торопил; мы сели в коляску и понеслись по сонному городу, точно лениво дремавшему под солнцем.

— Вот и суди по виду, — сказал я капитану. — Я осудил вас, зачем вы пошли в такую тоскливую кондитерскую. А вышло так, что, очевидно, вечером кое-кто язык проглотит от ваших тортов.

Капитан смеялся и рассказывал нам в юмористическом тоне о своих многочисленных бедствиях. Он очень скромно упомянул, что всю пароходную бедноту, задержанную в Константинополе из-за ремонта, устроил на свой счёт в нескольких второразрядных гостиницах.

— Всё бы ничего, — вздыхал он. — Только дамы из первого и второго классов замучили. И зачем только созданы дамы, — комически разводя руками, говорил он.

— Вот бы посмотрел я на вас, если б не было дам. Ваши жёлтые глаза никогда не становились бы глазами тигра, и вам было бы адски скучно командовать одними мужчинами.

— Лёвушка, вы второй раз отливаете мне пулю прямо в сердце. Хорошо, что сердце у меня крепкое и приедем скоро. Знаете ли, доктор И., если бы отпустили этого молодца со мною в Англию, он, пожалуй, забрал бы меня в руки чего доброго.

И. улыбался капитану, улыбался мне и стал рассказывать, как хорошо всё сложилось в судьбе Жанны. Капитан внимательно слушал и долго молчал, когда И. окончил свой рассказ.

— Нет, знаете ли, я, конечно, только морской волк. Но чтобы Анна вязалась в моём представлении со шляпами — никак не пойму. Анна — богиня... и шляпы! — всё повторял капитан.

— Но ведь для шляп нужна толпа людей, — сказал я.

— Ах, Лёвушка, ну какие это люди. Это дамы, а не женщины. Но вот мы скоро и приедем. Обратите внимание на эту панораму. Тут все дамы из головы выскочат.

И действительно, было на что посмотреть, и нельзя было решить, с какой стороны город казался лучше.

Но рассматривать не пришлось: мы остановились у глухих ворот высокого, глухого забора. Капитан позвонил в колокольчик, и юноша-турок сейчас же открыл калитку.

Переговорив о чём-то с осклабившимся и радостно блестевшим зубами до затылка молодым турком, капитан повёл нас в глубь сада. По бокам дорожек шли грядки всевозможных цветов. Много было таких, каких я ещё никогда не видал. По дороге капитан сорвал небольшой белый благоухающий цветок и подал его мне.

— Все джентльмены в Англии, одеваясь к обеду, вкалывают в петличку такой цветок. Он называется гардения. Когда будете сегодня обедать, приколите в память обо мне этот цветок. И подарите его той, которая вам больше всех понравится сегодня, — сказал он, беря меня под руку.

— В вашу честь я приколоть цветок могу. Но обед, куда я пойду, не будет восточным пиром. И для меня там не будет ни одной женщины, как бы они все ни

сейчас И., — сказал, вернее выпалил я ей всё это в лицо быстро, как из револьвера, выбрасывая горох французской речи.

Жанна, ждавшая, очевидно, что я подхожу к ней ласково здороваться, смотрела на меня ошалевшими глазами. Я не дал ей опомниться и продолжал осыпать её своими гороховыми выстрелами.

— Скорей, скорей приходите в себя. Вспомните пароход и трюм, откуда вас вытащили. Не для того вас вводят в жизнь, чтобы вы упражнялись в своём дурном характере. Где же ваши обеты думать о жизни детей?

— Лёвушка, вы мной недовольны? Но вас так долго не было. Здесь все чужие; мне и страшно и скучно, — бормотала Жанна. Лицо её было совершенно детски беспомощно.

— Чужие?! — воскликнул я возмущённо. — Да вы слепая! Посмотрите на лицо Анны. Какая мать может нести на своём лице больше любви и доброты? Сейчас же вытрите глаза и приветливо встретьте нового друга, — я вижу, И. ведёт его к вам.

«Знала бы ты, что этот новый друг — не кто иной, как муж преследовавшей тебя на пароходе княгини», — подумал я сам в ту минуту, когда И. знакомил Жанну с князем. И вся комическая сторона дела так ярко сверкнула в моём уме, что я не выдержал и залился своим мальчишеским смехом.

— Эге, — услышал я смеющийся голос Строганова. — Да ведь, кажется, мы не на пароходе, бури нет и опасность как будто не грозит? А смельчак-литератор вроде как бы подаёт свой, ему одному свойственный знак опасности.

Я не мог унять смеха, даже Анна засмеялась низким, звонким смехом.

— Этот капитан, — ответил я наконец Строганову, — будет иметь со мной серьёзное объяснение. Он создаёт мне совершенно не соответствующую моей истинной сущности репутацию. И особенно стыдно мне пользоваться ею в вашем, Анна Борисовна, присутствии.

— Почему же я так стесняю вас? — тихо и ласково спросила Анна, помогая отцу расставлять стулья.

— Это не то слово. Вы не стесняете меня. Но я преклоняюсь перед вами. Не так давно я видел одну прекрасную комнату в Б. Я представлял себе, что в ней должны жить существа высшего порядка. Я думаю, там, в этой комнате, вы были бы как раз на месте, — ответил я ей.

— Ай да литератор! Знал, чем купить навеки сердце престарелого отца! Ну, Анна, более пламенного обожателя у тебя не было, — воскликнул Строганов.

— Разрешите мне на полчаса увести одного из членов вашей трудовой артели, — услышал я за собой голос И. — Если вы ничего не имеете против, мы с Жанной пройдём в сад. Кстати, позвольте вам представить одного из наших друзей, — обратился он к Анне и её отцу, подводя к ним князя.

Анна пристально посмотрела в глаза совершенно растерявшегося от неожиданной встречи с такой красотой князя. Она улыбнулась, подав ему руку, и ласково сказала:

— Я очень рада познакомиться с другом И. Мы будем рады видеть вас у себя дома, если вам захочется побыть в семье.

— Доктор И. беспредельно добр, назвав вам меня своим другом. Я самый простой первый встречный для него, облагодетельствованный им и ещё ничем не отплативший ему за всю его помощь. Но если простому и слабому человеку вы разрешите

когда-нибудь побыть подле вас, я буду счастлив. Мне кажется, вы, как и доктор И., вливаете в людей силу и уверенность.

— Вы совершенно правы, — ответил Строганов, — Анна мне не только дочь, но друг и моя сила жить. Буду рад видеть вас у себя в любой день. Вечерами мы всегда с Анной дома и почти всегда вдвоём. Семья наша огромна, и все любят веселиться. Только я да моя монашенка всё сидим дома.

И., князь и Жанна вышли в сад, уведя с собой и детей. Я тоже пошёл было за ними, но какая-то не то тоска, не то скука вдруг заставила меня остановиться, и я присел в тёмном углу за шкафом, где кто-то оставил стул.

Строганов с Анной разговаривали в передней, и слов их я не разбирал. Но вот стукнула дверь из передней, и отец с дочерью вошли в комнату.

— Что ты печальна так, Аннушка? Тяжело тебе приниматься за ремесло, когда вся душа твоя соткана из искусства? Но как же быть, дитя? Ты знаешь, как тяжело я болен. Каждую минуту я могу умереть. Я буду спокоен, если оставлю тебя обеспеченной каким-то самостоятельным трудом. Писать ты для печати не хочешь. Играть публично не хочешь. А только эти твои таланты могли бы обеспечить твою жизнь. Земля требует от нас труда чёрного или привилегированного. Если не хочешь служить земле искусством за плату, надо трудиться в ремесле. Вот, может быть, я ошибся в компаньонке, которую тебе предложил. Я думал, что катастрофа жизни поможет Жанне трудиться и она оценит тебя по достоинству. Но, кажется, я ошибся, — говорил Строганов, очевидно, продолжая начатый разговор.

Я хотел подать знак, что я всё слышу, хотел выйти из своего угла, чтобы не быть непрошеным свидетелем чужих тайн. Но апатия, точно сонная непобедимая дремота, овладела мной, и я не мог пошевельнуться.

— Нет, отец, я не печальна. Напротив, я очень благодарна тебе за эту встречу. Мне так ясна моя роль подле этих прелестных, но заброшенных детей. Мать их обожает, но переходы от поцелуев к шлепкам ей кажутся единственной воспитательной системой и нормальной обязанностью. У меня личной семьи никогда не будет, ты это хорошо знаешь. Я буду им тёткой-воспитательницей, пока... — голос её слегка задрожал, она помолчала немного, — пока я не уеду в Индию, где буду многому учиться подле друзей Ананды. Но я дала тебе слово: это будет после твоей смерти.

Я не видел Строганова, но всем существом чувствовал, что в его глазах стояли слёзы. И я не ошибся. Когда вновь раздался его голос, в нём слышались слёзы:

— И подумать только! Сколько красоты, сколько талантов в тебе! Сколько сил ума и сердца! И всё это должно гибнуть, оставаться бесполезным земле и людям.

— Как раз наоборот, отец. Любя людей всем сердцем, я хочу трудиться для них, для земли, а не над нею. Я хочу быть совершенно свободной, никакими личными узами не связанной и не выбирать себе людей по вкусу, а служить тем страдающим, кого мне подбросит жизнь. И в эту минуту твоей любящей рукой мне дана та из встреч, где я могу быть наиболее полезна. Мне не трудна будет Жанна, потому что она тоже дитя, хотя разница лет между нами небольшая.

Но в моей жизни был ты, — у неё же были жадные французские буржуа. А ты — хотя ты и смеёшься над моим тяготением к Индии, над исканием какой-то высхоть сколько-нибудь, в чём-нибудь мог походить на вас, — чуть не плача, ответил я моему другу.

Мы двинулись из сквера по знойным, пёстрой толпой усеянным улицам, полным красными фесками, как мухоморами.

— Сегодня мы с тобой пойдём обедать к Строгановым. Анна хочет отпраздновать в семейном кругу своё новое начинание, — сказал И. — Нам надо быть кавалерами, заказать цветы к столу и торт. А также принести с собой роз обеим молодым хозяйкам магазина, Жанне и Анне, и старой хозяйке дома, жене Строганова.

— Я очень сконфужен, — сказал я. — Я никогда не бывал в обществе, никогда не видел большого обеда и совсем не знаю, как себя там вести. Было бы лучше, если бы вы поехали туда один, а я бы почитал дома книгу.

— Это невозможно, Лёвушка. Тебе надо приучиться к обществу людей и быть примером такта и воспитанности. Вспомни о Флорентийце, наберись мужества и пойдём вместе.

— Не могу себе вообразить, как я войду в комнату, где будет полно незнакомых мне людей. Я непременно или что-нибудь уроню, или буду ловиворонить, или не удержусь от смеха, если что-либо мне покажется смешным, — недовольно бормотал я.

— Как странно, Лёвушка. Ты обладаешь большим литературным талантом, наблюдательностью и чуткостью. И не можешь сосредоточиться, когда встречаешься с людьми. Войди в гостиную, где, вероятно, все соберутся перед обедом, не топчись рассеянно в дверях, ища знакомых лиц, с кем бы поздороваться. Огляди спокойно всех, найди глазами хозяйку и иди прямо к ней. На этот раз иди за мной и верь, что в этом доме твоей застенчивости нет места.

Мы прошли за угол и столкнулись лицом к лицу с капитаном. Обоюдные восхищения радости показывали каждому из нас, как мы успели сдружиться. Узнав, что мы ищем цветов и тортов и очень хотим найти фиалок, так как это любимый цветок Анны, капитан покачал головой.

— Торт, хоть башней, с мороженым и без него, найти ничего не стоит. Но хорошие цветы найти в этот глухой сезон — это задача, — сказал капитан. — Но так как вы хотите их найти для красавицы, какую раз в жизни можно увидеть, стоит постараться. Зайдём к моему знакомому кондитеру, он выполнит заказ с восторгом, потому что многим мне обязан. А потом сядем в коляску и помчимся к одному моему другу — садоводу. Он живёт вёрстах в трёх от города. Если только есть в Константинополе хорошие цветы и фиалки, они у вас будут.

Быстро, точно по военной команде, мы прошли ещё две улицы и вошли в довольно невзрачную кондитерскую. Я был разочарован. Мне хотелось сделать заказ в блестящем магазине; здесь же я не ждал найти что-либо из ряда вон выходящее.

И как всегда, ошибся. Пока капитан и И. заказывали какие-то мудрёные вещи, хозяйка, закутанная с ног до головы в чёрное покрывало, подала мне какое-то пирожное и бокал холодного тёмно-красного питья. Ничем не прельстило меня ни то, ни другое, но когда я взял в рот кусочек, я жадно немедленно отправил в него всё оставшееся. Едва запив его холодным питьём, я мог только сказать:

— Капитан, это Багдад.

Несколько раз, видя меня в этом состоянии, И. с удивлением смотрел на меня. И однажды, очень внимательно в меня вглядевшись, он улыбнулся мне ласково и сказал:

— Вот тебе и опыт, как жить в компромиссе. Честь, если она живой ниткой вибрирует в человеке, мучит его больше всего, когда её хотят обсыпать сахарным песком сверху и скрыть маленькую каплю жёлчи под ним. Ты страдаешь, потому что цельность твоей природы не может вынести лжи. Но неужели же так трудно найти выход, если правдивость сердца его требует?

— Я вам ничего не говорил, Лоллион, а вы опять всё узнали. Но если уж вы такой прозорливец, то должны были бы понять, что я действительно в трудном положении. Как могу я сказать Анне, что я всё слышал и знаю её тайну? Как могу я признаться ей, что сидел зачарованным, как кролик возле змеи, и не мог двинуться с места? Кто же, кроме вас, верящего в мою честь, поверит этому?

— Ты, Лёвушка, не должен ничего и никому говорить. Мало ли человек может знать тайн о жизнях других людей. Случайностей, я уже тебе говорил не раз, не бывает в жизни. Если тебе так или иначе пришлось увидеть чужую рану или сияние сердца, скрытое от всех, будь истинно воспитанным человеком. А это значит: и виду не подать, что ты о чём-либо знаешь. Если же тебя самого грызёт половинчатость собственной чести, умей нести своё страдание так, чтобы от него не страдали другие. И унеси из пережитого урока знание, как поступать в следующий раз, если попадёшь в такое же положение.

Разговор наш происходил в маленьком тенистом сквере, где мы присели, возвращаясь домой. От слов И. мучительное состояние моё не прошло, но мне стало ясно моё ложное поведение по отношению к Анне. И ещё яснее стало видно, как я должен был собрать все силы и не допустить себя до роли подслушивающего.

— Ну, я думаю, особой трагедии на этот раз в твоей жизни не случилось. И если и было что-либо плохое, то это твоя рассеянность. Если бы ты представил себе, что Флорентиец стоит с тобою рядом, ты нашёл бы сил встать и уйти.

— Какой ужас! — вскричал я. — Чтобы Флорентиец узнал, как я подслушивал. Только этого не хватало. Надеюсь, вы ему этого не скажете.

И. заразительно рассмеялся.

— Да разве ты, Лёвушка, мне что-либо говорил. Вообрази только, насколько мысль и силы Флорентийца выше моих, и поймёшь всю нелепость своего вопроса. Но успокойся. Этот маленький факт — один из крохотных университетов твоего духа, которых бывает сотни у каждого человека в его простом дне. У того человека, который стремится к самодисциплине и хочет в ней себя воспитать.

— Я получил письмо и телеграмму от Ананды. Он сегодня выехал из Москвы. Если его путешествие будет благополучно, в чём я не сомневаюсь, он будет здесь через шесть дней. Я хотел бы, чтобы к этому времени ты прочёл одну книгу, которую я тебе дам. Прочтя её, ты несколько более поймёшь, к чему стремится Ананда, чего достигли Али и Флорентиец и что, может быть, когда-нибудь постигнем и мы с тобой, — мягко приподнимая меня со скамьи, сказал И.

— О, Господи! До чего же вы добры и благородны, Лоллион. Ну, как можете вы сравнивать себя с невоспитанным и неуравновешенным мальчишкой. Если бы я

шей мудрости в жизни, — ты самый яркий пример людей, которых можно назвать великими посвящёнными.

Ничего не зная и не желая знать о каких бы то ни было «посвящённых», ты всю жизнь подавал мне пример активной доброты. Ты ни разу не прошёл мимо человека, чтобы не взглянуть на него со всем вниманием, чтобы не подумать, чем бы ты мог быть ему полезным. И ты помогал, не дожидаясь, чтобы тебя об этом просили.

Я шла и иду по тебе. Я только верна тем заветам, которые читала в твоих делах. Я знаю, как тяжела тебе моя любовь к Ананде, которую ты считаешь безответной и губящей меня. Но пойми меня сейчас и навсегда. В первый раз за всю нашу жизнь я говорю с тобой об этом, и этот раз будет и последним.

Не гибель принесла мне эта любовь, но возрождение. Не смерть, но жизнь; не горе, но счастье. Я поняла весь смысл любви, когда ничего не просишь, но всё отдаёшь. И всё же не разоряешь душу, но крепнешь.

То высочайшее самоотвержение, в котором живёт Ананда, это уже не просто человеческое творчество. Это мощь чистого духа, умеющего для каждого человека превратить его серый день в сияющий храм.

И если ты создал мне жизнь радости и счастья подле тебя, то он научил меня ценить каждый миг жизни как величайшее благо, где все силы человека должны уходить не на эгоистическое счастье жить, а на действие для блага всех людей. Не отказываюсь я от счастья, а только вхожу в него. Вхожу любя, раскрепощённая, весело, легко, просто.

В прихожей послышались голоса, разговор оборвался, и в комнату вошли Жанна, а за нею князь и И. Лицо князя было бодро, Жанна больше не хмурилась и принялась весело разбираться в каком-то картоне.

Послышался стук в дверь, все отвлеклись вниманием, я воспользовался мгновением и проскользнул в сад.

Через несколько минут я услышал, что меня зовут, но вместо того чтобы приблизиться к дому, я отошёл в самый дальний угол сада.

Вскоре в дверях показалась фигура князя, державшего в руках конверт. Он искал меня, называя меня тоже: «Лёвушка», так как, видимо, не знал моего отчества, как и я не знал даже его фамилии по свойственной мне рассеянности.

Я очень обрадовался, что это был он. Легче всего мне было сейчас увидеться с ним. Он подал мне письмо, говоря, что его принёс матрос-верзила.

Капитан писал мне, что не может сегодня обедать с нами, как сговорился вчера. В его делах сейчас некоторые осложнения, почему он просит отложить пока нашу восточную идиллию, а разрешить ему заехать к нам завтра часов в десять вечера.

Мы вернулись с князем в дом, где я передал И. содержание письма. Строганов приглашал нас к себе, но И. отклонил его предложение, сказав, что воспользуется свободным временем, чтобы написать несколько писем и дать мне отдохнуть от усиленной суеты.

Мы простились со Строгановыми, и И. предложил Жанне провести с нами вечер. Но старик категорически заявил, что Жанна пойдёт обедать к ним, а вечером, часам к восьми, он приведёт к нам и Жанну и Анну.

— Вот это прекрасно, — сказал И. — Может быть, и вы пожалуете к нам? — обратился он к князю.

Тот весь вспыхнул, растерялся как мальчик и с радостью ответил согласием.

Мы вышли с И. Он повёл меня новой дорогой, но, видя моё ловивоpонное состояние, смеясь, взял меня под руку.

— Итак, — сказал он, — новая жизнь Жанны и князя уже началась.

— Что она началась для Жанны — это я вижу, — ответил я. — Но чтобы она началась для князя — это для меня ниоткуда не следует.

— А для меня новая жизнь князя уже много яснее обозначилась, — улыбнулся И., — чем жизнь Жанны.

— Быть может, это и так, — возразил я. — Но если чья-либо жизнь здесь будет новая — так это жизнь Анны, а не этих двух.

И. остановился так внезапно, что на меня сзади налетели две элегантные дамы и далеко не элегантно сбили своими зонтиками мою панаму, не подумав даже извиниться.

Я разозлился и крикнул им вдогонку:

— Это совсем по-турецки.

Должно быть, я был смешон в своём раздражении, потому что проходивший мимо турок засмеялся, а я ещё больше озлился.

И. ласково взял меня снова под руку.

— Ну и задал же ты мне загадку... Ай да Лёвушка, — сказал он смеясь, после чего мы благополучно добрели до своего отеля. Я был рад, что И. не обладал способностью стрелять речью с выговорами, как горохом из ружья, по примеру моего поведения с Жанной, хотя сознавал, что именно этого я достоин сейчас больше всего.

Глава 18

Обед у Строгановых

Протекла целая неделя нашей суетливой константинопольской жизни, с ежедневными визитами к больной княгине, к Жанне, к некоторым из наших спутников по пароходу, о которых просил капитан, и я не только не успевал читать, но еле мог вырывать час-другой в день, чтобы осмотреть город или что-либо из его достопримечательностей.

В голове моей шла усиленная работа. Я не мог не видеть, как светлело лицо князя по мере выздоровления его жены. Когда в первый раз после долгого мычания она заговорила — хотя и не очень внятно, но совсем правильно — и шевельнула правой рукой, он бросился на шею И. и не мог найти слов, чтобы высказать ему свою благодарность.

В квартире Жанны тоже, казалось мне, царила «благодать». Дети хвостом ходили за Анной. Жанна, руководимая Строгановым и его старшей дочерью, весёлой хохотушкой и очень практической особой, бегала по магазинам, наполняя шкафы и прилавки лентами, перьями, блестящими пряжками, образцами всевозможных шелков и рисовой соломки, из которых прелестные руки Анны сооружали не выставки, а дивные художественные произведения.

Сначала мне казалось, что невозможно для Анны это окружение суеты и самой элементарной мелочи жизни. Но когда я увидел, каким вкусом, красотой и благородством задышала вся комната, как лицо каждого входившего преображалось от мира и доброты Анны, я понял, что такое значили её слова о сером дне, становящемся сияющим храмом.

Малютки, одетые, очевидно, со вкусом и заботой Анны, отлично ухоженные ласковой няней-турчанкой, чувствовали себя возле Анны в полной защите от вспыльчивой любви матери, всегда внезапно переходившей от ласки к окрику.

В магазине уже появилось несколько шляп, сделанных руками Жанны, и предполагалось дня через два-три его открыть.

Князь ежедневно навещал Жанну, но мне казалось, что между ними всё ещё не устанавливается верного тона дружеских отношений, тогда как к Анне у князя появилось простое, самое чистое и радостное обожание, каким любят недосягаемо выше стоящие существа.

В его новой жизни, которую я теперь видел ясно, складывался, или вернее, выявлялся добрый, мужественный человек. Иногда я бывал удивлён той неожиданной стойкостью характера, которую он проявлял при встречах с людьми.

Со мною Анна была неизменно ласкова. Но невольно подслушанный мною её разговор с отцом так выбивал меня из самообладания, что я каждый раз конфузился, тысячу раз давал себе слово во всём ей признаться, а кончал тем, что стоял возле неё весь красный, с глупым видом школьника, накрытого на месте преступления в неблаговидной шалости.

газин зайти, и книг у меня было много... Но какая-то неуверенность без И., даже тоска без него сжимала мне сердце.

«Боже мой! Как я детски привязчив и неопытен», — подумал я. Видя моё расстроенное лицо, князь предложил мне вместе пройтись по городу и заказать сладости для вечера. Но я возразил ему, что Анна вечером ничего, кроме фруктов, есть не будет, а потому и хлопотать о парадном столе не стоит. Но князь со мной не согласился и поехал один.

Я же уселся на диван в своей комнате и через несколько минут весь погрузился в книгу, что дал мне И., и совсем ушёл в другой мир.

Точно после сна очнулся я от стука в дверь моей комнаты. Должно быть, я долго читал, так как руки и ноги у меня затекли, я с трудом распрямился.

Стучал ко мне капитан, среди дня забежавший случайно зачем-то домой. Он предложил мне пойти с ним, подождать его в одном месте минут десять, но зато потом пройтись по азиатской части города и посмотреть кое-что у антикваров...

Я согласился. Мне вдруг пришло в голову — тайно от всех — заказать для Ананды сладкое печенье «Багдад», как я его прозвал, у кондитера — приятеля капитана. А также купить фруктов для него же и поставить их завтра в комнату к его приезду.

Я поделился своим желанием с капитаном. Он весело мотнул головой, и мы отправились по его делу. Посмотрев на загорелое лицо капитана, на весёлые тигровые огоньки в его глазах, я решил, что дела его поправляются. Он же признался мне, что ждёт игры Анны с огромным нетерпением и волнением, каких давно не испытывал.

Я хотел ему сказать, что он не получит того, чего ждёт, если ждёт светского развлечения. Но вспомнил слова И. о капитане, о том страдании и перевороте, который должен в нём вскоре наступить, — и только вздохнул о бессилии каждого из нас перед грядущими бурями.

«И зачем все должны страдать, — думал я, протестуя. — Сейчас капитан весел, ему радостно. Неужели же он будет счастливее, если что-то новое сожжёт в его уме и сердце те понятия и представления, которыми он жил до сих пор».

— Ну, вот, Лёвушка, и кондитерская. Зайдём, я выпью чего-нибудь и оставлю вас здесь на четверть часа. Не успеете вы насладиться «Багдадом», как я буду уже снова с вами, — прервал мои мысли капитан.

Он, быстро проглотив что-то со льдом, скрылся как метеор. Я же почувствовал себя совсем ленивым от жары и сел в ожидании питья и соблазнительного печенья, от нечего делать рассматривая публику.

Сам хозяин подал мне еду, спрашивая, как понравились гостям его торты. Я рассказал ему, какой фурорный успех они имели, и прибавил, что у меня есть к нему личная просьба, которую я хочу сохранить в тайне от моих друзей.

Он лукаво улыбнулся, затянулся своей зловещей трубкой и ожидал, очевидно, услышать женское имя, куда отправить сластей. Узнав же, что я хочу заказать торт и печенье для мудреца, да ещё принца, — он даже привстал.

— Эта дела серьёзна была, — сказал он. — Я тэбэ дэлаю, дэлаю карош.

Тут он сказал мне, что мудрецу надо, чтобы было на вид просто, а как возьмёшь в рот — рай. А принц, принцу надо, чтобы на вид тоже было просто, только чтобы лежало на таких блюдах, до которых дотронуться — «не подходи».

Мне была неприятна болтовня Жанны; мне казалось не особенно благородным сплетничать насчёт тех людей, кто так трогательно помогал ей начать новую жизнь.

— Будете ли вы петь сегодня? — спросил я снова повернувшуюся ко мне Анну.

— Мне бы не хотелось, но, вероятно, придётся. Среди наших гостей есть несколько лиц, глубоко ценящих и понимающих музыку. Мать моя не артистична. Но сидящий рядом с нею человек музыкален и даже считается хорошим певцом, — ответила она, лукаво улыбаясь.

— Ах, как жаль, как глубоко жаль, что капитан не может вас услышать. Для него это было бы более чем необходимо, быть может, даже откровением, — воскликнул я.

— Удивительный вы фантазёр, Лёвушка. Наверное, вам в угоду И. хочет, чтобы я устроила музыкальный вечер для маленького кружка людей, когда приедет Ананда. Если вам удастся услышать его пение все остальные звуки покажутся вам бедными и ненужными. Каждый раз, когда я слышу этот голос, я расстраиваюсь своим убожеством.

— Оправдание вашим словам можно найти только в величии вашего собственного таланта и вашей души, Анна. Тот, кто понимает, где сияют вершины, только тот может быть недоволен, имея ваш талант, который И. называет огромным.

— Положительно, Лёвушка, вы решили сегодня задавать мне шарады, — засмеялась Анна.

— Нет, о нет! Если бы вы знали, как я перед вами виноват...

Моя речь оборвалась. Я увидел выдвинувшуюся голову И., и его взгляд напомнил мне о нашем разговоре в сквере. И. задал Анне какой-то вопрос, а я, как в спасительный фарватер, повернулся к Жанне.

Обед шёл своим порядком. Неоднократно я перехватывал взгляд высокого турка, о музыкальности которого говорила Анна. Огненные, какие-то демонские глаза его часто останавливались на Анне. И иногда в них мелькало зверское выражение ненависти, когда он смотрел на И., с нею разговаривающего.

«Вот тебе и здравствуй, — подумал я. — Не хватало только моему дорогому И. отвечать за грехи Ананды».

Не успел я подумать об этом, как высокий турок встал, взял в руку бокал с шампанским и очень важно, даже величаво, поклонился своей соседке, хозяйке дома. Она улыбнулась ему и постучала ножиком о край своего хрустального стакана.

Голоса сразу смолкли, и все глаза уставились на турка, желавшего провозгласить тост.

После довольно пространного прославления родителей — быть может, это так полагалось по восточному обычаю, но мне казалось фальшивым — он перешёл к виновнице торжества — младшей дочери. Речь свою он произносил на французском языке, заявляя, что выбирает его потому, что за столом есть люди, понимающие только этот язык. Он сказал это самым невинным тоном, будто бы выполняя элементарное требование вежливости, но что-то в его глазах, лице и всей фигуре было так едко и оскорбительно насмешливо, что вся кровь мне ударила в голову. Я не сомневался, что он внутренне издевался над Жанной, хотя внешне всё было формально правильно.

Анна, сидевшая опустив глаза, поглядела на меня своим бездонным взглядом, точно уверяя меня в суете и ненужности всего окружающего. Мне стоило усилий снова вслушаться в речь оратора. Голос его был ясный, повелительный, речь правильная; необычайно чётко он выговаривал все буквы до последней.

Отвлёкшись вниманием к наблюдению за самим человеком, я потерял нить его речи и собрался с мыслями только к завершению его длинного тоста, в котором, очевидно, и была вся соль.

— Вот перед нами не только жемчужина Босфора, которая могла бы украшать любой гарем, любой дворец, но женщина, для красоты и талантов которой всей земли мало. И что же мы видим? Женщина эта хочет самостоятельно трудиться, колоть свои прелестные пальцы иглой и булавками. Стыдно нам, мужчинам Константинополя, не сумевшим завоевать сердце красавицы прелестней всех красавиц мира.

Но если уж нам это до сих пор не удалось, то мы объявляем себя ревнивыми телохранителями и не потерпим, чтобы кто-либо, не турок, отнял у нас наше сокровище. Я предлагаю тост за вечно женственное, за красоту, за страсть, за женщину, как украшение и добавление к жизни мужчины, а не как за труженицу. Царственной красоте и царственное место в жизни, — закончил он. Он чокнулся бокалом со Строгановым и прошёл вокруг стола к месту Анны.

Я не слышал, что сказала Анна И., но видел её молящий взгляд и его ответную улыбку и кивок головой.

Турок приблизился к нам. Все гости вставали со своих мест, чокаясь с Анной и хозяевами и создавая каламбуры на тост турка. На его лице было выражение адской дерзости, злобы, ревности, как будто он на что-то решился, что-то поставил на карту, хотя бы это вызывало и скандал.

Я задрожал: какой-то ужас вселила в меня эта адская физиономия.

Вдруг, шагах в трёх-четырёх от нас, турок весь побледнел, так побледнел, что даже губы его стали белы. Он слегка пошатнулся, как будто порываясь идти вперёд, а перед ним была непроходимая преграда. Он снова пошатнулся, схватился рукой за сердце. К нему бросились на помощь. Но он уже оправился, старался улыбнуться, но видно было, что он сам не понимает, что с ним происходит.

Когда он схватился за сердце, он выронил из руки браслет, как мне показалось, из розовых кораллов. Но, как после мне сказал И., из розовых жемчужин и розовых же бриллиантов — вещь неоценимой стоимости.

Очевидно, он хотел, тайно для всех, надеть эту драгоценность на руку Анны, а его внезапная болезнь выдала его желание. Кто-то подал ему браслет, он с досадой положил его в карман и пошёл к Анне, хотя шёл теперь еле волоча ноги, сгорбившись и сразу став старым, почти безобразным.

Он с трудом чокнулся с Анной, поднявшейся к нему навстречу, не сказал ей ни слова, хотя глаза его готовы были выскочить из орбит, и, резко повернувшись, пошёл обратно на своё место.

Я неотступно наблюдал его. Мне было странно, что, еле волоча ноги в нашу сторону, он имел силы так резко повернуться от нас. И ещё более странно было его поведение дальше. Чем ближе он подходил к своему месту, тем легче и уверен-неё он шёл. И, опускаясь на стул возле хозяина дома, он уже весело подшучивал над собой, говоря, что у него, должно быть, начинается грудная жаба.

Там мы застали полное вавилонское столпотворение. Строганов дал объявление в газетах об открытии нового французского магазина — и дамы посыпались как из мешка; даже обе Гальдони приехали заказать шляпы.

Молодые хозяйки были удовлетворены массой заказов и большим количеством проданных шляп. Жанна была радостно возбуждена и вполне в своей сфере, а Анна... улыбалась ласково, была спокойна, но счастья в лице её я не видел.

— Анна, не откажите мне в просьбе, — обратился к ней И. — Мы с Лёвушкой и капитаном переехали к князю. Поиграйте нам завтра вечером в девять часов. Я заеду за вами; мне очень хочется, чтобы вы соединили всех нас в понятном всем нам языке красоты и музыки перед приездом Ананды.

— Для вас я всегда готова играть, хотя присутствие капитана мне кажется странным, — ответила Анна. — Я буду играть, — прибавила она, помолчав. — Да, конечно, буду играть и вашему капитану, — повторила она, снова помолчав больше первого раза. Вдруг Анна засмеялась, отчего всё её лицо просветлело, а я был счастлив, что капитан услышит её игру, которая — я верил — поможет ему взглянуть иначе на играющую талантливую женщину.

Время бежало, я волновался, что не успел купить капитану цветов, что тут же и высказал.

— Не горюйте. Долг платежом красен. За цветы капитана поставьте ему на стол эту маленькую японскую вазу и вот эту нежную орхидею, — сказала Анна, снимая с полочки чудную вазочку с орхидеей. — Только не говорите, что это от меня.

Я подпрыгнул от удовольствия, захлопал в ладоши, поцеловал обе руки Анне и, бросив всё и всех, помчался с князем домой.

Не успел я поставить свой цветок на стол, как послышались голоса и шаги, среди которых я сразу узнал лёгкую поступь капитана и тяжёлую развалку Верзилы.

Князь ввёл нашего друга в комнату, просил его извинить, если что-либо не так, как он привык, объяснил, где ванна, и скрылся, напомнив, что в половине восьмого обед.

Я был как в чаду. Я был и капитану рад и не мог отделаться от поразившего меня контраста в комнате Ананды, и таким же несовместимым контрастом казались мне Анна и Жанна, Анна и магазин...

Обед и вечер прошли весело. Дружеская беседа наша затянулась далеко за полночь. Капитан рассказывал так интересно и вместе с тем так просто и забавно о своих путешествиях и встречах, что я неоднократно перескакивал из состояния «Лёвушки — лови ворон» в неудержимый заливчатый смех.

Наконец И. напомнил нам, что у капитана завтра обычный хлопотный рабочий день. Мы простились с нашим милым хозяином, ещё раз поблагодарили его за все его заботы и внимание и разошлись по своим комнатам.

Как обычно, мне казалось, что спать я не хочу, а не успел раздеться, как мгновенно заснул.

На следующий день я так поздно проснулся, что едва успел к завтраку, за которым меня уже ждал князь. Он сказал мне, что И. не будет дома раньше вечера, что вернётся он только вместе с Анной прямо к музыке.

Я опечалился. В первый раз И. покидал меня так надолго, и я был предоставлен самому себе. Не то что я не знал, чем себя занять, — я мог и в город пойти, и в ма-

Страх мой к комнатам прошёл, мы поднялись по ступенькам довольно высокого крыльца и попали точно в восточный город.

Прихожая была застелена пушистым персидским ковром; по стенам тянулись низкие шёлковые диваны с подушками; узкие стрельчатые окна были закрыты ставнями из разноцветного стекла. Роскошная тяжёлая занавесь отделяла прихожую от комнат. И. приподнял портьеру, и мы вошли в комнату.

— Боже, — вырвалось у меня. — Да тут жить принцу, и жить не месяцы, а годы.

— Так оно и есть. Ананда — принц, а жить ему здесь не меньше года, — так тихо проговорил эти слова И., что я их еле ухватил ухом.

Целая гамма фиолетовых тонов расточена была в комнате, царственно роскошной и вместе с тем простой. Это была комната кабинет-библиотека; но стиля её я не понял, как сейчас не знаю. Точно на ковре-самолёте чья-то воля перенесла её из средних веков и расставила в доме князя. Я никогда не видел таких кресел, массивных, высоких, из какого-то светло-зеленоватого с чёрными разводами дерева, крытых лиловым шёлком.

— Где только могла взять Анна эти вещи? — невольно вырвалось у меня.

— Они стояли в складах её отца очень много лет. Теперь нашли себе применение, — ответил мне И. — Но пойдём дальше.

Мы вошли в следующую комнату и... я от удивления сел на табурет, стоявший у двери. Я всего ожидал, только не того, что увидел.

Простая походная, полотняная кровать, без подушек, покрытая мягкой звериной шкурой. Небольшой белый стол, два-три деревянных стула и платяной самый простой шкаф.

— Теперь ты видишь истинные потребности принца; здесь будет его святая святых, куда вряд ли войдут многие.

Я молча указал И. на стол, где стояла такая же хрустальная ваза, как в его комнате, и в ней... один из наших букетов фиалок. Он кивнул мне головой, и мы вышли из комнат Ананды, задвинув занавесь и закрыв дверь.

Всё потеряло для меня реальное значение. Я шёл как в тумане и опомнился только в наших комнатах, где И. мне напомнил об обязанностях дружбы и гостеприимства к капитану, который должен был жить здесь, рядом со мной.

— Надо стараться облегчить ему жизнь в эти дни. Ему немало придётся перестрадать. Твоя нежная любовь может больше помочь, чем все заботы других, — сказал И. — Думай о нём. Зови всей силой мысли Флорентийца, и ты найдёшь всегда нужное слово для капитана.

Я твёрдо решился собрать своё внимание и посвятить все свои заботы капитану в эти дни нашей совместной жизни. А потому, как только услышал голос князя и возню в соседней комнате, — побежал туда и стал помогать в убранстве комнаты.

Князь печалился, что не мог найти так быстро ничего хорошего. В комнату вносили красивую мебель пальмового дерева, старинную, оригинальную. И. вышел тоже сюда и сказал князю, что обстановка очень хороша, капитан будет более чем доволен и благодарен.

Князю надо было заехать ещё в магазин к Жанне, куда надо было и нам. Мы все втроём стали убирать комнату, быстро придали ей жилой и уютный вид, переоделись и помчались в магазин.

Ещё я не смог отдать себе отчёта в том, что произошло, как снова шум и смех гостей был прерван звоном по бокалу; и на этот раз поднялся хозяин дома, очевидно желая сказать ответный тост.

— Прежде всего я благодарю моего гостя за столь высокое прославление родителей «перла», хотя считаю себя совершенно недостойным похвал и вижу в тосте моего гостя обычай восточной вежливости. Что же касается тех граней между чистокровными турками и европейцами, между трудящимися и живущими на чужой счёт, то... — он смешно подмигнул и продолжал: — Вот он, наш знаменитый оратор, считает себя турком. Имя его Альфонсо. Есть ли такое турецкое имя? А фамилия его — да-Браццано. Возможна ли такая турецкая фамилия?

Кругом раздался смех.

— Фамилия его говорит и об испанцах, и о маврах, и об итальянцах, — о ком хотите, только не о турках. А вот психология и воспитание нашего друга могут быть глубоко турецкими. Это уж дело его вкуса и склонностей.

Что касается моей обрусевшей семьи, то в ней все трудятся. И если завтра я закрою глаза, то все члены моей большой семьи будут стоять в жизни на своих ногах и пройдут в полной материальной независимости свой жизненный путь.

Сегодняшний день я считаю самым счастливым, так как меньшая моя дочь, единственный совершеннолетний член семьи, не имевший самостоятельного труда, становится независимой хозяйкой большого дома. Я приветствую в её лице всех трудящихся, образованных женщин. Женщин не игрушек и развлечений, а женщин — друзей своих мужей и детей. Да здравствует счастье труда, единственное верное счастье человека.

И Строганов точно так же, как турок, пошёл вокруг длиннейшего стола к Анне, по дороге поцеловав руку своей жене.

Но в этот раз я заметил в Строганове сильное волнение, когда он склонялся к своей жене, чокался с да-Браццано и со своим младшим сыном, пользовавшимся исключительной любовью матери.

На вид это был красивый юноша, с пепельными волосами, чёрными глазами и оливковой кожей, как у матери. Но было что-то животное, отталкивающее в этой красивой внешности. Было ясно, что для него образцом хорошего тона был турок, который с ним особенно был внимателен и ласков. Юноша был, очевидно, избалован и изнежен, испорчен баловством матери и чрезвычайно высокомерен.

Я превратился в «Лёвушку — лови ворон», забыл всё на свете и вдруг увидел за спиной юноши какое-то уродливое, серое существо. Точно это был он и не он, а его портрет лет через двадцать. На лбу, по всему лицу шли морщины. На руках торчали какие-то шишки, глаза из глубоких впадин сверкали точно раскалённые угли. Рот злобно кривился.

Я не мог ни отделить этой второй фигуры от юноши, ни слить их воедино. Я поднял руку, готовясь закричать ему: «Берегитесь, прогоните злодея сзади вас», как рука моя очутилась во власти другой руки, и я услышал голос Строганова:

— Ну, кого же сейчас точат ваши писательские шила? А, мой меньшой сын вас занимает. Ну, этот ещё не трудится. Маменька будит утром, собственноручно подавая в постельку шоколад. Меньших обычно считают младенцами, хотя бы они уже перещеголяли стариков своим опытом.

Обнимемся, Лёвушка. Я вижу, вы моей царственной розе Босфора по сердцу пришлись, а это бывает редко.

Я едва мог ответить на его объятие и то только потому, что И., подошедший к Жанне, сжал мою руку и шепнул: «Думай о Флорентийце».

Когда все снова сели и подали торты и мороженое, заказанные нами, за столом раздались возгласы удовольствия. Вероятно, хозяин кондитерской хорошо знал вкусы константинопольской публики.

Анна, тихо говорившая с И., повернулась ко мне, и её чёрные глаза пристально посмотрели на меня.

— Ах, Анна, как я несчастен. Хоть бы скорее кончился этот бесконечный обед. И зачем это людям есть так много. Мне положительно кажется, что с самого приезда в Константинополь я только и делаю, что ем да сплю. Да ещё ясно наблюдаю, как схожу с ума, — жалобно сказал я.

Её нежная рука погладила мою лежавшую на колене руку, и она ласково сказала:

— Лёвушка, придите в себя. Я всем сердцем вам сочувствую. Мне так хотелось бы чем-нибудь быть вам полезной. Смотрите на меня как на самую близкую, любящую сестру.

Голос её был так нежен, столько доброты лилось из её глаз ко мне, что я не мог выдержать. Уже подступало к горлу рыдание, как я заметил двигающуюся ко мне руку И. и на клочке бумажки увидел пилюлю Али. Я схватил пилюлю как якорь спасения, быстро проглотил её и, к моему облегчению, услышал шум отодвигаемых стульев.

Гости разбрелись по балконам и гостиным, где был приготовлен чёрный кофе по-турецки.

Я молил И. не оставлять меня одного и поскорее уехать домой. Мы вместе с князем вышли на балкон, где уже сверкало алмазами звёзд тёмное небо и, казалось, был дождь, так как капли дрожали кое-где на деревьях и особенно сильно благоухали цветы.

— Вот она, южная благоухающая ночь. Но если ты думаешь, что видишь капли дождя, то ошибаешься. Это Строганов приказал облить деревья, цветы и дорожки, чтобы не было так душно. Ты хочешь уехать. А разве не хочешь послушать игру и пение Анны. Не будь эгоистичен, — сказал, понизив голос, И. — Ты ведь понимаешь, что без нас Анне будет тяжелее здесь сегодня. Неужели ты не понял, что великая сила чистой любви и воли помогла мне защитить её от этого адского турка.

— У меня к вам очень большая просьба, доктор И., — сказал внезапно всё время задумчиво молчавший князь.

— Я буду более чем рад служить вам, князь, — очень живо ответил И.

— Видите ли, я всё время ищу какой-либо возможности отплатить вам за вашу доброту ко мне и моей жене. И все способы, которые я перебираю в своём мозгу, мне кажутся вульгарными. Но вот как будто бы я нашёл один, хотя в нём более, чем когда-либо, можно упрекнуть меня в эгоизме. К вам должен приехать друг. Вряд ли ему будет приятна суета отеля. В моём же большом и пустом доме есть две комнаты с совершенно отдельным ходом.

Рядом с этими комнатами пустуют ещё три. Я уже сговорился со Строгановым и начал их все отделывать. Через два дня всё будет готово, меблировано, и я уже

Я вышел ему навстречу и увидел в его руках письмо, крупный и властный почерк которого я сейчас же узнал. То было письмо, лежавшее на столе подле роз.

— Я получил известие, что Ананда будет здесь послезавтра вечером. Какая радость! — обняв меня, произнёс И. — Но ты как будто всё ещё не оправился? Или ты не рад Ананде?

— Я уже по одному тому рад Ананде, что счастьем встречи с вами, Лоллион, я обязан ему. Если бы он не спас вас, что бы я теперь делал? В каком трюме жизни и кто искал бы меня? — ответил я, в первый раз до дна осознав, как много, бесконечно много, сделал для меня И.

И. ласково улыбнулся, снова искорки юмора засветились в его глазах, и он сказал:

— А разве в том, что сказал тебе сейчас Ананда, что нет связей иных, как причины и следствия нашей собственной жизни и деятельности, ты не видишь смысла и нашей связи? Быть может, я, как и все, только отдаю тебе свой прежний долг?

Я потёр себе лоб.

— Постойте, мой дорогой. Ведь не хотите же вы мне сказать, что в моей галлюцинации была хоть капля действительности? Как мог говорить со мной Ананда, находясь за тысячи вёрст от меня?

— Точно так же, как говорил тебе Флорентиец, будучи очень далеко от тебя. Ты чуть не плачешь, волнуешься и ищешь сверхъестественных объяснений. А я уже говорил тебе, что жизнь твоя не несёт тебе боли безумия, а огромное счастье знания, если ты захочешь трудиться и воспитать себя к полному самообладанию. Ты забыл или не отдал должного внимания моим словам. Я уже объяснял тебе, что в каждом человеке есть творческие силы сверхсознания. В одних людях они дремлют, в других оживают. И оживают в каждом по-разному, в зависимости от общего уровня развития чистоты и культуры — от юродивого до мудреца.

— Ох, Лоллион, до мудреца мне так далеко, что вряд ли и дойти. И юродивым быть, пожалуй, мало чести и радости, — горестно сказал я, прижимаясь к моему другу и как бы ища у него защиты.

— Дитя ты ещё, Лёвушка, — засмеялся И. — Дитя, дитя удивительное, с одной стороны, и очень большая сила — с другой. Как-то справишься ты с жизнью, которую только ты один можешь создать? Как-то поднимешь на плечи всё то, что сейчас требует от тебя ответов и труда. И никто, кроме тебя самого, не может исполнить твоих, только тебе одному присущих, индивидуальных задач, — тихо и серьёзно говорил И.

— Но ведь вы меня не оставите! Вы поможете мне прожить и учиться до тех пор, пока не приедет Флорентиец? О, Лоллион, не оставляйте меня; я знаю, какой я для вас груз и обуза, но я не в силах буду пережить сейчас ещё одну разлуку, — едва сдерживая слёзы, вцепился я в его руки.

— Мой дорогой мальчик, мой брат, я буду с тобою очень долго. И наша с тобой дружба радостна мне, а вовсе не груз и не обуза. Ты только уверься в том, что слух и зрение могут внезапно обостриться у каждого от всяких, тебе ещё пока непонятных, причин. Будь спокоен. Сейчас ты так счастлив, никакие обязательства не давят тебя, — всматривайся же свободно в жизнь людей и оберегай каждого от неприятностей, насколько можешь.

Пойдём посмотрим, какие комнаты приготовил наш хозяин Ананде.

Я приник к плечу И., который нежно гладил меня по волосам, и никак не мог унять дрожи во всём теле. Наконец я успокоился настолько, что мог встать.

— Вот как я нынче осрамился, дорогой Лоллион. В первый же день я так напугал вас, князь. Мне это очень прискорбно; простите, пожалуйста. Уж такой я незадачливый «лови ворон». Как только попаду в особенно прекрасную комнату, так и становлюсь ротозеем.

— Всё образуется, Лёвушка, — ласково ответил мне князь. — Не хотите ли посмотреть на комнаты, которые приготовлены для вашего приезжающего друга?

— Ох, нет, Бога ради, только не сейчас, — взмолился я, опасаясь повторения только что пережитого.

И князь и И. — оба посмотрели на меня с удивлением. Пристальный взгляд И. точно раздвинул во мне какие-то завесы; как будто бы во мне, как в зеркале, отразилось всё, что я только что пережил, и мне показалось, что И. увидел всю картину моего расстроенного воображения именно так, как она мне представилась.

— Ну, хорошо, если вы чувствуете себя плохо, мы отложим. Я поеду похлопочу как сумею о комнате капитана. Хочется, чтобы к семи часам он нашёл её готовой и уютной. Кстати, зовут его сэр Джемс Ретедли. Но я понятия не имею, как надо звать важного лорда в быту, — обратился князь к И.

— Лучше всего, если мы будем поменьше стеснять себя всякими условностями. Продолжайте звать его «капитаном». Ведь зовём же мы вас просто «князь», а ведь у вас тоже есть имя и отчество, — улыбаясь, ответил И.

— Вот отлично-то! Так я поскорее поеду. Обед в половине восьмого, — сказал князь и, кивнув нам, вышел из комнаты.

Оставшись вдвоём, мы молчали. Вдруг взгляд мой упал на лежавшее на столе письмо. Я подумал, что И. будет приятнее читать его наедине: мне казалось, что письмо от Анны, и цветы, вероятно, тоже от неё.

Я тихо вышел из комнаты, прошёл к себе, но так боялся снова впасть в неприятное состояние иллюзий, что предпочёл побыть в саду.

Сад оказался запущенным куском старого парка и отделялся высокими стенами от соседей, где тоже были видны старые тенистые деревья.

Я присел на скамью и радостно отдыхал в этом уединённом месте. Пёстрые картины недавнего прошлого одна за другой вставали в моей памяти, так перегруженной и утомлённой всем пережитым за это время. Я положительно не мог думать ни об одном человеке или факте, чтобы тотчас же они не связывались в целую вереницу чувств и мыслей, сбиваясь в конце концов в кашу.

Яркий образ Флорентийца один доминировал над всем моим существом. Как-то отступила, точно в тень отошла, фигура брата. Я подумал, что он теперь переживает «медовый месяц». Но что, собственно, подразумевают люди под медовым месяцем, когда так восхищаются им? — думалось мне. Какое-то новое, неведомое мне раньше чувство стыда вдруг ворвалось в мои мысли.

Потом, ни с чем не связанно, я стал думать о Лизе и капитане, о Жанне и князе. И все эти отношения почудились мне тоже греховными и не такими чистыми, чтобы их единила только красота...

— Где ты, Лёвушка? — услышал я особенно радостный голос И.

купил отличный рояль, чтобы и ваш друг и Анна могли на нём играть в моём доме, если бы это им вздумалось.

Для спутника вашего друга есть комната в бельэтаже, имеющая сообщение со всем домом и, по особой лестнице, с комнатами, предназначенными для Ананды и для вас с Лёвушкой. Как видите, я уже всё обдумал. Не откажите мне перед скорой разлукой в счастье иметь вас своими гостями.

Голос князя был тихий, почти молящий. И. близко подошёл к нему, подал ему руку и сказал:

— Какую бы форму я ни придал моей благодарности, наиболее радостным будет то слово, что редко помощь человека приходит так кстати и вовремя, как ваше предложение нам. Мы с Лёвушкой устали от суеты отеля, а наш друг уже давно нуждается в отдыхе. От лица всех нас благодарю. Мы будем очень рады пожить в вашем тихом доме, так как задержимся здесь, вероятно, ещё около месяца.

— Какое это для меня счастье, — воскликнул князь.

На пороге балкона выросла женская фигура, и я узнал Жанну, звавшую нас пить кофе. Что-то меня в ней поразило, и я только при свете огня понял, что она переоделась в другое платье. На мой вопрос, зачем она это сделала, она сказала мне, что в Константинополе такая мода, чтобы на парадных обедах дамы к кофе меняли туалеты.

Действительно, я увидел Строганову в лёгком платье сиреневого цвета, что шло к её волосам, но составляло резкий контраст с её кожей. Быть может, это было и хорошо, но мне не понравилось.

Я стал искать глазами Анну, мысленно решая, в каком бы цвете я хотел её видеть. И ни в чём, кроме белого, мне не хотелось рисовать себе её очаровательную фигуру.

Как же я обрадовался, когда увидел её в том же туалете. Осмотрев туалет Жанны, со множеством мелких оборочек ярко-зелёного цвета, я вдруг сказал ей:

— Я не парижанин, а просто ещё не видавший света мальчишка. Но на вашем месте я ни в коем случае не оделся бы в это вульгарное платье. Первый ваш туалет был скромен и мил, он был только рамкой для вас. Что же касается этой зелени, то она убила вас и кричит о дурном вкусе. Ради Бога, не делайте шляп в стиле этого платья. Вы разгоните высший свет и соберёте в свой магазин базар.

— Это потому, — чуть не плача говорила Жанна, — что первое платье я выбрала сама, а второе мне подарила мадам Строганова.

К нам подошли князь и И., и мы сели в уголке пить кофе. На диване за центральным столом сидела Анна, а возле неё на кресле — зловещий да-Браццано.

Он, не сводя с неё глаз, что-то ей говорил. Лицо её было холодно, точно маска легла на него, закрыв все возможности читать душевные её движения. Только раз глаза её поднялись, обвели комнату и с мольбой остановились на отце. Он сейчас же отошёл от своего кружка и сел на диване рядом с нею.

— Ну, друг доченька, хочу выпить чашку кофе, налитую твоими милыми руками, — улыбаясь, сказал он ей.

Анна встала, чтобы налить ему кофе, а я снова увидел в глазах турка бешенство и ненависть. Но он улыбался и глотал свой кофе, вполне владея собой.

— Лоллион, я просил вас не оставлять меня. Но я сейчас крепок, как если бы сам Али был тут, а не только его пилюля во мне. Мне кажется, если этот сатана будет возле Анны, она петь не сможет. Неужели вы не можете его так скрючить, чтобы он вовсе убрался, — шептал я.

И. засмеялся и сказал, что верит моей силе и самообладанию и пойдёт к столу Анны. Но просит меня, как только начнётся музыка, сесть непременно рядом с ним, что он займёт мне место, а лучше всего, как начнутся ещё разговоры о пении, чтобы я сразу подошёл к нему. Поговорив ещё немного с князем и Жанной, он перешёл к столу Анны, куда, как к магниту, стали собираться мужчины.

Последовало снова долгое кофепитие.

— Знаете, князь, не мог бы я жить на Востоке. Однажды я был на настоящем восточном пиру по поводу свадьбы. Там было разделено общество на мужскую и женскую половину. Я видел, конечно, только пир мужчин. Они ели руками, ели до отвала, до седьмого пота, под унылую восточную музыку. Это было безобразно, но красочно, хотя и варварски. Здесь всё прикрыто как бы культурой и цивилизацией, — и все так же точно объедаются до пота. Только вытирают его не сальными руками и рукавами, а душистыми носовыми платками.

Ну, скажите, разве не варварство так устать от еды. Дойти до такого изнеможения, как эта группа людей, сидящая против нас, — указал я на нескольких гостей, сидевших в полном отупении на диване и креслах в противоположном от нас углу и тяжко переваривавших пищу.

Тут раздались просьбы о пении и музыке. Многие просили петь Браццано; он ломался и, воображая себя героем, отвечал, что не особенно здоров, но попробует всё же. «Лучше тебе и не пробовать», — ехидно думал я и решил во что бы то ни стало умолить И. дать ему какую-нибудь каплю лекарства, чтобы он охрип и, что называется, «дал петуха».

Обуреваемый этим желанием, я забыл все условные вежливости на свете, бросил своих друзей и побежал к И. Схватив его за руку, я стал его умолять помочь турецкому бретёру осрамиться и пустить петуха.

— Какой ты ещё мальчишка, Лёвушка, — смеялся надо мной И.

— Лоллион, миленький, добрый, хороший, не дайте мучить Анну этому злодею. Наверное, у него и голос такой, что ему петь только куплеты сатаны, — шептал я.

— Уймись, Лёвушка, — очень серьёзно сказал мне И. — Наблюдай и вглядывайся во всё. Запомни всё, что сегодня видишь и слышишь. Многое поймёшь гораздо позже. Для Анны и некоторых здесь сегодня идут решающие всю их жизнь минуты. Будь серьёзен и не шали как мальчик.

Он почти сурово поглядел на меня.

Вся толпа гостей, предводительствуемая хозяином, двинулась в большой вестибюль, не тот, с которого мы вошли, а в середине дома. Там по широкой, красивой лестнице мы спустились вниз, в большой, круглый концертный зал, принадлежавший лично Анне. Ах, какая это была чудесная комната. Мозаичные деревянные полы и стены, посредине рояль и по стенам небольшие стулья. Две-три вазы на постаментах и несколько картин и мраморных фигур.

Когда Анна подошла к роялю, я забыл всё. На её лице играла улыбка, глаза сверкали, на щеках горел румянец. Это была не та Анна, которую я неоднократ-

Казалось бы, эта комната была вовсе непохожей на комнату сэра Уоми в Б. Но чем-то, быть может жёлтым цветом, она вызвала во мне воспоминание о ней. Гармония форм и красок, вкус, с которым были расставлены вещи, — всё было образцом истинной художественности и поразило меня.

— Это вы сами так убрали комнату для И.? — спросил я вошедшего князя.

— Нет, Лёвушка, этой комнатой занялась Анна. У одного её знакомого долго стояла без употребления вся эта мебель. Она рекомендовала мне её купить и сама руководила расстановкой мебели. Нравится вам? — спросил князь.

— Нравится — это не то слово. Здесь так же отражено превосходство её вкуса над всеми нами, как в её игре, в её зале, в её манере одеваться, — сказал я, забывая всё и превращаясь в «Лёвушку — лови ворон».

Не знаю, долго ли я сидел в кресле у письменного стола, рассматривая заворожившую меня комнату. Одна мысль владела мной неотступно: «Как же обставит Анна комнаты Ананды? Комнаты того, кого избрало её сердце навек, если только для друга она сумела устроить комнату-храм, входя в которую, испытываешь благоговение?»

Весь под влиянием этой мысли, забыв всё на свете, я думал, что такое любовь у существ, выше нас стоящих? Как они любят? В чём они видят смысл любви? Почему мой брат женился на Наль, а Ананда не женится на Анне? Разве от брака таких любовников не пошла бы высшая раса людей?

Вдруг, как всегда внезапно содрогнувшись с головы до ног, я увидел Ананду, хотя и где-то далеко, но совершенно ясно, и услышал его голос:

«Связи людей, их любовь и ненависть — всё не одной данной жизни плоды. И тело человека, и его окружение — всё следствия и результаты личных трудов и достижений в веках. Нет пути духовного совершенствования одного вырезанного из миллионов окружающих его жизней. Только научившись единиться с людьми в красоте, сливаться с ними в любви, можно пройти в те высоты духовных сил, где живут люди выше нас. Тогда открывается собственное сердце, и в нём оживает новая любовь. И человек понимает, что вся вселенная связана, дышит и вечно движется вперёд этой живой любовью».

Всё исчезло, и голос Ананды умолк.

— Вы не волнуйтесь, князь, — услышал я подле себя и почувствовал, что И. держит меня за руку. — У Лёвушки, в результате удара на пароходе, бывают такие нервные припадки. Но это не опасно. И если когда-нибудь это с ним случится без меня, вы только дайте ему капель, которых прошу вас накапать ему сейчас из этого флакона.

Князь подал мне капли.

— Поставьте их вон в тот маленький прекрасный шкаф, — продолжал И. — Вы будете знать, где найти в этих случаях помощь. Повторяю, это не опасно, не волнуйтесь. Вы сами нуждаетесь сейчас в помощи больше, чем Лёвушка; на вас, что называется, лица нет. Можно ли так теряться? — уговаривал И. князя.

— Ну, слава Богу, слава Богу. Лёвушка так неподвижно сидел, уставясь глазами в пространство, ни на один вопрос не отвечал, что я смертельно перепугался, — говорил взволнованно князь.

музыки и высокой общественной роли женщины, одарённой музыкальным талантом, — посмотрев на меня, закончил И.

Я густо покраснел, хотел упрекнуть моего друга за насмешку надо мной, но желание уговорить капитана переехать вместе с нами превозмогло всё.

Я бросился ему на шею и, должно быть, так искренне, по-детски, молил его принять великодушное предложение князя, тот, со своей стороны, ещё раз его повторил, И. тоже убеждал его усиленно, что в результате капитан развёл руками, покачал головой и сказал:

— Ведь переезд в чужой семейный дом, да ещё в таком близком соседстве с вами, доктор И., — это для меня род монастырского заключения! Я ведь так привык вести беспорядочную жизнь!

— Ну, капитан, если вы действительно интересуетесь нашей внутренней жизнью, как вы неоднократно говорили, и хотите подумать о многом, что давно складываете в запасники ума и сердца, а также поговорить с настоящим мудрецом, и ваши намерения серьёзны, — несколько дней чистой жизни не составят для вас трагедии, — вставая, сказал твёрдо И.

— Конечно, доктор И., я не о трагедии воздержания думал, когда колебался. А просто сознаю себя мало достойным того внимания, которое вы все мне оказываете!

— Ну, это уже пошли подробности! — закричал я. — Вы, главное дело, поскорее соглашайтесь, чтобы я мог идти собирать мои вещи. А то вы ведь не знаете молниеносных темпов И. Не успею я сложить один костюм, он явится, уже всё своё сложивши, упрекать меня в ловиворонстве.

Все засмеялись, капитан джентельменски поклонился князю, благодаря и принимая предложение и обещая вечером, к семи часам, быть с матросом-верзилой на месте, в его доме.

Я с радостью побежал собирать свои вещи, что, с помощью слуг князя, очень скоро сделал. Мы расплатились в отеле и сели в коляску князя, предоставив перевезти вещи слугам.

Мы сделали по городу большой крюк, так как И. нашёл необходимым нанести визит синьорам Гальдони, у которых мы ещё не были под предлогом моей болезни.

Я был очень рад, что мы их не застали дома. Передав карточки, мы приехали наконец в дом князя. И. прошёл прямо к княгине, а нас с князем просил разместить его вещи, как нам заблагорассудится.

Первое впечатление от предоставленных нам князем комнат было ошеломляющее. Комната моя имела большой балкон, выходящий в сад, и под ним было много цветов. Обои светло-серого цвета, на которых ярко выделялась мебель красного дерева, где было всё и для спальни и для кабинета.

Мне было очень любопытно посмотреть скорее на комнату И. Его комната была жёлтая, а мебель вся резная, чёрного дерева, в готическом средневековом стиле, напоминая своими высокими остроконечными формами внутренность храма. Покрыта была мебель жёлтым шёлковым ковром, в тон обоям, с коричневато-чёрным рисунком; пол был застлан сплошь таким же ковром.

Я даже свистнул. На письменном столе на жёлтом сукне стояла хрустальная ваза с жёлтыми розами и лежало письмо, надписанное круглым и красивым почерком.

но видал. Это была фея, существо неземное. И если до сих пор мне казалась Анна особенною, не такой, каких носит земля, то теперь я понял, что по земле ещё ходят неземные существа, приносящие небо на землю.

Она заиграла. Я сразу узнал сонату Бетховена.

Но до сих пор я не понимаю, как не только я, но и все мы могли вынести эту музыку. Какой-то безумный захват был в ней. Казалось, сила сверхъестественная вселилась в Анну. Чередование страсти, какого-то зова в неведомое, недосягаемое, то вдруг озарение, и вновь вопросы, и голос неизбежной судьбы...

Я плакал, закрыв лицо руками, и слышал, как плакал подле меня князь. «Вот он, серый день, претворённый в сияющий храм», — думал я.

Звуки смолкли. И никто не прерывал молчания. И. сжал мне руку, точно призывая к самообладанию. И было время.

— Ну, всегда ты, Анна, расстроишь всех своей игрой и испортишь всем праздник, — раздался неприятный, слегка гнусавый и капризный голос её младшего брата. — Сыграла бы Шопена, показала бы блеск своей игры. А то навела туману своим Бетховеном.

Мне так хотелось отколотить этого будущего бретёра.

— Если тебе не нравится, ты можешь уйти отсюда, чем много меня обяжешь, — сказал ему отец тихо, но такая гроза была в его лице, что невоспитанный мальчишка, как трусливый пёс, немедленно спрятался за маменькину спину. Та ему, улыбаясь, как нашалившему пятилетнему пупсу, погрозила кокетливо пальчиком.

Но этот пошлый эпизод не смог разбить огромного впечатления, созданного Анной.

Под напором просьб она снова стала играть. Но больших вещей она уже не играла, и, казалось, какая-то частичка её существа улетела в первой вещи. Того сверхъестественного вдохновения в её игре уже не было.

Мне хотелось убить негодного мальчишку за его грубое вмешательство.

Анна встала и объявила, что ни играть, ни петь она больше не будет, но если есть желающие, она будет аккомпанировать.

Да-Браццано поднялся и сказал, что петь под такой волшебный аккомпанемент он отказаться не может.

Я взглянул на И. Лицо его было сурово, ох, так сурово, точно перед бурей на пароходе. Он посмотрел на Анну, точно посылал ей сил.

Турок поправил воротник, одёрнул жилет и заявил, что споёт песнь, в которой выльет тайну своего сердца.

Воцарилось молчание. Он объявил, что будет петь серенаду Шуберта.

Я вздохнул, в ужасе посмотрел на князя, на певца, который скорее был похож на тореадора, пылающего адским огнём, чем на нежного любовника, призывающего вникнуть в смысл песни соловья, молящей, трепетной, — и едва удержался от смеха.

Анна не нуждалась в нотах. Она взглянула на И., брови её чуть поднялись, руки нежно коснулись клавиш.

— «Песнь моя летит с мольбою...» — вдруг заревел здоровенный бас, точно пароходный гудок.

Я фыркнул, нагнулся, спрятался за И. Когда же этот рёв поднялся до высокой ноты, произошло нечто совершенно неожиданное. Ревевший точно бык бас вдруг превратился в тоненькую фистулу, такую поганенькую, что во всех углах сразу раздался хохот... Мы с князем хохотали во весь голос. Даже Анна с удивлением смотрела на певца, хотя в лице её не было смеха, а только неприятное, досадное чувство. Очевидно, в ней говорила больше всего оскорблённая артистичность.

— Нет, не могу, я болен сегодня, — сказал, желая улыбнуться, певец. Он, ни на кого не глядя, вышел из комнаты.

Хозяйка дома и её любимый сын бросились за ним, остальные гости, сконфуженные, давясь от смеха, стали разъезжаться.

Мы вышли последними вместе с Анной, Строгановым, князем и Жанной. Сердечно простясь с хозяевами, мы обещали зайти в магазин к шести часам, чтобы узнать, как прошёл первый рабочий день.

Глава 19

Мы в доме князя

Прошло ещё два суетных дня нашей отельной жизни, с ежедневными визитами к Жанне и князю и с путешествиями моими с капитаном по городу и его достопримечательностям.

Несмотря на все хлопоты и неприятности, валившиеся на него со всех сторон, от которых он даже похудел и его жёлтые глаза стали громадны, этот милейший человек урывал два-три часа в день, чтобы показать мне город.

Много я встречал и потом в жизни добрых и внимательных людей. Вообще мне везло на счастливые встречи. Но такого сердечного, простого внимания от чужого человека я уже в жизни не встречал. Я, конечно, не говорю о моём друге Флорентийце и его близких, как И., Ананда, Али. Я говорю о людях обычного высокого культурного уровня.

Утром на третий день, едва мы сели завтракать, как к нам вошёл князь. Он объявил, что приехал с двумя слугами, которые поступают в полное наше распоряжение в его доме, чтобы перевести нас к себе.

И. выказал все признаки радости, а я не мог понять своего состояния. Мне точно не хотелось ехать в новое помещение. То мне думалось, что именно в этом переезде причины нашей задержки в Константинополе, то казалось, что капитану будет труднее забегать ко мне в менее центральную часть города. Конечно, корень моего недовольства лежал в том, что проще всего я чувствовал себя с капитаном; я как-то отдыхал в его присутствии и боялся, что буду разлучён с ним.

Как раз в минуту моих сомнений вошёл капитан. Узнав, что мы сейчас переезжаем к князю, он, видимо, опечалился.

Не успел я отдать себе в этом отчёт и хотел уже идти собирать вещи, как услышал голос князя:

— Я бы очень хотел обратиться к вам, капитан, с просьбой, но не знаю, как вы её примете. Наши общие друзья переезжают ко мне. Если бы вы желали, рядом с комнатой Лёвушки есть пустая, но отличная комната. Меблировать её ничего не стоит, и вечером вас ждало бы некоторое подобие семейной жизни, — улыбаясь, говорил князь.

— Я чрезвычайно благодарен вам, — ответил капитан. — Но друзья наши переезжают к вам, чтобы избавиться от суеты. А я — одна суета и беспокойство.

— Нисколько, капитан, — прервал его И. — Дом князя такой большой и удобный. При нём есть сад с беседками, и вообще, кому захочется уединения, тот его там всегда найдёт. Кроме того, ведь вопрос вашего пребывания здесь — дни, а нашего — недели. И познакомиться с Анандой, поговорить и побыть с ним будет вам гораздо удобнее, если вы будете жить с нами. Затем, — прибавил он с юмористическим, так знакомым мне блеском глаз, — в доме князя есть рояль. Я постараюсь ещё до приезда Ананды уговорить Анну поиграть нам вечерок, празднуя наше скромное новоселье. А ведь Лёвушка уверял вас, что игра Анны раскроет вам понимание

Ананде, — что ничто и никто не отнимет у вас его кольцо. Ведь я был прав? — бросаясь ему на шею, сказал я.

И тут же прибавил, что к девяти часам мне велел И. привести к Ананде князя, Генри и его. Взглянув на часы и увидя, что уже десять минут восьмого, я уговорил капитана пойти со мной за Генри и помочь мне познакомить его с князем. Капитан не очень охотно, но всё же согласился идти со мной к Генри.

За обедом, где преимущественно разговаривали князь и Генри, мы сидели не так долго, потому что князь, узнав о приглашении Ананды, заторопился, говоря, что у него ещё есть до вечера дело, не терпящее отлагательства, но что без десяти девять он будет в моей комнате.

Генри сказал, что к девяти часам спустится к Ананде сам, а сейчас пойдёт к себе кончать раскладку вещей и книг. Мы с капитаном остались вдвоём и вышли в сад.

Капитан несколько раз подробно переспрашивал меня о тех или иных словах Ананды и никак не мог взять в толк, какой же цепью он мог себя с ним связать, возвратив ему исчезнувшее кольцо. Я знал не более его, и обоим нам нетерпеливо хотелось, чтобы скорее было девять часов.

Время быстро мелькнуло, к нам вышел князь, говоря, что уже без десяти девять. Не найдя нас в комнатах, он решил, что мы в саду, в чём и не ошибся.

У Ананды мы застали Анну с отцом и обоих турков, спутников по пароходу. В дверях мы столкнулись с Генри.

Я стоял в отдалении и молча наблюдал за всеми. Капитан прежде всего подошёл к Анне, низко поклонился и поцеловал ей руку. Затем, оглядев всех, он подошёл к хозяину комнат — Ананде, которому И. представил капитана как человека, оказавшего нам много немаловажных услуг в путешествии.

Ананда подал ему руку и, задержав его руку в своей, пристально на него поглядел, точно пронзил его своими глазами.

— Я очень рад встретиться с вами, — сказал он ему своим неподражаемым голосом. Мне казалось, что он вложил какой-то особый смысл в свои слова и ещё что-то хотел сказать капитану. Но он только молча смотрел на него, выпустил его руку, как-то особенно остро и странно ещё раз взглянул и обратился к князю.

Разговор шёл в разных местах комнаты сразу. Анна говорила со старшим турком, сын его точно прилип к Генри, князь сел возле Ананды, а капитан подошёл ко мне.

Мы забились с ним в угол на низкий диванчик, стали всех наблюдать и любоваться Анной. Ни тени усталости не было на этом лице. Сказать, сколько ей было лет? Точно на семнадцатой весне остановился её возраст, а я знал, что ей уже двадцать семь, что по-восточному считается старостью для женщины вообще, не говоря о девушках.

Ананда внимательно слушал князя и, казалось, вперёд знал всё, что он ему скажет. Из долетевшего к нам слова «жена» я понял, что князь говорил ему о несчастье княгини. Я был очень удивлён, когда князь встал и, извиняясь каким-то экстренным делом, стал прощаться. Потом я узнал, что он должен был встретить московских адвокатов.

— Вы напрасно волнуетесь, князь, услышал я слова Ананды. — Судя по словам И., я уверен, что ваша жена будет ещё здорова. А относительно раздела с сыном, — он усмехнулся, точно вглядывался во что-то, — вы себе и не представляете, как всё

Он советовал мне пройти в два антикварных магазина, где есть старинные фарфоровые блюда. За фруктами он посылал меня на базар к своему приятелю, но советовал заказать только дыню, груши и виноград. Ибо мудрец, по его мнению, без дыни невозможен, а персиков пока хороших нет.

Он просил прислать блюда и фрукты к нему, обещая сам уложить всё и вовремя переслать мне. Я дал ему адрес, точно условился о часе и сказал, что буду сам ждать посланца у калитки дома.

Вернувшемуся капитану я сказал, что хочу купить два антикварных блюда, чем немало его изумил.

Мы долго ходили, ничего подходящего не находя. Наконец, как бы случайно, я сказал адрес, данный мне кондитером. Мы пошли туда, и, пока капитан смотрел какую-то вещь в ювелирном отделе, я отдал хозяину записку моего волшебника-кондитера.

Он долго что-то обдумывал, потом повёл меня наверх и вытащил из особого шкафа блюдо.

Оно было фиолетовое, всё гладкое, с узким золотым ободком, и в середине его была женская полуфигура на белом фоне с младенцем на руках. Чёрные косы лежали по плечам на жёлтом хитоне; чёрные глаза, как живые, смотрели на меня. Дивные руки держали кудрявого золотоволосого мальчика.

— Господи, да уж не с Анны ли это рисовано? — чуть не крикнул я.

Хозяин повернул блюдо обратной стороной, показал дату — 1699 г.

За вторым блюдом он полез куда-то ещё выше, прося меня подождать. Я был в восхищении и отчаянии. Какое-то благоговение наполнило меня, я так хотел подарить Ананде эту тарелку, работа которой напоминала лучшую миниатюру с Анны. Но не будет ли дерзостью мой подарок? Будет ли он понят как чистейший дар моей восхищённой души?

Вернувшийся хозяин нёс хрустальную тарелку, переливавшуюся всей радугой цветов. Точно драгоценные опалы сверкала её грань.

— Венеция, — сказал он, подавая её мне. — Это старый принц куплено. А это — Флоренция, — тыкнул он в фиолетовое блюдо. — Тоже старо. Кардинал покупал.

— Это, верно, очень дорого, — сказал я со страхом.

Он усмехнулся и сказал:

— Пишет друг — с тебя взять сколько можно мала-мала. Меньше сто рублей не будет. Если даришь принцу, как пишет здесь, — опять тыкнул он в записку кондитера, — надо платить. Подожду, если сейчас нету.

Я радостно отдал половину стоимости и обещал завтра занести остальное.

— Отдавай кондитерская, он перешлёт, а я ему отошлю блюда сам сегодня вечером. Пишет — надо молчать. Хорошо.

Капитан уже искал меня внизу.

— Ну, вот ты меня покинул, Лёвушка, я тебе и не покажу перл, совершенно нечто изумительное, что я здесь нашёл. И как кстати, — сказал воодушевлённый капитан.

— Вот хорошо-то! У каждого из нас будет своя тайна. Только чур! Не выспрашивать! — ответил я.

Должно быть, я сиял не меньше самого капитана, так как он вторично с удивлением на меня посмотрел, но ни о чём спрашивать не стал.

Мы вышли из магазина, капитан уносил свою тайну в кармане, мои же тайны оставались в лавке, надо было только заказать к ним фруктов, что мы очень скоро и сделали, велев их доставить завтра к трём часам дня в кондитерскую.

По дороге домой я просил капитана ни слова никому не говорить о сластях и фруктах, так как они назначались для Ананды. Я хочу поставить их в его комнату на стол к его приезду. Капитан, казалось, очень разочаровался.

— А я-то думал, что всё это для Анны. И моя тайна была согласована с едой, — огорчённо сказал он.

— Об Анне хлопочет князь, да и ест она как воробей. Не стоит и хлопотать, — утешал я его.

Он рассмеялся и спросил меня, не на львиный ли аппетит заказал я свои тайны для Ананды.

— Ну, ведь и львы бывают разные. Я ведь тоже Лев. Надеюсь, хватит и львам, и принцам, и мудрецам, и воробьям, — ответил ему я, снова передумывая, тактично ли я поступил и одобрил ли бы меня Флорентиец.

— Как говорят у нас во флоте, вы занятный мальчишка, Лёвушка. Жаль, поздно ехать за город за цветами. Но всё же зайдём сюда, я вижу белую сирень, — взяв меня под руку и проходя в огромную, прекрасную оранжерею, сказал капитан.

Он выбрал два деревца белой сирени. Я пожалел, что беден и не могу купить такого же дерева тёмной фиолетовой сирени, чтобы украсить ею комнату Ананды. Но я решил попросить об этом И. И тут же, вспомнив о деньгах Али молодого, я решился купить довольно большое деревце с огромными душистыми кистями, очень тёмно-фиолетовыми, с крупными махровыми цветами.

Капитан засмеялся, но чуть не выронил бумажник из рук, когда услышал просьбу прислать мне дерево завтра.

— Лёвушка, — сказал он, — я буду молчать обо всём. Но скажи мне, почему ты так чтишь этого человека?

— Я не сумею вам объяснить этого сейчас словами. Но, если после игры Анны, вы повторите мне свой вопрос, мне будет легче объяснить вам причины моего благоговения. Это не одно преклонение перед ним. Это целый путь его страданий и любви, претворённых им в свет для людей.

Уже смеркалось, когда мы подошли к дому. Вскоре мы втроём сошлись за обедом, и я снова ощутил, как мне недостаёт И. Я был рассеян, отвечал невпопад и всё думал, где И., чем он занят и скоро ли они приедут с Анной.

После обеда мы прошли в зал князя, передвинули рояль приблизительно так, как он стоял у Анны, поставили белую сирень с таким расчётом, чтобы она Анне не мешала, но чтобы вместе с тем пианистка могла ею любоваться. Принесли мы ещё немного роз; капитан с князем хлопотали, устраивая в другом конце зала чайный стол. Я ничего не хотел больше делать: я ждал И., ждал Анну, ждал музыку с таким напряжением, что не мог ни минуты оставаться спокойным на одном месте.

Наконец раздался стук колёс, и я понёсся по комнатам, как пудель, почуявший любимого хозяина, грозя что-либо сокрушить на своём бегу.

Едва я увидел И. — забыв всё и вся, — я повис на его шее. Он засмеялся, прижал меня к себе ласково, но сейчас же отвёл мои руки, поставив меня перед закутанной в чёрный плащ Анной.

прозвище «Лёвушка — лови ворон». Я прибавил, что хозяин наш очень снисходителен и не осудит за промахи внешнего воспитания.

— Ах, так это вы Лёвушка? — улыбнувшись, сказал Генри. — Я слышал от Ананды, что вы очень талантливы. Я не ждал, что вы так молоды.

Я был сконфужен, не нашёлся, что ответить, — только вздохнул, чем насмешил моего нового приятеля. Сказав ему ещё раз, что я зайду за ним, поахав над количеством привезённых им книг, я ушёл к себе.

Капитана ещё не было, но, судя по тому, что Верзила приготовлял ему воду для бритья и свежий костюм, я понял, что он скоро вернётся.

Как только я услышал издали шаги капитана, я побежал ему навстречу и очень важно сказал, чтобы он поскорее одевался, так как мне надо иметь с ним весьма серьёзный разговор.

Лицо капитана, за минуту печальное, всё осветилось смехом, — так я, должно быть, был комичен в своей важной серьёзности.

— Да вы не смейтесь, капитан. Это очень важно, то, что я должен передать вам. Но такому запылённому и измазанному я вам ни говорить, ни передавать ничего не буду.

— Есть, иду мыться, помадиться, расчёсываться, — смеясь, ответил капитан. Но уж извольте держать марку! Если ваши важные известия не будут достойны моей вычищенной персоны — держитесь.

И, всё продолжая смеяться, он пошёл к себе, шутливо грозя мне кулаком своей сильной, изящной руки...

Я обдумывал, как и с чего начать разговор, всё время любуясь камнем кольца, который отливал то багровым, то фиолетовым огнём. И как всегда со мной бывало в серьёзные минуты, когда я готовился к встречам, вся приготовленная речь вылетела из моей головы, а приходили слова самые простые, неожиданные.

Когда вошёл элегантный капитан, я протянул ему кольцо и спросил:

— Достаточно ли это кольцо вашей вычищенной персоне?

Капитан взял кольцо, удивлённо на меня посмотрел и спросил:

— Что это значит?

Казалось, кольцо произвело на него сильное впечатление. Я надел ему его на мизинец и полюбовался, как на его загорелой и загрубелой, но прекрасной формы руке оно было красиво.

— Я тоже когда-нибудь получу такое, — сказал я.

Капитан расхохотался и уже хотел меня тормошить за мои загадки, но я просил его набраться терпения, сесть и выслушать меня, как он слушает докладчиков на пароходе.

— Этот мальчишка уморит меня, — усаживаясь и продолжая смеяться, сказал капитан. — Свет объездил, забавней мальчонки не видел!

— С сегодняшнего дня я уже больше не мальчишка. Но если вы не будете серьёзны, — я, пожалуй, не сумею вам передать поручения Ананды.

Капитан чуть побледнел при этом имени, лицо его стало очень серьёзно, и, по мере того как я говорил, он всё больше бледнел и затихал.

— Если я не выполнил всего как надо, простите меня, капитан. Но имени вашего я не назвал, и вы вольны выбирать, как вам поступить. Я уверен — о **чём** и сказал

Лёвушка, вот это колечко с моего мизинца. Если бы он пожелал, он может увидеться со мной когда угодно.

— О, он пожелает хоть сегодня вечером, если позволите. Но... ведь он просил меня соблюсти тайну его имени, как же быть?

— Ничего, Вы передайте ему моё кольцо. Если он не захочет открыться мне, не наденет его.

— Ну, не наденет! Так наденет, что уж никогда и не снимет, — сказал я, представляя себе удивление и радость капитана. — А можно мне его надеть, пока я не увижусь с ним, — не смог я удержаться от восторга, держа кольцо с большим, продолговатым, выпуклым аметистом и двумя бриллиантами по бокам, в тяжёлой платиновой английской оправе, необыкновенно пропорциональной.

Ананда засмеялся, сказав, что будет рад видеть его на моей руке, считает меня добрым вестником и чувствует себя обязанным и мне.

— Но вам не я дам кольцо, а ваш великий друг Флорентиец. И камень в нём будет зелёный, — сказал он мне, ласково меня обнимая.

— Войди ещё сюда, Ананда. Здесь тоже всё приготовлено не мной. И это дерево сирени, дар всё того же моего Лёвушки, — открывая дверь в соседнюю комнату и пропуская туда Ананду, сказал И.

Когда Ананда вошёл, И. тихо закрыл за ним дверь и сказал мне, чтобы я шёл к князю, попросил скатерть и несколько тарелок и прислал их сюда с Верзилой.

Потом он просил меня заняться спутником Ананды, которого зовут Генри Оберсвоуд. И только после обеда, к девяти часам, привести князя, капитана и Генри в комнату Ананды.

Я обещал всё точно выполнить и, радуясь за милого капитана, весело побежал к князю.

Как только князь отправил Верзилу с тарелками и скатертью, я решил пойти к Генри и предложить ему свои услуги, если бы он в них нуждался, а также предупредить его о часе обеда.

Генри я застал за раскладкой вещей. Я ещё не видел его комнаты и теперь ещё раз отдал поклон вкусу князя. Большая комната, почти белого цвета; в ней мебель была синяя. Стояли шкафы и столы орехового дерева, ковёр на полу тоже лежал синий и — чего не было в других комнатах — на двух широких окнах стояли горшки с цветущими розами и гардениями.

Первое, чем встретил меня Генри, была благодарная радость по поводу цветов, которых он оказался любителем, так как именно розы и гардении выводила его мать. На его вопрос, кто так заботливо убрал его комнату, я назвал князя. Я объяснил ему, что зайду за ним в четверть восьмого, чтобы познакомить с любезным хозяином и показать ему, где столовая.

Генри сказал мне, что это его первое плавание «в свет», что он очень мало осведомлён о хорошем тоне и боится осрамиться в том обществе, куда его привёз Ананда и обычаев которого он не знает.

Я ответил Генри, что я точь-в-точь в таком же положении, с тою только разницей, что пустился в свет месяцем раньше. Но что все преимущества на его стороне, так как он уже доктор, а я ещё студент, к тому же очень рассеян и заслужил себе

— Твоя первая обязанность была приветствовать гостью, — тихо сказал он. Но глаза его были ласковы, лицо улыбалось, и выговор не звучал сурово.

Я принял от Анны плащ, который уже снимал с неё её отец, поцеловал ей обе руки и отошёл в сторону, чтобы дать возможность поздороваться с ней князю и капитану.

Князь сиял и волновался, благодарил её за оказанную ему честь, а капитан — более чем когда-либо в своей тигровой шкуре — рыцарски поклонился ей.

Анна отказалась от чая, сказала, что съест грушу, немного отдохнёт и будет играть.

На ней было платье тёмно-оранжевого матового цвета, и на груди крупным алмазом было приколото несколько наших фиалок, и косы лежали по плечам.

Я вздрогнул. На моей тарелке красовалась женщина в оранжевом хитоне с такими же косами... Что же я наделал? Неужели Ананда оскорбится?

Я так расстроился, что пришёл в себя только от звуков передвигаемого стула у рояля.

Анна села. Снова лицо её стало не её обычным лицом. Снова из глаз полился лучами свет, на щеках заиграл румянец, алые губы приоткрылись, обнажая ряд мелких белых зубов.

Первые же звуки «Лунной сонаты» увели меня от земли и всего окружающего.

Я понял, что не знал никогда этой вещи, хотя тысячу раз слышал её. Что она сделала с нею? Откуда шли эти краски? Это не рояль пел. Это жизнь, надежды, любовь, мука, зов рвались в зал, разрывая меня всего и обнажая мне боль и радость, что скрывались в людях под их одеждами, под их словами, под их лицемерием. Звуки кончились, но тишина не нарушалась. Я плакал и не мог видеть никого и ничего.

Не дав нам пережить до конца этой сонаты, но увидя впечатление, произведённое ею, Анна стала играть переложение Листа на песни Шуберта.

Я старался взять себя в руки, почувствовав на себе взгляд И. Лицо его было бледно, строго, точно ему много пришлось вылить из сердца душевных сил. Его взгляд как бы приказывал мне забыть о себе и думать о капитане.

Я отёр глаза и стал искать капитана. Я два раза посмотрел на какого-то чужого человека, который сидел рядом с И., и, только взглянув в третий раз, понял, что там сидит капитан.

Бледное, обрезанное, как у покойника, лицо с заострившимися чертами; глаза, несколько минут назад сверкавшие золотыми искрами энергии и воли, потухли. Он безжизненно сидел как истукан и чем-то напомнил мне И., который, сидя с открытыми глазами, спал когда-то в вагоне, чем привёл меня в изумление. Я готов был броситься к капитану; мне казалось, что он упадёт. Но глаза И. снова устремились на меня, и я остался на месте...

И снова музыка увела меня от земли, снова всё исчезло для меня. Я жил в каком-то другом месте; я точно видел рядом с капитаном мощную фигуру Ананды, рука которого лежала на коротко остриженной голове англичанина. Капитан, коленопреклонённый, в муке протягивал руки к какому-то яркому свету, имевшему очертание высокой фигуры. Фигура складывалась всё яснее, и я узнал в ней Фло-

рентийца — я был близок к обмороку. Музыка замолкла. Я едва перевёл дыхание, едва осознал, где я, как раздались снова звуки и внезапно в комнате полилась песня.

Контральто Анны напоминало голос мальчика-альта или юного тенора. Нечто особенное было в этом инструментальном голосе.

То была песня любви, восточный колорит которой то рассказывал о страданиях разлуки, то вёл в ликование радости.

И эта песнь кончилась. И началась другая — песня любви к родине, песня самоотвержения и подвига. А я всё не мог понять, неужели у стройной, хрупкой женщины может быть такой силы глубокий низкий голос? Неужели земное грешное существо может петь с таким вдохновением, как это мог бы делать только какой-нибудь ангел?

Песня смолкла, Анна встала.

— Нет, Анна, дитя моё, не отпускай нас из залы в таком состоянии возбуждения и с сознанием своих слабостей и убожества. Ты видишь, мы все плачем. Спой нам несколько греческих песен, которые ты поёшь так дивно. Но верни нас земле, иначе мы не проживём до завтра, — услышал я голос Строганова, который старался улыбнуться, но, видимо, едва владел собой.

Анна обвела нас всех глазами; на лице её засветилась счастливая улыбка; она снова опустилась на стул и запела народную греческую песню, песню любовного мечтания девушки, обожающей родину, семью и милого.

Я взглянул на И. О, как я переживал его детскую жизнь! Я точно сам лежал ночью у моря, среди растерзанных трупов его семьи. Мне захотелось закричать Анне, чтобы она спела что-то другое. Я уже было поднялся, но встретил взгляд И., такой добрый, такой светлый. И такой могучей силой веяло от него, что я понял в первый раз величие духа человека, который жил подле меня, возился с моими немощами и... не тяготился мною, таким слабым, беспомощным невеждой, а радостно нёс мне и каждому свою помощь.

Анна запела греческую колыбельную. О, Господи, вся душа выворачивалась от нежности и обаяния, с которыми она укачивала малютку... И эта женщина не мать, не жена?!

«Она и мать, и жена, и друг, но всем, без личного выбора, потому что её ступень личной жизни уже миновала. И высшее счастье человека не в жизни личной, но в жизни освобождённой», — точно прогремел мне в ухо голос Ананды.

Я встал, чтобы посмотреть, где же сам Ананда, решив, что он приехал внезапно, раньше срока. И. был возле меня, жал мне руку и вёл меня благодарить Анну.

Очевидно, хозяин её уже поблагодарил, так как хлопотал у чайного стола, я, должно быть, половиворонил немало времени.

Когда мы подошли к Анне, возле неё стоял капитан. Но это был и не тот капитан, которого я хорошо знал, и не тот, которого я видел истуканоподобным несколько минут назад. Это был незнакомый мне человек, с бледным лицом, с сияющими, золотыми, кроткими глазами.

— Я сегодня не только понял, что такое женщины и искусство, я впервые понял, что такое жизнь. Мне казалось, что ваша музыка заставила мой дух отделиться от тела, и — в одно мгновение — я точно увидел незнакомого мне великого

Пока мы ждали Ананду, некоторое чувство стеснения перед ним и его спутником, род какого-то страха, что я буду теперь дальше от И., проникло мне в сердце, и я робко прижался к нему. И. точно понял моё детское чувство и пожал мне руку, ласково улыбаясь.

Сразу же, сойдя на берег, Ананда покорил меня простотой своего обращения. Он так сердечно обнял И. и меня, блестя своими глазами-звёздами, просил принять в дружеское братство своего спутника и так комично шепнул мне, что привёз мне в подарок новую шляпу дервиша, что я залился смехом, взял у него из рук пальто и саквояж, сказав, что уж наверное шапка здесь и я очень прошу не лишать меня привилегии нести её самому.

Капитан — всегда и обо всём помнящий друг — прислал на пристань Верзилу, который взял вещи обоих приехавших и сказал, что всё доставит сам.

Налегке, пешком мы пошли домой. Ананда был очень рад узнать, что будет жить не в отеле, а в тихом доме вместе с нами. Расспросив обо всех, кто нас окружает, он спросил об Анне и её отце. Узнав про магазин, он покачал головой, но ничего не сказал.

Дальше он стал говорить с И. на неизвестном мне языке, а его спутник, подойдя ко мне, спросил, бывал ли я раньше в Константинополе.

Он, как и я, оказался мало видавшим свет, сказал, что сам он англичанин, но вырос и учился в Вене, где и познакомился несколько лет назад с Анандой.

В прихожую Ананды мы вошли все вместе, но спутник его прошёл прямо к себе по крутой винтовой лестнице, куда за ним пошёл и догнавший нас Верзила с вещами.

Ананда, оглядевшись в комнате, укоризненно посмотрел на И.

— Я здесь и пальцем не стукнул. Хозяйничал наш хозяин и Анна, да вот этот каверзный мальчик, самую большую каверзу которого вы отыщете на дне этого блюда, когда съедите пирог, — сказал И.

Ананда пристально поглядел на меня, на блюда и кувшин, протянул мне руку и поцеловал меня, благодаря за внимание, за тонкость вкуса... но несколько браня за расточительность.

— Я ведь не принц, чтобы встречать меня такими царскими вещами, — сказал он, улыбаясь обаятельно, ласково, но покачивая головой.

— Есть люди, считающие, что вы и принц и мудрец, — расхрабрился я в ответ, на что и он, и И. рассмеялись уже совсем весело.

— Но что это? Как могла очутиться здесь эта вещь? Однажды мой дядя подарил мне точно такое же кольцо, и оно исчезло на другое утро бесследно, и никто найти его не мог. Это оно, оно самое. Вот здесь надпись на языке пали и буквы С. Ж. Как вы его нашли? — спрашивал меня Ананда, пристально рассматривая кольцо капитана и всё более удивляясь.

— Всё, что я могу вам сказать, что человек, дарящий его вам, купил его у антиквара. Я знаю его имя, но не имею права вам его назвать, — ответил я.

— О, я очень, очень теперь обязан этому человеку. Передайте ему, что я у него в большом, очень большом долгу. И если бы я ему понадобился, я был бы счастлив отслужить ему всем, чем могу. Он и не представляет себе, какой крепкой цепью он связал меня с собой, возвращая мне эту пропавшую вещь. Передайте ему,

Но, Боже мой, да где же ты это нашёл? — тихо прибавил он, рассматривая подробно кольцо.

— Я ничего не могу сказать вам, Лоллион. Кольцо не от меня. Но кто даёт его Ананде, я сказать не могу.

Но это не всё. Вот на этом фиолетовом блюде, под печеньем, нарисована женщина красоты неописуемой. И вся беда в том, что она как две капли воды похожа на Анну. Я знаю, что вы верите в случайное совпадение, что я отнюдь не думал принести сюда вещи для Ананды с какой-нибудь таинственной эмблемой. Но и это ещё не всё. Пойдёмте в другую комнату.

Лицо И. слегка омрачилось. Я открыл дверь и указал ему на деревцо сирени, которое наполняло ароматом всю комнату. Усевшись на табурет у самой двери, я ждал, что скажет мне И. Он же, подойдя ко мне, нежно обнял меня и поцеловал в голову.

Не знаю, что сталось со мной. Но я заплакал и рыдал так, как после уже ни разу в жизни не плакал. Всё скопилось в этих слезах. Все перенесённые волнения, страх, разочарования, горечь от последнего разговора с Жанной — всё вылилось из меня, точно прямо из сердца моего шла кровь.

— Мой дорогой брат, мой милый друг. Перестань плакать. Тебе теперь двадцать второй год. Ты прожил младенчество, детство, юность и вступаешь в зрелость. Только три первые семилетия — юность человека, и ты их прожил, мало сознавая ценность жизни. Но после двадцати восьми лет никто уже не может сказать, что он юн. Твои слёзы сегодня — это пожар, в котором сгорели три твои семилетия полусознательной жизни. Начинается твоя зрелость, ты входишь в полное сознание, в полосу наивысшего развития всех твоих сил, наивысшей деятельности и труда.

Никогда больше теперь в тебе не мелькнёт сомнение, нужно ли страдание человеку, чтобы идти выше и чище вперёд в своём творчестве. Оглянись назад — отдашь ли ты своё теперешнее понимание счастья и жизни за то счастье и смысл жизни, которыми ты жил двадцать один год? Быть может, у капитана, которому ты так сейчас сострадаешь, есть ещё больше причин для горечи, так как дольше тебя он жил полуживотной жизнью, даже не представляя себе, в чём её истинный смысл, пропуская дни в пустоте, иногда в разгуле страстей.

Но не все идут путём страдания. Посмотри пристально на князя, и ты увидишь существо, идущее путём радости.

Но пойдём отсюда, друг. Твои слёзы сейчас сожгли в тебе сознание мальчика, и они же начали твой новый путь мужчины. Пусть их огонь горит в тебе всегда не как поток слёз, а как великая сила любви, когда сердце растягивается всё шире, готовое вместить весь мир, с его страданием и радостью.

Мы вышли из комнат Ананды, переоделись и зашли к князю сказать, что И. обедать не будет, и поехали на пристань. По дороге я успел рассказать И. о свидании с Жанной и разговоре с ней.

Когда мы подошли к пристани, пароход уже кончал пришвартовываться. Я искал внизу высокую фигуру Ананды, как мне послышался его голос откуда-то сверху. И действительно, я его увидел на верхней палубе парохода, машущим нам белой шляпой. Рядом с ним стоял юноша, высокий, худощавый, с красивым лицом. Мне издали он показался блондином. Я вспомнил, что Ананда вёз с собой своего приятеля-доктора.

мудреца, который вёл меня по дорожке света и сказал мне: «Иди со мной, ты мой. Помни об этом и иди».

Вот что сделали со мной ваши звуки. Я больше уже никогда не смогу жить прежней жизнью; я должен теперь найти того мудреца, которого я так ясно видел, — говорил капитан. — И без этого я не успокоюсь.

И голоса его я тоже не узнал. Это был тихий, задушевный голос человека, который или встал с одра смерти и благодарил за спасённую жизнь, или в храме обручился только что с чистой девушкой и благоговеет перед началом новой жизни.

Я уже готов был вырваться из рук И. и броситься на шею капитану, чтобы сказать ему, что это ведь Флорентийца он видел, как почувствовал себя скованным взглядом И.

— И вы его найдёте, — услышал я тихий голос, почти шёпот Анны, над рукой которой склонился капитан.

И. оставил меня, подал руку Анне и повёл её к столу. Мы обменялись взглядом с капитаном, невольно улыбнулись друг другу — всякий по-своему понимал свою улыбку — и тоже пошли к столу.

Разговор шёл только между Анной и Строгановым. Мы с капитаном не сводили глаз с Анны и молча тонули в той красоте, которая шла от неё во всём, что бы она ни делала, и которой она окутала нас в своей музыке.

Вскоре Строгановы уехали; дом точно сразу опустел и погас; и все мы разошлись по своим комнатам, не имея сил вынести будня слов и мыслей, стараясь охранить в себе тот высший мир чувств и сил, в который перенесли нас звуки Анны.

Глава 20

Приезд Ананды и ещё раз музыка

Против обыкновения эту ночь я спал плохо, беспокойно просыпался много раз, и всё мне казалось, что я слышу какие-то голоса в комнате И. Но отчёта ясного я себе не отдавал, чьи это голоса; я дремал, и всё путалось в моих представлениях. То мне казалось, что музыка Анны перерывается воем бури на пароходе, то мне чудился грохот поезда, когда мы вышли с Флорентийцем на площадку, и я с ужасом думал, что мы будем прыгать с него на всём ходу, то мнилась мне нежно ласкающая меня рука матери, которую я никогда не знал...

Внезапно я проснулся от звука открывшейся двери из комнаты И., и в ней появился капитан, пожимавший ему руку. Я понял, что голоса были действительностью, а не бредом и что оба мои друга совсем не спали, а проговорили всю ночь.

Лица капитана я не видел, а лицо И. было очень серьёзно, светло и спокойно. Отпечаток непоколебимой воли и верности принятому однажды решению был на нём; и я много раз уже видел у него это выражение и хорошо его знал. Как всегда, бессонная ночь не оставила на нём никакого признака утомления.

Я привстал, и как раз в эту минуту капитан осторожно закрыл дверь и повернулся ко мне лицом. Я чуть не вскрикнул, так он был бледен. Складки покрывали его лоб, глаза ввалились, и выражение такой скорби было в них, как будто он только что схоронил кого-то самого любимого. Он казался старым.

Я вспомнил, как я сидел после разлуки с братом у камина в его комнате в К., чувствуя себя убитым и одиноким. Я не знал, что и кого потерял сейчас капитан, но всё моё сердце повернулось к нему; я протянул к нему руки, едва сдерживая набегавшие слёзы любви и сострадания.

Увидев, что я не сплю, он подошёл ко мне, присел на мой диван и крепко пожал протянутые ему руки.

— Раз ты не спишь, мой друг, одевайся и выйди со мной позавтракать. У меня к тебе будет большая просьба, — сказал он, вставая, и, не глядя на меня, вышел из комнаты.

Я быстро оделся, постарался собрать все свои силы и внимание и пошёл к капитану.

Он уже переоделся в свой белый форменный китель и, освежённый душем, казался мне менее постаревшим и жёлтым.

Верзила подал нам кофе и горячие булочки с орехами и положил перед капитаном газеты и почту. Мы остались вдвоём, сидя перед дымящимися чашками, молча думая каждый свою думу.

Я всё не мог понять, зачем столько должен страдать человек. Капитан — неделю назад образец энергии и счастья — сейчас в глубокой печали и тоске, которые прибавили ему точно десяток лет за одну ночь. Почему? Зачем? Кому это надо? Разве это называется легче и проще идти свой день?

только на вас одну, милая, бедная Жанна. Оглянитесь вокруг. Кто и что есть у вас в мире, кроме горсточки этих спасших вас людей? Если они отвернутся от вас, что вас ждёт? И как вы можете жить с таким раздвоением внутри? Вы лицемерно обнимаете Анну и плетёте вокруг неё паутину предательства.

Жанна молчала и о чём-то напряжённо думала. Я же снова призывал всем сердцем своего далёкого друга.

— Лёвушка, я понимаю всё, но поймите и вы. Как только я вижу турка, я немею, каменею и ухожу всегда с какой-то навязчивой мыслью, что я должна его привести к Анне так, чтобы никто этого не знал и чтобы она была одна. Сейчас я ни за что этого не сделаю, но как только его увижу — я обо всём забываю и живу только этой мыслью.

— Да ведь это гипноз какой-то! Вы подумайте, мог ли бы турок мне, князю или кому-то ещё приказать так действовать? Ведь надо носить в себе много зла, чтобы чужая воля могла им воспользоваться.

Долго я ещё убеждал Жанну, но все её обещания не видеться более с турком казались мне неустойчивыми и не внушали веры.

Кое-как высидев с нею завтрак, за которым я едва мог проглотить что-то из вежливости, я ушёл домой, решив всё рассказать И.

У калитки я встретил цветочника, взял у него прелестное деревце тёмной сирени и отнёс его в комнату Ананды, где очень хорошо пристроил его во второй комнате на низкой, тяжёлой скамеечке, похожей на фиолетовый камень.

Вскоре в типичной константинопольской тележке, слуга привёз артистически упакованными мои тайны. Я их развернул, поставил на стол в первой комнате, где они показались мне ещё красивее, и пошёл к себе за кольцом и к князю за салфеткой.

Князь был очень удивлён просьбой об одной салфетке, спрашивал, не надо ли тарелок и скатерти, но я сказал, что спрошу И. и, если надо, приду ещё раз.

Войдя в комнату Ананды, я раскрыл футляр и чуть его не выронил от удивления и восторга.

В золотое, точно кружевное кольцо были хитро врезаны фиалки из аметистов по бокам и сзади. А спереди, из выпуклых аметистов же, была сложена крупная буква А, усеянная вся мелкими бриллиантами. И такие же, чередуясь, шли аметисты и бриллианты по обоим краям всего кольца, образуя какую-то надпись на неизвестном мне языке.

Я понял, что кольцо предназначалось капитаном раньше Анне. Но подарить ей его хотел капитан-тигр, которого я знал вчера, а не тот капитан-страстотерпец, которого я видел сегодня.

Держа кольцо в руке, я задумался о непонятном вращении судеб человеческих и о том их неизбежном земном конце, о котором никто, никак и ничего не знает, но миновать которого не может и всю жизнь живёт и действует по-разному, а умирают и родятся все одинаково.

Вошедший тихо И. пробудил меня от моих печальных грёз.

— Вот так тайна. Лёвушка! Это Ананду поразит. Но ты сам не знаешь, что скажут ему твои подарки. Кто дал тебе это кольцо? Ты не мог купить такой ценности.

всём. Сейчас с меня точно упали какие-то тяжёлые сны, я легко дышу. Ах, зачем, зачем вы меня забросили, Лёвушка? — вздрагивая, сказала Жанна.

— Стыдитесь говорить такие слова. Кто вас забросил? Все мы подле вас, а Анна разделяет ваш труд, проводя с вами по шести часов в день неразлучно. Бог мой, да когда же вы успеваете видеться с турком? И где вы его видите?

Жанна испуганно оглянулась и тихо сказала, что Строганова старается всегда устроить так, чтобы она встретила у неё турка. Даже просила Жанну передать ему, в его контору, письмо. И что только случайный приезд мужа домой не дал ей возможности вручить Жанне это письмо.

Я был в отчаянии. Но всё же понимал, что только моё самообладание может помочь мне растолковать Жанне всю низость её поведения и всё её предательство.

Воспользовавшись моим молчанием, Жанна выпорхнула из комнаты. Я же углубился в мысли о Флорентийце, моля его меня услышать и помочь мне. Образ моего друга, спасшего мне несколько раз жизнь за это короткое время, точно влил в меня успокоение. Мысли мои прояснились. Я почувствовал в себе уверенность и силу бороться за спокойствие и счастье Анны и её отца.

— Лёвушка, скоро будет завтрак. Не хотите ли повидать в саду детей? — входя, сказала Жанна.

— О, нет, Жанна. Если вы действительно полны чувством дружбы ко мне, как вы это неоднократно говорили, то мы должны договориться с вами о вашем будущем поведении. Я не могу сесть за стол в вашем доме, если я не буду уверен, что вы не носите в себе мыслей предательства и неблагодарности.

— Ах, Боже мой! Вот какая я незадачливая! Я так обрадовалась, что проведу с вами часок без помехи, а теперь готова плакать, что доктор И. не приедет.

— Если бы доктор И. услышал половину того, что вы сказали мне сегодня, он, по всей вероятности, посадил бы вас на пароход и отправил из Константинополя. Но дело сейчас не в этом. Дело в том, чтобы вы взглянули в своё сердце. Нет ли там зависти и ревности к Анне? Почему, понимая всю её высоту, вы решаетесь принять сторону такого низменного существа, как турок?

— Я вовсе не завидую и не ревную. Мне никогда не могло бы понравиться, чтобы на меня смотрели не как на живую, горячую женщину, а как на изваяние, — возбуждённо ответила мне Жанна. — Я, конечно, признаю все превосходные качества Анны. Но мы так разны, что о дружбе между нами не может быть и речи. Но я, конечно, всецело чувствую себя обязанной и её отцу, и мой долг...

— Какой долг вы можете понимать, — перебил я Жанну, — если у вас нет чувства простого уважения к чужой жизни, к чужой душе? Конечно, можно быть грубым и малокультурным существом и не различать ничего, кроме своего эгоизма. Неужели вы именно таковы? Неужели вы все свои слёзы на пароходе, все муки забыли, как только почувствовали почву под ногами?

— Нет, Лёвушка. Я сейчас начинаю отдавать себе отчёт, что какая-то сила, — помимо моей воли, — заставляет меня повиноваться турку. Я понимаю, что он ужасен, хочу защитить от него Анну и вовсе сейчас не хочу, чтобы он был мужем Анны. Но что-то находит на меня, мозги мои темнятся, и я ему повинуюсь нехотя.

— Найдутся люди сильнее вас и защитят Анну от всех интриг против неё. Речь не о ней, а только о вас одной. Всё зло, которое вы думаете причинить ей, ляжет

— Лёвушка, — прервал мои мысли капитан. — Вот в этом футляре — кольцо, — и он положил его на салфетку. — Оно предназначалось мною для другой цели, для других уст и рук. Но... то был «я» вчерашнего дня. Сегодня тот «я» умер. А тот, который хочет возродиться из пепла — причём я вовсе не утверждаю, что он действительно возродится, — просит тебя: вложи в кольцо салфетку и положи его возле торта, который ты заказал Ананде. Но отнюдь не говори, кто его даёт. Если спросят, скажи, что знаешь, но сказать не можешь.

Теперь я побегу, друг. Дел масса. И. обещал, что вечером, после обеда, ты приведёшь меня к Ананде.

Я взял футляр с кольцом, простился с капитаном и, не притронувшись к еде, как и он, вернулся к себе. Я сел на стул, держа футляр в руках, и несомненно впал бы в своё ловивоpонное состояние, если бы голос И. не привёл меня в себя.

— Лёвушка, Верзила жалуется, что ты ничего не ел. Это действительно несколько серьёзно, — улыбнулся он, — так как ты во всех случаях жизни не теряешь способности кушать. Что это у тебя в руках?

— Это, Лоллион, чужая тайна, и я не могу вам её открыть. Но чтобы не иметь от вас целой серии тайн, я расскажу вам о своих от вас тайнах. И не знаю, что бы я дал, чтобы не держать вот этого предмета в руках, — поднимая футляр, сказал я. — Целая перевёрнутая жизнь — чудится мне — заключена в этой вещи, которой я не видал, хотя и знаю, что это, — чуть не плача, говорил я И.

— Хорошо, друг. Пойдём в город, но сначала к княгине, — возьми аптечку. Потом мы зайдём к Жанне. Сегодня праздник, магазин закрыт; она просила нас прийти к ней завтракать. Мне придётся там тебя покинуть и возложить на тебя трудную и печальную задачу: привести Жанну в равновесие. Она подпала под влияние старой Строгановой, и это может окончиться очень печально для неё. Ты больше всех можешь помочь ей, как и капитану, своей непосредственной любящей душой.

Я тяжело вздохнул, спрятал кольцо, взял медикаменты и пошёл за И. к княгине.

— Ты вздыхаешь и печалишься, потому что тебе тяжела ноша, которую я тебе взвалил на плечи? — спросил И.

— Ах, Лоллион. Если бы я должен был умереть сию минуту за вас — я бы и испугаться не успел, как был бы уже мёртв. Но и с Жанной, и особенно с капитаном, — я бессилен и беспомощен, — проговорил я, с трудом побеждая слёзы. — Но ноша ваша мне не тяжела, а радостна.

И. не мог ничего ответить мне, так как навстречу нам шёл сияющий князь. Лицо его говорило о таком счастье, что — после скорбного лица капитана и обуреваемый своим разладом в себе — я даже остолбенел. Что должно было случиться с ним, чтобы он мог так светиться?

— После вчерашней музыки, доктор И., я никак не могу спуститься на землю. Я провёл ночь в саду и только к утру пришёл в себя. Я теперь понял, как я должен направить дальше свою жизнь. Так недавно я считал её загубленной, себя потерянным, всего боялся. А теперь я нашёл в себе полное равновесие, весь мой страх пропал. Если бы у княгини было пять сыновей — и все злые барбосы, — и тогда бы я не мог уже бояться, так как самое понятие страха улетучилось из меня сегодня ночью, думаю, навсегда.

Если бы вы спросили, как это случилось, я не смог бы вам точно ответить. Но что во время музыки я видел вас светящимся, как гигантский столб огня, — в этом я могу поклясться. И кусочек вашего огня задел меня, доктор И. Вот он-то и потряс меня так, что я точно вырвался из тисков тоски и страха, освободился от тяжести. Всё мне легко, и вся жизнь каждого человека кажется очень важной и нужной.

И ко всему этому — княгиня совсем отчётливо стала сегодня говорить, сидя пила чай и держала чашку без моей помощи.

Мы вошли к княгине. Дряблое лицо было оживлённым; она приветствовала нас весело и сама выпила пенящееся красное лекарство, которое ей до сих пор вливал каждый раз И.

И. разрешил княгине посидеть в кресле два часа и князю позволил поговорить с ней немного о её делах.

Мы вернулись к себе, переоделись и вышли на уже жаркую улицу.

— Ну, говори теперь свои тайны, Лёвушка. В пять часов мы с тобой будем встречать Ананду. А до этого времени у меня сто дел.

— Лоллион, если вы меня покинете у Жанны, то давайте в три с половиной часа встретимся в комнате Ананды. Там я не только расскажу, но и покажу вам свои тайны.

— Хорошо, но тогда иди завтракать к Жанне один, а я употреблю всё это время на дела. Кстати, надо ещё купить фруктов для Ананды.

— Этого не делайте. Вообще, не заботьтесь о материальной стороне встречи, — сказал я, густо краснея.

— Ах, так это и есть твои тайны? — засмеялся И.

— Да, да. Там переговорим. Здесь нам с вами расставаться, мне сюда вот поворот.

— Да, Лёвушка. Только не забудь принести цветочек Жанне и постарайся пробраться к ней в душу и брось туда же цветочек любви и мира. Не о своём бессилии думай, а только о Флорентийце. Тогда твой разговор принесёт Жанне утешение.

Мы расстались; я купил несколько роз, зашёл к кондитеру, чтобы напомнить ему о своём заказе и передать деньги для антиквара.

Кондитер показал мне вымытые и протёртые блюда, которые сверкали одно — красками, другое — искрами от нежно-голубого и жёлтого до алого и фиолетового. Рядом стоял такой же венецианский кувшин необычайной формы, с тремя кружками на подносе. Случайно упавший луч солнца переливался в них, как в гранях бриллиантов и рубинов цвета крови.

— Эта прислала моя друг с блюда. Вместе — дёшево отдаст. Можно наливать красно питьё — карош будет, — сказал хозяин, любуясь не меньше меня чудесными вещами.

Я согласился купить и кувшин с кружками, решив, что «семь бед — один ответ», — попросил не опоздать к трём часам и пошёл к Жанне.

Было ещё рано, когда Жанна отворила мне сама дверь, очевидно не ожидая, что это я уже явился к завтраку. На мои извинения, что я пришёл раньше срока, она подпрыгнула от удовольствия и повела меня наверх в свою комнату.

Везде был теперь образцовый порядок, и Жанна объявила мне, что встала с рассветом, чтобы И. нашёл в её жилище такую чистоту, как и во дворце не бывает.

Я пошутил, что для меня, по её мнению, было довольно, вероятно, и кухонной чистоты, и тут же сказал, что за различие приёма в разной чистоте нас обоих она и наказана. Всё её усердие к порядку попадает мне, так как И. отозвали серьёзные дела; он приносит ей свои извинения и завтракать не может.

Сначала Жанна точно опечалилась, но через минуту захлопала в ладоши, ещё раз подпрыгнула и сказала:

— Вот наконец теперь всё, всё переговорим. Вы знаете, Лёвушка, не всё так гладко у меня, как кажется по внешнему виду. Конечно, дела идут отлично. Конечно, Строганов очень добр. Но в семье их такой раскол.

— Какое же вам дело до их семейных дел? — спросил я.

— Ну, так нельзя говорить. Мадам Строганова просила меня постараться, чтобы её муж пристроил к нашему магазину комнату, где можно было бы посидеть, выпить чашку кофе, привести кого-нибудь из друзей. Я так поняла, что ей хочется, чтобы Браццано мог приезжать сюда. А Анна и старик категорически запретили даже ей самой сюда являться, не только Браццано. Она же старается завербовать меня на свою сторону. И этот турок, такой страшный, тоже немало расточает мне любезностей.

— Только этого недоставало, — вскричал я с негодованием. — Как можете вы думать о такой низости? Неужели я ошибся в вас? И вы — злое, легкомысленное существо, неспособное оценить всей доброты и благородства, расточаемых вам? Как можете вы входить теперь в какие бы то ни было отношения со старухой? Мне непонятно, как мог Строганов жениться на ней, но мне понятно, что зависть к собственной дочери выводит её из всякой чести. Но вы, вы, для которой И. и Анна с отцом сделали так много?

Я был вне себя, огорчён, расстроен и не мог собрать ни мыслей, ни самообладания.

— Лёвушка, я понимаю, что здесь что-то не так. Но разве так плохо, если Анна выйдет замуж за этого турка?

— А сами вы вышли бы за него? — спросил я.

— Не знаю. Он противный, конечно. Но, может быть, и вышла бы.

— Ах, вот как! Значит, вы уже не та Жанна, которая хотела в мужья только Мишеля Моранье? Значит, теперь, если бы родители вас упрашивали, вы променяли бы свою любовь на адскую физиономию турка и его миллионы? — кричал я.

— Не знаю, Лёвушка, не знаю. Даже не знаю, что со мной. Я так изменилась, так много страдала.

— О, нет. Вы очень мало страдали, Жанна, если так скоро всё забыли. Напрасно жизнь послала вам И., капитана, Строганова, князя, которые опоясали вас как кольцом своей защитой и добротой. Напрасно они спасли вас и ваших детей от лихорадки и голодной смерти на пароходе. Было бы лучше умереть в нищете, но в высокой чести, чем жить в таких гнусных мыслях, в каких вы сейчас! — продолжал я кричать вне себя.

Жанна сидела неподвижно, вытаращив на меня глаза.

— Лёвушка, я всё, всё сделаю, как вы хотите. Только, знаете, — этот турок. Как только я его вижу, — ну, точно тяжесть какая-то наваливается на меня. Я становлюсь ленивой, глаза точно спят, ноги еле двигаются, и я готова слушаться его во

сегодня. Если прошлый раз я ощутил их единение в экстазе творческого порыва, то сегодня я сам участвовал в этом экстазе, сам творил новую, какую-то неведомую молитву Божеству, участвуя каждым нервом в этих звуках.

Я не думал — как когда-то проезжая улицы Москвы, — верю ли я в Бога и какой он, мой Бог, и в каких я с ним отношениях. Я нёс моего Бога в себе; я жил во время этой музыки, молясь Ему, благословляя жизнь всю, какая она есть, и растворяясь в ней, в полном блаженстве и благоговении.

Анна заиграла одна. Соната Бетховена, как буря, рвалась из её пальцев. Я поднял голову и снова не узнал Анны. Вся преображённая, с устремлёнными куда-то глазами, она, казалось, звала кого-то, кого не видели мы; звала и играла кому-то, кто слушал её не здесь; из глаз её катились слёзы, которых она не замечала... Но вот её слёзы прекратились, в глазах засветилось счастье, точно её услышали, сверкнула улыбка, отражая это счастье, почти блаженство; звуки перешли в мягкую мелодию и смолкли...

В углу зала рыдал Генри, рыдал так же безутешно, как я в комнате Ананды.

Я хотел встать и подойти к нему, но увидел, что сам Ананда стоит возле него и ласково гладит его голову.

На этот раз ни Анна, ни Ананда не пели. Ананда сказал, что после такой музыки можно только низко поклониться таланту, давшему нам высокие моменты счастья, и разойтись.

Я всё смотрел на Анну. Что снова сталось с нею? Неужели её слёзы в музыке сожгли всю скорбь сердца? Она снова стала носить на лице семнадцатую весну, снова лучи доброты и какого-то обновления струились из глаз. Она подошла к отцу, нежно обняла его и шепнула:

— Больше не волнуйся. Всё будет хорошо. Всё уже хорошо; а то, что будет ещё, — это только неизбежное следствие, а не наказание Браццано.

Он, казалось, понял её совершенно для меня непостижимые слова, просиял, поцеловал её и перевёл взгляд на подходившего к нам Ананду.

— Довольно вам страдать, Борис Фёдорович, — ласково, но, как мне показалось, с некоторым упрёком сказал он. — Я вам всё время говорил, что вас губит страх. И если бы вы верили мне на самом деле так, как вы говорите, вы не были бы больны и Анна не страдала бы так. Возьмите себя в руки. Ведь вы сейчас совершенно здоровы, и у вас нигде ничего не болит. Если бы мой дядя был здесь, подле вас? Как бы вы взглянули в его светлое лицо? Разве вы не обещали, что в сердце своё не допустите страха?

— Я очень виноват, очень виноват, — сказал, вздыхая, Строганов. — Но когда дело идёт о моём единственном сокровище, об Анне, которой уже десять дней грозит ужасная опасность, — поймите меня, Ананда, мой великий, великодушный друг и защитник! Это единственное моё уязвимое место, где я не в силах победить страх.

— Так вот и идёт жизнь людей, в постоянных заблуждениях. Оглянитесь назад, на прожитые десять дней. Что случилось с нею? Она жива, здорова и... счастлива сейчас. Разве не вы вашим страхом и скорбью измучили её? И если уж вы хотите знать... — Ананда замолчал на миг, как бы к чему-то прислушиваясь... то опасность грозила Анне, — или, вернее, вам, так как вы могли потерять её, — здесь, сейчас, ко-

это произойдёт легко и просто. И какая хитрая и ловкая женщина-делец ваша жена! Я непременно завтра зайду к ней вместе с И.

Князь просиял — если можно было сиять ещё больше, чем он светился, — простился со всеми, особенно нежно поцеловал руку Анне и тихо сказал ей:

— Благодарю вас. Ваша музыка помогла мне понять жизнь и найти себя, — и вышел.

— Ваша музыка помогла мне потерять себя, — прошептал внезапно капитан. Я едва расслышал его шёпот и увидел, что он, усердно прятавший свою левую руку с кольцом, рассеянно поднял её и закрыл ею лицо. Кольцо сверкнуло и не укрылось от зорких глаз Ананды, как — я уверен — и шёпот капитана донёсся до тонких музыкальных его ушей.

— Я так и думал, так и думал, — вдруг сказал Ананда, поднимаясь с места и направляясь прямо в наш угол.

— Мой друг, я перед вами в большом долгу. Вы не можете даже представить себе, как много вы для меня сделали, отыскав моё кольцо, — взяв за левую руку капитана и держа её в своих, говорил ему Ананда. — Вы очень измучены. Вам кажется, что музыка разворошила вам всю душу. Но, право, верьте мне, мы с Анной нынче сыграем и споём вам — и вы совершенно иначе себя ощутите. Вы найдёте тот высший смысл всей жизни, путь к которому и есть вся наша земная жизнь с её серыми днями.

— У вас такое печальное лицо, — продолжал Ананда, — как будто бы вы похоронили самые лучшие мечты. Анна, мы должны с вами играть сегодня. Я большой эгоист, прося вас об этом, когда вы не выразили ещё желания играть или петь. Но, если только вы желаете помочь мне отблагодарить человека, вернувшего мне подарок дяди, не откажите и сыграть и аккомпанировать мне, — обратился он к Анне, подходя к ней.

— Какой подарок дяди? — спросила Анна, и тот же вопрос я читал на всех лицах.

Ананда подал ей кольцо, которое обошло всех, вызывая всеобщий восторг; дошло оно и до нас с капитаном. Я взял его в руку, ещё раз полюбовался им и, передавая его капитану, смеясь, сказал:

— Вот такого мне уж никто не подарит.

— Да ваш цветок вовсе и не фиалка, — внезапно сказала Анна.

— Вот как?! — воскликнул я, поражённый, что в шуме общего разговора она могла услышать мои слова капитану. — А разве цветок капитана фиалка?

— Быть может, и не фиалка, — улыбаясь, ответила она. — Быть может, из семейства орхидей, но фиолетового цвета, как ирис, во всяком случае.

Капитан смотрел на неё, не отрываясь, всё ещё держа кольцо в руках. Я не мог решить вопроса, подозревал ли кто-нибудь из присутствующих — как подозревал это я, — что капитан покупал кольцо для Анны. Я хотел спросить её, какой же мой цветок, но в это время Верзила внёс маленькие чашечки ароматного кофе на огромном серебряном подносе, а Ананда, поклонясь Анне, просил её быть хозяйкой и пододвинул к ней фиолетовое блюдо с пирогом.

Анна заинтересовалась блюдом и кувшином, спрашивая И., где он их достал.

— Это не я. Это Лёвушка их раздобыл, точно так же, как фрукты и пирог. Но если содержание пирога не будет отвечать его внешнему виду, мы придумаем для Лёвушки наказание, — прибавил И., юмористически поблёскивая глазами.

— Всякий, кто здесь мудрец, почувствует во рту рай, как только откусит пирога — заливаясь смехом, брякнул я. — А всякий, кто здесь принц, найдёт на блюде божественную красоту и оценит её, а не будет придумывать мне каверзного наказания.

Все весело смеялись. Строганов даже за голову взялся, повторяя: «Ай да литератор!», а Анна смотрела на меня с огромным удивлением, переводя свой удивлённый взгляд на И. и Ананду, молча, улыбаясь, смотревших на меня.

— Что же, дорогая хозяйка, давайте нам скорее это печёное волшебство. Надо решать, кто здесь мудрец и кто принц, — всё улыбаясь, сказал Ананда.

— С кого же начать? Не с самых ли младших? — рассмеявшись, спросила Анна.

— О, так как я самый младший, а я знаю, что в середине пирога — рай, то я исключаюсь. Начинайте с самых старших, — ответил я ей.

— Хорошо. Отец, пожалуйста, попробуй скорее, чтобы я успокоилась, мудрец ли ты, — подавая отцу тарелку, сказала Анна.

— Мы ровесники с Джел-Мабедом, — сказал Строганов. — Дай и ему, мы вместе будем держать экзамен на мудрецов.

Пирог был подан отцу Ибрагима, сразу откушен и... оба вскрикнули:

— Рай, рай! Больше на мудрецов нет вакансий.

— Ну, нет, — сказал Генри. — Я не уступаю так легко. Возраст и мудрость согласуются вовсе не только в почтенные годы. Я прошу теперь нам с Ибрагимом дать.

Анна подала им пирог, ласково погрозив Генри за бунт.

Не успели они откусить, как Генри важно заявил, что надо оспаривать право на мудрость первых, так как они уже свой рай проглотили. И пожалуй, так не хватит всем повторного райского испытания, если все будут съедать райскую мудрость так быстро.

Когда очередь дошла до И. и Ананды, мне не пришлось решать, кто был здесь мудрецом. Ананда, держа тарелку с начатым пирогом, поклонился мне и сказал:

— Если бы я был мудрецом, то в эту минуту я потерял бы часть невещественного рая, так как весь ушёл бы в блаженство еды. Это прекрасно и обманчиво. Оно скромно на вид и необычайно привлекательно внутри. Если и блюдо обладает таким же скрытым талантом обвораживать людей, то вы далеко пойдёте в жизни, юноша. Капитан выказал свой необычайный вкус, вы же показали ещё и талант скрытого волшебства. Я нетерпеливо буду ждать, когда откроется дно блюда.

Вскоре от пирога не осталось ничего, и я увидел остановившиеся глаза Анны, которых она не отрывала от блюда.

Я так перепугался, что встал, собираясь убежать.

— Стой, стой, Лёвушка! — вскричал И., мигом очутившись подле меня и беря меня под руку. — Как коснулось конца твоих каверз — так ты и бежать?

— Я очень заинтересован, — вставая, сказал капитан, — Лёвушка в такой тайне всё держал...

И он подошёл к столу. Посмотрев на блюдо, на Анну, на меня, он провёл рукой с кольцом по глазам и молча пошёл на своё место.

— О, да. Я буду счастлив испытать своё самообладание, — ответил я.

Но когда я увидел Анну, с которой князь снял её всегдашний чёрный плащ, я внутренне ахнул.

— Вы, наверное, не узнаёте меня, Анна, в моей теперешней коже и костях? — сказал я, восторженно целуя обе её руки.

— Вы, Лёвушка, не кожей и костями поражаете сейчас меня, а чем-то другим, чему я ещё не нахожу определения. Но это отнюдь не физическое, а что-то духовное, что меня поражает. Это как бы какая-то просыпающаяся в вас новая сила и даже больше, — сказала Анна.

— Да, а вот перед вами и инвалид, — подавая мне руку, сказал Строганов. — У меня был такой сильный припадок грудной жабы, из когтей которого еле вытащили меня наши общие доктора. Признаться, сам я не надеялся уже больше увидеть этот дом и послушать ещё раз музыку. Живите, живите полнее, мой дорогой литератор. Сверлите своими острыми глазами-шилами жизнь вокруг вас и подмечайте всё, что таится в сердцах окружающих. Пуще же всего бегите от компромиссов и рвитесь из них, если они забрались в ваше сердце: «Коготок увяз — всей птичке пропасть», — задыхаясь, говорил старик, очевидно вспоминая собственные переживания.

Взяв меня под руку, он тяжело и медленно двигался к дивану рядом с тем креслом, что я облюбовал себе. Не успели мы сесть, как в комнату вошёл Генри и, поклонившись всем общим поклоном, отошёл в самый дальний и тёмный угол.

«Сколько причин для аханья было бы у меня, — подумал я, — если бы всё это происходило до моей болезни».

Генри — и раньше худощавый — стал совсем худ, точно постился. Но он не только осунулся, он изменился, точно разочаровался, рассердился, помрачнел. Очевидно, его душевный бунт не унимался, а нарастал.

Анна села за рояль, и я действительно изумился перемене в ней. За этим же роялем я видел её юной, остановившейся на семнадцатой весне. А сейчас я ясно читал в ней все её двадцать семь лет. Лицо не морщины прорезали, но вместо безмятежно-доброго, спокойно-ласкового лица той Анны, к которой я уже привык, я видел страдающие глаза, горько и плотно сжатые, подёргивающиеся губы, и время от времени точно какие-то молнии вылетали из её глаз, — иначе я не умею этого определить.

Отец же её и не напоминал того весёлого и бодрого человека, который месяц тому назад приходил к нам пить чай и устраивать судьбу Жанны.

— Мы перенесём вас в начало семнадцатого века и начнём с Маттесона. Это монах. Потом будет Бах и Гендель, — сказал Ананда.

Внезапно, с первыми же звуками, я увидел за роялем Анну, прежнюю Анну, ещё более прелестную, ещё более вдохновенную, но не по-прежнему спокойную, а бурную, страстную, готовую взорваться каждую минуту.

Как и в прошлый раз, полились не звуки струн из-под смычка Ананды, а живой человеческий голос, рассекавший все преграды между сердцем и окружающей жизнью. Этот голос его виолончели входил мне в душу, не бередил там ран, а вливал силы и мир.

Чудесные звуки сменяли друг друга, а я не замечал никого и ничего, кроме лиц двух музыкантов. Не красота этих лиц и даже не их вдохновение поражали меня

высоты, какого предела ты достигнешь сегодня. А только в том, чтобы двигаться вперёд вместе с тем вечным движением, в котором движется вся жизнь. И войти в него можно только любовью. Если сегодня ты не украсил никому дня твоей простой добротой — твой день пропал. Ты не включился в вечное движение, в котором жила сегодня вся вселенная; ты отъединился от людей, а значит, не мог подняться ни к какому совершенству. Туда путь один: *через любовь к человеку*.

Наш разговор прервал Ананда, а у меня ещё так много было вопросов, где беспокойство о Генри было не из последних.

— Я вижу, ты, Лёвушка, и в самом деле господин своему слову. В таком прекрасном состоянии я даже не ждал тебя найти, — были первые слова Ананды. — Тебя смущает твоя худоба. Но... ты увидишь Анну и найдёшь, что и она изменилась за это время разительно, как и её отец. Постарайся быть очень воспитанным человеком и не подай виду ни ему, ни ей, что ты заметил и поражён их печальной переменой.

— Я буду полон воспитанности и такта, — важно сказал я. — Хотя, признаться, оба эти словечка — ещё от первых дней жизни с Флорентийцем — задают мне немало хлопот и волнений. Буду очень стараться, но обещать, что как-нибудь не сорвусь и не осрамлюсь, всё же не могу.

Мои друзья встали, чтобы идти в музыкальный зал. Помня слова Флорентийца, я взял письмо и свёрток капитана и спрятал их в саквояж, а саквояж, в свою очередь, сунул в шкаф.

— От кого ты прячешь вещи? — спросил И.

— Ни от кого. Но мне велел Флорентиец никогда не оставлять дорогих мне вещей не убранными. Поэтому я сейчас их и спрятал. Да и вы учили меня не раз аккуратности, — ответил я И.

Он улыбнулся, но ничего не сказал. Ананда взял меня под руку, и мы пошли в музыкальный зал.

Я чувствовал себя совсем хорошо, но спускаться с лестницы мне было довольно трудно. Оба моих друга держали меня под руки, и всё же ноги мои сгибались с трудом. Целую вечность, казалось мне, мы шли, пока наконец добрались до цели.

Зал был ещё пуст; через минуту вошёл туда князь со слугами, зажёгшими в нём лампы и люстру. Милое лицо князя, которое я ожидал увидеть сияющим, каким унёс его в своей памяти до болезни, удивило меня озабоченностью и какой-то тоской.

Я хотел спросить его, что с ним случилось. Но вовремя вспомнил, как должно воспитанному человеку вести себя, не показывая удивлённого вида, и стал ждать тех разительных перемен в Анне и её отце, о которых говорил Ананда; в то же время я собирал свои мысли на образе Флорентийца.

Пока князь разговаривал у рояля с И. и Анандой, я сел в глубокое кресло у стены и старался сосредоточиться. Я сам удивился, как легко на этот раз мне удалось собрать внимание. Я сразу же ощутил себя в атмосфере мира Флорентийца, точно я держал его руку в своей. И потому, когда голос Ананды «Лёвушка, Анна идёт» привёл меня в себя, я радостно встал и поспешил ей навстречу, следуя за И., но ноги мои не были достаточно устойчивыми.

— Ты помнишь, Лёвушка, слова Ананды? — шепнул мне И.

— Да что там такое? — громко сказал Строганов. — Мудрецами сразу становились все громко, а как до принцев дошло — языки проглотили. Это что-то наоборот бы надо.

Он приподнялся, склонился над блюдом и, окинув всех взглядом, улыбаясь, сказал:

— Оно выходит, будто принцем-то становлюсь я.

Генри, турки — все бросились к блюду.

— Ну, дайте же и нам с Анандой посмотреть, — отстраняя их от стола, сказал И.

Я готов был провалиться, а капитан, крепко держа меня под руку, шептал мне:

— Ну и мальчишка! Почему же я не нашёл этой вещи? Я готов был бы...

— Я согласен, что на тарелке изображена царственная красота. Если бы в лице мёртвой красавицы сверкало столько духа и ума, сколько в той живой принцессе, чьим прототипом она служит — я согласился бы признать вас принцем-отцом, — сказал Ананда. — И юноша, сумевший оценить сходство и краски портрета на стекле, достоин моей горячей благодарности.

С этими словами Ананда подошёл ко мне, обнял и, как ребёнка, подняв меня на воздух своими могучими руками, крепко поцеловал.

— Надо фехтовать, Лёвушка, делать гимнастику, ездить верхом и закалить организм. Ваша худоба неестественна. Генри, доктор, займись моим другом Лёвушкой.

— Ну а теперь — играть, — прибавил он.

Выйдя из комнат Ананды и подходя к главному крыльцу, мы столкнулись с возвращавшимся князем. Узнав, что мы идём в музыкальный зал, он очень обрадовался, поспешил вперёд, и вскоре мы все собрались в освещённом зале.

Я был поражён, когда увидел в руках Ананды виолончель. Я не заметил её среди его вещей.

Анна, в белом гладком платье из блестящего мягкого шёлка, как обычно с косами по плечам, в этот вечер была хороша до невозможности втиснуть эту красоту в образ обычной, из плоти и крови созданной женщины.

— Мы сыграем несколько старых венецианских народных песен, теперь уже почти забытых и забитых новыми, пошлыми и плохими по музыке напевами, — сказал Ананда.

Я сидел рядом с И., по другую сторону которого сел капитан, как раз напротив музыкантов.

Что это была за пара лиц! Глаза-звёзды Ананды сверкали, бросая точно искры вокруг. У Анны горели розами щёки, верхняя губа снова приподнялась, открыв ряд её мелких, белых зубов.

Ни в нём, ни в ней не было ничего от земных страстей. Но оба они были слиты в высшем страстном порыве творческого экстаза.

Первые звуки Анны сразу вихрем взмыли кверху, точно оторвались и полетели куда-то. И внезапно глубокий, властный звук прорезал их. Сливаясь, отходя, ещё ближе сливаясь в гармонии и снова её разбивая, нёсся звук виолончели, покоряя себе рояль, покоряя нас, овладев, казалось, всем пространством вокруг.

Я не мог отдать себе отчёта, что это поют струны. Это пел голос, человеческий голос неведомого мне существа.

Звуки замолкли. О, как бедно стало сразу всё! Как уныла показалась жизнь, лишённая этих звуков. «Ещё, ещё», — молил я в душе и чувствовал, что все просят о том же, хотя никто не нарушал молчания.

Снова полилась песня. Мне она показалась ещё прелестнее и колоритнее. Огромная сила жизни лилась из этих звуков. Я не мог постичь, как такие высшие, недосягаемые по таланту люди ходят, выдерживают вибрации окружающих их простых, маленьких людей, как я и мне подобные? Зачем они здесь, среди нас? Для них нужен Олимп, а не простые трудовые дни с их трудом, потом и слезами...

«Да вот благодаря им и нет серого дня сегодня, а есть сияющий храм», — роняя слезу за слезой, продолжал думать я под сменявшиеся песни, из ряда которых я не знал, какую предпочесть.

Внезапно Ананда встал и сказал:

— Теперь, Анна, Баха и Шопена, в честь моего дяди.

Анна улыбнулась, поправила платье и стул, подумала минуту и заиграла.

В тумане слёз, весь взволнованный, я сидел, держась за И. Мне казалось, что я не выдержу потока новых, содрогавших всего меня сил. Точно под влиянием этих звуков во мне раскрывалось какое-то новое существо, которого я в себе ещё не знал.

Как только смолкли звуки, Ананда подошёл к Анне, почтительно, но так нежно, что у меня в сердце заныло, поцеловал ей руку и сказал:

— Старые, венгерские, последние, что я вам прислал.

Ещё никто не успел приготовиться, опомниться, а уже полилась песня. Но можно ли это назвать песней? Разве это голос человека? Что это? Какой-то мне неведомый инструмент. Или это раскаты эха в горах? Это какая-то стихия красоты. Я был так ошеломлён, так сбит с толку, что, раскрыв рот, уставившись глазами на Ананду, еле переводил дыхание.

Он пел на непонятном мне языке. Я ни слова не понимал, но всё содержание песни ясно сознавал. Цыган оплакивал погибшую жизнь, погибшую любовь. Ревность, злоба, безумие, — всё человеческое страдание, вся бездна страсти и скорби нашлись в песне и проникли в сердце. Но вот звуки точно изменились, звучавшие проклятия перешли в прощение, примирение, благословение и мир...

«Зачем этот человек среди нас?» — всё не мог я отделаться от навязчивого вопроса. — «Ему место где-то выше, не среди простых людей».

И вдруг Ананда, что-то шепнув Анне, запел русскую песню:

Я только странник на земле. Среди труда,
страстей и боли Избранник я счастливой
доли. Моей святыне — красоте Пою я
песнь любви и воли.

Я вздрогнул от неожиданности. Он точно ответил мне. То была не просто песнь, а гимн торжествующей любви...

Когда отзвучало последнее слово, я едва смог, поддерживаемый И., встать. Оглядев всех своих друзей, я почти никого не узнал; и даже И. был необычно бледен, серьёзен, почти суров.

Прощаясь с нами, Ананда ласково сказал капитану:

— Я буду ждать вас завтра в пять часов.

Чем больше я постигал несравненно высший путь жизни моих друзей, тем всё смиреннее и благодарнее относился к их любви и заботам обо мне.

За этими размышлениями застал меня И., которому я так обрадовался, что снова детски бросился ему на шею.

— До чего ты смешноватенький, мой милый Лёвушка, на тебе только анатомию костей изучать! И ты совершенно изменился. Несмотря на детскость фигуры, ты точно вырос и возмужал. У тебя совсем новое выражение лица. Тебя не только Анна и Жанна — каждая по-своему — не узнают, тебя и Флорентиец не узнает, — нежно обнимая меня и гладя мои кудри, говорил И.

Мы сели с ним обедать, и он рассказал мне, что дела княгини блестящи. Благодаря усилиям Ананды совершилось то, на что он один никогда не решился бы. Ананда снёсся со своим дядей и получил от него разрешение применить его метод лечения, в результате которого княгиня ходит не хуже, а лучше, чем ходила до болезни, хотя метод был очень рискованным.

На мой вопрос, помнит ли княгиня, о чём говорил ей И. в первые дни её воскресения, помнит ли, как она крикнула: «Прощение», И. сказал, что дня два назад, когда завершился раздел её имущества с сыном и адвокаты, вполне довольные, уехали в Москву, она сама просила Ананду и И. уделить ей время для разговора.

Он не говорил мне подробно, в чём заключался этот разговор. Но сказал, что в результате его у княгини исчез её безумный страх смерти. Всё её отношение к окружающим, которое само собою уже во время болезни стало меняться, теперь так же изменилось, как её естественные седые волосы, сменили рыжий парик, и старческое не накрашенное лицо вместо прежней размалёванной маски. Мысли её выскочили из железных когтей жадности и скупости, и она впервые увидела и поверила, что не всё в мире покупается и продаётся.

— Всё же мне очень жаль князя. Как бы он ни понимал своего смысла жить, старая жена — это большой ужас! — задумчиво сказал я.

И. усмехнулся и ответил мне, что задаст мне вопрос о счастье князя года через три, когда мой жизненный опыт и знания двинут меня далеко вперёд.

— Я вижу, что тебя не очень волнует вопрос беспрекословного повиновения, — сказал И. со знакомыми мне искорками юмора в глазах.

— Нет, Лоллион. Этот вопрос меня вовсе не волнует; точно так же, как и на другом вопросе Ананды я совсем не задерживаюсь вниманием. То есть для меня нет и не может быть ни выбора, ни вопроса, с вами я буду действовать или не с вами, потому что самой жизни без вас, без Флорентийца, без моего брата для меня уже быть не может. Я не заметил, какое место занял в моём сердце Флорентиец, и только по разлуке с ним понял всю силу своей любви к нему. Я не успел понять, каким волшебством сэр Ут-Уоми занял тоже огромное место в моём сердце. Но как, за что, когда и почему там водворился ваш образ — это я знаю точно, всем своим преображённым существом неся вам благодарность. Чем-нибудь быть вам полезным, быть вам слугой, преданным учеником — вот самое моё огромное желание, самая затаённая мечта. И более чем когда-нибудь я страдаю, думая о своей невежественности, невыдержанности, неопытности.

— Мой милый мальчик, чем выше и дальше каждый из нас идёт, тем яснее видит, что предела достижению в вопросе совершенства нет. И дело не в том, какой

меня с постели, но даже и выпустить на балкон, но к вечеру, когда спадёт жара, и с условием: съесть первый завтрак в постели, а потом пролежать три часа в полутьме. Если же через три часа он найдёт меня в полном самообладании, ничем не раздражённым и крепким, — он разрешит мне встать. А завтра вечером сам осторожно сведёт в музыкальный зал послушать музыку.

Я был в восторге.

— Вы можете быть более чем уверены в самом непоколебимом моем спокойствии, так как я больше всего на свете хочу послушать вас и Анну. Я даю вам слово быть спокойным, а слово своё я держать умею. И вообще считаю, что если бы не ваша дервишская шапка, я бы не закричал вчера. Это она раздавила мне однажды мозги, и я стал так детски глуп. Стоило мне сказать Генри, что я не желаю видеть никого дня три, пока не отъемся и не буду походить на человека, — ничего бы и не случилось. А вот шапка подвела.

— Да, вскоре ты увидишь воочию, друг, что значит зловещая шапка. И какой зловещей она может быть, как бывает иногда вообще вредна иная подаренная и носимая на себе чужая вещь, — очень серьёзно сказал мне Ананда. — Надетая на человека злою рукой, вещь может лишить не только разума, но и жизни.

Я не понял его слов в эту минуту. Но как ужасен был их смысл, в этом я действительно убедился через несколько дней.

Мои друзья, напоив меня очень приятно шипевшим, точно жизненным эликсиром, освежившим меня питьём, ушли, предоставив меня и турка нашему завтраку. Турок потчевал меня, пока я не наелся до отвала, но не забывал и себя.

Я должен был отдать дань прозорливости Ананды. После завтрака я захотел спать, захотел полутьмы. Турок задёрнул шторы, улёгся сам на диван, и оба мы с ним блаженно заснули.

Второй день моего выздоровления прошёл вполне благополучно. Изредка я поглядывал на конверт и свёрток капитана, но даже в мыслях у меня не мелькало нарушить завет Ананды. И музыки я ждал, конечно, жадно ждал. Но в этом моем ожидании не было той страстности, с которой я жил до сих пор и которая, как качели, вталкивала меня постоянно в раздражение. Точно в самом деле я выплакал часть своего существа в тех потрясающих слезах, которыми плакал в тайной комнате Ананды.

Мне очень хотелось знать, где Генри, так как комната капитана была теперь пуста. Не менее горячо я хотел знать, как живут князь и княгиня, что делается в магазине Жанны, и как идёт жизнь у Строгановых. Если бы Генри или князь были со мной, я мог бы их обо всём расспросить. Но спрашивать о чём-нибудь у И. я не хотел и не смел, если он сам не находил нужным мне об этом говорить.

Весь день я провёл один. Вопрос, который поставил передо мной Ананда, тот вопрос беспрекословного повиновения, о который всё спотыкался Генри, меня даже и не волновал. По всей вероятности, по сравнению с Генри я так мало знал и был так значительно меньше его талантлив, с одной стороны, и так наглядно видел вершины человеческой доброты, благородства, силы в людях, подобных Али, Флорентийцу, И., Ананде, — с другой, что мне и в голову не приходило сомневаться в своём весьма скромном месте во вселенной по сравнению с ними и их знаниями.

С большим трудом отдавая себе отчёт во всём окружающем, встретив полные слёз глаза Генри, я попросил И., чтобы Верзила помог мне вернуться к себе, потому что мне нехорошо.

Помню только, что сильные руки капитана подхватили меня.

Глава 21

Моя болезнь, Генри и испытание моей верности

Когда я очнулся в своей постели, то первое, что я увидел, было лицо склонившегося надо мной И., а рядом, держа в руках рюмку, стоял Ананда.

Я даже ахнуть не успел, как И. приподнял мою голову, а Ананда влил мне в рот что-то горькое, остро пахнувшее, от чего я чуть не задохнулся.

Почему-то я чувствовал себя слабым; мне хотелось спать; и я закрыл глаза, хотя оба друга склонились надо мной, точно желая о чём-то меня спросить.

Какие-то перерывы в сознании, пробуждение в слабости и неизменно какая-то фигура вблизи меня, — вот всё, что сохранила мне память этих дней.

Мне казалось, что я лёг спать вчера, когда в один из дней, проснувшись, я ясно увидел И. задумчиво сидевшим подле меня. Я хотел встать, но его рука удержала меня.

— Не поднимайся, Лёвушка. У тебя было обострение болезни, и Ананда опасался, что твоё сотрясение мозга разобьёт надолго твой организм. Но благодаря его усилиям и нашему общему уходу ты теперь спасён. Я чувствую себя очень виноватым перед тобой за то, что не оберёг тебя от чрезмерно волнующих впечатлений. Простишь ли ты меня, что по моей непредусмотрительности ты пролежал две недели, — мягко и ласково глядя на меня, говорил И.

— Я пролежал две недели? — совершенно изумлённый спросил я.

Я старался что-то вспомнить, где кончилась моя сознательная жизнь, где я жил бредовыми представлениями и где она снова начиналась? Когда я заболел? Но какой-то шум в голове и звон в ушах не давали мне ничего сообразить.

Одно только я понял, что И. считает себя в чём-то передо мной виноватым. И в такой степени смешной показалась мне эта мысль, что я протянул к нему руку и сказал:

— Ну, а у кого же мне просить прощения за то, что я вторично заболел и вторично отравляю вам жизнь, отнимая столько сил и времени у вас? Ах, Лоллион, я вдруг сейчас всё вспомнил. Ведь это я снова — как тогда у Ананды — упал в обморок в зале? Музыка, музыка, такая необычайная, точно заставила мой дух вылететь из меня. Иначе я не могу вам описать своего состояния. Я точно улетел и попал к Флорентийцу. Я знаю, что мне это снилось, будто я с ним. Он, в длинной белой одежде, что-то мне говорил. Я видел комнату, всю белую, но что я там делал, что он мне говорил, — я всё забыл. Безнадёжно забыл. А между тем единственной моей мыслью была радость рассказать вам весь свой сон, все слова Флорентийца. И вот я его забыл и даже смысла его не помню, только знаю, что Флорентиец несколько раз сказал мне: «Ты здоров. Ты совершенно здоров. Но если ты хочешь следовать за мною и быть моим верным другом, — ты должен добиться бесстрашия. Только бестрепетные сердца могут подняться в высокие пути». Вот всё, что я запомнил.

— Сейчас, Лёвушка, ты не говори так много. Надо всё сделать, чтобы ты поправился скорее. За эти две недели совершилось очень многое среди наших друзей.

И. — Или я совсем не могу положиться ни в чём на вас? Ни одному из распоряжений Ананды, Генри, вы не желаете повиноваться. Зачем вы держите письмо от Жанны в кармане? Кто вам сказал, что мы её угнетаем, не пропуская к Лёвушке сейчас? Посмотрите, что вы наделали, — указывая на меня, сказал И. А я задыхался, мне было тошно, я знал, что снова сейчас упаду в обморок.

— Извольте идти отсюда, — сказал И. Генри, и это было последнее, что я слышал. Мне казалось, что, проваливаясь куда-то в пропасть, я слышал ещё сильный, волевой крик И., звавшего Ананду, и видел, как последний быстро вбежал в мою комнату. Но я не уверен, что это не было моим бредом.

Когда я очнулся, очевидно, была уже ночь, а может быть, просто были спущены шторы. В полумраке я различил грузную фигуру сидевшего подле меня отца Ибрагима.

Я шевельнулся и попросил пить. Он вызвал И., который, радостно мне улыбаясь, дал мне сам питьё, поблагодарил турка за проведённую подле меня ночь, а меня поблагодарил, что я так скоро победил свой глубокий обморок.

Я, к моему удивлению, решительно всё теперь помнил. Я не чувствовал больше слабости, но чувствовал такой волчий голод, что стал просить есть, а также света в комнату, как можно больше света.

Турок развёл руками, смеясь, отодвинул все шторы, так что я даже зажмурился от ворвавшегося света, и прибавил, что капитан-то был прав, считая меня каверзным мальчишкой.

— Я его чуть не оплакивал всю ночь. Напросился в братья милосердия, гордясь выхаживать умирающего, а он взял да и отнял у меня все мои привилегии. Прикажете кормить этого волка? — спросил он И.

— Я сейчас схожу к Ананде и спрошу его, чем кормить волчью светлость, — рассмеялся И. — А вы, быть может, не откажетесь помочь ему умыться. Чур не вставать, — прибавил он, грозя мне пальцем. — Пока я не вернусь с Анандой, считай себя безнадёжно больным и принимай заботы Джел-Мабеда со свойственной этим больным грацией.

Не дожидаясь моего ответа, он быстро ушёл, а я принялся за свой туалет, поразив своей худобой не только турка, но и самого себя. Я даже не думал, что можно так высохнуть за две недели. Турок покачивал головой, бормоча:

— Вот и откорми этого аскета. Неужели же можно жить одной коже да костям?

Я требовал зеркало, уверяя, что не могу расчесать свои отросшие кудри наизусть, но турок мне его не давал, уверяя, в свою очередь, что зеркало я съесть не могу, а важно только одно сейчас: есть.

Не успели мы поспорить о важности расчёсанной головы, как оба доктора уже стояли рядом со мной, смеясь и спрашивая, решил ли я, что для меня важнее: еда или красота.

Я ответа не дал, а жадно потянулся к чашке, которую И. держал в руках. Турок очень одобрил такое практическое решение вопроса и вызвался пойти к повару заказать завтрак.

Когда он ушёл, снабжённый наставлением И. и моим: «скорее бы дали», я сказал Ананде, что я совсем здоров и мог бы встать. Ананда согласился не только спустить

тем так захотел есть, что без разбора и последовательности уничтожил всё, что мне было подано, и даже заявил, что хорошо, да мало.

Генри с ужасом смотрел на меня.

— Лёвушка, а ведь я проиграл большое пари доктору И. Я спорил, что вы не осилите и половины этой огромной чашки шоколада, не только этой каши и каких-то подозрительных блюд, в которых И. упражнял свой поварской талант. А вы меня ещё раз посадили на мель за вашу болезнь.

Голос Генри был печален, и весь он имел совершенно расстроенный вид.

— Я очень жалею, если чем-то огорчил вас, Генри; но, право, я желал бы только выказать вам большую благодарность за ваш уход и помощь, которые вы оказали мне в болезни, — сказал я ему.

— Нет, Лёвушка, не вы меня огорчили, а я сам — даже как-то незаметно для самого себя — запутался в отвратительную сетку интриг. И только сегодня слова Ананды точно пробудили меня от сна.

Отчего я вдруг, дней пять назад, взбунтовался и не послушался его приказания и не дал вам его лекарства? Сейчас я даже ответить на это не могу. А в ту ночь у меня поднялся — как мне теперь кажется, без всяких причин и оснований — такой протест в душе! Я осуждал и критиковал Ананду, поступавшего вопреки всем правилам медицинских указаний. Я стал считать насилием над всем моим существом требование беспрекословного повиновения в таком деле, где я тоже кое-что понимаю и имею степень доктора медицины. Да ещё печатную учёную работу, как раз по мозговым болезням вашего типа.

И вот на вас я увидел ясно, что я ничего не знаю, что не болезнь, как таковую, лечил в вас Ананда, а видел и знал весь ваш организм, как он всегда говорит. Тогда как я всецело был занят книжным описанием болезни, а не вами.

Когда И. готовил вам завтрак, бунт во мне стал ещё сильнее. Я еле сдерживался от грубости и детского желания побежать с жалобой к Ананде и требовать культурного отношения к больному. А И. поглядел на меня и, спокойно мне улыбнувшись, сказал: «Хотите пари, что Лёвушка всё съест и скажет, что мало? Но прошу вас ничего, решительно ничего больше ему не давать до самого обеда, к которому я вернусь. Я буду сам обедать с Лёвушкой в его комнате. И лекарств никаких, и визитов никаких к нему не допускайте». И так он ещё раз посмотрел на меня, что я до сих пор не могу в себя прийти. Не то, что это была строгость, или приказ, или осуждение. Их бы я вынес легко. Это было такое сострадание, такое сочувствие мне. Я понял, что он догадывается обо всех моих мыслях, в которых я даже себе не хотел бы признаться.

Генри замолчал, опустил голову на руки и через минуту продолжал:

— И ещё не всё. Ещё утром Ананда мне сказал, что сегодня вы совсем очнётесь и будете в силах говорить и кушать, но чтобы никого посторонних к вам не допускать. А я обещал Жанне, которая каждый день приходит справляться о вас, что пущу её потихоньку к вам, Лёвушка.

— Как могли вы так гадко поступить? — закричал я так громко, что в комнате И. раздались поспешные шаги, и сам И. быстро подошёл ко мне.

— Что с тобой, Лёвушка? — беря мои руки, сказал он. — Отчего до сих пор стоит возле больного поднос? Чтобы привлекать мух? — тихо, но строго звучал голос

Самое большое огорчение капитана состояло в том, что он должен был уехать, не простившись с тобой, или, вернее, поцеловав твоё безжизненное на вид тело. Этот закалённый человек, считая тебя умирающим, плакал. А Верзила — того я, как нервную барышню, должен был отпаивать каплями и уверять, что ты будешь жить.

Видишь ли, друг. Если так или иначе, во сне или в бреду, наяву или в мечтах — но ты вынес из этой болезни сознание, что надо и можно двигаться дальше только в бесстрашии, — тебе надо сделать всё, чтобы его добиться. Это твой ближайший и вернейший урок всего пути. А нам с Анандой, прошедшим в прошлом — как ты знаешь — тяжёлый путь скорби и ужаса, надо тебе помочь в достижении этой задачи.

Поэтому давай точно, строго выдержанно добиваться сначала полного физического выздоровления. Мне, тебе, Анне и ещё кое-кому вскоре предстоят большие испытания. Вернее, мы должны помочь Анне и Строганову очистить их семью от того ужаса зла, который — благодаря неосторожности жены Строганова — губит её самое, её младшего сына и протягивает грязные лапы к Анне.

Тебе, выплакавшему в горьких слезах своё детство и сомнения, надо теперь стать мужчиной. Уверенно стой на ногах и помогай нам с Анандой в деле очень серьёзного страдания семьи Строгановых.

Будем с тобой выполнять предписания Ананды, да вот, кстати, и он.

И действительно, я услышал в соседней комнате, где жил капитан, шаги Ананды и его голос. Как я потом узнал, теперь в комнате капитана жил Генри, разделявший с И. все труды ухода за мной.

Ананда вошёл, осветив своими глазами-звёздами всю комнату. Он точно внёс с собой атмосферу какой-то радости, успокоения, уверенности.

— Ну, что же? Был ли я прав, Генри, говоря тебе, что с Лёвушки, как перчатка, слезет его болезнь? — прозвенел его вопрос к Генри, которого я, увлечённый обаянием Ананды, не заметил сразу.

Генри смущённо улыбался, говоря, что это из ряда вон выходящий случай, что ни в одной из книг он не находил указаний такого лечения, какое применил ко мне Ананда.

— Знание, Генри, — это жизнь. А жизнь нельзя уместить ни в какую книгу. Если ты не будешь в больном читать его жизнь, а будешь искать в книгах, как там описывается лечение болезни, — ты никогда не будешь доктором-творцом, талантом, а будешь только ремесленником. Нельзя лечить болезнь. Можно лечить больного, применяясь ко всему конгломерату его качеств, учитывая его духовное развитие. Не приведя в равновесие всех сил в человеке, ты его не вылечишь. Я даже не спрашиваю, как вы себя чувствуете, а предписываю: быть через три дня на ногах; на пятый день выйти в сад; на шестой ехать кататься с Генри; через неделю считаться здоровым и приняться за все обычные дела, вплоть до писания под мою диктовку писем и слушания музыки; а через десять дней помочь нам с И. в одном трудном деле.

Генри всплеснул руками и даже свистнул. У него был вид полного возмущения. Я засмеялся и, несмотря на слабость и звон в ушах, обещал — при должном количестве пилюль Али — выполнить заказ Ананды.

— Не Али, а моего дяди лекарства приводили в ужас Генри и возвращали здоровье вам. Генри даже пробовал, было, не послушаться моего приказания и не дать вам

ночью должной порции лекарства, боясь, как бы я не уморил вас. К счастью, я зашёл к вам перед сном и поправил дело. Не то, защищая вас от меня, он отправил бы вас далеко, — юмористически взглянув на Генри, звенел своим металлическим голосом Ананда. Но во взгляде его, как и в тоне голоса, я уловил что-то скорбное, когда он перевёл глаза на И.

Внимательно меня осмотрев, он снял лёд с моей головы, велел Генри снять грелку с моих ног и сказал мне:

— Вне всякого сомнения, всё уже миновало и вы совершенно здоровы. Если бы не стояла такая жара, я спустил бы вас с постели даже сегодня.

Генри снова фыркнул что-то, я понял, что он порицал методы лечения Ананды.

— Генри, друг, надо отнести княгине вот это лекарство. Передай его князю, и первый приём дай княгине сам, в каком бы состоянии — по твоему учёному мнению — она ни находилась.

— Ну хорошо, хорошо, — улыбнулся он, видя вдруг изменившееся и молящее выражение глаз Генри. — Дважды за одну вину не взыскивают. Но... если ты дал слово слушаться моих указаний, вот перед тобой живой пример, как ты был не прав, отменяя моё предписание относительно Лёвушки. Там, где ты не знаешь всего до конца, — старайся выполнить точно всё, что тебе сказано. Умничание не достойно мудрого человека. Не говоря уже о том, как ты нарушил своё обещание верности другому человеку, ты мог спутать нити многих жизней и погибнуть сам.

Ананда не был строг, когда говорил. И голос его был мягок и ласков, но я не хотел бы быть на месте Генри и не смог бы, пожалуй, вынести спокойно этого сверкавшего взгляда. Генри поклонился и вышел всё с тем же смущённым и расстроенным видом. Но я далеко не был уверен, что он смирился и сознал себя неправым.

— Вот, Лёвушка, тебе предстоит решить сейчас один сложный и очень важный вопрос, если ты хочешь идти с нами и следовать за твоим верным другом Флорентийцем.

Ты уже и сам заметил, что в жизни есть много таких сил и качеств, о которых ты раньше никогда не думал. Когда-то — как ты сейчас — и мы с И. переживали бури жизни. И искали в ней удовлетворения личных желаний, не зная, что счастье не в них, а в знании и служении своему народу. В освобождении *в себе* всех высших сил для помощи людям, в развитии всех талантов и способностей, чтобы звать людей к единению и красоте.

Много говорить я сейчас не буду. Надо, чтобы ты поправился и сам решил: хочешь ли ты повиноваться тому, куда я и И. будем тебя звать? Хочешь ли, легко, просто, добровольно повиноваться нам, имея одну цель в виду: стать близким другом и помощником Флорентийцу?

Если верностью своей ты желаешь следовать его верности, ты поймёшь, как надо много знать и высоко подыматься, чтобы приблизиться к нему. Пока ты мало знаешь, но веришь всецело ему и нам, надо повиноваться не рассуждая. Если бы я не поспел вовремя, Генри уморил бы тебя. Он, не имея достаточных знаний, пустился поправлять мои распоряжения, чем мог привести твоё сердце и нервы в полное расстройство — и уже никто не мог бы вернуть тебя на землю.

Нам предстоит вскоре сражение с человеком большой тёмной силы, злым эгоистом и бесчестным губителем чужих жизней. Если хочешь ближе придвинуться к

Флорентийцу, включайся с нами в битву. Но для этого надо победить в себе страх. Это условие — как новый урок — стоит сейчас пред тобою.

Это одно, о чём тебе думать и решать целых три дня, пока ты будешь лежать.

А вот и второе: уезжая, капитан очень горевал, что не может переговорить с тобой. Он просил меня передать тебе его письмо и этот пакет. Но читать тебе сейчас нельзя, как нельзя и разворачивать сию минуту свёртка. Ни одно лишнее волнение не должно потрясать твоего сердца все эти три дня.

Живи, как живут схимники; живи, как будто бы каждый день был последним днём твоей жизни, и думай о Флорентийце и о том, что я тебе сейчас сказал, если хочешь трудиться с ним.

Через три дня ты дашь мне ответ. Тогда же, в зависимости от твоего решения, мы с И. выработаем план наших действий и станем скорее или медленнее двигать твоё выздоровление и закалку, — улыбнулся он, пожимая мою руку. — Тогда же прочтёшь и письмо капитана.

От пожатия Ананды к моему сердцу пробежала точно какая-то волна теплоты и спокойствия. Не скажу, чтобы его слова не взволновали меня. Но вместе с тем, по мере того как он говорил, я становился спокойнее, и мысль моя начинала работать совсем ясно. Теперь же, держа его руку в своей, я весь наполнился таким же чувством счастья, мира и уверенности, как в тот раз, когда Али, в комнате моего брата, взял меня за руку.

Как тогда, так и теперь, сознание превосходства этого человека надо мной исчезло из моего сердца. Я уже не спрашивал себя, зачем такие люди, так много выше и совершеннее нас, ходят среди нас по земле, в её страданиях и слезах, страстях и зле, пачкая свои светлые одежды?

Я, казалось, слился весь с той добротой, с тем милосердием, которые так просто и легко лил Ананда моему маленькому сердцу, моей неустойчивой взбудораженной душе.

«Вот она, любовь, — не только думал, но и ощущал я всем существом Ананду. — О, если бы я мог научиться так любить человека! Всё в том, чтобы понять сердцем, что такое любовь, тогда нет места осуждению...»

Я почти не заметил, как Ананда и И. вышли из комнаты. Мне думалось, что я снова дремлю, как и все эти дни, когда я ощущал как бы раздвоение своего существа. Я знал, что вот здесь лежит моё тело, и вместе с тем я знал, что я — как мысль и сознание — где-то летаю, что я в нём и не в нём, и никак не мог слить во что-либо ясное и чёткое своего состояния. Я точно был невесом.

Но теперь, в эту минуту, я ясно ощущал тяжесть своего тела, чувствовал слабость, трудность каждого движения и понял, что начинаю выздоравливать, что бред мой кончился.

Я хотел спросить себя, рад или не рад я, что вернулся на землю из мира моих грёз. Но вошедший Генри принёс мне завтрак и сказал, что всё приготовлено руками самого И., а Ананда предписал съесть непременно всё, что подано.

Я поморщился, так как на большом подносе стояло чего-то много, а есть совсем не хотелось. Генри помог мне сесть и поставил весь поднос на низкую бамбуковую скамеечку прямо на мою постель. Я начал с шоколада, сначала неохотно тянул его, как вдруг увидал на тарелочке «Багдад». Недолго думая, я отправил его в рот, а за-

честен и верен цельно, если компромисс не соблазнит его, он достигает счастья жить легко, радостно. Живи легко и дай себе слово никогда не плакать. — Ананда обнял меня, и мы разошлись по своим комнатам.

Впервые с отъезда из Москвы я сегодня расстался с И. Я имел случай в своём одиночестве подумать ещё раз обо всём, чем я обязан этому человеку. Я был полон благодарности и нежной любви к нему. Мне так не хватало сейчас моего снисходительного друга и наставника, и было мне горько, что я ничем не могу быть ему полезен сейчас и не увижу его, проснувшись завтра утром. Решив, что после занятий с сэром Уоми я попрошу у него разрешения сбегать к И., я лёг счастливый и радостный. Как ни был тяжёл этот день, а жил я сейчас поистине «легко».

Ровно в девять часов следующего утра я стучал в двери сэра Уоми.

— Ты точен, друг, — встретил меня он сам, отворяя мне дверь.

Меня удивило, что в комнате ничего не изменилось, точно здесь продолжал жить Ананда, у которого всегда царил образцовый порядок. И сейчас нигде не было заметно никаких следов завтрака, ни пылинки на столах, — только на письменном столе лежало несколько писем, какая-то тетрадь и ещё не обсохшее от чернил перо. Видно было, что сэр Уоми уже давно работал.

Я провёл параллель между своей и его комнатами и со стыдом вспомнил, как я сейчас спешил, какой кавардак я оставил у себя в комнате и как бежал бегом, глотая последний кусок у самой двери.

Я дал себе слово и в этом отношении быть достойным своего хозяина. В первый же раз, что И. нет со мной, я оставил комнату в таком хаосе! Мне стало очень, до тошноты, неприятно.

Должно быть, моё лицо отразило моё состояние, потому что сэр Уоми, лукаво улыбаясь, спросил, не страшна ли мне перспектива работы с ним.

— Как могли вы это подумать, сэр Уоми? — даже привскочил я с кресла, в которое он меня посадил. — Я просто — едва вошёл — увидел ещё одну черту, которая прибавилась к моему сознанию себя недостойным счастья служить вам секретарём. Но бояться вас? От вас так и льются потоки любви. Я ещё мог бы бояться Али и его прожигающих глаз. Но в свете ваших глаз можно только тонуть в блаженстве.

Сэр Уоми рассмеялся, и мне снова почудились звенящие колокольчики.

— Зима, тройки... малиновый звон... — невольно вырвалось у меня.

— Что ты там бормочешь, друг? Тут растаять можно от жары и пыли, а ты бредишь зимой?

— Видите ли, сэр Уоми, я совсем ошалел от всех тех встреч и переживаний, которые на меня свалились в последнее время. Я никогда не подозревал, что на свете могут жить такие люди, как Али, Флорентиец, вы, наконец, И. и Ананда. Да, впрочем, я также не думал, что могут быть живые Анны или Наль.

Я слышал слова этих замечательных людей и часто их не понимал. Вернее, моя мысль не поспевала их осознать, а они попадали мне куда-то в глубину и оставались там лежать до времени.

Я знаю, что я очень неясно выражаюсь. Но я веду к тому, что яснее всего мне говорят тон голоса и смех человека. Они, точно камертон, ведут меня прямо к пониманию — минуя всякую умственную логическую связь, — к чему-то очень сокровенному в человеке.

гда она играла, а вы и не подозревали о том. Как и не подозреваете того, что это вы же своим страхом поставили её у предела её сил...

Ананда замолчал, нежно взял обе руки Анны в свои, поднёс их к губам, улыбнулся, обнял её своей левой рукой и поцеловал в лоб.

— Нет места сомнениям в сердце верном. И когда они проникают туда, там происходит революция, разрывающая гармонию. Помни, друг Анна, что вторично вырвать тебя из той бури, куда ты проникла сейчас не готовая, — я уже не смогу. Думай не о своих путях, как о путях отречения; но о пути всех тебе близких по духу, где ты — сила и мир, если живёшь в гармонии. Но где рухнешь сама и рухнут за тобой твои любимые, если в твоём сердце будут жить сомнение и половинчатость. Это — первое звено; за ним проникает страх, а там... снова попадёшь в ту бурю, где была сейчас, и я, повторяю, уже не смогу вторично вырвать тебя из неё.

Он ещё раз поцеловал Анну в лоб. Только сейчас я заметил, как он был бледен, измучен, точно не Ананда был передо мной, а тень его.

Снова я ничего не понял, только сердце моё защемило. «Что могло так надорвать силы Ананды? Почему на его гладком лбу поперечная морщина? Почему И. так суров и скорбен?» — думал я.

Все эти вопросы остались без ответа, а в сердце моем удвоилась преданность моим друзьям.

Никому не хотелось чая, но, чтобы не обидеть радушного хозяина, мы выпили по чашке и разошлись.

Я искал Генри, но он исчез. А мне так хотелось чем-нибудь облегчить его муку.

— У каждого свой путь, — сказал мне Ананда, когда я, выходя, столкнулся с ним у двери. — Тебе сейчас только готовиться к ответу, который я спрошу завтра. Если бы Генри хотел говорить с тобой до этого срока, — мой запрет лежит на тебе. Ты видел, к чему ведёт непослушание. Ты кое-что понял сейчас, куда приводит сомнение. Отдай себе отчёт, не ищи помощи ни в ком и реши свой вопрос один.

Я пришёл в свою комнату. Я был счастлив. Ничто не разрывало мне сердце, я знал своё решение, знал каждым нервом свой путь; во мне всё ликовало. Я знал — я был спокоен.

Я хотел уже лечь спать, как представил себе состояние Генри. Я очень многое дал бы, чтобы его утешить, но голос внутри меня говорил мне, что я ничего не сумею сделать сейчас для него, так как сам ещё слаб. Я понял запрет Ананды именно как желание его оберечь нас обоих от лишних мучений без пользы для кого бы то ни было.

Я подошёл к двери, запер её на ключ и потушил свечу. Я твёрдо решил остаться верным приказанию Ананды, призвал дорогое имя Флорентийца и лёг, всем существом чувствуя, что Генри непременно придёт ко мне.

И я не ошибся. Не успели затихнуть шаги Ананды и И., вышедших провожать Строгановых, как кто-то постучал в мою дверь. И сердце моё ответно застучало.

Стук повторился; снова всё затихло. Я, не знаю почему, подбежал к двери комнаты И. и запер её тоже на ключ. Не успел я добежать до постели, как услышал звук поворачиваемой ручки.

— Лёвушка, отоприте. Мне экстренная надобность. Скорее, мне надо вам передать поручение совершенно громадного значения. От этого зависит жизнь двоих людей. Скорее, пока И. не вернулся, — слышал я задыхающийся голос Генри.

Я неподвижно, молча лежал. Если бы он говорил мне, что он горит, что его жизнь зависит от нашего свидания, что я умру, я бы не изменил Ананде и И., и не двинулся с места.

Генри стал так сильно дёргать дверь, что я боялся, что он сломает этот старый запор. Я тихо встал, надел халат и решил перейти в комнату капитана, как услыхал стук парадной двери и понял, что сейчас войдут мои друзья.

Стучавший теперь с остервенением в дверь Генри, звавший меня уже громко и грубо, не слышал ничего и даже шагов И. и Ананды, внезапно перешедших в бег.

В комнате И. всё смолкло. Затем я услышал голос Ананды, говорившего на незнакомом мне языке, потом торопливые шаги князя, спрашивающего, не у нас ли это ему послышался шум. Потом снова всё смолкло, и через некоторое время я услышал дорогой голос И.

— Ты можешь открыть дверь, Лёвушка?

Я открыл дверь; И. осветил свечой моё лицо, ласково улыбнулся и сказал:

— Первое испытание твоей верности ты выдержал, дорогой мой мальчик. Иди дальше с той же честью и станешь другом и помощником тем, кого ты себе выбрал идеалом.

гармонично подобранных колокольчиков. — Теперь я хочу — без спроса у вас — похитить себе во временные секретари вашего юного литератора.

— О, как бы я был счастлив, если бы мог удостоиться такой чести! — в полном восторге воскликнул я.

— Сэр Уоми, я виноват перед вами. Но ведь это только на одну сегодняшнюю ночь, — сказал Ананда. — И если вам сейчас нужен секретарь, я готов служить вам.

Сэр Уоми покачал головой и тихо сказал:

— Хаве придётся прожить там много больше. Ты же и И. будете очень заняты. А мальчик пусть будет при мне. Сегодня мне никто не нужен, мой слуга ляжет у меня в прихожей. А завтра, Лёвушка, если тебе не кажется страшным заделаться секретарём такого сердитого хозяина, приходи в девять часов ко мне и будешь работать часов до трёх-четырёх.

Сэр Уоми встал, поблагодарил князя и сказал, что в пять часов он с И. и Анандой зайдёт осмотреть его больную жену. С самим же князем побеседует завтра вечером у себя.

Я был на десятом небе. Всё пело у меня внутри. Мы проводили сэра Уоми в его комнату и вернулись к себе. Ананда устроился в комнате капитана. Я не мог удержаться, бросился ему на шею и попросил:

— Ананда, миленький, хороший Ананда, помогите мне не осрамиться завтра у сэра Уоми. В чём заключаются обязанности его секретаря?

Ананда обнял меня за плечи, рассмеялся своим металлическим смехом и, поддразнивая, сказал:

— Вот если бы ты не боялся Хавы, ты бы мог у неё об этом спросить.

— Ну, что вы, я уже давно с ней подружился! Это уже история моих детских лет.

Ананда снова весело засмеялся.

— Постойте, — сказал я, вслушиваясь в его смех. — Как странно. Вы сейчас два раза засмеялись, и оба раза я почувствовал, что мысли ваши не здесь, а где-то, в чём-то далёком, печальном и даже воинственном. Сэр Уоми смеялся — и я точно серебряные колокольчики слышал. Тогда тоже знал, что мысли его далеко. Но — как бы это выразить? — затруднился я, подыскивая образ для своей мысли. — Понимаете ли, мысль сэра Уоми была какая-то всеобъемлющая. Она жила и где-то там, но также жила одновременно и здесь. А ваша — жила где-то далеко, а здесь только скользила.

— Да ты, Лёвушка, действительно любишь загадывать загадки, — улыбаясь и пристально глядя мне в глаза, сказал Ананда. — Ты привёл меня в полное отрезвление, мальчик. Я действительно был раздвоен в мыслях. Но то, что ты подметил и что составляло разницу в мыслях сэра Уоми и моих, было не рассеянностью. А было тяжким порывом личного горя, причинённого мне одной душой, в твёрдости и верности которой я ошибся. Конечно, я сам виновен, потому что видел то, что мне хотелось, а не то, что носил сам человек в сердце. И дважды виноват, что воспринял это в личной печали. А сэр Уоми не может лично воспринять ничего. Его любовь проникает в человека, всегда подымая и облегчая его во всех положениях жизни.

Ты отрезвил меня и... ты же порадовал меня и вчера с Генри, и сегодня с Жанной. Ты много выстрадал, но зато как далеко ты шагнул. И сколько бы ни шёл вперёд человек, каким бы тяжким страданием он ни завоёвывал себе знание, если он

Он подал мне небольшой флакон, я смочил носовой платок и протёр браслет. Больше в жизни я уже такой вещи не видел. Вероятно, Браццано ограбил какую-нибудь гробницу египетских фараонов. Думаю, в коронах европейских королей не было подобных камней и оправы.

Я собрал жалкие остатки искривлённой, ставшей совсем чёрной стали на лопату и выбросил с балкона в сад, а браслет подал сэру Уоми.

— Нет, дружок, эта вещь предназначалась для передачи через вас. Снесите её вашу комнату, умойте руки, и не будем задерживать нашего милого хозяина с обедом, — ласково сказал мне сэр Уоми. — А какова будет судьба браслета — увидим дальше, — усмехаясь, прибавил он.

Я быстро прошёл к себе, спрятал, не без отвращения, браслет, доставивший стольким людям страдания и заботы, умылся и присоединился ко всему обществу, вышедшему на балкон.

Я застал уже конец разговора. Сэр Уоми говорил:

— Все эти так называемые тёмные силы — не что иное, как невежественность. Люди, стремящиеся подсмотреть силы природы — при известном напоре одной воли, — отыскивают их. Обычно это люди, одарённые развитыми более, чем у других людей, психическими силами. Но так как их цель — знание, служащее только их собственному эгоизму, их страстям и обогащению в ущерб общему благу — они отгораживаются в отдельные группы, называя себя самыми различными умными именами. Они подбирают себе компаньонов непременно с большой и упорной волей, обладающих силой гипноза.

Это очень длинная история, о ней в двух словах не расскажешь. Тянется она к нам из древнейших времён, и очагов её лжи и лицемерия очень много, слывущих под именами колдунов, алхимиков, провидцев и т. д.

Ближе к делу, скажу о данном случае. Почему скрючился и лопнул кинжал? Потому что так называемый «наговор» на нём был сделан на смерть упорством воли. То есть если бы человек, которому был дан этот кинжал в руки, встретил препятствие к выполнению внушённого ему приказания, он убил бы всякого мешавшего ему. Браслет же нёс в себе наговор не только упорства воли, но и любви и имел целью привлечь любовь того, чью руку он должен был украшать, к своему владельцу.

Та сила знания, где не упорством воли, а любя побеждают, скромная часть которого известна мне, помогла мне в одно мгновение победить и уничтожить все труды злой воли невежды, истратившего на свои заклятия годы своей жизни и считавшего свою чёрную магию величием и вершиной знания.

Слуга пришёл звать нас обедать. Весь обед сэра Уоми состоял из молока, хлеба с мёдом и фруктов. Я нетерпеливо ждал, будет ли он кушать дыню, боясь осрамиться перед князем. Он съел кусок дыни, лукаво поглядел на меня своими беспредельной доброты и ласки большими глазами. Я обмер; мне показалось, что он раскрыл мою черепную коробку и читал там всё, что я думал, и видел, как я боялся, будет ли он есть дыню.

— Кстати, Ананда, Хаву вы с И. у меня похитили и пристроили по своему усмотрению. Я остался на бобах, без секретаря, хотя мог бы быть спрошен, желаю ли этого, — весело смеялся сэр Уоми. И смех его напомнил мне звон серебряных,

Глава 22

Неожиданный приезд сэра Уоми и первая встреча его с Анной

Наутро следующего дня, не успел я проснуться, как И. уже звал меня идти к Ананде.

Мы спустились вниз, было ещё не жарко, и я с восторгом вдыхал аромат цветов, которых князь развёл множество в своём саду.

Гул города слышался вдали. Мне казалось, что это там, за оградой мчатся люди и страсти, свиваясь в клубки страданий и легко исчезающего счастья. А здесь подле И. и Ананды живёт атмосфера устойчивого мира.

Но тотчас же мелькнуло в моей памяти измученное лицо Генри и его бешеный голос и натиск на мою дверь. Я вздохнул и ещё раз понял слова И., что никого нельзя поднять в иную атмосферу, если он сам её не носит в себе.

Первое, что я увидел у Ананды, был Генри, уныло сидевший перед столом.

— Здравствуй, Лёвушка, — сказал мне Ананда. — Скажи, пожалуйста, почему ты не открыл дверь Генри ночью, хотя он заклинал тебя, уверяя, что двум людям грозит смерть?

— Только потому, что дал слово себе не нарушить своей верности вам. А Генри пришёл после того, как я дал вам слово ни с кем не видеться три дня. Только потому я и письмо у него не взял. И если бы он говорил мне, что он сам сгорит в огне, если я не открою, — я всё равно верил бы вам, а не ему, верил бы, что того, что знаете и можете вы, не знает и не может Генри, хотя — в то же время — я совершенно уверен, что Генри знает и может гораздо больше, чем знаю и могу я сам. У меня не было и нет никаких сомнений. И если я поступил, по вашему мнению, не так, я прошу прощения. И всё-таки, если бы вы, или И., или Флорентиец дали бы мне какое-то поручение или наложили на что-то запрет, я ни за что бы не нарушил данного мне приказания.

Зная свою невежественность, я не осмелился бы судить ваших распоряжений. Будучи же спасённым вами от смерти, зная, как самоотверженно вы пришли на зов Флорентийца, чтобы помочь моему брату, я из одного чувства благодарности и преданности решился бы скорее разделить вашу печальную судьбу, если бы это могло случиться, чем нарушить верность данного вам слова.

— Что ты скажешь мне, Генри? — спросил Ананда.

Его голос меня потряс. Ни один отец не мог бы так ласково, с таким состраданием обратиться к своему провинившемуся сыну. Я внутренне устыдился. Я был горд, что выполнил свой урок, что не споткнулся о какую-то условность, видя существо дела.

Теперь я имел возможность понять, что я любил моих высоких друзей, был им предан и благодарен. Ну, а любил ли я Генри? Тон голоса Ананды, где не было ни капли упрёка, а только одно бесконечное сострадание, показал мне, как должна звучать истинная любовь.

Генри, за минуту мрачный, поднял голову, посмотрел Ананде в глаза и хрипло сказал:

— Я сам не понимаю, как мог я дойти до такого состояния.

— Я ведь тебе говорил, чтобы ты не брал писем у Жанны. Я тебя предупреждал, чтобы ты не знакомился с Браццано. Я объяснил тебе, что тебе — кармически с ним связанному — придётся помочь ему, но тогда, когда ты увидишь и поймёшь его злодеяния. Я запретил тебе даже видеться с ним сейчас без меня или И., а ты пошёл к нему, да ещё повёл к нему Жанну.

— Нет, Жанна не переступала его порога.

— Только потому, что вас встретил Строганов и ты не посмел увести её в рабочее время из магазина, — продолжал Ананда. — Но дело теперь не в этом. Ты, Генри, потерял возможность кончить свои вековые счёты с этим человеком. Ты мог, с моею и И. помощью, заплатить добром и любовью за всё зло, что сделал твоей матери и тебе когда-то этот человек. И ты не вынес самого лёгкого из испытаний, чтобы двинуться дальше в своих знаниях и науке.

Тебе надо расстаться сейчас со мной не потому, что я сержусь или недоволен тобой. Но просто потому, что в атмосфере тех вибраций, где живу я, в колебании волн той частоты и высоты, где легко дышу я, ты теперь, с бунтом в душе, жить не сможешь.

Выбрось письма — они давят тебя. Рука, их писавшая, была во власти зла, в гипнозе сильного, тёмного и лживого существа. Брось брелок, который тебе привесил Браццано. Посмотри, во что превратилась голубая жемчужина, которой ты так любовался.

Генри, весь до волос залитый краской стыда, вынул часы и с трудом, дрожащими руками, отцепил круг из чёрного агата. Когда он хотел положить его на стол, И. удержал его руку, говоря:

— Не надо пачкать стол этой отвратительной вещью. Разве в середине голубая жемчужина?

Генри положил брелок на ладонь и вскрикнул:

— Да ведь ещё вчера днём я видел, как она переливала голубым и алым цветом! А теперь здесь смола липкая и красная, как капля крови.

— Брось её вместе с письмами в камин, и ты, может быть, кое в чём убедишься, — подавая Генри зажжённую свечу медленно, но как бы что-то побеждая, сказал Ананда.

Генри колебался. Но две пары глаз с таким огнём воли были направлены на него, что он положил письма в камин, на них брелок и поджёг.

Как только бумага вспыхнула, раздался треск, как от выстрела, и всё то, что было за мгновение брелоком, разлетелось в мельчайшие куски, а потом в порошок. Комнату наполнил смрадный дым. Я закашлялся и даже с трудом дышал. Генри же, не отрывая глаз, смотрел в камин. На лице его выступили капли пота, он точно видел что-то в огне. А огонь — для двух писем — был несоразмерно велик.

Вдруг он вскрикнул, упал перед Анандой на колени и прошептал:

— Какой ужас! О, Боже мой, что я наделал? Что теперь ждёт меня?

— Ты вернёшься в Венгрию. Там ты уедешь к одному моему другу, если желаешь снова начать искать путь к самообладанию и к встрече со мною когда-либо. Не

Дома навстречу нам к калитке вышел князь. Против обыкновения лицо его было расстроено, хотя приветствовал он сэра Уоми с большой радостью, даже с восторгом, так ему свойственным.

Мы пропустили сэра Уоми и Ананду вперёд. Не сговариваясь с князем, мы оба поняли, что хотим что-то сказать друг другу.

— Князь, — шепнул я ему, — к обеду надо непременно дыню. Восточный мудрец без дыни невозможен, — повторил я ему слова кондитера, вдруг уверовав в них как в несомненную истину.

— Ах ты Господи, я совершенно об этом забыл! Сейчас побегу распорядиться, — засуетился князь. — Но, Лёвушка, это поправить легко. А вот вещи эти проклятые лежат все в комнате до сих пор. Я ношу ключ в кармане, чтобы никто туда не вошёл. Ананда трогать их не велел, и я боюсь ослушаться и их убрать.

Мы стояли перед крыльцом Ананды и, должно быть, имели вид заговорщиков, потому что услышали его весёлый смех и слова:

— О чём вы так таинственно шепчетесь, друзья?

— О вещах, что лежат на полу, — ответил я.

Лицо Ананды стало серьёзно, он бросил нам: «Подождите» — и вернулся к сэру Уоми.

Прошло, вероятно, минут десять. Князь успел распорядиться о дыне и вернуться обратно, раньше чем на крыльце показались оба наших друга.

— Не волнуйтесь, князь. Всё это очень вам неприятно, но страшного для вас и вашего дома нет ничего. Вот, я вижу у стены стоит лопата. Возьмите её с собой, она нам пригодится, — сказал сэр Уоми князю.

Князь очень удивился, но не сказал ничего и взял стоявшую у стены лопату.

Через несколько минут мы были в комнате и остановились возле сверкавшего розового браслета и узкого ножа. Сэр Уоми, взяв у князя лопату, подобрал на неё обе вещи, достал из кармана коробочку, вроде табакерки, и высыпал из неё какой-то жёлтый порошок, густо покрывший браслет и нож.

— Отойдите, Лёвушка, станьте за моей спиной, — сказал мне сэр Уоми. — А вы, князь, встаньте за Анандой.

Когда мы исполнили его приказание, он поднёс спичку к лопате и отодвинулся от неё.

Порошок ярко вспыхнул, вскоре послышались шипение и треск, а потом, точно разбитое стекло, с каким-то стоном разлетелся вдребезги нож. Дым и смрад разошлись по всей комнате, и Ананда во всю ширь распахнул дверь на балкон.

— Вот и всё. Теперь ни для кого больше эти вещи не представляют опасности. Бедный Браццано решил, что он колдун и владеет тайнами средневековья, представляющими из себя несокрушимую силу. И как всегда, при встрече с истинным знанием все злые тайны, не представляющие из себя ничего, кроме той или иной силы гипноза, разлетаются в прах, — задумчиво обводя нас своими фиолетовыми глазами, говорил сэр Уоми.

— Теперь, Лёвушка, вы можете взять браслет, он абсолютно безвреден, а по красоте вещь изумительная. — Сэр Уоми засмеялся и с неподражаемым юмором продолжал: — Можете хоть Анне надеть его на её прекрасную руку. Надо только его протереть, он закоптился. Возьмите вот этот флакон и протрите камни.

ворил, — пожимая князю руку, сказал Ананда. — Разрешите мне занять комнату капитана, а ему я уступлю свои.

— Зачем же? Хватит комнат в доме, — запротестовал было князь, но Ананда настоял на своём.

Мы простились с нашим милым хозяином и поспешили к пароходу.

Жанна шла между И. и Анандой, а И. держал меня под руку. Я так одурел от всех происшествий дня, что стал «Лёвушкой — лови ворон».

Когда мы завернули за угол пустынной улицы, то увидели сразу, что навстречу нам шёл Браццано, нагло глядя на нас. Его адская физиономия выражала крайнее раздражение.

Но не сделав и трёх шагов по направлению к нам, он вдруг согнулся чуть не пополам, свернул на мостовую и стал переходить улицу.

— Идите, — сказал нам Ананда. — Я сейчас вас догоню.

В один миг он был подле турка, и каждое слово его металлического голоса долетало до нас:

— Ещё есть время одуматься. Доползи сгорбленным до дома и три дня не имей сил разогнуться. Обдумай всё, во что вступаешь. Обдумай, кого вызываешь на бой. Ещё есть время, ты ещё можешь всё искупить. Сиди без языка и движений и думай. Опомнись или пеняй на себя за всё дальнейшее. В последний раз милосердие даёт тебе зов и возможность к исправлению.

Ананда догнал нас, оставил И. вести Жанну, ласково обнял меня и сказал:

— Мужайся, мой дорогой. Так много испытаний упало на тебя сразу. Боишься ли ты? — спросил он меня.

— Месяц назад я перепугался Хавы. Но турка сейчас я не испугался и вообще ничего в вашем присутствии бояться не могу. Я только молю Флорентийца помочь мне в страшные минуты, если они будут, привести мой организм в полное спокойствие и работоспособность.

— Браво, друг, — рассмеялся Ананда. — Ты мне напомнил о рассказе капитана, поражённого твоим весёлым смехом в самый ужасный момент бури. Теперь мне стало весело от твоей храбрости.

Я не успел ничего ответить. Через несколько минут мы уже стояли перед сэром Уоми и Хавой, шедшими нам навстречу с пристани.

После первых радостных приветствий мы усадили Хаву, Жанну и И. в экипаж. Слуга сэра Уоми, нёсший за ним два больших чемодана, положил один из них в экипаж, кучер ударил по лошадям, и очень скоро экипаж скрылся в общем грохоте и движении города.

Сэр Уоми показался мне сейчас несколько иным, чем в Б. В лёгком сером костюме, в белой шляпе на тёмных вьющихся волосах, с тростью, совсем особой формы и дерева, каких я никогда ещё не видал, он легко шёл рядом с державшим меня под руку Анандой. Он отказался от экипажа, сказав, что пройдёт с нами пешком с большим удовольствием. Но раньше чем решить, как мы доберёмся, он обернулся к своему слуге и спросил, не тяжело ли ему будет идти пешком с вещью. Слуга улыбнулся и, положив, как игрушку, чемодан на плечо, ответил, что и десять вёрст идти с такой вещью — пустяк.

задумывайся о том, что будет далеко впереди. Ищи только сегодня, сейчас силы и любви решить свой вопрос. Если же не хочешь, если встреча снова со мной когда-нибудь тебе интереса не внушает, иди своим путём как знаешь и хочешь. Ты свободен, как и был свободен всё время жизни со мною. Но, если ты решишься ехать к моему другу, ты должен уехать через три часа с отходящим пароходом.

— Жить без вас? Жизни нет для меня там, где нет вас. Но я понял, как я виновен, и раздумывать мне не о чем. Я еду. И слов никаких не даю. Не потому, чтобы я не верил в свои силы. А потому, что я знаю верность вашей любви, знаю, что вы меня позовёте, если я буду готов и достоин. Я вымолил у вас, чтобы вы взяли меня. И вы — против воли — взяли меня. Я не буду больше просить. Не буду попусту ждать. Я буду действовать и жить, как если бы я жил подле вас.

— Иди, собери вещи, ни с кем ни о чём не разговаривай и вернись сюда. Я сам объяснюсь с князем, дам тебе письмо и провожу тебя, — погладив его по голове, сказал Ананда.

С большим трудом Генри овладел собой, поклонился нам и вышел. Ах как в эту минуту я любил Генри! Как хотел бы я обнять его, попросить у него прощения за самолюбивые мысли и высказать ему, что всем сердцем понимаю тяжесть его разлуки. Но я не смел прервать молчания моих друзей.

Через некоторое время Ананда встал и позвал нас в свою тайную комнату. Здесь он сел за стол, посадив И. рядом с собой, а я сел под новым деревом сирени, которым чьи-то любящие руки заменили моё, отцветшее.

— Много ещё скорби людей ты увидишь, Лёвушка, в жизни и немало испытаешь её сам. И каждый раз, где бы и какое страдание ты ни увидел, ты увидишь, что начало каждого страдания — это страх, сомнения, ревность и зависть, а также жажда денег и славы. На этих корнях растут все другие страсти, в которых гибнут люди. Вторая же половина горестей живёт в человеке от его слепоты, от мыслей, что вся жизнь включена в маленький период от рождения до смерти, засунута в футляр одной его личной, отрезанной от всего мира жизни. И этот главный предрассудок мешает видеть ясно всю вселенную и понять своё место в ней, в её труде, в её гармонии.

Не считай нас существами высшими, как иногда ты склонен. Когда-то и я, и И. — мы шли так же, как ты идёшь сейчас. В страдании и плаче разворачивалось наше сердце, в тревогах и муке расширялось наше сознание.

Твой талант и твои прежние искания высшей духовной жизни, о которых ты сейчас не помнишь, ввели тебя в такое положение в этой жизни, что ты можешь продолжать свой путь совершенства. Они и столкнули тебя уже с Али и Флорентийцем, с нами и ещё сведут со многими в будущем. Я счастлив, что честь твоя и стойкая верность не поколебались и приблизили тебя ещё больше к нам.

Видишь ли, одно из дел, из-за которого сюда приехал я, — были Генри, Анна и Строгановы, запутанные в густую и подлую сеть Браццано в прошлом и сейчас. Что касается Генри — ты видел и слышал. Он должен был помочь себе развязать вековую скорбь его матери и свою — и не сумел выдержать первого же лёгкого испытания. А между тем он многое уже победил и несколько раз был на высоте возложенных задач.

У тебя путь иной. Ты одарён сверхсознательными силами, в которых не умеешь ещё разбираться. И тебе, интуитивно, видны смысл и радость жизни, до которых люди-скептики, экспериментаторы, привыкшие всё ощупывать руками и считать реальным только то, что могут ощупать, доходят веками. Им приобрести цельность верности так же трудно, как тебе поколебаться в ней. Для них реальность — земля, всё остальное — величины абстрактные.

И. расскажет тебе всё, что произошло за это время в доме Строгановых. Ты же закалишь своё здоровье в течение десяти дней и пойдёшь вместе с нами сражаться за жизнь и свободу Анны, её отца и матери, а также младшего брата, уже гибнущего под гнётом Браццано.

Я прошу тебя ещё два дня не видеться с Жанной, которая изводит князя, прося о свидании с тобой, но он держится не хуже тебя, хотя и очень страдает, так как — при его доброте — ему слишком тяжело отказывать ей.

Ты не удивляйся, что ещё так долго ждать дня зловещего сражения. Если бы Генри нам не изменил — он помог бы нам очень. Теперь же его роль должен взять на себя до некоторой степени ты. А другую часть его труда исполнит капитан. Я получил от него сегодня письмо. Он благополучно окончил свой рейс и через восемь-девять дней будет здесь. Вот его-то мы и подождём.

Ну, будь и дальше так благополучен в своём духовном пути, мой друг. Добивайся полного бесстрашия. И не забудь, что бесстрашие — это не только отсутствие трусости. Это полная работоспособность всего организма, полное спокойствие в атмосфере опасности. Тебе надо так уметь жить, чтобы ты, ощущая руку Флорентийца в твоей руке, не знал не только страха, но даже дрожания в нервной системе своего физического проводника.

Ананда проводил нас с И., и его глаза-звёзды долго ещё видел я перед собой.

Мы вышли в город и, медленно идя в тени, добрели до кондитера с волшебным «Багдадом». Признавшись ему, что мы ещё ничего не ели, мы попросили нас накормить, как он сам знает. Он провёл нас на маленький, укрытый в тени балкон и попросил подождать минут пятнадцать — двадцать, но зато потом мы будем вознаграждены за терпение. И. напомнил ему, что мы вегетарианцы и согласны ждать до получаса.

Оставшись вдвоём со мной, И. стал рассказывать мне, что произошло за период моей болезни.

Одним из первых новых для меня фактов был визит Строгановой к Жанне, куда она — втайне от мужа и дочери — привезла Браццано.

— Как несложно было для Браццано сделать Жанну своим оружием, так же несложно оказалось ей обворожить Генри и ввести его в сношения с самим Браццано. Генри поверил, что Строганов ревнует дочь и не позволяет ей выйти замуж, что Анна — жертва деспотизма отца и Ананды и что наибольшие страдальцы — сама мать и её младший сынок.

Когда Генри прощался с Браццано, тот — превосходя его силами — внушил Генри заманить меня к нему, какими бы способами он этого ни достиг. Вместе с тем Браццано, имея полную власть над женой Строганова и её сыном, подготовляет всё для похищения Анны. Браццано боится только Ананды, так как со мной одним он предполагает справиться при помощи своей клики, хотя бы отправив меня на тот

— Да, это дала мне вчера мадам Строганова. Она сказала, что Браццано подарил его её младшему сыну, но там выпало несколько бисеринок, от чего расстроился рисунок. И что такие бисерины есть только у Анны, что нужно взять их в её рабочей шкатулке и поправить рисунок. А я не могу их взять, не знаю почему, а не могу, — её голос перешёл почти в шёпот.

И. подвёл меня к Жанне, которая или не видела, или не узнавала меня до сих пор.

— Лёвушка, Лёвушка, ах, как вы мне нужны! Я вас, кажется, уже год ищу. Но я хотела вам что-то очень важное сказать, а сейчас всё забыла. Где вы были всё это время? Вот здесь, — она стала искать у себя в кармане пелерины, — нет, я больна, Лёвушка, — ничего не найдя в кармане и опустив руку, сказала Жанна.

И. поднял упавшую безжизненно руку Жанны и с помощью князя перевёл несчастную женщину в свою комнату. Здесь он ещё раз отёр ей лицо и руки и подал стакан с водой, куда чего-то налил. Жанна жадно выпила; на её безжизненном и бессмысленном до сих пор лице появился румянец. Через минуту перед нами сидела прежняя Жанна, Жанна самых лучших и чистых минут её жизни.

— Теперь вам надо вспомнить всю вашу жизнь этих последних дней, Жанна, и рассказать нам, что было с вами. Мы хотим вам помочь, но для этого надо, чтобы вы всё сами вспомнили, — обратился к ней И.

— О, наконец я дышу спокойно, я вижу вас и Лёвушку живыми. Если бы я хотела вам рассказать, что со мной было, то могла бы сказать только одно: я была как мёртвая, сейчас я воскресла. Меня давила какая-то одна мысль, как будто я должна была сделать что-то, похожее на преступление... Да, да, вспомнила, Браццано велел мне добиться через Лёвушку, чтобы на руке Анны был его браслет, что он только тогда может быть спокоен, что она выйдет за него замуж, если наденут Анне его браслет. Теперь я вспомнила всё. Он привёл меня сюда, велел идти к Лёвушке и, хоть убить кого-нибудь, а пройти к нему и дать ему этот ужасный браслет. Знаете ли, он точно жжёт руки, когда его держишь, этот браслет.

Она замолчала, потёрла лоб, обвела нас всех взглядом и спросила:

— Я не сделала ничего ужасного?

— Нет, всё хорошо. Забудьте теперь обо всём этом и ничего не бойтесь. Мы сейчас проводим вас домой, — сказал ей Ананда.

— Как страшно! Там будет ждать Браццано. Он меня убьёт, — прошептала Жанна, сжимаясь в комочек.

— Не бойтесь ничего. Мы сейчас пойдём встречать одного нашего друга. С ним приедет его секретарь, женщина. Она негритянка. Для нашего друга у нас есть помещение, но её нам поместить некуда. Не дадите ли вы ей приют на эту ночь? В отеле она слишком привлечёт к себе внимание, чего бы нам не хотелось, — сказал Ананда Жанне.

— Ах, как я буду рада! Я так боюсь быть одна теперь.

— Если разрешите, я проведу ночь в вашем магазине внизу, и тогда вам уже совсем не будет страшно, — подавая Жанне накидку, сказал И.

— Надо спешить. Князь, мы вас эксплуатируем. Но я только час тому назад сам узнал, что именно сегодня должен встретить того мудреца из Б., о котором я вам го-

сильная рука держала руку несчастной Жанны, в которой сверкало лезвие тонкого и узкого, длинного ножа...

Ананда встряхнул руку Жанны, нож выпал из её руки на пол.

— Не прикасайтесь! — крикнул Ананда князю, хотевшему поднять нож. — Лёвушка, закрой дверь этой комнаты на ключ, чтобы сюда никто не вошёл из квартиры князя, — обратился он ко мне. — Ну, а вы, бедняжка, — по-французски сказал он Жанне, — положите рядом с ножом ваш дрянной браслет.

Жанна, как сомнамбула, ни на кого не глядя, положила футляр рядом с ножом на пол.

— Протрите руки, шею, лицо вот этим тампоном, — снова сказал он ей, подавая ей куски ваты, смоченной жидкостью из флакона, который он вынул из кармана.

По виду этот флакон напомнил мне тот чудный пузырёк, где была жидкость, которой смазал меня перед пиром Али мой брат и от которой я стал чёрным. Я перепугался, что вдобавок ко всему бедная Жанна превратится в Хаву.

К счастью, этого не случилось, и я легче вздохнул, видя, как Жанна оставалась белой, хотя усердно тёрла лицо, шею, руки. Исполнив приказание, Жанна постояла с минуту в раздумье. Она осмотрела всех нас с удивлением и сказала слабым голосом, точно никого не узнавая:

— Где я? Почему я здесь? Неужели это пароход? О, капитан, капитан, не выбрасывайте меня, — вдруг сказала она Ананде.

Она снова помолчала, потёрла лоб обеими руками.

— Нет, нет, вы не капитан, это не пароход. Но тогда где же я? Ох, голова моя, голова! Сейчас треснет, — в каком-то бреду тихо говорила Жанна.

Ананда взял её руку, князь пододвинул ей кресло и, покачивая головой, усадил в него Жанну.

— Я так и думал, что она сошла с ума, — сказал он. — Признаться, она и меня едва не потянула за собой. Я еле выдерживал её истерики последних дней.

— Лёвушка, впусти И., он у двери, — сказал мне Ананда. Я не слышал стука за суетой в комнате, подбежал к двери и впустил И.

Ананда отошёл от кресла, указал И. на Жанну, и тот, подойдя к ней, положил ей руку на голову.

— Узнаёте ли вы меня, Жанна? — спросил он.

— Господин старший доктор, как же могу я не узнать вас? — ответила тихо и совершенно спокойно Жанна.

— Зачем вы сюда пришли, Жанна?

— Я сюда пришла? Вы ошибаетесь, я сюда не приходила, и этого дома я даже не знаю, — снова тихо отвечала Жанна. — И я очень хочу домой.

И. отнял свою руку.

— Ах, нет, нет, я не хочу домой, там меня ждёт что-то ужасное... Хотя ведь там мои дети. Боже мой, что это всё значит? Больно, больно в сердце! — вдруг громко закричала она.

Ананда быстро подошёл к ней и взял обе её руки.

— Посмотрите на меня, Жанна. Знакома ли вам вот эта вещь? — Он подал ей типичный шитый бисером восточный кошелёк.

свет, — улыбнулся И. — Но он не знает, что сэр Уоми уже едет к нам. И тебе предстоит приятная встреча с Хавой. Браццано уже забыл, — помолчав, продолжал И., — как ему пришлось уронить свой наговорённый браслет, который он украл, кстати сказать. А я жалею, что дал ему возможность распрямиться раньше времени. Я не учёл, что он так скоро это забудет, и не понял сразу, как сильна эта гадина.

Дальше он мне рассказал, как Строганова своими безобразными домашними сценами довела мужа до безумного страха и наконец припадка едва не стоившего ему жизни.

— Но Анна? — перебил я И., не будучи в силах выдержать более. — Неужели Анна могла сомневаться, выйти ли ей за Браццано?

— Нет, не здесь крылись её сомнения, тоже едва не унёсшие и её. Она, видя кажущуюся внешнюю инертность Ананды, решила, что он не видит, как её преследует турок, и просила ей помочь освободиться от него. Ананда ей ответил, что причина её страданий в ней самой, что ей надо проверить в себе, насколько она уверена теперь в том пути целомудрия, который сама — добровольно и вопреки совету Ананды — избрала. Что надо в себе решить ясно вопрос, идёт ли она путём радостной любви, желая найти путь освобождения. Или она идёт к целомудрию только потому, что любимый ею не может быть ей мужем? Если она идёт путём отречения и отказа, ограничения и отрицания вместо утверждения жизни, где любя побеждают и творят в радости, — она не дойдёт до тех путей, где сможет слиться в труде и творчестве со своим возлюбленным.

Анна, не углубляясь в смысл слов Ананды, решила, что любимый ею её по-настоящему не любит. Впала в сомнения, так ли, вообще, она повела свою жизнь: бунтовала, требовала, ревновала, усомнилась в том, кого любила. И ты видел сам финал драмы этой души за роялем, — закончил он.

Нам принесли завтрак, подали кофе. Вновь оставшись одни, мы возобновили разговор.

— Ты видел внешнюю сторону драмы у рояля. Я тебе расскажу то, чего ты не мог видеть. Своими сомнениями, слезами, ревностью и горечью Анна разбила вокруг себя устойчивую атмосферу чистоты и мира, в которой был бессилен да-Браццано.

Чтобы его злая воля и грязные мысли могли стать действиями, было необходимо, чтобы в душе и мыслях Анны были щели, в которых можно бы было зацепиться его злу. Её разлад предоставил Браццано эту возможность. Владея силой привлекать к себе такие же злые токи других людей, он вызвал вокруг неё целую тучу злых сил и их мыслей, внушавших Анне, что любимый ею — шарлатан, что никакой иной реальной жизни и радости, как жизнь земли и страстей, не существует, что не для абстрактных величин живут люди, а для своих близких, плотью связанных. И пока Анна играла первую часть сонаты, в ней доходило горе до отрицания Бога, его путей, высоких людей с их недоступной честью. Она готова была всё, чем жила годы, признать фикцией. И здесь-то пришлось Ананде, всем сосредоточенным вниманием и волей, вызвать образ того его дяди — вельможи и доктора, — о котором я тебе говорил.

Ты по личному опыту знаешь, что можешь услышать и увидеть Флорентийца, если сосредоточишь на нём своё внимание и всю чистую любовь. Но передать другому

человеку своё виденье, если он не обладает этой высшей психической силой, задача очень тяжёлая для физического тела человека. Это сделал Ананда для Анны, спас её, вернул ей силы жить и снова войти в полное равновесие духа.

Потом я расскажу тебе о сыне и жене Строганова...

Вошёл хозяин, мы очень поблагодарили его и пошли домой.

— Теперь, я думаю, настало время тебе прочесть письмо капитана. А я пойду к Ананде. Я бы очень хотел, чтобы ты не выходил из наших комнат, пока я не вернусь, — сказал мне И., когда мы возвращались домой.

Я обещал, крепко решив, что никуда не пойду. Я достал письмо и свёрток капитана. Запер все двери и сел на диван. Я поймал себя на мысли, что я почему-то ждал Жанну. Не то что ждал даже, но — как и тогда ночью, когда я был уверен, что придёт Генри, — я был уверен и теперь, что Жанна придёт.

Я стал читать письмо моего дорогого капитана. Любовь свою к нему и её настоящую глубину я понял только сейчас, когда стал разбирать его крупный, как будто и чёткий, но на самом деле не очень легко разбираемый почерк.

«Лёвушка — храбрец-весельчак — то есть до чего я огорчён, что должен уехать, оставляя Вас не то живым, не то мёртвым.

Некоторую долю спокойствия я, конечно, увожу в сердце, потому что оба Ваши друга сказали мне, что Вы будете живы. Но все эти дни мне так не хватало Вас, Вашего заливающегося смеха и мальчишеских каверз.

В Константинополе я пережил три этапа жизни. Сначала я всё похоронил. Потом я ожил и увидел, что многое уже ушло, но жизнь ещё не потеряна.

Теперь во мне точно звенит какая-то радость. Как будто я обрёл новое спокойствие: не один мозг воспринимает день и ему сопутствующие страсти и желания. А на каждое мозговое восприятие отвечает сердце; пробуждается доброжелательство ко всякому человеку, а страсти и желания молчат, не имея прежнего самодовлеющего значения. Это для меня так же ново, как нова и непонятна моя, всегда холодного и равнодушного, привязанность к Вам. Я думаю, что Вы меня поразили в самое слабое моё место Вашей дикой храбростью. (Простите, но иного названия я ей не нахожу.)

Я с детства носился с идеей неустрашимой храбрости. Бесстрашие было моим стимулом жить. И вдруг я встретил мальчишку, который меня так просто переплюнул, вроде как бы съел солёный огурец!

По логике вещей я бы должен был завидовать Вам и Вас ненавидеть. А вместо этого я прошу Вас принять от меня маленький привет, в знак моей всегдашней памяти и любви, преданной дружбы и желания жить вблизи от Вас.

Ваш капитан».

Я был тронут письмом и его — незаслуженными мною — лаской и приветом. Теребя изящно и хитро увязанный пакет, я наконец вынул кожаный футляр, открыл его и вскочил от неожиданности.

Точная копия кольца, которое я подал Ананде от капитана, только с буквой «Л» и с камнями зелёного цвета, лежала на белом атласе футляра.

Я вынул его. По бокам и сзади — вместо фиалок, как на кольце Ананды, — на нём из изумрудов и бриллиантов были вделаны очаровательные лилии. На дне футляра лежала записка.

«Анна сказала мне, что ваши камни — изумруд и бриллиант, а цветок ваш — лилия. Так я и поступил. Угодил ли?» — прочёл я размашистый почерк капитана.

Я был и очень рад, и очень смущён. Я вспомнил, как я сказал ему: «Вот такого — никто мне не подарит», — когда мы сидели на диване в комнате Ананды и вместе любовались его кольцом.

Я всё ещё сидел над кольцом, весь ушёл в размышления о том, где теперь капитан, что он делает и кто подле него, и как я буду рад его видеть снова, как вдруг услышал какую-то возню в комнате рядом, точно ссору, и голос князя, который я даже с трудом узнал. Обычно он говорил тихо, и я даже не представлял себе, что он мог когда-либо говорить так возмущённо, громким, высоким голосом.

— Я вам две недели подряд говорю, что он болен, что его нельзя беспокоить, потому что это может вызвать ещё один рецидив болезни, — и тогда уже ему нет спасения! — кричал князь, несомненно с кем-то борясь. — А вы, каждый раз повторяя, что обожаете его, лезете с какими-то письмами, с какими-то поручениями, от которых меня издали тошнит. Что вы из себя изображаете, попадая в игрушки к этому негодяю? — услышал я его французскую речь задыхающимся голосом.

— Вы бессердечный! Это вы зловещий человек! Вы уморили свою жену, как мне рассказала мадам Строганова. Теперь вы участвуете в заговоре, чтобы уморить Лёвушку! — кричала вне себя Жанна, голос которой был визглив и вульгарен.

— Если бы я не видел вас раньше, до знакомства с этим злодеем, если бы о вас мне не сказали люди, которым я обязан не только жизнью моей бедной жены, но и своею жизнью, я бы не задумался выбросить вас сейчас вон, чтобы никогда больше не видеть вашего бессмысленного лица в моём доме. Но я думаю, что вы сошли с ума! Что вы одержимы злой волей, — и только потому я говорю вам: извольте уйти отсюда сами; вы не увидите Лёвушку, разве только если у вас под пелериной нож и вы меня решитесь им зарезать.

Несколько минут прошло в молчании.

— Боже мой, Боже мой! Что только они со мной сделают, — услыхал я снова голос Жанны, молящий, плачущий. — Ну поймите, поймите, я должна отдать Лёвушке этот браслет и это письмо. Это для Анны. Он должен сам надеть ей браслет на руку, потому что я не могу, не имею сил подойти к ней. Ну поймите — не могу да и только! Как только я беру этот браслет и подхожу к Анне, что-то меня не пускает. Нет препятствий, а подойти не могу! А Лёвушка может. Поймите, если я не передам ему поручения — лучше мне и домой не возвращаться. Ну, вот я на коленях перед вами, пожалейте меня, моих детей! — рыдала Жанна за дверью.

Моё сердце разрывалось. Но я понимал, что должен в полном самообладании звать Флорентийца. Я сосредоточил на нём все свои силы, и — точно молния — мне в уши ударил ответ: «Зови сейчас же, сию минуту Ананду».

Я ещё раз сосредоточил всё своё внимание, почти изнемогая от напряжения, и услышал как бы издали голос Ананды: «Иду». Я мгновенно успокоился, как-то внутри утих. И тут же совершенно ясно понял степень безумия Жанны. Я вдруг понял, что у неё есть нож, что она ранит князя, я бросился к двери, но уже другая

Он спросил нас, остаёмся ли мы твёрдыми в своём решении помогать ему в деле разоблачения да-Браццано и освобождения несчастных членов семьи Строганова от его гипнотической власти. Оба мы подтвердили, что остаёмся верны данному слову, и, не колеблясь, сказали, что отдаём себя в его полное распоряжение.

— Друзья мои, — ласково сказал нам сэр Уоми, — есть такие стадии духовного развития людей, где некоторые грубые земные дела уже невозможны для высоко восшедшего духовно человека. Точно так же, как и некоторые высокие дела, где духовные вибрации гораздо выше обычных, земных, недоступны формам людей более грубым.

В сегодняшнем случае будет несколько раз такое положение вещей, где ни один из нас не сможет прикоснуться к тому, что надето на людях, без риска причинить им очень сильный удар от соприкосновения с нашими гораздо более высокими вибрациями, вибрациями, которых не смогут вынести их тела. Они могут заболеть и даже умереть от нашего прикосновения.

И вам придётся действовать за нас, чтобы спасти этих людей. Будьте очень бдительно внимательными. Ничего не бойтесь. Слушайте то, что я вам буду говорить или что будут тихо передавать вам И. или Ананда. Действуйте немедленно, как получите приказание, точно его выполняйте и думайте только о том, что сию минуту делаете.

Теперь идите; лошади уже нас ждут; возвращайтесь сюда же: времени вам двадцать минут.

Мы помчались к себе, быстро переоделись в новые костюмы и через четверть часа уже входили к сэру Уоми.

Наши друзья были закутаны в плащи, а мы с капитаном взять их не догадались. Но слуга сэра Уоми, улыбаясь, подал и нам такие же плащи, в какие были закутаны наши друзья, и мы вышли к калитке.

Здесь нас ждал широкий экипаж, мы свободно уселись в нём и поехали к Строгановым.

Я ожидал, что перед подъездом будет много экипажей, но оказалось, что пока была только одна коляска, из которой выходил Ибрагим с отцом.

Весь дом был освещён, но гости нигде не только не толпились, а комнаты были безлюдны. Мы с капитаном удивлённо переглянулись, решив, что съезд ещё, очевидно, не начался.

В гостиной мы застали всю семью Строгановых. Их было так много, в лицо я их уже всех знал, но имён положительно не помнил.

Жена Строганова была в каком-то переливчатом, точно опал, платье. Она куталась в белый шёлковый платок; но мне казалось, что не сырость от дождя — как она говорила — была ей вредна. А она старалась — мне чудилось — скрыть руки и шею, на которых не было её прежних украшений. Вид её был смущённый и растерянный.

Анна была в синем платье с белыми кружевами, которое напомнило мне платок сэра Уоми. Бледность её лица меня поразила. Она была совершенно спокойна, и какая-то новая решительность чувствовалась в ней. На её прелестной руке сверкал браслет Браццано.

Сам Строганов выглядел больным или, вернее, точно встал после болезни.

Ананда говорит и смеётся голосом самым очаровательным. Вряд ли можно найти второй голос не только такой красоты и оригинальности, но хотя бы звучащий таким металлом. Раз его услышав — забыть его нельзя. Но в сердце моем — вот в том месте, куда у меня попадает понимание вещей помимо моей мысли, — я знаю, что в любую минуту его голос может загреметь гневом, как небесный и страшный гром, от которого всё вокруг может развалиться.

И глаза его — звёзды небесные. А засмеётся он — я слышу в нём звенящие мечи. А вы говорите — журчат весенние ручьи. Так радостно становится, жить хочется! А как засмеётесь — дух захватит, точно на тройке катишь под звон волшебных колокольчиков.

— Ну, и секретарь! Если бы я не знал твоего брата, я бы сказал, что твой воспитатель научил тебя хорошо говорить комплименты! Но вот погоди: в тот день, когда мы будем сражаться с Браццано — а это будет не так просто, как борьба с его кинжалом и браслетом, — внезапно серьёзно, после только что звучавшего смеха, сказал сэр Уоми, — ты увидишь и меня, по всей вероятности, иным. Тогда и решишь и о моих ручьях и колокольчиках.

— Думаю, что если бы мне было суждено увидеть вас грозным и услышать ваш голос гневным, то это всё же были бы раскаты звенящих колоколов, зовущих к тому, чтобы грешные опомнились, — представляя себе видоизменённым сэра Уоми, сказал я с огорчением.

Снова сэр Уоми рассмеялся.

— Ну, хорошо, это ещё когда-то будет, и тосковать тебе о благовесте моих колоколов ещё рано. Напусти-ка лучше в нашу атмосферу свою зиму, и начнём работать.

И он начал диктовать мне письмо по-английски, которое я должен был писать по-французски. Этот язык я знал хорошо, и затруднений это мне не представляло.

Так же я справился с итальянским и русским, но когда дело дошло до немецкого — я спотыкался ежеминутно, и даже в пот меня ударило.

Сэр Уоми засмеялся.

— Что, Лёвушка, зима уступила место константинопольскому лету? Ничего, через несколько дней практики всё наладится.

Он ласково помог мне в нескольких местах. Но я твёрдо решил упросить И. говорить со мной только по-немецки и помочь мне одолеть этот всегда не нравившийся мне язык.

Я и не заметил, как пролетело время, раздался лёгкий стук, и в комнату вошёл Ананда.

— А, здравствуй, «звон мечей»! — смеясь, встретил его сэр Уоми, вставая и протягивая ему обе руки.

Ананда с удивлением взглянул на него, побледнел, вздохнул и поднёс обе руки сэра Уоми к своим губам одну за другой.

— Не смущайся, Ананда, — обнимая его и ласково ему улыбаясь, сказал сэр Уоми. — Этот мальчик старался мне объяснить, что в твоём смехе слышится ему звон мечей. Ну, а я — по его понятию, — весна с ароматами и зима вместе. Он только о Хаве мне не признался. Но уж я сам решил выпытать у него, что ему чудится в смехе Хавы и И.

Голос сэра Уоми был добрым и ласковым.

Я стоял весь красный, как-то сразу устал и ответил, что смеха Хавы не помню, И. почти никогда не смеётся иначе, чем шаловливые дети, а вот если чей-нибудь смех кажется мне загадочным, то это смех Анны. Всё это я говорил быстро и бестолково и закончил неожиданно для всех:

— Сэр Уоми, у меня к вам огромная просьба. Разрешите мне хоть на час сбегать к И. Помимо того что я стосковался по нем, я тревожусь, не надо ли ему чего-нибудь. Он ведь там уже так долго, — молил я сэра Уоми, жаждая скорей увидеть И.

— Нет, дружок. Один туда не ходи. Мы пойдём, вернее все поедем на лошади князя в магазин. Но предварительно позавтракаем с князем и Анандой. Беги умывайся, переодевайся так, чтобы сразу после завтрака выехать из дома, и приходи в столовую, где уже наверное будем с тобой оспаривать друг у друга дыню.

Я вышел, засмеялся, подпрыгнул от удовольствия, унося в душе неподражаемый юмор глаз сэра Уоми. Как странно показалось мне, что я столько времени жил здесь и не знал, что у князя есть лошадь.

После завтрака, где я то и дело превращался в «Лёвушку — лови ворон», сэр Уоми встал и велел мне взять браслет с собой.

— Заверни его в этот футляр, — и он подал мне шёлковый платок тёмно-синего цвета, по краям которого шли мелкие, белые цветочки, очень красивые, похожие на маргаритки, а посередине был вышит шелками белый павлин с чудесным распущенным хвостом и вокруг него голубые крупные колокольчики.

Я исполнил его приказание, положил завёрнутый браслет в карман и сел рядом с сэром Уоми в коляску, под белый балдахин. Ананда пошёл по какому-то делу с тем, чтобы через час прийти прямо в магазин.

По случаю праздника в магазине была полная тишина. Нам открыла дверь Хава, сказав, что Жанна со вчерашнего вечера не может встать от сильнейшей боли в голове и И. провёл подле неё тревожную ночь.

Сэр Уоми молча кивнул головой, велел мне оставаться внизу с Хавой, а сам прошёл наверх к больной.

Хава теперь уже не пугала меня своей чернотой, хотя от лёгкого персикового цвета платья казалась ещё более резко чёрной.

— Вы очень изменились, Лёвушка. У вас такой вид, точно выросли и, по крайней мере, окончили два университета, — улыбнулась она мне, усаживая меня в уголок, в кресло, и показывая все свои дивные мелкие зубы.

— Ах, Хава! Как бы я хотел совсем не кончать многих из тех университетов, через которые сейчас прохожу. Я живу такой дивной жизнью. Я так очарован теми, кто сейчас со мной. С одной стороны, я живу надеждой снова встретить Флорентийца, а с другой — готов плакать при мысли, что придёт пора и мне надо будет расстаться со всеми теми, кто теперь так милосердно переносит моё присутствие. И никто из них ни разу не показал мне ни утомления, ни раздражения, хотя я ежесекундно сознаю, как высоко превосходят они меня.

— Все, Лёвушка, идут свой путь, начиная с самых низших ступеней. Проходя день, человек сам несёт в себе все те осложнения, которые потом непременно его окружают. И каждый думает, что его осложнения жизни встают перед ним извне, — тихо сказала Хава.

Не буду сейчас входить в подробности вопроса, так ли это было на самом деле, что вам всё встречались малочестные или это вы так воспринимали людей и жизнь, их честь и достоинства. Но — даже и в этом единственном случае — до конца ли вы доверились человеку? Разве вы ничего от него не утаили? Разве он знает истину, хотя бы о ваших денежных делах? Проверьте, ведь вы — как скупой рыцарь — боитесь открыть кому-либо тайну ваших истинных боготворимых сокровищ, хотя вам и кажется, что вы уже победили свою жадность и скупость.

Зачем вы продолжаете жить во лжи? Пока вы окончательно не поймёте, что нет одной жизни земли, вырванной из всей атмосферы вселенной, а есть единая жизнь, неразделимое зерно духа и материи, что нет только одной трудящейся земли, а есть общее колесо живого трудящегося неба и живой трудящейся земли, колесо, единящееся на общих земле и небу принципах, не терпящих лжи и лицемерия, не подлежащих изменению от желаний и воли людей, а движущихся целесообразно и закономерно для жизни всей вселенной, — вы не найдёте радости жить.

Сколько бы, вам ни оставалось ещё жить — вас неизменно будет преследовать страх, пока вы будете думать о каждом своём дне, как о мгновении вашей только одной земной жизни.

Если из жизни земли исключить понимание своей текущей жизни, как связи вековых причин и следствий, вся данная жизнь земли сводится к нулю. Из-за того или иного конгломерата страстей и желаний, без перспективы света, который можно внести в труд дня, без знания, что свет горит в каждом человеке всего человечества вселенной, жить творчески нельзя. Кто живёт, не осознавая в себе этого света, тот примыкает к злой воле, думающей, что она может покорить мир, заставив его служить своим страстям, своим наслаждениям.

Когда умолк голос сэра Уоми, княгиня всё ещё сидела, закрыв лицо руками.

— Как могли вы так узнать всё, сэр Уоми, точно бы я сама рассказала вам о своей жизни? — раздался голос княгини.

И какой это был голос! Точно ей стоило невообразимого труда каждое слово. Казалось, у неё схватило клещами сердце и она преодолевает боль.

— Это неважно, княгиня, как я узнал о ваших тайнах. Важно и не то, что я вам принёс какую-то весть. А важна весть, которая дошла до вас и как вы её приняли. На Востоке говорят: «Нужно, и муравей гонцом будет», — ответил ей сэр Уоми.

Но уже поздно, и вы утомлены. Примите лекарство, что вам сейчас даст И., посидите с вашим милым мужем и обдумайте вдвоём всё, что я вам сказал. Все мы ещё некоторое время пробудем в Константинополе, и ещё не раз я побеседую с вами. Помните только, что раскаяние, как и всякая жизнь в прошлом, не имеет смысла, так как лишено всякого творчества сердца. Жизнь — это «сейчас». Это не «завтра» и не «вчера». Одно неизвестно, другого не существует. Старайтесь научиться жить летящим «сейчас», а не мечтой о завтра, которого не знаете.

Сэр Уоми встал, ласково простился с супругами и вышел к нам. Мы присоединились к нему, и все вместе перешли в его комнаты.

Здесь мы пробыли очень недолго. Сэр Уоми отправил нас с капитаном к себе, велев нам быстро переодеться в свежие костюмы и объявив, что мы сейчас поедем к Строгановым.

— Я вас не ждала сегодня, сэр Уоми, хотя жаждала видеть вас. Я не смела просить вас ещё раз навестить меня. А вот теперь вы пришли, и я так растерялась, что забыла всё, о чём хотела вас просить, — сказала княгиня.

И голос её изменился. Ни грубости, ни визгливости, которые так неприятно поражали в нём раньше, не было.

— Вам не о чем меня просить, княгиня. Это я пришёл поблагодарить вас за бедных детей, которых вы облагодетельствовали. Я ведь вам ничего не говорил о них. Я только указал вам, что вы обидели их мать на пароходе. А вы не только осознали свою ошибку, но и творчески поправили, положив на каждого ребёнка по десяти тысяч. Знаете ли вы, как ценен ваш дар именно потому, что никто у вас его не просил, а вы сами подали бедным детям такую помощь? Если бы вы спрашивали советов у десяти мудрецов, то и тогда вы не поступили бы правильнее и умнее.

— О, сэр Уоми. В моей болезни ваши помощники так много дали мне не только в физическом смысле. Из их разговоров со мною, таких терпеливых, любовных, мудрых, я поняла весь ужас, в котором прожила жизнь. И то, что вы говорите мне слово благодарности, тогда как им и вам я обязана более чем жизнью, — я просто не могу перенести.

Княгиня закрыла лицо руками, немощными, узловатыми, безобразными, и горько плакала.

— Не плачьте, княгиня. Непоправимо только то, чего человек не понял до смерти и так и ушёл с земли. Выслушайте меня. Если вы осознали, что вы обидели Жанну, — позовите эту милую и, поверьте, очень несчастную женщину и извинитесь перед ней. Дар сердечной доброты — вот всё, что необходимо человеку изливать в своём труде дня. И если вам кажется, что вы уже стары и больны, что ваше время для труда невозвратно прошло, то это полнейший предрассудок. Можно быть обречённым на неподвижность, лишённым рук и ног — и всё же не только трудиться, но и творчеством своей любви и мысли вдохновлять толпы народа. Наивысшая форма труда мудрости, какая известна мне, несёт миру вдохновение и энергию одной силой своей мысли, оставаясь сама в полной внешней неподвижности. Но мысль этой неподвижной мудрости составляет огромную часть движения вселенной. И каждому человеку — в том числе и вам — важно жить, не выключаясь из этого вечного движения, не останавливаясь, но всё время идя в нём, как солнце и лучи, неразлучно.

Прост ваш день труда. Обласкайте каждого, кто войдёт к вам. Если к вам пришёл одинокий, отдайте всю любовь сердца, чтобы, уходя, он понял, что у него есть друг. Если придёт скорбный, осветите ему жизнь вашей радостью. Если придёт слабый, помогите ему знанием того нового смысла жизни, который вам открылся. И жизнь ваша станет благословением для людей.

Уймите слёзы, друг. Постарайтесь спокойно, без обиды, стыда или раздражения вдуматься в то, что я вам скажу. Я не проповедь вам читаю, не поучаю вас морали условных кодексов земли. Я хочу помочь вам войти в иную ступень жизни, где вы сами могли бы раскрепоститься от тех страстей, в каких провели жизнь и от которых сами же больше всего страдаете.

Сейчас вы брезгливо отворачиваетесь, когда в ваших воспоминаниях встают те или иные образы. За всю вашу жизнь вы только один раз поверили в безусловную честность человека, в честность вашего мужа.

Вам горько, что когда-то с кем-то придётся расстаться. Но ведь каждому неизбежно родиться и так же неизбежно умереть. И не в этом драма людей, а в том, что они никак не могут приготовить себя к разлуке с любимыми. Если бы мать сразу понимала, что её дети — это только данные ей на хранение — на временное хранение — сокровища, — она бы, видя в них божий дар, который она должна вернуть усовершенствованным, отшлифованным, не себя бы в них искала. А искала бы в них ту силу высшей, единой любви, которая творит всё во всей вселенной. И, единясь с ними в этой любви, она поняла бы, что жизнь не только не кончается со смертью, но что уходящее её дитя больше не нуждается в земной форме и уходит в иную, более совершенную жизнь.

Так и вы. Если вы поставили себе задачей помочь брату и эта конечная цель сияет вам, не всё ли равно, в каких формах, в какой земле будет проходить ваша жизнь до тех пор, пока вы приобретёте полное самообладание и пока расширится ваше сознание так, чтобы вы могли понимать без слов движение мыслей людей, успокаивать их порывы и одухотворять их творческие силы. И только достигнув этого состояния, вы можете встать на одной ступени с братом и стать ему помощью.

— Я многое сейчас понял, что мне казалось бредом моей души, Хава. Но есть ещё так много, чего я не понимаю и очень боюсь спросить.

— Всего лучше, Лёвушка, не спрашивайте ни о чём. Люди, окружающие вас, так высоки, что всё, что вам будет необходимо знать, всё они скажут вам. И ни одному испытанию, которого вы не имели бы сил выполнить, они вас не подвергнут.

— Не знаю, Хава, может быть, и так. Но... Генри, бедный Генри не смог выдержать.

— Нет, не Генри был виновен. Генри сам выпросил у Ананды, вымолил, чтобы он его взял сюда, а сэр Уоми говорил Ананде, что надо отказать ему в этой просьбе. Ананда же поверил не мудрости сэра Уоми, а уступил по своей божественной доброте мольбе и клятвам мальчика — и теперь принял на себя удар и ответ за измену Генри.

— О, Хава, благодарю вас тысячу раз за эти слова. Я никогда не буду просить моих друзей ни о чём. Да, впрочем, если бы вы только знали, как я невежествен. Неудивительно мне и сознавать своё место, не стремясь куда-то вылезать.

— Чем выше и скромнее человек, тем он больше понимает величие другого и тем скорее может идти свой путь сам. Но вот к нам идут наши друзья, — вставая навстречу сэру Уоми и И., сказала Хава.

Я был поражён, каким усталым выглядел И.

— О, Лоллион, я готов год караулить ваш сон, только пойдёмте скорее домой спать, — бросился я к моему другу, совсем расстроенный его утомлением. И., всегда свежий, юный, — сейчас точно прожил двадцать лет за одну ночь.

— Не тревожься, Лёвушка. Сейчас нам Хава даст кофе, и я снова буду свеж и силён. Я просто долго сидел в одном положении, меняя компрессы, и несколько устал.

Высказав ему моё огорчение, что меня не было с ним, чтобы разделить его труд, я усадил его на своё удобное место, сам подал ему кофе и всё ему шептал:

— Ведь вы умеете спать сидя, с открытыми глазами. Я вас закрою; никто не увидит; ну, хоть часочек поспите. Я с места не сдвинусь.

И. смеялся так заразительно, что сэр Уоми поинтересовался, не хочет ли он отнять у него привилегию колокольного смеха, и тут же рассказал ему наш разговор с ним на эту тему.

В это время вошёл к нам Ананда, ведя с собой Анну.

Когда она раскуталась из своего неизменного плаща, я снова восхитился этой поразительной красотой. Каждый раз, когда я её видел, она казалась мне всё прекраснее. Вся в белом, какая-то трепетная, обновлённая, точно очищенная — даже дух занимало от этой красоты, от этих бездонных глаз, от этой гармонии всех форм и линий.

«Поистине, точно она арфа Бога», — подумал я, вспомнив её игру. Но мысли мои были прерваны поступком Анны, таким странным, таким несовместимым с этой царственной красотой.

Анна опустилась сразу же на колени перед сэром Уоми, прильнула к его рукам и зарыдала горько, что-то говоря ему среди рыданий и опускаясь всё ниже к его ногам.

Сердце моё разрывалось. Я так был поражён, что не мог двинуться с места. Я ожидал её радости, счастливого смеха, ожидал, что и она будет спокойна и счастлива вблизи этого полного любви человека, который всех делал счастливыми и мирными вокруг себя.

— Встань, Анна, — услышал я голос сэра Уоми. — Теперь уже нет выбора. Надо идти до конца. Я тебя предупреждал ещё раз, год назад. Я дал тебе определённую задачу. Ты медлила, тянула. О чём же теперь плакать? Что ты заставила всех всё бросить и приехать сюда спасать твою увязшую во тьме семью? Когда могла без напряжения всё сделать давно сама, если бы послушалась и исполнила то, что говорили тебе Ананда и я.

Голос сэра Уоми звучал необычно. Я узнал в нём твёрдость стали, звеневшую всегда в голосе Ананды. Я невольно посмотрел на Ананду. Он стоял рядом с И., и оба они меня поразили. Их лица были тихи, светлы, ласковы, а на лице сэра Уоми, бледном, твёрдом точно мрамор, сверкали лучами глаза, как огромные аметисты.

За минуту я думал, что прекраснее Анны никого быть не может. Теперь я увидел такую красоту, которая уже не принадлежала земле. Это был сошедший с другой планеты Бог, а не тот сэр Уоми, с которым я работал утром.

— Проходи теперь без слёз и раскаяния. Ими только расплавляешь цемент того моста любви, который протянули тебе из своего сердца Ананда и его дядя. Радостью, одной радостью, ты можешь начать снова строить ту половину моста, что разрушила сама своим непослушанием и медлительностью. Дважды зов милосердия не повторяется. И об отъезде твоём в Индию сейчас и речи быть не может. Но от тебя одной зависит: годы или мгновение приблизит тебя к давнишней мечте. Напрасно ты ждала особых испытаний. Шли твои простые дни, а ты в них-то и не разглядела главных дел любви и самого первого её признака: жить легко свой текущий день. Жить в самых обычных делах, неся в них наивысшую честь, мир и бескорыстие. Не в мечтах и обетах, не в идеалах и фантазиях любовь человека к человеку. Но в простом деле дня идущий жизнью любви должен быть звеном духовного единения со всем окружающим. Оставь свои мечты о высшей жизни. Трудись здесь в простом дне и... навсегда помни свой нарушенный обет добровольного послушания.

Глава 23

Вечер у Строгановых и разоблачение Браццано

Ещё два дня жизни мелькнули для меня как счастливый сон. Занятия с сэром Уоми, письма, которые я писал под его диктовку каким-то неведомым мне людям, иногда пронзали меня так глубоко, что я еле удерживал слёзы и дрожание руки. Сколько было в них любви, утешения! Особенное впечатление произвело на меня письмо к одной матери, потерявшей взрослого сына. Той нежности, уважения к огромности её горя и вместе с тем величия мудрости, которое несло ей письмо сэра Уоми, я не мог спокойно слышать, и слёзы бежали по моим щекам, когда я его писал.

Как много надо было выстрадать самому, чтобы так понимать чужое горе. Всю бездну земных страданий надо было постичь, чтобы суметь так понять и утешить скорбящего человека.

В конце третьего дня сэр Уоми прислал за мной. Когда я вошёл в его комнату, я там нашёл И. и Ананду. Сэр Уоми сказал мне, что сейчас все они пойдут к княгине и, если я хочу, я могу тоже идти.

Если бы сэр Уоми шёл не через десять комнат, а через десять пустынь, и тогда бы я был счастлив каждой минуте, проведённой с ним.

— Я позвал тебя, поджидаю и капитана. Оба вы видели человека — старую княгиню — обломком тела и духа. Не думаю, чтобы и сейчас можно было назвать её цветущей яблоней, — чуть улыбнулся он. — Но как тебе, так и капитану, мне кажется, будет очень поучительно увидеть, как возрождается иногда человек. Княгиня нас не ждёт. Мы застанем её без всяких прикрас, в которые облекается человек, даже духовно высокий и очень правдивый, если он ждёт посещения, о котором мечтал. Встреча — если к ней готовился человек — почти всегда носит в себе лицемерие. Самые ценные встречи людей — встречи неожиданные.

Пойдёмте, ты с капитаном останешься в комнате рядом с комнатой княгини. Когда настанет время, если будет нужно, я вас позову.

Мы вышли, по дороге я забежал за капитаном в его комнату, и через несколько минут мы были в комнате рядом со спальней княгини. Там было темно, в комнате же княгини горели яркие лампы, и нам всё было видно и слышно, что делалось там.

Княгиня сидела в кресле. Её старое лицо до того изменилось за время, что я её не видел, что я не узнал бы её. Никакой жестокости, никакой властности в этом лице теперь не было.

Князь сидел возле неё и держал в руках книгу, намереваясь, очевидно, ей читать.

Услышав шум, он спросил: «Кто здесь?» — но, узнав сэра Уоми, быстро, весь просияв, пошёл ему навстречу. Увидя, кто входит в комнату, княгиня пыталась приподняться, но сэр Уоми запретил ей вставать. Он сел на место князя, И. и Ананда разместились по сторонам стола, а князь встал за креслом княгини, весь сияя, точно лампада.

Вскоре зазвенел колокольчик, и я очутился в объятиях моего друга, который принёс огромный букет благоухающих роз и лилий для Жанны.

Взаимные вопросы и ответы, удивление переменой, которую мы нашли друг в друге, — и вот мы в углу на диванчике, и я поверяю капитану все события последних дней.

Во многих местах капитан вскакивал тигром, в иных смотрел на меня нежнее матери, но некоторых положительно не мог взять в толк.

Когда дело дошло до слёз Анны, он остановил меня и несколько раз переспросил, что говорил сэр Уоми. Он яростно сжимал кулаки каждый раз, как я упоминал имя Браццано.

В заключение я рассказал ему о Хаве, о моём страхе перед ней в Б., о её письме ко мне и подарке, не забыв упомянуть и об определении её смеха.

Капитан хохотал, говоря, что в жизни ещё так не смеялся.

— Разбитая негритянская ваза! Да это же чудо! Кто, кроме вас, выдумает?

— Ну, а кто, кроме вас, выдумает подарить мне такое кольцо, которое вы мне оставили? — сказал я, благодаря его от всей души. Вот, едут, смотрите же, не выдайте меня перед Хавой. Напустите всё ваше джентльменство и не забудьте, что чернота её ей не очень приятна.

— Не волнуйтесь, Лёвушка. Буду тих, как крем для замазки трещин.

Я залился хохотом и так и встретил детей, Хаву и И.

Побыв ещё немного в магазине, мы ушли к кондитеру, стараясь всячески сократить наше время для утоления аппетитов, и вскоре были дома.

Капитан снова занял свою комнату, а для Ананды князь распорядился о комнате внизу.

Так окончился мой первый день секретарства. Я лёг спать с мыслями о том, какие ещё сюрпризы несёт нам всем наше завтра.

С этими словами он поднял Анну и поманил меня к себе рукой. Я мгновенно понял — как я многое стал угадывать в последнее время без всяких слов — и подал ему синий платок с браслетом.

Как только сэр Уоми взял руку Анны, которой она закрывала лицо, и надел ей браслет Браццано, она вскрикнула точно раненная.

— Не бойся, дитя, — услышал я снова голос сэра Уоми. — Теперь этот браслет не представляет из себя символа обручения. В нём нет ничего, кроме прекрасного произведения искусства. И он не заговорит и не затянет тебя в любовные сети злодея. Это ты сама — своею медлительностью, сомнениями, колебаниями и нерешительностью — соткала связь со злодеем. Он должен или преобразиться, или погибнуть, так как из-за любви к тебе погрузился в такую глубину грязи и ужаса, где больше не может жить ни одно существо. Века могут пройти, пока ты снова встретишься с ним в таких условиях, чтобы своей стойкой верностью, любовью без сомнений и радостью ему помочь и иметь силы развязать мрачный узел, что так неосторожно соткала сейчас.

Иди домой, Ананда отведёт тебя. И думай не о себе и своих скорбях. Но о скорби Ананды, ручавшегося за тебя, о страданиях семьи, погрязшей во зле. Будь мирна и благословенна. Жди меня, когда — под видом приятного вечера — мы придём к вам в дом для очень тяжкого дела борьбы со злом. Расти в силе каждый день. А для этого научись действовать, а не ждать, творить, а не собираться с духом. Кто думает о друге и брате, тот забывает о себе, — он отёр ей глаза прекрасным синим платком с павлином и отдал его ей.

Голос сэра Уоми был снова мягок и проникал в сердце. А от лица его и от всей его фигуры точно свет шёл.

Анна низко ему поклонилась; он обнял её, прижал к себе, и я видел, как она вся содрогнулась в его руках. Когда она повернулась к нам, она точно уносила на себе часть его отражённого сияния.

— Не забудь, в пять часов у княгини, — шепнул И. выходящему Ананде.

Вскоре сэр Уоми и И. уехали, оставив больную на нас с Хавой.

— Ты будь всё время с больной: если бы к Хаве пришли неожиданные гости — она справится с ними. Ты же, что бы ты ни услышал внизу, оберегай больную, не покидай её и не пропускай к ней никого. Если же Хаве нужна будет помощь, мы ей её пришлём, — сказал мне сэр Уоми. — Могу я надеяться на тебя? — глядя мне в глаза, точно сбрасывая мою черепную коробку, спросил меня сэр Уоми.

— А если Хаву будут убивать? Мне тоже сидеть, не спасая её? — в ужасе спросил я, вспоминая Жанну и князя.

Все трое расхохотались, и так весело, что я понял, какой глупый и жалостный вид был у меня.

— Можешь быть спокоен. Не так легко убивают людей. Но вот тебе флакон. Если здесь будут очень шуметь, брось его прямо вниз, он разобьётся и напугает непрошеных гостей.

Сэр Уоми положил мне на голову руку, от чего по мне пробежала волна счастья и силы. Он подал мне небольшой флакон и покинул нас, сев снова в коляску вместе с И.

Я держал флакон в руке. Я всё-таки не мог всего взять в толк, а понял только, что и Анна, как и Генри, не исполнила чего-то и огорчила Ананду. Анна, казавшаяся мне совершенством! Анна, которую я едва мог признать женщиной земли!

«Боже, — подумал я. — Неужели и Наль? Наль, для которой брат пожертвовал всем, отдал жизнь, — неужели и Наль может ему изменить, нарушить свой обет и причинить ему скорбь?»

— О чём вы так стонете, Лёвушка? — услышал я ласковый голос Хавы.

— Я разве стонал? Это мне померещилось что-то. Я ведь «Лёвушка — лови ворон». Вот и сейчас вороню, а надо мне быть возле Жанны. Проводите меня, пожалуйста, к ней. Я должен думать только о ней. А вас защищать только этим флаконом. Там, наверное, какое-нибудь смрадное лекарство.

Хава рассмеялась, сказала, что я, вероятно, буду иметь случай в этом убедиться, и мы поднялись к Жанне.

Войдя в привычную комнату Жанны, я не сразу увидел больную. Положительно всё было переставлено в этой комнате; и кровать Жанны, задёрнутая красивым белым пологом, стояла совсем в другом месте за перегородкой в самом конце комнаты.

— Это вы, Хава, так неузнаваемо переставили всё в комнате? — спросил я.

— Признаться, мне очень хотелось бы сказать, что это я. Но, к сожалению, должна вам сказать, что всё здесь, вплоть до этого прекрасного белого полога, сделано руками самого И. Мы с няней были только парой негритосов на посылках. Я долго рассматривала этот полог, но даже и понять не могу, из чего он сделан. Тонок, как бумага, мягок, как шёлк, и матовый, как замша, — вот и разберись. Очень я хотела спросить И., где он нашёл эту вещь, да не посмела.

Я подошёл к пологу и тотчас же узнал ту материю, из которой был сделан халат, присланный Али моему брату перед пиром.

— Это ему, несомненно, прислал Али, — важно ответил я, гордясь своим знанием.

— Али?! — воскликнула Хава с удивлением. — Неужели Али? Почему вы так думаете? Правда, перед нашим отъездом сюда к сэру Уоми приезжал человек с посылкой от Али. Но не думаю, чтобы эта вещь была прислана оттуда. Рано утром, почти на рассвете, И. куда-то выходил, а потом я увидела висящим этот полог. Но я слышу стук колёс, — прервала разговор Хава. — А вот и экипаж остановился подле магазина, — продолжала она. — Колокольчик зазвенел! Батюшки, вот так стук! Этак, пожалуй, все мёртвые проснутся, — весело говорила негритянка, спускаясь вниз и велев мне запереть дверь спальни Жанны.

Оставшись один, я стал присматриваться к Жанне. Прелестное личико, точь-в-точь такое, каким мы увидели её в первый раз на пароходе в углу палубы четвёртого класса между ящиками. У неё, очевидно, был жар, и спала она тяжёлым, глубоким сном.

Внизу сначала всё было тихо; разговор был слышен, но слова не долетали.

— Можете вы понимать, что вам толкуют? — вдруг услышал я гнусавый, пронзительно-повышенный голос и мгновенно признал в нём голос любимого, младшего сына Строгановой.

— Дорогой Лоллион, я готов ничего не есть и не пить ещё два дня, только бы не видеть ни вас, ни Ананду печальными и такими утомлёнными. Что бы я не дал, чтобы ваш день был лёгок, — прошептал я, вися на шее милого друга и еле сдерживая слёзы.

— Вот так храбрец! Это где же видано, чуть не плакать взрослому мужчине? — вдруг услышал я рядом с собой голос Хавы. — Извольте поддерживать свою репутацию весельчака, а то вы начинаете и мои глаза превращать в слезливые потоки. — Она смеялась, но я уловил в её смехе не горечь, а что-то особенно меня поразившее, чему я не мог подыскать определения.

Я удивлённо посмотрел на неё и сказал:

— Если сэр Уоми спросит меня ещё раз: «Как смеётся Хава?» — то я ему скажу, что в её смехе звенит не хрусталь, а звук разбитой фарфоровой вазы.

— Господи, господин Следопыт, я вас умоляю не давать такого чудовищного определения моему смеху, — протестовала Хава. — Уж лучше скажите ему, что смех чернокожих негармоничен вашему слуху.

— Этого я сказать не могу, потому что мой великий друг Флорентиец однажды объяснил мне, что кровь всех людей красная, а И. научил меня понимать, что такое любовь к людям. Я равен вам, как и вы мне, по нашим правам на жизнь и труд. Как же я могу сказать, что слиться в гармонии с вами не могу? Я могу подслушать трещину вашего сердца и молчать о ней, но не могу выключить себя из той атмосферы, в которой оно жалуется мне, когда вы смеётесь.

Хава развела руками и повернулась к И.

— Помилосердствуйте, И. Этот мальчик меня без ножа режет.

И. весело засмеялся, потрепал меня по плечу и сказал Хаве:

— Скорее, пожалуйста, я хочу вернуться до девяти часов. Я очень рад и могу сказать только одно: устами младенцев глаголет истина.

Молча накинула Хава пелерину, они вышли, я запер двери и остался один в магазине.

По странной игре мыслей я стал думать о пологе Жанны. Мне определённо стало казаться, что он предназначался Анне, что сэр Уоми вёз его для неё и что и сам он ехал сюда в связи с чем-то, очень большим и значительным для её жизни. Его слова об Индии, о том, что теперь нет надежды ей туда уехать, — всё говорило мне, что жизнь Анны должна была вся измениться. Но что сама она сделала что-то не так, что подвела не только себя и Ананду с его дядей, но и сэра Уоми и Али.

«Если так трудно удержаться на высоте таким большим людям, как Анна, то как же пробираться по жизненной тропе такому мальчику, как я? — мелькало в моей голове. — И что могло разбить сердце Хавы? Почему нет в ней полной удовлетворённости жизнью, хотя она живёт в непосредственном общении с сэром Уоми?» — всё думал я, перескакивая от одного образа к другому.

Несколько часов, проведённых мною в труде с сэром Уоми, сделали меня счастливым и радостным. Как же можно жить всю жизнь подле него и носить трещинку хотя бы на печёнке, не то что на сердце? Этого понять я не мог.

Я прошёл к Жанне, увидел, что там всё благополучно, снова спустился вниз и стал ждать капитана, медленно ходя из угла в угол.

убедиться, чего они стоили. Все камни, за исключением оставшихся, были просто отлично шлифованным горным хрусталём. А вы носили все эти поддельные тяжести, принимая их за умопомрачительные ценности.

Строганова молча качала головой.

— Все эти уцелевшие вещи подарил мне мой муж. А всё, что оказалось хламом, дарил мне Браццано, уверяя, что стоимость вещей так огромна, что на них можно купить целое княжество, — выговорила она со стоном, с досадой, с раздражением.

— Для Браццано, быть может, эти вещи и были ценностями. Но что подразумевал он под ценностью, то непонятно вам сейчас. Вскоре вы это узнаете. Вы можете теперь надеть безнаказанно свои кольца и браслеты. Но внутри, в ридикюле, у вас тоже немало мусора, который надо выбросить.

Строганова надела свои драгоценности, открыла ридикюль и вскрикнула. Письмо Браццано, которое было дано для передачи Жанне, всё обуглилось и развалилось на куски.

При виде превратившегося в пепел письма, сын Строгановой замычал и заёрзал на своём стуле.

— Закройте рот, вытритесь, примите человеческий облик и отвезите вашу мать домой, — сказал повелительно и грозно И. — Бойтесь ослушаться моего приказа. И помните только об этой минуте, а не о страхе перед Браццано. Вы ещё молоды и можете поправить всё, что по своей наивности наделали в жизни. Я верю, что вы можете ещё стать честным человеком, а не низкопробным негодяем.

— Помните же об этой минуте, о своём состоянии здесь и желайте вырваться из рук шарлатана, наложившего на вас и вашу мать свои гипнотические путы, — говорил И., глядя пристально на несчастного юношу.

Через некоторое время мать и сын вышли, я помог Хаве убрать всю оставшуюся от мнимых драгоценностей дрянь, умылся и возвратился к И. Мы все вместе поднялись к Жанне.

Она продолжала спать. Дыхание её было ровное, и И., наклонившийся над нею, сказал нам, что жар у неё спал.

Он ничего не рассказывал нам обо всех событиях, а я ни о чём не спрашивал. Меня очень интересовал вопрос о детях Жанны, так как я не слышал никаких звуков в их комнате.

— Хава, Лёвушка останется покараулить Жанну, а мы с вами съездим за детьми, которых Анна устроила пока в своём доме. Кстати, я ещё днём хотел тебе сказать, Лёвушка, что вернулся капитан. Я видел его. Он мечется по делам, но обещал мне к восьми часам прийти сюда. Я не сомневаюсь, что он сдержит слово, и тебе будет радостно встретиться с нашим милым другом. Я не накладываю вето на твой язык, Лёвушка; напротив, ты окажешь мне большую услугу, если расскажешь всё, что пережил за это время, капитану. Милый он человек, спешил Бог знает как, чтобы иметь лишний день в своём распоряжении в Константинополе и провести его с нами. По расписанию он будет стоять здесь дней пять. Дождитесь с ним моего возвращения. Ты, бедный мой мальчик, давно ничего не ел. Ну, зато пойдём к кондитеру, «Багдад» в лучшем виде преподнесу тебе.

— Не вы нам нужны, а ваша хозяйка. Мало ли какая фантазия придёт кому-нибудь в голову? Хозяйка ваша могла нанять вас, считая, что на такую приманку посмотреть кому-нибудь лишний раз захочется и лишняя шляпа улетит из магазина. Но у нас дело не шляпное, а такое, которое вашей башке не понять. Позовите сию же минуту сюда хозяйку! — кричал наглый мальчишка.

Я так и представлял себе его кудрявую голову в феске, его красивое, презрительное, капризное лицо, выражение которого было отталкивающее, противное.

Прислушиваясь к тому, что делалось внизу, я решал вопрос, когда же будет для меня пора приступить к моей химической обструкции, которая, как я полагал, заключалась в данном мне флаконе.

Слов Хавы, стоявшей, очевидно, спиной к лестнице, я не разбирал, но тон её голоса был ровный и весёлый, что, вероятно, немало бесило мальчишку.

Теперь заговорил другой, женский голос, заговорил тоже сразу в повышенном тоне. Я голоса не узнал, но постепенно понял, что это Строганова.

— Мой друг передал вашей хозяйке некоторые драгоценности на хранение, — услышал я. — Он поручил нам получить эти вещи назад сегодня же. Он был очень болен эти дни и не мог передать нам своего желания раньше. Сегодня крайний срок; вещи немедленно должны быть ему возвращены. Вот его письмо вашей хозяйке, но передам я его ей сама, в её собственные руки. Ступайте и приведите её сюда. Не заставляйте нас подыматься наверх, потому что вам будет очень плохо, — говорила женщина.

— Да что с ней толковать! Прочь с дороги! — орал мальчишка.

— Не смейте прикасаться ко мне вашими грязными руками, или вам уже наверное будет плохо, — раздался голос Хавы, и такой сильный, спокойный, властный, что я и рот раскрыл.

В магазине что-то упало, Строганова взвизгнула. Я решил, что настало мне время действовать, кинулся к двери, открыл её и уже занёс руку, чтобы швырнуть флакон, как внезапно внизу воцарилась мёртвая тишина.

Я свесился с перил и увидел в дверях магазина фигуру, закутанную в тёмный плащ. В сумерках я не сразу — только услышав голос — узнал И.

— Сядьте на место, молодой человек! И молчите, если вы плохо воспитаны и не знаете, как подобает культурному юноше вести себя в чужом доме, вдобавок в доме одинокой трудящейся женщины. Вы потом принесёте свои извинения мисс Хаве за ваше грубое поведение. Теперь же сидите, как бессловесное животное, так как вы и есть животное.

Ох, как грозно глядел И. и как звучал, точно гром, его голос.

— Как и зачем пришли вы сюда, мадам Строганова? — обратился он к женской фигуре, спрятавшейся за сына. — Ваш муж, Анна и Ананда вам категорически запретили являться сюда. Как решились вы нарушить их запрет? — спрашивал И.

— Да что с вами, доктор И.? Я еле знаю вас, вы для меня первый прохожий, и вдруг вы осмеливаетесь задавать мне какие-то вопросы. Я не девочка! Будьте любезны вызвать ко мне Жанну. Если она не явится сюда немедленно, я буду знать, что она украла переданные ей моим другом вещи чрезвычайной ценности. И мне придётся обратиться к помощи полиции.

И. засмеялся.

— Что цените вы выше: браслет или нож, который вы передали Жанне, чтобы меня заколоть? Человеческая жизнь не представляет для вас ценности, поскольку она лично для вас не интересна; поэтому я вас и не спрашиваю, во что вы ценили жизнь несчастной Жанны, мою, Лёвушки, князя. Я вас спрашиваю, что будете вы искать через полицию: нож или браслет?

Строганова тяжело опустилась в кресло. Её красивое лицо побледнело так, что тёмная кожа покрылась белым налётом.

— Ваши дерзости я сносить не намерена, — прошипела она. — Вы можете совершенно быть уверены, что без вещей я отсюда не выйду. Поэтому не тратьте времени и подавайте сюда вещи, — как раздражённая тигрица, всё повышая голос, завыла Строганова.

— Вы не только уйдёте без этих вещей, которые вам не принадлежат, к вашему счастью, чего вы даже не понимаете. Но и немедленно положите на стол тот амулет, что Ананда подарил Анне и что вы украли у неё сегодня час назад.

— Ваша подлость... — Строганова не договорила. Глаза И. сверкнули как два топаза; он вытянул руку по направлению к ней и сказал:

— Можете посмотреть на вашего любимчика. Если вы не желаете прийти в такой же вид, — удержите ваш язык и манеры в границах приличия.

Я посмотрел на любимчика. Он походил на бешеного пса. Глаза его выражали предельную злобу, язык висел изо рта, и слюна бежала на его белоснежный жилет. Феска съехала на лоб; он был так ужасен, что смотреть на него я не мог.

Мать, увидев сына в таком виде, не бросилась ему на помощь, не вымолвила ему ни одного любящего слова; она думала только о себе и сказала И., доставая из сумки амулет и кладя его на стол:

— Возьмите ваш амулет. Подумаешь, какая драгоценность! Не смейте меня доводить до такого мерзкого состояния, в каком сейчас мой сын. Подайте мне браслет, и мы уйдём.

На столе лежал дивный золотой медальон, в крышку которого была вделана фиалка из аметистов. Я сразу увидел, что кольцо капитана было такой же работы, как этот медальон.

— Браслет сейчас в вашем собственном доме. Он отдан той, кому предназначался, — ответил ей И.

— Это самая наглая ложь, — выкрикнула Строганова. — Тот, кому принадлежит браслет, требует его немедленно обратно. Понятно ли вам, что я не могу уйти отсюда, не имея его при себе? Я дала слово Браццано привезти ему немедленно его драгоценности.

— Много слов и обетов давали вы в вашей жизни. Вы клялись у алтаря в любви вашему мужу, — пересчитайте, сколько раз вы ему изменили. Вы дали Анне три года назад обещание не преследовать её своей настойчивостью и приставаниями, чтобы она вышла замуж за Браццано. В результате вы продались ему, продали ему сына, дочь и сегодня обокрали её, коснувшись самого дорогого и священного, что у неё было.

Но слово, которое вы дали Браццано, вы нарушить боитесь, потому что эта гадина пригрозила вам и вашему сыну смертью? Посмотрите на себя. Чей жемчуг на вашей шее? Чьими кольцами унизаны ваши руки? Чьё платье надето на вас? Чей ридикюль

в ваших руках? Несчастнейшая из женщин! Опомнитесь, сбросьте с себя все эти вещи, — и вы поймёте хоть часть того ужаса, в какой вы сами закопали себя.

Под взглядом И. Строганова положила на стол свой ридикюль, но И. велел Хаве взять немедленно со стола медальон, чтобы он не касался больше ридикюля Строгановой, откуда она его вынула. Медленно, точно лениво и сонно, Строганова сняла жемчуг, серьги, кольца и браслеты, которых на её руках бряцали десятки, по восточной моде.

По мере возрастания кучки золота и камней на столе, женщина становилась жизненнее. Наконец, точно побеждая какое-то последнее препятствие, она вытащила из-за корсажа тончайшую платиновую цепочку, на которой висели огромная чёрная жемчужина и такой же огромный розовый бриллиант.

Положив и их на стол, она глубоко вздохнула, открыла глаза и с удивлением оглянулась вокруг.

— Что всё это может значить, доктор И.? Разве мне было дурно? — спросила она.

— О, да. Вам было очень плохо. Но теперь уже гораздо лучше. Ведь вы дышите легче? — ответил ей И.

— И легче дышу, и как-то не чувствую себя скованной. Но почему все мои вещи здесь лежат? — опять спросила она. Она протянула руку и хотела снова надеть свои вещи, но И. остановил её.

— Подождите немного, придите окончательно в себя. Выпейте кофе, — и он подал ей чашечку кофе, но я заметил, что он растворил в ней частицу пилюли Али.

Хава поднялась ко мне и взяла у меня флакон сэра Уоми. Я уже приготовился к ожидаемому смраду и был поражён, когда увидел, что Хава положила все вещи Строгановой на поднос, открыла мой флакон, в котором оказался такой же жёлтый порошок, каким сэр Уоми обсыпал нож и браслет в доме князя.

И. высыпал порошок на драгоценности Строгановой, поджёг его и сказал мне:

— Подай Жанне питьё из стакана и перемени компресс.

Я быстро выполнил приказание. Проснувшаяся Жанна выпила питьё, не узнавая меня, повернулась на другой бок и через мгновение опять заснула.

Когда я вернулся к моему наблюдательному посту, порошок уже догорал. Вся комната была полна дыма и смрада, что-то лопалось, точно выстрелы из маленького револьвера, вдруг что-то разорвалось с большой силой, и у Строгановой вырвался крик ужаса.

— Вам теперь нечего бояться, — сказал И. — Носить эти вещи было страшно. Сейчас они уже безвредны. Лёвушка, ты специалист протирать бриллианты — вот тебе жидкость и платок, — поманил меня И. к себе, указывая на лежавшие драгоценности.

Я мигом — что тебе Верзила — очутился подле него и принялся за дело. В каком печальном состоянии оказались драгоценности Строгановой! Прекрасная чёрная жемчужина разлетелась в мельчайшие куски, как стекло. Вместо розового бриллианта лежал кусок лопнувшего чёрного угля. Из всей груды её бриллиантов и колец осталось около десятка прекрасных вещей.

— Посмотрите сюда, — сказал И. Строгановой. — Вещи, которые вы считали золотыми, оказались просто медью и серебром. Позолота слезла с них, и вы можете

— Белых, для сэра Уоми, если они ещё не почернели, — очень серьёзно сказал я. — Если же почернели, то...

— Замолчишь ли ты, каверза-философ?! — закричал капитан.

Хава очень была заинтересована, каких ещё красавиц не хватало сэру Уоми.

— Горных, — шепнул я ей.

— Нет, это невыносимо! Неужели вы притащили ему козлёнка? — смеялась она, обнажая все свои белые зубы.

— Вот-вот, из самой Индии, если только этот козлёнок не позавидовал вашей чёрной коже и не сделался чёрным.

— Лёвушка, ну есть же границы терпению, — воскликнул капитан, начиная чуть-чуть сердиться.

Ананда погрозил мне, взял из моих рук корзинку и развязал её. Вынув цветы из бумаги, он сам издал восклицание восторга и удивления.

— Фризии, фризии! — закричала Хава. — Сэр Уоми очень хотел их иметь, чтобы развести у себя в саду! Это ему будет очень приятно. Да они в горшках, в земле и во мху! Ну кто из вас выдумал такого козлёнка, тот счастливец. Если бы умела завидовать, непременно позавидовала бы удачнику.

— Пожалуйста, не завидуйте, а то вдруг они и вправду почернеют, — сказал я, любуясь никогда не виданными роскошными цветами. Белые, крупные, как восковые, точно тончайшим резцом вырезанные, необычной формы колокольчики наполнили прихожую ароматом.

Капитан взял один горшок, дал мне другой. Когда я отказывался, уверяя, что идея и находка — его, он улыбнулся и шепнул мне:

— Одна фризия — я; другая — Лиза. Вы шафер. Идите и молчите наконец.

— Ну, уж Лиза фризия, — куда ни шло. Но вы, вы ужасно любимая, но просто физия, — так же шёпотом ответил я ему.

— Эти китайчата будут до тех пор разводить свои китайские церемонии и топтаться на месте, пока не опоздают, — сказал Ананда с таким весёлым юмором в голосе, что мне представилось, будто его тонкое, музыкальное ухо уловило наш шёпот. Я не мог выдержать, залился смехом, которому ответил смех сэра Уоми, отворившего дверь своей комнаты.

Увидав наши фигуры с горшками цветов, имевшие, вероятно, довольно комичный вид, сэр Уоми сказал:

— Да это целая свадьба! — он ласково ввёл нас в комнату, взял у каждого из нас цветок и обоих нас обнял, благодаря и говоря, что разведёт по клумбе фризий в своём саду, присвоив каждой название морской и сухопутной.

Очень внимательно осмотрев цветы, сэр Уоми позвал своего человека и вместе с ним упаковал их в нашу же корзинку, обильно полив водой и цветы и прикрывавшую их траву и приказав завернуть корзинку в несколько слоёв бумаги и в грубое мокрое полотно. Слуга исполнил приказание и вместе с вынырнувшим откуда-то Верзилой, взявшим чемодан, пошёл вперёд на пристань.

Много народа было в комнате. Были и такие лица, которых я совсем не знал; коекого видел мельком, а из хорошо знакомых мне были только турки, Строганов и князь.

Для каждого у сэра Уоми находилось ласковое слово. Мне он сказал:

Что касается любимчика, который внушал мне такой ужас в магазине Жанны своим видом, то теперь он имел свой обычный, презрительно-снисходительный вид «неглиже с отвагой». Только иногда по его лицу пробегала лёгкая судорога, и он брался за свою феску, точно желая увериться, на месте ли она. Я подсмотрел, что страх, даже ужас, мелькал у него порой в глазах, когда он смотрел на сэра Уоми.

Словом, я окончательно превратился в «Лёвушку — лови ворон», в результате чего И. взял меня под руку.

Я опомнился и увидел да-Браццано, входившего в комнату. На его адской физиономии была такая наглая, самодовольная уверенность, точно он говорил: «Что, взяли? Разве я когда-нибудь был согнут или без языка?»

Он развязно, как к себе домой, вошёл в комнату. Фамильярно целуя руку Строгановой, он как будто чуть-чуть удивился её равнодушию, но тотчас же, делая галантные манеры, изображая из себя лорда высшей марки, направился к Анне. «Посмотрел бы ты на лорда Бенедикта», — мелькнуло в моей голове.

Склонившись перед ней, нагло глядя на Анну, как на свою собственность, он ждал, чтобы она протянула ему руку. Не дождавшись и, очевидно желая скрыть досаду, он фальшиво рассмеялся и сказал:

— Дорогая Анна, ведь вы же по-европейски воспитаны. И я не собираюсь устроить в своём доме для вас гарем, хотя я и турок. Протяните же мне вашу прелестную ручку, на которой я вижу залог вашего согласия стать моей женой — и моего счастья.

— Я прежде всего для вас не Анна, а Анна Борисовна. Что же касается каких-то залогов, то их я от вас не принимала и слов вам никаких не давала, — прервала она его так резко, что даже этот злодей опешил.

Не знаю, чем бы кончилась эта стычка, если бы Строганова не вмешалась, говоря ему:

— Браццано, что же вы не здороваетесь с сэром Уоми и не познакомите нас с вашим другом?

Вместе с Браццано вошёл в комнату человек высокого роста, широкоплечий, но с такой маленькой головой, что невольно вызывал представление об удаве. Лицо его, вероятно от больной кожи, а может быть и спиртных напитков, было ярко-красное, почти такое же, как его феска, с фиолетовым оттенком на щеках и носу, а маленькие, чёрные, проницательные глаза бегали, точно шарили по всему, на чём останавливались.

Когда Анна обрезала Браццано, мне показалось, что на этом грязном и противном лице мелькнуло злорадство.

Браццано представил хозяйке и обществу своего друга под именем Тебальдо Бонда, уверяя, что красота Анны заставила его сегодня забыть все правила приличия.

— Впрочем, — прибавил он, поглядев на Анну и Строганову, — сегодня такой важный в моей жизни день, не только день побед в любви, но и власть моя сегодня возросла как никогда. На радостях не имеет смысла так строго придерживаться условного этикета.

Он хотел снова подойти к Анне, но его задержала Строганова, сказав, что все мы ждали более получаса только его одного, чтобы сесть за стол. Что он опоз-

дал свыше всякой меры, хотя и знает, что в этом доме — по любви хозяина к порядку — соблюдается точность времени всех трапез, чту ему, Браццано, хорошо известно.

Браццано, привыкший видеть и знать в Строгановой свою беспрекословно повинующуюся всем его капризам рабу, окаменел от изумления и бешенства.

Но не один он был потрясающе изумлён. Сам Строганов пронзительно посмотрел на свою жену и перевёл вопрошающий взгляд на сэра Уоми. Тот ответил ему улыбкой, но улыбнулись только его губы. Глаза его, строгие, пристальные, с каким-то иным — несвойственным его всегдашней ласковости — выражением устремились на Браццано.

Побелевший от злости Браццано точно прошипел в ответ хозяйке дома:

— Я не привык выслушивать замечания вообще нигде, а у вас в доме в особенности.

Он с трудом взял себя в руки, постарался улыбнуться, хотя вместо улыбки вышла гримаса, и продолжал уже более спокойно:

— Я простудился и был болен эти дни.

Внезапно он встретился взглядом с Анандой и точно подавился чем-то, кашлянул и продолжал:

— Только несколько часов тому назад я почувствовал облегчение, благодаря усилиям моего доктора, который меня сопровождает сейчас и которого я уже имел удовольствие вам только что представить, Елена Дмитриевна, — поклонился он Строгановой. — Пусть это печальное обстоятельство будет извинением моему опозданию. Смените гнев на милость и...

Тут он направился прямо к Анне, намереваясь вести её к столу, и уже складывал свою правую руку калачиком, как ему опять не повезло. Откуда ни возьмись, вынырнула маленькая собачонка Строгановой, и Браццано, не смотревший под ноги, а упёрший взгляд в Анну, наткнулся на неё и едва не полетел на ковёр.

Это было так смешно, его грузная фигура точно до полу склонилась перед Анной, полы его фрака взметнулись ему на голову да вдобавок он ещё неловко зацепился за ножку стоявшего вблизи кресла и никак не мог разогнуться, — я не выдержал и залился смехом, капитан мне вторил, оба Джел-Мабеды и сам хозяин, а за ними и многочисленные его семейные надрывались от хохота. Только сэр Уоми и два моих друга хранили полную серьёзность. Сэр Уоми подошёл к хозяйке дома, поклонился ей и подал руку, чтобы вести её к столу.

Я взглянул на капитана, чтобы поделиться с ним впечатлением от величавых, полных достоинства и спокойствия манер сэра Уоми, но капитан сам приковался взглядом к его фигуре, находясь, очевидно, под полным обаянием сэра Уоми.

Пока доктор Бонда помогал Браццано выпрямиться, что произошло не без труда, Ананда подошёл к Анне, точно так же поклонился ей, как сэр Уоми её матери, совершенно не сгибая фигуры, а только склонив голову, и подал ей руку.

Как они были прекрасны оба! Так же прекрасны, как в первый вечер музыки у князя, в день приезда Ананды. Я забыл обо всём, улетел куда-то, стал «Лёвушкой — лови ворон» и внезапно услышал голос Флорентийца.

«Ты видишь сейчас величие и ужас путей человеческих. Ты видишь, что всякий человек, идя своим путём, может постичь истинное знание только тогда, когда его

Третье, если я теряю сэра Уоми и Ананду, сохраняя близость И., то из опыта потерь, разлук, разочарований и горя последних месяцев я понял только одно: люби до конца, будь верен до конца, не бойся до конца, — и жизнь посылает вознаграждение, какого не ждёшь и откуда не ждёшь.

— Мальчишка мой, милый философ! Пока я ещё ни разу не любил до конца, не был верным до конца и не был храбрым до конца, а утешение от твоей кудрявой рожицы уже получил, — весело расхохотался капитан. — Ну, вот что. Скоро одиннадцать часов. Поедем-ка в садоводство и привезём цветов, Лёвушка.

— Ох, капитан, у сэра Уоми в его собственном саду такие цветы, что лучше уж нам и не срамиться.

Капитан напялил мне на голову шляпу, мальчишески засмеялся и потащил на улицу.

Очень быстро мы нашли коляску и покатили к его другу садоводу. Подгоняемый монетами, кучер забыл свою константинопольскую лень, и вскоре мы стояли перед самим садоводом.

Капитан оставил меня у деревца с персиками, где хозяин любезно предложил мне есть их, сколько хочется, а сам ушёл с ним в оранжерею.

Не успел я ещё и насладиться пречудесными персиками, как он уже вышел, неся цветы в восковой бумаге. Хозяин уложил их в корзиночку с сырой травой, обвязал и подал мне. Она была довольно тяжёлая.

Когда мы ехали обратно, я спросил моего спутника, почему он не показал мне цветов, точно это заворожённая красавица.

— Цветы эти и есть красавицы. Они очень нежны и так чудесны, что ты немедленно превратился бы в «Лёвушку — лови ворон», если бы я тебе их показал. А у нас времени в обрез.

— Ну хоть скажите, как зовут ваших таинственных цветочных красавиц? — спросил я с досадой.

Капитана рассмешила моя раздражённость, и он сказал:

— Философ, их зовут фризии. Это горные цветы, их родина Индия. Но если ты будешь сердиться, они станут из белых чёрными.

— Ну, тогда вам придётся подарить их Хаве; сэру Уоми ещё чёрных красавиц не надо. Довольно и одной, — ответил я ему в тон.

Капитан весело смеялся, говорил, что я всё ещё боюсь Хавы и что, наверное, моё «не бойся до конца» относится к обществу Хавы.

— Очень возможно, — ответил я, вспоминая письмо Хавы, которое я получил в Б. — Но, во всяком случае, если она когда-нибудь и будет жить в моём доме, то я буду её бояться меньше, чем вы боитесь сейчас Лизы и всего того, что должно у вас с нею произойти, — брякнул я, точно один из тех попугаев, которых разносят в Константинополе, они вытаскивают билетики «судьбы» и подают любопытным их будущее в виде свёрнутого в трубочку лотерейного билетика.

Удивление капитана превратило его в соляной столб.

Не знаю, чем бы это кончилось, если бы мы не подъехали в эту минуту к дому и не встретились с Анандой и Хавой, шедшими к сэру Уоми.

— Возьмите ваших красавиц, — сказал я, подавая капитану цветы.

— Каких красавиц? — спросил Ананда.

его, так как он ещё многих должен принять, а для Хавы, которая останется здесь ещё несколько дней и, быть может, поедет на вашем пароходе обратно, у него останется только несколько минут пути от дома до набережной. Я не сомневаюсь, что обоим вам это тяжело, но ведь вы оба достаточно осчастливлены. Берегите своё счастье и уступите немного его другим.

И. вышел, и мы остались вдвоём с капитаном.

Обоим нам было одинаково тяжело, что мы не проводим сэра Уоми и не будем видеть его милого лица до последнего мгновения. Капитан курил папиросу за папиросой, иногда ходил по комнате и ерошил свои и без того торчавшие ёжиком волосы.

Мы молча приводили себя внутренне в порядок, как бы совершая свой духовный туалет перед последним свиданием с сэром Уоми в двенадцать часов, как им было нам назначено.

Наконец я решился прервать молчание и сказал:

— Капитан, дорогой друг, не сердитесь на меня, что я нарушаю молчание, хотя и вижу, что вам совсем не хочется говорить. Но мне надо поделиться с вами, какими мыслями я сейчас жил и как я нашёл в них успокоение.

Каждый из нас получил от сэра Уоми так много. Лично мне одно его присутствие давало даже физическое состояние блаженства. Не говоря уже о совершенно особенном внутреннем мире, когда всё кажется понятным, ничего не нужно, кроме следования за ним. Я понял сейчас, что следовать за ним смог бы только тогда, когда самостоятельно решу свои жизненные вопросы. Когда научусь твёрдо стоять на собственных ногах, не ища помощи со всех сторон для их решения, как я это делаю сейчас.

Должно пройти какое-то время, где я выясню себе свой путь творчества, найду сил крепко держать себя в руках, — тогда я могу быть нужен сэру Уоми, как ему нужны сейчас И. и Ананда.

Я рад, что первое лёгкое испытание меня больше не расстраивает. То или иное время пройдёт до нового свидания с сэром Уоми, я думаю только об одном: достойно прожить каждую минуту разлуки с ним, не потеряв ни мгновения попусту.

— Ты совершенно прав, друг; надо быть достойным всего того, что получено от сэра Уоми, Ананды и И. Но ты теряешь только первого из них, а я теряю не только их всех троих, но и тебя. С кем могу я теперь, после того как я понял глубочайший смысл жизни, поделиться своими новыми мыслями? Я и до сих пор был всегда замкнут и носил прозвище «ящик с тайнами». Кому же теперь я могу высказывать свои мысли и как искать тот путь единения, о котором говорят мои новые друзья?

— Я, конечно, ничего ещё не знаю и мало что понимаю, капитан. Но я видел, как для вас стал понятен язык музыки. У вас есть теперь новая платформа для понимания и Лизы, и её матери. И вы сами как-то говорили мне, что думаете много о Лизе и написали ей письмо.

Это раз. Второе — разве между вами, мною и ещё сотней простых людей и нашими высокими друзьями лежит пропасть? Хоть раз вы видели, чтобы они показали людям своё превосходство? Чтобы они презирали кого-то? Или обошли своею помощью там, где могли помочь? Хоть раз видели вы их тяготящимися той или иной встречей? Так и мы: сколько можем, должны стараться следовать их примеру.

верность стала уже не личным его качеством, а одною из осей всего его существа. Осью главной, на которой лежит и развивается всё творчество человека. Учись различать пути людей. И помни, что никто тебе не друг, никто тебе не враг, но всякий человек тебе Учитель».

Я рванулся было вперёд, туда, где я слышал голос, но И. держал меня крепко под руку, а капитан удивлённо смотрел мне в лицо.

— Вам, Лёвушка, нехорошо? Чем вы расстроились? — тихо спросил он меня.

— Вот видишь, как надо быть внимательным. Держи руку Флорентийца в своей, как будто бы он здесь рядом с тобой, — шепнул мне И.

— Нет, капитан, я вполне здоров, — ответил я моему другу. — Это Бог меня наказал за то, что я так потешался над неудачей Браццано.

— Ну, если уж Богу есть зачем сюда вмешиваться, — возразил, смеясь, капитан, — то только разве затем, чтобы покарать этого наглеца и шарлатана, а никак не наказывать невинных младенцев за заслуженный им смех.

Между тем сэр Уоми уже входил — впереди всех следовавших за ним пар — в двери столовой. Уж и Ананда с Анной были много впереди нас, а Браццано со своим доктором всё ещё стояли в стороне.

Браццано тяжело дышал, что-то резко говорил по-турецки своему собеседнику, который старался его успокоить.

— Ваши лекарства что-то мало помогают, — вдруг насмешливо сказал он по-русски. — Вот, говорят, доктор И. обладает совершенно волшебными лекарствами, — нагло глядя на И., вызывающе продолжал Браццано. — Не удостоите ли вы, доктор И., меня своим волшебным снадобьем. Весь Константинополь только и говорит, что о приехавших сюда новомодных докторах-чудотворцах.

— Не знаю, в какой степени испытали на себе влияние новой медицины те сплетники, что говорили вам о ней. Но, думаю, что вы сами имели случай испытать на себе силу влияния моего и моего друга Ананды. Мне было бы очень жаль, если бы вам пришлось подвергнуться силе опыта сэра Уоми. Это было бы для вас катастрофой, — очень вежливо и мягко, точно не замечая наглости Браццано, ответил И.

— Вы так думаете? — криво усмехаясь, вновь сказал Браццано, двигаясь вместе с нами в столовую.

— Я буду иметь случай сегодня доказать вам, насколько вы заблуждаетесь, полагаясь на высокий авторитет вашего сэра Уоми, — продолжал Браццано. — Я и шёл сюда только затем, чтобы перемолвиться с ним словечком. Я оставляю это приятное удовольствие до ужина, по крайней мере, всем будет потеха.

Адское выражение ненависти, точно он хотел испепелить И., было в его глазах, когда он на него смотрел.

Мы вошли в столовую. Сэр Уоми уже сидел рядом с хозяйкой, возле него сидели Анна с Анандой, с другой стороны рядом с матерью любимчик со старшей сестрой, а затем все пять сыновей с жёнами и оба турка. Напротив сэра Уоми И. посадил меня и капитана, сам сел возле меня, а направо от него сел Строганов, указав на узком правом конце место Браццано и его доктору.

Увидев, где ему приходится сидеть, Браццано засмеялся, — точно ржавые петли отсыревшей двери заскрипели.

— Сегодня всё не так, как обычно. Не знаете ли, Елена Дмитриевна, почему это всё навыворот сегодня? — обратился он к хозяйке, стараясь держаться в границах приличия и всё ещё сдерживая бешенство.

— Ба, да что это? Вы сегодня без вашего жемчуга? Ах, и браслеты вы сняли? Ведь вы же так любите драгоценности! Что же это значит?

— Я любила прекрасные, как мне казалось, вещи до вчерашнего дня, когда убедилась, как была недостойно обманута одним человеком, который уверял меня в своей дружбе. Я ему заплатила большие деньги за его драгоценности, которые оказались медью и стеклом, — ответила Строганова холодно и презрительно. — С сегодняшнего дня я дала себе слово носить только те вещи, что подарил мне мой муж. Они одни оказались истинно драгоценными.

Со всех сторон послышались восклицания изумления и негодования.

— Вы что-то такое говорите, чего сами должно быть не понимаете. Вещи, которые вы носили, выбирал я. А я-то — знаток, — дерзко ответил Браццано, швыряя вилку на стол.

Строганов встал с места, хотел вмешаться и призвать наглеца к вежливости, но сэр Уоми сделал ему знак, и он покорно, молча опустился на свой стул.

— Быть может, вы и знаток, но меня вы обманули, — тихо, но чётко и твёрдо снова сказала Строганова.

— Это детские разговоры. За ваши вещи можно купить княжество. Может быть, вы будете утверждать, что и эта вещь не истинная драгоценность? — ткнул он вилкой в сторону Анны, указывая на сверкавший на её руке браслет.

— Эта вещь — истинная драгоценность. Но она никогда вам не принадлежала, — раздался спокойный голос сэра Уоми. — Она была украдена, и вы отлично знаете, где, кем и когда она была похищена. Это вас не остановило отдать её одному из надувающих вас шарлатанов, чтобы он сделал из неё приворот любовных чар. Думаю, судя по настроению обладательницы прекрасной руки, на которую он надет, вы сами можете убедиться, насколько вы пользуетесь симпатией и каковы ваши шансы сделаться мужем Анны, — всё так же спокойно продолжал сэр Уоми.

Браццано так отвратительно заскрежетал зубами, что я закрыл уши.

— Какой же это прокурор донёс вам на меня? И почему же меня не арестовали, если я подбираю похищенные вещи? — дерзко выкрикнул он, весь багровый от злости.

— О том, что вы похитили вещь, сказал мне её владелец. А что касается ареста, то большинство вашей бесчестной шайки сейчас уже изловлено и главари её бегут из Константинополя. Самый же главный её представитель — вы — не можете не только ногами двигать, но и разогнуться в достаточной степени.

Браццано из багрового сделался белым, потом снова багровел и белел от видимых усилий встать, но сидел, как приклеенный, склонившись неподвижно к столу и дико вращая головой, которая одна ему ещё повиновалась.

— Вот финал вашей преступной жизни, — продолжал сэр Уоми. — Вы втёрлись в прекрасную, дружную, честную семью. Чудесной чистоты женщину, Елену Дмитриевну, вы погружали день за днём в подлый гипноз. Пользуясь её робостью и добротой, вы превратили её в сварливое, отравлявшее жизнь всей семье, капризное

Как мало я тогда понимал и разбирался в душах людей! И как много позже я понял, какую трагедию победило сердце Ананды в это свидание с сэром Уоми. И какой верной помощью, забывая о себе, был и он, и И. моему брату во всё время моей болезни в Константинополе и до самого последнего вечера, когда столкновение с Браццано дошло до финала у Строгановых.

И. ничего не говорил мне, что погоня за нами всё продолжалась и концы её были в руках Браццано и его шайки. Как потом я узнал, ночь перед отъездом сэра Уоми все мои друзья провели без сна. Они отдали её капитану, наставляя его к его будущей жизни, а также объясняя ему, где и как он должен оставить Браццано.

И. не сказал мне ни слова, а самому мне было и невдомёк, как тревожила его дальнейшая жизнь Жанны и Анны, и всей семьи Строгановых, так как своим участием во всём этом деле он брал на свои плечи ответ за них.

— Ничего, Лёвушка, не смущайся. Ты уже не раз видел, как то, что кажется, вовсе не соответствует тому, что на самом деле есть, — сказал мне И.

Я посмотрел ему в глаза — и точно пелена упала с глаз моих.

— О, Лоллион, как мог я только что почувствовать какое-то отчуждение от вас? И я мог подумать, что в вашем сердце было равнодушие к сэру Уоми?

— Не равнодушием или порывами горечи и уныния движется жизнь, а радостью, Лёвушка. Той высшей радостью, где нет уже личного восприятия текущей минуты, а есть только сила сердца — любовь, где ни время, ни пространство не играют роли. Любовь не судит — она радуется, помогая. Если бы я не мог забыть о себе, а стонал и горевал бы о том, что разлука с сэром Уоми лишает меня общества любимого друга и его мудрости, я бы не имел времени думать о тебе, твоём брате, Жанне, княгине и ещё тысяче людей, о которых ты и не подозреваешь в эту минуту.

Живой пример великого друга сэра Уоми, который ни разу за всё время моего знакомства с ним не сосредоточил своей мысли на себе, который сам делал всё, о чём говорил другим, вводил меня в тот высокий круг любви активной, где равнодушие, уныние и страх не существуют как понятия.

Капитан с Анандой свернули в сад, мы же с И. пошли к себе. Я рассказал ему всё, что говорил мне сэр Уоми, и показал ему подаренную им цепочку, которую он сам, продев в неё камень, надел мне на шею.

— Вот тебе, Лёвушка, наглядный пример, какая разница между тем, что кажется людям видимой справедливостью, и тем, что на самом деле идёт по истинным законам целесообразности. Чтобы получить такую цепочку, тысячи людей затрачивают годы жизни. Иногда они всю жизнь добиваются победы над собой в каких-то качествах, мешающих им двинуться дальше, трудятся, ищут, падают, борются — наконец достигают, как кажется им и их окружающим. А на самом деле перед истинными законами жизни стоят на месте. Ты, мальчик, ничем — по законам внешней справедливости — не заслужил того счастья, которое льётся на тебя, как из рога изобилия. Ты и сам не раз за это время, окружённый высшим счастьем, считал себя одиноким и несчастным, — ласково говорил И.

К нам вошёл капитан, но, заметив, что у нас идёт серьёзный разговор, хотел уйти к себе.

— Вы не только не помешаете, дорогой капитан, но я буду рад, если вы побудете с Лёвушкой до прихода парохода сэра Уоми. Ни вам, ни ему не следует провожать

в его, не знавших в своей деятельности пощады, глазах. Твой поцелуй принёс ему привет закона вечности: закона пощады.

— На этой цепочке, кажущейся тебе такой великолепной работы, сложены слова на языке, которого ты ещё не знаешь. Они значат: «Любя побеждай». Я вижу, — засмеялся сэр Уоми, — что ты уже решил изучить этот язык.

— Ах, сэр Уоми, среди каши в моей голове и огорчений — одно из которых очень горькое, — разлука с вами, я ясно сознаю, как я невежествен. Я уже дал себе слово однажды изучить восточные языки, когда ничего не понимал в речах Али и Флорентийца. Теперь этому моему слову пришло новое подкрепление, — и я подставил шею сэру Уоми, надевшему мне камень с цепочкой собственной рукой.

— Этот камень был украден у Флорентийца. На остром углу треугольника были ещё крест и звезда из изумрудов. Когда ты приобретёшь полное самообладание и такт, ты, по всей вероятности, получишь их из рук самого Флорентийца. Теперь же он просил меня надеть камень милосердия тебе на шею. Моя же цепь пусть связывает тебя со мной.

Каждый день, когда тебе будет казаться, как трудно воспитать себя, как недосягаемо полное бесстрашие, коснись этой цепочки и подумай о моей любви и верности тебе. И сразу увидишь, как, единясь в красоте и любви, легко побеждать там, где всё казалось непобедимо.

Он обнял меня, я же едва сдерживал слёзы и был полон такой тишины, мира и блаженства внутри, какие испытывал минутами только возле Флорентийца.

В комнату вошли И. и Ананда. Лица их были совершенно спокойны, глаза-звёзды Ананды сияли, как и подобает звёздам; и оба они, казалось, совсем не были расстроены предстоящей разлукой с сэром Уоми.

Этого я никак не мог взять в толк. Поглядев на капитана, я увидал на его лице отражение своей собственной скорби о разлуке с сэром Уоми. Как я ни ценил своих высоких друзей, но с капитаном я всегда чувствовал себя как-то в большем ладу, чем с ними. Мне казалось, что непреступаемая грань лежит между мною и ими, точно стена иногда отделяла меня от них, а между тем никто из них преград мне не ставил ни в чём.

Ананда взглянул на меня — опять точно череп мой приподнял — и смеясь сказал:

— Стена стене рознь.

Я покраснел до волос, И. и сэр Уоми улыбнулись, а капитан с удивлением смотрел на меня, не понимая ни моего смущения, ни реплики Ананды, ни улыбки остальных.

Глубоко растроганный напутствием сэра Уоми, я не сумел выразить ему ничем своей благодарности вовне. Я приник устами к его маленькой, очаровательно красивой руке, мысленно моля его помочь мне сохранить навек верность всему, что он сказал мне сейчас.

Вошёл слуга сэра Уоми, сказав, что князь прислал спросить, может ли он видеть его. Сэр Уоми отпустил нас всех до двенадцати часов, прося зайти к нему ещё раз проститься, так как в час его пароход отходит. Он приказал слуге просить князя, с которым мы и столкнулись в дверях.

Мне было тяжело, и я инстинктивно жался к капитану, сердце которого страдало так же, как моё. Среди всех разнородных чувств, которые меня тогда раздирали, я не мог удержаться, чтобы не осуждать равнодушия моих друзей к разлуке с сэром Уоми.

существо. Вы развратили её младшего сына, заманив его в сети дружбы, и сделали из них обоих прислужников вашему злу.

Вам было дано Анандой три дня на размышление. Вы ещё могли выбраться из ада ваших страстей, так как иначе нельзя назвать вашей разнузданной жизни.

Вы пленились красотой женщины и решили заманить её в любовные сети, вызвав на бой всё чистое и светлое, что защищает её.

Мы пришли сюда по вашему призыву. И теперь доказываем вам, чего стоит вся власть, приносимая злом, обманом, воровством, убийством, которой вы так добивались.

Вам сказали правду. Всё то, что было дано вами Елене Дмитриевне — как талисманы ваших знаний и власти — всё вздор, уничтожаемый истинным светлым знанием. Как дым разлетелся ваш суеверный наговорный вздор, оказавшийся вдобавок медью вместо золота.

Вы уверяли Леонида, что феска его ни в каком огне сгореть не может, что его чёрная жемчужина и бриллиант — вещи вечности.

— И сейчас утверждаю это, — прокричал Браццано, перебивая сэра Уоми и нагло глядя на него.

— Хотите испытать силу ваших знаний? — спросил сэр Уоми.

— Хоть сию минуту, — раздувая ноздри, с видом бешеного быка орал Браццано.

— Лёвушка, сними феску с головы Леонида, а вы, капитан, снимите с его левой руки кольцо и положите всё — ну хотя бы — на этот серебряный поднос, — сказал сэр Уоми, подавая мне через стол большой серебряный поднос, с которого он снял высокий хрустальный кувшин.

Пока мы с капитаном обходили длинный стол, чтобы подойти к любимчику Леониду, доктор, уже давно нетерпеливо ёрзавший на своём стуле рядом с Браццано, тихо говорил ему:

— Оставьте, уйдём отсюда; не надо никаких испытаний. Ведь вы опять почти согнулись.

— Замолчите вы, или я сейчас пристрелю вас, — зарычал Браццано в ответ.

Я подошёл к Леониду, имя которого узнал только сейчас, снял с него феску без всякого труда и положил её на поднос.

Казалось, это очень удивило Браццано, он как будто ожидал, что феска не слезет с головы юноши. Я вспомнил, как напялил мне Флорентиец шапку дервиша, которую я действительно не мог снять с головы, и поневоле засмеялся.

Мой смех лишил Браццано последнего самообладания.

— Посмотрим, засмеётесь ли вы через час, — прошипел он мне.

Капитан что-то долго не мог снять кольцо с пальца Леонида, чем вызвал весёлый раскат смеха Браццано. Но сэр Уоми, перегнувшись, посмотрел пристально на Леонида, и кольцо в тот же миг лежало рядом с феской.

По указанию сэра Уоми я поставил поднос в широкий восточный камин. Он встал, обсыпал вещи уже знакомым мне порошком и поджёг.

Вспыхнуло большое яркое пламя. Будто не одна маленькая феска горела, а большой сноп соломы. Смрад не от горелой материи, а точно запах падали заставил всех зажать носы платками. Раздались два небольших взрыва, и пламя сразу погасло. Я распахнул, по указанию И., окно. Через некоторое время воздух очистил-

ся, и я подал сэру Уоми поднос, который он велел мне отнести к Браццано, что я и исполнил, поставив его перед ним на стол.

Вернувшись на место, я полюбопытствовал, почему капитан так долго не снимал кольца. Он ответил мне, что если бы не повелительный взгляд сэра Уоми, он и совсем бы его не снял. Глаза злодея Браццано жгли ему руки как огонь, да и кольцо сидело на пальце Леонида, точно его приклеили вечным клеем.

На подносе перед Браццано сейчас лежал жалкий, скрюченный обломок меди, осколки чёрного стекла и бесцветный камень, похожий на кусок гранёного стекла. О феске не было и помину, если не говорить о горсти чёрной золы.

— Уйдёмте, прошу вас, Браццано, или отпустите меня одного хотя бы, чтобы я мог привести вам помощь, — умолял опять его приятель Бонда.

— Вы попросту глупец. Не видите вы разве, что всё это шарлатанство? Что могут сделать все эти шантажисты против моего амулета? — заорал Браццано, вытаскивая дрожащей рукой из жилетного кармана треугольник из золота, в котором сверкал огромный чёрный бриллиант.

По лицу сэра Уоми точно прошла молния. Снова его глаза стали ярко-фиолетовыми.

— Не желаете ли испытать силу вот этого талисмана? — спросил Браццано сэра Уоми, держа в руках дивный камень, сверкавший точно молнии в огне ламп и свечей.

— Подумайте ещё раз о вашей жизни, Браццано, о всей вашей жизни; и о том, что вы делаете сейчас. Вы отлично знаете, что эта вещь украдена у одного венецианца. Вы знаете, что вверху её были крест и звезда — символы любви. Вы знаете, кто надругался и кощунствовал над этой вещью, отрубив крест и звезду, и какая судьба свершилась над ним. — Твёрд, тих, почти ласков был голос сэра Уоми, и глаза его сострадательно смотрели на Браццано.

Тем временем ужин, за которым почти никто ничего не ел, кончился.

— Судьба свершилась? Глупость его свершилась, — злорадствовал Браццано. — Дуракам туда и дорога! Не Боженька ли ваш поможет вам сразиться сейчас со мной? — продолжал орать Браццано, совершенно вне себя.

Он положил на поднос свой камень, от которого пошли точно брызги всех цветов от светлого до багрово-алого. Невольно глаза всех были устремлены на необычайную игру дивного бриллианта.

— Ха, ха, ха! Ну, вот моя ставка за власть. Если ваш огонь превратит мой камень в такой же прах, — указывая на золу, издевался он, — продаю вам свою душу. Если же вещь сохранит свою силу, то есть мою власть, вам не уйти и вы мой раб, — дёргаясь, с пеной у рта орал Браццано.

Лицо сэра Уоми стало суровым; глаза метали искры не меньшей яркости, чем искры камня.

— В последний раз я прошу вас, несчастный человек, одумайтесь. Идут последние минуты, когда вы ещё можете избавить себя от непоправимого зла. Сейчас я ещё в силах спасти вас, но после уже ни я и никто другой не сможет протянуть вам руку помощи.

— Ага, струсили, сэр спаситель, — хохотал Браццано. — Бессильны, так запели овечкой! Ну, позовите к себе вашего Спасителя, авось тот покрепче вас будет.

Глава 24

Наши последние дни в Константинополе

Точно в девять часов утра на следующий день я стучался в двери сэра Уоми.

Каково же было моё изумление, когда вместо работы я нашёл сэра Уоми в дорожном костюме и в прихожей увидел увязанный чемодан.

В комнате был капитан, подававший сэру Уоми билеты на пароход. Он, очевидно, незадолго до меня пришёл. Лицо его было очень бледно, как будто он всю ночь не спал. А я, по обыкновению вечером провалившийся куда-то в глубоком сне, ничего не знал о том, как мои друзья провели ночь.

Заметив мой расстроенный вид, сэр Уоми погладил меня по голове и ласково сказал:

— Как много разлук, где ты был или давно привязан, или успел вновь привязаться, пришлось тебе пережить, Лёвушка, за последнее время. И все их ты пережил и переживаешь тяжело. С одной стороны, это показывает твою любовь и благодарность к людям. С другой — отсутствие ясного знания, что такое земная жизнь человека и как он должен ценить свой каждый день, не тратя его на слёзы и уныние.

— Скоро, через несколько дней, ты уедешь с И. в Индию. И новые страны, через которые ты будешь проезжать, кое-где останавливаясь, и новые люди, их неведомые тебе обычаи и нравы, — всё поможет расшириться твоему сознанию, толкнёт твою мысль к новому пониманию вещей.

Пройдёт несколько лет, мы с тобой увидимся, и годы эти — твои счастливейшие годы — мелькнут как сон. Многое из того, что ты увидел и услышал за это короткое время, лежит сейчас в твоём подсознании, как в запасном складе. Но ты не только поймёшь всё, что там копишь, но и перенесёшь большую часть оттуда в своё творчество.

— На прощанье, мой дорогой секретарь, возьми от меня вот эту цепочку, надень на неё очищенный силой любви камень Браццано и носи на груди, как знак вечной памяти о милосердии, обет которого ты сам добровольно принёс. Где только возможно, будь всегда милосерден и не суди никого. Любовь знает помощь, но она не знает наказаний и осуждения. Человек сам создаёт всю свою жизнь, а любовь — когда кажется, что она внешне подвергает человека наказанию, — только ведёт его к высшей форме жизни.

Завет мой тебе: никогда, нигде и ни с чем не медли. От кого бы из нас ты ни получил весть, — выполни тотчас же приказ, который она несёт, не вдавайся в умствующие рассуждения и не жди, пока у тебя где-то внутри что-то станет готовым. Эти замедления — только доказательство неполной верности; и ты видел, к чему привели размышления Анны, как разъели её сомнения весь мост, ею же самой выстроенный, к уже сиявшему ей новому пути освобождения.

Этот камень, принёсший людям столько горя и слёз, очищен такой же силой любви и сострадания, какая бросила тебя в объятия гада и заставила задрожать слезу

— Анна, во многом, что произошло сегодня, есть часть и твоей вины, — сказал сэр Уоми. — Два года назад Ананда тебе сказал, чтобы ты покинула этот дом и сожгла феску Леонида. Ты не сделала ни того ни другого. Но ты одержала над собой другую победу, и у Ананды была ещё возможность взять на себя задачу охраны твоей семьи. Когда он теперь приехал, чтобы радостно увезти тебя в Индию, где ты должна была начать иную полосу жизни, он нашёл тебя в сомнениях, ревности, мыслях о своей молодости и красоте, увядающей без личного счастья.

Тот кусок материи, что тебе прислал Али, я не могу передать тебе. Из неё шьют в Индии хитоны людям, видящим счастье жизни в освобождении от страстей, а не в закреплении себя в них. Ты же стала жаждать страсти.

Остальное — та буря, из которой тебя спас Ананда и куда ты дала себя увлечь Браццано, — то только твоя тайна, и о ней говорить здесь я не буду.

Ещё семь лет теперь трудись, учись, работай в самой простой жизни серых дней. Помоги Жанне достичь самообладания и пока храни её детей. Помогай князю, не дичись людей и не мечтай о жизни избранных. Не скупись на музыку, расточай людям сокровища своего дара. Играй и пой им, но не бери денег за свою музыку.

Нет времени, нет пространства как ограничения в пути вечного совершенствования человека. Радуйся, что испытание пришло сейчас и раскрыло тебе самой твоё шаткое сердце.

Не плачьте, Елена Дмитриевна. Тяжёлый и страшный урок ваш показал, как, начав с малого компромисса, будешь всё глубже лезть в него и кончишь падением.

Внесите теперь мир в свою семью, которую вы разбили, поставьте своего младшего сына в нормальные условия труда. А для мужа постарайтесь быть доброй и заботливой сестрой милосердия, так как по вашей вине он считает себя больным, а на самом деле ваш вечный страх заразил и его и выразился в кажущейся болезни.

Это были последние слова сэра Уоми.

В дверях комнаты появилась высокая фигура капитана. Сэр Уоми ласково ему улыбнулся, простился со всеми, и мы вышли на улицу, отказавшись от экипажа Строганова.

Я был счастлив вырваться из этого дома на воздух. Увидя небо в звёздах, вспомнил Флорентийца, как я ехал с ним в повозке ночью по степи к Ананде.

Как тогда я чувствовал себя одиноким и брошенным! Теперь же — ощутив, как нежно взяли меня под руку И. и капитан, как ласково смотрели на меня сэр Уоми и Ананда, — чувствовал себя как в неприступной, радостной крепости, в их защитном кольце.

Я ещё раз поблагодарил мысленно Флорентийца, который дал мне возможность узнать всех этих людей и жить подле них.

Не успел он договорить кощунственной фразы, как Ананда подал поднос сэру Уоми. Тот наклонился над ним, перебросил какой-то тоненькой деревянной палочкой бриллиант на свою тарелку, придержал его этой палочкой и, достав небольшой флакон, облил из него бесценный камень. Поднеся свечу, он поджёг жидкость, которая горела на его тарелке тихо и ровно, точно спирт.

Браццано, не спуская глаз с огня, молчал, но лицо его выражало такую муку, как будто его самого жгли.

Я посмотрел на сэра Уоми и был поражён тем выражением сострадания, которое лежало на его чудесном лице.

Огонь погас. Сэр Уоми велел мне протереть оставшийся невредимым бриллиант и подать его Браццано.

— Что же, цел? Чья взяла? Кто кому будет теперь рабом? — хрипел Браццано, дрожащими руками вырвав у меня своё сокровище.

Но едва он прикоснулся к нему, как с диким криком уронил его на стол.

— Дьявол, дьявол, что вы с ним сделали? — завопил он как зверь.

Сэр Уоми протянул руку и тихо сказал:

— Умолкни. Я предупредил тебя, несчастный человек, что теперь тебя никакая светлая сила уже не может спасти. Ты не можешь вынести прикосновения любви и света и умрёшь мгновенно. Последнее, чем я могу помочь тебе, — это уничтожить мерзкую связь между тобою и теми гнусными, потерявшими человеческий облик, предавшимися чёрной магии кощунственными существами, которым ты обещал отдать жизнь за власть, славу и богатство.

Он велел мне палочкой, которую он мне подал, снять феску с головы Браццано и бросить её в камин. Я обсыпал её порошком и, по приказанию И., вернулся на место.

— Я ничего не сделал с вашим камнем, — снова заговорил сэр Уоми. — Просто тот наговор, который — как вы уверяли — превышает все силы света, оказался ничтожным обманом, а не истинным знанием. Вы совершили два больших преступления. Вы отдали два — правда, украденных вами, — состояния и обещались быть семь лет в рабстве у шарлатана и кощунника, давшего вам камень. Теперь вы видите, куда всё это привело вас.

Подойдя к камину, сэр Уоми поджёг порошок.

Никогда не забуду, что произошло через миг. Раздался грохот, точно разорвался снаряд. В чёрном дыму завыл ветер в ка-мине. Женщины вскрикнули — но всё продолжалось несколько коротких мгновений.

— Сидите все спокойно. Никакой опасности нет, — раздался голос сэра Уоми.

Когда дым рассеялся, все взоры обратились на Браццано. Совершенно идиотское и скотское выражение было на его лице.

— Возьми этот флакон, Лёвушка, протри этим платком лоб, лицо и шею несчастного, — подавая через стол небольшой пузырёк и платок, сказал сэр Уоми.

Побеждая отвращение, с состраданием, которое разрывало мне сердце, я выполнил приказание.

Через некоторое время лицо несчастного стало спокойнее, пена у рта исчезла. Он озирался по сторонам, и каждый раз, как взгляд его падал на чудесный бриллиант,

его передёргивало; нечто вроде отвращения и ужаса мелькало на его лице, как будто в сверкающих лучах камня он видел что-то устрашавшее его.

Некоторое время в царившем молчании было слышно лишь прерывистое дыхание Браццано да изредка его не то стон, не то вздох.

— Молодой человек, — внезапно обратился он ко мне, — возьмите от меня этот камень. Только в одном вашем сердце было милосердие ко мне, и вы не побрезговали мною. Я не говорю о трёх этих людях, — указал он на сэра Уоми, Ананду и И. — От их прикосновения я бы умер. Но здесь сидят люди, которых я баловал немало, как, например, любимчика Леонида. И ничего, кроме ужаса и страха, как бы моя судьба не испортила его жизни, я в его сердце сейчас не читаю. В одном вашем сердце и глазах я вижу слезу сострадания. Спасибо. Возьмите эту вещь, пусть она сохранит вас в жизни, напоминая вам, как я погиб.

— О, нет, нет, этого не может быть! Не может погибнуть человек, что бы он ни сделал, если он встретил сэра Уоми. Я буду молить моего великого друга Флорентийца, наконец, упрошу Али помочь вам. Прошу вас, не отчаивайтесь, — заливаясь слезами, точно подхваченный бурей, сорвался я с места. И никто не успел опомниться, как я обнял Браццано за шею и поцеловал его. Я стал перед ним на колени, призывая мысленно Флорентийца и моля его облегчить судьбу несчастного.

Из глаз Браццано скатились две слезы.

— Это первый чистый поцелуй, который мне дали уста человека, — тихо сказал он. — Освободите же меня, возьмите камень, он меня невыносимо давит; пока он будет тяготить меня, я жить не смогу.

Я посмотрел на сэра Уоми, вспоминая его слова, как осторожным надо быть, принимая от кого-то вещи.

— Вещь, Лёвушка, сама по себе теперь безвредна. Но, принимая её, ты берёшь на себя обет сострадания всем несчастным, гибнущим в когтях зла. И, взяв её сегодня, ты уже должен будешь идти путём не только борьбы со злом, но и защиты всех страдальцев, закрепощённых в страстях и невежественности, — сказал он мне.

— Когда Флорентиец бежал со мной через поля, спасая меня от смерти, он не ждал моих просьб. Когда Ананда дал мне одежду дервиша, он нёс мне милосердие, о котором я не просил. Когда он и И. пришли на помощь моему брату, они, как и вы, сэр Уоми, шли легко и просто. Я мал и невежествен, но я рад служить Браццано — вот этому, освобождённому вами — и не вижу в этом подвига; также буду стараться защищать и утешать всех падающих под тяжестью своих страстей.

В то время, как я говорил, я увидел, что красная рука спутника Браццано тянулась по скатерти к камню. Зрелище этой красной волосатой руки, выпяченных, что-то шептавших губ, с вожделением, жадностью и каким-то тайным страхом смотрящих на камень выпуклых глаз и вытянутой вперёд маленькой головки доктора Бонды было так отвратительно и вместе с тем мерзко-комично, что привлекло внимание всех и многие стали невольно смеяться.

Заметив, что его поведение всё равно привлекло внимание всего стола, Бонда привстал, вытянул руку ещё дальше, но никак не мог ухватить камень. Обводя стол своими шарящими чёрными глазками, он сказал:

— Браццано, не делайте глупостей, подайте мне камень. Я его спрячу, а потом передам куда надо — и снова всё будет хорошо.

Он, видимо, старался переменить свою неудобную позу, но не имел сил выйти из смешного согнутого положения.

— Последняя просьба, сэр Уоми. Разрешите мальчику взять камень и развяжите меня с этим ужасным Бондой. Перед ним я не виноват ни в чём. Скорее он ввергал меня всё в новые и новые бедствия, — сказал Браццано.

— Вы уже освобождены от всех гадов, что шипели вокруг вас. Вспомните, когда вы несли на себе этот камень, впервые став его владельцем, вы встретили высокого золотоволосого человека. Что он сказал вам? — спросил сэр Уоми.

— Я отлично помню, как он сказал мне: «Добытое кровью и страданием, кощунством и грабежом не только не принесёт счастья и власти, но несёт рабство, яд и смерть самому владельцу. Если чистый поцелуй сострадающего сердца не осушит слезу на твоей щеке — страшен будет твой конец!» Тогда я не придал никакого значения этим словам и смеялся ему в лицо. Теперь — свершилось, — закончил Браццано.

— Приказать мальчику я не могу, как я не внушил ему дать вам поцелуй сострадания. Он сам — только он один — может решить в эту минуту свой вопрос, — ответил сэр Уоми.

Я взглянул на сэра Уоми, но он не смотрел на меня. Глаза И. и Ананды, Анны, Строганова были тоже опущены вниз. Никто не хотел или не мог помочь мне в этот трудный момент. Я взглянул на капитана и увидел, что одни его глаза, полные слёз, смотрели на меня так ободряюще, так ласково, что мне сразу стало легко. Я собрал все силы, звал Флорентийца и... точно увидел его в круглом окне улыбавшимся мне. Я засмеялся от радости, взял камень в руку и сказал Браццано:

— Я исполню и легко и весело ваше желание. Но у меня нет ничего, что я мог бы предложить вам взамен. Что будет в моих маленьких силах — я буду рад сделать для вас.

На лице Бонды отразилось злобное разочарование, и он убрал наконец свою руку.

— Ступайте отсюда, — тихо сказал ему сэр Уоми. — А вы, капитан, помогите Браццано добраться до дому и вернитесь снова сюда, — обратился он к моему доброму другу.

— Браццано, всё, что я могу для вас сделать, — это помочь вам укрыться в Тироле у моих друзей. Если вы хотите, капитан даст вам каюту на своём пароходе и довезёт вас до С. Там вас встретят и проводят до места, где ваши сообщники не дерзнут преследовать вас, — сказал сэр Уоми Браццано.

— У меня выбора нет, — ответил тот. — Я согласен. Но ведь всё равно меня и там найдут и убьют мои вчерашние спутники, — помолчав, опуская голову, безнадёжно прибавил он.

— Идите смело и ничего не бойтесь. Страшно не внешнее, а внутреннее ваше разложение, — всё так же тихо и твёрдо сказал сэр Уоми.

Капитан подошёл к Браццано, помог ему встать и увёл его из комнаты, всей своей силой поддерживая его согнувшуюся, стариковскую фигуру.

Вслед за их уходом все встали из-за стола, и часть общества перешла в кабинет Строганова. Когда все там сели, я увидел, что, кроме моих друзей, сюда вошли только муж и жена Строгановы, Анна и Леонид.

вечного совершенства, тут не только надо иметь силу понять, но и от многого отказаться. А между тем, И. говорил мне как-то на днях, что путём отказов и ограничений ни к какому творческому выводу прийти нельзя. Что скука добродетели — один из основных предрассудков. Вот тут и пойми!

— Я это очень хорошо понял здесь, в Константинополе, — сказал капитан. — Если вправду любишь, — даже не замечаешь, как отказываешься от чего-нибудь. И даже не отказываешься, а просто сам бросаешь то, что казалось ценным. Посмотрел другими глазами — и увидел противным то, из-за чего готов был драться.

Капитан спрятал футляр в секретер, посмотрел на часы и предложил мне выйти на палубу.

Неожиданно для меня уже спускался вечер. На небе проглядывали звёзды, и такими же звёздами была усеяна вся вода, освещаемая массой огней и огоньков на судах, стоявших вокруг, точно густой лес. Огромное судно капитана, уже нагружённое и готовое завтра только подобрать пассажиров да случайный груз, стояло далеко в море. Чарующая панорама города и сновавшие между пароходами шлюпки и катера от-влекли моё внимание от капитана. Но, стоя рядом с ним, я увидел, что он перегнулся и зорко всматривается в двигающиеся лодки. Он снова посмотрел на часы и сказал:

— Хава точна. Сэр Уоми воспитал её хорошо.

— Хава? При чём же здесь Хава?

— Подождите здесь, Лёвушка. Пока я не вернусь, не уходите отсюда. Если хотите, последите за этой широчайшей шлюпкой, которой правит ваш друг Верзила и где, на самой середине стоит паланкин.

С этими словами капитан исчез, и через некоторое время я услышал его голос далеко внизу, у трапа.

Как много было пережито мною на этом пароходе до бури, в самую бурю и после неё! И где тот мальчик, который приехал в азиатский город отдохнуть подле единственного брата-отца? Мысли вихрем уносили меня, я ушёл от действительности, забыл, где я, и вдруг услышал голос И.: «Не подходи ни в коем случае к Браццано. Даже если бы он умолял тебя всем милосердием неба. Зло, вкоренившись в человека, не так легко уходит. И ничего от него не бери и ничего ему не давай».

Я был сбит с толку. Подумал, что на этот раз я уж, наверное, впал в ересь слуховой галлюцинации, как увидел Верзилу и ещё трёх матросов, с большим трудом вносивших на палубу закрытый паланкин. Впереди его шла закутанная в плащ Хава, а сзади капитан и Ибрагим с отцом.

Когда паланкин выровнялся на палубе и матросы остановились, отирая пот с мокрых лиц, мне показалось, что я встретился взглядом с Браццано, отодвинувшим слегка занавеску паланкина.

Через минуту матросы вновь подняли паланкин и остановились в противоположном конце палубы, у каюты люкс, где мы с И. ехали из Севастополя.

Неопределённое чувство досады, что такое ужасное существо поедет в прекрасной каюте, где ехал И., жгучий, пронзительный взгляд Браццано, которым он только что посмотрел на меня и который так не был похож на глаза, из которых скатилась слеза за столом у Строгановых, услышанные мною слова И., точно перелетевшие ко мне

— Ищи радостно, — и всё ответит тебе. Цельность чувства и мысли скорее всего приведут тебя к Флорентийцу. О брате не беспокойся. Выработай ровное отношение к нему. Наль — не Анна.

Я приник к его руке, ошеломлённый его словами, как бы ответом на самые затаённые мои мысли.

Все проводили сэра Уоми до коляски, и сели в неё И., Ананда и Хава. Я спросил И., не навестить ли нам с капитаном Жанну, на что он ответил одобрением, сказав, что зайдёт с Анандой за нами к ней.

Экипаж завернул за угол и скрылся из глаз всех провожавших. Вздох сожаления вырвался у всех, а князь плакал как ребёнок. Я подошёл к нему и предложил пойти с нами к Жанне, говоря, что туда приедут И. с Анандой, как только проводят сэра Уоми.

Он согласился, попросил подождать его несколько минут и, видимо, обрадовался случаю не быть сейчас дома. Я понимал его состояние, потому что у самого горла ощущал рыдание и подавил его с большим трудом. Как ум ни говорил мне, что надо сделать над собой усилие и перейти в иное, не унылое настроение, — ощущение моё снова было близко к тому, которое я испытывал у камина в комнате брата, сжигая письма.

— Какая страшная вещь — разлука, — услышал я голос капитана, как бы отголосок собственной мысли.

— Да. Надо что-то понять, какой-то ещё неведомый нам смысл всего происходящего. Научиться воспринимать всё так, как говорит и делает сэр Уоми: «Не тот день считай счастливым, который тебе что-то принёс приятное; а тот, когда ты отдал людям свет сердца». Но для меня это ещё так далеко, — сказал я со вздохом.

— Для вас далеко, — задумчиво ответил мне капитан, — а для меня, боюсь, и вовсе недоступно.

Князь вышел к нам, извиняясь, что задержал, и мы пошли по знойным, как раскалённая печь, улицам, ища всюду тени, но это мало нам помогало.

В магазине мы нашли обеденный — или, вернее, связанный с жарой, как всюду в Константинополе, — перерыв. Анна сидела внизу у шкафа, в кресле за работой, а Жанна всё ещё лежала наверху, хотя уже поднималась ненадолго и пыталась работать.

Анна была бледна, похудела. Но в глазах её уже не было убитого выражения и того отчаяния, какое я видел в них здесь же, во время её разговора с сэром Уоми.

На низкий поклон капитана она приветливо улыбнулась ему и протянула левую руку, говоря, что не может оставить зажатых в правой руке цветов.

Он почтительно поцеловал эту дивную руку со сверкавшим на ней браслетом. «Боже мой, — думал я. — Как страдание и соприкосновение с людьми, одарёнными высшими силами знаний, меняют людей! Ещё так недавно я видел эту гордую красавицу возмущённой откровенным мужским восхищением капитана. И он, стоящий сейчас в таком уважении, с кроткими и добрыми глазами перед ней, — куда же девались капитан-тигр и Анна с иконы? Тех уже нет, нет до основания, а живут новые, — вместо тех, умерших».

Я превратился в «Лёвушку — лови ворон», мысли закипели в моей голове, наскакивая друг на друга, одна другую опрокидывая, не доходя ни в чём до конца,

— и всё точно решая вопрос, лучше ли, надо ли, так меняясь, умирать людям, превращаясь в совершенно другие существа. Зачем?

Мне казалось, я вижу и слышу вопли и стоны тысяч душ, носящихся в хаосе и оплакивающих свои заблуждения, непоправимые ошибки и молящих о помощи.

— Лёвушка, что с вами? — услышал я нежный и слабый голосок Жанны.

— Ах, это вы, Жанна? — вздрогнул я, опомнившись. — Я хотел к вам подняться, да, по обыкновению задумался и заставил вас спуститься сюда, — ответил я, здороваясь с Жанной.

— О, это ничего. Князь мне помог сойти. Ах, Лёвушка, как же вы переменились после болезни. Вы ничуть не похожи на господина младшего доктора, который утешал меня на пароходе. Дети спят, а то, пожалуй, они бы вас сейчас не узнали. Вы совсем, совсем другой, только я не умею сказать и объяснить, в чём перемена, — говорила Жанна, усаживая меня и князя в углу магазина.

— Каждому кажется, что переменились люди, которых он видит, потому что в самом себе перемену замечает человек с трудом. И только тогда, когда что-нибудь огромное входит в его жизнь, — только тогда он отдаёт себе отчёт, как он сам переменился, как выросли его силы и освободился дух.

Мне вы, Жанна, кажетесь не только изменившейся, но вся вы точно сгорели; и вместо прежней Жанны я вижу страдающее существо. Что с вами, дорогая? Ведь нет никаких причин вам так тосковать и плакать, — нежно целуя крохотную, детскую ручку Жанны, сказал я.

— Ах, если бы вы знали, вы бы не поцеловали этой руки, — отирая катившиеся слёзы, ответила мне Жанна. — И перед князем я виновата, и перед Анной, и перед И. Ах, что только я наделала, и как теперь мне всё это исправить? — сквозь слёзы бормотала бедняжка. — Я бы уже была здорова, если бы мысли раскаяния меня не ели. Я нигде не нахожу себе покоя. Только когда лежу в кровати, точно от полога, которым доктор И. закрыл мой уголок, веет на меня успокоением. Когда мне бывает очень плохо, я прижмусь к нему лицом — и станет на сердце тихо!

Я случайно взглянул на Анну и поразился перемене в ней. Склонившись вперёд, глядя неотрывно на Жанну, точно умоляя её замолчать, она сжимала в руках работу, а слёзы капали на её грудь одна за другой. Я понял, какая мука была в ней, как она оплакивала ей предназначенный и не полученный хитон, наш отъезд без неё и свои неправильные сию минуту поступки.

— Анна! — крикнул я, не будучи в силах выдержать её муки. — Отсрочка — не значит потеря. Анна, не плачьте, я не в силах видеть этих слёз, я знаю, что значит в тоске безумно рыдать, видя себя точно на кладбище.

Не думайте сейчас о себе. Думайте об Ананде, о том огромном горе, разочаровании и ответе его за вашу ошибку, которые легли на него, — упав перед ней на колени, говорил я.

Скоро, сейчас, Ананда и И. придут сюда. Неужели возможно встретить их таким убийственным унынием после того, как они проводили сэра Уоми?! Неужели любовь, благодарность и радость, что они живут сейчас с нами, могут выражаться только в слезах о себе.

Глава 25

Обед на пароходе. Опять Браццано и Ибрагим. Отъезд капитана. Жулики и Ольга

Верзила, не смевший нарушить точность морской дисциплины, стучал в дверь, говоря, что время ехать, не то опоздаем. Вскоре мы подъезжали к пароходу.

Капитан уже издали стал махать мне фуражкой, а когда я поднялся по трапу, обнял меня, засверкал тигром и вообще был таким, каким я увидел его в первый раз в Севастополе.

Радушный хозяин, угощавший меня в своей капитанской каюте, горячо благодарил за мои подарки и, главное, за письмо, которое сделало его богаче, как он выразился. Потому что ещё никто и никогда не говорил ему о такой преданности и в таких простых, но много значащих словах.

— Впервые я не раздумывал, не сомневался, а сразу почувствовал, что каждое ваше слово — правда. И не могу вам выразить, как я дорожу платком и книжкой. Платок в моём кармане, а книжка у изголовья. Пока буду жив — с ними не расстанусь.

— Вот вам ещё один привет от Ананды, который он только что дал мне. Это предназначается вашей жене, когда вы привезёте её после свадьбы домой, — сказал я, подавая капитану футляр.

— Что же здесь такое? — с удивлением глядя на меня, спросил он.

— Не знаю, не видел, — боясь сказать какое-либо лишнее слово, отвечал я.

Капитан открыл футляр, и невольный крик изумления вырвался у него.

Он протянул его мне, а я увидел в нём точно такой же медальон, который И. приказал Строгановой отдать, как похищенный у Анны, только поменьше. Так же в нём врезаны были фиалки из аметистов и бриллиантов, и надет он был на цепочку из этих же камней.

Я молча рассматривал эту вещь, думая о Лизе. Какое-то беспокойство поднималось во мне. Я не понимал, почему у каждого из окружающих меня друзей был какой-то свой особый талисман, свой цветок и непонятная мне, но совершенно особая, своя линия поведения.

— О чём вы так задумались, Лёвушка? Вы думаете о моей жене?

— Нет, капитан. Я ведь не знаю, кто будет вашей женой и на какой прелестной шее будет красоваться этот медальон. Но я думаю, что если Ананда дал вам кольцо с аметистом и даёт вашей жене такой же камень, то он, очевидно, думает, что между вами и ею будет царить гармония в каких-то главных основах жизни. Следовательно, за вас можно быть спокойным. И. говорит, что Ананда не только мудрец, но и принц.

— Не знаю, принц ли он по крови, и сомневаюсь в этом, — задумчиво сказал капитан. — Но что сила его мудрости и величие его духа настолько выше обычных, что их можно назвать царственными, — это вне всяких сомнений!

— Конечно, капитан, это вне всяких сомнений. Но для тех, кто видит чужое совершенство и не может его достичь сам, — оно, точно недостижимое сокровище, только раздражает и бередит. А чтобы заразиться желанием самому встать на этот путь

каждого человека. Я боюсь только стать «лови ворон» и, в рассеянности, что-нибудь брякнуть, — ответил я Ананде.

— Встаньте, Лёвушка, — обнимая меня, сказала Анна. — Вы глубоко правы. Только горькая мысль об одной себе заставила меня опять плакать. А между тем я уже всё поняла, и всё благословила, и всё приняла.

Сядьте здесь возле меня на минуту, дружок Лёвушка. Поверьте, я уже утихла внутри. Это отголосок бури, который вы вовремя помогли мне прервать. Много лет я думала, что в сердце моем живёт одна светлая любовь. Я убедилась, что там ещё лежала, свернувшись, змея ревности и сомнений.

Слава Богу, что она здесь развернулась и раскрыла мне глаза. Ананда получил удар, но всё же мог удержать меня возле себя так, чтобы я не выпустила его руки из своей. Вы напомнили мне, что мои слёзы задевают всё его существо, что он их чувствует как слёзы гноя и крови. Я больше плакать не буду; благодарю за ваши слова — они помогли мне.

Она отёрла глаза, подошла к Жанне и, нежно её обняв, вытерла её слёзы платком сэра Уоми.

Надрыв, который я пережил, почти лишил меня чувств. Я неподвижно сидел в кресле; сердце моё билось как молот; в спине, по всему хребту, точно бежал огонь; я с трудом дышал и, как мне казалось, падал в пропасть.

— Лёвушка, ты всех здесь напугал, — услышал я голос Ананды и увидел его возле себя. — Выпей-ка вот это; я думал, что ты сильнее, а ты всё ещё слаб, — и он подал мне рюмку с каплями.

Вскоре я совсем пришёл в себя, спросил, где И., и, узнав, что он прошёл к Строганову и вскоре тоже придёт сюда, совсем успокоился.

Я обвёл всех глазами, заметил, что Хава пристально смотрела на меня, а все остальные имели смущённый вид. Я взял руку Ананды, неожиданно для него поднёс её к губам и сказал:

— Простите мне, Ананда. Я немного половиворонил, чем всех расстроил и привёл в такое состояние, что они похожи на утопленников. Вот, вы тоже думали, что я крепче, и я обманул ваше доверие. Это мне очень больно, я постараюсь быть сильнее. Но ведь это всё пошло от вашей дервишской шапки, — улыбнулся я.

— Нет, мой мальчик, ты ничьего доверия не обманул. И никто здесь не мог обмануть и не обманул меня. Всё, что вышло не так, как я предполагал, совершилось только потому, что я был в старинном долгу у людей и хотел поскорее вернуть мой долг сторицей. Я не заметил, что не надо было так усиленно двигать людей вперёд. Зов даётся однажды; я же дал его дважды, за что и понесу теперь ответ.

Я не всё понял. Какой, когда и зачем даётся зов? Но я понял, что он дал его вторично Анне и что этого не надо было делать.

Голос Ананды, — и всегда неповторимо прекрасный, — нёс в себе на этот раз такую нежность, утешение, такую простую доброту, что все утихли, всем стало легко, чисто, радостно. Лица у всех прояснились и стали добры. Каждый точно вобрал в себя кусочек энергии самого Ананды, и когда через некоторое время вошли И. и Строганов, ни на одном лице уже не было ни клочка уныния и слёз.

Разбившись кучками, я и Жанна, князь и И., капитан и Строганов, Анна и Ананда, — все как будто окрылённые и обновлённые, обменивались простыми словами, но слова эти получили какой-то новый смысл от нового сияния и мира в каждом сердце.

— Друзья мои. Через день нас покинут капитан и Хава. Завтра мне хотелось бы, прощаясь с ними, угостить их музыкой. Можно ли располагать вашим залом, Анна? — спросил Ананда.

— Как можете вы спрашивать об этом? Для всех ваши песни и игра несут столько счастья! Мне же сэр Уоми велел играть и петь людям как можно больше. А уж о своём восторге играть с вами я и не говорю, — ответила она.

Перерыв в работе кончился. Радуясь завтрашней музыке, мы покинули магазин, где с его хозяйками остался только Борис Фёдорович.

И. с Анандой и князем не смущались зноем и шли довольно быстро, оставив нас с капитаном далеко позади. Я еле двигался; зной, к которому я ещё не привык, меня всего истомил, а капитан отстал вместе со мной, желая что-то сказать. Когда расстояние между нами и нашими друзьями увеличилось настолько, что расслышать нас было нельзя, он сказал:

— У меня к вам просьба. Я получил сейчас из дома так много денег, что их мне девать некуда. Я хочу часть их отдать Жанне с тем условием, чтобы она никогда не узнала, кто их ей дал. Я знаю, что И. обеспечил ей первые годы работы, знаю и то, что княгиня, до некоторой степени, позаботилась о детях. Но мне хотелось бы влить уверенность в это бедное существо, которое страдает, страдало и — не знаю почему, как и откуда, но я ясно это сознаю, — будет ещё очень много страдать.

За свою скитальческую жизнь я видел такие существа — по каким-то, неуловимым для моего понимания законам, — страдающие всю жизнь, когда даже нет особых, всем видимых причин.

Сам я не успею уже положить в банк на её имя деньги, так как эта операция займёт не менее двух часов. А дел у меня, так как я прогулял почти весь день сегодня, будет масса.

Вторую же часть денег я прошу вас взять в своё распоряжение. И если встретите людей, которым сможет прийти моя помощь вашими руками, — я буду очень счастлив.

Ну, вот мы и у калитки. До свидания, дружок Лёвушка. По всей вероятности, мы увидимся только завтра вечером у Анны. Возьмите деньги.

Он сунул мне в руки свёрток, довольно небрежно завёрнутый в бумагу, и мигом скрылся.

В комнате я застал И., рекомендовавшего мне освежиться душем. Но я чувствовал такое сильное утомление от зноя, что еле добрёл до кресла и сел в полном изнеможении, нелепо держа свёрток в руках и не зная, что с ним делать.

На вопрос И., почему я не положу свой свёрток куда-нибудь, я рассказал ему, что это деньги капитана и какое назначение им он приказал мне дать. При этом я передал всё, что думал капитан о Жанне.

— Молодец твой капитан, Лёвушка. Что касается денег для Жанны лично — то он предупредил желание сэра Уоми, который велел мне обеспечить её. Как капитан угадал мысль сэра Уоми о фризиях, так и вторую его мысль привёл в действие, никем к тому не побуждаемый!

Что же касается денег, отданных в полное твоё распоряжение, думаю, что капитан хотел их подарить тебе, дружок, чтобы и ты чувствовал себя независимым в дальнейшем, пока сам не заработаешь себе на жизнь.

— Почему же моя виолончель человеческая? А какая ещё бывает? — смеялся Ананда, наполняя металлом всё вокруг.

— Ваша виолончель поёт человеческим голосом, поэтому я её так и назвал. Какая ещё бывает виолончель — не знаю. Но что ваш смех, конечно, «звон мечей», — это знаю теперь уже наверное! — вскричал я.

— Дерзкий мальчишка! Вот заставлю же тебя плакать вечером.

— Ни, ни, и не думайте! На завтра для капитана надо сберечь слезинку на прощание. А то вы ведь ненасытный! Вам — всё до конца. Ан и ему надо!

Не только Ананда, но и И. с князем смеялись, я же залился хохотом и убежал к себе.

Через некоторое время оба мои друга вошли в мою комнату.

— Ну, убегающий от звона мечей с поля сражения трусишка, признавайся, какую ещё каверзу придумал ты мне? — шутил Ананда.

— Вам я каверзы придумать не в силах. Вы вмиг всё рассеете, только взглянете своими звёздами.

— Как? — прервал меня Ананда. — Так я не только звон мечей, но и звёзды?

— Ну, тут уж я не виноват, что вам Матерь-Жизнь дала глаза-звёзды. Это вы с неё спросите. А вот что сказать капитану от вас? Я еду к нему на пароход обедать. Что мне ему от вас отвезти? — спросил я, представляя себе радость капитана, если бы Ананда послал ему привет.

— Это очень хорошо, что ты так верен другу и думаешь о нём. Пойдём со мною, я, может быть, что-нибудь для него найду.

Мы спустились по винтовой лестнице прямо к Ананде, в его очаровательную комнату.

Как здесь было хорошо! Какая-то особенно лёгкая атмосфера была в этой комнате. Я сел в кресло и забыл весь мир. Так и не ушёл бы отсюда вовек. Я наслаждался гармонией, окружавшей меня.

Не знаю, минуту я просидел или час, но отдохнул я — точно неделю спал.

— Отдай это капитану. Пусть он передаст эту вещь своей жене, когда вернётся домой после свадьбы, — подавая мне небольшой футляр странной формы из фиолетовой кожи, сказал Ананда.

— А я и не знал, что капитан так скоро женится, — беря футляр, сказал я.

— Он женится, быть может, и не так скоро, но, во всяком случае, в следующее ваше свидание он будет уже женат.

— Ах, как бы я хотел услышать игру Лизы! Лучше ли, чем Анна? И такой ли захват в её игре, что дышать не можешь? До чего я глуп! А в вагоне я всё примерялся к Лизе и раздумывал, любит ли она меня, — залившись смехом, вспоминал я свои вагонные размышления.

— Когда будешь обедать с капитаном, не говори ему ничего о Лизе. Даже не спрашивай, поедет ли он в Гурзуф, хотя бы он сам когда-то говорил тебе об этом.

— Это ваше приказание, Ананда, я должен хорошенько запомнить, так как хотел непременно поговорить с ним о Лизе. Теперь, конечно, воздержусь.

— И мой запрет не вызывает в тебе ни протеста, ни возмущения?

— Как же могу я протестовать против ваших запретов, раз я верю и по собственному опыту знаю, как вы угадываете мысли людей и как правильно определяете

Я поцеловал обе её ручки. И. сказал ей, что Хава вернётся к ней только после музыки, но чтобы она ни о чём не волновалась и ложилась спать, приняв данное им лекарство.

Мы пошли домой, но на сердце у меня стало тяжело. Мне было жалко Жанну. Я сознавал, что она не сможет создать ни себе, ни детям спокойной, радостной жизни. Как-то особенно ясно представлялась мне её будущая жизнь в целом ряде лет. И я почувствовал, что, окружённая вниманием и заботами и князя, и Анны, она не будет ни откровенна, ни дружна с ними, так как культура её не даст ей увидеть их внутренней силы, к которой можно примкнуть, а доброту их она будет принимать за снисхождение к себе.

— Что, Лёвушка, сложности жизни допекают тебя?

— Допекают, Лоллион, — ответил я, уже не поражаясь больше его уменьем проникать в мои мысли. — И не то досадно мне, что сила в людях так зря растрачивается на вечные мысли об одних себе. Но то, что человек закрепощает себя в этих постоянных мыслях о бытовом блаженстве и элементарной близости. Он поверяет другому свои тайны и секреты, недалеко уходящие от кухни и спальни, воображает, что это-то и есть дружба, и лишает свою мысль силы проникать интуитивно в смысл жизни; тратя так попусту свой день, человек не ищет не только знаний, но даже простой образованности. И в такой жизни нет места ни для священного порыва любви к родине или другому человеку, ни для великой идеи Бога, ни для радостей творчества. Неужели быт — это жизнь?

— Для многих миллионов — это единственно приемлемая для них жизнь. А для всего человечества — это неминуемая
стадия. Чтобы понять очарование и радость раскрепощения, надо сначала понять плен и рабство от окружающих вещей и страстей. Чтобы понять мощь свободного духа, творящего в независимости, надо хотя бы на мгновение познать в себе эту независимость, в себе ощутить полную свободу, чтобы желать расти всё дальше и выше; всё чище и проще сбрасывает с себя ярмо личных привязанностей тот, кто понял жизнь как вечность. Обыватель считает жизнь свою убогой, если в ней не бушуют порывы, если он не имеет возможности блистать во внешней жизни. Отсюда — от жажды славы, богатства и власти — доходят люди до той ступени падения, что ты видел в Браццано. Но есть и ещё худшие. И только избранник по своей внутренней сердечной доброте и запросам, а по вне ничем не выделяющийся человек может увлекаться идеями и мыслями, о которых ты сейчас говорил. Великие встречи, встречи, переворачивающие всю жизнь человека, редки, Лёвушка. Но зато имевший однажды такую встречу, внезапно перерождается и уже не возвращается больше на прежнюю дорогу быта в маленькое, обывательское счастье. Он уже знает, что такое Свет на Пути.

Подходя к дому, мы столкнулись с Анандой и князем, возвращавшимися в экипаже домой. Ананда приветливо поздоровался со мной, пытливо на меня посмотрел и, улыбаясь, спросил:

— Как, Лёвушка? Сердце пощипывает! А почему не плачешь?

— Приберегаю к вечеру. Боюсь, вдруг сегодня не заплачу от вашей человеческой виолончели и ваших песен.

— О, нет, дорогой И. Капитан в очень простых отношениях со мною. И если бы он хотел дать их лично мне, он поступил бы как молодой Али, оставив их в письме. У меня нет сомнений в этом, и лично себе я бы их не взял никогда. Я думаю, что я так малоопытен и, быть может, не сумею распорядиться ими как следует. Но при вас и это отпадает. Одно ясно мне, что деньги эти я употреблю — во имя Лизы и Анны — на покупку инструментов талантливым беднякам-музыкантам, если таких встречу до нового свидания с капитаном. Если же не встречу или вы не укажете мне иного их применения — деньги вернутся к нему. И я очень хотел бы, Лоллион, услышать об этом ваше мнение.

— Поступи как знаешь сам, дружок. Запрета здесь нет никакого. Но почему ты решил, что лично себе не оставишь этих денег? Разве твой брат не мог бы нуждаться в них?

— Мой брат — мужчина и чрезвычайно благородный человек. Если он решил жениться — значит, он не настолько беден, чтобы не иметь возможности обеспечить жену. А если бы я узнал, что он нуждается, то пошёл бы в какую угодно тяжёлую кабалу, но послал бы ему только то, что смог бы заработать сам. Я и так в бесконечном долгу у вас, у Флорентийца и у молодого Али. Конечно, я в долгу и у брата. Но если я могу ещё рассчитывать возвратить ему свой долг, то уж вам я никогда не смогу вернуть и сотой доли.

— Всё это предрассудок, Лёвушка. Человек закрепощает себя в долгах и обязанностях. Иногда он так утопает в мыслях о своих нравственных долгах, что положительно похож на раба, подгоняемого со всех сторон плёткой долга. А смысл жизни — в освобождении. Только то из доброты человека и его добрых дел достигает творческого результата, что сделано легко и просто.

Принимай всё, что посылает лично тебе жизнь, совершенствуйся, учись и рассматривай себя как канал, как соединительное звено между нами, которых ты ставишь так высоко, и людьми, которым сострадаешь. Передавай, разбрасывай полной горстью всем встречным всё то, что поймёшь от нас и через нас. Всё высокое, чего коснёшься, неси земле — и выполнишь свою задачу жизни. Но то будет не тяжкий и скучный долг добродетели, а радость и мир твоей собственной звенящей любви.

— Далеко ещё, Лоллион, мне до всей той мудрости, которую я слышу и вижу в вас. Я самых простых вещей не умею делать. Всё раздражает меня. Иногда даю себе слово помнить о вас, о Флорентийце, поступать так, как будто бы вы стоите рядом, — и при первой же неприятности споткнусь, разгорячусь — и всё полетело вверх дном.

— Пока ты будешь повторять себе — от ума, — что я рядом с тобой, всегда твоё самообладание будет пороховой бочкой. Как только ты почувствуешь, что сердце твоё живёт в моём и моё — в твоём, что рука твоя в моей руке, ты уже и думать не будешь о самообладании как о самоцели. Ты будешь его вырабатывать, чтобы всегда быть готовым выполнить возложенную на тебя задачу. И времени думать о себе у тебя не будет...

И. помолчал, думая о чём-то, и продолжал:

— Сегодня мы с тобой не будем обедать с князем, которому надо очень обо многом переговорить с Анандой. Если ты отдохнул, мы можем с тобой поехать к нашему другу кондитеру, заказать ему пирог к завтрашнему вечеру и у него же поесть.

Но предварительно мы заехали бы в банк; у меня там есть один знакомый, который быстро сделает нам всё, и уже завтра Жанна будет извещена, что она владелица какого-то сокровища. При её французской, буржуазной психологии ей это будет огромным облегчением в жизни.

Я был очень благодарен И. за его неизменную доброту ко мне. У меня вертелся на языке вопрос о Генри, о Браццано, хотел бы я спросить кое-что и о Хаве, — но ни о чём не спросил, побежал в душ, и вскоре мы уже были в огромном зале банка, где сотни спускающихся с потолка вращающихся вееров не могли умерить жары.

Одна часть денег была положена на имя Жанны, с правом пользоваться ею как угодно. Вторая была переведена на моё имя по адресу, указанному мне И., с какими-то мудрёными индусскими названиями, никогда мною не слышанными.

Пока мы сидели в банке, ожидая исполнения нашего заказа, я поделился с И. своей печалью, что ничего не могу подарить капитану, давшему мне на память такое великолепное кольцо.

— Не горюй об этом. Капитан очень счастливый человек. Он получил от Ананды кольцо, как залог их вечной дружбы. Ананде капитан вернул вещь, имеющую для него очень большое значение. Вообще теперь путь капитана не будет одиноким, и Ананда подаст ему всегда помощь.

Тебе же я могу дать платок сэра Уоми, точно такой же, какой он дал Анне. Если хочешь, — подари его ему и заверни в него книжку, которую я тоже дам тебе для него. Ты можешь написать ему письмо и положи всё к нему на стол. Он вернётся и будет радоваться твоему подарку больше, чем всем драгоценностям, которые ты мог бы ему подарить.

Я от всей души благодарил И., сказал ему: «Опять всё от вас!»

Через некоторое время нас вызвали к кассовому окошку, всё было оформлено, и мы пошли к кондитеру, покинув банк почти в минуту его закрытия.

На улице не было уже удушливой жары, слегка подуло влагой с моря — и я ожил.

— Трудно будет тебе привыкать к климату Индии, Лёвушка. Надо будет снестись с Флорентийцем и получить его указания, как закалить твоё здоровье, — задумчиво сказал И., беря меня под руку.

— Велел мне сэр Уоми ездить верхом, заниматься гимнастикой и боксом, а моя вторая болезнь всё перевернула, — ответил я.

Дойдя до кондитерской, мы сдали хозяину наш заказ на завтра. Я просил его приготовить непременно ещё такой пирог, как он прислал мне для принца-мудреца. Накормив нас опять на том же уединённом балконе, хозяин сообщил нам новость Константинополя. На этой неделе произошли огромные события и аресты. Один из самых больших богачей города, некто Браццано, и около десяти его приятелей, — таких же биржевых воротил, державших в своих руках весь торговый Константинополь, оказались шайкой злодеев, объявили себя банкротами и разорили своим крахом половину города, в том числе и некоторых его друзей. Часть злодеев успела бежать, часть арестована, а где находится главарь их, Браццано, никто пока не знает.

Мы выслушали его рассказ, посочувствовали горю его приятелей и вернулись домой.

последнее время внушаете им постоянный страх, в любую минуту они ждут от вас окрика или шлепка.

Мужайтесь, Жанна. Разные чувства жили в вас по отношению к Анне. Только теперь, когда вы увидели, что Анна — вторая мать вашим детям и настоящая воспитательница, вы смирились, и лишь изредка в сердце вашем шевелится ревность.

Ваша девочка умна не по летам. Это организм очень тонкий, богато одарённый. Думайте, что ей придётся жить в условиях более сложных, чем прожили вы свою молодость. Остерегайтесь постоянных раздражений и повышенного тона с детьми. Незаметно между вами и ими может вырасти пропасть. Они перестанут видеть в вас первого друга и, как бы вы ни любили их, не поверят вашей любви, если вы говорите с ними постоянно раздражённым тоном.

— Я всё это понимаю — и ничего не могу сделать. Раньше я думала, что характер легко поправлять. Но теперь вижу, что не могу и часу удержаться в спокойствии, — ответила Жанна.

— И всё же — как это ни вызывает в вас протеста — думайте о детях прежде всего, а потом уж о себе, — сказал И., подымаясь и пожимая руки Жанне.

Я заметил, что она снова просветлела, лицо перестало морщиться и дёргаться и на губах мелькнула улыбка.

Прощаясь с нами, она спрашивала, скоро ли мы уезжаем, едем ли снова на пароходе с капитаном, на что И. отвечал ей, что уедем скоро, а каким путём — ещё не решили.

— Как это будет для меня ужасно! Остаться здесь без вас, — я даже ещё не представляю себе этого и гоню эти мысли. Я так привязана к вам, доктор И., и в особенности к Лёвушке. Я вижу в вас моих единственных благодетелей.

— Жанна, Жанна, — сказал я с упрёком. — Разве только мы помогли вам на пароходе? А капитан? Его заботы о вас вы уже забыли? А то, что здесь, рядом с вами, живёт и трудится Анна? Анна, ни разу не давшая вам почувствовать своего превосходства? А вы в вашей благодарной памяти сохраняете только нас? Тогда как обо мне вообще не может быть и речи, что я не раз уже пытался вам объяснить.

— Да, Лёвушка, и это всё я понимаю. И князя я ценю, и всех-всех. Но ничего не могу поделать: всё же доктор И. останется для меня недосягаемым божеством, капитан — знатным сэром, в доме которого меня, шляпницу, дальше передней или туалетной и не пустили бы, а вы для меня — всё равно что родное сердце. Я всем очень благодарна, знаю, что всем должна отслужить за их доброту, а вам, уверена, могу ничем во всю жизнь не отслуживать. И если у вас будет дом, то я в нём всегда найду приют, хотя буду стара и безобразна. Не умею, не знаю, как это сказать — я такая глупая, — тихо прибавила Жанна.

У неё текли слёзы по щекам, и я не мог видеть бедняжку так много плачущей.

— Жанна, — обнимая её, сказал я. — Это потому вы чувствуете такую уверенность во мне, что я ровно такой же ребёнок, неопытный и неумелый в жизни, как вы. И правда, я принял вас и ваших детей до конца в моё сердце. Но и другие — ещё больше, чем я, — поступают относительно вас так же. Но вы можете видеть и понимать только моё сердце. И не можете ни видеть, ни понимать сердца людей, выше вас стоящих. Потому и думаете так только обо мне одном.

цветок, а сейчас вы больная старушка, — говорил ей И. — Всё, в чём я могу вас уверить, что ни князь, ни я, ни Лёвушка — никто из нас не посылал вам этой суммы. Примите её смиренно и спокойно. Если удастся, сохраните её целиком для детей. Быть может, встретите какую-нибудь мать в таком печальном положении, как были вы сами на пароходе, — и будете счастливы, что ваша рука может передать ей помощь чьего-то доброго сердца и, возможно, спасти несчастных от голода и нищеты.

— Да! Вот это! Это действительно может заставить меня принять деньги неизвестного мне добряка, который не хочет сам делать своих добрых дел, — снова потирая свой лоб, как бы желая стереть с него какое-то воспоминание, сказала Жанна.

— Что с вами, Жанна? Почему вы снова чуть не плачете? Зачем вы всё трёте лоб? — спросил я, не будучи в силах переносить её страдания и вспоминая определение капитана о ней.

— Ах, Лёвушка, я в себя не могу прийти от одного ужасного сна. Я боюсь его кому-нибудь рассказать, потому что надо мной будут смеяться или сочтут за сумасшедшую. А я так ужасаюсь внутри себя этим сном, что и вправду боюсь сойти с ума.

— Какой же сон видели вы? Расскажите нам всё, вам будет легче, а может быть, мы и поможем вам, — сказал ласково И.

— Видите ли, доктор И., мне снилось, что страшные глаза Браццано смотрят на меня, а кто-то, как будто Леонид — но в этом я не уверена — даёт мне браслет, — ну точь-в-точь как Анна носит — и нож. И Браццано велит мне бежать к князю в дом, найти там Лёвушку и передать ему браслет. А если меня не будут пускать, то хоть убить, но Лёвушку найти. И я бегу. Бегу по каким-то улицам, нахожу дом, вбегаю в комнату и уже знаю, где найти Лёвушку, как кто-то мне не даёт дороги. Я борюсь, умоляю, наконец слышу голос Браццано: «Бей или я тебя убью», — хватаю нож... и всё исчезает, только ваше лицо стоит передо мной, доктор И. Такое суровое, грозное лицо...

И я просыпаюсь. Не могу понять, ни где я, ни что со мной... Засыпаю и снова тот же сон. Это, право, до такой степени ужасно, что я рыдаю часами, не в силах преодолеть ужаса, в страхе, что снова увижу этот ужасный сон.

— Бедняжка Жанна, — взяв обе её крохотные ручки в свои, сказал И. — Ну где же этим ручкам совершить убийство? Успокойтесь. Забудьте навсегда этот сон, тем более что Браццано, совершенно больного, увезли из Константинополя. Он живёт сейчас где-то в окрестностях. Ваш страх совершенно неоснователен. Перестаньте думать обо всём этом. И моё лицо вспоминайте и знайте ласковым, а не суровым. Отчего вы отказались сегодня идти к Анне слушать музыку? — всё держа её ручки в своих, спросил И.

— Анне я сказала, что побуду с детьми. И правда, я их так забросила последнее время. Если бы не Анна, плохо бы им пришлось. Но на самом деле я не могу без содрогания видеть ни Строганову, ни Леонида. Почему я их стала так бояться, сама не знаю. Но в их присутствии я дрожу с головы до ног от каких-то предчувствий.

— Страх — плохой советчик, Жанна. Вы — мать. Какая огромная ответственность на вас за детей. Чтобы воспитать своих малюток, вы прежде всего сами должны воспитывать себя. У вас нет не только выдержки и вежливости с детьми, но вы в

Мысли о Браццано и слова сэра Уоми, что мой поцелуй перенёс силу мирового закона пощады в его ужасную жизнь, не давали мне покоя. Я уже стал внутренне опять раздражаться на целую сеть каких-то таинственных событий, готов был крикнуть: «Я ненавижу тайны», как услышал голос И.:

— Лёвушка, не всё то тайны, чего ты ещё не понимаешь. Но если ты хотел обрадовать чем-нибудь милого капитана и написать ему письмо, то в этом состоянии раздражения, в которое ты впал, ты ничего не только радостного, но и просто путного не сделаешь.

Возьми мою руку, почувствуй мою к тебе любовь и постарайся вместе с этим платком сэра Уоми передать всю свою чистую и верную дружбу капитану.

Приготовь в своей душе такое же тщательно прибранное рабочее место, как это сделал на твоём столе капитан, поставив тебе цветы, которых ты до сих пор не заметил.

Пиши ему не письмо, обдумывая его стиль и слова. А брось ему цветок твоей молодой души, полной порыва той высокой любви, которая заставила тебя дать поцелуй падшему, но разбитому и униженному существу.

Дай капитану такой же прощальный привет, как тебе его давали и Флорентиец, и сэр Уоми. Они думали только о тебе. Думай и ты только о нём. Постарайся встать в его положение; подумай о его предстоящей жизни и представь себя в его обстоятельствах.

Любовь к человеку поведёт твоё перо с таким тактом, что капитан поймёт и увидит в лице твоём друга не временного, в зависимости от меняющихся условностей, а друга неизменно верного, готового явиться на помощь по первому зову и разделить все несчастья или всю радость.

И. стоял, обнимая меня, голос его звучал так ласково. Я точно растворился в каком-то мире, радости, благоговении. Всё мелкое, ничтожное отошло куда-то. Я увидел самый высокий, скрытый от всех храм человеческого сердца, о котором не говорят, но который движет и животворит всё, что ему встречается.

Хорошо мне стало. Я взял из рук И. синий платок, пошёл в его комнату за обещанной для капитана книгой и вернулся к себе, чтобы сесть за письмо.

Немного писем писал я на своём веку с такой радостью и с такой умилённой душой, как писал в этот раз капитану. Точно само моё сердце водило пером в моей руке, так легко и весело я писал.

«Мой дорогой друг, мой храбрый капитан, который ещё ни разу в жизни не любил до конца, не был ни верен, ни бесстрашен до конца, — писал я. — В эту минуту, когда я переживаю разлуку с Вами — и кто может знать, как долго продлится она, — сердце моё открыто Вам действительно до конца. И все мысли моей ловивороной головы, как и все силы сердца, принадлежат в эту минуту Вам одному.

Пытка разлуки, так томящая людей пытка неизвестности, заставляющая оплакивать любимое существо, покидающее нас для нового периода неведомой жизни, — не существует для меня.

Я знаю, что как бы ни разлучила нас жизнь и куда бы ни забросила она каждого из нас, Ваш образ для меня и не страница жизни, и не её эпизод. Но Вы мой вечный спутник, доброта и любовь которого — так незаслуженно мною и так великодушно

мне поданные — вызвали во мне ответную дружескую любовь, верность которой отдана Вам и навсегда, и до конца.

Я не могу сейчас определить, как и чем я мог бы отплатить Вам сколько-нибудь за всю Вашу нежность и баловство. Но я знаю твёрдо, что куда бы и когда бы Вы меня ни вызвали — если моя маленькая помощь Вам понадобится, — я буду подле Вас.

Ваше желание относительно Жанны уже исполнено. И завтра она будет владелицей своего капитала, за что — я не сомневаюсь — боги воздадут Вам должное тоже “до конца”.

Вторая часть денег, отданная Вами в моё личное распоряжение, назначается мною для помощи бедным музыкальным талантам. Во имя Лизы и Анны (о, как бы я хотел когда-нибудь услышать Лизу) я буду покупать инструменты и помогать учиться юным талантам Вашим именем, капитан.

Я не ручаюсь, что, обнимая Вас, держа Ваши тонкие, прекрасные руки в своих при нашей разлуке, я не заплачу. Но это будут только слёзы балованного Вами ребёнка, теряющего своего снисходительного и ласкового покровителя.

Тот же мужчина, который Вам пишет сейчас, благоговейно целует платок сэра Уоми, который просит Вас принять на память, как и книгу И. И этот же друг-мужчина говорит Вам: между нами нет разлуки. Есть один и тот же путь, на котором мы будем сходиться и расходиться, но верность сердца будет жить до конца.

Ваш “Лёвушка — лови ворон”».

Я запечатал письмо, завернул книгу И. в платок, а сверху — в очаровательную, мягкую, гофрированную и блестящую как шёлк константинопольскую бумагу, обвязал ленточкой, заткнул за неё самые лучшие, белую и красную, из роз капитана и отнёс к нему в комнату, положив свёрток на ночной столик.

Спать мне не хотелось. Я вышел на балкон и стал думать о сэре Уоми. Как и где он теперь едет? Как едут с ним и доедут ли фризии капитана? Посадит ли он их в своём саду?

Через несколько минут ко мне вышел И. и предложил пройтись. Мы вышли в тихий сад, кругом сверкали зарницы и вдали уже погрохатывал гром. Мы всё же успели подышать освежённым воздухом, поговорили о завтрашнем плане, условились о часе посещения княгини и Жанны и вернулись в дом с первыми каплями дождя, столь необычно редкого в это время года в Константинополе.

Утро следующего дня началось для меня неожиданно поздно. Почему-то я проспал непривычно долго. Никто меня не разбудил, и сейчас в обеих соседних комнатах стояла полная тишина.

Я как-то не сразу отдал себе отчёт, что сегодня последний день стоянки капитана, что завтра к вечеру ещё одна дорогая фигура друга исчезнет из моих глаз, плотно поселившись в моём сердце и заняв там своё, абонированное место.

— Не сердце, а резиновый мешок, — подумал я. — Как странно устроен человек! Так недавно в моём сердце царил единственный человек — мой брат. Потом — точно не образ брата сжался, а сердце расширилось — и там засиял рядом с ним Флорентиец. После там поселился, властно заняв не менее царское место, сэр Уоми. Теперь же там живут уже и И., и оба Али, и капитан, Ананда и Анна, Жанна и её дети, князь и даже княгиня. А если внимательно присмотреться, встречаю там

и Строгановых, и обоих турков, и... Господи, только этого недоставало, — самого Браццано.

Уехав в какие-то далёкие мысли, я не заметил, как вошёл И., но услышал, как он весело рассмеялся.

Опомнившись, я хотел спросить его о причине его смеха, как увидел, что сижу на диване, держа в руках рубашку, в одной туфле, завёрнутый в мохнатую простыню.

— Ты, Лёвушка, через двадцать минут должен быть со мною у Жанны, мы ведь с тобой вчера об этом сговорились. А ты ещё не оделся после душа, и, кажется, безнадёжно ждать тебя.

Страшно сконфуженный, я сказал, что будем у Жанны вовремя. Я молниеносно оделся и у парадных дверей столкнулся с Верзилой, нёсшим мне записку от капитана.

Капитан писал, что дела его идут неожиданно хорошо и что он может ждать меня обедать у себя на пароходе в семь часов, с тем чтобы к девяти часам быть вместе у Анны.

Я очень обрадовался. И. одобрил предложение капитана, а Верзила сказал, что ему велено в шесть с половиной зайти за мной и доставить меня в шлюпке на пароход.

Мы помчались к Жанне. Я так был голоден, что, не разбирая жары и тени, бежал без труда и воркотни.

— Я вижу, голод лучшее средство для твоей неразборчивости к жаре, — подтрунивал надо мною И., уверяя, что Жанна меня не накормит, что в праздник ей тоже хочется полениться и отдохнуть.

Но Жанна была свежа и прелестна, немедленно усадила нас за стол, и французский завтрак был мною, и даже И., оценён по достоинству.

Когда мы перешли в её комнату, где весь угол с кроватью был задёрнут её новым, необыкновенным пологом, Жанна показала нам бумагу из банка, полученную ею рано утром, содержания которой, написанного по-турецки и английски, она не понимала.

И. перевёл ей на французский язык смысл бумаги. Жанна, с остановившимися глазами, в полном удивлении, молча смотрела на И. Долго, томительно долго просидев в этой напряжённой позе, она наконец сказала, потирая лоб обеими руками:

— Я не хочу, я не могу этого принять. Поищите, пожалуйста, кто это мне послал.

— Здесь никаких указаний нет, даже не сказано, из какого города это прислано вам. Говорится только, что «Банк имеет честь известить госпожу Жанну Моранье о поступлении на её имя вклада, полной владелицей которого она состоит со вчерашнего дня», — прочёл ей ещё раз выдержку из банковской бумаги И.

— Это опять князь. Нет, нет, невозможно. От денег для детей я не имела права отказаться, но для себя... Я должна работать. Вы дали мне в долг так много, доктор И., что не все ваши деньги ушли на оборудование магазина. И мы с Анной уже заработали много больше, чем рассчитывали. Я должна вернуть это князю.

— Чтобы вернуть князю эти деньги, надо быть уверенной, что их дал вам он. В какое положение вы поставите себя и его, если ему и в голову не приходило посылать их вам! Успокойтесь. Вы вообще за последнее время слишком много волнуетесь, и только поэтому так неустойчиво ваше здоровье. Час назад вы походили на свежий

видимому, даже не сознавала, что обстановка вокруг неё другая, что она лежит не в своей спальне, не на своей кровати.

— Снова много будет спать княгиня. И кормить вам придётся её с ложки, — обратился Ананда к сиделке. — Вы, конечно, будете чередоваться с вашей матерью, но обеим вам будет трудно. Я, быть может, найду вам ещё помощниц, которые изредка будут вас сменять. Но это в дальнейшем. Сегодня же с пяти часов мы с Лёвушкой просидим у княгини до восьми часов, а вы можете сделать то дело, о котором вам говорила Ольга вчера. Не объясняйте мне ничего пока, — перебил он желавшую ему что-то сказать сиделку. — Думайте не о раскаянии теперь, а о том, как одна минута недостаточно честного вашего поведения может стоить жизни другому человеку. В пять часов мы будем здесь, — повторил он изумлённой сиделке, — и до восьми вы свободны.

Дав ей точные указания, что делать до пяти часов, Ананда взял меня под руку, и мы прошли с ним в мою комнату.

Признаться, мысль о сидящей у камина Ольге мучила меня всё время.

Первое, что мы увидели, это был перепуганный взгляд Ольги, всё так же сидевшей у камина и потиравшей свои руки.

— Какое счастье, доктор, что вы вернулись наконец, — сказала она дрожащим от страха голосом, — без вас они убили бы меня насмерть.

— Кто? — спросил Ананда. — Ведь вы здесь совершенно одна.

— Какое там «одна», — с раздражением возразила женщина. — Они попрятались, как только услышали ваши шаги, а как вы вошли, — так брызнули все вон в дверь.

— Я вас опять спрашиваю, кто «они», — снова спросил Ананда, улыбаясь и садясь на диван против Ольги, указав мне место рядом с собой.

— Господи Боже ты мой! Да за что же вы, доктор, издеваетесь надо мной! Неужели вы не видели кто? Да козлы! Такие страшные, вонючие, рогатые.

— Она с ума сошла, — сказал я Ананде по-французски с ужасом.

— Не похоже. Сейчас попробуем выяснить, что с ней, — ответил он мне на том же языке и обратился снова, улыбаясь, к Ольге по-русски:

— Ведь вы же взрослая женщина. Мало того, что взрослая, вы ещё так решительны, что взялись помогать преступникам. Как же вы допускаете такие детские бредни, что в эту комнату — во второй этаж населённого дома — могли забраться козлы? Да я думаю, их и во всём Константинополе не сыщешь.

— Ну да, не сыщешь! Вчерашние-то тоже принесли с собой козла. Смрад от него стоял дикий, пока они шарили под кроватью княгини. Искали там чего-то или кого-то, как я их ни уверяла, что каждый день комнаты княгини все протираются два раза. И ни одной пылинки-то там не найдёшь, не то что чемоданов или корзин.

И как вы ушли, доктор, всё было спокойно. Только руки мои зудели. Я взяла золы из камина, да потёрла ею руки, думала, зуд уймётся. Не успела и охнуть, как козёл-то из камина и прыг, да один за другим давай оттуда скакать! Да все в кружок вокруг меня. Рожищами да бородищами трясут, да всё ближе, всё ближе! Я Царице Небесной стала молиться, чтобы вы вернулись, только уж не чаяла и жива быть, — крестясь испачканной в золе рукой, задыхаясь, говорила Ольга.

по эфирным волнам, — всё грозило мне ловивоpонным состоянием, как я услышал повышенный голос Хавы:

— Нет и нет. Этого я допустить не могу.

— Но я должен ему передать, если меня просят, — услышал я второй голос, в котором тотчас же узнал голос Ибрагима.

— Это дело только вашей совести. Но, по-моему, ваш отец поступил неправильно, разрешив вам говорить с Браццано. Сэр Уоми дал точные указания, чтобы все его сношения с внешним миром — пока он не будет водворён в назначенном месте — шли через меня и вашего отца. Взявшись выполнить поручение, ваш отец, с первых же шагов, нарушил данные ему указания.

— Да нет, Хава, Браццано бросил мне эту записку из паланкина, прося передать Лёвушке. А если Лёвушка не согласится её прочесть, то сказать ему, чтобы он вернул ему его камень. Друзья Браццано ему сообщили, что можно ещё поправить его здоровье, лишь бы он снова овладел этим камнем. Всё это Браццано мне шептал, пока приготовляли носилки, чтобы внести его в каюту. И отец ни о чём не знает, — говорил Ибрагим, и ветерок нёс ко мне все его слова.

— Ещё того лучше! Неужели вы не понимаете, что предаёте отца, обещавшего сэру Уоми точно выполнить его приказание?

— Вы всё преувеличиваете, Хава. Ну, ведь Лёвушка — не «внешний мир»?

— Ну конечно, Лёвушка — это печёнка Браццано. А вы... вы тоже не «внешний мир»? Вы только тот шаткий часовой, на которого положиться нельзя. И вот эта ваша ошибка сейчас повлекла уже за собой целую серию перемен и путаницу. За вас будут теперь служить сэру Уоми другие, а вы должны уехать с парохода, — продолжала Хава.

— Недаром о вас говорят, как о пунктуальном человеке, в ущерб живому смыслу вещей. Я обещал — и должен передать записку.

— Образумьтесь, Ибрагим. Вы обещали? Да ведь вы молили Ананду оказать вам доверие. Вы клялись ему и сэру Уоми, хотя никто ваших клятв не требовал, что выполните с величайшей точностью все требования. Вы ему первому это обещали. Отец ваш говорил вам, что путешествие будет тяжёлым, он тоже не хотел вас брать. Вы настаивали, обещали и ему полное повиновение. А теперь вы сбросили со счетов два свои первые обещания и желаете выполнить третье? Злой мучитель, бездушный палач Браццано вам важнее сэра Уоми и отца?

— Я вас больше не хочу слушать, Хава. Всякий отвечает за себя. Лёвушка не младенец — как сам решит, так и будет.

Разговор прекратился. Я собрал все свои мысли, постарался ощутить И. рядом с собой и услышал приближающиеся шаги.

— Лёвушка, — сказал, подходя ко мне вплотную, Ибрагим. — Браццано прислал вам записку.

И он протянул мне сложенный листок, очевидно вырванный из записной книжки.

— Я не желаю входить ни в какие сношения с этим человеком. Записки его я читать не буду, и вы, думается, напрасно взяли на себя роль его посла.

— Очень жаль, что вашего милосердия хватило так ненадолго, Лёвушка. Браццано просит вас вернуть ему его камень, — очень раздражённо и язвительно гово-

рил мне Ибрагим. — От этого зависит вся его дальнейшая жизнь, его здоровье и благополучие, — помолчав, возбуждённо прибавил Ибрагим.

— Я не знаю, от чего зависит его благополучие. Думаю, что как раз от обратного. И у меня нет камня Браццано. На мне есть камень сэра Уоми, очищенный его подвигом любви и милосердия. Камень, который удушал злодея своей чистотой и от которого он просил меня его избавить. Только сэр Уоми может приказать мне вернуть его. И если такое приказание получу — я верну Браццано его сокровище в тот же миг.

В наступившей тишине вдруг послышалось из каюты люкс какое-то бешеное рычание, точно раненое животное собирало свои силы, чтобы на кого-то броситься. Дверь каюты распахнулась, и в освещённом её ярком квадрате обрисовалась сгорбленная фигура Браццано. Глаза его метали молнии; он делал невероятные усилия, чтобы переступить порог; из губ его текла белая пена, и он напоминал точно адское существо, горящее в пламени.

Вид его был так страшен, рычащие стоны так отвратительны, что у меня дрожь пошла по всему телу. Я не знал, на что решиться, если он подойдёт ко мне, как услышал сзади себя быстрые шаги на лестнице и увидел высокую фигуру, закутанную в плащ.

Сердце сказало мне, что это И. И я не ошибся. Перед Браццано, уже вылезшим из каюты, внезапно встал И.

— Назад, — внятно, довольно тихо, но так властно, как я никогда не слыхал, сказал И. сгорбленной фигуре, которая согнулась ещё ниже, как-то завизжала, но стояла на месте.

— Назад, я приказал, — ещё раз сказал И., и в голосе его зазвенел металл, чего я не мог и предполагать.

Не будучи в силах удержаться на ногах, Браццано упал на четвереньки и отвратительно вполз в каюту.

И. вошёл за ним, захлопнул дверь и оставался в каюте довольно долго.

— Лёвушка, прошу вас, возьмите записку, — услышал я задыхающийся голос Ибрагима. — Она жжёт меня, а я не могу разжать пальцев, точно клей их держит. Я не хочу, чтобы И. видел этот грязный клочок у меня в руке.

— Поэтому ты желаешь, чтобы Лёвушка взял на себя ошибку и последствия твоего непослушания! — вдруг громко сказал И., появления которого никто из нас не ожидал за нашими спинами.

— Бедный, бедный Ананда. Как ты ему клялся, Ибрагим! Как ты умолял его поручиться за тебя перед сэром Уоми! И вот результат твоей искренности. И мало того, ты хочешь ещё свалить на другого последствия своей собственной неверности! Хорош сынок и хорош друг! Положи у моих ног эту мерзость.

Ибрагим положил к ногам И. бумажку. Мне казалось, что он это сделал легко и просто, а ему казалось, что он отдирает её от пальцев чуть ли не с кожей, так тёр он свою руку, когда в ней на самом деле уже ничего не было, а записка давно и благополучно лежала на палубе.

И. облил руки Ибрагима каким-то одеколоном, им же облил бумажку и поджёг её. Бумажка вспыхнула, и в то же время опять завыл Браццано, приведя меня снова в дрожь.

ство воли. Злое, ненасытное влечение увидеть униженным или мёртвым разорившего его врага, должно быть, зависть и унижение, перенесённые от Браццано, играли не последнюю роль в его теперешней ненависти. Он был весь активен. Рвал и метал молнии глазами и жаждал одного: вырваться отсюда, но победить приказ Ананды не имел сил.

Мне казалось, что он тоже хотел вступить в торги с Анандой, но не решался, не зная, что предложить человеку, воля которого его сковывала.

Второй — ярко выраженный грек-торгаш — тоже потерял всякий человеческий облик, но в совершенно другом роде. Его богом были только деньги. Но насколько первый жаждал их как эмблемы славы, блеска и власти, настолько этот жаждал их как таковых, весь стянутый кольцами жадности, как железными обручами. Весь его мир, всю вселенную составляли деньги, для которых он переносил кабалу, издевательства и презрение тех, от кого мог их нажить.

Очень быстро — гораздо быстрее, чем свойственно константинопольским темпам, — князь вернулся с тремя представителями полиции, причём двое из них были, очевидно, довольно высоких чинов. Мне показалось, что во всяком случае с одним из узников они сумеют договориться. Не успели все убраться, как послышался свирепый гудок, и я сразу узнал рычащий голос гудка парохода нашего капитана.

— Есть, опоздал, — ваша вина, — сказал встревоженно Верзила.

Мы заперли двери, поручили надзор за ними двум караульным и мигом помчались с Верзилой на пароход.

Капитан, грозно встретивший вначале Верзилу, принял все извинения и объяснения Ананды не только милостиво, но и очень близко к сердцу. Разводя руками, он сказал:

— Ну, вот и задача: «Волк, коза и капуста». Уж не лучше ли Лёвушке поехать с нами?

Ананда смеялся и просил всё же доверить ему понянчить один день младенца без И.

Я был так рад увидеть И. Мне казалось, что дома я не скучал без него. А увидев его на пароходе, я впервые понял всю близость к нему, всё — ещё неосознанное до сих пор — слияние с ним рука в руку, сердце к сердцу.

Раздался второй гудок и, прощаясь с нами, И. сказал мне ещё раз:

— Лёвушка, я повторяю мою просьбу: ходи за Анандой не отставая, до самого моего возвращения.

— Не беспокойся, Эвклид, не отпущу ни на шаг. Я вообще увидел, что твой воспитательный дар безупречен. И понимаю теперь, что свобода, предоставляемая недостаточно дисциплинированному существу, не делает его путь ни короче, ни легче в конечном счёте.

— До свидания, друг. Княгиню придётся снова упорно и долго выхаживать. Вот как всё усложнилось, и я застрял здесь надолго, вместо отъезда одновременно с вами.

Ананда говорил тихо и спокойно. Раздумье огромной мудрости лежало на его лице, и мне казалось, что, говоря с И., он точно переворачивал страницы жизненных книг многих людей.

Мы возвратились домой, умылись, переоделись и снова пошли к княгине. При нашем появлении она проснулась, но была довольно равнодушна ко всему и, по-

— А разве вы больше не боитесь Браццано? — усмехаясь, спросил Ананда.

— Не только не боюсь, но хотел бы задушить его своими руками, — ответил несчастный, захлёбываясь от злости.

— Ой, ой, а я боюсь, — завопил второй. — Так боюсь, что не хотел бы вовек его встретить.

— Но ведь вы давали свои страшные клятвы и обещания не только ему? — опять спросил Ананда.

— Конечно, целая церемония совершалась над нами, — снова заговорил первый. — Но ведь он изображал из себя первого заместителя великого мага, которого никогда и никто не видал. Но говорили о нём, что сам сатана не мог бы быть страшнее.

— Ой, ой, пропала моя головушка! Пропали мои деточки! — снова завопил грек.

— Замолчи, дьявол, или я научу тебя молчать, — в бешенстве заорал мнимый турок.

— Ну, вот что: сейчас будет вызвана полиция, и вы оба должны будете отправиться в тюрьму, — сказал Ананда. — Я даю вам ровно десять минут на размышление. Каждый из вас может написать записку ближайшему другу или родственнику, объяснить своё положение и разорение, с просьбой вам помочь и выручить из тюрьмы. Но каждый из вас должен дать слово уехать отсюда и начать новую трудовую жизнь.

— Я был причиной разорения всех своих друзей и родственников. И кроме проклятий от них и той же тюрьмы, мне ждать нечего. А работать я не желаю. Я жил богачом и господином — иной жизни не буду вести. Я желаю только мстить Браццано — вот вся моя цель жизни. Пусть берут куда угодно. Уйду, — сказал первый.

— Ой, ой, работать. Разве я всю жизнь не работал? — завопил второй. — Я только и делал, что носил чужие деньги с места на место. Только по губам текло. Другие наживали миллионы, а мне бросали тысчонки. Я честно работал. Виноват ли я, что аферы дают больше, чем честный труд? Дураки гнут спины с утра до вечера, рубль домой принесут. Чем я виноват, что моя работа умнее? А теперь писать мне некому. Я вон им — всем таким — служил, — ткнул он пальцем в своего товарища. — А теперь они сами без гроша. А здесь — всё можно только купить. Ты слушай, барин. Ты большой лекарь. Плати за меня калым полиции; я тебе служить буду. Мне всё равно, кому служить, плати — служу верно.

— Ну, князь, выбора у вас нет. Это очень неприятно, что жулики браццановской шайки пойманы в вашем доме, но что же делать? Надо звать представителя власти и сдать им этот народец... Поднимайтесь с земли, — обратился он к прекрасным браццановским компаньонам. — Сядьте на скамью и сидите, не двигаясь с места, пока за вами не придут и не уведут. Если только вздумаете удирать — снова попробуете моих пистолетов.

Пока Ананда говорил с несчастными жуликами, князь пошёл отдавать приказания своим людям.

Бедные грешники встали с земли, сели на скамью и погрузились в раздумье. Но как различно было это раздумье! Мнимый турок весь был полон активной жажды зла. Он, видимо, надеялся чем-нибудь купить полицию и получить возможность отомстить Браццано. Его угасшее для всего светлого сознание знало одну энергию: упор-

— Ступай домой. Забудь о том, что ты должен был ехать. Скажи матери, что ты болен, чтобы тебя уложили сейчас же в постель и вызвали врача. Лежи три дня. Когда вернётся отец, встанешь, всё вспомнишь и всё ему сам расскажешь. Иди, — говорил И., и точно глухой рокот моря, так грозно звучал его голос.

Когда замерли шаги Ибрагима, И. повернулся ко мне, протянул мне руку и сказал:

— Спасибо, верный друг. Если бы ты всю жизнь искал случая выказать свою благодарность всем нам, начиная от Флорентийца и кончая мною, — ты не мог бы сделать ничего лучше, чем твоё послушание мне сейчас. Как только ты коснулся бы бумажки злодея, который нашёл способ снестись ещё раз с некоторыми из своей шайки, — ты потерял бы волю над собой. Ты передал бы ему камень для нового, вторичного кощунства над ним, и тогда не только погиб бы сам, но причинил бы тысячу горестей брату и всем нам. И теперь злое непослушание Ибрагима принесло нам уже много беспокойства. Мне придётся самому ехать вместо него. Но ты не огорчайся; я вернусь через день, меня в дороге сменят. Сейчас Ананда приедет сюда за тобой и за капитаном, так как снова за тобой гоняются, теперь уже из-за камня. Не боишься ли ты? — внезапно спросил И.

— Нет, не боюсь. Но неужели такое значение имеет в мире один неправильный поступок человека? Неужели так сильно взаимодействие вещей?

— Ещё гораздо сильнее, чем тот слабый пример, который ты сейчас видел. Единение людей, их связь друг с другом, это неразрывные нити, невидимые слепым глазам, но связывающие канатами людей на целые века.

Послышались быстрые, лёгкие шаги капитана, и он взволнованно спросил меня:

— Что случилось? Почему Ибрагим уехал чернее тучи и не желая ничего объяснять мне? Кто же поедет с этим извергом?

— Я поеду, капитан. Не волнуйтесь, — ответил ему И., которого капитан не видел в темноте, укутанного в чёрный плащ.

Поражённый внезапным появлением И., капитан даже онемел. И только через некоторое время к нему вернулся дар речи.

— Да как же это я вас не видал? Как же мне не доложили о вас? Ведь это невозможная небрежность моих дежурных!

Капитан был взволнован и раздражён, каким я его, выдержанного и всегда корректного, ни разу ещё не видал.

— Я встретил на берегу вашего старшего помощника, который взял меня в свою шлюпку. Но я знаю, что он лично пошёл искать вас, чтобы доложить обо мне. Не сердитесь; зная, что вы жили вместе с нами в одном доме в Константинополе, он не отказал мне в просьбе взять меня с собой на пароход без пропуска, — успокаивающе говорил капитану И.

— Мой Бог! Для меня иметь вас на пароходе ещё некоторое время — это больше чем счастье. Но нарушения дисциплины...

Тут подошёл старший помощник, рапортуя о своём возвращении, а также о приезде доктора И. Капитан уже остыл и только спросил, почему он замедлил явиться сразу же по возвращении с докладом о провезённом без пропуска лице. Помощник поднял перевязанную руку, говоря, что какой-то болван поставил на дороге ящик с пилой и гвоздями, и он, ранив руку, должен был задержаться для перевязки.

И. предупредил капитана, что на берегу ждёт ещё Ананда, желающий лично с ним проститься и побыть на пароходе. Капитан обрадовался, как ребёнок, и немедленно выслал на берег шлюпку за Анандой.

Мы остались вдвоём с И. в темноте, сияющей звёздами — и какими звёздами, — ночи и моря. Я приник к И. и говорил ему, что я не в силах разобраться, как может существовать рядом с этим сияющим небом, отражённым в блестящем море, с ароматом цветов, с красотой тела и духа людей, такая масса зла, страданий, кощунства, убийств и боли.

— Не помещается в моей душе вся эта жизнь, — жаловался я моему другу. — Ну как я поеду слушать сейчас музыку, если знаю и помню, что толпа злодеев обкрадывает бедняков, что где-то сидит одинокий, беспризорный, всеми брошенный человек, обиженный, без любви и мира. И вот здесь этот злодей, убийца и вор, а там сироты и голодные. И как сможет играть и петь Ананда после такого разочарования, какое ему сейчас принёс Ибрагим? Ананда получил удар от Анны, от Генри. Уже дважды ударенный в третий раз должен перенести удар от Ибрагима! Может ли он быть в силах петь и играть?

— Ты, Лёвушка, видал толпы людей, думающих только о себе. Ты привык понимать музыку как развлечение, удовольствие. Ты знаешь тех гениально одарённых, что поют и играют за деньги. Они тоже уносят людей иногда, в порыве творчества, в красоту. Но их игра, их песни и музыка идут не от потребности вылить из себя любовь, чтобы людям стало светлее. Музыка же Ананды и Анны, как и многих им подобных, — это их свет, их молитва и радость, их призыв к добру всех страдающих вокруг и помощь им. Им не надо восторгов толпы. Они в этой толпе растворяют зло, умиротворяют и облегчают страсти. И когда сегодня ты будешь слушать музыку — ты поймёшь величие духа Ананды. Ты услышишь не стон его сердца, упрекающий тех, кто причинил ему скорбь. Ты увидишь полное прощение им. Радость о том, что он мог вобрать в себя их страдание.

Послышались голоса, на палубе засверкали огни, и на неё взошёл Ананда под руку с сияющим капитаном.

Ласково поглядев на меня, спросив капитана, как понравился ему привет его будущей жене, Ананда оставил нас в каюте капитана, прося не покидать её, пока он не вернётся к нам, и пошёл вместе с И. к Браццано.

Капитан переоделся в свежий костюм, отдал кое-какие приказания сменявшему его помощнику, и только мы хотели сесть за шахматы, как вошли наши друзья.

И. остался на пароходе, и на этот раз я более чем сожалел о нашей разлуке.

— Что, дружок, не хочется расставаться с И., — спросил Ананда.

— Не только не хочется. Но неужели я никогда не буду так твёрд, чтобы не переживать разлуку как надрыв сердца, как непоправимое горе? За это время моё сердце сделалось точно мешок — так много в нём сидит любимых людей. И в то же время, весь этот мешок в дырах, точно пули его пронзили от разлуки, — ответил я ему.

— Ничего, Лёвушка, нынче мы с Анной найдём тебе такую музыкальную замазку, что ты завтра проснёшься иным человеком, — улыбнулся мне Ананда.

Шлюпка пристала по указанию капитана совсем в другом месте. Там мы нашли экипаж и ровно в девять часов были у Строгановых.

Уже подходя к крыльцу Ананды, мы услышали стук в дверь и громкий голос Верзилы, запрещавший стучать и ломиться в дверь.

Услыхав шум наших шагов, Верзила просил Ананду разрешить ему проучить негодяев, нагло ругавших его и требовавших, чтобы он их впустил.

Ананда рассмеялся и спросил его, умеет ли он стрелять из данных ему новых пистолетов. Получив удовлетворительный ответ, Ананда, смеясь, сказал ему:

— Они заряжены совсем особым способом. Если человек упадёт или повернётся спиной, не бойся, — всё стреляй, пока будешь видеть, что горошины вылетают. Как только кончится заряд, бери второй — и стреляй в другого. А третий убежит от страха.

Я так ошалел, что напоминал Ольгу с чепцом. Я стоял, вытянув умоляюще руки, и не мог взять в толк, как же Ананда может дать приказание стрелять в людей.

Мгновенно пистолет был в руках Верзилы, раздалась частая, мелкая стрекотня, и действительно горошины с огромным количеством дыма, грохота выстрелов полетели в одного из осаждавших нас турков довольно бандитского вида. Человек упал, но, казалось мне, был невредим. Тем временем горошины из другого пистолета полетели во второго громилу, который тоже упал, комично ёрзая под градом бивших его горошин, а третий, увидя падение обоих товарищей, ошеломлённый массой треска и дыма, счёл их убитыми и убежал.

Мы вышли на крыльцо и, когда дым рассеялся, увидели двух перепуганных, зажимавших уши людей, неподвижно лежавших на земле.

— Господин великий маг, сообщи мне, жив ли я или я уже в твоём царстве? — пробормотал один из них на отличном английском языке. Это было до того неожиданно, что я прыснул со смеха, подскочил и не мог остановиться, задыхаясь от хохота. Верзила, держась за бока, просто ржал по-лошадиному. Князь не отставал от нас. Дважды Ананде пришлось призвать нас к порядку.

Люди, лежавшие на земле, были одеты турками. Одуревшие под градом горошин и от нашего хохота, они, очевидно, не могли сообразить, что с ними произошло. Измазанные, точно сажей, пороховой копотью, они были и жалки, и так смешны, что удержаться от смеха было очень трудно.

— Кто вы такие? Судя по вашему обращению к великому магу, я могу думать, что сами вы — маленькие маги? — улыбаясь, спросил Ананда того из бандитов, который заговорил по-английски.

Тут поднял голову второй злодей, поглядев на Ананду, и зачастил что-то по-гречески, всё время закрывая глаза рукой.

Первый, несколько оправившись, с ненавистью глядя на него, сказал снова по-английски:

— Не верьте ему, пожалуйста. Он такой же лекарь, как я повар. А снадобье для чепца дал Браццано. Этот подлец разорил полгорода и нас вместе с собой. Да только сам унёс куда-то ноги; наверное, и сокровищ утащил немало. Последнее, в чём он нас надул, — это что камень — чёрный бриллиант неисчислимой стоимости — надет на вашем мальчишке. Дал нам амулет — платок, чтобы мальчишка отправился подальше к праотцам. Дал чепец, сказав, что всё колоссальное состояние княгини — в камнях и золоте — в её спальне под кроватью, и всё солгал. Теперь жизнь мне опостылела, я нищ. Делайте со мной что хотите.

— Бросьте в камин, — сказал Ананда, и чепец полетел в камин на ту кучу золы, которая там осталась с ночи. А сама Ольга в каком-то отупении стояла, всё вытянув руки, не то желая снова схватить чепец, не то подавляя желание вытереть зудящие руки.

Ананда подошёл к ней, подал ей смоченный кусок ваты, приказал отереть им руки и спросил:

— Неужели деньги, обещанные вам, так сладки, что вы могли из-за них пойти на убийство человека? А княгиня-то только вчера просила князя обеспечить вам жизнь и положить на ваше имя капитал за вашу верную службу ей.

— И сегодня я должен был выполнить её желание, — подтвердил князь. — Хорошо, что вовремя открылась ваша верность.

У Ольги давно уже дёргались губы и слёзы скатывались по щекам. Но мне было ясно, что она не в себе, что в ней идёт какая-то борьба, но что её мысли ей самой не до конца понятны.

Ананда велел ей взять спички, поджечь чепец и сказал:

— Он сильно вспыхнет. Если вы забыли, Ольга, как вы вели себя и что делали со вчерашнего вечера, то вспомните всё, как только ядовитое вещество сгорит вместе с чепцом.

Ольга подожгла чепец, но как только пламя коснулось его внутренней стороны — точно взорвался порох, такой раздался треск, и перепуганная женщина с криком отскочила на середину комнаты.

Её прыжок был так комичен, что я не удержался от громкого смеха, и князь хохотал не тише меня.

— Хорошо вам смеяться, — с возмущением накинулась на меня Ольга. — Вы-то целы и невредимы, а всё из-за вас, барин. Все мои да и других неудачи — всё из-за вас.

— Так ли, Ольга? — спросил Ананда. — Зачем вы вмешались в разговор княгини с сестрой милосердия вчера? Зачем вы уверяли больную, что в Константинополе есть лекарь, который вылечивает такую болезнь, как её, скорее и лучше, чем я и И.? При чём же здесь Лев Николаевич?

— Лекарь обещал мне деньги и принёс чепец. Я не знала, что чепец ядовитый. А только про молодого барина он сказал, что его надо выжить из дома, что он всему мешает. Он просил положить платок к ним на постель и письмо. А как молодой барин заснут, я должна была впустить к ним в комнату лекаря с помощником, чтобы молодого барина перевезли в гостиницу.

Когда князь вошли в спальню их сиятельства, я с лекарем и говорила. Мне надо было их давно проводить, лекарей-то, к Льву Николаевичу в комнату. Да только сестра не спала и я не успела пропустить их через спальню раньше.

— Куда же девались эти злодеи, ваши лекаря? — взволновался князь, собираясь бежать снова к княгине.

— Не волнуйтесь, князь. Они, несомненно, беседуют с Верзилой, рассчитывая подкупить и его. Спустимся по винтовой лестнице к нему. Вы же, Ольга, сядьте здесь и сидите, не двигаясь, до нашего возвращения.

С этими словами Ананда быстро пошёл вперёд, и мы за ним.

Нас ждали в гостиной с чаем. На столе, среди красивых ваз с цветами, я увидел блюдо, подаренное мною Ананде. И на нём точно такой же пирог для принца-мудреца, какой тогда прислал кондитер.

Рассматривая со своего места Елену Дмитриевну, я заметил, что она похудела, часто и беспокойно поглядывала на Строганова, который был весел и радостен, но на жену и младшего сына не обращал внимания.

Анна, по обыкновению в белом платье, была более чем хороша. Но какая-то в ней произошла перемена. Я не умел себе этого объяснить, но мне она стала казаться более земной, более простой. Можно было себе представить её матерью семейства, чьей-то женой, тогда как раньше эти мысли не приходили в голову. Я ещё не отдал себе отчёта, что такое совершилось в ней, как Ананда вывел меня из задумчивости.

— Ты, Лёвушка, не протестуешь, что я твоё блюдо подарил Анне? Это увеличит её приданое, так как я не сомневаюсь, что ты уже выдал её замуж.

Я был так сконфужен и поражён, что если бы не князь, вошедший с большими извинениями, что опоздал, — я не знал бы, как выйти из положения.

Князь объяснил, что, пользуясь отсутствием всех нас и небрежностью прислуги, в наши комнаты забрались жулики. Но что их заметили вовремя, и, не успев ничего украсть, они убежали. Но что ему пришлось успокаивать перепуганную жену, оставить у дома и в доме караульных, почему он и задержался.

Ананда покачал головой, капитан встревожился и пожалел, что не может остаться на ночь в доме, а у меня мелькнуло в мыслях только одно слово: «уже».

— Да, да, уже, — точно заглядывая под мою черепную коробку, шепнул мне Ананда.

Со всех сторон посыпались на князя вопросы; женщины казались испуганными. Одна Анна посмотрела пристально на меня и Ананду, сохраняя полное спокойствие.

Не задерживаясь долго за столом, мы спустились вниз, в прелестный зал Анны.

И на этот раз комната была убрана цветами. И я подумал, что милый капитан, по горло занятый, всё же не забыл украсить в последний раз этот зал, так как только его изысканный вкус мог так подобрать цветочки.

Я сел рядом с ним и шепнул ему:

— Как я вас люблю за ваше внимание к людям, капитан.

— Как я вас люблю за ваше желание выразить людям больше, чем они стоят, — ответил он мне. — Я, Лёвушка, встревожен. Я так хотел бы, чтобы вы скорее уехали отсюда.

— Я хоть и не встревожен, но тоже хотел бы уехать поскорее, — признался я.

Анна села за рояль, Ананда настроил виолончель.

Никак не ожидая, я вдруг узнал русскую песню, но так обработанную и таким человеческим голосом сыгранную на виолончели, что мгновенно забыл всё.

Передо мной шла вереница детских дней, потом я вырос, потом я снова стал маленьким, пока звуки не смолкли.

— Из России поедем в Англию, — сказал Ананда.

Полилась колыбельная песня, где я уже не мог различить ничего, кроме счастья жить.

Ананда встал, поставил к стене инструмент и запел. Что он пел, я не знаю, я слов не понимал. Но что это был гимн, гимн торжествующей любви, — это я ощущал

каждым нервом. Радость, которой билось сердце певца, выливалась из меня; я почти физически ощущал её вокруг себя, в себе. Не было границы между мною и всем окружающим; я унёсся, растворился во вселенной, сознавая себя её живой единицей.

Как сменялись звуки, как чередовались певцы, я уже не различал. Только когда слились оба голоса в дуэте, точно в молитвенном экстазе, — я благодарил мир за то, что я в нём живу, принимал всё злое и низкое и обещал кому-то и чему-то — самому великому — жить для того, чтобы помогать всему невежественному и злому понять красоту. Ибо, однажды её поняв в себе, я уже не мог жить без неё и вне её.

Дуэт кончился. Глаза почти всех были влажны. Мои же были сухи, горели, и только сердце моё билось как молот, да мысль шла по-новому, точно музыка сегодня открыла мне какие-то новые рельсы, чтобы жить — бескорыстно и беспристрастно воспринимая людей.

Целуя руки Анне, прощаясь, я сказал ей:

— В сказке говорится, что важнее для праведника указать другому путь в рай, хотя бы самому и споткнуться. Сегодня вы двум невеждам указали туда путь. Быть может, невежды и не достигнут рая. Но вас они не забудут, как нельзя забыть однажды виденного во сне блаженства.

Глаза её сверкнули, она улыбнулась мне и подала со своей груди цветок.

Стоявший рядом капитан сказал:

— Прибавить я могу только одно: минуты, пережитые сегодня, раскрыли мне, в каких путах предрассудков я до сих пор жил. Я не понимал, что жизнь начинается там, где кончается разъединение каст, наций, условностей социальных положений. Сегодня я понял, как сливаются в сердце человека воедино земля и небо.

И ему дала Анна цветок, который он поцеловал и положил в тот карман, где — я знал — лежал платок сэра Уоми.

Мы вышли вместе с князем, которого ждал экипаж и который только сейчас заметил, что И. не было с нами. Ананда объяснил ему, что И. остался на пароходе и поедет с капитаном до первой стоянки, откуда вернётся со встречным пароходом.

Князь был очень опечален, что не простился с И., и вообще был встревожен забравшимися в его дом жуликами.

Капитан сел с нами в экипаж, сказав, что хочет проводить нас до дому, чтобы самому осмотреть наши комнаты.

Когда мы добрались до калитки, то увидели, что караульные беспокойно бегали по дорожкам сада, уверяя, что слышали там какой-то шум.

Ананда их успокоил и просил оставаться на месте у главного входа в дом. Мы прошли в наши комнаты. Мы не нашли никаких следов беспорядка, всё было как бы на месте. Только на моей постели Ананда увидел чей-то красный платок, по которому шла чёрная кайма. От платка несло сильными, приторными духами, настолько одуряющими, что становилось тошно.

Взяв палочкой этот платок, Ананда бросил его в камин. В комнате капитана на столе лежало письмо, довольно толстое, и адрес был написан на непонятном мне языке.

— Ну, и жулики! Это просто дураки, князь! Вы не беспокойтесь, это шарлатанство, — сказал Ананда совершенно расстроенному князю.

Мгновенно руки Ольги разжались, и в эластичных пальцах повис уродливый чепец.

Громкий крик ужаса вырвался из наших уст. Весь лоб княгини, уши и голова были в крови.

— Это не кровь, а краска, которой негодяи вымазали чепец внутри, — остановил наше волнение Ананда. — Но краска эта — зудящее, ядовитое вещество и может довести страдальца до безумия и паралича. К счастью, мы вовремя здесь. Лёвушка, быстро пилюлю Али раствори в той жидкости, что лежит в моём кармане с твоей стороны.

Я сейчас же выполнил приказание, и Ананда сам влил княгине лекарство.

— Теперь из аптечки И. вынь, не покидая моей руки, третий флакон. А вы, князь, сделайте тампон из ваты и тоже не отходите от меня.

Когда флакон и вата были ему поданы, он обмыл лоб, голову и уши больной и бросил вату в чепец, который, как мешок, держала на вытянутых руках Ольга.

Ещё и ещё оттирал он голову больной, пока не осталось и следа краски. После каждого раза лицо княгини всё больше оживало, наконец стало совсем спокойным, и она заснула.

Тогда Ананда подозвал сестру, дал ей принять капель, вытер её руки той жидкостью, которой оттирал больную, и сказал:

— Теперь вы можете выказать своё самоотверженное усердие в уходе за больной. Несмотря на все меры предосторожности, вы будете испытывать зуд во всём теле, потому что вам надо переменить бельё на больной, а оно уже пропитано — хотя этого ещё и не видно — всё той же ядовитой дрянью. Когда снимете бельё, растворите в тазу содержимое этого пузырька и губкой обмойте всё тело больной.

Не беспокойтесь, она будет спать крепко и ваши нежные движения её не разбудят. Но одна вы с этим не справитесь. Есть ли у вас надёжный человек в доме, князь?

— Вот эта прелестная Ольга считалась самой надёжной. На кого же теперь положиться? — сказал бедный князь.

— Простите, — сказала сестра. — Здесь моя мать. Это на её будто бы зов меня увела Ольга. А мать мою... Ну, да это потом. Словом, мать моя привычная и отличная сиделка. Она мне поможет.

— Хорошо, позовите её, — велел Ананда.

Тем временем он сказал князю, что княгиню надо переложить на другую постель и унести из этой комнаты, чтобы ничто не напоминало ей об этой ночи.

Он точно не замечал стоявшей всё в той же позе Ольги, державшей в руках мерзкий чепец. А между тем та уже несколько раз говорила ему: «горит», «жжёт», «зудит».

Когда вошла сестра со своей матерью, Ананда поглядел на них обеих и велел им переложить больную на диван в дальнем углу, пока князь не пришлёт другой кровати, на которой больную унесут из этой комнаты.

Только тогда он взглянул на Ольгу и сказал:

— Идите вперёд.

И за нею все мы вышли из комнаты. Она, всё так же вытянув руки с чепцом, шла впереди до самой моей комнаты.

Сейчас с тех пор я в первый раз сюда вошла и поражена этой ужасной переменой в княгине.

— Хорошо. Когда вы вошли, — обратился он к горничной, — княгиня спала?

— Спала. Я села у постели и, должно быть, заснула. Их сиятельство вошли в комнату, и от их шагов я проснулась.

— Зачем вы лжёте, Ольга? — возмущённо спросил князь. — Вас не было в комнате, вы с кем-то шептались у двери, а больная металась на постели, рискуя свалиться.

— Вашему сиятельству так показалось...

Князь был в бешенстве, какого я от него никак не ожидал. Он готов был броситься на наглую лгунью.

— Подойдите ко мне, князь. Сейчас вам нужно полное самообладание, если вы желаете спасти вашу жену, — раздался властный голос Ананды, с неподражаемыми, ему одному свойственными переливами.

Князь был бледен до синевы; губы его дрожали. Он подошёл к Ананде и положил свою руку на его, как ему велел Ананда. Постепенно он успокоился, стал дышать ровно, и синева исчезла с его лица.

Горничная повернулась, чтобы выйти из комнаты, но грозный взгляд Ананды точно приковал её к месту.

— Когда, в котором часу вы надели эту дрянь на голову княгини?

— Я ничего не надевала ей и не понимаю, чего ко мне пристают. Я ведь не крепостная.

— Если вы не знаете, кто этот чепец надел, то вы его снимете сейчас.

— Ни за что не сниму. Да он, может быть, заколдован или отравлен.

— Как?! — не своим голосом закричал князь.

— Я вам уже сказал: самообладание ваше так же необходимо сейчас, как моё знание. Следите за ходом вещей и делайте точно то, что я вам скажу. Времени терять нам нельзя, — остановил снова князя Ананда. — Снимите сию минуту чепец, — сказал он Ольге. — Или же я сам надену его на вас.

Что-то мерзкое, какой-то животный страх, ненависть, злоба, мелькнули на лице горничной. Она готова была бы выцарапать глаза Ананде; её голова поворачивалась к двери, видимо, единственным её желанием было убежать, но непреодолимая сила Ананды держала её на месте.

— Позвольте мне снять чепец, доктор, — сказала сестра. — Я ведь главная причина несчастья: я позволила себя обмануть.

— Нет. Для вашего самоотвержения настанет ещё время. Не медлите, Ольга, или чепец очутится на вашей голове.

Извиваясь как змея, точно против воли повинуясь, несчастная подходила к постели княгини, с ужасом глядя на чепец с красными широкими лентами и чёрной зигзагообразной каймой, напоминавшими брошенный на мою постель платок.

Казалось, женщина никогда не подойдёт к постели. Руки её со скрюченными пальцами скорее готовы были удавить княгиню, чем снять чепец и облегчить её страдания.

— Скорее или выбора для вас не будет, — и из глаз Ананды точно молнии брызнули в Ольгу. Я ощутил, как через меня пронёсся будто разряд тока с той стороны, где я касался Ананды, так сильно было напряжение его воли.

— Быть может, это и так, но с тех пор, как Жанна сходила с ума, — я стал волноваться за всех своих гостей. Не хватало только, чтобы кто-то разбрасывал здесь всякую дрянь. Смрад от этих духов хуже чем от любой кокотки, — осматриваясь по сторонам, отвечал князь.

— Да и кому это письмо? Вы понимаете этот язык? — подходя к столу, спросил Ананду князь.

— Язык этот я понимаю. И написан здесь не адрес, а изречение из Корана: «Кто хочет победить, бери не меч, но силу Аллаха». Платок брошен одними людьми, а письмо — другими. Но и то, и другое — всё ведёт к одному узлу, к одной шайке. Страшного нет ничего. Идите к вашей жене и успокойте её, ложитесь с миром спать, а завтра поговорим.

Князь простился с нами, но я не видел, чтобы он совсем успокоился.

Как только мы остались одни, Ананда перебросил палочкой письмо на толстую бумагу и бросил его в камин, на красный платок. Ничего нам не объясняя, он облил жидкостью вещи в камине, и они, даже без запаха и звука, превратились в пепел.

Капитан сказал, что оставит нам на ночь Верзилу, без которого до девяти часов утра может обойтись. Ананда согласился, сказав, что я буду ночевать в его комнате на диване, так как здесь смрадно, а Верзила ляжет у него в прихожей на диване.

Сказано — сделано. Мы проводили капитана до калитки; и не прошло и получаса, как Верзила стучался к нам, улыбаясь во весь рот своей добродушной физии.

Он привёз нам записочки от И. и капитана. Первый сообщал нам, что ему удалось снестись с друзьями и он довезёт Браццано только до ближайшей остановки. А потому завтра вечером будет дома. Меня же он просит не расставаться с Анандой ни на миг.

Капитан писал мне, что нашёл на пароходе полный порядок, что Хава — молодец и он её теперь любит. Что же касается необыкновенного внутреннего своего состояния, то он продолжает носить в себе небо и землю, не чувствуя их разъединения. Но выразить это словами не умеет и, как долго это будет продолжаться, не знает.

Ночь в доме князя прошла благополучно. Но рано утром, гораздо раньше обычного, князь уже стучался к нам, прося посмотреть его жену, которая снова потеряла речь и глаза которой выражают ужас.

К моему удивлению Ананда вышел из своей комнаты совершенно одетым и готов был сразу же уйти с князем без меня. Я взмолился, памятуя приказ И., чтобы он меня подождал пять минут.

— Ты и здесь не хочешь нарушить приказания твоего поручителя? — засмеялся Ананда.

— Бог с вами, Ананда, какого ещё поручителя вы выдумали? Я просто хочу, чтобы И. не имел лишней причины беспокоиться, и хоть это его желание хотел бы исполнить точно.

— Да, Лёвушка, я очень счастлив, что И. нашёл в тебе такого верного друга. Лучше поступает И., давая тебе точные указания, где как тебе вести себя, чем я, стараясь развить в человеке способность самостоятельного распознавания с первых же шагов.

Мне всё хочется подготовить человека, научить его стоять твёрдо на ногах. А выходит всё так, что пока человек подле меня — он твёрд и верен. Как только остаётся один — решения его шатки и закалённая верность — миф.

Много раз слышал я, что суров И. для тех, кто идёт подле него. Но вижу, что путь их — сразу поставленных в утверждении в себе внутренней дисциплины — короче и легче.

— Кто-нибудь может говорить, что И. суров? — в полном негодовании закричал я. — Это всё равно, что сказать, что подле вас жизнь не сплошной праздник и счастье. О, Ананда, я ещё ничего не знаю. Но то, что и вы и И. создаёте для людей новое понимание ценности жизни, — это я не только знаю, но весь полон благодарности и благоговения. Просыпаешься уже счастливым, что целый день проведёшь подле вас. Я так рад, что я с вами, дышать мне подле вас так же легко, как когда И. со мною. И я ничуть не боюсь вас.

— И даже прощаешь дервишскую шапку, — засмеялся Ананда.

Но через минуту сказал очень серьёзно:

— Ты готов? Теперь подумай о Флорентийце, зайдём за твоей аптечкой и отправимся к княгине. Я думаю, что там дело не так-то будет просто.

Ананда отдал Верзиле твёрдый приказ никому не открывать дверей его крыльца и никого не пропускать в его комнаты. Хотя бы кто-нибудь хотел проникнуть под предлогом подождать или передать записку, никому не открывать ни под каким видом и ничего ни у кого не брать.

— Есть не открывать, ничего не брать, — ответил моряк. — Если опоздаете к восьми с половиной часам — с меня капитан взыщет. Я отпущен до девяти.

— Есть, — улыбаясь, сказал Ананда, — отпущен до девяти. Если мы опоздаем — ответ мой, отвезу тебя сам.

— Есть ответ ваш, — и Верзила запер на замок двери крыльца и прихожей.

Мы зашли в мою комнату, где царила полная тишина. Я сравнил этот момент с раздававшимся здесь так недавно смехом капитана и с творческой жизнью, которая так напряжённо мчалась к нам от И., — и тишина показалась мне какой-то зловещей и мёртвой.

Я взял аптечку, Ананда вынул сначала кое-что из аптечки И., но потом передумал и взял её всю с собой. По дороге к княгине я поделился с ним впечатлением, произведённым на меня нашими комнатами. Он кивнул головой и сказал:

— Когда идёшь на работу, готовь в себе рабочее состояние. Сосредоточь мысли на Флорентийце, собери всё своё внимание и всю полноту чувств и мыслей только на том, что собираешься делать сейчас.

Я вспомнил, что почти те же слова мне недавно сказал И. Но мы были уже у порога княгини, я оставил всё, чего не додумал, «на после» и вошёл в спальню старухи, неся в себе образ моего великого друга.

Князь сидел у постели своей больной жены, точно совершенно не видя и не замечая ни её отталкивающей внешности, ни её ужаса. Он видел только её страдания, старался со всей нежностью их облегчить и страдал сам её мукой и своим бессилием ей помочь.

Глаза княгини метали молнии. Они одни и жили на этом лице, превратившемся снова в маску. Лицо княгини было точь-в-точь таким же, каким я его увидел в первый раз, навещая княгиню с И.

Увидя Ананду, княгиня жалобно замычала, и из глаз её полились слёзы.

Ананда подошёл к постели, передал мне свою аптечку, поставил меня рядом с собой и шепнул мне:

— Стой так близко ко мне, чтобы всё время ко мне прикасаться.

Он взял руку княгини и спросил у князя:

— Кто дежурил у больной эту ночь?

— До двенадцати — сестра милосердия, а после полуночи — горничная княгини, — ответил князь.

— Позовите сюда их обеих сейчас же.

Князь вышел выполнить приказание Ананды.

— Возьми меня под руку и будь внимателен, — сказал мне Ананда, когда князь вышел.

Очень скоро он вошёл с обеими женщинами. Горничная княгини вошла с обиженным видом и сразу же начала в чём-то оправдываться. Вторая сиделка имела вид сконфуженный и даже печальный.

Ананда приказал им обеим стать по другую сторону кровати княгини, продолжая держать обе руки больной в своих.

Несчастная выказывала все признаки страха при виде своей горничной и пыталась что-то сказать Ананде.

— Успокойтесь, княгиня. Ваши страдания скоро кончатся, — сказал он, поглаживая её руки. — Не бойтесь ничего, ведь я здесь. Потерпите.

— Вы дежурили первая? — спросил Ананда сестру.

— Да, — тихо и робко ответила она, глядя ему кротко в глаза.

— Почему вы ушли из спальни, тогда как вы были обязаны дежурить всю ночь?

— Я не хочу солгать вам и не могу ответить правду, так как обещала молчать.

— Так. Ну, а вы почему пришли сюда, когда дежурить вас никто не назначал? — обратился он к горничной княгини.

— У сестры милосердия болела голова. Она сама меня вызвала и просила её сменить, а теперь боится потерять место и отговаривается, — нагло начала горничная, но, не выдержав пристального взгляда Ананды, опустила глаза и замолчала.

— Когда вы, сестра, дежурили, это вы надели на княгиню этот чепец? — снова спросил Ананда.

— Чепец? — с удивлением сказала та, поглядев на княгиню. — Нет, я расчесала ей волосы, заплела косички и напоила молоком с лекарством, которое вы дали. Княгиня мирно заснула, когда меня вдруг вызвала Ольга. Помилуйте, да разве бы я надела этот безобразный тюрбан на княгиню?!

— Не желаете ли вы на меня всё свалить? — закричала было горничная, но снова осеклась под взглядом Ананды.

— Следовательно, вы вышли, когда княгиня мирно спала, и на её голове не было этой вещи?

— Княгиня спала, хорошо выглядела, было без четверти двенадцать, я точно не помню. И на голове у княгини ничего не было, — твёрдо ответила сестра. —

Я думал, что грозовая волна от И. ударит Жанну и разобьёт её в куски. Из его глаз, расширившихся, огромных, точно вылетели молнии, губы сжались, прожигающая сила точно хотела вырваться, но... он сделал какое-то движение рукой, помолчал и — в полном самообладании — ласково сказал:

— На этих днях мы с Лёвушкой уезжаем. Вероятно, сегодня вы видите нас в последний раз наедине, когда мои разговоры, так вас тяготящие, могут касаться дорогих вам людей. У Анны дети жить долго не могут. Она прекрасная воспитательница, но у неё иные сейчас задачи и дела. Если жизнь, которую рисует вам Леонид, так для вас заманчива — идите, наслаждайтесь всеми страстями жизни. Но, уверен, как горько когда-то будете вы рыдать об этой минуте! Когда осознаете, что стояло перед вами, кто был подле вас и как вы сами всё отвергли... Любовь — это не та чувственность, которая сейчас разъедает вас и в которой вы думаете найти удовлетворение. Но всё равно. Что бы я ни сказал вам теперь, вы — слепая женщина, слепая мать. Как та мать слепа, которая видит в жизни одно блаженство: «мои дети» — и портит их своей животной любовью, так и та, которая не видит счастья сберечь и вывести в жизнь порученные ей души, для которых она создала тела, — обе одинаково слепы и никакие слова их не убедят.

Отправлять ваших слабых здоровьем детей к родственникам, где жизнь груба и где будут о них заботиться не больше, чем о собаках или курицах, нельзя. Если вас они стесняют, я могу отправить их в прекрасный климат, в культурное семейство, где есть две воспитательницы, отдающие этому делу и любовь и жизнь.

Но этот вопрос должен быть решён при мне, и, пока я ещё здесь, их увезёт Хава, которая вернётся к вам и для которой я прошу у вас гостеприимства на несколько дней. Завтра мы зайдём к вам, и вы скажете нам ваш ответ. А вот и Анна, нам пора уходить.

Анна, видимо, торопилась, учащённо дышала и была бледна от жары.

— Как я рада, что застала вас, — здороваясь с нами, сказала она. — Но что с вами, И.? Вы, право, точно Бог с Олимпа, прекрасны, но гневны. Я ещё ни разу не видела вас таким. — Она обвела всех нас глазами, снова посмотрела на И. и вздохнула.

— Я рада, что вы здоровы, Лёвушка, — обратилась она ко мне. — Но неужели вы оба уедете раньше, чем вернётся Хава?

— Хава будет здесь завтра, она свою задачу выполнила так, как только и могла её выполнить воспитанница сэра Уоми, — ответил Анне И. — Я просил у Жанны приюта для неё на короткое время. Дети, Анна, не могут оставаться у вас. Если Жанна не передумает, Хава отвезёт их в семью моих друзей.

— Как? — вне себя, бросаясь к Жанне, закричала Анна. — Вы хотите отдать детей? Но вы не сделаете этого, Жанна! Ведь вы сейчас в вашей капризной полосе! Это с вами пройдёт, опомнитесь!

— Я именно опомнилась. Я совсем не хочу в монастырь, как вы. И раздумывать не желаю. Я отдаю детей вам, доктор И. Хава может их увезти хоть завтра, — холодно сказала Жанна, поражавшая меня всё больше. Я не узнавал прежней Жанны, милой, ласковой.

— Жанна, ведь вы всё это наговариваете на себя! Это ваше слепое упрямство, а завтра будете плакать, — настаивала Анна.

Она, по всей вероятности, переживала настоящую трагедию страха. Но вся, подражая движениям приснившихся ей козлов, была так смешна и нелепа, что я был не в силах сдержать смеха.

— Всё-то вам смешки, барин! Много бы я дала, чтоб вас хоть раз козёл такой попугал, — перестали бы навек заливаться.

— Это ваша совесть, Ольга, вероятно, вас мучает, — ответил я ей. — Страх ответственности перед князем и страх перед мошенниками, у которых в руках вам померещился козёл. Они вам грозили, вероятно, всякими наказаниями, если не сдержите слова. Вы задремали, всё в вашем мозгу перепуталось, и козлы вам приснились, — смеясь, ответил я ей. Ну, возможное ли дело, Ольга, чтобы чуть не стадо козлов вылезло из камина? Бросилось к двери, через которую мы вошли, а мы бы их не видели? — продолжал я смеяться, представляя себе эту картину из сказок про ведьм и колдунов.

— Ох, барин, уж и не знаю, что вам и ответить на ваши издёвки. Так-то оно, если подумать, и невозможно, чтобы из камина козёл прыгал...

— Ай, батюшки-светы, доктор, спасите! Ай, вон он опять, — закричала неистово Ольга, указывая на пепел от вчерашних вещей и чепца в камине, который дуновением ветра чуть шевельнулся на решётке.

— Встаньте, возьмите эту вату и вымойте ваше лицо и руки, — подавая ей мокрую вату, сказал Ананда.

Прекрасный аромат распространился в комнате, когда Ольга стала вытирать лицо и руки.

— Нечистая совесть всегда заводит мысли человека в несуществующие на самом деле страхи. Мы сидим рядом с вами и видим, что ровно ничего вокруг вас нет. А вы стонете от ужаса, потому что уже вчера, когда предали княгиню, сами создали себе внешний образ своего собственного поступка в виде козла, — сказал Ананда смертельно перепуганной, озиравшейся по сторонам Ольге.

Так всегда бывает с людьми, когда они поступают подло и гнусно. Вам и прежде казался самым отвратительным и мерзким козёл, вот вы и увидели его сейчас, как отражение собственной обезображенной вами совести.

Вы просите у меня помощи? Но, к сожалению, я не могу вам подать её. Только вы сами можете себе помочь сейчас. Всю жизнь, худо ли, хорошо ли вам было, вы прожили у княгини. Вы часто получали от неё ценные, а иногда и богатые подарки. Вы составили себе подле неё кругленький капиталец. Целое состояние, обеспечивающее вам жизнь до конца дней. И вся ваша признательность ей выразилась в том, что вы впустили к ней убийц?

— Да я и в голове не держала, что здесь затевается убийство. Что вы, что вы! Я думала, доктор, что в чепце снотворная мазь, что княгиня заснут, и я пропущу людей через спальню, чтобы никто не видел, к молодому барину. Ну, а как они очень горды, молодой барин, и внимания ни на кого не обращают, то я их и ненавидела.

Я был поражён. Как? Чем я мог внушить ненависть к себе человеку, о котором я думал так мало? И если и думал, то всегда сострадал той тирании, в которой видел Ольгу на пароходе. — Вы говорите, доктор, что я за жизнь сложила себе капиталец возле княгини? Я не даром его получила. Я всю свою жизнь на них и работала. Да что греха таить! Нешто княгиня до князя хорошую жизнь вела? Это их сиятельство всё

иначе повернули. А то в нашем доме-то дым коромыслом шёл! И большая часть моих денег не от княгини...

— А от тех мерзавцев, которым вы помогали шельмовать или всячески добиваться милостей вашей хозяйки? — сверкнув глазами, перебил Ананда Ольгу. — Вы работали? Вы трудились? Перебрать туалеты своей барыни, из которых вы всячески норовили что-нибудь украсть или тайно продать, — вы это называете трудом? Лежать с леденцом за щекой и читать на барыниной кушетке недочитанный ею роман, если он напечатан по-русски? Зевать и шарить по буфетам, чтобы повкуснее съесть? Что вы ещё делали за вашу жизнь? Вы только и достойны того, чтобы вам мерещились козлы.

— Доктор, спасите меня от них. Я с ума сойду, если ещё раз их увижу. Они вас боятся, спасите меня! — дико оглядываясь, точно ей во всех углах мерещились козлы, кричала Ольга.

— Я вам уже сказал. Никаких козлов нет в действительности. Это порождение вашего воображения, вашей совести, которой вы торговали всю жизнь. И спасти вас я не могу. Только чистая жизнь в труде, в самопожертвовании может вам помочь отныне.

— Да не могу же я сделаться прачкой, если вы не считаете мою жизнь трудом. Не кухаркой же мне поступить в бедное семейство? — возмущалась Ольга, считавшая себя, очевидно, фрейлиной в сравнении с остальной домашней прислугой.

— Куда вы годны для таких дел? И не в таком труде, где только одна физическая сторона работает, вы можете найти себе очищение. Ваша сестра писала вам, что она овдовела, очень больна и боится умереть, оставив своих детей сиротами. Что вы ей ответили?

Ольга опустила глаза и молчала с тупым, злым выражением лица. Она мне напомнила тётку Лизы в вагоне, когда та орала в лицо И.:

— Я барыня, барыня, барыня была, есть и буду!

Я подумал о глубочайшей развращённости, в какую впадает душа человека, испорченного бездельем, жадностью и сознанием своего, несуществующего нигде, кроме собственного воображения, превосходства над другими.

— Жить в крестьянстве я не могу, — наконец выдавила из себя Ольга. — В деревне люди тёмные. Я привыкла к веселью. Мне и здесь-то опостылело за княгинину болезнь. Ни души не видишь! Я приёмы люблю. Народ чтоб приезжал, обеды, шумно, мужчин чтоб много.

— В деревне жить не можете — там люди тёмные? Я думаю, темнее вас самой — среди добрых и светлых людей — встретить трудно, — ответил ей, прожигая Ольгу глазами, Ананда. — Единственный для вас путь, которым вы можете идти и найти себе спасение, — это взять сирот сестры, их воспитать и найти в себе к ним любовь. Если вы этого не желаете, — живите с вашими козлами.

Ананда поднялся, чтобы выйти из комнаты.

— Нет, нет, доктор, не уходите, — вон они снова здесь! Я всё сделаю, только спасите от них, — вскричала Ольга.

— Это становится скучным, — грозно сказал Ананда. — Повторять одно и то же бессмысленно. Вам есть один путь, путь любви и милосердия к вашим племянникам-сиротам. Вы за всю жизнь никого не любили, никого не приласкали. Вы только гра-

Упорство не сходило с её лица, и она ответила капризно, с досадой, как будто бы к ней приставали с самыми мелкими и нудными вещами:

— Я не просила никого заботиться о моих детях; заботились — сами хотели; ну и баста.

Я онемел от изумления, что не дало мне сил вмешаться в разговор И. Я никак не ожидал от Жанны подобной вульгарности.

— А если завтра жизнь найдёт, что неблагодарных нужно вернуть в их прежнее положение? И вы очутитесь снова на пароходе с детьми, без гроша и без защиты добрых людей? — пристально смотря на неё, сказал И.

Жанна как бы нехотя, лениво подняла глаза и... задрожала вся, умоляюще говоря:

— Я и сама не рада, что всё бунтую. Меня возмущает, что все меня учат, точно уж я сама ничего не понимаю. Я делаю шляпы так, что на весь Константинополь уже прославилась; ведь это что-нибудь? Не могу же я и детей воспитывать, и дело вести, и, наконец... жизнь не только в детях? Я хочу жить, я молода. Я француженка, у себя мы привыкаем рано к открытой жизни. Я хочу видеть театры, рестораны, вечера, а не дома всё сидеть, точно в монастыре, — говорила возбуждённо Жанна.

— Давно ли вы так изменили ваши взгляды? На пароходе вы ведь говорили мне, что готовы всю жизнь отдать уходу за детьми, борясь за их жизнь и здоровье? — глядя на неё, продолжал И.

— Ах, доктор И., что вы всё поминаете этот пароход? Ведь уж это всё было давно — так давно, что я даже и забыла обо всём, что там было. Меня дамы приглашают к себе, хотят меня познакомить с интересными кавалерами, а вы мне всё говорите о детях. Не убудет же от них, если я повеселюсь! — протестовала Жанна, досадливо кусая губы.

— Нет, быть может, им будет даже лучше, если они и вовсе не будут жить с вами. Но вам, неужели вам кажется лучше та рассеянная жизнь, о которой вы мечтаете? Неужели в детях вы видите помеху?

— Мне совсем нечего скрывать, что я очень хотела бы отправить детей к своим родственникам. Я их очень люблю, буду, верно, скучать без них, но я не могу сделаться хорошей воспитательницей. Я раздражаюсь, потому что они мне мешают.

— Дети ведь живут у Анны теперь уже всё время. И если вам приходится их видеть, то не потому, что вы зовёте их, а потому, что они хотят видеть вас. Они бегут к матери и, награждённые сначала поцелуями и сластями, потом шлепками, возвращаются к Анне, говоря няне: «Пойдём домой». Вам их не жаль, Жанна? Не жаль, что дети называют домом дом чужой им Анны?

— Вы хоть кого доведёте до слёз, доктор И. Неужели же я так долго ждала вас и Лёвушку сегодня только затем, чтобы быть доведённой до слёз?

— Я, я, я — только эти мысли у вас, Жанна? Вы ни одного лица чудесного, доброго, светлого не запомнили за это время? Образ сэра Уоми не запечатлелся вам? — спрашивал тихо И.

— Ну, сэр Уоми! Сэр Уоми — это фантастическая встреча! Это святой, который вышел в грешный мир на минутку. Это так высоко и так — вроде как до Бога — далеко, что зачем об этом и говорить? Он вышел, как улитка, показал свои рожки и скрылся, — опустив глаза, тоном легкомысленной девочки болтала Жанна.

дня» — это какое-то просветлённое благоговение, с которым я принимаю своё счастье жить каждый новый день подле вас.

Я хорошо понимаю, о чём хотел сказать князь. Но внутри меня звенит не пустое сердце, как он говорит. Наоборот, такая горячая, такая знойная моя любовь! Мне иногда кажется, что даже физически разливаются вокруг меня горячие струи моей любви.

— Вот и пойдём с тобой к Жанне, и неси ей эти струи. Неси, не думая о словах, какие скажешь. Думай только о руке Флорентийца и его силе, какую тебе надо ей передать. Это ничего, что сам ты как таковой бываешь шаток и слаб и теряешь в мыслях связь с ним. Лишь бы в сердце твоём всегда сиял его образ. Ты всюду сможешь перенести его помощь человеку, если верность твоя не поколеблется. И никто не ждёт, что ты станешь сегодня ангелом или святым. Но всякий мудрый знает, что на чистое и бесстрашное сердце он может положиться. Чистое сердце может быть тем путём, по которому мудрец может послать свой свет людям.

Вошедшему Ананде мы сказали, что отправимся сначала насыщать меня в «Багдад», а затем зайдём в магазин к обеденному перерыву, к Жанне. Ананда подумал и ответил:

— Хорошо, Анна, по обыкновению, придёт сюда в перерыв. Я переговорю с нею и, может быть, тоже приду в магазин. Но, вернее, я подожду обоих вас здесь, и нам придётся заняться вновь вливанием раствора княгине.

Мы расстались, и в начале перерыва были уже у Жанны.

— Как я счастлива видеть вас! — вскрикнула она, увидев нас входящими. — Как будет жалеть Анна. Она только что вышла с отцом к вам.

— Анна жалеть не будет, ей дела немало и без Лёвушки, — сказал И. — А вот вы, конечно, сейчас будете и жалеть и плакать.

— И вовсе не буду плакать, доктор И. Я теперь стала такая жестокая, что слезы не выроню ни о ком и ни о чём. За последнее время я видела столько горя, что сердце у меня стало грубое, как этот медный чайник, — указывая на довольно безобразный пузатый чайник, стоявший почему-то на изящном обеденном столе, сказала Жанна.

— Неужели же всё, что вы видели от людей за последнее время, Жанна, вы можете называть жестокостью? — в ужасе спросил я.

Жанна опустила глаза, и на лице её было выражение тупого упрямства, какое бывает у балованных и недобрых детей. Я поражался, как может вылезать со дна души Жанны на поверхность всё самое плохое, что там лежит? И именно сейчас, когда люди несут ей лучшее из своих сердец? Я знал, как много добрых качеств в этой душе, и терялся в догадках, что может быть причиной её ожесточения.

И. молчал, и какое-то чувство неловкости за Жанну охватило меня. «Неужели Жанна не ощущает, какое счастье для неё и для каждого сидеть в одной комнате с И.?» — думал я. Я представить себе не мог, чтобы можно было не сознавать той высоты мудрости, которая шла от И., и не переживать её как счастье.

— Как вы представляете себе, Жанна, не надо ли вам сходить к княгине и поблагодарить её за заботы о ваших детях? — спросил И. тихо, но чётким и внятным голосом, который — я знал — несёт в себе целую стихию для человека, к которому он был обращён.

били, копили, лгали, сплетничали. Если не ухватитесь за единственный случай, где вам посылается возможность любовью победить всех ваших козлов, вызванных к жизни вашей нечистой совестью, все эти козлы вас затопчут, — продолжал он, и голос его звучал мягче. — Выбора у вас нет, вы всё время играли дурными страстями людей. Вы только и делали, что злились, раздражались и других вводили во всякие мерзкие дела. Теперь уже поздно выбирать. Или уезжайте отсюда, возьмите сирот, создайте им чистую — слышите ли? — чистую жизнь. Или ждите — в безумии и ужасе, — как вас растопчут порождённые вами козлы.

Молнии снова сверкали из глаз Ананды. Прекрасен он был, божественно прекрасен! Я — непонятным мне самому путём, когда знание чего-то происходящего в другом проскальзывало в меня, минуя логические ходы мыслей, и открывало мне что-то невидимое и неведомое в душе другого, — понял, что Ананда сейчас ставил Ольге те узкие рамки точно определённого послушания и дисциплины, которые он отвергал с другими. Я как бы видел, как он берёт руку И. и вводит его приём помощи и воспитания людей в свой круг действий.

Что творилось с Ольгой — трудно даже передать. Но, пожалуй, преобладающим выражением её лица было изумление.

— Вот как можно довериться кому-нибудь! Я только одному этому подлому швейцару и сказала о смерти сестры. Да и сказала-то потому, что знала его любопытство. Небось сам прочёл раньше, чем мне подал. И телеграмма-то пришла ночью. Когда он успел только вам всё передать?

— Я вас в последний раз спрашиваю: пойдёте вы путём любви и милосердия? Или... нам здесь больше делать нечего, — снова сказал ей Ананда.

— Если бы я и не хотела ребятам благотворительствовать, так ничего не могу поделать — эти проклятые всё тут. Я согласна ехать. Но вдруг они побегут за мной? — с ужасом осматриваясь по сторонам, ответила Ольга.

— Если только увезёте отсюда ворованные вещи, — побегут и бежать будут до тех пор, пока вы не возвратите похищенного. Если будете злы и раздражительны, недобры с детьми, козлы будут появляться. И как только злые мысли и старые навыки будут тянуть вас к подлым людям и делам, будете попадать в круг ваших козлов, — тихо, твёрдо прозвучал голос Ананды.

Идите, собирайтесь в путь и помните, что я вам сказал о чужих вещах. Вечером уходит поезд. Мой знакомый едет в Петербург. Я попрошу его взять вас в качестве жены, чтобы не возиться с заграничным паспортом, что здесь довольно долго делается. Когда соберёте всё, придите ко мне вниз.

Ольга вышла. Мы сами проводили её по лестнице вниз, но она всё ещё дрожала от страха и озиралась по сторонам, где ровно ничего, кроме обычных и знакомых ей предметов, не было.

Войдя к себе, Ананда написал записку Строганову и послал к нему одного из наших караульщиков.

Недолго мы оставались одни. К нам пришёл князь, извиняясь за все причинённые нам беспокойства и говоря, что Ольга категорически заявила о своём немедленном уходе, чем он поставлен в ужасное положение, так как некем её заменить.

Ананда его успокоил, сказав, что сейчас приедет Строганов, у которого в семье много приживалок. И найдётся кому поухаживать за его женой, пока она так сильно больна. А там видно будет.

Князь утешился, не зная как и благодарить Ананду, но вдруг схватился за голову.

— Господи, да ведь вы оба ещё ничего не ели! Да мне прощения нет!

— Не беспокойтесь, князь. Авось мы с Лёвушкой не умрём, ещё час-два поголодав. Как только я переговорю со Строгановым, мы поедем обедать.

— Никогда я этого не допущу! Сию минуту вам сюда подадут завтрак, а обедать, я надеюсь, вы не откажетесь со мной вечером.

И не дожидаясь ответа, князь почти выбежал из комнаты.

Ананда сел к столу, читая какое-то письмо, а я же был так разбит, что не мог даже сидеть, лёг на диван и чувствовал, что силы меня оставляют.

— Мой бедный мальчик, выпей эту воду, — услышал я нежный голос, до того мягкий, гармоничный и любящий, что я еле признал в нём властный и металлический «звон мечей» Ананды.

Мне стало вскоре лучше. Принесённый завтрак подкрепил мои силы, о чём хлопотал сам князь, собственноручно подкладывая мне всякой всячины. Когда спустя некоторое время вошёл Борис Фёдорович, я уже и забыл, что едва спасся от обморока заботами Ананды.

Сиделка у Строганова, конечно, нашлась; и он же взялся сам отвезти Ольгу к знакомому Ананды, уезжавшему сегодня в Петербург. Ананда на словах просил Строганова передать уезжавшему купцу, что Ольга — горничная княгини, которую смерть сестры заставляет спешить выехать к сиротам. Самому же Борису Фёдоровичу он передал всё случившееся сегодня. Строганов долго молчал, потом тихо сказал:

— Я думаю, что Анне необходимо навестить княгиню, когда ей станет немного лучше.

— Я не могу принять от неё этого подвига, — в раздумье сказал Ананда.

— Нет, Анна уже не та. Теперь ей многое легко из того, что прежде стояло непреодолимой стеной. Думаю, она сама придёт, лишь узнает обо всём, — снова помолчав, сказал Строганов.

Вскоре он ушёл от нас к купцу, и нам выпало наконец несколько мгновений отдыха и тишины. По задумчивому лицу Ананды, ставшему сейчас мягким и тихим, прошла неуловимая улыбка счастья. Точно он говорил с кем-то очень любимым, но далёким. Как много раз — при самых разнообразных обстоятельствах — я видел это прекрасное лицо и эти глаза-звёзды и, казалось, знал их. А сейчас я увидел какого-то нового человека, от которого всё вокруг наполнилось миром и блаженством. И я понял, что я видел до сих пор только клочки истинного огромного Ананды, как и сейчас вижу только маленький кусочек Ананды-мудреца. Но ещё никогда не видел я Ананды-принца. Каков же он должен быть, когда бывает принцем? Я тут же стал «Лёвушкой — лови ворон» и опомнился от смеха Ананды, который, похлопывая меня по плечу, говорил:

— Решишь в Индии этот важный вопрос. Я тебя там встречу и спрошу, какой раджа показался тебе восхитительнее меня? А сейчас вернётся Борис Фёдорович и

Во всей вселенной, если я виноват где-либо в личной привязанности, в личной дружбе и тоске по другу, то это по тебе, Лёвушка.

Твои успехи, твоя жизнь мне дороже моей. И как я признателен милой Хаве, приславшей мне твой рассказ. Я скрыл от тебя, что пишу сам. Скрыл, чтобы не давить на тебя, чтобы ты сам вырабатывал своё мировоззрение, независимо от меня, свободно ища не гармонии со мною, а ища своего собственного движения в гармонии с жизнью.

И ты порадовал меня. Я ждал всегда от тебя вещи талантливой. Но ты дал в первой же вещи черты художественной высоты и мудрость не мальчика, а большого, твёрдого сердца, которому близок гений.

Моя жена шлёт тебе привет и надежду на скорое свидание. Ей тоже, не меньше моего, приходится переключаться на новые рельсы. Но как женщина она делает это проще и легче моего. А как существо, принадлежащее какой-то высшей расе, — выше и веселее.

Смейся, Лёвушка, больше. Не печалься разлукой. Я знаю, какая глубина любви и верности живёт в твоём сердце. Поэтому я не говорю тебе о благодарности тем людям, кто спас нам с тобой жизнь. Я говорю только: смотри на их живой пример и ищи в себе всех возможностей расти, чтобы когда-то идти по их следам, дерзать разделить их труд.

До свидания. Я не придаю значения письмам, я знаю и верю, что я живу в сердце брата. Но буду рад увидеть твой полудетский почерк, который был в силах написать вещь, в которой много сердец нашло утешение.

Твой брат Н.».

Должно быть, я долго ловиворонил.

— Что же, Лёвушка, теперь, может быть, расскажешь толком, что тебя ввело в исступление? — поглаживая меня по голове, сказал И.

Я протянул ему оба письма, не будучи в силах ни говорить, ни двигаться. Я точно был сейчас с братом Николаем, видел его и Наль, и они оба кивали мне головами, весело улыбаясь.

И. сел подле меня, прочитал оба письма и сказал мне:

— Очень скоро, на этих днях, мы с тобой выедем отсюда. Поедем не морем, чтобы ты мог видеть ближе чужие страны и народы.

Здесь у нас останется ещё одно только существо, о котором нам с тобой надо особенно позаботиться — это Жанна. Все остальные — так или иначе — добредут до равновесия и научатся стоять на своих ногах. Жанне же нам надо постараться сделать временные костыли, пока Анна и князь не помогут ей вырваться из сетей её собственной невоспитанности и бестактности.

— Ах, Лоллион, мне даже слышать мучительно стыдно, когда вы говорите: «нам с тобой». Я каждую минуту попадаю впросак сам, ну, хоть вот сию минуту! Но — признаться ли — несмотря на всю нелепость своего поведения, на всю смешную внешнюю его сторону, я внутри себя всё чаще и чаще испытываю какой-то восторг.

Я так счастлив, что живу подле вас! И слова Флорентийца о том, что мне кажется, будто я вырван откуда-то и что-то потерял, — это уже моё «вчера». А моё «сего-

Твой вечный друг Флорентиец».

Не знаю, чем я был больше тронут: письмом ли Флорентийца, заботами ли окружающих меня друзей, — только встал в моих глазах образ Флорентийца с цветком чудесной лилии, и показалась мне жизнь чем-то таким великим, нужным, ценным, как ещё ни разу не рисовалось мне величие земного пути человека.

Я вынул письмо брата, и слёзы потекли у меня из глаз при виде дорогого почерка брата-отца, которого я так давно не видал.

— Ты что, Лёвушка? — услышал я голос Ананды и почувствовал его руку на своей голове.

— Не беспокойтесь, — беря его руку и приникая к ней, сказал я. — Я просто так давно не видел почерка брата, что не могу совладать с волнением. Но я совершенно здоров.

— Мужайся, друг. Тебе жизнь рано дала зов. Стремись отвечать ей не как мальчик, а как мужчина.

Он сел снова за прерванную работу, я же стал читать письмо брата, сразу найдя самообладание.

«Давно уже расстались мы с тобой, мой сынок Лёвушка. И только теперь каждый из нас может оценить, чем были мы на самом деле друг для друга и каково было влияние каждого из нас друг на друга.

Расставшись со мной и вынеся столько испытаний из-за меня, только теперь ты можешь сказать, любил ли и любишь ли ты меня. Только теперь, оставшись один, ты можешь решить, хороши или дурны были те заветы, на которых я старался воспитывать тебя.

Что же касается меня, то, попав в непривычный для меня мир людей и идей, я почувствовал, как я плохо воспитан, как мало я знаю и какую огромную работу самовоспитания и дисциплины мне придётся начинать».

Дойдя до этого места, я вскочил со стула, забегал по комнате, схватившись за голову и крича:

— Да ведь это же невозможно! Брат Николай — невоспитанный человек?! Это бред!

Вошедший И. уставился на меня своими топазовыми глазами и сказал:

— Лёвушка, тебе приснились козлы?

— Хуже, И., хуже! Читайте сами, вот здесь. Ну, есть терпение выдержать?

— Ты, я вижу, так же приготовил в своём сердце место для чтения письма брата, как ты готовил его для писания письма капитану! Как ты думаешь? Сейчас ты радуешь Флорентийца?

Я вздохнул и пошёл на своё место, снова взявшись за письмо и поражаясь сам, на какое короткое время хватило моего самообладания, казавшегося мне таким цельным и твёрдым.

«Если бы у меня была малейшая возможность, — читал я дальше в письме брата, — я бы выписал сюда своего дорогого Лёвушку, о котором думаю постоянно и без которого в сердце моем живёт иногда беспокойство. Мне порою кажется, что тебе бывает горько. Ты считаешь, что я, брат-отец, покинул брата-сына и живу так, как хочу, как выбрал и где тебе нет места.

придёт Ольга. Передай ей это письмо в прихожей и скажи, чтобы подождала Строганова и ехала вместе с ним к купцу. Там ей всё скажут и покажут. И о чём бы она тебя ни просила, передай ей точно только то, что я тебе сказал.

Строганов вернулся и объявил Ананде, что купец был очень рад хоть чем-нибудь выразить ему свою благодарность. Что касается сиделки, то её привезёт сюда, прямо к князю, старший сын Строганова.

Моё прощальное свидание с Ольгой происходило в присутствии Бориса Фёдоровича. Ей, видимо, хотелось видеть Ананду, чего она всячески добивалась. Ни на один её вопрос я не отвечал, говоря, что передаю только то, что мне поручено Анандой, и больше ничего не знаю.

По уходе Строганова и Ольги, всё остальное время, вплоть до обеда, Ананда диктовал мне несколько писем, несколько деловых ответов в какие-то банки и велел внести в большую книгу пачку адресов. Во все углы земного шара летели письма Ананды.

— Целый адресный стол, — невольно сказал я.

— Я у тебя спрошу через десяток лет твои гроссбухи, тогда сравним наши адресные столы, — ответил, смеясь, Ананда.

Князь пришёл сам звать нас обедать. Я был рад, что кончается этот сумбурный день и ждал нетерпеливо возвращения И.

— Не знаю, как я буду и жить без вас, без И., без Лёвушки, — говорил печально князь, когда мы вышли на балкон после обеда.

— Я бы на вашем месте ставил вопрос как раз обратно, князь, и говорил бы: «Как я счастлив, что вы останетесь здесь, один со мною, мудрец и принц Ананда», — засмеявшись, сказал я.

— Как я счастлив, каверза-философ, что тебя сейчас проберёт за дурное поведение твой воспитатель И.

Не успел Ананда докончить своей фразы, как я увидел И. идущим от калитки по аллее. Я бросился со всех ног ему навстречу и через минуту висел на его шее, забыв всё на свете, не только внешние приличия.

Глава 26

Последние дни в Константинополе

Мой добрый и дорогой друг не сделал мне замечания за мою невыдержанность, напротив, он нежно прижал меня к себе, ласково погладил по голове и спросил, всё ли у нас благополучно.

Поспешившие ему навстречу Ананда и князь повели его прямо в комнаты Ананды. После первых же слов князя о жуликах и Ольге И. внимательно посмотрел на Ананду, потом на меня и, точно думая о чём-то другом, спросил князя:

— А как сейчас княгиня?

Получив точный отчёт о её состоянии от князя, И., как бы нехотя, сказал:

— Это, пожалуй, может нас задержать ещё здесь, а между тем, нам уже время ехать.

От настойчивых предложений князя покушать И. отказался; и князь, побыв ещё немного с нами, ушёл к жене, заручившись нашим обещанием побывать у больной перед сном.

По уходе князя И. рассказал нам, как пытались ещё раз друзья Браццано проникнуть к нему на пароход. Под многими предлогами, добираясь до Хавы и старшего турка, они пробовали их и подкупить, и застращать, но каждый раз со срамом были изгоняемы.

Что же касается до самого злодея, то его психология, так резко изменившаяся при сэре Уоми, вернулась на прежние рельсы, как только некоторые его приспешники, уцелевшие от рук властей, насели на него, требуя возврата камня, составлявшего будто бы собственность не одного Браццано, но всей их тёмной шайки.

Браццано старался своим бушеванием обратить на себя всеобщее внимание на пароходе, надеясь, что, вызвав какое-либо сочувственное к себе волнение публики, он сможет ускользнуть. И. пришлось проехать с ним весь путь в его каюте до первой остановки, так как злодей, вооружённый кое-какими знаниями, набравший целую серию всяких ядовитых вещей и амулетов, оказался, подталкиваемый своими помощниками, сильнее, чем И. предполагал вначале. Он попытался отравить даже самого И., так что тому пришлось снова скрючить негодяя и лишить его голоса.

Только отъехав далеко от Константинополя и, по-видимому, поняв, что возврата нет, он отдал всю набранную дрянь, которую И. бросил в море. При расставании с И. он ядовито усмехнулся, говоря, что насолил немало княгине и Лёвушке, которых уже никакие лекарства не спасут. Он уверял И., что ещё поборется с сэром Уоми и отберёт свой камень или достанет новый не меньшей ценности.

— Вот почему я и беспокоил тебя, Ананда, своей эфирной телеграммой, хотя был уверен в бессилии злодея. Всё же всё то, что я услышал, заставляет меня покинуть Константинополь скорее, чем мы предполагали. Мне необходимо повидаться с Анной и Еленой Дмитриевной, с её сыном и Жанной, потому что здесь завязался новый клубок взаимоотношений, к которым я сильно причастен. Но князя и княгиню, как это ни грустно, придётся покинуть на тебя одного, как и Ибрагима.

видел раз, как он прекрасен и тих до невозможности вынести, божественно прекрасен! Разве можно плакать, зная и любя Ананду.

Но к последним словам я стал уже задыхаться и опять пожаловался И. на зловонный запах.

И снова очнулся я утром, на этот раз совершенно крепким и сразу понял, что лежу на диване в комнате Ананды и он сам сидит возле меня.

— Ну наконец, каверза-философ, ты здоров. Задал же ты нам хлопот, разбойник! Анна тебя целую неделю выхаживала, не уступая места никому. Вставай, пора крепнуть и уезжать. Вот тебе письмо от Флорентийца.

Лучше всяких пилюль подействовало письмо. Я мигом был готов и уселся его читать.

«Мой милый друг, мой славный оруженосец Лёвушка, — писал мне Флорентиец.

Твоя жизнь, кажущаяся тебе запутанной, — проста и ясна, ровно так же, как чисто и верно твоё юное сердце. Я постоянно думаю о тебе, и для меня не существует между нами расстояния. Чтобы ежедневно прижать тебя к моему сердцу и послать тебе всю помощь и поддержку моей любви, мне надо только знать, что верность твоя следует за моею неуклонно.

Сейчас тебе кажется, что ты откуда-то вырван, чего-то лишён, но скоро, очень скоро, ты поймёшь, какое счастье встретил ты в жизни и как редко оно выпадает человеку.

Как бы ни казались тебе мелки и пусты люди, как ни малы и низки не казались бы тебе их беды и горести, никогда их не суди и не чувствуй себя большим среди маленьких, когда они тебе жалуются.

Вспомни, как тебе казалось страшным и несоразмеримым различие в наших с тобой знаниях и духовной культуре! Однако тебя не подавляло моё мнимое величие! Ты радовался, живя со мной. А я не чувствовал в тебе ничего, кроме этой радости; и меня так же радовало, что есть ещё одно место, где моя любовь может светить человеку.

Встречаясь с людьми, не думай, как они плохо живут, как могут они не задохнуться в атмосфере удушливых страстей. Думай обо мне; думай, как бы, чем внести через себя живую и укрепляющую струю моей любви и радости, которые я тебе ежеминутно посылаю. Думая так, ты будешь всюду трудиться вместе со мной. Ты будешь очищать вокруг себя пространство своей чистой мыслью. Ты всегда найдёшь сил пройти мимо многих драм и трагедий человеческих страстей, и не только не запачкаешься в них сам, но и остановишь их развитие в других силой мудрости, что несёшь в себе.

Быть может, какой-то период времени тебе придётся жить среди людей культуры низкой, среди людей, не имеющих знаний и даже не предполагающих, что можно жить без лицемерия. Не считай себя невинно страдающим, закабалённым в такие печальные обстоятельства. Усматривай в них нужные тебе — твои собственные обстоятельства, — через которые тебе необходимо пройти, чтобы в себе же найти стойкость чести и высокое благородство.

Иди смело рядом с И., живи с ним так же рука в руку и сердце к сердцу, как идёшь со мной. Пересылаю тебе письмо брата, обнимаю тебя, благословляю и шлю привет моей верности.

Имея столько осязаемых земных даров, Анна трудно переходит в неосязаемую мудрость.

— Здесь всё ещё носится какой-то мерзкий запах, — сказал я. — У меня голова идёт кругом...

Пришёл я в себя только на следующий день, и первым увидел И., разговаривающего с кем-то, — как мне показалось, с женщиной. Присмотревшись, я узнал Анну.

Её вид, как всегда прекрасный, удивил меня теперь печалью, тоской, какой-то мукой разочарования, разлитой по всему её существу, точно её пришибло что-то.

— Неужели я такое горе причинила бы Ананде, отцу, сэру Уоми, если бы я знала всё? Мне показалось, что Ананда просто лично не любит Леонида и потому велел мне сжечь феску и брелок, которые мальчику дал Браццано. Братишка дорожил ими, я пожалела его. Что же тут особенного? Я ведь только была милосердна к ближнему. Зачем было не объяснить мне всего вовремя?

— Так выходит, что не вы были виною собственных и чужих несчастий, а друг ваш Ананда, открывший вам, по вашему же выражению, «небо на земле»? Скажите, женщина, если бы вы стояли у алтаря с любимым вами и клялись бы ему в верности до гроба? Вы сдержали бы ваши клятвы, хотя бы здесь, на земле? А вы ведь не слепая женщина, бредущая по земле и знающая только ту религию церкви, что учит: «упокой со отцы». Вы знали живую Жизнь, учащую, как жить на земле в Свете. Не клятву у алтаря давали вы Ананде; вы взяли от него Свет, чтобы слиться с ним и стать другим Светом на Пути. В чём же выразилась ваша ему верность? Вы в первом же приказании, не выполненном вами, требуете разъяснений, объяснений, рассуждений? Словом, в чём состоял весь ваш подход к радости служить человеку, открывшему вам живое небо в каждом и в вас самой? Он приобщил вас к труду вечной памяти о свете и любви, — а всё ваше поведение, ваша строптивость, ревность, невыдержанность, — вы ничем не отличались от любой обывательницы, считающей себя перлом создания.

— Я понимаю, что я нарушила первое правило верности: закон беспрекословного повиновения. Я понимаю, что была горда, возможно, суетна, но...

— Но мало понимаете, что и сейчас бредёте ощупью, потому что нет у вас истинного смирения, — перебил её И. — Смирение — это не что иное, как незыблемый мир сердца. И он приходит к тем, кто знает своё место во вселенной. Чем в большем мире идёт по земле человек, тем дальше и выше он видит. А чем дальше видит, тем всё больше понимает, как он мал, как мало может и знает, как многого ещё ему надо достичь. Ананда вам никогда и вида не подал, сколько он принял страданий из-за вас. И вам никак не понять его. Вы вся в бунте и волнении, потому и видеть не можете, что за каждое страдание он вас благословил, радовался возможности принять его на себя, надеясь скорее помочь вашему освобождению. Вы же, видя его всегда радостным, как бы не замечавшим ваших упрекающих глаз, принялись за ревность и сомнение... вы знаете сами, к чему они вас привели.

Анна закрыла лицо руками и плакала.

— Анна, — закричал я, — не надо плакать. Я утону в ваших слезах! Не может быть, чтобы душа, дающая такую радость людям в музыке, как ваша, погружалась так часто в слёзы! Вы не знаете, что Ананда принц и мудрец. А я знаю, мне И. сказал. Я

— Не волнуйся, И., мне всё равно пришлось бы здесь задержаться до тех пор, пока Браццано не будет доставлен на место. А кроме того, моя основная задача здесь должна была состоять в отправке Анны с вами в Индию. Раз я не смог этого выполнить — я должен влить ей энергии на новое семилетие жизни и труда. За эти годы я уже не буду иметь возможности отдать ей ещё раз время; надо так помочь ей теперь, чтобы её верность укрепилась, чтобы радость жить зажгла сердце.

Попутно я смогу кое-что сделать и для Жанны. Всё это я могу делать один. Что же касается здоровья княгини, то здесь твоя помощь мне необходима. Я снесусь с дядей, а ты с сэром Уоми, и, вероятно, придётся опять применить дядин метод лечения. В данное время княгиня всё спит и сознаёт очень мало. Мы можем пройти к ней сейчас. Непосредственной опасности нет, конечно, но от яда злодеев вся её нервная система снова расстроена.

Мы, взяв аптечки и ещё кое-какие добавочные лекарства, пошли к княгине. Князь, по обыкновению, дежурил у постели жены; и я в сотый раз удивлялся этой преданности и заботам молодого человека, вся жизнь которого сосредоточивалась на борьбе со смертью, грозившей его жене.

Ананда дал проснувшейся княгине капель и спросил её, узнаёт ли она его. Княгиня с трудом, но всё же назвала его. Меня совсем не узнала, но при виде И. — вся просияла, улыбнулась и стала жаловаться на железные обручи на голове, прося их снять.

И. положил ей руку на голову и осторожно стал перебирать её волосы, спрашивая, кто ей сказал, что на голове её что-нибудь надето.

— Ольга надела, — совершенно отчётливо сказала бедняжка.

Вскоре княгиня мирно спала. Обеспокоенному князю Ананда сказал:

— Сядем здесь. Сегодня мы уже никуда не пойдём, надо поговорить. Память к больной возвращается — это признак хороший. Но дело идёт о гораздо более глубоком и более о вас, чем о вашей жене. Для чего хлопотать о её выздоровлении, если она не сможет воспринять жизни по-другому? Конечно, она во многом изменилась. Но главная ось всей её жизни — деньги — всё так же сидит в ней; всё так же движение всех людей, её самой и вас, — всё расценивается ею как ряд купли-продаж. Быть может, сейчас в ней просыпается некоторая доля благородства, но жизни в её сердце как оторванных от денег сил и мыслей в ней нет.

Вы сами, князь, будучи полной противоположностью вашей жене, не сможете быть ей крепкой духовной опорой, если будете стоять на месте и чего-то ждать. Есть ли что-нибудь в вашей жизни, во что бы вы верили без оговорок? Чем бы вы руководствовались без компромиссов? Видите ли вы в тех или иных идеях и установках цель вашей жизни? В чём видите вы смысл существования?

Привычка жить только в безделии теперь тяготит вас. Но всё, о чём вы думаете, все ваши мечты о новых сиротских домах, о приютах и школах — это внешняя благотворительность. И она не даст вам, как и всё внешнее, ни покоя, ни уверенности. Вы в себе должны найти независимость и полную освобождённость. Только тогда, когда внутри себя вы поймёте всю полноту жизни — вы найдёте смысл и во внешней жизни. Она станет тогда отражением вашего духа, а не внешним местом, куда вам хотелось бы втиснуть ваш дух.

Вы сумеете раскрыть — вашей любовью — какое-то новое понимание жизни своей жене. Сможете объяснить ей, что нет смерти, а есть жизнь, единая и вечная. Что смерть приходит к человеку только тогда, когда он всё уже сделал на земле и больше ничего сделать на ней не может, — а потому и бояться её нечего. Вы это сможете объяснить ей не раньше, чем сами всё это поймёте. А для этого вам надо освободиться от предрассудков скорби и страха.

Лицо князя сияло, он показался мне иноком, ждущим пострига.

— Я всё это понял. Не знаю как, не знаю почему, но понял внезапно, когда играла Анна. А когда стали играть и петь вы, я точно вошёл в какой-то никогда раньше не виданный храм. И знаю, что уже не выйду оттуда больше. Не выйду не потому, что хочу или не хочу, выбираю или не выбираю. Но потому, что, войдя в этот храм, в который вы ввели меня своей музыкой, я умер там. Тот я, что жил раньше, там и остался; я вышел уже другим человеком. Я не знаю, как вам об этом рассказать. И слов-то таких, которые бы это объяснили, я подобрать не умею. Только видел я дивный храм, вошёл туда — горело сердце любовью земли. А ушёл из храма — точно выжгло всё в сердце. И не то чтобы оно стало холодно. Нет, но в нём стало пусто, прозрачно, точно в хрустальном сосуде. А как встречается теперь страдание людей — там, в том месте, где я сам так жестоко мучился сердцем, — так звенит, точно именно звон вашей песни, свободной, чистой, я слышу. Я знаю, что я говорю непонятно, но слов, которые бы это выразили, я не знаю.

Ананда, не спускавший глаз с князя, тихо спросил его:

— Если бы сейчас вся ваша жизнь вновь переменилась и вам опять ответило бы в вашей груди знойное, страстное сердце, — вы выбрали бы его?

— О, нет; я сказал: мне нет выбора. Я теперь очень счастлив. Я говорил с сэром Уоми, и он сказал мне, что пути людей все разны. Но что мой путь — путь радости. Там, где иные достигают страдая годы, иногда века, я прошёл в одно мгновение — так сказал мне сэр Уоми. Он велел мне, Ананда, ждать, пока вы сами не заговорите со мной. Велел молчать, нося моё счастье жить каждый день, представляя себе, что я несу в руках самую дорогую чашу из цельного, сверкающего аметиста, в которой лежат ровные жемчужины радости. Этот им брошенный мне образ, с которым я просыпаюсь утром и засыпаю вечером, я храню в памяти так осязаемо, как будто руки мои действительно несут чудесную чашу. И вам, Ананда, только вам одному, я обязан этим дивным и внезапным счастьем. Когда я увидел Анну, — я понял, что я погиб. Я полюбил её сразу, без вопросов, без рассуждений, без борьбы. Полюбил без всяких надежд, всей знойной страстью земли... Я знал, кого любила Анна... А голос ваш указал мне путь в иной мир — в мир, где живут, любя всё существующее так, что забывают о себе. Я пережил какое-то преображение, но как и почему оно совершилось — я не знаю. Я стал свободным и счастливым. Ананда, вы заговорили, я ждал этого часа. Научите меня теперь трудиться и жить для людей творчески, по-истинному помогая им жить. И для первой — для неё, — указал он на жену. — Я думал когда-то спасти её, а вышло, что едва не погиб и сам.

— Нет, друг, вы спасли её. И если я, видя в вас переворот, всё же молчал, то не потому, что подвергал вас испытанию. А потому, что я не хотел прикасаться к вашему новому и чудесному видению, пока оно в вас не окрепло, пока оно не стало вашим сокровищем любви. Сокровищем — частицей вечности, которая просыпается в человеке и делает его истинно живым, то есть раскрывает все его силы и духа и тела как гармоничное целое, как его высшее «Я»... Я остаюсь здесь, у вас в доме — если позволите, — ещё несколько месяцев. Я буду ежедневно видеться с вами и с радостью поведу вас тем путём любви, которым вели и ведут меня мои старшие братья.

Князь низко поклонился Ананде. Тот, улыбаясь и обняв его, подвёл его к кровати больной, дал ему все нужные наставления, сказал, что беспокоиться о жуликах больше нечего, — и мы, простившись с князем, вернулись в наши комнаты.

Необычайная речь князя, его сиявшее и напоминавшее мне инока лицо, произвели на меня такое сильное впечатление, что, возвратясь в наши комнаты, немедленно я превратился в «Лёвушку — лови ворон» и только и видел князя державшим аметистовую чашу в руках. А воображение моё немедленно наградило его белым хитоном из такой же материи, какую подарил Али моему брату в день пира. Этот образ князя — рыцаря с чашей — заворожил меня. Я уже примеривался и сам к такой же жизни и уже готов был выбрать себе зелёную чашу, в честь моего великого друга Флорентийца, как услышал весёлый смех и ласковый голос И.:

— Лёвушка, уронишь аптечку, и все пилюли Флорентийца попадут не в чашу, а на пол.

Я опомнился, озлился и почти с досадой сказал:

— Как жаль! Вы нарушили такой дивный образ, за которым я сейчас мог далеко уйти. И особенно мне неприятно и непонятно: как это случается? Неужели на моей несчастной физиономии так и рисуется всё, что я думаю? Ведь знаете, И., — продолжал я жалостливо, — иногда мне так и кажется, что моя черепная коробка раскрывается под вашими взглядами и кто-либо — вы, или Ананда, или сэр Уоми читаете там, что вам хочется, а затем коробка и закрывается.

Оба мои друга ласково усадили меня на диван между собой, и И. стал мне рассказывать, как тосковал капитан о разлуке со мною и со всеми нами. Ему казалось, что он никогда больше не встретится с нами, и только категоричное обещание И., что он всех нас ещё неоднократно увидит, а мои слова о верности дружбы перейдут когда-то в действие, его несколько успокоили.

И. спросил Ананду:

— Как думаешь ты повести дальше Анну? Неужели же и теперь ты будешь принимать на себя двойные удары? И предоставишь Анне ждать, пока у неё внутри что-то само собой созреет? И пока, по её выражению, она будет чувствовать, что у неё «что-то, где-то не готово». А на самом деле это ведь маскировочная лень и небрежность, которые прикрывают малодушие и шаткость, отсутствие истинно ученической веры и верности. Если бы она шла рука в руку и сердце к сердцу с тобой, она давно не только бы вышла из сетей условностей быта, но и повела бы других за собой.

— Ты прав. Я думал, судя по тебе и немногим другим, что путь свободного самоопределения и лучший, и наиболее лёгкий, и самый короткий. Я не учёл всех индивидуальных свойств Анны и сам виноват, что снял на себя её обет беспрекословного повиновения. Культура человека, очевидно, не всегда переносит его дух в интуицию. Закрепощённый в умственной сетке строптивец никак не может перескочить через видимую условность восприятия жизни земли и неба как единой живой жизни.

— Не буду и не буду плакать! Что вы все ко мне пристали со слезами? вы воображаете, доктор И., что я буду оплакивать разлуку с Лёвушкой? Нет, я уже поумнела! — перешла Жанна на вызывающий тон.

— Когда жизнь будет казаться вам невыносимой, когда вы будете обмануты, брошены и унижены — оботрите лицо пологом, что я вам повесил, — ласково, печально сказал И. — Обратитесь тогда к князю, как к единственному другу, в сердце которого не будет презрения к вам и негодования за ваше поведение. Не забудьте этих моих слов. Это единственный завет любви, который я могу вам оставить. Не забудьте его.

Голос И., при его последних словах, звучал точно колокол. Мне вдруг почудилось, что пронеслось что-то грозное, бесповоротное, что положило Жанне на голову венок не из роз, о которых она мечтала, а из терниев, ею же самой вызванных и связанных.

Я снова вспомнил определение капитана о Жанне. Сердце моё разрывалось, глаза были полны слёз. Я глубоко поклонился Жанне и в первый раз не притронулся, прощаясь, к этим крохотным ручкам. Я хотел бы рвануть её, обнять, образумить, но сознавал, что сил моих не было даже на то, чтобы мужеством поддержать её. Я горько плакал, когда И. выводил меня из магазина, перед которым уже остановилась коляска с нарядными дамами.

Только сила спокойствия и мужество И. помогли мне вспомнить о Флорентийце, мысленно уцепиться за его руку и остановить рвавшиеся рыдания. Мне казалось, что Жанна закусила удила и всё лучшее в ней скрылось под мутью наболевшего сердца. Точно кривое зеркало отражало ей мир и людей в вульгарной форме, пряча всё прекрасное под пошлостью и злобой.

Когда мы вошли к Ананде, он ни о чём не спросил, только сказал мне, по обыкновению точно залезая в мою черепную коробку:

— Раздели временное и уродливое от вечного, не умирающего. И поклонись страданию человека и той его муке, в которой будет он стоять, когда страсти засохнут, упадут, как шелуха. И он сам себя увидит в свете истины. Он ужаснётся и будет искать света, который ему когда-то предлагали. Но путь к свету — это только сам человек. Научить здесь нельзя. Сколько ни указывай, где светло, — увидеть может тот, в ком свет внутри. Скорбеть не о чем. Помогает не тот, кто, сострадая, плачет. А тот, кто, радуясь, отдаёт улыбку бодрости страдающему, не осуждая его, а понимая его положение.

Через некоторое время вошёл князь, сказал, что княгиня уже отдохнула после ванны, лекарства даны и мы можем начать лечение.

Ананда и И. были сосредоточенны. Они коротко отдавали мне приказания. Все мы переоделись в белые костюмы, и я нёс запечатанный пакет с халатами и шапочками, который мы должны были вскрыть у княгини и там же надеть на себя особо приготовленные вещи.

Я ни о чём не спрашивал, но чувствовал, что оба мои друга видят в настоящей операции что-то очень серьёзное и трудное.

Княгиня была беспокойна, на щеках её горели пятна, видимо, ванна её утомила.

Ананда велел сестре приготовить бинты, ещё кое-что проверил в приготовленных раньше лекарствах и дал больной капель. Когда она уснула, он сделал ей три

укола и какой-то большой иглой довольно долго вливал в руку тёмного цвета сыворотку.

Когда рука была забинтована, он велел мне всё убрать в принесённые аптечки и футляры, сел возле кровати и сказал князю:

— Через два часа будет бред, температура, лёгкая дрожь тела. К утру всё стихнет, больная будет часто просить пить. Давайте это питьё по глотку, но не чаще, чем через двадцатиминутные перерывы. Можете вы сами точно всё исполнить? Если появится тошнота или боль, пошлите за мной, но сами не отходите от больной. Так оба с сестрой и сидите, не отлучаясь из комнаты. Думаю, что всё будет хорошо, и я сам приду без зова вас проведать.

Простившись с князем, мы пошли к себе, но Ананда увёл нас в свои комнаты, где предложил нам разместиться по-походному.

Мысли о Жанне не покидали меня. Я перечёл ещё раз письма брата и Флорентийца, приник к руке моего великого друга, моля его о помощи, и лёг спать — в первый раз за всё это время, — не примирённый и не успокоенный.

Не помню, как я заснул в этот раз. Но помню, что я поражался спокойному и даже торжественному выражению лица И., который сидел за столом, разбираясь в каких-то записках.

Утром, часов около семи, Ананда вышел из своей комнаты, говоря нам, что пройдёт к больной один, а если мы ему понадобимся, пришлёт за нами.

Я очень был бы не прочь ещё подремать, но И. встал мгновенно. Это меня устыдило, и я тоже отправился в душ, раздумывая, что я ни разу не видал больным ни И., ни Ананду. Чем и как были так закалены их организмы? Я этого не знал и очень сожалел, что до сих пор не выполнил указаний моих друзей о гимнастике и верховой езде.

Мы с И. вышли в сад и хотели пройти в беседку, как встретили князя, звавшего нас к Ананде без всяких лекарств.

— Я вас позвал, чтобы вы полюбовались на княгиню, — весело встретил нас Ананда на пороге комнаты больной.

Княгиня лежала, вернее полусидела, посвежевшая, точно помолодевшая и такая бодрая, какой я её ещё не видел. Зато у князя был вид усталый, и только его сиявшие глаза говорили, как он счастлив.

Поздравив княгиню с выздоровлением, И. сказал князю, чтобы он шёл немедленно спать, так как его больная может быть оставлена на сиделку. А вечером, за обедом, мы встретимся с ним все, и у нас есть к нему просьба и большой разговор.

Князь обрадовался, сказал, что для него дважды радость, если он может быть нужен И., и мы расстались до вечера.

Мы все трое вышли из дома, выпили кофе у приятеля-кондитера и расстались с Анандой, который пошёл по своим делам, принявшим для него сейчас совершенно иной оборот. Ни разу Ананда не сказал о разочаровании в связи с расстроившейся его поездкой в Индию. Ни разу ничто — самое естественное для психологии обычного человека — не мелькнуло, как досада, на осложнения, причинённые ему Анной, Генри, Ибрагимом. Если имена их мелькали в его разговоре, то можно было услышать только ласковое сострадание к их судьбе и уважение к их несчастью.

Князю удалось привести её в себя только упрёком, что она думает только об одной себе и не жалеет ни Жанну, ни отца, который скоро за ней придёт и увидит её состояние. Анна постаралась овладеть собой и, когда пришёл за ней отец, встретила его с улыбкой.

На заявление Анны, что ночевать домой она не придёт, не только не последовало протеста со стороны отца, но старик был даже рад, так как его жена и младший сын ссорились сегодня весь день, отравляя жизнь себе и всему дому.

Ананда, выслушав князя, сказал ему:

— Наша к вам просьба, князь, двойная. Не только не оставьте Жанну своими заботами, но и Анне будьте помощью. Я останусь здесь ещё долго и вылечу вашу жену. Но Анна и Жанна нуждаются в костылях, как хромые, и останутся такими надолго, несмотря на то что и их я буду лечить каждый день. Легче пробудить в закрытом сознании всю верность, чем помочь окрепнуть однажды пошатнувшейся верности зрячего человека. Вот этот труд, труд доброты, труд неусыпной заботливости в залечивании их ран, я и хочу просить вас взять на себя. Если вы можете взять это иго легко — я буду вас готовить усиленно к этой задаче.

— Легко? — воскликнул князь. — Вы даёте мне радость! Даёте в руки счастье и смысл жизни, которых я до сих пор не знал, и ещё спрашиваете, сделаю ли я это легко? Есть иной вопрос: я готов умереть, чтобы выполнить предлагаемое вами. Но... сумею ли? Я ведь более нежели невежда. Одного желания мало.

— Мне нужно только ваше желание. Всё остальное придёт. Любовь-доброта, любовь-милосердие и любовь-неосуждение должны встретиться в одном сердце, чтобы была возможность начать творческий путь в жизни. Хотите ли вы идти со мной по пути помощи и милосердия, князь? Можете ли дать мне два обета: верностью — цельной, непоколебимой — следовать за мной. И выполнять все мои указания, понятные или вовсе вам непонятные, — в точном, беспрекословном повиновении? — спросил Ананда.

— И это всё, что вы спрашиваете за счастье следовать за вами? — в изумлении сказал князь.

— Вы видели на Анне, на Генри, на Ибрагиме, наконец на самом старике Строганове, как трудны эти два условия, князь. Подумайте до завтра, — ответил ему Ананда.

— Я вас даже не понимаю, — покачивая головой, сказал князь. — Почему мне раздумывать до завтра? Можно сомневаться в том, годен ли я вообще для мудрости? Годен ли я — такой ничем не одарённый человек — для дел высокой любви, требующей столько такта, ума, внимания? Но в чести моей — при вашем даре читать в сердцах людей, — мне кажется, сомневаться нельзя.

Ананда подал князю руку и сказал:

— Если завтра, в этот час, вы подтвердите мне своё желание, — я начну готовить вас к новой жизни знания и развития в вас ваших дремлющих сил.

На этом мы расстались с князем.

И только тут я узнал, что через два часа отойдёт наш поезд, увозя меня и И. в неведомые мне края, к неизвестным мне людям и иной новой жизни, к надеждам встретить Флорентийца и брата Николая.

Конец первой части

Не раз я думал, как бы я горевал, досадовал и обвинял кого-то, если бы человек встал передо мной препятствием и нарушил бы мои предположения. И тут же, вспомнив всё, что я перенёс за это время, я отдал себе отчёт, сколь малому научился, несмотря на все вынесенные передряги.

— Что задумался, Лёвушка? Ведь ты, пожалуй, даже и не знаешь, куда мы сейчас идём? — очнулся я от голоса И. — А между тем мы подходим к цели. Мы уже сейчас будем у Строгановых. Мы, вероятно, застанем Елену Дмитриевну с Леонидом за завтраком, — и это будет наш им прощальный визит.

Мы действительно застали мать и сына за едой и беседой, но оба они мне показались не в своей тарелке.

Узнав, что мы уезжаем, Строганова встревожилась.

— Неужели и Ананда едет тоже?

— Нет, он пока останется. Но почему вы так встревожены? — спросил И. — И почему у Леонида вид упорствующего и воинствующего дервиша?

— Если бы вопрос шёл о монашеской секте, мне было бы много легче, — ответила мать. — Тогда не было бы женщины, замешанной в дело. А сейчас... что же от вас скрывать? Вбил себе в голову мальчишка, что ему надо жениться на этой смазливой французской кукле!

Только прикосновение И. к моей руке помогло мне смолчать. Точно оса укусила меня за сердце, когда я услышал слова Строгановой.

— Представляете себе? Двое детей и мамаша сядут нам на шею, — возмущённо продолжала Строганова.

— И вовсе не будет с нею детей, — вмешался Леонид. — Она их отправит к родственникам.

— И просто в толк не возьму, чем она тебя околдовала? И когда это всё свершилось? Ведь это гипноз какой-то! — бурлила мать, точно кипящая кастрюля.

— Ну, что тут, мама, разбирать, когда да что? Хочу — и баста! Сказал женюсь на ней, и чем больше будешь противоречить, тем скорее женюсь, — возражал любимчик.

— Чем же вы будете жить? Ведь она нищая! Значит, опять я из своего капитала должна вас содержать? — опять сказала мать сыну, и в её голосе послышалось слезливое раздражение.

— Мой капитал лежит нетронутым, — ответил сын. — Это — раз. А во-вторых, я уже всё обдумал. Я буду хозяином магазина, а Анну мы оттуда выпрем. Этой святоше там не место. Пусть учит музыке где хочет и кого хочет. В магазине она только отпугивает клиенток своей постной физиономией.

— Час от часу не легче, — вскричала в последней степени раздражения Строганова. — Тебе учиться надо. Я мечтала о дипломатической карьере для тебя, а не о купечестве.

— Мало ли о чём ты с Браццано мечтала? Если бы все твои мечты сбылись, ты, наверное, была бы принцессой. Но пришлось тебе остаться женой купца, — язвил любимый сынок.

Леонид говорил небрежно, свысока бросая слова, как говорят опытные с малопонимающими жизнь людьми. Он встал и, оправляя жилет и галстук перед зеркалом, продолжал:

— Я с тобой вовсе не советуюсь, мать, а просто тебе докладываю о своей женитьбе. Если тебе неприятно, чтобы моя жена жила в твоём доме — хотя, признаться, он общий, по воле отца, — я перееду к ней в магазин. Я вижу здесь первую возможность для себя стать очень легко богатым и самостоятельным. Деньги, затраченные отцом на оборудование магазина, он мне подарит. А Жанну я выведу в свет так, что скоро будет у нас не один, а десять магазинов. Поработает у меня жёнушка! — и Леонид злорадно захохотал.

Я еле сдерживался и не мог представить себе, чтобы Жанна, милая Жанна, попала в лапы этого паука.

— Хорошенькое дельце! Ни один сын мой не женился, чтобы меньше двадцати тысяч жена в дом принесла! Да ещё и тряпок немало. А ты? Нищенку приведёшь? — фыркала мать.

— У Жанны есть капитал в тридцать тысяч, — спокойно сказал И. — И невеста она — если уж разбирать её с этой стороны — более завидная, чем ваши невестки. У неё есть талант, и ремесло её может обеспечить ей жизнь. Тогда как ваши дамы, кроме примерки новых платьев, делать ничего не умеют. И дело вовсе не в том, достойна ли Жанна чести войти в ваш дом. А достоин ли ваш сын чести быть мужем этой честной женщины? И... достойно ли вы сами говорите сейчас о другой женщине, которую вы так недавно ласкали, задаривали и называли своей любимицей? Что изменилось в ней, чтобы так переменилось ваше обращение и отношение к ней, Елена Дмитриевна? — глядя в глаза Строгановой, закончил И.

— Может быть, в ней и ничего не менялось. Но разница ведь: видишь ли ты в женщине просто забавную приятельницу, умеющую сделать чудесную шляпу и чепец, или жену своему сыну?

— Я, мама, тебя никогда не спрашивал, что тебе нравилось в твоих кавалерах. Мы ведь здесь взрослые люди. Предоставь мне самому решать, что мне может нравиться в женщинах. Жена — это совершенно особая штука. Тут выбирать надо себе рабу, — нагло выпалил Леонид.

Я хотел вскочить и убить этого наглеца, чей ужасный вид в магазине так хорошо помнил. Теперь он нахально любовался в зеркале собой, своей завитой и припомаженной головой, тёмными усиками и выпуклыми, стеклянными глазами, серо-голубыми, бессмысленными, наглыми.

— Откуда вы, Леонид, взяли, что Жанна собирается выйти за вас замуж? — спросил спокойно И. И как странно! Мне показалось, что под его взглядом Леонид точно слинял. Его пошлая самоуверенная физиономия кавалера-самца, знающего себе цену, как-то вытянулась, сам он несколько сгорбился, и что-то трусливое отразилось во всей — сразу ставшей жалкой — фигуре.

— Вот ещё вопрос! Я думаю, каждой женщине хочется выйти замуж, — всё ещё старался Леонид храбриться.

— При всех данных Жанны это сделать ей очень легко, — ответил ему И. — И она, конечно, найдёт человека более культурного, чем вы, не ищущего себе рабы в жёны, но друга. И вообще, вы не только выкиньте из головы мечту о женитьбе на Жанне, но, если не желаете вновь заболеть и пролежать скрюченным, забудьте дорогу в магазин. Там ждёт вас только то состояние, в котором вы уже просидели

Я же был не только совершенно расстроен, но чувствовал себя так, как будто меня всего вывернули наизнанку. Я никак не мог оставаться спокойным в изменчивом калейдоскопе дня. Всякая неожиданность потрясала меня.

Добравшись до дома, я лёг на диван и, казалось, не мог двинуть ни одним членом — так я был разбит множеством мелькнувших мыслей и чувств. То я ехал с детьми Жанны, то я ужасался, как бедная Анна, неосторожно сотканным злом, была причиной путаницы в человеческих жизнях, то я не мог себе представить безграничного горя Жанны, когда она осознает разлуку с детьми, то я старался угадать линию поведения князя...

— Выпей-ка, дружок, — ласково сказал Ананда. — Сейчас ты видишь, как в людях бродят страсти. Потом ты будешь видеть, как они закрепощены в страстях. А дальше, поймёшь путь милосердия, путь помощи людям раскрепощаться и освобождаться от них. Приди в себя и постарайся бодро и бесстрашно окончить свою константинопольскую жизнь. Как ты закончишь своё «сегодня», так точно ты и начнёшь своё «завтра».

Я выпил каких-то горьковатых капель, как будто подремал и вскоре почувствовал гибкость во всём теле, бодрость, точно целую ночь проспал.

Мы успели переодеться к обеду и были совершенно готовы, когда нас пришли звать обедать. Я ничего не знал, когда мы едем, но понял — по убранству стола и вечернему туалету хозяина, — что он даёт нам прощальный обед.

За столом особых разговоров не велось. И только в прощальном тосте князя прозвучала нотка такой скорби о разлуке с нами, такого горя, что наша встреча — встреча его сияющего счастья, как он неоднократно выражался, — кончается частично сегодня, что у меня защекотало в горле.

В ответном тосте И. сказал ему:

— Встречи — не цветы. Они не вянут, не гибнут, бесследно уходя в тление. Встречи учат. И даже тогда, когда разлука кажется невыносимой, когда смерть уносит друга, сына, отца или дочь, — даже тогда сердце растёт, и ширится его творчество. Если же знаешь, что друг идёт где-то рядом, и ты его не можешь ощутить только потому, что дух короток, — надо шире раскрыть мысль и сердце, и понять людей не только как лично близких, а как спутников к истине. И тогда все встречи будут благословенными. Дух человека-мещанина, которому кажется, что он ищет Истину, — вечно склонен к унынию. Он, точно собачий хвостик, как его ни распрямляй, всё норовит скрутиться. Дух же человека, воистину ищущего героики чувств и мыслей, похож на стальную рельсу, которую ничто согнуть не может. Встреча с вами, князь, показала мне, как легко, просто, радостно, не ища, куда ступить, — вы перешли из слабости в привычную вам теперь твёрдость, из твёрдости переходите в силу и из силы перейдёте в красоту. И вся задача дня в том только и состоит, чтобы трудное сделать привычным, привычное — лёгким и лёгкое — прекрасным в работе дня. Встреча с вами будет всегда памятна мне как таковая; как переход человека — в одно мгновение — в иное, героическое мировоззрение.

Мы все выпили за здоровье князя и перешли в комнату И.

Здесь князь рассказал нам, что после нашего ухода из магазина Жанна была тиха. Но отчаянию Анны не было предела. В ней шла не борьба, но мука ясно понятого своего неверного поведения, в котором впервые она отдала себе полный отчёт.

даже материй для шляп и не работайте для неё. Пусть Анна сама делает матери всё, что найдёт нужным. Возьмите этот крест, носите его всегда на себе и не забывайте о пологе. И в минуты величайшей слабости и горя обтирайте им лицо, подержите его у лба. Всей силой вашей веры мысленно скажите одно слово: «Али». Вы мгновенно будете получать успокоение и будете находить силу жить в чести и чистоте. Прощайте, Жанна. Увидимся мы очень не скоро, и, к сожалению, всё, что я могу для вас сделать, — дать вам этот крест. Он навсегда защитит вас от всех Браццано и Леонидов. Вы их не бойтесь, как и ничего не бойтесь до тех пор, пока этот крест будет на вас. Я его даю вам, как часть своей силы и защиты.

И И. надел Жанне крест из топазов на цепочке точь-в-точь такой же, какую надел мне сэр Уоми. И. вновь повернулся к Анне.

— Теперь вы видели, как куются цепи зла, неосторожно сотканного неведением, гордостью и непослушанием. Если бы в простой душе Жанны не было достаточной доброты, чтобы простить вам, Анна, безумие гипноза, в который погрузил её Браццано, погрузил из-за нарушенного вами — так неожиданно для всех нас — обета добровольного повиновения, то какого дикого врага на сотни лет имели бы вы в её лице сейчас! Тогда и через семь лет вы не могли бы приблизиться к нам! Теперь ещё раз вам даётся зов Жизни. И это делается снова подвигом любви и доброты Ананды. Остерегайтесь же умствовать там, где нужна простота мудрости.

— Жанна, — обратился И. снова к маленькой хозяйке, — вот единственный верный и бескорыстный и заботливый друг, которого вам даёт сейчас жизнь на долгие годы, — подводя к ней князя, продолжал И. — Слушайтесь его, советуйтесь с ним. Сходите к княгине и постарайтесь вашим добрым сердцем и весёлым смехом облегчить ей её скучную жизнь. Не безумствуйте о детях. Вы сами ещё невоспитанное дитя. Хава будет вам писать о них. У сэра Уоми — сами понимаете — им не может быть плохо.

— Чем я могу выразить вам мою благодарность, доктор И.? Я выполню всё, что вы сказали, всё, поверьте. На меня вдруг находит что-то такое жестокое и злое, я сама этому поражаюсь, но не могу справиться с собой. Я буду — как первую святыню — хранить ваш крест и призывать святого «Али», о котором вы сказали, хотя и не знаю такого во французской церкви, — заливаясь слезами, говорила Жанна.

Князь сел подле неё, мы же незаметно вышли. Анна вышла за нами, но Ананда остановил её, сказав, что место её сейчас подле Жанны, куда ей надо временно и, может быть, надолго, переселиться.

Он назначил ей час свидания на завтра, и я понял, что это будет уже после нашего отъезда и что сейчас я в последний раз вижу обеих женщин.

Мог ли я, в первые константинопольские дни, думать, в каком горе мы оставим Анну, божественно совершенную, какой она представлялась мне тогда?

Ананда велел ей напомнить князю, что в семь вечера мы будем ждать его обедать в его доме.

Молча возвращались мы домой. Оба мои друга сияли мощью, спокойствием и твёрдостью, которые казались мне даже не человеческими.

не так мало времени и которое вы хорошо запомнили. Ещё раз повторяю: я запрещаю вам приближаться к Жанне не только в магазине, но и где бы то ни было.

Вам же, Елена Дмитриевна, я об этом уже говорил, и Ананда имел с вами не одну беседу. Если вы не оставите своей прежней манеры жить, одурманиваться опиумом и развращать сына баловством — результаты которого, а также любовь и уважение к вам сына-любимчика вы имели случай сейчас ещё раз наблюдать, — вы такой жизни долго не вынесете. Вы свой организм сами так истрепали, что кончится это для вас плохо.

— Ну, будет вам стращать меня, любезный доктор И. Я не робкого десятка, — злорадно усмехаясь, ответила Строганова. — Это сын мой — вижу сейчас — трус! Весь сгорбился, перепугался вас и уже готов пуститься в бегство от Жанны, хотя только что рвал и метал! Мне даже за него стыдно.

— А что вы, мать, сделали в жизни, чтобы пробудить в уме и сердце вашего несчастного сына какие-нибудь героические силы? — спросил её спокойно И.

— Как это скучно! Вы всё носитесь, И., со своими моральными выкладками! Что вы понимаете в жизни и в людях? Нянчитесь с какими-то идеалами, смешными и нежизненными, и мешаете весело жить людям. Ещё Ананда — туда-сюда. Хоть многим в жизни помог. Но вы... — она скорчила презрительную мину, но вдруг закашлялась, схватилась за грудь, с ужасом глядя куда-то в угол.

— Что с тобой, мать? Ты выглядишь точно колдунья в сказке. Да говори же! Чего ты уставилась в угол? Мне страшно! — вертя головой во все стороны, говорил грубо и раздражённо Леонид, весь охваченный страхом.

— У вашей матери спазма в сердце. Это очень мучительная вещь. Подайте воды, я дам ей капель, — сказал ему И.

— Меньше бы курила, да за картами ночей не проводила — вот и была бы здоровой, — бормотал любимчик, лениво, точно с трудом вставая за водой.

Строганова еле могла выпить капли. И. поднёс к её носу остро пахнувшую соль, натёр ей виски чем-то, и через некоторое время ей стало лучше, скоро и совсем всё прошло.

— Какой это был ужас, — сказала, оправившись, Строганова. — Точно меня пронзила стрела насквозь.

— Я вам говорил, что, если вы не измените всей своей жизни, вас ждёт не болезнь, а катастрофа. Подумайте о том, что вы здесь сделали, — сказал ей И., указывая на сына. — И о том и тех вспомните, кто вам простил так много. Вы делаете вид, что вы всё забыли? Но в жизни нет и не может быть ни для кого исключений. Вся природа живёт и движется по законам причин и следствий. И ни один человек не может уйти от этого закона всей вселенной. Оставьте игру со злом. Вы там, к вашему счастью, ничего ещё не поняли и не достигли. Но если, дав слово сэру Уоми, вы его не сдержите, тогда уже никто не сможет вас спасти.

Прощайте. Не забудьте, что я вам сегодня сказал. И стрела, ударившая вас сейчас, была стрелой вашего собственного зла, вы сами её вызвали. Не ждите себе пощады, если сами не умеете щадить других. А вы, Леонид, — ещё раз повторяю, никогда не подходите к Жанне. Каждый раз, когда вы вздумаете нарушить этот мой запрет, — вы будете оставаться без языка и без движения.

Не прибавив ни слова больше, И. поклонился Строгановой, и мы вышли. Точно из бани я выскочил! Пот струился по моему лицу, а внутренне я весь дрожал.

— Боже мой — в ужасе воскликнул я. — Двух матерей сейчас я вижу! Я не помню своей матери, но неужели, Лоллион, я так и не увижу настоящей матери?

— Увидишь, и не одну, Лёвушка. Сейчас пойми, как глубоки корни несчастья людей, как нельзя их судить, как нельзя расстраиваться недостатками людей. Надо нести им бодрость или стараться пресечь зло, поставив им твёрдые рогатки там, где люди слабы, чтобы оберечь прежде всего их самих. Пока сам не созрел — не стремись помогать. Увеличишь только зло и внесёшь ещё больше раздражения в жизнь тех, кому захочешь помочь, если сам не готов, если сам не можешь действовать в полном самообладании.

Мы посидели в тени сквера и двинулись дальше.

— Соберись с силами, дружок. Завтра мы уедем отсюда. Усиленно думай о Флорентийце, возьми и мою руку вместе с его — и пойдём к Жанне.

Только что начался обеденный перерыв, и в магазине мы застали не только Анну и Жанну, но и Хаву.

С первого же взгляда на Жанну я понял, что она очень страдает, но что её упрямство всё так же держит её в сетях, как вчера, а может быть, и ещё крепче.

После первых же приветствий Хава спросила:

— Почему сэр Уоми велел мне вернуться сюда и ждать приказаний от вас, И.? Вы меня здесь задержите?

— Вероятно, нет, Хава. Я сам уезжаю завтра вечером.

— Это уже окончательно, И.? — спросила Анна, и голос её дрожал, и в глазах стояли слёзы. — Я очень, очень тяжело расстаюсь с вами, И. И не будет у меня утешения даже в детях?

— У вас в доме будет скоро двое больных, Анна, — ответил ей И. — Да и здесь будет у вас взрослый ребёнок; и князь тоже будет нуждаться в вас. Кроме того, за эти семь лет, которые мы проведём в разлуке, вам надо воспитать человека из Леонида. Разлука со мной — это только внешнее расстояние. Ананда научит вас быть всегда с теми, о ком будет верно и любовно помнить ваше сердце.

Идя за высокой жизнью, нельзя жить в полуцельных чувствах и мыслях, в сомнении и компромиссах. Когда ощутите, что сердце ваше пусто для личного, только тогда сольётесь в один аккорд с Анандой, со мною, с сэром Уоми и другими. Пока же думаете, что надо, чтобы сердце звучало любя, — ваша песнь любви будет стонать, а не торжествовать. Жить от ума нельзя. Творчество — гармония сердца и мысли.

Жанна подошла к И., говоря, что решила детей отправить. Я был поражён в самое сердце. Я всё надеялся, всё ждал, что решение её будет другим.

— Бедные дети, — прошептал я.

— Совсем не бедные. Я их возьму обратно, как только устрою свою жизнь, Лёвушка. А это будет скоро, — запальчиво ответила мне Жанна.

— Неужели же ваша жизнь не устроена, Жанна? Вы работаете, обеспечены, можете учиться сами и учить детей. Чего ещё надо? — спросил я, горестно на неё глядя.

— Я обещала отослать детей и выйти за него. На днях должна была быть свадьба, да все те, кто должен нас венчать по особому ритуалу, не приезжают, и Леонид рвёт и мечет.

— Вы любите его, Жанна? Если пожертвовали детьми, значит, любите? — спрашивал И.

— Нет, просто я не в силах жить одна. Я должна иметь мужа подле себя, это невыносимо быть окружённой одними женщинами. Я хочу весело жить. Без мужчин я жить не могу, — угрюмо отвечала Жанна.

— Неужели вы не видите, что этот человек трус? Что он бесчестен? Что он хотел жениться на вас по приказанию Браццано? Что, наконец, он просто хотел иметь в вас рабочую силу? Жить вашим трудом и превратить вас в рабу?

Жанна потёрла себе лоб, стала заикаться, старалась что-то сказать, что-то вспомнить и только всё снова тёрла лоб, ничего не отвечая. И. повернулся к Анне.

— Вот ещё одно дело ваших рук. Вам суждены благие порывы любви к дальним. В теории, в мечтах ваша любовь к брату-человеку. В деле же простом, мелком, текущего дня, вы не сумели стать основным звеном духовного единения с окружающими вас. Ананда приказал вам давно собрать и сжечь все подарки Браццано у матери и брата. Вы сочли это мелочью и не выполнили. Ананда передал вам приказ сэра Уоми встать между Жанной и братом с первых же их встреч — вы увидели в этом насилие над волей обоих взрослых людей и дали возможность Браццано создать себе канал зла из чистой души этой женщины. В этой жертве зла, павшей благодаря вашему непослушанию, в тех изменивших свой жизненный путь детях, которые едут к сэру Уоми, вы ответственны не только перед Анандой, но и перед сэром Уоми, к счастью Ананды. При его беспредельной доброте он ещё раз понёс бы ваше иго на себе, а вы, неблагодарная, слепая, ещё раз поскользнулись бы глубже прежнего. Так недавно вы рыдали здесь и говорили себе и другим, что хорошо, что ваше ослушание случилось здесь, а не там, куда вам предстояло ехать. А пришёл новый случай выказать героизм послушания — и снова вышла на сцену жизни Анна-обывательница, а не Анна-«благодать». Сколько же актов человеческой драмы — вашей жизни на земле — вы думаете так прожить? Или ждёте, пока подойдёт пятый акт, где будет написано: «finita la comedia», и занавес упадёт?

Тишина в комнате была так велика, что я различал шорох от потирания рук Жанны. И. подошёл к бедняжке, всё так же бессознательно потиравшей свой лоб. Ананда тоже встал с кресла и сел рядом с Жанной, взяв её ручки в свои.

— Вы слышите меня, Жанна? — спросил её И.

— Конечно, доктор И., конечно, слышу, — раздался прежний звонкий голосок Жанны.

— Вы никогда не допустите к себе Леонида, которого так сейчас боитесь. Вам его бояться нечего, — говорил И., кладя обе свои руки на голову Жанны. — Вы его любите? — снова спросил её И.

— Что вы, доктор И., он отвратителен, но ведь он брат Анны, мне не хотелось её огорчать сначала. А потом, я сама не понимаю, как могло всё это так далеко зайти.

— Ничего теперь не бойтесь. Никогда не ходите к Строгановым в дом и не встречайтесь с Еленой Дмитриевной. Не принимайте от неё не только подарков, но

иногда бывает князь», говаривал, бывало, иногда в юмористическом тоне мой дорогой капитан.

Капитан — такой прозорливец в отношении Жанны, — что он видел в князе особенного? И чему я сам не могу в нём подобрать названия? Что я тоже сознаю и чувствую в нём особенного? Что такое живёт в князе и так выделяет его среди нас?

Я вспомнил князя на пароходе, рядом с бушующей женой; его лицо тогда, поникшую голову и отчаяние в глазах. Потом — его слабость и мука неопределённости. Его самоотвержение в первые дни болезни жены, наш первый визит в его дом. И князь — сейчас. Того человека нет; есть другой, новый, но в обоих есть какой-то общий остов, но какой — я не знал.

Мои размышления были прерваны внезапным смехом Жанны. И так он прозвучал неестественно, точно бритвой резанул по ушам!

— Доктор И., я никогда не видела вас таким и даже не знала, что вы можете быть такой торжественный, — сказала она, точно вызывая И. на ссору.

— Не знаю, торжественным или ещё каким-нибудь кажусь я вам, но знаю, что все силы моей мысли и вся любовь моего сердца сопровождают ваших детей в их далёкий путь, желают им мира и счастья, которых они не нашли здесь, — ответил И.

Жанна сразу притихла. Несомненно — ласковый, печальный, такой добрый и нежный, — голос И. пробрался сквозь всё внешнее до самых недр сердца Жанны, которое — я знал — было добрым.

— У меня к вам, Жанна, вопрос, — всё так же ласково продолжал И. — Завтра мы с Лёвушкой уезжаем. За этот кусочек прожитой вместе с нами жизни вы и мне и ему говорили не раз, что многим нам обязаны. Считаете ли вы меня вправе задать вам вопрос, задавая который я руководствуюсь только мыслью о вашем счастье? Или, по крайней мере, желанием защитить вас от самого большого из несчастий, в которое вы можете втолкнуть себя сами.

— Спрашивайте, — ответила очень тихо Жанна. — Я не знаю, какой будет ваш вопрос, но, во всяком случае, я отвечу правдиво.

— Вы обещали Леониду выйти за него замуж и отправить до свадьбы детей?

Точно стон вырвался из груди Анны. Она с ужасом посмотрела на Ананду, но тот не ответил ей взглядом, как делал это всегда, а сидел, глядя вдаль, точно решая какую-то задачу и прислушиваясь к чему-то.

Жанна совершенно смешалась, вспыхнула, побледнела, теребила раздражённо платок, снова вспыхнула, наконец издала какой-то нервный смешок и сказала:

— Он так меня упрашивал хранить тайну, так уверял, что нам надо обвенчаться по какому-то особому ритуалу у его друзей, и сам всё выболтал вам же, а вас боялся пуще сатаны. Вот и доверяй.

— Вы не ответили на мой вопрос, Жанна.

— Ну, что тут отвечать, если вы всё знаете? Он пристаёт ко мне с этим с первых дней знакомства. Сначала просто приставал, а когда я его отшила, стал говорить о браке и о том, что Браццано покровительствует нам в этом.

— И вы обещали? Что именно?

— Этого вам не понять. Вы, Лёвушка, тоже бесчувственный, хотя на пароходе мне казалось, что вы очень добрый, — капризно, упрямо, как бы упрекая меня, ответила Жанна.

— Я должен вас предупредить, Жанна, что раньше чем через семь лет вы детей не увидите, — подходя близко к Жанне, сказал И. — Выбирайте сейчас. Решите свою и их судьбу. Быть может, через семь лет они даже не узнают вас. Решите, не зло и упрямо думая о себе. А думайте о маленьких людях, которых бросаете на произвол судьбы, без материнской ласки. Думайте о вашем муже, во имя него вы собирались когда-то жить и охранять его детей. Если вы решитесь отправить малюток, Хава увезёт их сегодня же, через два часа, с собою к сэру Уоми.

— Это очень хорошо, доктор И. Дети и знать не будут, что едут надолго. Раз их соберут быстро, они будут думать, что едут кататься, — ответила мать, так недавно ещё видевшая в детях всю цель своей жизни.

Жанна говорила с вызовом, точно кто-то другой был виноват, что она отправляла детей. Мне казалось, что она сама не верила возможности отослать детей с Хавой. Она точно ждала, что в последнюю минуту что-то случится, — и дети останутся с ней, помимо высказанного ею желания их отправить.

Я ещё раз подошёл к ней, говоря:

— Жанна, подумали ли вы о той минуте, когда останетесь одна, после отъезда детей? Что вы будете здесь делать без них? Сейчас вы знаете, что в любую минуту вы можете к ним побежать, их обнять, увериться, что для них живёте и работаете. Что будет с вами, одинокой, без друзей, без детей? Окружённая чужими, как будете вы жить?

— Досадно, Лёвушка! Вот вырастут у вас усы, женитесь, пойдут дети, — ну, и поймёте тогда, как хочется свободы, — резко ответила мне Жанна. — Дети уедут, тогда я и подумаю, как буду жить. Я их теперь всё равно не вижу, а когда вижу — только раздражаюсь и шлёпаю, — прибавила она и отвернулась от меня.

Анна уехала за детьми, а мы с Хавой стали собирать кое-какие их вещи и игрушки в дорогу. Жанна принимала самое минимальное участие в наших хлопотах, отвечая только на наши вопросы.

Когда дети приехали, они бросились к матери, ко мне и к И., совершенно не ожидая близкой разлуки со всеми нами, ласкались, шалили и смеялись. Хаву, хотя они мало ещё были с нею, они не дичились и не боялись её черноты. И почему-то прозвали её «чёрная мама», что очень забавляло самою чёрную маму.

Я допытывался у прелестных детей, почему они дали негритянке это прозвище. Девочка мне очень точно сказала:

— Как вы не понимаете, дядя Леон, что на столько детей — раз и два, — тыкая пальчиком себя и братишку в грудь, посчитала она, — одной мамы совсем мало. Вот у нас есть: мама Жанна, мама Анна и чёрная мама-няня.

Её французская речь была так забавна, все её изящные и серьёзные манеры так комичны, что, несмотря на весь трагизм речи маленького существа, я хохотал до слёз. Вскоре мы подняли такую возню, что я сам забыл, куда пришёл и зачем повезу детей на пристань.

Чтобы несколько усмирить наш пыл, Хава сказала, что повезёт детей на пароход кататься и будет им петь негритянские песни, если они переоденутся в чистые костюмы и посидят спокойно, пока она их причешет.

Церемония переодевания и причёсывания, проходившая у Жанны каждый раз со слезами и шлепками, не вызвала ни одного возгласа у детей и окончилась их восторгом по поводу новых платьев. Вошедший к нам Ананда пристально оглядел всех нас, точно пронзил Жанну своими глазами-звёздами.

У меня забилось счастьем сердце. Я начал снова надеяться, что Жанна, с приходом Ананды, образумится. Мне даже показалось, что лицо её смягчилось, и на нём вынырнула нежность из-под тупой маски упрямства.

— Ещё есть время, Жанна, — тихо сказал ей Ананда. — Я ещё могу вмешаться и оставить вам детей. Но лишь только дети взойдут на пароход — они уже выйдут из сферы моего влияния, их окружат любовь и заботы выше моих. Сейчас же, сию минуту, я ещё могу взять на себя ответственность за вас и за ваших чудных детей.

Голос Ананды звучал добротой необычайной. Сам он был прекрасен, я не мог оторвать от него глаз.

— Ананда, я всё сказал, чтобы образумить мать, — прервал его И. — Неужели ты ещё один раз примешь ответ за строптивых людей, которые должны сами решить и выбрать путь?

— Я сама не девочка, сама и беру ответственность за себя, — истерически выкрикнула Жанна и так перепугала детей, что их смех мгновенно остановился и в глазах показались слёзы. Они со страхом уставились глазёнками на мать, прижались к Хаве, точно ища у неё защиты, и девочка тихо спрашивала:

— Мама будет бить? Ты не дашь нас бить? И дяди не дадут?

Молнии сверкнули из глаз Ананды, и голос его — точно мечи ударили — прозвучал властно, когда он сказал:

— Пора, князь приехал с билетами. Поедем.

— А вот, если захочу, не выпущу детей! — снова закричала Жанна, вставая и направляясь к детям. Дети, думая, что мать бросается наградить их шлепками, ухватились за И., который поднял их обоих на руки, где они сразу затихли, обвив его шею ручонками.

Перед Жанной вырос Ананда, и она снова села на диван.

— Мать — это любовь, а не гроза. Мать — защита и помощь, а не наказывающая рука. Мать — радость, а не слёзы. Мать — первое и последнее светлое явление, которое уносит ребёнок с земли. Когда поймёте это сердцем — тогда увидите детей. Теперь же вы сами подписали себе приговор. Если бы минуту назад вы вылили хоть каплю ласки в прощальный привет детям, я бы ещё мог избавить вас от великого страдания разлуки и жизни без них. Теперь — поздно. В том припадке зла и бунта, в каком вы сейчас, — я даже не могу разрешить вам дать им последний поцелуй.

Вошедший князь не понял смысла тяжёлой сцены, но хорошо понял состояние Жанны и страх детей. Он улыбнулся детям и передал Ананде документы на детский вклад, которые оставались ещё у него на руках. При этом он прибавил, что княгиня, узнав об отъезде детей, благодарная за своё новое выздоровление, решила удвоить свой вклад детям. Что распоряжение об этом уже отдано, а новые документы он передаст Ананде для пересылки опекунам детей.

Ананда просил князя и Анну побыть в магазине до нашего возвращения, что Анна выполнила в полном протесте, а князь в большой радости.

В одну минуту дети с Хавой и Анандой уехали в коляске с вещами, а мы с И. пошли ближайшим путём к пристани.

Дети совсем оправились от страха и, несомые Анандой на руках к пароходу, привлекали всеобщее внимание. Лучшей модели для картины «Отец с детьми» нельзя было бы придумать даже и самой богатой фантазии художника.

У Хавы оказалась отдельная большая каюта. Пароход был довольно плохой, хотя и считался одним из лучших.

К моему величайшему изумлению, как только мы вошли в каюту, к нам пришёл не кто иной, как слуга сэра Уоми. Он объяснил нам, что послан им в помощь Хаве и только-только успел пересесть с прибывшего сюда сейчас встречного парохода.

Хава, Ананда и И. — все приняли это появление как должное. Но я так словиворонил, что даже на обратном пути был ещё под парами изумления.

— Отчего тебя так поражает прозорливость сэра Уоми? Я думаю, когда он был ещё здесь, он уже, вероятно, мог сделать определённый вывод из поведения Жанны и учесть, как, в какой форме, он сможет ей помочь, — сказал мне И. — Чем больше ты живёшь с нами, тем яснее тебе, что нет чудес, а есть только знание. Видя, как огромно знание таких людей, как сэр Уоми, Флорентиец, Али, ты должен понять, как надо верить каждому их слову, как надо быть им верным, как беспрекословно повиноваться надо каждому их приказанию, учитывая и понимая всю высоту их знания и нашу невежественность по сравнению с ними. Здесь лежит основа закона беспрекословного повиновения и ни в чём другом.

«Господи Боже, — думал я. — Брат Николай пишет, что понял, насколько он ещё невоспитанный человек! И. говорит о своей невежественности! Что же тогда говорить и делать мне?»

— Учиться и радоваться счастью жить, поняв, что такое — Свет на Пути! — улыбаясь, шепнул мне Ананда, как будто снова заглянул в мой череп и прочёл всё моё нутро.

Мы шли очень медленно. Очевидно, мои друзья щадили меня, чтобы я несколько пришёл в себя. Ананда шёл впереди, И., ведя меня под руку, шёл за ним, но вряд ли его мысли были возле меня. Он был так углублён в самого себя, что я не решался ничем нарушить его сосредоточенности.

Время мелькнуло для меня, как одна минута. А между тем уже смеркалось, — и мы вошли в магазин, когда работа там уже кончилась.

Анна и Жанна убирали последние шляпы в картонки. Князь помогал им и ещё раз удивил меня. Этот человек, казалось, везде был на месте. Он так ловко и просто убирал ленты и цветы, так бережно и умело раскладывал перья и шелка, как будто только этим и занимался всю жизнь.

Я вспомнил его в роли сиделки у княгини, — и там он всегда и всё умел, никогда не терялся и мог сойти за привычного брата милосердия.

За столом в своём доме — он был обаятельным хозяином. Но что же такое было в князе, что делало его «не как все», следуя выражению Анны? И... «вроде идиотика